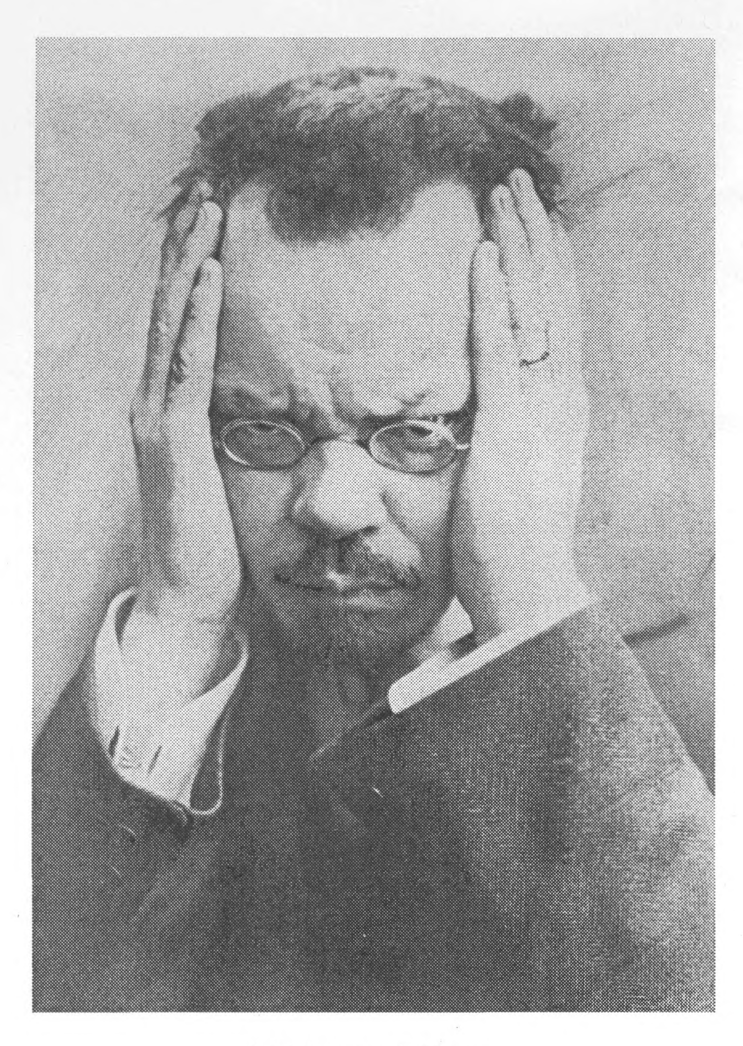
# А. М. Ремизов

## Сочинения



А. М. Ремизов. 1910-е гг.
Фотография В. Шабельского.
РНБ. Публикуется впервые

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)




# ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2001

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Руководитель программы **Михаил Ненашев**

Редакционная коллегия:
**А. М. Грачева** (главный редактор), **Т. Г. Иванова, А. В. Лавров, Н. Н. Скатов, О. П. Раевская-Хьюз, Н. М. Солнцева**

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста «Часов», «Крестовых сестер», комментарии **И. Ф. Даниловой**

Подготовка текста «Пятой язвы», «Плачужной канавы», автобиографий, статья, комментарии **А. М. Грачевой**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор тома **А. М. Грачева**

Оформление **Г. Л. Шацкого, Е. В. Полякова**

**Ремизов А. М.**

Р38 Собрание сочинений. Т. 4. Плачужная канава. — М.: Русская книга, 2001. — 560 с., 1 л. портр.

В 4-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли повести и романы доэмигрантского периода творчества писателя: «Часы», «Крестовые сестры», «Пятая язва», «Плачужная канава», в которых представлены одновременно и реальные, и фантасмагорические картины жизни России начала XX в. Стилевые особенности прозы модерна соединены в них с традициями русской классической литературы. Роман «Плачужная канава» (1914—1918) впервые публикуется как целостное произведение по наборной рукописи из архива Ремизова.

**ISBN 5-268-00482-X** **УДК 882**
**ISBN 5-268-00493-X** **ББК 84Р**

© Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Собрание сочинений А. М. Ремизова, 2001 г.
© Издательство «Русская книга», Собрание сочинений А. М. Ремизова, 2001 г.
© Данилова И. Ф., подготовка текста, комментарии, 2001 г.
© Грачева А. М., подготовка текста, статья, комментарии, 2001 г.

# Часы

роман

*Борису С.*

Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили за-муж, до того дня, как вошел Ной в ковчег,

И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех: так будет и пришествие Сына Человеческого.

*Еванг. Матфея, 24 гл. 38—39 ст.*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1.

— Костя, почему у тебя нос кривой? — донесло будто ветром и ударило в ухо мальчику Косте.

— Кривой?.. врешь! — Костя закусил от злости длинную жалкую губу. Задергался.

А был он такой странный и чудной, и как ни сжимался, как ни прятался, всякому в глаза лез, — башлык не помогал, ветер срывал башлык, — все знали, все чувствовали... Что могли знать они и чувствовать? — они не упускали случая подразнить и посмеяться над уродом.

Вечерами в положенный час выходил Костя из часового магазина, где служил мальчиком, и пробирался через людные толкучие улицы к Собору на колокольню часы заводить.

У Кости в кармане гремели заводные ключи. Этими страшными ключами он мог бы проломить самый упорный череп любому из задирающих его прохожих, но проклятая печать — торчащий на сторону нос не давал ему покоя. Костя чувствовал свой нос, как рану, — разрасталась рана где-то в сердце и, как тяжесть, — тяжелела она со дня на день, становилась обузней и пригибала и ломала хребет.

Сколько раз дома перед зеркалом зажимал Костя между пальцами этот кривой свой нос, сжимал его до тех пор, пока не казалось, что нос выпрямился.

«Мне хочется, чтобы у меня был правильный нос, как на картине!»

«Ты страшней самой образины, ворона!» — ловили его перед зеркалом, долбили, а он, впадая в ярость, бросался, кусал своих обидчиков.

— А если завтра утром, когда раскрою глаза, и пойду вот так к зеркалу и вдруг я буду не такой; тогда скажут: «Костя, — Костя прищелкнул языком от удовольствия, — у тебя нос... кривой».

— Врешь! ты врешь! — крикнул Костя, обороняясь от назойливого приставания, которое преследовало его в свисте ветра.

Если бы перекричать ему всю эту проклятую вечную долбню, но дыхание сперло, мороз пробежал по коже.

И падали, падали на голову обиды, насмешки и всякие прозвища, какие только пришлось ему слышать за всю его маленькую чудную жизнь, какие и сам на себя выдумал.

Ползли обиды, щипали за башлыком, ползли за ворот под рубашку, там кусали грудь.

Там прокусили грудь, слились в гадкую пьявку.

Стала эта пьявка сосать сердце, выговаривать:

— Эге, выкусил? раскроешь глаза, ну и что же? какие у тебя глаза? один косой, другой выпученный. Косой — выпученный. Бельма. И никто никогда не приставит тебе ни носа, ни глаза, никогда! как родился, так и подохнешь, дурак!

— Почему это я дурак? — поддернулся Костя: схватило его за живое.

— Ну идиот, разница небольшая.

Наслаждалась пьявка, разбухала, выговаривала. Раздувалась распутная, мучила. Сосала.

И окатывало жаром засунутые глубоко в карманы Костины руки, саднило пальцы.

Пристанет такая гадина, берегись! — не даст уж пощады.

— Знаю, знаю, — Костя заплакал, и сквозь слезы увидел себя дурак-дураком, так все его и звали, — дурак-дураком: ходил он не так, как другие, а как-то боком, смеялся не так, как другие, а как-то срыву, все не так, не по-людски, — как надо, как? научи меня!

— А почему бы тебе руки на себя не наложить? — захлебнулась пьявка от удовольствия.

Костя фыркнул, задергался, — не мог на такое решиться.

— Так ты еще и дрянцо порядочное, чего нюнишь, чего клянчишь, ну зачем живешь? День-деньской в магазине, потом на колокольне, заводишь часы. Для чего тебе часы заводить? — чтобы шли? — не останавливались? Шли ровно и скучно от часа до часа. А тебя щиплют. У тебя нос кривой. Но дело не в этом. Вообще-то зачем жить?

Костя пристыл к месту.

Вздрагивающие в слезах губы перебирали детскую песню, которую он слышал, как пела жена его брата — хозяйка часового магазина над своей девочкой.

И казалось ему, в словах и в напеве он говорит с кем-то, кто еще светит и светит ему в его темную косолапую жизнь. Казалось ему, он отдает этой чуть слышной песне всю свою горечь, — горечь поет в ней.

Что-то бьется, — никто не услышит, Ты услышишь? что-то болеет — никто не заглянет, Ты взглянешь? что-то горюет — никогда не откроется, Ты раскроешь? — Не дашь помереть тому, кто хочет жить? — Костя хочет жить.

Не двигался Костя, вытянулся, горел, как свеча.

Но в эту минуту какой-то снежный ком пролетел мимо него, шарахнул будто крепким крылом, извернулся и птицей клюнул его в темя.

Все вокруг загасло, — ткнулся Костя носом в обветренный холодный тротуар и лежал так ничком, не смея шевельнуться, маленький и всем чужой.

На себе чувствовал камень, перед глазами стыл камень, пустота и мрак. Будто вымерло все, не осталось ни единой жизни кругом на белом свете. Он умер. Костя умер.

И представляя себе нежданно пришедшую смерть, он ужасался в тоске безнадежной, потому что хотел жить.

А удар за ударом все сильнее и глуше, острее иглы, тяжеле гигантской гири бухался по спине, колотил в загорбок.

И взвизгнул Костя от невыносимой боли, живо вскочил на ноги и пустился.

Бежал, как собака с пришибленной ногой, визжал, как собака.

— Как ты на людей прешь!

— Ишь тебя окаянный носит!

— Сторонись, грызило-черт!

Звенела брань, сверлила в ушах, била по горбу, клевала в темя, пихала под живот.

Дрожью перехватывало все тело.

Поздний вечер темным саваном плыл над городом, сливал и смешивал здания и трубы с тем полем и с тем лесом на окрайнах, зажигал красное полымя, поднимал луну, и давил визг животной боли, глушил крик о пощаде

шмыганьем, гулом спешащих людских шагов и фонарями улиц.

Насытилась, должно быть, пьявка, пристававшая к Косте. Раздутая перевернулась она под сердцем, защемила ленивой губой пустую кожу сердца, выплюнула назад скверную кровь и опять гадким червяком свернулась безглазая.

Прикладывал Костя к носу слипающиеся огромные — не свои — отдавленные пальцы: из носа кровь шла, не останавливалась.

Мазала кровь губы, сгущалась в горле.

— Эй ты, собачья кровь, я тебя! — развернулся вдруг Костя и изо всей мочи хряснул кулаком о фонарный железный столб.

И ясно почувствовал, как никогда еще, ясно: он сам по себе, а все вокруг — другое, он может перевернуть это другое — весь мир, он может перевернуть, он отлично знает как.

— Знаю, знаю, — твердо шагал Костя, гордо выставляя напоказ лицо и поводя кривым носом: он не чувствовал боли, ни пинков, ни затрещин.

Только сердце, как кусочек льда, бултыхалось в горячей груди.

Но скоро растаял лед на сердце.

Гремели в кармане ключи.

Костя схватился за них и, уверяясь в себе, сам превращался в ключ, и ключом уж плелся уверенно в полусне.

И вот кто-то на тоненьких женских ножках, — так показалось Косте, — сам тоненький, появился на тротуаре, засеменил ножками: нагонял Костю, пропадал, потом опять появлялся и носатым хохочущим лицом внезапно заглядывал прямо в глаза:

— Костя, — дрожал Носатый, — почему у тебя нос кривой?

Проходил Костя улицу за улицей, переулок за переулком, залезал в сугробы, катился по льду уверенно в полусне.

Мелькала навстречу, с каждым шагом подвигалась, росла и белела каменная колокольня с золотой главой под звезды.

А тот тянул свое, дрожал от хохота:

— Костя, а Костя, ведь ты можешь двигать горами или нет, а? у тебя нос кривой...

## 2.

Костя взбирался на колокольню часы заводить, по которым жил город. Не считал Костя ступенек, их казалось больше, чем обыкновенно, и одна другой круче.

Высоко задирал ногу. Соскальзывал.

На каждом уступе встречался с ветром. Бросал Костю ветер. Оглушал. Длинными замороженными пальцами — ледяными жгутиками стегал по глазам.

И Носатый, казалось, следом шел, а седые колокола подвывали.

Заглянул Костя к колоколам, выше полез.

И когда достиг, наконец, верхнего яруса, едва уж дух переводил.

Но мешкать нечего было. Тотчас принялся за работу: взглянул по своим часам время, приподнялся на цыпочки и, закусив вялую губу, схватился окоченелыми руками за огромный рычаг.

Наседая всей грудью, стал вертеть.

И зашипели, стеня, пробужденные часы, зашипели нехотя, захрипели старческим простуженным горлом.

И опять замерли.

Нет, тикали — тяжело ходили и медленно переворачивались с боку на бок, отдавались на волю Божью, ибо конца не видели.

Не было им конца, не было силы остановить раз навсегда назначенный ход.

Захолодевший и озябший Костя вдруг отогрелся.

Ощеривая рот с пробитыми передними зубами, схватил он железный прут. И легко, как перышко, подбрасывая железо, бросился к оконному пролету, проворно вскарабкался на подоконник, изогнулся весь и, нечеловечески вытянув руку, дотронулся дрожащим прутом до большой стрелки, зацепил стрелку и повел вперед — —

Побежали минуты бешеным бегом, не могли уж стать, не могли петь, и бежали по кругу вперед с четверти на полчаса, с полчаса на без четверти, на десять, а с десяти на пять, а с пяти на четыре...

Отвел Костя железный прут от часовой стрелки, которую самовольно подвел чуть не на час, и на страшной высоте в шарахающем противном ветре дожидался, когда пробьет.

И, выгнув длинно по-гусиному шею и упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконник, смотрел вниз на копошившийся там, обманутый им город.

Не мог сдержать клокотавшего чувства власти; оно билось кровью в груди и в висках — во всем теле; не мог сомкнуть искривленных хохочущих губ.

Прыскали от хохота слезы, рассекались хохотом.

А стрелка шла, подходила к своей точке.

И вот ударил колокол чугунным языком в певучее сердце, ударил колокол свою древнюю неизменную песню — час свой.

Не мог остановить положенного боя.

Прокатились один за другим не девять, а десять ударов.

И хохотало — звенело, ужасалось, плакало, кричало от нетерпения в этом и в том и в десятом сердце.

Хохотало и плакало.

Луна, как здоровая женщина, задымленная хмелем морозного облака, нагая катилась по небу.

Сгущались погасшие звоны, лезли, дымились, покрывали собой красное пьяное тело.

И стало вдруг тихо до жути.

Только дикий крик пробивал эту тишь. Костя пел.

И, допев свою гордую песню, плюнул вниз на копошившийся город.

Не торопясь и медленно стал Костя спускаться, запер колокольню, пошел домой.

Не было на душе страха, не было боли, и лишь фыркал неусмирившийся хохот:

— Переставил на десять, — десять пробило, хо, хо! — захочу, — полночь сделаю, черт мне не брат, хо, хо! приду, чаю напьюсь, больше всего чай люблю.

И погрузился Костя в ту тьму и бездумье, откуда не выходит ни единого голоса. Гордостью переполнялось взбаламученное сердце.

Заковылял к реке по направлению к часовому магазину.

* * *

На каланче пожарный, закутанный в овчину, в своей ужасной каске вдруг встрепенулся и, тупо вперяясь глазами в город, искал пожара, — огня же не встретив, зашагал привычно вкруг раздувающих черных шаров и звенящих проволок.

Отходящие поезда, спеша, нагоняли ход, свистели резко, резче, чаще.

Подгоняли, лупили кнутом извозчики своих голодных лысых кляч, сами под кулаком от перепуганных, торопящихся не опоздать седоков.

Согнутый в дугу телеграфист бойчей затанцевал измозолившимся пальцем по клавишам адского аппарата; перевирая, сыпал ерунду и небылицу.

Непроспавшиеся барышни из веселого дома «Нового Света» размазывали белила по рябоватым синим щекам и нестираемым язвам на измятой, захватанной груди.

Нотариус, довольный часу, складывал в портфель груду просроченных векселей к протесту.

И кладбищенский сторож с заступом под полой шел могилы копать. Сторожева свинья хрюкала — чуяла себе добычу.

Пивник откупоривал последние бутылки. И запирали казенную лавку.

Беда и горе переступали заставу, разбредались по городу, входили в дома.

И отмеченная душа заволновалась.

Ждала казни.

Господи, просвети нас светом твоим солнечным, лунным и звездным!

### 3.

Маленькая сгорбленная фигурка в башлыке зайцем мирно перешла реку, приостановилась у губернаторского дома, заглянула в ворота, помешкала и пошла себе дальше.

Что думал Костя, чего хотел? — окликали его мысли случайными голосами, придерживали и отпускали. Шел он, потому что должен был идти, сворачивал, потому что кто-то направлял на повороты, стоял, потому что удерживала чья-то рука.

Дворники запирали ворота. По дворам выпускали собак. Шныряли какие-то серые люди, притаивались у заборов, в пролетах, дрожали и прыгали от холода.

— Зайти к моей прелести! — осклабился Костя и прибавил шагу.

И теперь шел он с одной нераздельной мыслью: зайти к своей прелести.

Поравнявшись с галантерейным магазином, Костя туркнулся в окно и, фыркнув от удовольствия, рванулся в дверь, как завсегдатай.

— Здравствуйте, как поживаете? — ловила протянутая рука Кости маленькую ручку, но ручка, насмехаясь, увертывалась.

Лидочка — хозяйская дочка — поводила сахарно-выточенным носиком, не отвечала ни слова.

— Что, Костя, жарко? — подвернулся приказчик, белобрысый малый с лысеющим капульком.

Костя смотрел свысока, не опускал протянутую Лидочке руку:

— Подите сами, жарко...

— А я себе думаю, — приставал приказчик, — чего это у тебя, Костя, носик припекло?

— А у вас волосы выскочили, мудрая головка!

Задетый приказчик гадко хихикнул:

— Пойди-ка лучше погуляй, а то по тебе больно соскушнились, чуча!

Тыкался Костя у прилавка, бормотал что-то под нос, не хотелось уходить.

«Мудрая головка» — насупившийся приказчик свертывал коробки, Лидочка считала кассу.

— Будьте здоровы! — стукнул Костя дверью и срыву расстегнул пальто; шатаясь, как пьяный, пошел к себе.

Но было уж поздно. Часовой магазин запирали.

Через наложенные на окна решетки виднелась без абажура жестяная лампа — бессонная сторожиха. Она стояла под разинутой металлической пастью огромного граммофона. Граммофон замирал в зевоте.

А вокруг по стенам, засыпая, часы ходили, такие странные и чудные: передернутые судорогой, с кислой улыбкой, обиженные, горькие, насмехающиеся.

И тускнели в своем забытьи всевозможные золотые вещицы, драгоценные безделушки, теперь неприглядные, напоминая о том непременном конце, который в свой час всякому придет и не спросит.

Снаружи стояла суетня.

Навешивали ставни на двери, замыкали петли, — гремели ключи.

Все были в сборе: и мастер Семен Митрофанович, одутловатый с маленькими бесцветными глазками, весь

какой-то провяленный и рыхлый, слишком широкий от шубы внакидку, и Мотя — глуховатый приказчик, — брат хозяйки, с чуточными смехотворными усиками, и Рая — старшая сестра Кости, нечисто-бледная, вертлявая барышня, и мальчишка Иван Трофимыч с недетски серьезным личиком без всякого намека на рост, прихлопнутый истертой шапчонкой под барашек, и сама хозяйка Христина Федоровна, — первая в городе красавица, и вислоухий пес Купон.

— Позвольте вас спросить, — остановил мастер хозяйку, — Сергей Андреевич будут завтрашний день?

Христина Федоровна взглянула — смерила, круто повернулась и пошла прочь.

Костя, всем мешавший и всеми отгоняемый, загоготал, схватил мастера за пустой рукав и, захлебываясь, перебивая себя, пустился рассказывать о своем свидании с Лидочкой, и как поддел он «Мудрую головку», и как Лидочка глазки ему сделала.

— Братец-то твой, Сергей Андреевич, знать тю-тю! — перебил Костю мастер.

— А какие хорошие глазки у Лидочки!

— Нынче все вот так, платить не охóчи, нé люди, а шкамардá.

— Знаете, Семен Митрофанович, у меня интересная особенность: когда я вхожу — здороваюсь, а когда ухожу, не подаю руку.

— Стрекача-то, брат, дашь, а сцапают — насидишься в единичном, — продолжал свое мастер.

— Как в единичном?

— А так, очень просто, за эту самую несостоятельность-то посадят голубчика, изволь-ка там крысам хвосты лизать, да считать тараканьи шкурки.

— Тараканьи шкурки? — переспросил Костя, и тревога охватила его душу, он выпустил рукав мастера, да во всю прыть пустился за Христиной Федоровной.

Порол горячку, а она все далеко: плывет, не остановится.

Больно стукнулся Костя, поднялся, опять зажарил во все лопатки.

— Христина Федоровна! Христина Федоровна! — надсаживался Костя во всю глотку.

Христина Федоровна оглянулась, вспыхнула — глаза так и обняли, и вмиг погасли.

— Где Сережа? — закричал нечеловечьим голосом Костя.

И ответа не было.

— Где Сережа! — беленился Костя.

— Не твое дело, молчи! — обрезала.

Костя окрысился, засопел. Шмыгал злой сзади. Держал встревоженную женщину будто на веревочке.

Оплеталась эта веревочка вкруг ее сердца, с каждым шагом узелок затягивался. Рвалось сердце, а высвободиться не имело сил.

— Худо живется, — забормотал Костя, — лягу спать, не спится, залезняк ходит.

— Ты бы лучше расстегнутый не шлялся и читать тебе вредно, понимаешь?

— Сам с собой разговариваю, и все пробуждает. А как правильнее: пробуждает или разбужает?

— Достукаешься ты, и так худорба! — Христина Федоровна одно в мыслях держала: когда-то, наконец, этот идиот отвяжется? так Костя насолил ей.

— А угадайте, кого я сегодня встретил? — брякнул Костя.

Нервно повела плечами.

— Господина Нелидова! заходил я в аптеку за роскошной мазью, выхожу, а он и стоит.

И Христине Федоровне захотелось вдруг видеть этого человека теперь же, немедля: он сумеет сделать, он спасет их.

— Большое, говорит, случилось несчастье.

— Что?

— Большое, говорит, случилось несчастье... Христина Федоровна, где Сережа?

Но она рванулась... не оборачиваясь, пошла ходко, быстро-быстро.

— Хо-хо! — пустил ей Костя вдогонку.

Шел Костя важно, удивлялся себе — своей силе. Захочет, и все его забоятся, ходить за ними будут, просить его милости, а он всех в единичное запрячет. Пускай тараканьи шкурки считают.

Держал он в руке ключи, как скипетр, кланялся кому-то, улыбался.

Так подошел он к дому, перелез через забор в палисадник, тихонько пробрался к окошку.

У окна за столом сидела другая младшая его сестра Катя; гимназистка, сжимая виски, долбила уроки.

Задумал Костя отпалить штуку: стукнул в окно и спрятался.

Отвела Катя глаза от книги, забеспокоилась.

А он опять к окну: приплюснулся лицом, да как состроит рожу...

Вскочила Катя, замахала руками.

— Хо-хо! — фыркнул Костя и, гордый, направился в дом.

### 4.

— Отступись ты, идиот носатый, и так из-за вас житья нет! — отбивалась от Кости Ольга, здоровенная кухарка, подоткнутая, со взбитой прической, как у Раи.

Но Костя и не думал отпускать: зверски закусив свою дрожащую губу и стараясь сграбастать под себя Ольгу, крепко впивался в ее грудь.

Дергала Ольга руками, щипала эту несносную пьявку и, как-то, наконец, изловчившись, саданула его в зубы, да со всего размаху бац об пол.

Поднялся Костя, — ему не впервой, нарывался! — и, обдергивая куртку, страшно сопя, пошел наверх в столовую.

— Сволочь, надóлба кривая! — хрундучáл по дороге.

В столовой горела лампа.

Горячий потухал самовар: что-то ходило в нем и постукивало, как в поезде ночью, когда не спится.

Молча поставила Христина Федоровна кружку с чаем, положила кусок хлеба.

Отхлебнул Костя, засунул в рот мякиш и, раздувая скулы, принялся нашкваривать.

А Христину Федоровну замыкал тесный круг, из которого она не могла уж выйти и когда, казалось ей, вырывалась, — падал взгляд на Костю, и с ужасом и отвращением лезла душа в свой плен.

Уехал ее муж Сергей, брат Кости, он не мог не уехать, — некуда было деваться: дела так пошатнулись, платить нечем.

И шла она мыслью шаг за шагом весь этот день с минуты, когда неизбежность окружила ее, загородив пути.

Оставалась лазейка, одно спасение — вера: произойдет что-то и поставит все на прежнее место, произойдет чудо. Но и этот выход захлопнулся тогда, на вокзале, — чудо не явилось.

Она мыслью гналась за Сергеем. И вспоминала. Вот они попрощались. Третий звонок. Поезд трогается, — нет уж исхода. И, все представляя сначала, вспоминается ей, как однажды попала она на молебен: отправляли солдат на войну; и вот один запасной солдат, когда священник возгласил о путешествующих, страждущих, плененных, выскочил из фронта, вырвал ребенка из рук жены и задушил его... И, вспоминая этот молебен, вертит она головой, жмурится. Вертится мысль ее. Вот догоняет она поезд. Она в том же самом вагоне рядом, вместе с мужем. Но он не видит, — — видит, только не смеет поднять глаз. Неизбежно.

Перескочила к утру. Они сидели рядом, вместе. Все было кончено, только жила еще вера — явится чудо. Забыла тогда: этот Нелидов, он спас бы их, нашел бы средство. Он спас бы их. А теперь поздно. Но ведь, случаются же такие неожиданности? — нет, только не с ними.

И ей представилось ясно: сонный вагон, Сергей забился в угол. Вдруг схватило, — екнуло его сердце: вернуться! Приподнимается он, смотрит в окно, а поезд мчится — ему нет дела, кругом одна равнина — ей тоже нет дела. Сжимается весь, не знает, что и делать. Если бы найти хоть самую маленькую лазейку, уйти отсюда! думает он. Ничего не найдешь. — Спит вагон, мчится поезд, спит равнина. А прожитые дни вырастают в плети и, взмахнувшись, падают — хлещут и хлещут...

— Ха! — захлебнулся Костя и чихнул в кружку.

Христина Федоровна застыла.

Страшная мысль ударила ей в голову: они — братья, Сергей и Костя, — и, вспомнив, как дорогой обманулась, приняв Костю за Сергея, не могла уж простить себе этого обмана и приняла в сердце холодное раздумье: вот у них и уши одинаковые и еще что-то...

Поморщилась от гадливости, а круг мыслей наперекор замкнулся.

Хотела бы вскочить и кричать на весь дом, на весь город, на весь свет, убить в крике тоску и ужас и него-

дование, все, все, — она и сама не знала, что переворачивается в ее разожженном сердце.

Вдруг клокотанье наполнило комнату, оно росло, прорезалось сипеньем, ползло хрипом, и опять перекатывалось.

Было так, будто тут под самым ухом кто-то нарочно скребет тупым ножом по стеклу. И не зажать ушей, некуда уйти.

Шмыгая туфлями и запахивая засаленный коричневый халат, подполз согнувшийся, изможденный старик, отец Кости. Молча дрожащей рукой подвинул стул.

И только что старик уселся и, видимо, успокоился, снова схватила его боль. Судорожно распахнув халат, он судорожно впился костлявыми руками в волосатую грязную грудь и захрипел.

Долго еще клокотало что-то, — его не удержишь и остановить не остановишь.

— Сережа уехал? — спросил старик, отдышавшись.

— Вы знаете, — ответила Христина Федоровна сухо и прокляла в своем сердце этого страшного старика, притворщика и развратника.

Да, лжет, притворяется, хочет, чтобы оставили его, не беспокоили, не просили, а у него есть деньги, — она знает, — но он не хочет, сына не хочет из беды выручить.

И, проклиная, цеплялась невольно за все те унижения, за все те упреки, какие в злобе против человека у человека рождаются.

Видится он ей полураздетый, грязный, источенный сухоткой... его беззубый слюнявый рот, вытаращенные мутные глаза, эти гадкие руки... тогда, как Ольга, засучив себе рукава, натирает ему грудь, и водит он руками по ее голым рукам, и, бессильный, сопит. И эти вечные горчичники, от которых не продохнешь.

«У! жену ты свою отравил, поганый, всех детей отравил, и этого идиота на свет вывел... как собака на сене!» — срывается тайно ненависть.

Старик, видимо, подслушав тайные ее мысли, виновато заморгал глазами и, потеряв всякую надежду, что дадут ему хлеба, сам потянулся, но достать куска не мог.

Костя догадался, полез через стол и, потянув скатерть, задел рукавом налитый стакан.

Перевернулся стакан, покатился и бацнулся об пол.

Вскочила Христина Федоровна, вскинула руки, странно

повела глазами и, опомнившись, бросила ключи, пошла из комнаты.

— Опять наворзал, — ворчал, вытираясь Костя, — а ну их к Богу!

И, когда затихли ее шаги, старик закрыл глаза, обождал минуту, приподнялся со стула и, робко озираясь, запустил всю пятерню в коробку с шоколадом, ссыпал горстку на ладонь и принялся глотать без одышки и алчно, как голодная птица. Давно старик забрал себе в голову, будто он самоглот, может съесть сластей, сколько влезет. Да и наверстать надо. Наевшись вдосталь, пока не замутило, опять согнулся и, отхлебывая сиротливо пустой невкусный чай, горько задумался о своей старческой собачьей жизни.

Передал он сыну магазин и дал денег на первое обзаведение, — прахом пошло. А сколько было труда положено, мытарств пройдено. Сколачивал копейку, ночей не досыпал, гнул спину, во всем себе отказывал, — прахом пошло. А с тобой, как с собакой обращаются, да, как с собакой! И теперь хотят, чтобы денег дал. Каких еще денег? — у него нет и ломаного гроша за душой. А будь он, все равно не дал бы, так по ветру пустить? — нет уж, шалишь!

Правда, денег он мог бы достать, да не хочет, а не хочет, потому что обращаются с ним, как с собакой, хотят в гроб вколотить, и эта мысль о какой-то своей власти обогрела его старое, изморенное застарелой болезнью тело.

— Костя, — позвал старик ласково, — ты сегодняшнюю газету читал?

— Не читаю я газет, не такой я человек, — Костя ковырял распустившийся утром цветок, отколупывал лепестки, чтобы попышнее цветок сделался.

— Ишь ты! — подмигнул старик.

— О животных, — продолжал Костя, — речи адвокатов, о диких народах, вообще что-нибудь философское, — это моя страсть, потому что природа действительно есть все... путешествия, зарождение миллионов, отчего они происходят, к чему и какая их должность, назначение. Есть не стану, читать буду. О войнах же не моя страсть, — это страсть маленьких детей.

— Ты, Костя, глупый, чушь мелешь, съедят тебя мухи с комарами! — старик подвинул сардинки и, вытаскивая пальцами одну за другой, стал уписывать.

— А хотел я вас спросить, папаша, — задумался Костя, — есть ли такая книга, где было бы все написано, чтобы вся жизнь там была написана? как жить?

— Была одна, да сплыла, — старик качал головой, чавкал и мазался, — а называлась она голубиная...

— Голубиная... — протянул Костя.

— Курам на смех! — крякнув, напихтеривался пихтеря, — текло масло по бороде на халат.

— И зачем жить, коли помру, непременно помру, и никакого удовольствия от жизни нет, так зря, — Костя бросил цветок, подошел к столу, уставился на старика, — хочется мне, папаша, на трубе учиться; учитель Кати говорит, что я слабый, нельзя мне, ну туда мне и дорога; хочется мне, папаша, тайком выучиться, чтобы никто не знал.

А старик скорчился вдруг: показалось ему, будто из его чашки коровьи ноги торчат.

— Костя, ты ничего не видишь? — спросил перекошенным ртом.

Костя вылупил глаза:

— Где?

— Да подойди поближе, дубина стоеросовая!

Но уж кашель сдавил больную грудь, прогнал коровьи ноги, которые в последние дни всюду мерещились старику, поднялся старик и, судорожно запахивая халат, направился к дивану.

Улегся на диван.

— Худо живется, — бормотал Костя, — прощайте, на боковую пора.

«И зачем жить, коли помру!» — стонало в старике, не смотрел старик, боялся коровьих ног и вспоминалась ему молодость, здоровье, жена покойница, вспоминалось, как такое далекое и невозвратное, поверить трудно, что было оно не во сне, а на самом деле.

Приподнялся, разинул рот — —

И сидел так с единой ноющей болью далекого, ничего не видя, не слыша, с единой ноющей болью невозвратного.

Костя постоял у окна, обвел глазами морозную даль и луну, обошел все углы и, став как луна, спустился вниз.

Пришла Рая и Мотя, разговаривали какими-то только им понятными полусловами на тарабарском языке, попили наскоро чай и ушли.

Пришла Катя, задумчивая, утомленная, отщипнула хлеба, подошла к зеркалу, посмотрелась так, будто кто смотрел на нее, — запечалилась. Прошлась по комнате, открыла пьянино, но, заметив отца, тихо опустила крышку, — поспешно вышла.

Пришла Ольга, сильными руками быстро перемыла посуду, поставила в буфет, опустила в карман себе горсть сахару и, схватив самовар, понесла в кухню.

Прибежал пес Купон, понюхал старика, посмотрел в окно на луну, свернулся у дивана и заснул.

Сидел старик, не двигался.

И уж казалось ему, в голове у него завелись тараканы, и была голова полна тараканьих яиц так, что перло. Он чувствовал, из глаз уж высовываются тараканьи усы, чувствовал запах тараканьих яиц и не двигался.

Был он похож на то страшное, — оно стережет всякое жилье, оно стоит под дверьми и, подслушав счастливое слово, вычеркивает кровью и открывает чуть видную щелку для глухой беды.

Выскочила из часов кукушка, торопливо кукукнув, спряталась в домике.

Шло время, откалывали часы миг за мигом в пучинную вечность без возврата, а может быть, чтоб повторить миллион миллионов раз одно и то же, Бог весть.

## 5.

Христина Федоровна зажгла свечку.

Нет, не могла заснуть.

Неразобранная кровать мужа лезла в глаза.

И все-то припомнилось ей с первого дня, каждый прожитый день.

А круг измытаривших мыслей обнял ее и снова замкнулся.

И она металась, рвалась из рук, сжимающихся вкруг ее шеи все крепче и туже, до того туго — нечем дышать стало.

Задохнулась, вскочила, принялась ходить.

Плыли в глазах красные кружочки, в кружочках прыгали гуттаперчевые мальчики.

Метнулась к кроватке.

В кроватке, раскинувшись, тихо спала девочка, оттопыривала губки.

— Девочка моя, ненаглядная, спишь ты, не знаешь. А что будет, чего нам ждать? — и остановилась, выпрямилась, — нет, я хочу жить, и ты будешь жить; будем вместе, вот так! — стиснула руки, — я возьму, я вырвусь из этих проклятых тисков, будут душить, у меня хватит духа, будут унижать, не отдам себя. Я молода еще, у меня достанет сил. Не затопчут, не хочу!.. — улыбнулась горько, подумала: еще и дня не прошло, завтра день, потом другой, потом третий, десятый, месяц, год, еще год...

Застыла. Словно кто-то полыснул ножом.

Ужаснулись широко раскрытые глаза.

За стеной, как тогда, поднялось клокотанье, перекатывалось оно, шумело хрипом и свистом. Старик задыхался.

Было так, будто тут под самым ухом кто-то нарочно скоблит ногтем бумагу да похрустывает пальцами. И не зажать ушей, негде схорониться.

Она сжимала руками пылающие виски, а сухие глаза разгорались, казалось, кровь из глаз капала, капая, собиралась пятном на белой сорочке. Хваталась она за сердце. А кружащая мысль сверлила мозг, сверля, добиралась до какого-то тайного нерва; найдя этот нерв, тут рассекла.

Упала она на колени. Бледная.

— Господи, прости меня, прости, прости!

И крепко молилась со всей бесконечною верой покинутой женщины, молилась за него, за себя, за старика, сама не знала, чего просит, о чем молится.

Встала. Шаталась. Обессиленная останавливалась. Передвигала бесцельно вещи на столе, сосредоточенно бессмысленно переставляла книги и безделушки. Прислушивалась. Смотрела в лунное окно.

За окном искрился зеленоватый снег.

Искрился распущенный во все концы большой дым.

Мелькали мысли искрами.

— Большое случилось несчастье. — —

— Кто это сказал?

— Костя?

— Нет, а кто же?

Вспомнила. Закраснелась от нахлынувших дум.

Ворковала охмелевшими губами. Воркуя, просила. Прося, желала. Улыбалась, тоскуя. И в тоске горела.

— Еленочка, дитяточка моя, маленькая! — припала она к кроватке, целовала крошку. И высоко от рыдания подымалась грудь, как от великой непомерной радости.

Таяла свеча.

Питала пламя.

Пылала.

Пылала ярко-радужно, как восковая, золоченая.

И золотой маленький маятник старинных часиков бегал — дрожал, как живчик, весенней дрожью.

## 6.

Внизу, в детской спала Рая и, животно пугаясь, грузно переворачивалась и раскидывалась под спирающей дыхание непонятной тяжестью. Тяжесть, накатывая и рассыпаясь приятной щекочущей дрожью, держала ее в оцепенении и опять отпускала.

Снился Рае глухой дом. Ходила Рая по запутанным коридорам. Прошла она все коридоры и возвратилась к двери, возвратясь к двери, забилась в темный чулан и там погрузилась в ту жизнь, какой живет девушка, к которой прикоснулись, которой полуоткрыли лик женщины.

* * *

Катя ворочалась с боку на бок, не могла завести своих печальных глаз.

Шел у ней свой разговор, — его ничем не уймешь.

Она хорошо знала, не вернуться брату, и так же хорошо знала, — неудача стережет их дом, а счастье... приотворит счастье дверь, выглянет и нет его, уж след простыл. Но она не знала, всегда и везде ли так, или только у них, с ними. А кругом столько смеха, столько веселья, и так порой хочется до упаду смеяться...

Если бы возможно было начать жизнь сызнова, если бы возможно было стать маленькой, как Еленочка, и мечтать, что вот через несколько лет ты поступишь в гимназию и у тебя будет темно-зеленое платье с черным передником, а пройдет еще много-много, и тогда объехать весь свет, все узнать... Теперь бы она начала жизнь совсем не так.

Раскрывались губы, просили... просили вернуть то время, чтобы мечтать о темно-зеленом платье с черным передником и думать, что котята родятся, когда подымается ветер, и плакать, что не умеешь доить петушка, и чтобы все до единой снова пришли игрушки... и лисичка и заинька и медведюшка...

Взрывался сухой треск с деревянных обледенелых мостков тротуара; кто-то хрустел снегом под самым окном, кто-то пугал, приплюскиваясь лицом к холодному стеклу.

Неумолимо ходили невзрачные пыльные часы в тяжелом стеклянном футляре.

И маленькие черные часики на тумбочке у кровати ти-тикали.

— Если бы вы сказали мне...

Катя прислушивалась к часикам, ей все казалось, она могла бы по этим чуть внятным звукам, по этим чуть брезжущим голоскам, она могла бы пробраться в какую-то такую глубь и там все увидеть.

Они ее примут.

Они возьмут.

Они поведут ее.

Уехал Сережа, вчера об этом никто и не думал, никто не знал. А когда умирала мама и кричала на весь дом, все знали: смерть вошла в дом. Уехал Сережа.

— Вы знали?

И вспомнилось Кате, что прошлым летом, — это было так недавно, — она жила с братом в курорте, там жил один студент, и она полюбила его, и верила, будет любить до самой до смерти.

Понимал ли студент, кто его знает? Брат это видел и знал и ни разу не обидел ее, как обижала Рая — гадкая Рая, хитрячка, как дразнил Костя — гадкий Костя, глупыш.

И если бы спросил ее Сережа, она открыла бы ему все свое сердце. А ей так хотелось открыть свое сердце.

Но теперь он не спросит.

Не вернется.

— Нет, неправда, этого быть не может!

И залилось сердце девичьей радостью первой любви, — повела ее нежданная полную надежд к свету, к свету.

Она полюбила, верила, будет любить до самой до смерти.

Лунные тучи шли за окном, — шли ее дни наступающей жизни и наливались.

Вернется, вернется!

Снова прокатился сухой треск с деревянных обледенелых мостков тротуара, глухо рассек заиндевевший воздух; кто-то тихонько подкрался к окошку, хрустнул снегом.

Зелено-вязкий свет, обливая комнату, проник в вещи.

Блестели черные часики.

Они ти-тикали, заговаривали, они баюкали, утивали это девичье расцветающее сердце.

## 7.

Подгулявшая компания шумно и нетвердо выломилась из веселого дома «Нового Света». В «Новом Свете» тушили лампы, на угарный ночлег готовились. Музыкант свою дешевую музыку складывал, тапер последнюю ноту взял.

И за что Ты так мучаешь, приходишь без поры, без времени, сокрушаешь сердце, страхом страшишь, обманываешь? Почему не откроешь лица своего, землю не назовешь своей, Ты — вечное причалище, вековое приголубище — жизнь моя, ад и рай мой.

Мастер Семен Митрофанович держал под руку осоловевшего Мотю, и отделившаяся от дверей, как стелька, пьяная пара колесом двинулась вниз по улице.

Было светло и ясно от прыщущего зеленоватого света.

Богатым жемчугом рядились деревья.

Крепкие ветви скрипели под тяжестью белых драгоценностей.

Гнилое жилье, измученные черные окна, продымленные крыши украшались серебром, будто в сказке.

Мастер изливал Моте свою рассолодевшую душу:

— Полюбила меня эта самая дама. Хочешь, говорит, Сеня, денег, все — мое, говорит, располагай, как знаешь. Хорошо. Справил на Троицу я светленькую пару мордоре, закатился в парк. Вместе и снялись <на> карточку. А у самого вертит в голове: забудешь, злодейка. Нет, письмо за письмом, души не чает. Приезжай, говорит, или я сама к тебе нагряну. И поеду. Не омег я, невольник какой, водить за нос себя не позволю, тоже хозяйка, — плеха! Хочешь, говорит, тысячу, хе! а подружка ее Плюгавка ту же канитель тянет, лезет нахрапом, ей Богу: Сеня, говорит,

если тебе наскучит в этих странах, палестинах, опостылит или просто так... — мастер остановился, стал рыться по карманам, выбрасывал какие-то скрученные кусочки ненужной бумаги, а писем Плюгавки не оказывалось, — черт, стерьва, хряпка! — грозил вгорячах, бросил искать, махнул рукой, — Сеня, говорит эта самая дама, бери меня, как мертвого...

— Я испытал жизнь, — выговорил с большим усилием Мотя и спотыкнулся, — я приехал в Петербург и в ту же ночь схватил себе...

— Хи!

— Заявился к доктору на следующий день. Доктор говорит...

— Ну и дурак.

— Доктор говорит...

— Чего говорит, черт! У меня, брат, этот твой самый насморк с незапамятных времен длится, да я плюю на него, башка!

— Доктор говорит: молодой человек, я испытал жизнь...

— Испытал! Глухая ты тетеря, мразь, пропускной боров!

Мотя обиделся. Намереваясь высвободиться из объятий мастера, выдернул руку, и шлепнулся.

— Сукин сын — сукин сын... — цедил сквозь зубы, но подняться невмоготу было.

Пополз.

Мастер оживился. С какой-то необыкновенной бережливостью поставил он Мотю на ноги, взял под руку и потащил. Дотащив так вплотную к забору, отпустил и, зайдя сзади, легонько взял его за шиворот, минутку промедлил, и несколько раз с великим наслаждением потыкал беззащитного носом в заиндевевший забор.

— Тетеря, плешняк, нюхало!

Мотя не сопротивлялся.

— Сукин сын... — цедил он сквозь зубы.

Пошли молча.

Шаландались их тени в лунном свете. Шныряли собакой. Кораблем плыли. Тонули.

Мастер отмяк и заговорил так, будто из рукава сыпал:

— Был у меня, брат ты мой, один знакомый почтовый чиновник Волков, нрав тихий, а елдырник страсть, и нарвись он, этот самый Волков, не на твой дурацкий насморк, а почище, и миндаль не поможет. Походил с

ним малую толику. Для поправления женился, — говорят, помогает. Пожил с год, жена к родителям укатила, а он, я тебе скажу, какую штуку выкинул, ей-Богу. Придешь, бывало, да так этак, как, мол, Волков, твоя собачка поживает благоверная? А он смеется. Или тебе не противно? Нет, говорит, такая уж у меня замашка. А в конце концов пристрелил. И жену и собаку. Будет, говорит, насладился.

— Я испытал жизнь, — перебил было Мотя.

Наткнулись на городового.

— Мы идем тихо и не безобразничаем, да, а ты чего? — задрал мастер.

Городовой спросонья схватился за селедку, замахнулся, но, раздумав, зашагал прочь.

— Нет, ты чего морду воротишь, пера в боку не носил, уу! — собачье!

— Сеня, я тебе чистым русским языком говорю, обожди, голубчик, пойдем, — захлюпал Мотя.

— Не хочу я, чтоб ты со мной шел, иди!.. скажите, пожалуйста, какое? — не позволю я, чтобы мне прикосновение делали, дрянь!

И долго еще не мог успокоиться мастер, давно уж прошли городового, давно уж спал городовой, а все ершился, пырял то в Мотю, то в фонарь, то так в пустышку.

Вдруг заслабел:

— Свеженьких яичек всмятку, хочешь, говорит, Сеня, тысячу яичек?

— Я... я хочу, — сопел Мотя в сверхсильном борении и морщил глубокомысленно лоб, словно ошибку в счетах искал.

Сами собой закрывались глаза. Зашибало смекалку. Так бы вот лечь и заснуть, и спать бы, спать до скончания веков.

Благо дом не за горами.

Слава Богу, дотащились. И, норовя не топать, не сковырнуть чего, как нарочно стучали и все опрокидывали.

Морило.

Взбуженный мальчишка, Иван Трофимыч, разувал.

— Иван, — куражился мастер, — крестись и целуй меня в пятку!

Мальчишка тупо вертелся вкруг штиблеты, не понимая толком.

— Иван, крестись и целуй меня в пятку! — повторил мастер.

Но и это не подействовало. И только, когда волосатый кулак опустился на крохотное бесшейное туловище, мальчишка покорно нагнулся и, часто закрестившись, поцеловал взасос мозолистую прелую пятку.

* * *

Храпел Мотя, храпел мастер.

Работали носы, что твоя машина.

На цыпочках вышел Иван Трофимыч и, прикурнув на сундуке в темном коридорчике у черного хода между приказчичьей и кухней, начал свой второй сон, начал нехотя, невкусно, будто, претерпев час еды, брался за третевошние щи.

Только потому, что без этого не обойдешься, иначе жить нельзя, — так делают большие и старшие, так и ты должен.

Слушаться тоже должен, терпеть. Ты не собака, все съешь.

А не съешь, надают подзатыльников, вытурят.

Вытурят, куда пойдешь? где приклонишь голову?

А придавленное сердечко мечтало под лохмотьями:

— Выйду в люди, куплю часы большущие, сто пудов с цепочкой с серебряной... дам тогда уж настоящего!

## 8.

Лежал Костя на спине страшный в лунном круге, водяной какой-то, вместе и каменный, дрыгал по-лягушачьи ногами.

Снился Косте сон, будто он вырвал себе все зубы и оказалось, не зубы носил он во рту, а коробочку из-под спичек, да костяную прелую ручку от зубной щетки, и ноги будто у него не ноги, а окурки.

Вот лезет он на этих окурках в пасть невиданно огромного граммофона. Трудно ему, труба гладкая, и режет глаз металлический резкий блеск. А нельзя не взбираться. Изодранные руки соскальзывают, и весь он назад катится, но упорно цепляется. Подымется нанемного — соскользнет, подымется нанемного, лезет и лезет. Из сил выбился, да и граммофон сужается: жмет, колет, сдирает ему волосы. И видит вдруг Костя — дыра перед носом. Заглянул, а там пропасть. Не миновать ее. Так страшно, будто по

спине снегом трут. Изогнулся весь, надсадился, взмахнул рукой, зацепил за перекладину, но что-то схватило его, — проскочили ноги, не выдержала рука, — провалился. А мастер Семен Митрофанович, будто подпер бока, трясется от хохота:

— Единичное, брат, единичное...

* * *

На колокольне пробило три.

Три раздумных, три долгих удара, три положенных древних напева.

И было на земле смертельно тихо.

Сгущались погасшие звоны, плыли и плыли, не могли найти своего крова.

Бездымная луна еле держалась, истощенная с бродящей зачатой болью и отвращением в разжиженной излишеством перепылавшей крови, а вокруг нее бледной без конца широкая равнина опустошенного ложа и зелень и бред и скука.

А над домами высоко, на самом верхнем ярусе соборной колокольни в оконном пролете, упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконник и выгнув длинно по-гусиному шею, хохотал кто-то, сморщив серые, залитые слезами глаза, хохотал в этой ночи лунной.

— Чего балуешь, Костя! — окрикнул со сна старик соборный сторож, принимая Неизвестного за Костю и, заломив голову кверху, ужаснулся.

Шагал старик свою полосу, кутался в тулуп, шагал вкруг холодной, такой суровой и гордой белокаменной колокольни...

И не введи нас во искушение,
но избави нас от лукавого!

---

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## 1.

Солнышко —
Ведрышко,
Выгляни!

И повторяя эту детскую песенку и, как когда-то, улыбаясь, поднялся Нелидов со стула и, забывая себя, протянул руки входящему через окно сонму красно-золотистых лучей зимнего заката.

Да, как когда-то, до всего, что отсекло его от мира, бросило в этот суровый город, захлопнуло сердце.

Прыгало сердце от радости, — ею просвечивает тело ребенка, когда весь он, проникаясь, обливается этим блещущим теплом и этим светом теплым.

Как почувствовал Нелидов на краткий миг всю свою близость к нему! Это то самое... — о нем грезил он для себя и других всю жизнь среди гвалта и свиста безостановочной борьбы, — ей не видно конца и нет оправдания.

Если не обратитесь и не будете, как дети, мир не переменится. Всегда останется борьба и смерть, пресыщение и скука.

Эта безоблачность глаз, эти вздрагивающие от звонкого хохота губки, эти маленькие милые ручки, — солнце сливается с телом, и твое тело становится нераздельным с телом солнца.

Не грозный, пришедший карать человека, истерзавшегося на истерзанной земле, не твердый, отсекающий мечом сына от матери и мать от сына, не гордый, восседающий на троне заоблачных высей, куда не досягает ни одна жалоба, ни одна слеза, ни одно пожелание... — у Него светлые глаза, полные безраздельного бесконечного:

Приидите ко мне!

Слово, воссиявшее в сердце, облитом кровью крестной муки, в перемучившемся сердце тоской неминуемых стра-

даний, изъязвленном сердце обманом, заушением, всеми бедами бед человеческого существования, это слово —

Приидите ко мне!

И вся земля, — придет такое время, — и все живущее на ней в крови, тоске, в травле, в казнях, в крови, тоске, — придет такое время, — уже скорченное нестерпимой мукой и отчаянием, готовое навеки потушить последнюю жизнь, — станет, и единый тихий луч выйдет из раскаленного сердца:

Приидите ко мне!

Стоял Нелидов, как бесчувственный, в свете светящейся золотой пыльцы, в темных стенах, отделенный от темных стен.

И медленно опустились руки.

Наперекор согревающему свету заговорила вся накипевшая боль.

Что он сделал? что он мог сделать?

— Ты просто один из тысячи похожих и отличающихся лишь названием фамилий, ты просто некий господин Нелидов, один из тысячи бывших, настоящих и будущих. Захряснул в водовороте мелочей и грызни за какое-то ничтожное существование, лишь бы жить, лишь бы жить и вечно лезть в свалку и вечно отскакивать ошарашенным и других ошарашивать. Только.

Но что-то, трепетавшее еще в душе не хотело сдаваться, не могло остановиться.

— Мир не может не стать иным, и люди не могут дальше жить, не изменившись, ну хоть в последний час, ну хоть в прощальном вздохе...

А день гаснул. Заходило солнце.

Вздувался ярко-голубой, затканный золотыми нитями, вечерний отблеск; чьи-то руки там за далью разрывали куски тяжелой парчи; находили со всех концов тени молчаливые, бездушные, тушили огонь, превращали алые облачки в кровавую сочащуюся рану.

Умирали слова от скорби.

Все вокруг распадалось. Тени, вырастая в великанов, шли по земле, и запрудили своим телом всякий свет.

Ветви огромного дерева плясали теперь от поднявшегося ночного ветра, и были похожи на руки скелетов.

Умирали слова от скорби.

Выглянувшие звезды закишели на ясном небе, будто собирались сорваться и улететь прочь, не смотреть на эту измученную пленницу, на эту бродячую в пространствах странницу-землю.

И пронеслось перед Нелидовым его странствование.

Вот прошел он полосу радости, когда мог, как еще недавно, улыбаться, и вела она безумная на путь безумных надежд без возврата. Он верил со всей горячностью сердца: можно создать новую жизнь, можно низвести небо на землю, можно вернуть потерянный рай.

Он шел с своим храмом, раскрыл сокровищницу, и рука уж коснулась бесценных богатств.

Наткнулся на рогатину. Она торчала на пути.

С гиканьем подхватили драгоценности, — он имени не знал им, — очернили названиями, были они хрупки и воздушны, как минуты утоления, — исковеркали грубыми руками, были они нежны, как тени потухающих костров, — скомкали черствыми улыбками.

Там, на дне зашевелились мелкие гады.

А храм, как карточный домик, рухнул.

Его обманули. Он обманул. Сам себя обманул.

И рос ужас перед человеком, перед самим собой, заволакивал, заслонял тот маленький свет, что метущийся светил под бурей.

Опозорил он, оклеветал все незапятнанное, отверг доверчивый взор, как лукавство, подслушал в боли притворство, и видел уж одну гадость, одни помои, одни ямы жизни.

Осталось одно, оно казалось непомерным — сердце.

Неправда, оно не могло вместить такую любовь, чтобы остановить руку смерти. Когда казнили его друга, что он делал?

Что он сделал? что он мог сделать?

Он словом своего сердца бессилен был рассечь пространство и повернуть смерть. И слово трепетало на его губах, как блеклый лист на осенней ветке.

— Смерть за смерть, иди и отмсти!

— Смерть за смерть... разве месть вернет отнятую жизнь, разве смерть сотрет смерть, разве местью заполнится сердце... мое сердце?

— Так умри сам.

Не умер.

Спрятал бы тогда лицо, ушел бы на край света, лишь бы никто не видел, лишь бы не видеть никого.

Кого мог кликать, кого умолять? — а в отчаяньи все-таки кликал и умолял.

И пришли они, эти дни, своей чередой, полегли на душу всей тяжестью неверия и сомнения, а горечь стягивала его добела — раскаленным кольцом.

Все двери были настежь отворены, а за ними пустота, ничего.

Веки стали такими тяжелыми, с трудом продирал глаза; и перехватывало горло, не мог слова выговорить.

И сдвинулись с своих подножий тысячелетние башни — вся мудрость человеческая. Ни одна из них не доросла до небес.

Человек не утаит своих казней, — разъест ненависть всякий уклад.

Но если сумеешь жить, построй свой храм человеческий и живи, припеваючи!

Вдруг в памяти у него мелькнула одна картинка, от которой он долгое время не мог отделаться.

Это было по случаю каких-то вестей с войны. Улицы запрудила тысячная толпа, и под звуки гимна победоносно двигалось шествие.

Пересекавший дорогу трамвай затормозили. И вот из-под колес выползла искалеченная собачонка.

Визжа, с высунутым кровавым языком, болтающимся на раздробленной челюсти, и размахивая переломленной висящей ногой, как хвостом, пустилась собачонка навстречу опьяненной уверенной толпе.

С пением наступала толпа.

А этот собачий визг плевал в одичавшие от успеха лица торжествующих, в иконы, в хоругви, в портрет и пронзал крики, музыку, гимн и восклицания.

И, когда все разошлись по домам — кончились празднества, а собачонка где-то под забором подохла, визг ее не прекращался.

Он сверлил стены, проникал в комнаты, прогрызал ткани, влетал в ухо и где-то внутри безжалостно ковырял; ковыряя своим острым жалом, пробирался в мозг, спускался по горящим жилам в сердце и там поедал все живое. И, обратив в ничто основы жизни, притиснул леденящим сном.

Припомнился Нелидову и этот странный сон.

Будто глубокой ночью очутился он на галерее собора. Все люди внизу казались ему одинаковыми, пестрелись одним лицом. Он стоял на галерее собора и, перегибаясь через перила, чувствовал, как, качаясь, они тянули его вниз вместе с собой. Но он не мог оторваться, не смотреть вниз на возвышение, высоко покрытое матовой парчой.

Подымалась — ходила парча, будто жила под ней живая грудь.

Всенощная давно кончилась, но народ не расходился, все ждали чего-то, устремляясь к этому страшному царскому месту.

Стояла тишина угрюмая, не было слышно ни вздоха, ни трения. Красные огни паникадил горели странно, с болью. Дым сожженного ладана кутал купол щемящей тоской.

И вдруг ударил колокол, ударил резко и буйно. Понеслись громкие звоны.

Как один человек, грохнулась толпа, и по замеревшим телам зыбью пронесся предсмертный стон...

Тысяча голосов, тысяча жизней выкрикнули со дна своего сердца веками скрываемую скорбь.

И зашевелилась парча. Стала медленно приподниматься. — А он перегибался весь на трясущихся руках. — Медленно приподнималась парча. И вмиг тихим светом осенился собор, но перила, не выдержав тяжести, рухнули. И с высоты он полетел вниз головой...

И вспомнилась другая ночь.

Нелидов вскочил, зашагал по комнате.

Синяя ночь.

Тронешь ее, — зальется кровью, спросишь, — затопит песней.

— Нет! — заговорило, обороняясь, испуганное сердце, — ты больше меня, куда просишься, куда стучишься, все двери открыты тебе, ты больше меня, синяя ночь.

Но раз вспыхнувшая, она не могла улечься и разгоралась.

Синяя ночь. Она выпила всю его кровь. Не различал уж ни форм, ни очертаний: все сравнялось и потонуло в любви, любовь охватила его, всю душу. И, синея в огне, просил он ее, просил эту ночь открыть тайну, — она изливалась из ее синих глаз.

Нелидов опустился на стул, зажмурил глаза, и вместе со стулом понесло его, как на крыльях.

Та, которую он любил... ее не было.

И было тогда так, будто не один, а с целым народом продирается он к лобному месту, к месту казни. Оторопевшие, они жмутся друг к другу и одного желают, одного ждут — смерти.

И вот она встает на лобном месте.

Сгорбленная, маленькая совсем старушонка и, как дитя малое, цапается тоненькими костлявыми ручками, постукивает костыликом, а сухими обтянутыми пальчиками помачивает себе запекшийся темный рот.

Ничего не говорит, только пожевывает и улыбается...

— Не надо, не надо! — ужаснувшееся дрожало сердце, не хотело сердце муки, этой мукой однажды оно насмерть перемучилось.

Стучали слезы — одинокие дождинки, стучали безответно.

Часы ходили, — слышал Нелидов их стук, — часы ходили.

Синяя ночь.

Проклял тогда он минуту своего зачатия, — зачем Он сотворил его? Ничего не просил у Него, ничего не искал. Упивался своим страданием.

И, ломая руки, болью сердца возносился тогда на безумную высь, там кричал криком прозревшего в час своей гибели:

— Вот я пришел и теперь — я из нищих нищий.

Нелидов ходил по комнате. Если бы пришла к нему смерть, он поклонился бы ей в ноги.

## 2.

Совсем темь на дворе.

Деревья, как мумии, в серебряно-парчовых покровах заглядывают в окна худыми почернелыми лицами. Каменеет белый засыпанный сад.

Нелидов опомнился, засветил свет. Уселся к свету.

Принесли письма. Началась жизнь.

Вертел в руках выпачканные бумажки, исписанные приевшейся скорописью.

Как нарочно попадалась самая изысканная вежливость и горячие слова, из-за которых ясно торчала и издевалась

гнусная рожа. Словно все собралось и старалось как можно только глубже запрятать душу и закрепить ложь.

— А, может быть, и в самом себе ты не чуешь правды, не различаешь ее от простой игры в правду? а, может быть, твоя душа — одна ложь, и если ты не прячешь ее, ты прав.

Кто только не прав!

Зевнул во весь рот.

Вдруг остановился.

Перечитывал строчки:

«...кланяйтесь от меня, скажите, что напишу из Н, что не пришлось, что не мог... не мог, сам не знаю, что останавливает, что я делаю. За минуту не могу знать, что сделаю. Так мало стал я знать себя, а может, никогда не знал...»

И представил себе Нелидов этого своего приятеля Сергея, водворяющегося в какой-то безопасный город, где ни один кредитор его не сыщет, но где с каждым днем будет терять себя, наконец, оголтеет и, как загнанный пес, где-нибудь в отвратительном номере отвратительной гостиницы перережет себе горло осколком от пивной бутылки.

А не удастся покончить: рука ли дрогнет или захватят вовремя, — тогда еще хуже. Тогда, весь опутанный мнительностью, смакуя свое унижение, изморит себя, изморит других: будет вечно на глазах какой-то жалобой, весь вид его, как калечного, будет проситься пожалеть его и бояться этой жалости. И жалость и нежалость примет как унижение и оскорбление.

Нетвердость во всем его существе, — решил Нелидов, — на такого не обопрешься, и он тебя не поддержит, куда там! — сам себя не выдержит.

А с виду ничего, все хорошо — только в последнюю минуту растеряется. Так в университете, так и здесь с этим магазином. Вот она... она справится? Она другого порядка. Только очень уж жалостлива. А доброго из этого ничего не выходит. И замуж вышла по жалости. И корпит в этой норе, будет корпеть, состарится.

И, вспомнив так близко Христину Федоровну, встал идти к ней, но дверь отворилась, и высунулся, закутанный в башлык, Костя.

— Ну как, Костя, поживаешь? — поздоровался Нелидов, оглядывая своего странного гостя.

— Ничего, — не раздеваясь сел Костя и нахмурился.

— Что это, Костя, у тебя на колокольне часы пошаливают?

— Ничего.

— Как ничего? то вперед летят, то отставать начнут, не уследишь.

— А зачем следить?

— Чтобы знать: по часам все построено.

— Так не строй, кто велит?

— Тебя, Костя, за это в тюрьму посадят.

— В единичное? — усмехнулся Костя.

— В единичное не в единичное, а уж там придумают, за этим дело не станет... Эх, Костя, если бы часов и совсем не было!

Костя скривил рот и, глядя в упор, спросил резко:

— Вы ничего не замечаете?

Нелидов осмотрелся:

— Ничего.

— Ничего? — Костя загрустил, — где Сережа?

— Сережа уехал, сделает свои дела, а там и вернется.

— Вернется! не верю я, все врут и вы врете, впрочем и я, знаете, скоро тоже этот магазин — к черту. Что, в самом деле, за нужда мне торчать целыми днями? Я уж по секрету скажу вам, никому не рассказывайте, я поступил... в лягушачью веру!

— Как так в лягушачью? — Нелидов перестал ходить, присел к Косте.

— Видите, слышал я, можно притянуть к себе человека так, чтобы он за тобой, как тень, следовал, так за тобой и шел бы, и ничего бы не мог делать без тебя...

Нелидов задумался.

— Его, Костя, надо пожелать крепко, всем сердцем, всею душою, и тогда возможно, человек пойдет за тобой.

— Знаю! — Костя снисходительно улыбнулся, — желал, да ничего не выходит.

— Если ничего не выходит, стало быть, вся суть только в тебе...

— Да не во мне! Средство есть. Верное. Надо лягушку. Надо изловить лягушку. Отломить у лягушки левую заднюю лапку. Высушить лапку и незаметно, чтобы никто не видел, зацепить кого хочешь. И все готово.

— Ну и в чем же дело?

— То-то и дело, не могу я достать лягушачьей лапки... заячья у меня есть...

— А ты попробуй заячьей.

— Заячья — это от другого, — Костя болезненно морщился, — это если что-нибудь такое... неохота срамиться, дать ему по шее...

Нелидову стало жалко Костю.

— Вот придет весна, — сказал он, — ты налови лягушек, их везде много, не оберешься, да и действуй.

— Мне надо сейчас! сейчас! — задрожал Костя от нетерпения.

И сидел так мучительно долго, надутый, с выпученными глазами, и надувался, как лягушка.

Нелидов не раз заговаривал, но Костя молчал; лицо его зеленело, как у лягушки.

И вдруг поднялся, съежился весь и, не говоря ни слова, вышел из комнаты.

Вышел и Нелидов. Догнал Костю.

И они шли рядом, один такой высокий и прямой, другой такой маленький и горбатый.

На душе было безветрие, каждый шаг вторил времени.

Обиходные мысли тянулись ровным столбом в стороне, а другие без помехи копались в подпольях.

Казалось, ничего нет такого на свете, — все сделает каждый, все можно сделать... А впрочем, кто его знает? — кто смеет сказать да или нет, кто подымет руку, кто поймет? И если мы принимаем, и если мы судим, — можем ли мы не принять, можем ли мы не судить? Свергая одного бога, воздвигаем небо другому, попирая одну власть, поклоняемся другой. Все — едино. А наши звезды нам неведомы. И, может быть, лягушка, зацепив мир нашей рукой, мир покорит?..

Раскрывались подполья, выходила из них своя неспокойная, вечно допрашивающая, вечно глумящаяся жизнь.

— Эх, Костя, если бы часов и совсем не было! — сказал Нелидов, вдыхая глубоко морозный воздух.

Ударял лютый мороз.

Часты, густы звезды рассыпались по небу, — золото по царскому двору. Там, казалось, сидел царь с царицей. Считал царь свои богатства, пил из золотой чаши, нанизывала царица звездный бисер.

---

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1.

— Большое случилось несчастье...

Христина Федоровна сжала руками лоб, хотела замкнуться от этих ворвавшихся назойливых выкриков и скрипучих голосов, — от них вся стена, дрожа, колебалась.

Но часы не могли остановить своего разговора, ни успокоиться. Шли, шамкая, топоча и постукивая, — приставали к ней по-человечьему:

— Ну и принимайся за работу. — У тебя рука легкая. — Засучивай рукава выше. — Встречай, принимай дорогого гостя. — Сажай в красный угол. — Хвали горе, чтобы не плакало. Ты больше не можешь валяться в постели и ни о чем не думать, не можешь, не думая, нежиться и не держать в голове времени. —

— Оно всегда с тобой. —

— Оно идет. —

— Оно не станет ждать. —

— От него никуда не скроешься. —

— Ты больше не можешь подолгу причесываться, стоять перед зеркалом, стоять так сама с собой. — Нет, ты чем свет, подымайся на ноги. — Кое-как оденься, не прихорашивайся, все равно, только бы прилично было. — Прилично и сойдет. — И не жалуйся, не пеняй, что кофточка поистрепалась и не по моде, а у юбки подол обшаркался. Оборви тесьму, не обращай внимания. — Сойдет. — Знаешь, когда попадет так человек на зубцы нашего колесика, — колесико неумолимо, — оно не выпустит, будет тикать на самое ухо, совьет в сердце маленькое певучее гнездышко, петь будет. —

— Всюду за тобой. —

— Всегда с тобой. —

— От него никуда не скроешься. —

— Понимаешь, нет ему дела, как ты одета и как ты выглядишь. — И не обрадует. — А многое идет к тебе, помнишь? — Ты заметила, как уж в течение нескольких недель ты опустилась. — Не блестят твои ногти. — Будешь еще и еще опускаться. — Все станет некогда и неважно. — Возьмет оно и потянет. — Да. — Да. — С утренними думами расстанься. —

— Они не придут. —

— Они не возвратятся. —

— Не жди их. —

— Выпей наскоро чаю, да спеши в магазин, да всю дорогу думай, крепко думай одну думу: кабы не пропустить чего, кабы не забыть, кабы не сделать того, чего у людей не делается. — У этих людей свои заповеди. — Нарушишь, — свернешь себе шею. — Но ты не должна этого делать. — Ты должна слушаться. — У тебя ребенок и дом. — Не хочешь? — С утренними думами расстанься. —

— Они не придут. —

— Они не возвратятся. —

— Не жди их. —

— Не удивляйся, если помощники явятся. — Поверишь? — Не верь им. — Ты красива. — Впрочем, твоя красота... — Это не вывезет. — Когда спасаются от огня, на это не смотрят. — А давят и давят. — Разве жизнь не пожар, правда, огня давно нет, потопом залит огонь, но эта гарь, этот чад. — Чад ползет. — Его не зальешь. — Он и таиться не будет, возьмет тупо, открыто. — Ах, вчера вовремя не успела послать в банк. — Позавчера письмо. — Намедни вексель. — А там часы побежали, не заметила, просрочила вексель. — Ничего. — Охватит деловая жизнь, зачадишь, и пойдет, как по маслу. — Явятся приятели. — У вас много приятелей. — Ты не верь им. — Заберешь в голову Бог знать что, выудишь из простой вежливости дружбу, а после изноешь, истерзаешься понапрасну. — А к чему! — Жалоба-жалоба. — Не будет ночи. — Не будет дня. — Сумерки. — Зуб на зуб не попадает. — Губы искусаны. — Веки опухли. — Руки, как плети. — В голове мертвая точка. — Куда пойдешь? — Ничего она не стоит, твоя красота. — Это только так кажется. — Прежде да, она передергивала, сгибала им колени, а теперь... — Приятели, которых водой не разольешь... — Теперь у тебя у самой что-то дрогну-

ло. — Конечно, по мелочам, набалмаш, как сказал бы мастер, и ты что-нибудь да стоишь. — Да. — Да. —

Христина Федоровна заткнула уши. Не хотела дальше слушать. Хотела прогнать эти мысли.

Шли часы, вся стена шла, бормотала:

— Что? — предупреждали тебя, говорили тебе. — Будь мужественной, будь правдивой, взгляни прямо. — Прочь эти руки! — Не жмурься. — Хуже будет. — Больнее. — Твои знакомые начинают от тебя сторониться, едва приподнимают шляпу, едва кивают, переходят на другую сторону, не замечают тебя, чувствуют неловкость, когда заходит о тебе речь. — Они тебя больше не знают. — Чего уж грех таить, никто и носа не кажет. — Почему это никто носа не кажет? — Некогда. — Некогда? — А прежде было время? — Почему это все такие жестокие, и нет ни у кого сердца, а есть только слово. — Неверное слово. — А кому охота? Жалоба, жалоба! — Хочешь бичевать себя? — Да? — Но будь мужественной, это ты говорила: хочу жить и не отдам себя! — Ты это говорила? — И уж держись так до последу. — О доме забудь, не надо вспоминать, это расслабляет, смотри, как осунулась, синяки под глазами, морщинки. — От этого не уйдешь. — Она возьмет свое, ты ее знаешь! — А старик, он и вправду болен. — Не хочет дать денег? — Не хочет выручить? — Да, ей-Богу же, у него нет денег. — Нет. — Старик сумел прожить жизнь, а ты не сумеешь. — Ты знаешь, кто ты? — Сказать?

Христина Федоровна вздрогнула. Качнула головой.

На улице у двери стоял кто-то, заглядывал, переминался, будто войти все хотел. Но видно раздумал, отошел прочь.

Подымалась белая метелица, крутило.

— Чего это он в окно подглядывает? зрелища ищет? — Ишь, как ты убиваешься, а это занятно. — Тянет к горю, притягивает, и одна мысль тогда: слава Богу, не меня! — И любопытно, в театр не ходи. — В горе человек большой чудак. — Волосы рвет, зубами скрипит, делает такие вот гримасы, как ты сейчас... — На похоронах тоже, — потеха одна! Чего это сосед повадился? И закрыл кредит. — Разве нет? Думаешь, на наличные лучше? Хорошо, валяй на наличные, только откуда ты денег возьмешь? Или их куры не клюют? Неужели земля клином сошлась? неужели так-таки и нет ни одного человека? неужели все такие? —

Кто? — Нелидов? — А у него не простая ли вежливость? на первых порах это бывает, потом откровенно, что-нибудь такое и спроворит.— Не выходит? — А ты потрудись. — Необходимо, чтобы все было в порядке и за номером. — А сама-то ты под каким номером? — Не знаешь? — А есть такие хитрецы, узнают. — Ты Костю спроси. — Костя все знает. — Он лягушачьей веры. — Он лягушачьей лапкой кого угодно притянуть к себе может. — Номеруй, это отвлечет, сократит. — Удивительная вещь время, как пустилось тогда, помнишь, в тот вечер, так и пошло и пошло. — Завтра платеж. — Главное, чтобы не просрочить, ты не забудь. — Сережа забывал. — Сережа тебе ножку подставил. — Спасай его, спасай! — Доброе дело сделаешь. — А у тебя морщинки, кофточка повисла, спасай, спасай! — Да не забудь ему денег послать. — А то, чего доброго, еще что случится. — Возьмет вот такой револьверчик, разинет рот, наставит: бац и готово. — Кто его защитит? кто приласкает? кто обоймет? кто утешит? — Бедный он, бедный. — Что же делать, не везло. — С другого, как с гуся вода, а ему нет. — Поигрывал и так... — Эта привычка все на свой счет записывать. — Широкая натура. — Там наедят, напьют, а Сережа заплатит. — Полон дом, с утра звонки. — Вот она дружба! — Его и просить не требовалось, сам все понимал. — А то часто другой и не прочь бы помочь, да не понимает, ждет, пока не попросишь. — А ты теперь знаешь, что такое просить. — Тоже бывают такие друзья... — Завтра платеж, понимаешь? — Попроси у Зачесова. — Просила? — Обманывали Сережу, обманывали. — Знаешь, ему даже на почте старые марки за новые продавали. — Но тебя он не обманывал... — Совсем растерялся: руки, говорит, наложу на себя, погубил я вас. — И о Кате позаботься, сутки в три как свернуло ее! — И о старике не забудь, ему в чашках коровьи ноги представляются. — А у Кости залезняк в нутре ходит. — Спасай! спасай! — О себе забудь, все равно.

Христина Федоровна уставилась в одну точку, и повторяла бессмысленно одно и то же, это сковывающее по рукам и ногам: все равно.

Освободил вошедший покупатель. Долго выбирал вещи. Прицениваяся, торговался. Потом все захулил, взял какую-то мелочь и ушел.

Стало в кассе больше на какой-то двугривенный.

Пересчитала Христина Федоровна какие были деньги, хотела отложить для завтрашнего платежа, — не хватает. Задумалась.

Если бы найти ей кошелек, полный золота, так просто где-нибудь на улице, тогда сразу она расплатилась бы и Сережа вернулся бы. Странно. Как мало иногда требуется: ей денег, Косте нос, как на картине, Нелидову убить время, и комедия кончена.

— Кончена? — словно булавкой кольнуло палец.

Христина Федоровна вскочила. Вошел какой-то господин, любезно улыбался, расшаркивался.

Про то, про се, — да это Зачесов. Хочет говорить по секрету. Выручит!

Скрылись вместе в комнатку за прилавком.

Она смотрела большими глазами. Колотилось сердце, надеялось.

А Зачесов порылся в бумажнике, отыскал вексель, молча положил вексель на стол перед Христиной Федоровной.

Покачала головой. Она не может заплатить.

— Так поступают только подлецы! — закричал резкий мужской голос, — и затрещало где-то в висячих часах и упал маятник.

Спрятал Зачесов вексель в бумажник: всю ее облаяв, не прощаясь, вышел.

Сорвавшийся бой, а в бое какие-то трескучие песни прыснули ей кипятком в лицо.

Подымалась грудь.

Ни мысли.

Ни слова.

— Зажгите лампы! — крикнула неестественным голосом Христина Федоровна, хотела выкрикнуть всю свою обиду и бессилие, остановить подкатившиеся горячие слезы и, стукнув кольцами о столь, пошла из комнатки в магазин за прилавок.

Курьер подал пакет из банка.

Разорвала: повестка, — еще платеж!

Ну, что ей делать?

И вспыхнуло сердце — металась душа.

Если бы Сергей любил, если бы чувствовал к ней хоть каплю, хоть вот столько любви, хоть вот столечко, он не

допустил бы, он не мог бы допустить. Стало быть, что же? Кем она была? Кем? Если бы он любил, если бы он любил...

«...Но ты пойми меня, я не знаю, что с собой делать, я не могу жить...» — зажглись слова из письма Сергея.

— А я могу? А все эти унижения, как меня унижают?.. Этого ты не мог, не мог не знать. Любишь! Да разве так любят?

— Но ведь ты же сама настаивала на его отъезде. Ведь ты же спасти его хотела.

— Что, что тебе надо?

Какой-то мальчик из магазина давно стоял перед ней и, переминаясь, жаловался, что его хозяину от них счет подали, а счет давно уж оплачен.

— Мотя, книгу! — крикнула Христина Федоровна.

Мотя не слышит.

Она снова зовет, надрывается, выходит из себя.

Наконец, Мотя услышал, приносит книгу. Роются в счетах. Отыскивают. Действительно, счет не вычеркнут.

— Сергей Андреевич забыл вычеркнуть.

— Забыл? — рвет бумагу.

— Христина Федоровна, — жалуется Рая, — Костя опять стекло разбил.

— Где Костя? — говорит осипшим голосом и опускается на стул.

— Вас к телефону просят! — снова и снова тормошат Христину Федоровну.

Зажгли лампы.

И стены ожили; глазастые насквозь видели, тянули допрос — бесконечные свои песни.

А в окно метель рвется, дубастит белым кулаком о звонкую раму, лепит по стеклу широкие белые листья, цветы белые.

А когда-то она приходила сюда вся в снегу и пылала и готова была всякому улыбаться и со всяким кружиться под этот свистящий заметающий танец белой метелицы.

Христина Федоровна стала ледяной. Не вспоминала. Медлила. Боялась уходить.

Наскочит метель, набросится, задушит ее, она караулит таких вот, иссечет все лицо, заморозит глаза, заберется под сердце горячей слезой; горячая слеза канет в сердце, сердце разорвется.

Христина Федоровна, крадучись, забрала с витрины, как чужое, драгоценные вещицы; сунула в карман для заклада; не глядя, пошла. Все снесется в ломбард.

И в раскрытые двери метнулись тысячи костистых белых чудовищ, приняли ее и, свистнув, резким ударом, бегливые, сшибли с ног.

* * *

В нашем царстве.

Мы белые — черные ночью.

Будем петь и летать, не замолкнем.

Серебряно-пышно затканы, унизаны четким алмазом — вольные, чистые, цепкие.

Нагоним — и хлещем и бьем, раздираем, встречая.

И срока нет нам. И с обреченных не снимется печать проклятья.

Сердце будет биться —
Безвыходно —
Безрадостно —
Безнадежно —
В нашем царстве.

Мы белые — черные ночью.
Знаем свою череду. Теплом не повеем.
Зубами схапать —
Когтями драть —
И сечь и сечь —

Уж близко время, великая тишь сойдет на землю, и будет горше после пира печаль и теснота.

Уж близко время, великая тишь сойдет на землю, и станет молча одна могила — кровавый крест.

Мы белым саваном пушистых крыльев кровь покроем — —

Бесилась метелица, распевала песни. И хоть плачь, хоть не плачь, не поможешь.

## 2.

— А знаете, что я сделал? — Костя хохотал, раскутываясь и сдергивая башлык.

От таявшего снега натекла вокруг него целая лужа.

Мотя, не обращая внимания, сиповато вполголоса продолжал свое чтение:

— ...а который молодой человек почувствовал влечение к приятной молодой особе женского пола, чтобы тотчас же покорить юное сердце...

— Ха-ха-ха, — заливался Костя, — я зацепил Ольгу лягушачьей лапкой, и она задрожала вся и посинела, как синька...

В это время тихонько подкравшаяся Рая придавила сзади ладонями глаза Моти.

Завертел Мотя беспомощно головой и, вдруг вырвавшись, бросился за Раей.

Тотчас в комнатке за прилавком что-то грохнулось об пол, понатужилось и хряснуло.

Завозились, забарахтались, полетели подшлепники.

Сипело, визжало:

— Лампу срони!

— Мотька!

— Пусти! пусти!

— Вот тебе!

Дремавший у кассы мастер Семен Митрофанович, которого зло сосал хмелевик, не вставая, тяжело нагнулся, поднял брошенную книгу, сдунул с нее пыль и непривычно, разделяя слога и возводя маленькие буквы в прописные, принялся читать трогательным голосом заглавие: «Ключ к женскому сердцу, или как надо вести себя в обществе».

Костя чистит часовые стеклышки, трет их, натирает лайкой изо всей силы.

— А Лидочка такая хорошенькая стала, как цветочек, — говорит он с растяжкой, — она знаете, Семен Митрофанович, хорошеет и хорошеет...

Мастер сделал ужасное лицо, будто собираясь заплакать, и громко и грозно чихнул.

На чох кубарем скатывается сверху из мастерской Иван Трофимыч, за ним пес Купон.

— Спрашивали? — угрюмо озирается мальчишка.

— Спрашивали?! огузок! — Костя бросает на пол стеклышко, надувает щеки и, облизывая языком десны, направляется в мастерскую за чаем. Но, сделав несколько шагов, останавливается: — Семен Митрофанович!

Мастер недовольно подымает голову.

— Что это такое, что ни днем, ни ночью не дает покою?

— А если чешется да глубоко, — высовывает язык мастер, передразнивая Костю, — подешевеет молоко, а если чешется близко —

— Редиска! — перебивает с удовольствием Костя.

И затрещал пробужденный будильник.

Допевала стена свои останные песни, допевала устало. Колотило, бухало.

Метался огонь у витрины, бесилась метелица, пела:

— Мы белые — черные ночью...

Издерганный Мотя оправился, стал за прилавок навытяжку, пощипывал усики.

Рая все еще вертелась за своей прической перед зеркальной дверью у комнатки. Зажимала зубами шпильки, сильно дыша носом.

— Тяжелый нынче покупатель пошел, а бывало пролому нет, — зевнул мастер и, захлопнув книгу, пошел к граммофону, отыскал какой-то персидский марш, поставил кружок.

И покатили — пошли стиснутые, будто покрытые густым слоем пыли, завязающие друг в друге притоптывающие звуки, шли и закатывались.

И мысли закатывались.

Думал мастер о том, что теперь уж окончательно ясно, хозяин сбежал, платить не будет, и не удрать ли ему подобру-поздорову, пока еще цел? А впутаешься в историю, — не расхлебаешь. Видал он таких штукарей, на шармочка норовят, а кому не охота, разве всяк себе враг? Одно, не прособачить бы...

Наверху что-то треснулось и, мелко раскатившись, задребезжало по ступенькам вниз, а вслед по лестнице затопали тяжелые, напряженные шаги.

— Чай пить, пожалуйте! — Костя внес, пыхтя, полный поднос со стаканами.

Мастер переменил кружок, успокоенный мыслью: удрать подобру-поздорову.

Начинается чаепитие.

Мешают ложечками, прикусывают сахар, отдуваются.

— Плачет, словно Лидочка! — замечает Костя.

Мотя приятно улыбается:

— Никогда я не видел губернаторши, говорят, она старуха, но очень привлекательная...

— Я б ему замахнул, знал бы куда, — взбрыкнул

мастер, продолжая вслух свои мысли, опять расстроенные соображением: не прособачить бы.

Вваливается покупатель, садится наседкой.

Поднимается крик, говорят все сразу, торгуются.

— Ха-ха-ха, — заливается Костя, — глухой, жизнерадужный, своих лошадей имеет, а глупый.

— Набуркался! — подмигивает мастер, прибирая товар.

Нехотя с досадой скрипит перо: отпускают в кредит.

И опять загудело: не хочет выпустить, хватает за шубу.

Ударило дверью.

Мастер переменил кружок.

И сиротливо завторил трогательному мотиву Костя:

— Я, Семен Митрофанович, хоть мне и грешно говорить, но вам, как человеку, а не как старшему: когда на нее смотришь, что-то отрадное чувствуешь, уж привык взор глаз видеть ее, Лидочку. Не смотришь, — не то выходит, все начинает не делаться, жизнь начинает мешаться.

Рая, глядя на Костю, гримасничает и хихикает.

— Оставить, говоришь нельзя, хорошо, — мастер, растопырив руку, загибает большой палец, и, наступая на Мотю, продолжает, — но опять же какая твоя роль: кто ты такой и в каком ты костюме? — приказчик ты, доверенный, отходник или просто дикий человек? Разве тут выбьешься? мало ли местов! а тут захряснешь по горло. Он что, сукин сын, купил тебя, что ты ему обязан?

— Есть и другие барышни, но не влечет меня, — объясняется Костя, — я не говорю с ней: дар слова теряется, так хороша она, лучше нее и не может быть на всем свете. Пойдешь гулять, раз пять посмотришь на нее, поклонишься и убежишь...

Рая хихикает, жужжит что-то Косте на ухо.

— Я учусь петь, Сеня, принаторел уж, и голос у меня бас, как у Шаляпина, я буду певцом — товарищ Шаляпина... — оправдывается Мотя перед мастером.

И взбрязнула вдруг резкая, забористая пощечина.

— Ты не смеешь! не смеешь! — взвизгнула от боли зардевшаяся Рая.

А Костя, ударивший Раю, запрокинувшись, потерял равновесие, — ткнулся носом в пасть граммофона.

— Кривой нос — кривой нос! — егозила Рая у зеркальной двери, готовая каждую минуту юркнуть от Кости в комнатку.

Но он уж очнулся и, закусив до крови губу, схватил кружок.

И свиснул кружок — шарахнула дверь, ах!!! — затряслась сверху донизу.

Сыпались звенящие стеклышки, звенели, как мелкое серебро, раздирали зеркальное разливное поле разбитой двери.

Мотя поймал за ногу Костю и, отшвырнув, бросился сам в комнатку к Рае.

Рая рыдала:

— Мотька — голубчик — Мотька жить тут — убьет он — поганый — ухаба...

Мастер, подпирая бока, григотал от удовольствия.

— Сыпь, плюнь, да чеши ее в зубы! — травил он Костю, покатывался со смеху.

Хлюпело.

Звякала медь.

— Да уж оголомя! — сказал наконец мастер, обогнулся и запер конторку.

Да, время приспело, пора было кончать. Все стали одеваться.

Иван Трофимыч снес сверху жестяную лампочку — бессонную сторожиху, поставил ее под разинутую металлическую пасть граммофона, — граммофон замирал в зевоте.

Тушили огни.

И во мраке часы ходили и ходили, не могли забыться.

Им не уснуть — им не уснуть.

И когда магазин заперли, и все разошлись по домам, через навешенные на окна решетки, через прогалины хлопьев выглянуло из комнатки в свете моргающей лампы страшное нечеловеческое лицо, а передергиваемые змеящиеся губы прыгали от душившей горечи, как от безудержного хохота.

* * *

В нашем царстве.

Мы другие — бессмертные.

Полночь приходит. Проклятое сердце жаром одето, рвется и стонет.

Мечемся, мечем печаль, свищем, горкуем, не знаем дороги.

Те, кому жизнь не красна, горюны — горюваны, нас зовите, горе горюйте, горе хвалите.

Оно не заплачет.

В нашем царстве.

Чует, ноет, подкатывает сердце.

Разгоним невзгоду, призарим, запоем по заре в три звонких, в три голоса, тоску растеряем по полю, по лесу —

Солнце, звезды, месяц, запри ключом змею в сырой земле!

Мы облегчим ему боль — — —

Бесилась метелица, пела, — нет над ней власти.

### 3.

— Умереть бы!

Катя закрыла глаза.

В наполненной гулом глубокой тьме поплыли, цепляясь друг за друга, какие-то блестяще-колкие зубчатые часовые колесики.

Кто-то тихонько приотворил дверь, заглянул в детскую и на цыпочках отошел прочь.

Тотчас заговорили за стеной, — выскочил писк, сорвался смех, — говорили вполголоса, потом громче, потом тихо, волной, — и снова смех, снова писк.

Должно быть, решили, что Катя заснула.

А она и не думала. Тупые тиски зажимали ей горло все туже и туже тяжелым слепым железом.

Упиралась Катя, хотела повернуть опухшую шею. Но тяжесть — непомерна. Обессилела.

А там кто-то смеялся и смеялся беззаботно.

И было ей горько от этого беззаботного смеха. Так и она любила смеяться, только давно. Вот и вспомнила.

Щипали слезы коготками истосковавшиеся ее ресницы.

Спирало дыхание.

Не хватало воздуху.

Стал он недоступным, таким желанным. Жить захотелось. Взгоркнуло сердце:

— Умереть бы!

Опять подошел кто-то, наклонился, обжег лицо.

Силилась больная открыть переплаканные глаза, посмотреть, кто это подходит все, стоит над ней.

Не могла.

Не хотела.

Да и не надо.

И встала вдруг перед ней, как когда-то с забинтованной головой и, посматривая скоса, качала забинтованной головой ее мать...

— Мама! — закричала в ужасе Катя, и другой сон без видений покрыл ей глаза.

Костя, подсматривавший в щелку, шарахнулся от двери.

— Господи, концов не найти! — вытянул он руки и, шатаясь, раздетый в длинных черных чулках, пошел через комнаты к лестнице наверх в столовую.

Наверху был свет.

В кургузой визитке за раскрытым ломберным столиком сидел старик, против него и по бокам стояли пустые стулья.

На столе горели две свечи. По зеленому полю расходились дорожкой столбики белых цифр.

— Я больше не могу спать! — сказал Костя глухим голосом, не переступая порога.

Старик, не обращая внимания, сдавал, рассчитывал, сбрасывал карту, ходил, подмигивал.

Вот сгорбился. Недовольно покряхтывая, записал против себя. Вытащил из кармана кошелек, вынул золотой, припридержал в руке и, униженно улыбаясь, протянул кому-то золотой...

— Я больше не могу спать! — повторил Костя и вытянулся весь на своих тощих черных ногах.

Звякнул золотой и, раскатившись по полу, юркнул, как мышь, под диван.

Спешил старик, сдавал, покачивал головой и, от кого-то прячась, показывал карты, чего-то ждал, шептался, складывал пальцы в кукиш и дрожащим кукишем дразнился, сдавал, рассчитывал, сбрасывал карту, ходил, подмигивал.

Подмигивал — бегал маятник в домике кукушки.

И вдруг вздувалась и опадала белая штора в окне против пьянино.

На старом месте за холодным самоваром, облокотясь на стол, недвижно, как соляная, Христина Федоровна помешанными глазами впивалась в черное окно.

Окно метало черные ленты. По тем лентам — путям она шла и, упираясь в черную точку, возвращалась, и опять шла.

Она не хотела сдаваться.

Мысли змеились клубками. Подымали хищные вороньи клювы и, затаращив колкие перья, клевали красные зерна.

Клевали сердце.

Исклеванное сердце дрожало — ему не было места, ему не было исхода.

Но появлялись проворные руки, со злобой свертывали вороньи шейки.

На минуту долбня прекращалась.

Была пустота.

Опустошенное сердце дрожало — ему не было избавления, ему не было исхода.

А там у старика кто-то из воображаемых партнеров, должно быть, сплутовал, подменил карту.

Старик переменился с лица, капелька пота выступила на лбу, он вскочил со стула, смерил взглядом шулера, задрожал и, схватив подсвечник, высоко поднял, чтобы ударить...

— Я больше не могу спать! — в третий раз сказал Костя и переступил порог.

И глаза всех трех встретились. И пространство, отделявшее всех трех, наполнилось.

Тогда веки у каждого сомкнулись. Огонь охватил душу старика, женщины и мальчика. Не ворохнулись, не тронулись с места. Не тронулись с места, не смели...

Они не одни были.

* * *

В нашем царстве.

Мы из стали, не дрогнем, каляные.

Не боимся ни муки, ни пыток, сами пытаем.

Нет непогоды на нас, нас не внять.

Бросим на горе, сбавим со света, разлучим — прилучим, пустим по полю.

Люди — безлюдье безудалое.

В нашем царстве.

Мы из стали, крепки в огню.

В хороводе по полю — приволью.

Смерть с нами, машет косовой рукой.

Стук да постук, властница, сгинь! — нам своя воля гулять!

А кому суждено — —

А кому суждено, тот погибнет.

## 4.

— Эх, Костя, — вздыхает, пригорюнившись, Иван Трофимыч, — Бог росту не дает мне.

Они лежат рядом на сундуке в темном коридорчике у черного хода между приказчичьей и кухней.

Безалаберно-глупо болтают на кухне одногирьные дешевые часы.

А в дверь заметает и свищет, метает печь помелом, рвется в трубе и, скорчившись в три погибели, визжит и воет жалобно, как собака.

— Нет, очень просто быть маленькому, — вздрагивает Костя, — а будешь учиться и совсем испортишься. Я сам куда выше был бы и статнее, я весь в мать, мать высокая... До десяти годов я не ходил, а так сидел, как клоп, или лежмя лежал... Была у меня одна игрушка — свинка, из глины сделана, свиночка, я с ней и разговаривал, а она лежала и слушала, свиночка...

— Маленькому и жениться нельзя, смеяться станут.

— Смеяться никто не смеет, смеяться запрещено.

— Так что ж, что запрещено, у нас в деревне на это не посмотрят, проходу не дадут, недоросток скажут.

— А ты укуси.

— Я не собака кусаться-то.

— Вот за это тебе Бог и не дает росту, так и останешься карандушем.

— А у нас в деревне, Костя, у князя Елаварова на балу всякие огни зажигают и наводнение солнца делают. Князь сам неправильный, пропал он раз без вести, семь дён искали, — искали, искали и объявился, наконец, в сарае: засел лягун нагишом в собачьей конурке, сидит, на цепь привязан... сам себя привязал.

— Князя твоего убить мало. Я бы ему все это отрезал!

В кухне завозились.

Кто-то, шлепая босыми ногами, вступил в коридорчик.

— Мастер, — шепнул замеревший Иван Трофимыч, — от кухарки, даст еще лупцовку, тише!

— Я никого не боюсь! — также шепотом сказал Костя.

Но мастер прошел мимо, не тронул.

И когда снова затихло, повернулся Иван Трофимыч к Косте и, крепко прижавшись, дыхнул прямо в лицо:

— Костя, почему у тебя нос кривой?

И то же, как эхо, ударило тут за стеной, и, выкинув на улицу, пошло из ворот в ворота, размахнулось широко, закрутилось, ударило тут в головах.

Костя не двинулся.

— Ты бы, Костя, Богу молился.

— Никогда я не молюсь, — огрызнулся, — и не буду молиться.

— А знаешь, Костя, в какой-то одной стране Бесинии живут люди, куринасы, живут эти самые куринасы в песку, тепло им, любо, несут они большущие яйца, гусиные... ими и питаются, гусиные...

Костя весь подбросился.

— Гусиные и утиные, — засыпающими губами промямлил Иван Трофимыч и засопел.

Весь коридорчик засопел с ним вместе.

* * *

Костя лежал с открытыми глазами, прислушивался.

Тоска точила сердце.

И одна теперь мысль — покончить с собой овладевала всем его существом.

Вот он, имеющий власть над часами, запретивший смеяться, грозивший всему миру одиночным заключением, приковывающий к себе людей лягушачьей лапкой, он больше уж не верит в эту свою великую власть: часы по-прежнему идут, по-прежнему смеются над ним, а та, которую он так хочет, так же далека от него, как и раньше.

Он продал бы душу черту, проклял бы все на свете, но видно и черт отступился от него...

К чему ему жить? Зачем жить?

Осторожно спустил Костя голые ноги, — теперь никто не услышит, — пошарил вокруг себя.

Но ничего не нашел такого, чем бы прикончить себя.

Ничего не было.

Дрожа всем телом, поднялся он с сундука и, обжигаясь холодом, побрел по стене и, бродя так, нащупывал руками.

Но ничего не нашел такого, чем бы прикончить себя.

Ничего не было.

И странная мысль иглой прошла через мозг: стало быть, он не может найти ее, он не может найти себе смерть, он победил смерть.

Небывалое чувство, полное восторга, заполнило душу:

— Бессмертный! бессмертный! бессмертный!

Чувство вырастало в крылья, росли крылья, поднимали бессмертного Костю.

Поднимался Костя — ноги отделялись от земли, а свет зеленый до боли проникал его.

— Бессмертный! бессмертный! бессмертный!

— И всемогущий! — горел, наливался этот свет ярче и ярче и, вмиг обратившись в гада, вонзил когти в Костю, подъел крылья и огненной красной пастью придавил под себя, — Костя грохнулся на пол.

На грохот вскочила Катя, схватила лампочку, да из детской, натыкаясь на стулья, освещая спящих, скользнула мимо кроватей в коридорчик.

— Костя! Костя! — хрипела она и пятилась к двери, хрипела и пятилась к двери в детскую.

Растрепавшаяся вата, как разорванная шерсть, клоками висела вкруг ее шеи.

А Костя — в упор заостренные глаза, — извивался в припадке.

И прошло, казалось, много, долго, вечность.

Лампочка, дрожа, погасла.

И вот гадова пасть, подмявшая под себя Костю, адски разверзшись, поглотила его, и завертелся он в холодных скользких внутренностях и вертелся, как заводная машинка, все шибче и шибче, не мог спохватиться...

— Проклятый! проклятый! проклятый! — заметало, свистело, мело печь помелом, рвалось в трубе и, скорчившись в три погибели, визжало и выло жалобно, как собачонка.

И вдруг, надсадившись, выскочило из трубы и помчалось на волю.

— В нашем царстве!

И кричит и беснуется.

Раскидывает руки, хлопает в ладоши, хохочет и, превратившись в юркий клубочек, играет и катится.

Клубок не клубочек, шар не граната.

Взрывает гранату.

Тысяча тысяч летающих змеек, тысяча тысяч перелетающих весточек-звуков — обманчивых кликов — путаных зовов.

— В нашем царстве!

Рвутся стальными когтями железные крыши, трещат под напором ворота, одиноко, бездомно кличет поезд в поле, гудит — развевается проволока, — кто-то в железах с гиканьем скачет, скоком выламывает рельсы, валит столбы и бьет и волочит.

Сыплет и сыплет.

— В нашем царстве!

В бешеном поле под осинкой лежит заяц, закидался хворостом, не знает, что делать, поджимает белые лапки.

Бесится поле.

С вечера до петухов, с первых петухов до свету нет и не будет покою, зачерпнуло глубоко, не уплясаться ему, не умориться, — дано ему сто лет веку.

А над полем, над домами дико колотит в большой колокол.

Длинные острые пальцы крутят взад и вперед, как попало, старые стрелки.

И часы бьют и часы, не выбив положенного, бьют.

Не могут остановиться.

И в смятении бьют.

Не знают срока.

Мы тоже не знаем, что будет завтра, что вчера было, где мы будем, где мы были, кто завел нас, кто поставил, кто назначил на эту незнамую жизнь — бездорожье.

---

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## 1.

— Если бы вы все знали, — Христина Федоровна остановилась, бессильно покачала головой, она знала, ей не выразить словами всего, что живет и терзается в ней; и разве все это передастся теми простыми вещами, которые скажутся так грубо, — но вы должны мне объяснить! — задумалась, а глаза расширялись и просили, требовали ответа.

Нелидов молчал.

Он встал, прошелся по комнате, опять сел.

Все, что он мог бы сказать, было не тем и не нужно. Не нужно, — только запутает и растравит.

А она смотрела в свою душу, голос ее звучал на низких нотах, — они, еще не видя света, только теперь впервые рождались.

— Непонятна мне жизнь, когда нет вас, — говорила она, — я живу и делаю все сама не своя. Жду вас, и не вас, а ваши слова. Слова мне нужны, голос. Я не вижу вас, только слышу, а вижу другого. А когда мне мешают слушать, не узнаю уж себя... Страшно за себя. Вы знаете, что такое страшно за себя?

Кивнул головой.

Хотела продолжать. Но он перебил:

— Постойте, это так, будто попадаешь на поле... однажды я такой сон видел, кругом зрелый хлеб, нагнулись колосья, а в них колымаги, в колымагах мужики, согнулись, на коленях, рубахи задраны. Тут же у колес кучка народа, топчут сапогами колосья, и выделяются мужики в плисовых шароварах, приседают, будто пляшут, да что есть мочи дубастят валиками по тем обнаженным спинам. Дальше опять колымаги, в них мужики в лиловых кафтанах, лежат, задрали ноги, ждут своей очереди. И над

всем тускло-желтое низкое небо. И ты ходишь от колымаги к колымаге...

Она слушала, проникала за слова, гладила свои скрещенные руки, боясь, унимала их.

А он говорил что-то, не узнавал своего голоса.

Слышно было ее дыхание.

Странные тени проходили по лицам, эти тени были непохожие.

Души их с воплями носились, искали кого-то в этих потемках.

За стеной вдруг заколотило и, протянувшись в долгом стоне, вертелось в перхотне и кашле.

И она встала и пошла и пошла к самым глазам его.

Вонзался ее голос:

— Вся душа изболелась, старик хрипит, там больная Катя, тут этот Костя ходит, не вижу конца, — сложила руки, — сделайте так, чтобы этого не было, ну хоть на несколько дней, хоть на минуту...

И, крепко прижавшись, зарыдала.

— Кого я вижу! — Костя дергался перед ними.

Отошли.

Говорили что-то. Не слыхали своего голоса. Костя видел и знал.

Ольга внесла подогретый самовар. Заняла Христина Федоровна свое обычное место.

Костя подсел к Нелидову, возбужденно ерзал на стуле.

— Угадайте, где я сейчас был?

Нелидов улыбнулся.

— У планетчика, — Костя засверкал глазами.

— На, бери! — Христина Федоровна передернула плечами, подавая кружку с чаем.

Костя не обращал внимания.

Чай расплескался.

— Что же планетчик сказал? — спросил Нелидов.

— По планетной книге... — Костя надул щеки, — планетчик все знает, тут одна кухарка на железной дороге служит, железнодорожная, спрашивала, а он раскрыл планетную книгу и говорит ей, будто попадет она на содержание к оберу, ха-ха-ха, а она не хотела, пришла домой, взяла да удавилась.

— Костя!! — стукнула кольцами Христина Федоровна.

— Знаете, он совсем простой, он говорит: у меня на ладошке крестик, вот поглядите, — Костя растопырил руку, — и у Сережи тоже, у Сережи, знаете, накануне отъезда спички на руке вспыхнули, целая коробка. Дайте-ка вашу.

— Костя, выпей чай и отправляйся спать! — строго перебила Христина Федоровна.

— Дайте руку, дайте руку! — и, досиня побледнев, Костя оттолкнул стакан, — не буду я пить вашего гадкого чаю!

И весь дрожа, с гордого сердца встал, пошел из комнаты.

Насторожились.

Шмыгая, шлепали туфли, крались в столовую.

Нелидов поднялся.

Переглянулись. Взглянула на него долгим, долгим взглядом, который без слов передает всю душу.

— До завтра!

Столкнулись со стариком в передней.

Старик униженно кланялся. Очень сетовал, что Нелидов уходит так рано: может быть, сыграли бы партию, а то скучно, не с кем скоротать вечер.

И, когда Нелидов скрылся за дверью, старик еле доплелся до стула.

Тяжелое нависло молчание.

Были они друг для друга теми ненужными вещами, той помехой, от которой просто не знаешь, как отбояриться, каким-то тяжким игом, крестом, данным от Бога за грехи, должно быть, на всю жизнь.

Старик потянулся было за хлебом, но так ничего и не мог достать.

Невкусно пил пустой чай.

— Вы знаете, — резко сказала Христина Федоровна, — Катя безнадежна, умрет, если, конечно, ее сейчас же не отправить на юг, вы также знаете, что у ней за болезнь...

Старик уставился стеклянными глазами, пожевывал.

— Магазин опишут, платить нечем, и надо что-нибудь с этим сделать, — кивнула она на Костин порожний стул, — он с ума сойдет, понимаете? ведь, он, Бог знает, что наделает. А я не могу больше, у меня своя жизнь, у меня свой ребенок.

И, вспомнив про свою Еленочку, — за последнее время так мало приходилось бывать с ней, — бросила старика, пошла к себе.

Заглянула она мимоходом в зеркало, встретилась глазами, вдруг закраснелась, — потупилась.

В спальне неуютно, разбросано.

Сжалось сердце.

Наклонилась она над беленькой крошкой, вспомнила, как прежде молились вместе за папу, за маму, за птичку пи-пи.

И улыбнулась.

— Потягунушки — повалянушки, птичка моя маленькая, ненаглядная!

Осторожно принялась раздеваться.

И охватил ее глубокий сон.

Снилось ей, она на вокзале. Дожидается поезда. Полный вокзал. Кто-то говорит: это молодых провожают. Вдруг раскрывается дверь, и толпа маленьких девочек в белых платьицах, друг с дружкой за руки, кольцом окружают ее.

В это время звонок: первый, второй, третий. И какое-то предчувствие, — она опоздала и поезд уйдет, — подбрасывает ее. Она прорывает живое кольцо, расталкивает, но, ступив на перрон, не видит уж поезда, видит: в свете каких-то невиданных рефлекторов движется по полотну, словно видение, процессия, — все те же девочки в белых платьицах, а посреди них невеста, только лица нельзя разглядеть, лицо закрыто фатой. И опять звонок: первый, второй, третий. И кто-то ясно и отчетливо называет ее по имени.

Вздрогнув, будто от страшного толчка, Христина Федоровна открыла глаза и тотчас ясно почувствовала: тут в темноте сидит кто-то и, не имея уж силы сдержаться, безутешно рыдает, — и пришел он украдкой и рыдает украдкой, рыдает как тот, кто любит и никогда не встретит ответной любви.

И она уж не может закрыть своих глаз и не зажать ей ушей, лежит, как проснулась, горит, а сердце во тьме будто знает что...

Но что ты можешь знать, сердце? — сердце, тебя вечно обманывают, сердце, ты вечно обманываешь.

## 2.

Нелидов шел по безлюдной слепой улице.

Звездный свет лежал по снежной мостовой, и казалась она гладкой каменной дорогой — без конца идет, никогда не кончится.

Снежная пыль, рассыпаясь, звездно неслась. С тонким визгом налетал вихрь, улетал и опять прилетал.

Ветер страстно пел, не жалуясь, не горюя:

— Любите! любите!

И кто-то внезапно окликал, пропадал, и снова слышался голос.

И мчались — нагоняли кони.

Их бешеный храп взрывал воздух. И звездный свет трепетал по стенам, на камнях и у него в глазах.

А те слова — они уж были наготове и всякую минуту могли вырваться и ошеломить своим шумом — они подступали к горлу и мучили.

Ветер страстно пел, не жалуясь, не горюя:

— Любите! любите!

И завязалась борьба, схватились силы: они движут и останавливают, заманивают на выси и толкают в ямы, сажают на трон и низвергают в унижение, предупреждают предчувствием и обманывают чутье, владеют знанием и топчут всякое знание, а человек пляшет под их дудочку и рвет на себе волосы.

Звездный свет плыл, замирал, полз по глазам, вскрывая пелену за пеленой, расчищая муть, открывая пути к тайникам в скрытые жилища и неслышные.

— Красива она? красива? — пытливый голос заговорил в душе, — вот ты искал, во сне видел, добивался всю свою жизнь, теперь нашел. Ты только подумай, она раскроет такие сокровища, о которых ты не смел и грезить. Она — женщина до самых бездонных глубин. И в минуты наслаждений захватит дух, одна будет жажда: никогда уж не проснуться и продлить миг в вечность. А поцелуи, они повлекут за собой; утолив, заобещают еще большее, и тогда все, что живет и борется и творит, станет твоим и тебе покорится. Ты станешь миром и царем и Богом.

— Миром и царем и Богом, — повторил Нелидов.

— Сергей не мог оценить, а ты разберешься тонко, мигом пройдешь все богатства. И разве он любит ее, разве, когда любят, ищут других? Ты припомни! Ведь, когда человек полюбит, он говорит: хочу. А когда не любит, а так, он говорит: хочу, чтобы она захотела. Твой друг такой вот... брат Кости, но Костя с крестиком и ты с крестиком.

— А у ней есть крестик?

— Она ничего не знает, она не допускает мысли, чтобы он изменял ей. Но она не любит его, только внушает себе, что любит. Женщина без этого не может жить, ей всегда и непременно надо любить. И она любит. А ты, ты ее любишь?

— Любишь?!

— Любите! любите! — настаивал ветер.

— Люблю, жить без нее не могу.

— А если бы нашлось что-нибудь получше, ну помоложе, ну нетронутая, и ты как мудрец, открыл бы ей мир?..

Приостановился, бурлило в душе.

— Значит, ты не любишь.

— Я?

— Ты.

Нелидов ускорил шаг, — кипело вкруг него, нашептывало...

— Синяя ночь... Ты помнишь, от тоски ты грыз землю, ничего не видел, ничего не слышал, уплывала земля из-под твоих ног, и ходил ты над бездной, весь израненный, не чувствуя ран. А когда бывал с нею, ты помнишь, ты хотел... ты любил. Вокруг нее сияние... ты подошел бы — для тебя ведь не было в ней ни одного уголка, которого ты не хотел бы — ты подошел бы, да, ты хотел всю ее, чтобы вся она была в тебе, потому что любить и не хотеть овладеть любимым невозможно. А овладеть и уничтожить одно и тоже. Эта беспросветность, эти муки, что вот все же она отдельно, может оставаться сама с собой, может глядеть на предметы, может окружаться взглядами, может думать о чем-то... Ты помнишь ясные дни, они раскалялись и чернели от твоей скорби, от плача, который прожигал тебе все сердце при мысли, что она — сама по себе. А когда она ушла, где была твоя кровь? ты помнишь, дрожал от стужи, — тоска, это тоска выпила до дна всю твою кровь. Существовал ли тогда мир, жили ли для тебя люди?

— Люди?

— Жаркий июльский полдень. Какое-то тесно-отмеренное пространство, кривые улицы. По улицам гробовщики. Едут гробовщики домой, возвращаются с кладбища. Они трясутся на пустой колеснице. Лица их изможденные, вороты черных кафтанов расстегнуты, вся одежда, волосы,

кожа пропитаны запахом. Они голодные. Один на катафалке уписывает калач... И ты подумал: так и любовь умрет.

Тряслись у Нелидова губы, убил бы этот проклятый голос.

— Но любовь никогда не умрет. Она однажды и навечно. Ты можешь, сколько угодно, обманывать себя, ты можешь на время заглушить ее, но вытравить, убить ее — нельзя. И ту, которую потерял однажды, никогда не воротишь. А ты мечешься, ищешь ее.

— Любите! любите! — настаивал ветер.

— Ты гонишься, потому что кто тебе скажет: нельзя вернуть. Ты видел, потерял, ищешь, но есть и такие: никогда не видели и не положено им увидеть, и другие, которые увидели, но взять не могут...

— Она несчастна, — сказал Нелидов.

— Ты думаешь, она несчастна оттого, что у ней нет денег, и этот дом и эти долги?

— У меня тоже нет денег, не могу ей помочь.

— Помочь?! разве тут в деньгах дело? Этот дом и эти долги дают ей сорвать сердце, свалить на что-нибудь всю его тяжесть, — сердце проснулось, увидело...

— Любите! любите! — настаивал ветер.

— Она его не любит.

— И никогда не простит за свою жертву, которую каждый день приносит для него и унижается.

— Она его не любит, — сказал Нелидов.

— А тебя?

— Она никого не любит.

— Нет, ты не то сказал, ты сказал себе: она только меня любит.

— С ним ей было тесно, он не мог оценить ее, ему все равно, она или другая. Она и пожалела его маленького и доброго. Меня же тогда ненавидела...

— Ты, конечно, выше его, тебя можно ненавидеть, ты, ведь, господин Нелидов! А Сергей и вправду не любил ее.

— Любите! любите!

— Я люблю ее.

И опять этот бешеный храп. Казалось, мчались — нагоняли кони. И звездный свет трепетал по стенам, на камнях и у него в глазах.

Она возникала перед ним. Слышал ее сердце. Подходило сердце к его сердцу, и колотилось и колотилось, хотело пробиться, вспыхнуть и потонуть.

Эти богатства нераскрытые, эти движения безраздельности, эти дыхания головокружительных прыжков за пределы, за небо, за звезды...

— Чего ты хочешь?

Дух захватило.

Звезды и ветер.

— Любите! любите!

Звездное небо тихо венцом сияло.

Там Божия Матерь шелковую шила ширинку — Божию ризу.

По середке ставила блестки, по краям ряды.

Три ангела, три серебряных, павым пером крыльев осеняли Пречистую.

Звездное небо тихо венцом сияло.

---

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## 1.

Бедная милая Катя.

Несчастная девушка, не сказавшая своих тайных горячих слов, не излившая сердце, свое сердце, полное ключей, — они закипали, просились разлиться и озарить ночь.

А теперь белый чуть брезжущий свет в маленьком, закутанном окошке, а когда оно оттает — —

За что?

Отец твой любил твою мать, он не хотел тебе смерти, и все это так случайно... разве он знал? разве он думал?.. тебя тогда и на свете не было...

Бедная милая Катя.

Скоро будет весна, но этой весны ты не увидишь. Ты прости ему, прости, если можешь... Но этой весны ты не увидишь. Тебя перевезут на юг, в теплый край; может быть, и вернешься...

За что?

Катя дремала в глубоком кресле.

Острые ненужные кольца висели на ее исхудалых пальцах, то и дело соскакивая. Большие глаза были слишком духовны, не было в них ни капельки крови, и чернелись на обтянутой коже брови, как две черные стрелки, и вся она была какой-то чужой, не прежней.

Большие глаза как будто о чем-то глубоко думали, но мысли были тихие, переходили мысли грань жизни и, с каждым часом приближаясь к чему-то, теряли свою внятную обычную речь.

Она их не слышала.

Глубоким пластом лежало на всем равнодушие.

Она ничего не хотела, ее ничто не влекло, ее ничто не приковывало, словно ровно ничего у ней и не было,

ровно ничего, о чем бы вспомнить, потужить, помечтать можно. Не помнила вчерашних дней. И пусть за окном этот снег идет, и на гвоздике там коньки висят... А ведь еще недавно так любила крепкую белую зиму, еще недавно так любила — —

За что?

Черные часики шли, шептали покойно и верно от часа до часа, — был им отмерен путь, и не о чем было заботиться.

Был праздник.

Из кухни несло пирогами да жареным; жирный запах съедобным ложился горечью на язык и десны.

В доме — пусто, старик спал, один Костя, не находя себе места, где-то наверху слонял слоны, топал глухо, будто стучал молотком, да Ольга, отрываясь от печки, забегала наведаться.

Ольга пошла на погреб. Иссяк стук шагов наверху.

Шел снег, окно порошил, свет уменьшал.

Шел снег — —

И вот тихонько приотворилась дверь. Озираясь, вошла в детскую покрытая платком незнакомая женщина.

Катя хотела поздороваться, но язык не шевельнулся, только губы, кривясь, раз улыбнулись.

«Должно быть, это и есть та самая сиделка, с которой отправят меня в теплый край», — подумала Катя и успокоилась.

Женщина, не торопясь, уселась напротив.

— Пора, барышня, — сказала она, — в дорогу пора, там тепло, хорошо, так хорошо, трудно и представить себе. Тут ничего этого нет, тут и дышать нечем.

Катя вглядывалась в незнакомую; казалось ей, уж видела ее однажды, только не припомнит когда.

— Там весна, там всегда весна, а когда, даст Бог, вернешься, будешь другая, ты будешь такая светленькая, — голос сиделки пресекся, — там нет этого! — и она протянула руку к тумбочке, метко схватила часики, зажала в кулаке, поднялась высокая, гордая, размахнулась и бросила часики об пол...

— Нет этого!

Катя привстала с места, дрожала, как лист.

Из-под сбившегося платка у сиделки белел тугой бинт,

как у покойной матери, и она, высокая, гордая, стукнув каблуком, расплющила часики.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— Катя, Катечка, что с тобой? — Христина Федоровна встала на колени, взяла ее руку.

Очнувшаяся Катя тихо, покорно плакала.

— Вот и поедем, там хорошо, там тепло, хочешь и я с тобой?

— Нет! — задрожала вся.

— Ну, успокойся, твое рожденье сегодня...

Катя тихо покорно плакала.

Она их слышала, она понимала, — мысли переходили последнюю грань жизни и теперь открывали ей свой другой, только ей понятный голос.

Часики стояли.

## 2.

С полдня весь остаток дня прошел в сборах и приготовлениях.

И было так, будто вошло в дом великое счастье, все были страшно веселы и хоть стеснялись свою радость показывать, но утаить не утаишь ее.

Еленочка раскудахталась, как курочка, Мотя пел, забираясь все выше до каких-то невероятных верхов, Рая помогала, выводила желудочно-писклявым голоском, и оба, расходясь, вдруг хохотали на дьявольских нотах.

Христина Федоровна, праздничная, принарядилась както особенно, и мягкая пушистая кофточка делала ее такой, ну взял бы на руки да поносил по комнате.

Костя мрачный и беспокойный, дошел теперь до такого озорства, никакого с ним слада не было. Лицо его было какое-то оголтелое, весь он дергался обдрыпанный и взъерошенный, — с гоготом сыпались слова, хоть возом вези, без удержу, беззастенчиво. Поминутно вынимал он из кармана какую-то таинственную коробочку и, приоткрывая ее, незаметно выпускал из нее блох, скопленных им в течение месяцев для своих совершенно непонятных никому целей.

Раскрасневшаяся Ольга, захватанная кругом, тут же огрызалась и подзатылила.

И старик взлохмаченный с торчащими, будто наклеенными волосами, в распахнутом халате, весь в горчичниках, куролесил, помахивая газетой среди этой тесноты, духоты, фырканья, наскоков и несмолкаемых острот Кости.

Без конца барабанили на несчастном пьянино, так что розетки на подсвечниках, как полоумные, прыгали.

Выл и визжал расстроенный пес Купон.

А сели за стол, шум не унялся. На столе красовались бутылки, которых со дня отъезда Сергея в доме не было видно.

И все это по случаю рожденья и отъезда Кати.

Так думали.

Ждали Нелидова, единственного и неизменного гостя, и когда раздался звонок, все повскакали.

Оказалось, это был не Нелидов, а мастер Семен Митрофанович.

И поднялся такой гвалт, стены дрожали.

Правда, вид мастера был ужасен, было что-то невозможное в его одной оплошности: из-под кургузого франтоватого пиджачонка курдюком висела сзади не вправленная сорочка.

Явился Семен Митрофанович с окончательным решением сказаться о своем уходе, но, опешенный необычайным приемом, приналег на водку и решение свое отложил.

Обед шел своим порядком.

Костя в азарте опрокинул себе на голову тарелку с лапшой и, увешенный лапшой, полез мазаться.

Рая, так близко подвинувшаяся к Моте, сидела у него на коленях и, покрываясь красными пятнами, визгливо хохотала.

Захмелевший мастер растроганно, как подвыпившая баба, принимался что-то рассказывать и рассказывал путано и невероятно: начинал с третьего лица и, поминутно сбиваясь на первое, переходил спрохвала в какое-то неопределенное, громоздил ужас на ужасе, врал, как сивый мерин. А бросив рассказы, приставал к Христине Федоровне с каким-то ключом, при этом копался в карманах и скользко улыбался.

Старик под шумок уплетал за семерых, чавкал и мазался.

Перепадало и Купону, Костя давал Купону лизать себе руки.

Даже Катя, перенесенная наверх из детской, забывалась в своем глубоком кресле и под трескотню и грохот все

загадывала, что будет через месяц, что будет летом, на будущий год...

И только, когда выскочила кукушка из своего домика — резко прокуковала, и все поднялись и заторопились на вокзал ехать, Катя заплакала.

И плакала тихо, покорно.

Она знала.

И когда обнимала Христину Федоровну и желала ей счастья, она знала, и когда целовала Еленочку, отца, сестру, Костю, она знала.

Больше знала, она знала, чего они еще сами не знали.

И плакала тихо, покорно.

## 3.

Вот и поехали, повезли.

А в доме водворилась тишина и еще что-то, оно бывает только после покойника.

Пустота какая-то...

Ольга принесла самовар, отвернулась, всхлипнула: барышню жаль.

— А чего жаль, — тут же и упрекнула себя, — знать не помирать поехала, даст Бог, и поправится, только эта землица на губах... Нехорошо.

Старик распоряжался: в кои-то веки такой часок выпадет.

— Ты бы, Костя, попел чего, а то так болтаешься зря, — накладывал старик на корочку зернистую икру.

— Я, папаша, таких песен не умею петь, я пою только разбойничьи... Отчего, папаша, у меня в нутре залезняк ходит с черевным ногтем и отчего я спать не могу и все мне противно?

— Глист завелся.

— Какой глист?

— Ну, червяк, ты посмотри ужотко повнимательней...

— Червяк... — Костя задумался, — а что, папаша, черт, что он такой?

Старик поднялся, налил себе рюмочку наливки, со вкусом выпил, выпил и, крякнув, подмигнул:

— Черт черный.

— Ха! — фыркнул Костя, — черный? а я во сне его, папаша, вижу, знаете, папаша, он совсем не такой, а

узнаешь сразу, он ничего не боится, тихенький, даже видать скрозь.

— А ты спи лучше, вот ничего и не увидишь, либо горчичник поставь, пощиплет-пощиплет и хорошо.

— А вам, папаша, что снится?

— Что снится? — яблоки снятся, истухшие окуни, ты снишься, Катя, мало ли что!

— А правда, папаша, говорят, если увидишь, будто с тобой что случилось такое, так это к деньгам?

— К деньгам, как же! — старик сосал леденец, — накануне того самого дня, как мне выиграть, приснилось, будто сижу я там и хлебаю горсточкой это самое, а покойница мать твоя, будто на помойке.

— А мы завтра в помойке котят будем топить, Маруська окотилась! — захлебнулся Костя от удовольствия.

Старик опечалился:

— Ах ты скесов сын, глупый, да ты их уж лучше в тепленькой водице потопи, а то маленькие, слепенькие — холодно... — и, поперхнувшись, судорожно схватился за сердце.

Из больного места по каким-то опухолям потянулось неумолкаемое клокотанье и свист, и храп и кашель.

Костя походил-походил, раскрыл было пьянино, постучал пальцем, махнул рукой и спустился вниз.

Но не прошло и минуты, вернулся.

— Я боюсь, папаша, — сказал он не своим голосом.

Изможденный старик лежал на диване, затихал.

— Я боюсь, — повторил Костя, — там в детской сидит кто-то...

— Пускай себе сидит, — ахлял старик, дышал тяжело, — посидит и уйдет.

Выскакивала из домика кукушка, куковала.

## 4.

С вокзала Христина Федоровна не поехала домой, а повернула на другую улицу к знакомому подъезду — к Нелидову.

Нелидов выглядел не как всегда: сухо горели ввалившиеся глаза и в глубине их упорно стоявшая мысль точила мозг.

Началось с Кати, но это между прочим, как и все, что говорилось о делах, о долгах, о магазине.

Эти внешние мытарства были теперь отводом, углом, куда можно было схорониться на долгие часы, вещью, на которой легко сорвать сердце.

Сердце раскалялось со дня на день, от встречи до встречи, от взгляда до взгляда.

— Старик и слышать ничего не хочет: наладил одно, что нет у него денег и ни с места, а не сегодня, так завтра магазин опишут.

— Ну а Сергей?

— Сергей! — нагнула голову, — он там, а я тут. Вот магазин опишут, он и приедет... и скажите, почему это так, почему, если схватит беда, то все, словно по уговору, отшатывается от тебя... это всегда?

— Это всегда.

— А любовь? — смотрела полная любви.

— У нее своя правда. Если полюбишь, а тебя не полюбят, ты погибнешь. Как, — это неважно, но ты погибнешь. Тут уж все соберется, всякие напасти придут, на гладком месте поскользнешься. Вот например, сейчас судят человека за убийство. Убил, потому что его оскорбили. Но это неправда, он не оскорбился бы и не убил бы, если бы от любви безответной не задохнулся. Если полюбишь, а тебя не полюбят, ты погибнешь.

Она стояла перед ним приговоренная, вся кровь ее, отхлынув к сердцу, затаилась, чтобы, разом вспыхнув, залить всю землю.

— Страшная правда, — продолжал Нелидов, — страшнее ее нет в мире... А полюбить, значит, захотеть другого целиком всего до последних уголков, а другой остается все же сам по себе и видит и слышит и думает. Любишь меня, смотришь на меня, — —. О чем это он думает? — спрашиваешь себя. И немедленно отвечаешь. Ответ само собой является: что-нибудь из моего прошлого или из вчерашнего нашего несовпадения во взглядах ли, в желании ли, в какой-нибудь самой ничтожной мелочи. И тут начинается ад. Дальше идти некуда. Тебе уж ничего не надо, только видишь меня одного, отколотого от себя, и знаешь хорошо, не могу я слиться. Любить и не хотеть овладеть любимым невозможно. А овладеть и уничтожить одно и то же.

— Какой вы странный сегодня и глаза у вас такие...

— Глаза живут скорее, они дальше видят, в них часто смотрятся целые годы вперед... а весь я сегодня напротив совсем не такой, никогда еще не чувствовал такого огромного счастья, оно уж пришло и стучится.

Сказав это, он почувствовал еще и еще раз, что любит ее, не может жить без нее.

И ее сердце в тот же миг вспыхнув, озарило только его, и стал он для нее один во всем мире, как единственное дитя, дороже, чем единственное дитя.

Хваталась за первые попавшиеся слова, не могла их выговорить, не могла сказать, что уж сказано сердцем, этим сердцем, полюбившим однажды и навечно.

И охваченные, проникнутые вихрем, они неслись вместе, как нераздельное, как невозможное, ставшее вдруг миром в раздельности.

## 5.

Подгулявшая компания шумно и нетвердо выломилась из веселого дома «Нового Света». В «Новом Свете» тушили лампы, на угарный ночлег готовились. Музыкант свою дешевую музыку складывал, тапер последнюю ноту взял.

И за что Ты так мучаешь, приходишь без поры, без времени, сокрушаешь сердце, страхом страшишь, обманываешь? Почему не откроешь лица своего, землю не назовешь своей, Ты — вечное причалище, вековое приголубище — жизнь моя, ад и рай мой.

Мастер Семен Митрофанович никак не мог уняться, он вырвался из Мотиных объятий и, обнимая кого-то, вертелся углом вниз по улице.

— Так гуляла бондыриха с бондырем, эхма, да не дома, да не на печке, бейтесь сапоги, ломайтесь каблуки! охо-хо... — и, ослабев, снова схватился за Мотю, — я, брат, толк знаю, перво дело, чтобы подпрыгивала, а которая подпрыгивает, та в деле ходок, чище ее нет, а ты чего, дай спичку, — закурил, сплюнул, — Райка твоя дура и ты дурак.

— Я понимаю, — сопел Мотя.

— Ты ничего не понимаешь, а мне, брат, и очков не надо, я теперь все докажу. Ты заработал много? — ни

хрена ты не получишь, и кой хрен тебе платить станет, в самом деле?

— Я поговорю с сестрой.

— Чего поговоришь, дура!

— Я поговорю насчет денег.

— А этого видел, шкулепа! — мастер ткнул Мотю. Мотя брыкнулся.

— Сам ты шкулепа, портковый хулиган.

Но мастер кипел весь, и так тряс руками, будто яйца нанес:

— Я тебе морду разобью! скажите, какой король Могол великий! ему же добра желаешь, а он тоже ругается, черт! хочешь уму-разуму наставлю, хочешь?

— Хочу.

— Ну так удирай, вот что, а я не оставлю, полагайся! Манька говорит: приезжай, Сеня, говорит, беспременно и все готово, и который товарищ твой тоже...

— Она мне не чужая, куда она одна пойдет?

— Одна? — залился мастер, — одна? да она с этим дубоносым путается... нечего сказать, почище нас!

— Она мне сестра.

— Сестра, так сестра и пошел к свиньям! — мастер зашагал твердо и, круто повернувшись, схватил Мотю за горло и, что есть силы, затормошил его, — побить тебя, пьяницу, мало, убоец ты, сукин сын, куда ты пойдешь, глухая тетеря, кто тебя этакую гундырку возьмет, кому ты нужен, балбес... товарищ Шаляпина? артист? хорош! как из этого самого пуля. А я тебя определить хочу, понимаешь?

— Понимаю.

— Ну, вот, — мастер выпустил Мотю, взял его под руку и, как ни в чем не бывало, пошел мирно, сподговаривая: — похвастаться, брат, не травы покосить, я заявлю, а ты удирай с своей Райкой, упустишь момент, — пропадешь. Сестра! знаем мы этих сестер... черта с два! — и вдруг умилился, — скажу тебе по чести, она первый сорт, значит, да, образования, конечно, у нас нет, мужики, не можем... первый сорт...

И впал в мрачную полосу, бормотал что-то, жаловался и ругался. Тащил Мотю к фонарю и, сорвав сердце на неповинном железе, увлекал спутника на середку улицы, рассказывал о каких-то крысах, которые развелись повсюду

и поедом едят, но что со временем этих крыс метлами разгонят и тогда не будет мужиков, а один первый сорт, чтобы наслаждаться и утопать в блаженстве... и, взрывая ногами снег, изображал дикую лошадь, а из дикой как-то внезапно превращался в клячу отходников, трусил, бормотал, жаловался и ругался.

В тяжелевшей голове Моти, как маятник, ходила одна мысль. И он не противился ей, а крепко держался, — знал, как только начнет возражать, нога подвернется, упадет он в сугроб и уж никогда не поднимется: стало быть, надо удирать, беспременно...

— Лови момент — лови момент —

Так с грехом пополам они добрались до дому, и когда заспанный Иван Трофимыч принялся за свою работу, угрюмо-настроенный мастер вдруг просиял весь и, ткнув пальцем куда-то в грязный угол, сказал спрохвала:

— Иван, подай это!

Покорно согнулся мальчишка, — и требуемое тотчас появилось.

— Отлей в чашку, — приказал мастер, широко разинув рот.

И отлил мальчишка гадости себе в чашку и, смекая в чем дело, дожидался.

И прошла минута мытарящего ожидания.

— Лакай!

## 6.

Свистел по дому сап сытым пересвистом.

Непроглядная темь сновала в холодном коридорчике.

Корчился Иван Трофимыч на постылом сундучке, поджимал под себя ноги, свертывался в горошину и, вдруг отбрасывая тряпье, привскакивал.

Кидало то в жар, то в холод, душила, становилась поперек горла противная соленая слюна.

— Сволочь... сволочь! мамушка моя, родимая...

* * *

Костя, закутанный с головкой в одеяло, жался к стене от страшных глаз, они неотступно следили за ним, обливали его холодным потом, и лежал он так зачерствелым черным комком в гнетущем сне.

Снилось ему, будто сказала Катя, чтобы шел он в лавку гроб ей купить. И долго ходил он по лавкам, никак гроба выбрать не мог. А когда вернулся домой, видит, гроб уж стоит и Катя возле гроба стоит. Катя говорит ему: почему, Костя, купил ты мне такой узкий гроб? И лежат они будто на какой-то покатой кровати рядышком: Костя на самом на кончике совсем руками к земле, и неловко ему, душно и холодно, а Катя на самом на верху, и хорошо ей, мягко и покойно. Почему это ей хорошо, мягко и покойно?

А в детской за маленьким Катиным столиком над раскрытой книгой, приклонив голову к столику, казалось, сидела девушка и тужила и горевала всю эту темную да невидную ночь до рассвета, и не хотелось ей уходить, не хотелось расставаться с белым со светом.

За что?

---

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### 1.

Звон и лязг раскалившихся от битв мечей.

Жалоба поредевших окровавленных пыльных нив.

Крики голодных в выжженных лесах.

Взрыв взбешенного пламени в волнах подслеповато-чугунного дыма, перепоясанного золотом брызг.

Треск и хлюп надорванных воплей, кличей, призывов, проклятий; рокот гнетуще-унылого пенья, визг разгульного гимна.

Пожары домов — приюта болезней, нужды, порабощенных желаний.

Дико заросшие лесом дорогие могилы, пустыня разрушенных зданий, немые колонны, попранный жертвенник.

Шумно несутся из пекла разъяренного солнца, шумно, как хороводы осенних листьев красные медные лучи, и падают золотом, раздувая жажду и жар.

На смену дней выходят сонно из пропасти седые сумерки, бредут туманом и чернятся; пугливо замирает скорбное мерцанье месяца. Ночь.

И где-то среди жутких снов и тяжких бредов ребенок плачет, и тихо ночь ласкает полуоткрытые глаза отчаявшейся матери.

Так повторялось год за годом, уходили годы.

Гас пепел, слезный ливень ослепленно бился, пожирал огонь, стучало глухо притупленное железо, сипели звуки.

Не горел уж тихий огонек, и не курился синий дым.

Надвигалась горькая расплата.

И вот однажды глухою ночью затеплилась на небе нежданная звезда, а на холме — на грудах пепла и костей явилась женщина.

В ее руках чернелись цветы, тяжело вздымалась грудь, раскрывались от жажды губы.

И те, кого баюкал сон для новых преступлений, и те, которые на страже были, и те, что корчились в мученьях,

младенцы, дети, женщины и звери, трава, цветы, деревья — упали замертво, скошенные косой.

Блуждало голубое пламя. Из мглы вздымались мечи огней. Хрустели волны.

А женщина одна стояла на холме и обнимала взглядом земную гибель.

И вот зашевелились трупы и остовы костей порозовели, и кто-то начал песню...

Бессмертная, Она подымала из праха погибший мир, давала для всех одну нерушимую заповедь:

— Любите!

Солнышко —
Ведрышко,
Выгляни.

* * *

Порой казалось Нелидову, он нашел ту, которую потерял навсегда, ту, которую любил однажды.

И пылали ночи, тушили время, часы не били, — вечность покоилась на вещах и мыслях.

Но когда заглядывал в окно ранний туманящийся свет, — свет до рассвета, он уж не смел глядеть туда за окно, и проколол бы уши себе, лишь бы не слышать хода минут.

Выползало чудовище из-под сбитых еще теплых от ночной ласки подушек, наваливалось на него скользким животом, давило сердце.

— Зачем ты это сделал? — пытало чудовище, — зачем ты ее мучаешь? зачем обманываешь себя? — ты знаешь, что не любишь ее, зачем ты притворяешься, зачем не скажешь об этом ей и себе? забываешь?

— Забываю, — оправдывался Нелидов.

— Врешь ведь все, никогда ты не забывал, и разве это можно забыть? — тянуло чудовище.

— Я уже сказал, что скажу ей обо всем по правде, я никогда не буду...

— Никогда! Эх ты, господин Нелидов, — твердил, что будто полюбил однажды и навечно, твердил... всякий вздор, какой ты весь... гм! смотри, она глядит на тебя, улыбается, как дитя, она верит тебе, она любит, как ты, помнишь, однажды и навечно ту любил. Но она уж мучается, чует. И вот будет жить такая обманутая, трижды

обманутая, будет ходить по этим узким улицам, — улицы все станут для нее узкими, — будет ходить и как вспомнит, — сердце надорвет себе, вся ее грудь изноет... А не скажешь ей по правде, все равно, чутьем узнает, этого уж нельзя скрыть, ничего нельзя скрыть, и тогда поймет, как ты ее обманывал, и тогда поймет, как ты себя обманывал. У ней есть муж, она думала, что любит его. Она не любила его, он тоже. Но тебя она любит. Будет жить обманутая, трижды обманутая, будет ходить по узким улицам, смотреть и как вспомнит...

— Я сказал, что скажу ей. Конец.

— Конец? — усумнилось чудовище.

— Знаю, — отмахивался Нелидов.

— Нет, ты не знаешь, ты...

— Да разве в ту ночь я обманывал ее?

— Все собирал, чтобы обмануть себя. И ее. Ты и думал не о ней, ты думал о другой. Ты и думал и знал это.

— Знал это? — нет, я ничего не знал.

— Не устоял? — тоже, не какой-нибудь там! а господин Нелидов, знающий цену, ты себе цену знаешь? тот, кто не устоял и себя обманул...

— Тот, кто себя обманул...

— Помнишь, как ты издевался над этими — э! им и Бог простит! — на большое они не годны, ни зла, ни добра не сделают... Да. Теперь, может быть, и ты найдешь себе что-нибудь подходящее, какое-нибудь маленькое дельце?

Вот так и пытает и пытает это чудовище. Под утро отпустит.

Забывался Нелидов. Казалось, никогда бы не встал, да и незачем вставать, противно на свет взглянуть, если бы вечный сон!

А нет-нет да и толкнет его что-то, стащит с него одеяло, потрясет за плечи.

Вскочит и прислушивается.

— Господи, что это там творится?

А за стеной кто-то, крадучись, уж вколачивает гвоздь, так вколачивает, чтобы, повесив петлю, да в петлю...

На лбу у Нелидова выступает холодный пот, зубы стучат.

А тот должно быть приноровился, да в петлю — и готово, висит.

Проходит минута, другая, третья, Нелидов не шелохнется, ждет.

Вдруг зашумели, бегут, знать, хватились, да поздно, не поможешь, уж поздно, не поможешь.

— Поздно, — говорит чудовище, выползает оно из-под смятых раскаленных подушек, наваливается скользким животом, давит сердце, — ну зачем это ты тогда в ту ночь, зачем ты это сделал? — снова и снова тянет свое, не отступает.

Поздно наступал день, дела, разговоры, погоня, путаница, — жизнь буден.

Потом приходил вечер. Слава Богу, день из счета вон, к смерти ближе.

Часы бегут... выстукивают на ухо:

— Подумай, подумай, сегодня ты жив, а завтра не будет тебя, и откуда ты взял, что ты обманываешь себя? Разве ты хотел обманывать ее? разве ты не искренно сказал себе, что любишь ее? Залей эту изжогу, выгони, вырви из сердца эту скользкую пьявку... убей чудовище, задуши его!

Но в самый разгар, когда, казалось, наступало успокоение, вдруг чья-то рука толкнет и потянет заглянуть в окно.

Отдернет Нелидов занавеску и отшатнется. И, тоскуя до слез, снова посмотрит.

А видит он одно и то же, ее видит, как однажды видел и будет видеть вечно.

— Ну что? что? видишь? — набросится чудовище.

И пойдет этот дьявольский допрос, всю душу вымотает.

Опять день, — жизнь буден.

Потом приходил вечер. Слава Богу, день из счета вон, к смерти ближе.

И часто, торопясь и с тревогой оглядываясь, вдруг замирал Нелидов и весь уходил в слух: голос, который таился в днях и, выползая чудовищем ночью, окутывал колкою сетью укоров и, измучив, подымал из унижения на какую-то новую жизнь, пробивал шум, заглушал окружающие звуки и повелительно, как царь и судия, говорил над ним:

— Повинен смерти!

И мир, как один, вторя, кричал изо всех вещей, изо всех глаз:

— Повинен смерти!

А смерть была тут. Она непокорная, но вызванная однажды из глубин сердца, не могла не явиться, не могла покинуть, стояла за дверью, караулила, как мать, часы его жизни.

Теперь Нелидов только и жил одной мыслью — покончить с собой.

## 2.

Накануне ушел мастер, Семен Митрофанович.

И это был первый удар, за которым посыпались, как орехи, другие, более тяжкие беды.

Верить не хотелось, не думалось, что все так уж сразу.

И напала та беспечность, которая верно предрекает горький завтрашний день.

Христина Федоровна была такой веселой, как никогда еще.

Один Костя, на которого напала непреодолимая сонливость, бормотал сквозь сон страшные вещи и, пробуждаясь, ходил мрачный, закусив губу, будто готовясь к какому-то большому неслыханному делу, которое должен совершить.

И вот после обеда в торговый день явились описывать магазин.

Надел пристав цепь, прочитал постановление, поставил к двери городовых и приступил к описи.

Христина Федоровна, Мотя, Рая и Иван Трофимыч стояли за прилавком, словно выстроенные; лица их поражали своей будничностью, будто не совершилось ничего особенного, а было так в порядке вещей, только в глазах у каждого таилось по одной незаметной им вертящейся мысли: что им делать завтра?

Костя, углубленный в свою всего его поглощающую мысль, стоял поодаль, отдувал щеки и с остервенением лизал языком себе десны.

А кругом у окон останавливались прохожие, засматривали, высовывали языки, скалили зубы, гримасничали, — не могли удержать своей радости.

Поистине, великую радость пробуждает в нас несчастье ближнего. Конечно, не годится в глаза ею тыкать, не ровен час, — все мы под Богом, но удержаться трудно.

И пристав, накладывающий печати на разные драгоценные вещи, сдерживал эту улыбку радости.

А часы, как шли, так и продолжали идти.

Одни выкрикивали маленькую пошлую мелодию — всю пустоту жизни с ее непролазным болотом чинности, с ее уздой и лживостью, с ее мерой, трусостью, без креста и подвига.

Другие глухим протяжным боем били час смерти, которую люди боялись — чудаки, обманутые мелочью своей жизни без креста и подвига.

А граммофон гремел на скачущих нотах разудалого камаря без совести, без удержу, так что пол под ним ходил ходуном.

— Так гуляла бондыриха с бондырем! — прищелкнул пальцем, не удержавшись, городовой, больно задрало здорово.

Пристав накладывал печати, накладывал одну за другой по всем стенам, по всем витринам.

Печати затыкали глотку живым вещам, магазин вымирал.

И когда кончилась вся эта церемония, и пристав удалился, каким-то чудом уцелевшие неприпечатанные часики одни чуть тикали, и тиканье их было таким, будто проходили по сердцу тоненькие гвоздики, зацепляли сердце и мелко рвали его.

Все заторопились покинуть черным ходом этот запечатанный, мертвый, не свой магазин.

Рая и Мотя переглядывались: у них все уж было слажено и надумано, ждали только вечера. А вечером они сядут в поезд и покатят в Питер к товарищу Сене — мастеру Семену Митрофановичу, определившемуся в Петербурге, на новую жизнь.

— Ты прости, прощай! не поминай нас лихом! — напевал Мотя, покручивая усики и раздувая ноздри, будто Шаляпин.

Иван Трофимыч, прихлопнутый своей шапчонкой под барашек, возвращался домой в коридорчик угрюмо и медленно, словно нес за плечами с полсотни годов. Куда ему теперь деться, где приклонить голову?

— Поступить в пожарные, — мечтало пригорюнившееся сердце, — живот положить... каска-то какая, сто пудов, медная, на голове не унесешь! или в разбойники записаться в Чуркины, всем волю объявить, а мастера топором...

## 3.

В последний раз подымался Костя по лестнице на колокольню Собора часы заводить.

Духом сигал со ступеньки на ступеньку.

А ветер, налетая, толкал его в грудь, будто желал бросить вниз.

— Ты не смеешь! не смеешь! — кричал, казалось, темный ветер в пролетах.

И пугали, тряслись колокола, гудели вековым гудом, гудя, грозили размозжить чугунным языком голову этого урода, задумавшего такое неслыханное дело.

Но Костя не чувствовал усталости, не знал страха. Что ему теперь усталость и страх? — перегорало его сердце в едином твердом бесповоротном желании, задумал он думу больше всех.

Ни человек, ни тварь, — часы владеют сменой и посылают дни и ночи, все от них — эта тьма и ад, и он убьет время — проклятое! проклятое! проклятое! — убьет время, освободит себя и весь мир.

Ноги его не будет там на земле, не сойдет он вниз, не исполнив назначенного ему, и если это понадобится, он полезет выше, полезет без конца, ступит на крест и дальше... на облака.

Он поклялся и клянется всеми днями тоски, солнцем и ночью, солнцем, когда мир истязал его, ночью, когда он истязал весь мир.

«Костя, если бы часов и совсем не было!» — вспыхнули на миг слова Нелидова и еще больше уверили Костю.

И, достигнув верхнего яруса, Костя проделал необыкновенно легко все, что прежде давалось с такими трудностями.

Рычаг вертелся в его руках, как соломинка.

Костя слышал: жили, кишели часы — тысяча тысяч бегучих годов, тысяча тысяч ядовитых червяков в этом гнилом железе. И от железного чудовища зависела целая судьба! Нет, он больше не может жить, не свергнув это железное иго, он руками задушит это железное горло.

Ощеривая рот с пробитыми передними зубами, схватил Костя железный прут. И легко, как перышко, подбрасывая железо, бросился к оконному пролету, проворно вскарабкался на подоконник, изогнулся весь и, нечеловечески

вытянув руку, коснулся послушным прутом большой стрелки, зацепил стрелку и повел вперед — —

И медленно вел до последней минуты с четверти на полчаса, с полчаса на без четверти и на десять, а с десяти на пять, а с пяти на три и на минуту... — и на миг замерев, рванул, что есть мочи, железным прутом стрелку.

Хряснула, звякнула сломанная стрелка, мелькнул голубой огонек, — канула в вечность.

И вот ударил колокол чугунным языком в певучее сердце, ударил колокол свою древнюю неизменную песню — час свой.

Не мог остановить положенного боя.

Прокатились один за другим не девять, а десять ударов.

И хохотало — звенело, ужасалось — плакало, кричало от нетерпения в этом и в том и в десятом сердце.

Хохотало и плакало.

Сгущались погасшие звоны, летели и, развеваясь белым прозрачным паром, колебались, как белые перья...

Звезды, примите нас!

А синие звезды неземные думали свои надземные думы и, осененные светом, сияли.

От внезапного молчания волосы становились дыбом.

Отброшенный на каменный пол, очнулся Костя и, как кошка, снова вспрыгнул на подоконник.

Неподвижно стояла одна одинокая стрелка.

Дождался!

И, выгнув длинно по-гусиному шею и упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконник, хохотал Костя во все горло безумным диким хохотом.

Дождался!

И, не плюнув вниз на город, — теперь его город, затянул песню.

Костя пел — царь, поправший время с его томлением и утратой, царь над царями.

Больше нет невозвратного.

Больше нет ожидания.

Больше нет времени.

* * *

На каланче пожарный, закутанный в овчинку, в своей ужасной каске вдруг встрепенулся и, тупо вперяясь глазами в город, искал пожара, — огня же не встретив, зашагал

привычно вкруг раздувающихся черных шаров и звенящих проволок.

Отходящие поезда, спеша, нагоняли ход, свистели резко, резче, чаще.

Погоняли, лупили кнутом извозчики своих голодных кляч, сами под кулаком от перепуганных, торопящихся не опоздать седоков.

Согнутый в дугу телеграфист бойчей затанцевал измозолившимся пальцем по клавишам адского аппарата; перевирая, сыпал ерунду и небылицу.

Непроспавшиеся барышни из веселого дома «Нового Света» размазывали белила по рябоватым синим щекам и нестираемым язвам на измятой, захватанной груди.

Нотариус, довольный часу, складывал в портфель груду просроченных векселей к протесту.

И кладбищенский сторож с заступом под полой шел могилы копать. Сторожева свинья хрюкала — чуяла себе добычу.

Пивник откупоривал последние бутылки. И запирали казенную лавку.

Беда и горе переступали заставу, разбредались по городу, входили в дома.

И отмеченная душа заволновалась.

Ждала казни.

Господи, просвети нас светом твоим солнечным, лунным и звездным!

## 4.

Маленькая сгорбленная фигурка в башлыке зайцем, буйно размахивая руками в разговоре сама с собой, приостановилась у губернаторского дома, заглянула в ворота и пошла себе дальше.

— Больно жирно будет, пускай сам понаведается! — решил Костя про губернатора, к которому задумал было идти объявить новую жизнь без времени, и, обернувшись, крикнул часовому: — никогда я не видел губернаторши, говорят, она старуха, но очень привлекательная.

На площади горел костер, и жались к огню городовой и какие-то бродяги.

Кто-то из них сказал:

— Времени больше не будет.

Костя кивнул головой в знак своей милости:

— Вы правы, его больше нет и это я сделал вас свободными, отныне все можно.

Так шел он, одобряя и поощряя своих подданных, не замечая времени.

Дворники запирали ворота. По дворам выпускали собак. Шныряли какие-то серые люди, притаивались у заборов, в пролетках, дрожали и прыгали от холода.

На лавочке у прокопченного нищетой ночлежного дома примостились две старые нищенки, и как ни в чем не бывало, судачили и перемывали косточки.

Костя остановил их:

— Чего вы тут сидите, разве вы не слышали, что все кончено? — и, вынув из кармана ключ, бросил им в лицо: — возьмите это планетное мясо и раздайте голодным, я не хочу, чтобы кто-нибудь жаловался, — отныне все можно.

В это время, будто из-под земли, вырос Нелидов.

Костя сразу узнал его по высокой шапке.

— Куда ты? — остановил Костя знакомого.

Нелидов, вздрогнув, вынул часы, посмотрел и сказал:

— Полчаса времени осталось, а там... прощай!

— Повинен смерти! — в ярости крикнул Костя, возмущенный непокорством осмелившегося упомянуть о времени, и вспомнив, что оно навсегда им раздавлено, в упоении завертелся.

И вертелся, как карусели.

Ему казалось, он — карусели, на которых всякий может бесплатно кататься.

Какие-то оборванные мальчишки, высыпавшие на ночь из конур и ночлежек за мелким воровством, облепили Костю и кружились вместе с ним.

Он одобрял их, он обещал им показать балаганы, в которых цари и вельможи заиграют петрушек, а он, великий ратуй, первый и последний, сшибет для потехи солнце, ибо отныне все можно.

— Туй-туй-рата-туй! — захлебывался Костя и вертелся, вертелся.

И вертясь, чувствовал, как что-то медленно, но упорно тает в нем и что-то огромной стеной, чуть заметно, но верно наклоняется над ним, а нарастающее сознание какой-то неслыханной силы, какого-то безграничного могущества толкает его.

— Я даю вам волю, какой с сотворения мира, любви и смерти не имел ни один народ, я взял себе время и убил его, — отныне нет времени! я взял себе грех и убил его, — отныне нет греха! я взял себе смерть и убил ее, — отныне нет смерти! отныне все можно! и даю вам первый сорт, чтобы наслаждаться и утопать в блаженстве, и наслаждайтесь и утопайте вы, рабы, которым — моя воля — вырезать все и заткнуть кусками вашего же собственного мяса ваши прожорливые глотки. Аз есмь Господь Бог твой!

Какой-то оборванец сшиб с Кости шапку и, издеваясь, прыснул в лицо:

— А мне что будет?

— Ты будешь лизать зад у моей свинки, — сказал Костя и, обратившись к толпе, возопил: — приидите ко мне! — и улыбнулся, — какая я ворона!..

Шел Костя, спотыкался, вертел пальцем кружок перед носом.

Довольно уж лынды лындать, он будет днем бить до кровавой пены, а ночью, собрав лягушиной игры, пойдет на промысел: малых детей загрызать... малых, слепеньких, топить в тепленькой водице, а то холодно...

— Старый пошел — не дошел, малый пошел — не нашел, черт вам рад, — ухмыльнулся Костя, заложил руки в карманы и, вообразив себя лягушачьей лапкой, двинул плечом фонарь.

Фонарь покачнулся и на мостовую трах! только стекла зазвенели.

Побежал Костя. Бежал, как конь. Он — конь серый в яблоках, седло серебряное, уздечка позолоченная. Он помчится в Собор, скупит все свечи, сядет на престол, умоется холодной росой, прочитает все книги и загорится семипудовой свечой перед Вербницей, перед Громницей, перед Лидочкой: пояс шелковый, шапка бобровая, шуба атласная, а нос, как на картине. Он больше не Костя Клочков, а учитель и сыщик Куринас, первый и последний. И бьет он копытом землю, вороногий конь, несет в песке яйца гусиные да утиные.

— А кудак-так-так! не было в нас так! — кричит Костя во все горло и, рассыпав откуда-то взявшиеся золотые орешки все, как один, останавливается у галантерейного магазина.

Что-то, чиркнув будто спичкой и ярко блеснув зеленым огоньком, с болью завертелось в его мозгу.

— Эх вы, куры рябые, коноплятые! — рванул Костя дверь галантерейного магазина, распахнул свою шубу из макового листа, взарился на Лидочку.

Лидочка, насмерть перепуганная, вытаращила глазки и, не пискнув, присела от страха.

А он, кусая губу, дрожал весь и, приблизившись к прилавку, занес было ногу, намереваясь перемахнуть, но раздумал.

Изогнулся весь, нащупал присевшую Лидочку, вытянул ее и, притянув к себе, впился губами и целовал в губы и щеки, целовал взасос, присвистывая, причмокивая, приговаривая и вдруг, широко разинув рот, закусил ее сахарно-выточенный носик...

Ахнула Лидочка, закатила глазки и обмерла.

Обмерла и без памяти, как труп, не противилась уж этим страшным объятиям.

На крик выскочил белобрысый приказчик «Мудрая головка», замотал лысеющим капульком и, ругаясь на все корки, ухватил склещившегося Костю, оттащил от Лидочки и, как кошку, вышвырнул вон за дверь.

Ткнулся с налету Костя в снег.

Слышал, как с треском захлопнулась дверь.

Вздрагивающие в слезах губы перебирали детскую песню. Пелась песня, выговаривала, и какой-то смертельный страх, подкатывая к сердцу, хлестал его.

Поднялся Костя и пошел и пошел ходко, быстро, быстро, уж не Костя, а отрезанная шкулепа на тараканьих ножках.

Навстречу ему и сзади шмыгали, гнались люди, но не трогали, не толкали его — отрезанную шкулепу на тараканьих ножках.

Галдела улица на сотни пьяных голосов, каждый голос влетал в ухо.

Говорили прохожие:

— Мы хотели бы вас расспросить, как подвигается наше дело —

— Тебе мокрую тряпку нужно положить на нос —

— Дай огоньку —

— У! дурак какой —

— Ни копейки у меня нет, чего же я тебе дам —

— Я тебе прямо говорю, я спички где-то потерял —
— Прогони, да гляди хорошенько —
— А другой дурак всю жизнь работает —
— Что долго-подолго нет его —
— Маль-чиш-ка де-ву-шку обманывает —
— Ни ответа нам, ни привета —
— Еще песни поет, старуха! —
— Не дури, а то свалишься —
— Задави тебя шут —
— Так гуляла бондыриха с бондырем —

И галдели, галдели. Чего им надо? — он все им отдал... Чего ему надо, царю над царями?

В запечатанном магазине через наложенные на окна решетки гляделось черное что-то, как пробитый глаз.

У окна стояла Христина Федоровна.

Костя бросился к Христине Федоровне.

И они смотрели друг на друга, и он не Костя, а осоед, сверлил ее всю с головы до ног своим безумным взглядом.

— Что с тобой, Костя? — спросила Христина Федоровна.

А кто-то крикнул, грозя:

— Эй, Костя, зачем шапку так, я тебе ужо!

Костя молчал, сверлил ее всю с головы до ног своим безумным осоедовым взглядом.

— Ты болен, иди домой! — сказала Христина Федоровна.

И снова что-то, чиркнув будто спичкой и ярко блеснув зеленым огоньком, с болью завертелось в его мозгу.

Он протянул ей руку и, наклонившись к самому лицу, сказал шепотом:

— А если спросят, что сказал Костя, скажите: ничего! — и, высунув язык, пошел.

Хмурно было на душе у Кости, гнетущая охватила тоска:

— Звезды, примите меня!

И как бы в ответ на этот клич измученного сердца кто-то на тоненьких женских ножках, — так показалось Косте, — сам тоненький, появился на тротуаре, засеменил ножками: нагонял Костю, пропадал, потом опять появлялся и носатым хохочущим лицом внезапно заглядывал прямо в глаза:

— Костя, — дрожал Носатый, — ты Бог, ты царь над царями, ты покорил время, ты дал волю, тебе подвластны все земли, вся подлунная, весь мир, ты не Костя Клочков, ты Костя Саваоф, захочешь, и звезды попадают с неба, захочешь, погаснет солнце, у тебя — нос кривой.

И вдруг, ловко извернувшись, подхватил Носатый под руку Костю и повлек за собой, мостя мосты в его новый дворец и храм и небеса.

А на звездных небесах, казалось, встали три черных столба, на тех черных столбах сели три зеленых попа, разогнув, читали три красные книги.

Ковылял Костя, не Костя Клочков, а Костя Саваоф, высовывал язык, улыбался: пораскладывал своим божеским разумом, пораздумывал, чего бы ему натворить еще, каких миров, каких земель... или обратить ангелов в чертей, или вставить стекло в небо, чтобы через него видно было, что на небесах делается, или смешать все и почиять, как в седьмой нетворящий день не голубем, а вороной...

— Какая я ворона!

5.

Христина Федоровна едва на ногах держалась.

Желая хоть что-нибудь спасти, металась она по городу из конца в конец.

И все не удавалось: то перед глазами захлопнут дверь, то слишком поздно, то просто не принимают.

Никому, видно, нет дела.

Опускались руки.

И когда, наконец, вся издерганная, вернулась она домой и хватилась Моти: ни Моти, ни Раи не оказалось, их и след простыл.

— Уехали они и барышня, бросили дом, — сказала отмалчивавшаяся Ольга, в ушах которой висели какие-то невероятных размеров серьги — подарок Моти, и всхлипнула, — больно ловкие они кавалеры, Бог им простит.

Обуяло тут Христину Федоровну чувство приближения еще худшего, разрастающееся чувство, которое точит и загоняет и загоняет, закрывая все до единой двери.

Хотелось плакать, слез не было: они горячие изливались где-то в глубине сердца, испаряясь, расстилались тоской.

Чьи-то руки подымали ее с земли и, не унося, держали.

Давились слова в перехваченном горле.

Пробежала глазами только что полученное письмо от Сергея. Он писал, что так жить больше не может, что только там почувствовал, как любит ее и завтра приедет.

— Завтра приедет... как это?.. если полюбишь, а тебя не полюбят, ты погибнешь... А если он не любит меня? почему его нет, и вчера не было, почему он такой?

Бросилась к Нелидову.

Она спросит его, она расскажет ему все свои сомнения, все свои мысли, — мысли у ней нехорошие, — не хорошо ей, но она не виновата, она будет умолять его сказать ей правду, самую страшную, — ей не страшно, она ничего не боится, пускай только скажет правду... завтра Сергей приедет, у нее ведь ребенок, все описали, у нее ничего нет, ей жить нечем, почему не зашел, почему? хоть на минуту? почему вчера не был? почему он такой? если он не любит... разве он не любит ее?.. ну пускай скажет, он должен сказать, он должен...

Квартира была заперта. Пришлось справляться в конторе.

Говорят, уехал.

— Они совсем выбрались, на родину, — сказал дворник.

Спутались мысли.

Как это так? не предупредив? не сказав ни слова? на какую на родину? —

И упала на ее душу черная тень.

Она чувствовала эту тень и знала, что никогда уж ей не выйти из нее.

— Если полюбишь, а тебя не полюбят, ты погибнешь... Нет не то... любить и не хотеть овладеть любимым, — невозможно, а овладеть и уничтожить одно и то же. Нет, и это не то...

Но не было силы обдумывать: делала все, что минута подсказывала.

Села Христина Федоровна на извозчика. Поехала на вокзал.

В ушах звучали отдельные слова, его слова, слышала их, как сквозь сон.

И что он теперь скажет ей? что может сказать?

— «А если спросят, что сказал Костя, скажите: ничего», — прозвучали вдруг последние слова Кости.

А, может быть, все это сон, ничего?

Господи, если бы это был только сон.

— Почему большой стрелки нет? — остановила Христина Федоровна извозчика, поравнявшись с соборной колокольней.

— Ничего мы не знаем, — ответил старик-извозчик, — так Богу угодно.

— Так Богу угодно... — повторила она душой, повторила сердцем и забыла о стрелке, забыла, что спросила.

Кружились мысли.

Какому Богу? Разве она Ему не молилась, разве она Его не просила? Ведь она так молилась, так верила... а Он что же? где Он?.. Да если бы Он был, если бы Он действительно был, ведь она Ему молилась... Ну зачем же тогда молиться? тогда можно и не молиться...

— Господи! Господи! верю, верю, Ты всемогущий, Ты услышишь, Ты все видишь, прости меня! вот вся моя жизнь перед Тобой и у меня никого нет и я к Тебе, как к последнему, потому что я одна, Ты видишь...

Бросила извозчика. Пошла пешком. Шла быстро, словно катилась на коньках, не замечала пути.

Очнулась у вокзального подъезда.

Вокзал был битком набит.

И шныряла между столиков, проталкивалась, высматривала. Показалось ей, что поверх голов мелькнула высокая шапка Нелидова.

«Значит, он тут, еще не уехал», — подумала.

Но нет, его тут не было.

Бросилась на перрон.

Много народа ожидало прибытия поезда. Говорили, что поезд опоздал, но скоро будет.

«Стало быть, поезд еще не отошел!» — обрадовалась.

Засматривала каждому в лицо, раз десять прошла.

Нет, и тут его не было.

«Может быть, он где-нибудь там, ждет ее», — и она спустилась на полотно, пошла по полотну.

Прошла семафор, прошла будку, прошла мост, а все шла. Начался пустырь, огороды, а все шла.

Над леском, куда загибает полотно, горит звезда, словно светит ей и ведет.

И вдруг Христина Федоровна слышит, как где-то далеко звонит звонок; первый, второй, третий... И в то же время яркий свет озаряет полотно, разгораясь, стучит.

И звезда, блеснув, стучит.

И мчится прямо на нее весь, как смерть, поезд.

— Господи! — шарахнулась Христина Федоровна от поезда в сторону, а в душе рванулось что-то и, вскрикнув, оборвалось.

Она одно видела: перед мчащимся поездом в свете рефлекторов летел человек в знакомой высокой шапке, летел Нелидов с раскинутыми руками, как огромный черный орел, летел долго, пока не упали неверные крылья и он не ткнулся лицом в нефтяную шпалу.

А шипящие стальные лапы схватили это человеческое тело и, дыша огнем и свистя, разорвали его на мелкие кусочки. И ревут и мчатся, загребают быстрее, подмазанные человеческой кровью, повинной смерти.

Звезда стучит.

### 6.

Давно минула полночь.

За холодным самоваром на своем обычном месте, как с креста снятая, сидит Христина Федоровна, сидит она так вот уж с час с тех пор, как едва живую, ее привезли с вокзала. И какая-то упорно-гнетущая мысль стягивает ее лоб в глубокую, старушечью морщину.

На диване, вытаращив глаза, полулежит старик с тяжелой головой, отягченной тараканьими яйцами.

Какие-то рожи с рыжими бородами обступают его: один маленький с согнутой в кольцо спиною пилит ему ногу, другой курносый поджаривает раскаленным железом подошву.

— У вас нет сострадания и жалости, вас нельзя упросить, — стонет от бессилия и боли измученный старик.

И на минуту рожи с рыжими бородами исчезают и скоро снова появляются: трясут рыжими бородами, егозят по полу, пыряют старика: один ногу ему пилит, другой поджаривает подошву, — проклятые, и не уйти никуда от вас старику.

Мигает выгорающая лампа.

Дует ночь полыми губами в умирающее пламя, и гоняются тени юркие, как мышата, скачут и липнут к синему окаменевшему лицу старика вкруг щетинистых седых бровей и, измаявшись, ползут по бороде в разинутый рот.

И ползут они темные, неумолимые по полу, по ковру,

по столу, по Христине Федоровне, по столу, по полу, по ковру, по всем углам, по всем дверям, по всему дому.

Бессонные, ложатся спать в собачьем сне.

Снится свернувшемуся у ног старика псу Купону, будто не комнатный он, а дворовый пес, и была у него конурка, а вот ущемили хвост, разоряют конурку — —. И ворочается пес Купон.

А в чулане меж дверей, забившийся в чулан сидит на поганом ведре раздетый в длинных черных чулках Костя, не Костя Клочков, а Костя Саваоф, не Костя Клочков, а ворона, и сидит, несет яйца гусиные да утиные, считает тараканьи шкурки, чтобы никому уж впредь не считать, ковыряет свой кривой изуродованный нос, ковыряет с жаром, с удовольствием.

А время идет, а время идет, откалывают часы миг за мигом в пучинную вечность без возврата, а может быть, чтоб повторить миллион миллионов раз одно и то же.

* * *

На колокольне пробило три.

Три раздумных, три долгих удара, три положенных древних напева.

И было на земле смертельно тихо.

Сгущались погасшие звоны, летели и, развеваясь белым призрачным паром, колебались, как белые перья.

— Звезды, примите нас!

А синие звезды далекие пели последние надземные песни и неземные земной тоской устилали холодное небо.

А над домами высоко, на самом верхнем ярусе соборной колокольни в оконном пролете, упираясь костлявыми ладонями о каменный подоконник и выгнув длинно по-гусиному шею, хохотал кто-то, сморщив серые, залитые слезами глаза, хохотал в этой ночи звездной.

— Чего балуешь, Костя! — окрикнул со сна старик соборный сторож, принимая неизвестного за Костю, и, заломив голову кверху, ужаснулся.

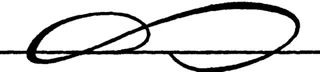
Шагал старик свою полосу, кутался в тулуп; шагал вкруг холодной, такой суровой и гордой белокаменной колокольни...

И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукавого.

КОНЕЦ.

# Крестовые сестры

повесть



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Маракулин дружил с Глотовым вовсе не потому, что служебное дело их одно с другим связывалось тесно, один без другого обойтись не мог: Петр Алексеевич талоны выдавал, Александр Иванович кассир. Порядок известный: Маракулин только чернилами напишет, а Глотов точно то же только золотом отсчитает. И оба они такие разные и непохожие: один узкогрудый и усы ниточкою, другой широченный и усы кота, один глядит изнутри, другой расплывается. А все-таки приятели: хлеб-соль одна.

Была у них у обоих приметина — качество и такое коренное, никак его не спрячешь, у сонного под веками поблескивать будет, и притом совсем неважно, запихано ли оно в зрачке где или из зрачка вон по яблоку разбегается: хоботок словно, либо усик какой у них у обоих один был, и хоботок этот не то, чтобы к жизни прицеплялся, а как-то так всасывал в себя все живое, все, что вокруг жизнью живет до травинки, которая дышит, до малого камушка, который растет, и всасывал с какою-то жадностью и весело, да как-то заразительно весело. Вот оно что.

Кому надо, видели, кто не видит, чувствовали, а кто не чувствует, догадывались.

Ну и молодость — обоим что-то по тридцать или по тридцать с чем-то, и удача — тому и другому как-то все удавалось, и крепкость — и тот и другой никогда не хворал и ни на какие зубы не жаловался, и нет никакой связанности ни законной, ни беззаконной, как в степи один, а развернулась степь во всю ширь и мощь, вольная, свободная, раздольная — твоя.

Года три, кажется, назад Глотов жену свою законную с третьего этажа на мостовую выбросил и у бедняжки череп пополам, и не три года, нет, пожалуй уж все четыре

будет, впрочем, все равно, дело совсем не в Глотове, а в Маракулине, о Маракулине Петре Алексеевиче речь.

Заражая своих сослуживцев весельем и беззаботностью, Маракулин признавался как-то, что ему хоть и тридцать лет, но почему-то, и сам того не зная, считает он себе ровно-неровно, ну лет двенадцать, и примеры привел: когда, скажем, случается ему встретить кого или в разговор вступить, то все будто старшие — старые, а он младший — маленький, так лет двенадцати. И еще Маракулин признавался, что на человека он нисколько не похож, по крайней мере, на тех настоящих людей, которых постоянно увидишь в театре, на собраниях, в клубах, когда входят они или выходят, говорят или молчат, сердятся или довольны, ну, ни чуточку не похож, и что у него, должно быть, начиная с носа до маленького пальца, все не на своем месте сидит, так ему кажется. И еще Маракулин признавался, что он никогда ни о чем не думает, просто не чувствует, чтобы думалось, и если идет он по улицам, то так и идет, ну, просто ногами идет, а когда знакомят его, то различий он никаких не замечает и никаких особенностей ни в лице, ни в движениях своего нового знакомого, и только смутно чувствует, что один притягивает, другой отталкивает, один ближе, другой дальше, а третий — все равно, но чаще преобладает чувство близости и уверенность в благожелательстве. И еще Маракулин признавался, что с тех пор, как начал он книги читать и с людьми столкнулся, самые противоположные мнения его нисколько не пугали и он со всеми готов был согласиться, считая всякого по-своему правым, и спорить не спорил, а если прорывался и даже сам задирал, то по причинам совсем бесспорным, о которых, между прочим, всякий раз прекрасно сознавал, только виду не показывал, — мало ли сколько таких причин бесспорных житейских! И еще признавался Маракулин, что он сроду никогда не плакал, и всего один раз, когда уходила старая нянька, в последний ее день: тогда, забравшись в чулан, он захлебывался от первых и последних слез. И было у него одно примечательное сумасбродное свойство, над которым обычно посмеивались: взбредут ему в голову пустяки какие-нибудь и он так за них ухватится и с таким упорством, словно бы вся суть в них и его собственной жизни и вообще всякой жизни, — ведь целое дело из

пустяков себе выдумает! К празднику директору подается отчет, отчет обыкновенно пишется на машине — самый обыкновенный отчет, а вот ему почему-то непременно захочется самому переписать и своею рукою; и, хотя на машине скорее можно сделать и легче и проще и бланки такие есть, это его нисколько не смущает, как можно! — и ночи и дни он упорно выводит букву за буквой, строчит ровно, точно бисером нижет, и не раз перепишет, пока не добьется такого отчета, хоть на выставку неси, вот даже какого! — почерком Маракулин славился. Завтра же этот отчет заложат куда-нибудь в бумаги, особого внимания никто не обратит, никому он такой не нужен, а времени и труда затрачено много и без толку. Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный! Да вот еще, и чуднее еще рассказывал Маракулин о какой-то своей ничем не объяснимой необыкновенной радости, а испытывал он ее совсем неожиданно: бежит другой раз поутру на службу и вдруг беспричинно словно бы сердце перепорхнет в груди, переполнит грудь и станет необыкновенно радостно. И такая это радость его, так охватит всего и так ее много, взял бы, кажется, из груди, из самого сердца горячую и роздал каждому, — и на всех бы хватило, взял бы, как птичку, в обе горсти и, дуя ртом, чтобы не зазябла, не выпорхнула эта райская птичка, понес бы ее по Невскому: пускай видят ее и вдохнут тепло ее и почувствуют свет ее, — тихий свет и тепло, каким дышит и светит сердце от радости.

Конечно, сам себя не рассудишь, на признаниях не выедешь: было, не было, — кто разберет? — но любовь к жизни и чутье к жизни, веселость духа, это в нем было, правда!

Слушая Маракулина и видя, как он к людям подходит, по улыбке его и взгляду, приходила иной раз мысль, что вот такой, как он, во всякое время готов к бешеному зверю в клетку войти и не сморгнуть, и не задумавшись руку протянет, чтобы по вздыбившейся бешеной шерсти зверя погладить, и зверь кусаться не будет.

А как Маракулин огорчался, когда нежданно и негаданно открывалось, что и его, как и всякого, ненавидеть могут, что и у него есть свои недоброхоты, что и он для кого-то, и Бог знает из-за чего, бревном в глазу сидит! А ведь с Маракулиным что угодно можно было сделать.

И если он умудрился до тридцати лет дожить и удачно, тут уж одно чудо — вещь невероятная. Да скорее всего Петра Алексеевича любили и не как-нибудь там крепко и очень, но ведь и не за что было не любить его — веселье и смех и не простой, а пьяный какой-то, маракулинский, за что же ненавидеть его! И все-таки кончилось все не очень любовно, плохо кончил Петр Алексеевич.

Так было: ждал Маракулин себе к Пасхе повышения и награду — в богатых торговых конторах к празднику порядочно приходится наградных, а вместо повышения и наградных его со службы выгнали. Так случилось: пять лет служил Петр Алексеевич, пять лет заведывал талонными книжками, и все было в полной исправности и точно — Маракулина за его аккуратность и точность в шутку немцем прозвали, — а затеяли директора перед праздниками проверять книжки, да как стали сверять и считать — и произошла заминка: ровно бы что-то не сходится, чего-то не хватает, и, может быть, сущих пустяков не хватало, да дело-то большое, пустяки эти и путаница все дело запутать могут. И книжки у него отобрали, и его по шапке.

На первых порах Маракулин и не поверил, просто отказался поверить, думает себе: вроде шутки с ним отшучивают, трублю какую оттрубливают потехи ради, для пущей веселости, так вот — перед праздником, сам смеется, пошел объясняться, и тоже не без шуточки.

— Позвольте, мол, вору такому-то и разбойнику и шишу подорожному в воровстве объясниться...

— Что-с?

— Ха-ха... — сам первый смеется.

А в одном письме своем объяснительном и к лицу очень важному и влиятельному — директору подпись подписал, и не просто Петр Маракулин, а вор Петр Маракулин и экспроприатор.

«Вор Петр Маракулин и экспроприатор...»

— Что-с?

— Ха-ха... — сам первый смеется.

Да шутка-то, видно, не удалась, смешного ничего не выходит, или выходило, да не замечали, и смеяться никто не смеется, напротив. И самым смешным показался ответ одного молодого бухгалтера — маленький тихий человек этот бухгалтер, мухи не обидит, как и звания нет.

Аверьянов сказал:

— Впредь до выяснения вашего недоразумения я хотел бы с окончательным ответом подождать.

Тут уж пошел Петр Алексеевич всурьёз:

— Какая, мол, такая путаница, и быть не может никакой ошибки!

— Что-с?

— Ошибка, говорю... я без ошибки, я немец... где ошибка?

И поверил.

Поверишь! Зверюга-то бешеный, видно, не так уж прост, не так легко поддается, по вздыбившейся бешеной шерстке его не очень-то ловко погладишь, прочь руки: зверюга палец прокусит! Так что ли? Или тут зверь ни при чем, и все проклятие вовсе не в том, что человек человеку зверь да еще и бешеный, а в том, что человек человеку бревно. И сколько ни молись ему, не услышит; сколько ни кличь, не отзовется; лоб себе простукаешь, лбом перед ним стучавши, не пошевельнется: как поставили, так и будет стоять, пока не свалится, либо ты не свалишься. Так что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина, и в первый раз отчетливо подумалось и ясно сказалось: человек человеку бревно.

Ткнулся туда, постучался сюда, — все закрыто, все заперто: не принимают. А и примут — говорить не хотят, не дают слова сказать. Потом перед носом двери захлопывать стали: и — некогда! и — отстань, пожалуйста! и — не до тебя совсем! и — других дел по горло! и — чего раньше глядел! и — на себя пеняй! и опять — некогда! и — отстань, пожалуйста! И уж прислуга через цепочку не разговаривает: и не велено и надоел всем очень.

Не стало Маракулину пристанища, остался он, как в степи один, а лежала степь выжженная, черная, необозримая — чужая. Смотри кругом на все четыре стороны, ну! Был он во всем, стал ни в чем.

А ведь все из-за пустяков — одна слепая случайность. Ходили слухи, будто все дело Александр Иванович подстроил, его рук, подчислил Глотов приятеля своего, а сам из воды сух вышел. А с другой стороны все знали, что и Маракулин не прочь был по доброте ли своей

душевной или еще по какому качеству, по излишней ли доверчивости своей и воображению — любил ведь ладить с людьми! — да, сам он не прочь был временно, конечно, талон выдать и лицу, совсем не причастному ни к какому получению, ну ввиду каких-нибудь просьб особенных и стесненности приятеля, хотя бы тому же Александру Ивановичу. Ведь, с Маракулиным что угодно можно было сделать.

Но сам-то он, слепою случайностью выбитый из колеи, без дела, один, ночи и дни думая, про себя думая, теперь, ведь, не то уж время — то время прошло — теперь и он, как настоящие люди, думать стал, сам-то он на первых порах твердо решил и суд себе вынес: виновным себя не признал и в воровстве себя не обвинил. А доказывая право свое на существование, в горячке своей, в мыслях своих хватал, как и в смехе и в веселье своем, по-маракулински: ухватился за это бревно, до которого додумался, что человек человеку бревно, и пошел вывертывать. Хотел непременно во что бы то ни стало знать, кому все это понадобилось и для чего, для удовольствия какого бревна брёвна стоять поставлены, а хотел знать для того, чтобы определенно сказать себе, еще стоять ли ему бревном, как вздумалось кому-то поставить его, или, не дожидаясь минуты, когда опять вздумается кому-то свалить его, самому по своей доброй воле и никого не спрашиваясь, чебурахнуться?

Ответить же на это, сами посудите, сразу так не ответишь, да и кому ответить, не хироманту же с Кузнечного, который брюки украл, а по руке — по чертам руки на другого доказал, на соседа по углам, тоже с Кузнечного!

Да видно, без того уж нельзя, чтобы сердца не изнести — сердца не сорвать, видно, уж всегда так, когда примется кто свое право доказывать на существование. А ведь, дело-то совсем не в том, что человек человеку бешеный зверь, и не в том, что человек человеку бревно, дело проще: навалится беда, терпи, потому терпи, что все равно — будешь отбрыкиваться или кусаться начнешь — все попусту, она тебя не отпустит, пока срок ей не кончится. Так что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось: терпи.

Прогулял он лето без дела. Все, что собралось у него

за пять петербургских талонных лет, все пошло по ломбардам либо в Столичный либо в Городской на Владимирский. И скоро ничего не осталось, и ломбардные квитанции спустил к часовщику на Гороховой, а что осталось, все изношено, изорвано и татарин не берет. Ободрался и пообдергался, линолевый единственный воротничок до нитки измыл, только крест цел на шее да поясок боголюбский, которым, впрочем, давным-давно не опоясывался, на стенке, как память, держал. И стыд какой-то почувствовал, раньше ничего подобного не испытывал. Просить уж не смеет. Хорошо, что просить-то некого: как от холерного разбежались приятели, все попрятались. И страшно ему как-то всех стало, и знакомого и незнакомого. Стыдно и страшно по улицам ходить, все будто что-то знают про него и такое, в чем и самому себе, кажется, духу не хватит признаться, не только что на людях сказать. Толкают прохожие. Собака и та ворчит, хватает за ногу. Погибший он человек.

Ну, погибший, бесправный — и терпи, терпи и забудь... Навалится беда, забудь, что на свете люди есть, люди не помогут, а если и захотят помочь, все равно, беда дела их расстроит, всякое дело их на нет сведет, разгонит и запугает, и потому о людях забудь. Так что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось: забудь.

А люди-то вскоре нашлись, явились да не какой-нибудь Аверьянов и не его помощник Чекуров — бич пошлости, как сам себя величал этот честнейший Чекуров, нет, все такие, о которых Маракулину ни разу не вспомнилось: мелкие подозрительные служащие, переизгнанные из всевозможных учреждений и кочующие по всяким местам — кандидаты на выгон, погибшие и погибающие, ошельмованные и претерпевшие, которых в порядочные дома не пускали и подавать руку которым считалось неприличным и невозможным, которые, наконец, имели очень определенную кличку — свое имя и прозвище воров, подлецов, негодяев — жуликов. И вот все эти воры, подлецы и негодяи — жулики знакомые, полузнакомые и вовсе неизвестные явились к Маракулину сочувствие свое выразить, они же тогда на первых порах и работу ему достали, ну не особенно важную, а так кое-какую, чтобы только хоть как-нибудь прожить.

У Маракулина была своя квартира на Фонтанке у Обуховского моста, маленькая, а все-таки своя, пришлось бросить квартиру, перебраться в комнаты, нашлась комната по той же лестнице тремя этажами выше. Вообще-то жизнь у Маракулина сложилась и удачно, но путано и нескладно, жил он и не Бог знает как, но все это было до насиженного местечка, на первых порах жизни, когда ничего такого не замечается. И теперь трудно показалось ему, тяжело было стесниться, тем более трудно и тяжело, что на поправку не было надежды, а жуликовым заработком зарабатывалось неважно, едва хватало, чтобы только хоть как-нибудь прожить.

А для чего прожить? И для чего терпеть, для чего забыть — забыть и терпеть? Хотел непременно, во что бы то ни стало знать, кому все это понадобилось и для чего, для удовольствия какого вора, подлеца и негодяя — жулика, а хотел знать для того, чтобы определенно сказать себе, еще стоит ли всю канитель тянуть — терпеть, чтобы только хоть как-нибудь прожить?

Ответить же на это, сами посудите, сразу так не ответишь, да и кому ответить, не хироманту же с Кузнечного, который брюки украл, а по руке — по чертам руки на другого доказал, на соседа по углам, тоже с Кузнечного!

Да видно, без того уж нельзя, чтобы сердца не изнести — сердца не сорвать, видно, уж всегда так, когда примется кто свое право доказывать на существование. А ведь, дело-то совсем не в том, чтобы терпеть, и не в том, чтобы забыть, дело проще: не думай. Так что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось: не думай.

Не думать ему, теперь? Да именно теперь, слепою случайностью выбитый из колеи, один, без дела, он впервые и думать стал, — то время прошло, когда не думалось, то время не вернешь.

И замкнулся в нем круг: знал он, что попусту думать, не надо думать, ничего не докажешь, и не мог не думать, не мог не доказывать — до боли думалось, мысли шли безостановочно, как в бреду.

С квартирой Маракулин разделался удачно, никуда его в участок не таскали и описывать не описывали — ничего не было, а душу не вынешь. Только Михаил Павлович

руку не подал, — старший Михаил Павлович, если уважал жильца средней руки, всегда руку ему подавал.

Последний день на старом пепелище выдался для Маракулина памятный. Утром на дворе случилось несчастье: убилась кошка — белая гладкая кошка с седыми усами. Может, она и не убилась, и ни с какой крыши пятого этажа падать не думала, а что-нибудь проглотила случайно: гвоздь или стекло, а то и нарочно, шутки ради, осколком или гвоздиком покормил ее какой любитель, есть такие. Мучилась она и трудно ей было: то на спину повалится и катается по камням, то перевернется на брюхо, передние лапки вытянет, задерет мордочку, словно заглядывает в окна и мяучит.

Обступили кошку ребятишки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом на корточки присели, притихли, не оторвутся от кошки, а она мяучит. Персианин — массажист из бань черный тоже около примостился, кружит белками, а она мяучит.

Какой-то дымчатый кот выскочил из каретного сарая, ходко шел кот по двору через доски по щебню прямо на кошку, но шагах в трех вдруг остановился, ощетинился, да с надутым хвостом в сторону. Схватилась одна девочка, за молоком сбегала, принесла черепушку, поставила под нос кошке, а она и не глядит, все мяучит.

— Кошка с ума сошла! — сказал кто-то взрослый, тоже, должно быть, как и Маракулин, из окна наблюдавший за кошкой.

— Это наша кошка Мурка! — поправила девочка, которая за молоком бегала, личико ее горело, а в голосе прозвучала и какая-то обида и нетерпение.

И все, казалось, ждали одного: когда конец будет. Маракулин не отходил от окна, не мог оторваться, тоже ждал: когда конец будет. И простоял бы так, не пошевельнулся, хоть до вечера, если бы не почувствовал, что сзади за его спиной стоит кто-то, переминается: дверей он давно уж не запирает, вот и вошел кто-нибудь! Да так и есть: старик какой-то стоял перед ним, переминался, — всклокоченный старик длинный, из-под пальто штаны болтаются на ногах, будто не ноги, одни костяшки у старика, в руках шапку теребит и еще что-то... конверт, да, конверт какой-то. Он такого старика никогда не видел, конечно! — но что ему надо?

— Что вам угодно?

— К вашей милости, Петр Алексеевич, я от Александра Ивановича.

— От Александра Ивановича!

— От них самих, двери забыли-с запереть, а я тут как тут, а позвонить побоялся, извините, — старик шевелил губами, теребил шапку.

В прежнее время не раз от Глотова приходили всякие люди, — в конторе для вечерних занятий народ надобился, — но как вздумалось Глотову теперь послать к нему человека, ведь Глотов же знает, что он без места, и вот один пятачок у него в кармане!

— Сделать для вас я ничего не могу, вам ведь денег надо...

Старик засуетился и вытащил из конверта измятую четвертушку, исписанную неровно и крупно.

— Я вашей милости прошение написал, стыдно просить, так я прошение написал! — старик тыкал четвертушкой и все улыбался и такою улыбкой, словно в губах его где-то эта кошка мяукала, Мурка.

И сунув старику последний свой пятачок, Маракулин присел к столу и ждал одного, когда уйдет старик, когда конец будет.

Старик не уходил, сжимал в кулаке пятачок и шапку, а в другом конверт и измятую четвертушку, исписанную неровно и крупно. Руки тряслись, и шапка не удержалась, упала на пол.

— Что ж Александр Иванович, как Александр Иванович, как поживает? — спросил Маракулин, чувствуя, как внутри его трясется все, и уж не выдержит он, крикнет, выгонит вон старика.

Старик по-птичьи длинно вытянул шею и рот клювом разинул.

— Нынче в самом разу-с, — и словно обрадовался, затряс головою, — уж одеты-то очень хорошо, как старший дворник, поддевка и сапоги лаковые, как старший дворник. «Иди, Гвоздев, прямо к Петру Алексеевичу на Фонтанку!» — так и сказал. Как старший дворник! В Царском у них был на даче, шутит все, влюблен, говорит, в мадам влюбились. Шутит все: «Голодного, говорит, накормить можно, бедного обогатить можно, а коль скоро ты влюблен и предмет твой тебе не взаимствует, тут хоть тресни, нет

помощи». Ничего не понимаю-с, шутит все. Пальто с своего плеча подарили, а это Аверьянов бухгалтер, ихние-с, широки немножко. «Ты, говорит, Гвоздев, соблюдаешь?» «Извините, говорю, Александр Иванович, я до женщин охотник». Шутит все.

Без умолку, путано говорил старик, но сесть не сел и кулак не разжал и шапку не поднял.

Беспокойный старик, такой уж он беспокойный, служил он у Шаховских в конюхах в Петербурге, должность хорошая, да лошадь взбесилась, ударила его в грудь, он и пошел в монастырь. С тех пор по монастырям: из монастыря в монастырь переходит — такой склад беспокойный — где начнет привыкать, сейчас же оттуда сбежит. С месяц назад из Черменецкого сбежал.

— Призрел меня человек один знакомый, пустил к себе в комнату. На Зелениной комнату снимает, так небольшая комнатка. Семейный сам, Корякин, жена, ребенок маленький, — девочка, призрел: все вчетвером жили. А на Ольгин день старшая их дочка в Питер гостить приехала, тесновато и неловко: девица. Перебрался я на Обводный, угол снял — полтора рубля с огурцами, хороший угол в проходе. Я, Петр Алексеевич, торговлишкой занялся бы, чтобы только хоть как-нибудь прожить...

Без умолку, путано говорил старик, сливались и шипели слова, беспокойный старик. А у Маракулина глаза застилало, веки тяжелели, ничего уж не видел, только болтались перед глазами штаны старика широкие Аверьяновы и не на ногах, а на костяшках.

— Я до женщин охотник... полтора рубля с огурцами, только чтобы хоть как-нибудь прожить.

Маракулин вскочил со стула:

— Да для чего, скажите, наконец, — крикнул он, — для чего прожить?

Но он один в комнате и больше никого.

Кошка мяукала, Мурка мяукала. Он один был в комнате, он заснул под разговор, старик догадался и с пятачком, с его последним пятачком, крадучись, незаметно вышел, как и вошел незаметно. И шапка на полу не валялась. Кошка мяукала, Мурка мяукала.

И вдруг Маракулину ясно подумалось, как никогда еще так ясно не думалось, что Мурка всегда мяукала и не вчера, а все пять лет тут на Фонтанке, на Бурковом дворе

и только он не замечал, и не только тут на Бурковом дворе — на Фонтанке, на Невском мяукала и в Москве, в Таганке — у Воскресения в Таганке, где он родился и вырос, везде, где только есть живая душа. И как ясно подумалось, так твердо сказалось, что уж от этого мяуканья, от Мурки никуда ему не скрыться. И как твердо сказалось, так глубоко почувствовалось, что не на дворе там мяукает Мурка, а вот где...

— Воздуху дайте! — мяукала Мурка, как бы выговаривала: воздуху дайте! и каталась по камням, глядя вверх к окнам.

Тесно, еще теснее кругом ее сидели на корточках ребятишки, забыли свои дикие игры и дикие работы, притихли, насторожились и тут же черепушка с молоком нетронутая стояла, и персианин — массажист из бань черный не уходил прочь, кружил белками.

Только к вечеру поздно перебрался Маракулин в свою новую комнату на пятый этаж, где была раньше прачечная. В квартире, кроме кухарки Акумовны, никого не было, хозяйка Адония Ивойловна еще не вернулась — Адония Ивойловна летом на богомолье уезжала, оставляя квартиру на Акумовну, другие две комнаты стояли без жильцов.

В первую ночь на новоселье приснился Маракулину сон, будто сидит он за столиком в каком-то загородном саду против эстрады — Аквариум напоминает сад, а вокруг все люди незнакомые: лица злые и беспокойные, и все ходят, поуркивают, все шушукаются. Он и соображает, что это о нем они шушукаются, на его счет поуркивают и недоброе у них на уме, ой, недоброе! Стал его страх разбирать, а их все больше подходит и теснее круг замыкается, и уж перестали шушукаться, а так глазами друг другу показывают, понимают друг друга, на него показывают. И уж никакого сомнения: ему дольше тут нельзя оставаться — убьют. Он встал и незаметно совсем — к выходу, а они уж за ним: так и есть — убьют они. Убьют они его, задушат они его, куда ему деваться, куда скрыться? Господи, если бы был хоть один человек, хоть бы один человек! А они — по пятам, близко, вот-вот нагонят. Он — в грот, упал ничком на камни. И вдруг, как камень, села ему на спину птица, не орел, коршун, который кур носит, зажал крепко когтями, задрал за спину, всего зажимает, как кур ломит. «Вор, вор, вор!» — стучит клювом. И тяжко-тяжело стало, удробило сердце, оборва-

лось, опустились руки и уж никакого сомнения: ему никогда не подняться, не встать на ноги, — и тяжко и горечь и тоска смертельная.

— Нехороший сон, — сказала Акумовна, когда наутро Маракулин рассказал Акумовне о ночных людях и птицекоршуне, — видеть его перед болезнью, обязательно заболеете.

А уж хвороба — болезнь привязалась, его ломало всего, размогался он, и голову клонит, он уж болен был: поутру стакан чаю едва допил и кусок нейдет в горло. Стояли петровские жары, а его трясло, как в крещенский мороз.

Акумовна божественная, так по Буркову двору величали Акумовну божественной, добрая душа, уложила Маракулина в постель и малиной поила и горчичники ставила, дни и ночи ходила за ним и выходила. Отвязалась хвороба-болезнь, отошла от него. И все-таки недельки две провалялся.

Первое, что он почувствовал, когда после болезни переступил за порог дома и очутился на улице, — он теперь все видеть как-то стал и все слышал. И еще он почувствовал, что и сердце его раскрывается и душа живет.

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать и чувствовать.

Так сказалось у Маракулина в его первый же день после болезни, так нашел он себе лазейку опять на свет выбраться, так доказал он свое право на существование: только видеть, только слышать, только чувствовать.

Людей он не боялся, не страшны они ему. И стало ему как-то совсем не важно: вор он или не вор. И беды никакой не боялся. И если бы, думалось ему, упало на него бед в тысячу раз больше, он ко всему готов, он на все согласен, все примет и все претерпит, и жить будет в каком угодно позоре и в каком угодно унижении, все видя, все слыша, все чувствуя, а для чего, сам не знает, только будет жить.

Наперекор ли беде — Лиху Одноглазому, а ему одноглазому где тужат и плачут, тут ему и праздник: изморил он беду свою, пустил ее голодную по земле гулять, и, одноглазый, своим налившимся оком косо посматривает из-за облаков с высоты надзвездной, как в горе, в кручине, в нужде, в печали, в скорби, в злобе и ненависти земля кувыркается и мяучит Муркой, а, может терпит до времени, нет, он любуется: В чем застану, сужу тебя! Или назло Горю-беде, тощей, жидкой, пережимистой, лыком подпоясанной, мочалом приопутанной, всклокоченной, как старик Гвоздев, назло насмешкам ее, назло слезам ее притворным, когда, в яму столкнув, заплачет: се человек! Или постиг он в Муркином мяуканье, в обреченности Мурки мяукать какую-то высшую справедливость, кару за какой-то Муркин изначальный грех, неискупленный и незаглаженный и, может, пустяковский, да сказано: Кто весь закон соблюдает, но в одном согрешит, во всем виновен! — и, найдя право свое в первородном бесправии, покорился в страхе и трепете. Или любовь его к жизни, чутье его к жизни — веселость духа — основа и стержень его жизни оправдали его, подсказали уменье найтись, приладиться и приноровиться и без всяких слов и без всяких доказательств, как свойства души его? Или он просто будет жить и не наперекор и не назло, и не от разумения и не благодаря свойству своему душевному, а так просто — не для чего, как не для чего перед праздником директору отчет переписывал, дни и ночи упорно выводя букву за буквой, нанизывая буквы, как бисер? Так что ли?

Так, в этом роде промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось: не для чего, — не для чего, а будет жить — только видеть, только слышать, только чувствовать.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Буркова дом ни в какую стену не упирается. Против — Обуховская больница. Между домом и больницею два двора: Буркова двор и Бельгийского Общества. Завод Бельгийского Общества по правую руку — четыре кир-

пичных трубы с громоотводами, коптят целый день и оттого между рам черная копоть. На эту копоть Акумовна, убирая перед праздником комнаты, всегда сетует, только винит почему-то не кирпичные бельгийские трубы, а огромный молочный электрический фонарь, который освещает бельгийский двор.

Луна в окно заглядывает, а солнца никогда не видно, и только летом комната Маракулина пышет, как жаркая сковородка: лучи ложатся вместе с пылью и с тем надоедливым стуком железа о камень, каким стучит подновляющийся и подстраивающийся Петербург летом. И звезд тоже немного, глядит всего одна звезда вечерняя и то по весне в глухую не темную полночь, зато огонек в Обуховской больнице всегда, как звезда.

Когда на дворе Бельгийского Общества появляются черные люди и, как каторжники, один за другим везут с Фонтанки черные тачки с каменным углем, и день за днем двор вырастает в черную гору, это значит лето прошло, зима наступает — осень. Когда же гора начинает убывать и тая, как снег, расползается, и снова появляются с черными тачками черные люди и в звонких тачках развозят куда-то последние черные куски, и на дворе, усыпанном седым песком, подымаются белые палатки и в серых больничных халатах бродят стриженые землистые люди да мелькает красный крест белых сестер, это значит зима прошла, лето наступает — весна.

Буркова дом — весь Петербург.

Парадный конец дома в переулок к казармам — квартиры богатые. Там живет сам хозяин Бурков — бывший губернатор: от его мундира, как от электричества, видно, а прихожая его в погонах и пуговицах. Этажом выше — присяжный поверенный Амстердамский, две квартиры занимает. Еще выше — Ошурковы муж с женою — десять комнат, все десять разными мелкими вещицами поизнаставлены и аквариум с рыбками, прислуга то и дело меняется. Сосед Ошурковых — немец, доктор медицины Виттенштаубе, лечит от всех болезней рентгеновскими лучами. Над Ошурковыми и Виттенштаубе генеральша Холмогорова или вошь, как величали генеральшу по двору. Над генеральшей никто не живет, а под самим Бурковым контора и на углу булочная.

Самого Буркова никто не видал и только ходили слухи о каком-то его самоистреблении, будто, губернаторствуя где-то в Пурховце и истребляя крамолу, так развернулся, что подписал в числе прочих бумаг донесение в министерство о своей полной непригодности, и благополучно, но совершенно неожиданно для себя отозван был в Петербург, где и получил отставку.

Холмогорову генеральшу, напротив, всякий видел и все очень хорошо знали, что процентов одних ей до ее смерти хватит, а проживет она еще с полсотни — крепкая и живая всех переживет или, по словам хироманта, конца жизни ей не видно, и знали также про генеральшу, что ходит она по вторникам в баню париться и так закалилась, что и не стареет, а все в одном положении, и еще знали, и Бог весть откуда, что на духу ей будто совсем не в чем и каяться: не убила и не украла и не убьет и не украдет, потому что только питается — пьет и ест — переваривает и закаляется, и наконец, знали, что выходит она из дому не иначе, как со складным стульчиком, а берет она его на случай, если нападут, и так со стульчиком можно ее ежедневно встретить прогуливающуюся по Фонтанке для моциона, а по субботам и в воскресенье, под праздники и в праздник на Загородном в церкви и из церкви.

Всякий день в полдень по пушке на дворе появляется бурковская горничная Сусанна, похожая больше на какую-нибудь барышню — департаментскую машинистку, чем на горничную, и водит по двору красивую губернаторскую собаку — рыжего пса Ревизора, едва сдерживая стальную докучливую цепь. По середам во двор выносятся ковры, а перед праздниками мягкая мебель, и полотеры вытряхивают и выбивают так усердно и с таким громом, что иной раз кажется, на Неве из пушек палят: не то покушение, не то наводнение. И все эти ковры и мебель с парадного конца — из богатых квартир: от Буркова, Амстердамского, Ошурковых, от Виттенштаубе и Холмогоровой генеральши.

Черный конец дома — квартиры маленькие и жильцы средние, а больше мелкие. Тут и сапожник и портной, пекаря, банщики, парикмахеры, прачечная, две белошвейных, три портнихи, сиделка из Обуховской, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, приказ-

чики, водопроводчики, наборщики и разные механики, техники и мастера электрические с семьями, с тряпками, с пузырьками, с банками и тараканами и всякие барышни с Гороховой и Загородного и девицы — портнихи и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования. Тут же и углы.

Содержатель углов торговец Горбачев — молчок, такая кличка ему по двору, коренастый, осадистый с сединой старик, богомольный, окуривающий ладаном по субботам все свои тридцать углов, на Марсовом поле три ларя имеет. В праздники у Горбачева толкутся девицы в черных платочках и монашки-сборщицы в сапогах, а на Пасху все эти дщери песнопения и весело и задорно отхватывают ему Христос воскресе из мертвых. Горбачева все знают и не очень долюбливают, а Горбачев детей терпеть не может. Генеральша Холмогорова, как говорят, тоже детей терпеть не может, да у ней своих никогда не было, а у Горбачева была девочка и он ее в пустом крысином чулане держал и пальцы ей выламывал, пока на тот свет не отправил. Ребятишки дразнят Горбачева, прозвища дают ему всякие, дикими стаями ходят за ним, над ладаном его подсмеиваются, над носом, заросшим конским волосом, и оттого по двору рассыпается крепкое слово и летучее — такая отборная крепкая русская речь, какую в остроге редко услышишь, а острог ей академия.

— Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко, я всех вас, шельмецов, перевешаю на веревочке! — ворчит обиженный, изведенный ребятишками старик-молчок и потягивает своим в конском волосе горбачевским носом, окуривая ладаном по субботам все свои тридцать углов, и злобно и горько перемешивая божественное с непотребным.

Горбачевские углы известные. Тут и старуха, торгующая у бань подсолнухами, семечками, цареградским стручком, леденцами в бахроме с розовой бумажкой и селедкой и мочеными дулями, и кухарки без места и так разные люди, вроде беспокойного старика Гвоздева, и маляр и столяр и сбитенщик, тут и разносчики.

Шкапчики разносчиков — ларьки — над дровяными подвалами от помойки с одной стороны, а с другой — от мусорной ямы. Ранним утром, когда дворники приби-

рают и метут двор, кипит у разносчиков на лотках работа: яблоки, апельсины, шептала, чернослив, финики и другие сласти и лакомства, все это бережно и заманчиво раскладывается и перекладывается, подсвежается и подновляется и затем развозится на Фонтанку и уж такое соблазнительное, такое вкусное, кажется, нет сил удержаться и не купить к чаю, ну хоть финик, либо плиточку постного сахару, пахнущего поганками.

И как горбачевские углы никогда не пустуют, так и разносчичьи шкапчики — ларьки всегда полны соблазнительных сластей и лакомств.

Около углов дворницкая. Семь дворников. Все на вид такие здоровые и все больны чем-нибудь таким, хоть бы на смех один попался. И дело дворницкое не легкое дело: и дежурь и дрова носи и в часть таскай, все прямо с топора делай. Одна выгода — дрова. Только парадный конец дома на хозяйских, черный же — мелкота на своих, свои дрова покупает, и бурковские дворники, все семь, как один, дровами промышляют.

Над дворницкой — старший Михаил Павлович, по благообразию своему подходящ больше к Невской лавре — быть бы ему в Лавре не из последних, праздничных меньше рубля не берет. Над Михаилом Павловичем — паспортист Еркин и конторщик Станислав.

Еркин во всем Бурковом дворе по части выпивки первый, так все и знают. И на праздниках, взобравшись куда-нибудь на пятый этаж, нередко позвонит в квартиру, пролопочет, что за праздничным двугривенным явился, но тут и падет на пороге, как мертвый, а то с лестницы катился тоже не то на Рождество, не то на Пасху да так со ступеньки на ступеньку — любит-не-любит, пока весь не исполосовался о камни и узнать его отказались. После Нового года на Богоявленье дворничиха Антонина Игнатьевна, жена Михаила Павловича, женщина богобоязненная, водила его к братцу в Гавань возвратить на путь истинный, и возвратился он на путь истинный: дал братцу зарок — расписку, что прекращает пить на год до Нового года. Еркин больничными марками промышляет и марки для него, — все больше рублевые! — что дрова для бурковского дворника.

Сожитель Еркина Станислав конторщик, все равно, как монтер Казимир, приятель Станислава, искони известны

тем, что по ночам лазают по всем лестницам, и ни одна кухарка и никакая горничная, еще не было случая, чтобы устоять могла. И любой семеновец перед ними просто дрянь.

Свадьбы, покойники, случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, караул и участок, и не то человек кричит, не то кошка мяучит, не то душат кого-то, — так всякий день.

Буркова дом — чистая Вязьма.

Квартира Адонии Ивойловны Журавлевой, хозяйки Маракулина, — на черном конце дома, номер семьдесят девять.

В семьдесят восьмом — акушерка Лебедева. У акушерки в рождественский пост шубу зимнюю меховую украли, а вора не нашлось, как в печке сгорело. Винили швейцара Никанора, что не доглядел, а где Никанору углядеть: он и день на ногах и ночью звонки, так круглый год. Конечно, умный вор — свой, ничего не поделаешь.

В семьдесят седьмом — тоже соседняя квартира — одно время жили два студента — Шевелев и Хабаров. На вид из состоятельных, и одевались они богато и деньги вперед за месяц заплатили. Жили замкнуто, никто к ним не приходил, никаких гостей не бывало, не бывало и шуму в их квартире, прислуги своей не держали. Обыкновенно с утра они уезжали и лишь поздним вечером возвращались домой: занимались они сбором денег в пользу своих бедных товарищей, как сами объясняли, когда обходили со сбором бурковские концы — и парадный и черный. И только одно было от них неудобство: часто по ночам и не громко, но все-таки слышно они пели, и почему-то пели они панихиду — Со святыми упокой, Надгробное рыдание, Вечную память. И ночное похоронное пение приводило соседей, если не в трепет, то во всяком случае в некоторое волнение. И что же? Через какой-нибудь месяц оказалось, что вовсе они не студенты, и по фамилии не Шевелев и Хабаров, а Шибанов и Коченков — воры самые настоящие, а квартира их, как нежилая, — пусто, хоть бы стул какой безногий, — ничего, один стеариновый огарок в пивной бутылке да какой-то медный кран, больше ничего. А нагрели они немало, их и арестовали.

На место студентов в семьдесят седьмом поселились артисты — два брата Дамаскины: Сергей Александрович из балета — экзамен на двенадцать языков сдал и все законы произошел, как говорили по двору, и Василий Александрович, клоун из цирка, или клон по-бурковски: огоньки пускает и ничего не боится, на летучем шаре летал. Артистами называл артистов старший Михаил Павлович, проникшийся к братьям Дамаскиным каким-то необыкновенным и совсем непонятным для себя уважением, как к какому-нибудь братцу из Гавани.

Василий Александрович клоун — у него тело, как чайная чашка. Сергей Александрович — тоненький и аккуратный, как барышня шестнадцати лет, ходит — земли не касается, и крутой, как трехлетний ребенок — шибко идет, а туфельки у него, ровно без пяток, и всякий час гимнастикою, как говорится, ногу проверяет: так затропочет ногами, как петух крыльями. Василий Александрович — только в своем цирке, и всякий вечер что-нибудь представляет, так полагается. Сергей Александрович и в театре танцует и уроки дает: и у себя и на дом ездит.

Зарабатывали артисты порядочно, но сыпали деньгами, как стружкой. Сергей Александрович в карты играл и всегда проигрывал. Из долгу не выходили и нередко случалось позарез.

И тот и другой не старше Маракулина. Сергей Александрович женат был, но жена от него ушла. И хотя он уверял ее, что любовь бывает один раз — одна на свете любовь, и если он ухаживает за своими ученицами, то такое уж у него занятие, и если разговаривает с какою-нибудь красавицей, то, как с человеком с ней разговаривает, а сердца нет, все-таки жена ушла. Сергей Александрович чистоплотный. Василий Александрович — напротив: подавай ему всякий день барышню, без этого он жить не может, и ничем не брезгует, не боится, если даже и знает что, но зато, хоть и не часто, а ходит в церковь. Сергей же Александрович и в Пасху дома сидел. А когда однажды у Сергея Александровича заболели зубы и он решил, что помирает, то и не подумал священника попросить, нет, предупредил рабыню — так называли артисты свою кухарку Кузьмовну — и даже очень грозно:

— Приведешь попа, — сказал он в зубном остервенении, — я его, стервеца, с лестницы спущу!

И спустил бы: Сергей Александрович большой философ.

Маракулин с акушеркой Лебедевой только раскланивался, не понравилась она ему: все как-то в карман смотрит и какая-то она припадающая и на два голоса разговаривает: у кого в кармане туго, с тем одним голосом, а у кого нет ничего — другим голосом. На поклоны Маракулина акушерка Лебедева скоро прекратила отвечать, да и он ее как-то не замечал уж. Со студентами Маракулин не был знаком и всего несколько раз столкнулся на лестнице: он подымался, а они вниз сбегали; по ночам же первый был слушатель их студенческого похоронного пения. С первого взгляда такие молодцы ему по душе пришлись: очень уж ловкие и жизнерадостные. А с артистами он подружился и бывал у них — заходил вечерком чаю попить.

Артисты — происхождения духовного, образования семинарского, и оба — как курица бритая, и оба размычьгоре, нос не повесят и без спички от папироски не закурят. Василий Александрович — клоун не очень разговорчивый, но и в разговоре не помеха, добродушный, и смеялся, когда и не смешно совсем, по каким-то, должно быть, своим линиям, по клоунским. Сергей Александрович поговорить любил. Он и книгочий, читал не только юмористические журнальчики с картинками, вроде петербургского Сатирикона, не только знаменитого Андрея Тяжелоиспытанного, в его руках бывала не одна какая-нибудь Эльза Гавронская, или страшные тайны подземелья, не какие-нибудь Страшные похождения атамана разбойников Чернорука, Любовные свидания Берицкого, Похищение Людмилы лесным разбойником Александром — любимое чтение клоуна, он читал и самую нашумевшую книгу, которую везде увидишь: и у Суворина, и у Вольфа, и у Митюрникова, на Невском, в Гостином, на Литейном и даже на Гороховой, в единственном по Гороховой книжном магазине за окном стоит выставлена. И за чаем на все гробокопательские доказательные рассуждения Маракулина Сергей Александрович отвечал обыкновенно пространными собственными рассуждениями о судьбах и судьбе всяких стран, народов и человека вообще, оканчивая, впрочем, кратко:

— Надо от всего отряхнуться! — и при этом так тропотал ногами, как петух крыльями.

Сергей Александрович — большой художник.

Хозяйка Маракулина Адония Ивойловна Журавлева — не молодая, полная и очень добрая, пятнадцать лет вдовеет, пятнадцать лет, как голодною смертью помер от рака муж ее, на Смоленском похоронен. Сама она не петербургская, муж петербургский, сама она поморка — беломорская. У мужа своя торговля была на Садовой, суровская лавка — миткаль и нитки; в аренду лавку сдавала. Детей у ней нет и только родственники по мужу, и у них детей нет, всего один племянник. Племянник приходит на праздниках — в Рождество и Пасху — с праздником ее поздравить да в именины и в рожденье с ангелом и рожденьем поздравить. Она богатая — денег много и некуда ей деньги девать и очень ее сокрушает, что детей нет и, вздыхая, сетует она на предопределенную ей Богом бездетную жизнь.

Занимает Адония Ивойловна крайнюю комнату: как войдешь, направо из прихожей ее комната. Целый день дома, на улицу не выходит: и тяжко ей с лестницы спускаться — нога подвертывается, и одышка берет обратно лезть, и боится трамваев. И только одно развлечение в кухне, — в кухню к Акумовне прогуляться о кушаньях поговорить.

Адония Ивойловна покушать любит.

Комнаты все подряд. Крайняя к кухне — Маракулина. И Петру Алексеевичу слышно, как по утрам заказывается обед. Адония Ивойловна любит особенно рыбные кушанья. И с каким душу выворачивающим вкусом наставляет она Акумовну о стерлядях — ухе стерляжьей.

— Ты, Ульянушка, — говорит она Акумовне, говорит, словно бы слезы глотает, — ты наперво, Ульянушка, окуней вывари до изнеможения, а затем класть стерлядь, вкусная уха выйдет.

И правильно, вкусная варилась уха, душевыворачивающий стерляжий сладкий дух развариваюшейся жирной стерляди переполнял и кухню и все четыре комнаты, и едва уж сидит, еле дождется Маракулин счастливейшего часа — блаженнейшей минуты идти в столовую на Забалканский.

Адония Ивойловна покушать умела.

Зиму сиднем сидит, усидчивая, по двору ее не иначе, как кузницею звали за эту усидчивость, но чуть вес-

на — и уж нет ее в Петербурге: целое лето разъезжает с места на место по святым местам.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков. Была она и у безумствующего старца под Кишиневом, страшные его рассказы слушала о Страшном суде и о муках над грешниками, и такие страшные — в неуме расходились богомольцы и беснованию предавались, а иные тут же на месте от страха адских мук помирали — такие страшные рассказы. Была она и на Урале у Макария, на птичнике живет старец, за птицею ходит, с птицею разговаривает, и весь скот старцу повинуется: станет старец на закате солнца молиться и скот станет — повернет рогатые, бородатые головы да в ту сторону, куда старец молится, и стоит, не переступнет и гремком не гремнет и бубенцом не звякнет. Была она и в Верхотурье у Федотушки Кабакова, молитвою вызывающего глас с небеси, была и у того самого старца, который старец прикоснется к тебе и прикосновением своим ангельскую чистоту сообщит — возведет в райское состояние, была и у китаевского пророка: свой язык дает старец сосать, высунет тебе, пососешь и освятишься — благодать получишь. И у многих других старцев побывала она на своем веку: и в Богодуховском — нечистых духов, соитием плоть умерщвляя, изгоняет старец, и у Босого — Ивановского старца и у Дамиана старца и у Фоки Скопинского, на огненном костре сжегшегося.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков. И век бы ей слушать непонятные их разговоры и притчи их и слова их, и молиться бы в их кельях, где лампады сами собою зажигаются, как свеча иерусалимская. Но горе ее: не говорят они с нею, ей одной наособицу ничего не говорят. Или летами стара она или уж от умиления слов пророческих не слышит или не дано ей услышать? И только одна сестрица Параша сказала:

— Корабли пойдут, много кораблей — далеко!

И часто зимою, сидя на Фонтанке одна в своей душной комнате, Адония Ивойловна повторяет:

— Корабли, корабли! — а уразуметь ничего не может, и слезы горохом катятся.

Сходство у Адонии Ивойловны с тюленем прямо поразительное — вылитый мурманский тюлень.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков, и есть у ней еще страсть и такая же непреоборимая: море — любит она море. Все русские моря она объездила и на Мурмане по Ледовитому океану плавала, где кит живет, и, наконец, видела Средиземное море.

И часто зимою, сидя на Фонтанке одна в своей душной комнате, вспоминает она и белое — свою родину и черное — теплое и изумрудное море Средиземное, а вспоминая море, повторяет пророческие Парашины единственные слова:

— Корабли, корабли! — а уразуметь ничего не может, и слезы горохом катятся.

По ночам Адонию Ивойловну сны одолевают. Пестрые снятся ей сны. Ей снится ее родина, родные реки — Онега река, Двина река, Пинега река, Мезень река, Печора река и тяжелая парча старорусских нарядов, белый жемчуг и розовый лапландский, киты, тюлени, лопари, самоеды, сказки и старины, долгие зимние ночи и полунощное солнце, Соловки и хороводы. Ей снятся холмогорские комолые коровы, целое стадо и глаза у коров человечьи и они будто ластятся к ней спинами, а потом выходит корова, подает ногу, как руку, говорит: «Адония Ивойловна, учи меня говорить!» А за нею другая выходит и так за коровой корова и каждая ногу подает, как руку, и все об одном просят: «Адония Ивойловна, учи меня говорить!» Ей снятся скорпии-хамелеоны и все будто во фраках, по стенам расселись, извивают хвост, то изумрудный, то багряный, как студеный закат, и только смотрят на нее, и уж вся стена в скорпиях-хамелеонах, везде они и на иконах и за иконами и один хвост, как тысяча малых хвостов, машет ей, манит то изумрудный, то багряный, как студеный закат. А то глупость приснится: будто ест она ватрушку и, сколько ни ест, все не сыта, и ватрушка не убывает.

Всякий день Акумовна сны толкует, а по вечерам за чаем на картах гадает. Акумовна может гадать и на вербе и на каретных свечах, а в зимнее время по узору на стекле — на цветах морозных, но всего вернее она на картах гадает.

Осенний вечер. На дворе петербургский дождик. Из желобов глухо с собачьим воем стучит вода по камням.

Бельгийский электрический фонарь сквозь туманы и дым, колеблясь, светит, как луна. В окне Обуховской больницы один огонек.

В крайней комнате — в душной комнате у Адонии Ивойловны поет самовар — не *выживает*, он полон и горяч, пар выбивается, — певун заиграл игрою. Поет самовар на все комнаты.

Акумовны нет в кухне, Акумовна с картами у Адонии Ивойловны, Акумовна гадает. Самовар гаснет и пение его тише и голос Акумовны глуше:

— Для дома. Для сердца. Что будет. Чем кончится. Чем успокоится. Чем удивит. Всю правду скажите со всем сердцем чистым. Что будет, то и сбудется.

А карта, должно быть, выходит *нечистая*, все *неважная*, все *темная*.

Плачет Адония Ивойловна. Да и как ей не плакать? Похоронили мужа на Смоленском кладбище, а она хотела положить в Невской лавре: родственники настояли, не послушали ее. Он ко всем добрый был, помогал много, а они его не любили. Она одна любила его, и ее не послушали. А на кладбище земля под ним уходит, обваливается земля.

И опять голос Акумовны, но еще глуше:

— Для дома. Для сердца. Что будет. Чем кончится. Чем успокоится. Чем удивит. Всю правду скажите со всем сердцем чистым. Что будет, то и сбудется.

А карта все та же. И те же слезы. Плачет Адония Ивойловна: она одна его любила, и ее не послушали, уходит земля под ним, обваливается земля.

— Обвиноватить никого нельзя! — говорит вдруг Акумовна.

Осенний вечер. На дворе петербургский дождик. Из желобов глухо с собачьим воем стучит вода по камням. Бельгийский электрический фонарь сквозь туманы и дым, колеблясь, светит, как луна. В окне Обуховской больницы один огонек.

В крайней комнате — в душной комнате у Адонии Ивойловны три неугасимые лампадки. Адония Ивойловна долго молится. И в кухне — в насыщенной живучим стерляжьим духом и сушеным грибом кухне у Акумовны три неугасимые лампадки. Акумовна долго молится.

— Корабли, корабли! — доносится ночью голос сквозь слезливый храп.

А ему отвечает другой с другого конца глухо:

— Обвиноватить никого нельзя!

И третий слышится, третий идет через стенку от артистов:

— Надо от всего отряхнуться.

И ежится, сжимается весь притихнувший, насторожившийся невеселый Маракулин и твердит себе все одно и то же и напрасно: непокорливый, он больше не может не думать, он больше не может не слышать своих мыслей и всякий мир далек от него.

Божественная Акумовна — по паспорту тридцати двух лет девица, но по собственным уверениям ее, хотя и без всяких уверений ясно, ей не тридцать два, а верных пятьдесят. Она псковская или псковитянка, как величают ее артисты, к которым частенько она забегает на картах погадать, а Сергею Александровичу готова была бы хоть целый день гадать, да и рабыня Кузьмовна, напоминающая не то флюндру какую, не то мороженую курицу с Сенной, вроде кумы ей.

Акумовна маленькая, черненькая, лицо очень смуглое — жук, а улыбается и поглядывает как-то по-юродивому не прямо, а из стороны, голову немножко набок, и кроткая — никогда ни на кого не осердится. И быстрая, но не столько бегает, сколько на месте топчется, и только кажется, что она бегает. И проворная, так вот сейчас все и сделает, а случится послать да чтобы поскорее, знай, пропало дело, не дождешься! Пятый этаж, ноги старые, сбежать-то на улицу сбежит, а на лестницу подняться — оступается. Нога и готова бежать, рада бы Акумовна поскорее, а сил уже нет, и только топчется.

И днем и ночью живет Акумовна, как живет и Адония Ивойловна. Разные ей снятся сны: и пожары она видит — дом горит, и разбойников — бежат, гонят разбойники, и голого человека — на берегу голый с мылом моется, и рябого гада — кусает ее гад, и ягоду во сне она ест — бруснику, большие грозди с овечий хвост. Но чаще, очень часто она летает: она летит и всегда в одно и то же место — к Осташкову в Нилову пустынь к Нилу Преподобному Столбенскому.

— Скоконешь и летишь, — говорила Акумовна, — подымусь и, как на воде, руками захватываю и так мне легко все станет и все лечу вперед, как птица.

Давно обещалась Акумовна в Нилову пустынь, к Нилу Преподобному сходить, и не исполнила обещания, не была ни разу, вот почему часто, очень часто летает она по ночам к Осташкову.

По двору любят Акумовну: божественная Акумовна! И всегда на кухне у ней детвора толчется, она и умеет и любит играть — киликать с детьми. Она везде бывает, есть у ней деньги — дает и берут без отдачи, во всех углах ей рады. И одного боится она, когда на дворе дерутся.

Сергей Александрович Дамаскин все законы произошел — артист. Акумовна — такой человек, что знает, что и на том свете деется. Так идет молва по Буркову двору.

Акумовна на том свете была, на том свете ходила она по мукам.

Там, на том свете ей все показывали, только не знает она, кто который человек водил ее.

— Пришла я, — так рассказывала Акумовна свое хождение по мукам, — в какую-то постройку в хоромину: выбранный пол гнилой, мостовины провалились, земля — мусор, и лежит на полу рыба протухлая, гадкая, разная, мясо, черепы, нехорошее все, худое лежит, и люди умершие — одни кости лежат, члены человечьи, и животные умершие лежат, все гнило, все гадость.

И водили ее по хоромине, все ей показывали! А хоромина длинная — конца не видно и широкая, а тесно. Впереди люди, много людей, и позади люди, тоже много, и кругом везде и идут и стоят. А какие-то все по углам и не люди, — это она понимает, — их тоже много.

— Мучилась я, молитву читаю, а они не отвечают, — хвост и ноги коровьи, когти собачьи. «Выпусти меня!» — взмолилась я. Один и говорит: «Нет еще, пусть она посмотрит». А другой за ним: «Надо обождать, пускай видит все». И повели меня.

И водили ее по хоромине, все ей показывали. Нехорошее все, гнилое лежит, одна падаль, все гнило, все гадость и умершие люди и умершие животные, кости, черепы, мусор.

— Хоть бы Бог дал святых тайн принять! — думаю себе, — выйду я из этого блуду. И все поминаю: «Господи, Господи, хоть бы мне причаститься, замучилась я!» И вижу, уж вышли мы из хоромины.

И повели ее на гору, а на горе три лица, трое стоят: все в светлых манто и светлым лица покрыты, причащаются. Только вместо сосуда — полоскательная чашка и ложечки нет, так причащаются. И много народа, все подходят, все причащаются. И ее подвели. Хочет она перекреститься, но тяжело ей крест сделать, мешают ей.

— Сам берет, из своих рук дал мне сухое, не мокрое. А мне дара их не проглотить, стало мне, подавилась. «Господи, Господи, прошу, святые и ангелы, Господи, полно меня мучить!» Эти смеются. Один говорит: «Подождешь, еще походишь!» А другой за ним: «Да, ее нужно провести еще!» Смеются, — хвост и ноги коровьи, когти собачьи. И опять повели меня.

И повели ее с горы к озеру. А мимо их народ, много народа, как на Невском, спешат, перегоняют, бегут и бегут, хвосты долгие волокутся, и все с горы в озеро и там у озера оборачиваются голубями, — туча тучей стадо голубей.

— Пали голуби на воду и стали пить, а я говорю: «И мы туда пойдем?» «Да, отвечает, пойдем». А один говорит: «Ну, теперь будет вам скоро конец». И уж все ближе мы к озеру. Перхаю, не проглотить мне дара их. «Господи, прошу, полно меня мучить!» Вкруг меня скачут дети, и я прибегаю к детям, не спасут ли меня: «Ангел хранитель, храни меня, храните меня, помилуйте!» Все озеро голубями закрыто, мутная вода, грязная. И я вошла по колено в воду. «Теперь тебе скоро!» — услышала я голос, и который вел меня неизвестно, где делся.

Так побывала Акумовна на том свете, таково ее хождение по мукам.

Еще ничего, сердце у ней здорово, только животом Акумовна тужит. А ей немало выпало на долю — этим кнутом сечена!

Отец Акумовны богатый, в славе был. Десяти годов ей не было, умерла мать. У нее семь братьев, все ее старше. Девчонка она была здоровая. Еще маленькой, правда, она убилась: спала она в люльке, а ребятишки качали, люлька оборвалась и она с люлькой обземь, кричала

день и ночь и ничем — грудью ее не унять, а потом все прошло, потом совсем оправилась. Девчонка она была смышленая. Перед смертью дала ей мать пятьдесят рублей — в холстинке замотаны. И никто о этих деньгах не знал, один отец. И когда отцу надобилось, она, сколько надо, вымотает из холстинки и даст ему, после он все ей вернет, и она опять замотает и никому ни слова. Невестка не знала. Отец с невесткою жил. Невестка ее не любила. Как, бывало, обедать, придерется, возьмет ее за руку да из-за стола вон. Истязала девчонку. Отец с невесткою жил. Как-то к отцу пришел брат двоюродный, давно ему отец денег обещал, он за ними и пришел. Да рассердился за что-то отец и отказал. А Василью вот как нужно, и обидно: зачем обещал! — пошел Василий, заплакал. Услыхала девчонка — ласковая была и несчастная — догнала Василья, из своих хочет дать ему, из холстинки, только с уговором, чтобы вернул деньги непременно. Ну, тот обрадовался. «Погори мой дом, детей не увидеть!» — поклялся. И дала она ему ровно копейка в копейку, сколько отец обещал, двадцать рублей. А пришло время и не возвращает. Нет и нет у него денег, подожди! Да она ждала бы, и не в деньгах дело, ее отец спросит, что тогда ответить? И надо тому быть, как раз захворал отец: выпил пива, ноги посинели, стало ему худо. Собрали деревню. И Василий пришел, брат двоюродный. Сели вокруг, сидят. Отец — к девчонке, холстинку чтобы принесла, где деньги. Испугалась она, не знает, что сказать, на ключи и свалила: ключи, мол, затеряла. Затеряла? — хорошо, взяла невестка топор да в амбар, сундук разломала, принесла холстинку. Стали деньги считать — двадцати рублей нет. Отец к девчонке: «Где деньги?» Молчит. И в другой раз: «Где деньги?» И опять молчит. А стало ему совсем дурно, стал он благословлять детей. Благословил сыновей своих — старших братьев, доходит ее очередь. Заплакала, просит тихонько, чтобы сказал Василий о деньгах. А Василий — разбойник! — отнетился: «Знать не знаю, не брал денег!» — будто никогда и не брал денег. И уж не плачет она, — когда лихо, не плачут, — смотрит она на отца, только смотрит. Отец к девчонке: «Благословляю, — остановился, подумал, — коло белого света катучим камнем!» — скрипнул зубами и скончался.

Коло белого света катучим камнем! — вот слово благословения, вот какое от отца, родительское, получила Акумовна, и видно, оно — так думала Акумовна — обрекло ее на блуждание по белому свету.

Шести недель не выжила дома, а жила она на огороде. При отце худо ли, хорошо, терпи, а как умер отец, стала невестка лютее зверя, гонит, поедом ест девчонку. На шестой день Фролова дня взяла Акумовну турийрогская барыня Буянова к себе в усадьбу, в дом. Усадьба Буянова — Турий Рог в шести верстах от Сосны Горы.

В усадьбе хорошо: сама барыня Буянова полюбила ее. Чуть что постарше Акумовны: Акумовне тринадцать, барыне шестнадцать. Сам-то барин Буянов не молодой, в деды обеим годится и часто в город уезжал по делам и всегда дома занят — земли много, лесу много и озера — хозяин был, любил землю: турийрогские конопли такие, что человеку не пройти, куры на полях паслись! А барыня все одна и только с Акумовной, как с своею сестрицей. И всюду водила ее с собой и в поле и в лес, — в прутняк за грибами, в бор по ягоды. В бору на жарине на солнопеке ягода красная — любо брать ягоду, орехи щипали, собирали желуди, чтобы кофе варить, а то ляжет сама под сосною, а Акумовну пошлет за цветами. Вернется Акумовна с цветами, принесет много разных — синих, венок заплетет, а она лежит под сосною, плачет. Уберет ее Акумовна цветами разными — синими, целует ее — зацелует всю, сама черненькая, глаза остры и веселы, коса с красною ленточкою — жук.

Год прогодовала Акумовна, не расставаясь с барыней, ко всему ее приучали, гладить и стирать учили. Перед Покровом уехал барин в город и захворал. С барином бывало такое: — говорили, что они его мучили — у леса есть хозяин и у воды есть хозяин — лесные и водяные хозяева. Был турийрогский лес глухой непроходимый, жуку не пролететь, Буянов вычистил лес, и к озерам не было подступу, дороги кругом понаделал, повычистил озера. А им это не нравится. Нет-нет да и соберутся они, придут к нему и укоряют, что уморил их. Оттого он и мучился. Так люди говорили. Дали знать из города барыне в Турий Рог, собралась барыня и уехала.

— Наказала мне барыня, — рассказывала Акумовна, — за Красоткою присмотреть, всякую ночь проверять коро-

вушку. Коров было много, а Красотка одна, любимая. Отелилась Красотка, с этого и началось. Была на деревне свадьба, отпросилась я на свадьбу, обещала к двенадцати вернуться, да засмотрелась и вернулась в два. А в двенадцать Красотка отелилась и теленка ногой убила. «Одному из нас жить: или тебе или мне!» сказал скотник: или его прогонят или меня прогонят. И пошла я к молодому барину, брат барыни в управляющих служил, а войти боюсь: скрипну дверью и опять обратно. «Ну что, жук?» Услыхал барин. «Виновата, барин, простите, несчастье у нас!» «Иди сюда!» Впустил. Я перед ним на колени, стала на колени, все рассказала; плачу. «Убирайся, собирай вещи!» И выгнал. Пошла я в комнату к себе, за столовой моя комната маленькая, а какие вещи собирать, не знаю, нет моего ничего, и плачу. Всю ночь проплакала. Входит наутро барин. «Все собрала?» Я опять: «Простите, барин, виновата!» «Молчать, не сметь плакать, скажу, — повешу!» И ушел. Думаю, повесить не повесит, пугает, а чего-то страшно, боюсь чего-то. Суббота, топили баню. Вымыла я полок, поставила пива, хочу уходить, а барин уж идет. Я к двери. «Стой, собрала вещи?» Я свое: «Простите, барин, виновата, не гоните!» А он подумал да и говорит: «Согласишься со мною жить, оставайся, а не то уходи!» И вытолкал. А я не хочу уходить, чтобы отогнали от барыни, да и куда мне идти — к брату опять, к невестке? Хожу и плачу. А скотник наладил: «Одному из нас жить: или тебе или мне!» Или его прогонят или меня прогонят. И хоть бы барыня приехала, а барыни все нет и нет. Суббота, топили баню. Вымыла я полок, поставила пива, сама спешу до барина уйти, чего-то, страшно, боюсь чего-то. А он уж входит. «Что, согласна?» «Согласна». Ну, девчонка была, не понимала. «Иди и раздевайся, я тебя посмотрю». Пошла я, стала раздеваться. А на другой день поехал барин в город, — тогда он меня не тронул, — привез из города мне шелковый платок и ленту в косу. Рассказала я няне, старая няня жила в доме, старушка. «Это ничего, сказала няня, только проси пятьсот рублей на книжку, обеспеченье!» А мне и невдомек, какая такая книжка. Ну, девчонка была, ничего не понимала. Зовет меня вечером няня. «Подашь, говорит, барину самовар и не уходи!» А барина комната рядом со столовой. Надела

я шелковый платок, заплела в косу ленту, подала самовар, присела к столу, а самоё меня так и трясет...

И срам и стыд и позор, — стыдно было Акумовне, повеситься хотела: барыня вернулась, ее барыня приехала, а она вот какая ходит! Успокоила барыня, воспитать обещала ребенка, за Красотку простила, не отогнала от себя. И родила Акумовна мальчика, а вскоре и сама барыня родила, и у барыни тоже мальчик. Детей воспитывали вместе, одна нянька за ними ходила, и учили их вместе. Девяти лет обоих в Петербург отвезли. Усыновил брат барыни сына Акумовны. Приезжали они только на каникулы летом, да в Рождество и в Пасху. В один год оба ученье кончили и офицерами сделались. Пожили немного в деревне и опять в Петербург. Как был маленьким, кроткий был сын Акумовны, ласковый, а вырос — бояться его стала Акумовна: как-то так посмотрит на нее, спрятаться хочется, куда уж там слово сказать!

А время не ждет, время берет свое: умер старый барин, они его задушили — у леса есть хозяин и у воды есть хозяин — лесные и водяные хозяева, так говорили. А за старым барином с братом барыни беда случилась: на престольный праздник семерых зарезали на большой дороге, стали искать, дорожка и привела в Турий Рог в усадьбу и за укрывательство засадили его. Просидел он год в остроге, вышел, собрался было за границу ехать да и помер. Не видала Акумовна барина, как умирал он, только видела его, как из острога вышел: и узнать нельзя, как земля, почернел. Легкие у него отвалились, так говорили.

Осталась Акумовна опять с своей барыней, как прежде, вместе в поле гулять ходили и в лес, как прежде, собирала Акумовна для барыни цветы разные — синие, заплетала венок, а барыня лежала под сосною, только не плакала, спала — выпивала барыня, давно уж выпивать приучилась: выпьет, заест мятным пряником и заснет.

Барин — брат барыни весною помер, а осенью сына Акумовны в Турий Рог из Петербурга привезли, просил перед смертью, чтобы в Турий Рог привезли: чахотка была. И похоронили его в деревне на турийрогском погосте, мундир и шапку Акумовне дали. А год не истек, померла и барыня. В день своей смерти сон видела, будто пришел барин старый и с белою собакой... И похоронили барыню.

Опустел Турий Рог, осталась одна Акумовна. Молодой барин не захотел держать ее, рассчитал после похорон. И осталась она совсем одна. Плакать не плакала, — когда лихо, не плачут.

Обошла она в последний раз поле и лес и прутняк, посидела в последний раз в бору на жарине, где красная ягода, и под сосною, где лежала ее барыня, поклонилась лесу и полю и бору и сосне, и пошла. Пошла по большой дороге из Турьего Рога мимо Сосны Горы, мимо брата и невестки, мимо Васильевой избы, мимо кладбища, мимо крестов отца и матери, все прямо из Турьего Рога, все прямо по большой дороге, коло белого света катучим камнем.

И не год тянулась дорога от Турьего Рога до Петербурга. А пока добралась она до Петербурга, по пути и в сохе ходила, и в косе ходила, и в овраге цыганкою жила.

Девять лет живет Акумовна в Петербурге. Мундир и шапку у ней украли еще тогда между Турьим Рогом и Петербургом и всего у ней только и осталось памяти: теплые сапожки висят нафталином пересыпаны в картонке под потолком, и калоши.

— На вещь посмотрю, как на его самого! — говорит Акумовна, раскрывая по праздникам картонку.

Девять лет живет Акумовна на Фонтанке в Бурковом доме на черном конце и лето и зиму — круглый год, и дальше Сенной да в рыбный садок никуда не ходила, и хочется Акумовне на воздух.

— Хоть бы воздухом подышать! — скажет она другой раз, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны, кроткая, божественная, безродна несчастная.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пустовавшие осень две комнаты к началу зимы были заняты, и у Маракулина оказались две соседки: Вера Николаевна Кликачева, с Надеждинских курсов, и Вера Ивановна Вехорева, ученица Театрального училища.

Вера Николаевна худенькая, такая худенькая барышня, что страшно за нее становится и особенно, как просидит она ночь за книгою. Из чего только жив человек: ни

кровинки в лице, а глаза, как потерянные — бродячей Святой Руси.

Жила она с матерью в уезде в старом уездном городе Костринске, домишко свой был и сгорел, все добро пропало. И спасли бы, ну, хоть частицу уберегли бы от огня, да мать — старая Кликачева, стала она с иконою прямо против пламени и ничего не дала вынести, все погорело: если дать огню все пожрать, не противиться, он тебе сторицею вернет, так думала старуха. А ей и знаменье было, примета предвещала пожар: еще за неделю стол и иконы жутко трещали. Да не спохватилась старуха вовремя, — все погорело. И жили они после пожара в старой бане. Кончила Вера Николаевна городскую костринскую школу и завековала бы век свой в старой бане, да случилась одна ссыльная из Петербурга, стала учить ее и приготовила за четыре класса гимназии. Поехала Вера Николаевна в губернский город, выдержала экзамен и три года пробыла там в фельдшерской губернской школе при больнице, а потом в Петербург, кончала Надеждинские.

Не легко ей было учиться, до слез доходила, так ей все трудно давалось. А бросать не хотела, такая уж труженица. После Надеждинских еще собиралась она на аттестат зрелости готовиться, чтобы поступить в Медицинский.

Озабоченная, занятая учебниками и работою — ходила на массаж, массажем и зарабатывала — сложа руки никогда не сидела, и трудно было от нее слова добиться, редко разговаривала и мало рассказывала. Вспоминала только мать и ту ссыльную — Марию Александровну, которая научила ее и приохотила к ученью, только о них и рассказывала.

Мать Веры Николаевны — Лизавета Ивановна с детства жила в своем маленьком белом с пятнадцатью белыми церквами заброшенном старом городе. Костринск — старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному — первый, плакун-город. Старики помнят, какая Лизавета Ивановна была молодая — затейная и хороводница и сказочница и старинщица, как венчалась в соборе и как протопоп, знавший и жениха и невесту, все ошибался и имена путал, а Инчиха — старуха-прачка — печально головою качала, зная по-своему по-вещему, что не долго вместе проживут молодые: кто-то третий между ними под венцом стоял. Знала старуха да помалкивала.

И была Инчиха возле Лизаветы Ивановны и тогда, как муж ее умирал, и тогда, как дом горел. Это она научила ее ничего не выносить из дому, все огню отдать и не этому одному научила, а и всему своему непростому вещему знанию. А Инчиха много знала и, кажется, все, что отпущено на долю человека. Так судили в Костринске. И спокойно сошла она в могилу, оставив на земле человека заместо себя: Лизавета Ивановна будет о ней особенно Богу молиться, потому что ей все передала старуха и сделала для нее больше, чем могут мать с отцом сделать, сделала для нее столько, что больше уж, кажется, человеку не отпущено дел. Так судили в Костринске.

Лет десять, как умерла Инчиха и дом сгорел. И, живя в старой бане, Лизавета Ивановна долго мечтала построить себе новый и крепкий дом, такой же, как тот сгоревший. Каждое лето возила она из лесу бревна и складывала у себя на огороде и к батюшке Ивану Кронштадтскому в Кронштадт ездила за благословением, старую строгановского письма икону свезла ему в дар и сто рублей получила на начало. Сколько раз ссыльные ей план рисовали, и, зоркая, внимательно она его рассматривала, искала и того и другого и третьего: не забыта ли кладовая, чулан, сенцы, все ли так нарисовано, как было в старом сгоревшем доме. А нового крепкого так и не выстроила. Бревна гнили на огороде, план бережно хранился в шкатулке, а сто рублей — подарок батюшки и до Москвы не доехал. Никогда во всю жизнь не было у нее так много денег и сразу — муж ее мелкий костринский чиновник гроши получал — и батюшкина радужная бумажка на глазах сгорела: всякие безделушки, коробочки, коробки нужные и ненужные, сломанные и цельные привезла она в подарок из Кронштадта, и каждая вещица и каждая коробочка имели свое назначение, а самый большой пакет назначался по усмотрению и на это усмотрение было ухлопано чуть ли не полсотни. Куда уж там дом строить!

Лизавета Ивановна согнулась, беззубая, только тяжелые белые волосы всю голову опутали, а голубые глаза еще посветлели и ровно бы светятся. Много прожила она на свете, хоть и сошелся свет для нее в ее маленьком белом с пятнадцатью белыми церквами заброшенном старом городе, а все дни ее словно опеты звоном похоронным.

Костринск — старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному первый, плакун-город. Много народа похоронила Лизавета Ивановна и ко всем на могилы ходит, а в Христово Воскресение красные яйца носит, христосуется: с мертвыми важнее христосоваться, чем с живыми, так думала старуха. И жила себе в бане, как в доме, любовалась, когда солнце за колокольню заходит и крест золотит, и когда на санках в первый раз кататься начнут и когда по весне на досках скачут, и только ждала к себе человека, кому она все передаст, что когда-то самой ей передала старуха-прачка Инчиха. И тот, кому она передаст, будет такой же счастливый, как она сама, потому что нет большего счастья, как ее счастье, так думала старуха. А ее счастье заключалось в том, что через непростое свое вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, она поняла, как жить надо, и жила она не для себя и не для других и, когда что делала, думала не о себе и не о костринцах, она готовилась к той жизни и тому свету и в делах своих думала о той жизни и о том свете, и потому было и ей хорошо и другим хорошо от нее.

Лизавета Ивановна в Костринске все равно, как какой-нибудь братец из Гавани для бедноты петербургской.

В Костринск приехала ссыльная из Петербурга Мария Александровна. Чтобы скоротать дни, девать куда-нибудь свое время, тягучее на подневолье, взялась она учить Веру Николаевну, ей понравилась Вера Николаевна. И часто она ходила к Кликачевым. Заинтересовала ее и Лизавета Ивановна и она расспрашивала старуху, как та думает, как жить надо и чем на свете жить и как забыть то, чего никогда не забыть, и что сделать, чтобы страшно не было, и чтобы не хотелось того, чего нельзя взять, — все в таком роде расспрашивала старуху. И по вопросам поняла старуха да и сердце ей подсказало, что ссыльная эта и есть тот человек, кому должна она передать свое непростое вещее знание и сделать счастливой.

С год прожила Мария Александровна в маленьком белом с пятнадцатью белыми церквами заброшенном старом городе на подневолье. На Пасху пришла разговляться к Кликачевым, а на Пасху знающему, как говорят, все особенно видно и ясно. И увидела Лизавета Ивановна у своей избранницы и любимицы где-то в лице над бровями

какой-то знак смерти. И, узнав тайну, не хотела себе верить. А как-то на Святой же Марии Александровны в Костринске не оказалось: скрылась и след простыл.

Много видела Лизавета Ивановна: и мужа похоронила и чужого горя много видела — где его нет! — только так никогда не вздыхала, когда пришло утро и день, и настал вечер и ночь, а избранницы ее, любимицы ее, обреченной на смерть, больше в Костринске не было. Счастливая, она через свое непростое вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, поняла, как надо жить, но не исполнила дела назначенного, божьего, не передала своего знания и, если не вернется Мария Александровна, помрет она несчастною. И ждет старуха, трясет головой, опутанной тяжелыми белыми волосами, тихо, кротко и смирно молится, а над нею старые колокола перезванивают похоронный звон, опевают ее. Костринск — старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному — первый, плакун-город.

— А куда же девалась Мария Александровна? — спросил как-то Маракулин.

Но Вера Николаевна ничего не ответила, только глаза ее потерянные — бродячей Святой Руси стали, как два костра, и всю ночь не плакала, она выла, словно петлей ей горло сжимали и петля затягивалась туго.

Маракулин тоже не заснул в ту ночь, все прислушивался: он понял и чего-то жутко ему было.

«А вот Горбачеву, — подумал он, — будут век его вечный монашки и девицы в черных платочках на Пасху петь Христос воскресе из мертвых».

Мысль эта повторялась и тягучая шла, словами выговаривалась, но когда выдохлась вся, беспокойство какое-то охватило его: он забыл о Горбачеве и о Марии Александровне и о Лизавете Ивановне и об одном старался домекнуться, что такое устранить надо, чтобы успокоиться.

И вдруг почему-то вспомнил о генеральше Холмогоровой, как идет она такая сытая и здоровая, довольная и победоносная, — вошь, которой не в чем и каяться, идет для моциона — прогуливается со своим складным стульчиком по Фонтанке или возвращается по Загородному из церкви и словно бы паутина за ней тянется сдохлая, какая висит по углам в темных непроветривающихся крысиных чуланах или лежит между полом и дном

несдвигаемых тяжелых сундуков, тянется за ней паутина и прямо в рот тебе лезет и душит, хоть в Фонтанку!

Он давно это замечал, только понял сейчас. И уж всю ночь до утра все обдумывал, как бы это так половчее устранить генеральшу, чтобы и мокрого места от нее не осталось, а без того, не устранив, он не может жить, ему дышать нечем, она не дает дышать ему с своей паутиной сдохлой, не продохнешь от нее, и сна нету и терпения и покоя.

И если бы Маракулин в минуту отчаяния своего убил генеральшу Холмогорову, а наутро его к ответу притянули, то, опомнившись, конечно, он одно бы мог сказать в свое оправдание, что не он убил ее, убила ее Бурковская жестокая ночь.

И всю ночь до утра Вера Николаевна не плакала, она выла, словно петлей ей горло сжимали и петля затягивалась туго.

Жестокие ночи потянулись для Маракулина. Куда девалась его готовность все вынести и только видеть, только слышать, только чувствовать. Все та же одна мысль о генеральше не выходила у него из головы, поперек горла стала ему эта несчастная генеральша. Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный.

Прочитав поутру в газетах о докторе-отравителе, он спрятал газету под подушку, и уж ночью перед сном снова перечитал ее.

— Благодетель человечества, — шептал он впотьмах, — доктор, может, ты уж одну вошь отправил на тот свет, может ты... и еще кого-нибудь отправишь!

А припоминая газетные возмущения и негодования, с упоением сказал себе:

— Это сестры генеральши моей за вошь, отравленную доктором, истинным благодетелем человечества, дружно заступились!

Он вставал среди ночи, зажигал свечку, перечитывал газету, прятал ее под подушку и опять ложился и впотьмах шептал — думал до утра. И свое бурковское отчаяние переносил уж с себя на все человечество, благодетелем которого будто бы может явиться доктор-отравитель, посылающий на тот свет вошь за вошью и очищающий воздух, чтобы дышать, а то ему дышать нечем и сна нету и терпения и покоя. Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный.

С неделю, больше, в каком-то исступлении жил Маракулин и дошел, как ему казалось, до точки, а, дойдя до точки, нашел себе лазейку опять на свет выбраться, отыскал право быть на свете, а ведь оно с осени-то поколебалось, и уж что грех таить, не поколебалось, а пропало вместе со сном, терпением и покоем.

Горбачев, по мнению Маракулина, после всех своих шатаний и хитросплетений открыл и понял, как ему жить: он душу свою спасти хочет и для этого ладаном углы окуривает, а все остальное — перевешает ли он всех детей на веревочке или в розовых бумажках конфетами примется их откармливать — для спасения его души не важно. Мария Александровна после всех своих вопросов тоже открыла и поняла, как ей жить: она и не то, чтобы ценила опасность — такую жизнь, рядом с которой смерть, она душу свою погубить хотела, душу свою за других положить хотела, в жертву себя уготовала ради какого-то закона и правды, от наступления которых зависит счастье человеческое, и, должно быть, убила или подготовляла убийство или помогала убийству какого-нибудь лица, по мнению ее, вредного закону и правде. Лизавета Ивановна через свое непростое и вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, открыла и поняла, как ей жить: не о себе она думает и не о других думает, а думает она о том свете и о той жизни и, готовясь к тому свету и той жизни, сообразно с этим поступает. Но, ведь, и окуривать ладаном да еще от ребятишек отбиваться, так же, как подготовлять покушение и готовиться к той жизни, все это дело, действие, работа и кроме того для своего совершения предполагает много очень важных решений и прежде всего знать надо и, за свою ли совесть или за страх перед стариной и деяниями, это безразлично, ответить надо, что должно спасать свою душу или должно погубить свою душу или должно готовиться к той жизни, а также твердо положить себе во имя непререкаемое. А генеральша палец о палец не стукнет, ровно ничего не делает, — и не считать же баню за дело! — и всего достигает, да как еще достигает: генеральша самым наглядным образом и несомненно закаляется и уж конца жизни ей не видно, тут хиромант не ошибся, и, может, она уж бессмертна, а ведь и душу свою не спасает и души своей не губит, а губить, все

равно, что спасать, и, стало быть, отказавшись от всяких спасений и ничего и никому не должная, преуспевает. И если Горбачев, зная, как жить, имеет право на существование, и Мария Александровна и Лизавета Ивановна, тоже знающие, как жить, имеют право на существование, то генеральша, как некий сосуд избрания, имеет не просто право, а царское право.

«И вот теперь подумать надо и как еще подумать, — рассуждал Маракулин, доходя, как ему казалось, до точки, — и решить себе твердо и раз навсегда: как бы поступило человечество, если бы, ну скажем так, великие державы, союз держав мира во главе с Англией, предложили бы особыми манифестами через палаты и думы подданным своим — всему человечеству эту вошью беспечальную, безгрешную и бессмертную жизнь генеральши. Уж такая бы возможность выдалась действительным ли открытием, ну какой-нибудь ученый немец Виттенштаубе наукою дошел бы с помощью своих рентгеновских лучей, или обманом, ну какой-нибудь наш бывший губернатор Бурков самоистребитель — мало ли сколько по Руси таких истребителей, изуверно обращающих на себя свою недюжинную способность, сам Бурков изобрел бы некоторый фортель, шельмовство временное и уж, конечно так, чтобы чисто, или дерзновением, ну какой-нибудь светоносный святолепный старец Кабаков, завалив свое подполье с граммофоном, изрекающим глас с небеси, объявил бы себя миру, как вождь и судия — искупитель изначального Муркина греха, и сотворил бы нерукотворный Новый Сион с миром и милостью, скоро, просто и дешево, как отнеслось бы, что ответило бы на это человечество? А думаю я так, — продолжал Маракулин рассуждения свои, с маракулинским упорством доходя до своей точки, — что и без всяких даже излишних слов и церемоний, забыв должное и недолжное и всякое спасение, тихонечко, не снимая шляп и других соответствующих сану головных уборов, спустили бы подданные с себя штаны, да, осенив себя крестным знамением, на зов мужественного, свободного, гордого, святого слова юркнули бы в какую-нибудь гигантских размеров конским волосом заросшую голову, состроенную хоть бы и у нас на том же Бельгийском заводе, впрыгнули бы в этот кабаковский нерукотворный Новый Сион с

миром и милостью, чтобы начать новую вошью жизнь беспечальную, безгрешную, бессмертную, а главное спокойную: питайся, переваривай и закаляйся. Стульчиком складным обзавестись всегда успеется, да, может, в таких всеобщих, а потому и обязательных, добровольно принятых условиях, когда у каждого на шее забренчит коровий колокольчик, чтобы, питаясь, не затеряться, и без складного стульчика безопасно будет по Фонтанке для моциона прогуливаться и на Загородный в церковь ходить. И надо думать, так поступило бы все разумное и доброе — кто себе враг! — и поступило бы законно, правильно, мудро и человечно: в самом деле, ну, кому охота маяться, задыхаться без сна, потеряв и терпение и покой!»

Когда в детстве хотел Маракулин быть кавалергардом, он молился, чтобы Господь сделал так, помог ему сделаться кавалергардом, а когда хотел быть разбойником, то в тех же словах молился, лишь с заменою кавалергарда разбойником, и так же точно молился, когда хотел быть учителем чистописания. Это главные были его молитвы о самом себе еще в Москве, в Таганке, о пятерках он не просил. А потом, уж молясь по привычке, ничего особенного у Бога не добивался, повторяя утром со сна и вечером на сон грядущий: Господи, помилуй мя! А потом и Господи, помилуй мя! забыл. Но теперь, когда, как казалось ему, он дошел в рассуждениях своих до точки и открыл царское право, захотел этого царского права быть на свете, он по ночам отбивал поклоны с ожесточением до боли:

— Господи, — просил он, — дай мне всего на одну минуту вошью настоящую жизнь, введи в славу свою, Господи, дай мне хоть на часок передохнуть, а потом да будет воля Твоя!

И если бы Маракулин в минуту отчаяния своего проломил себе череп, стучавши лбом об пол, а наутро его к ответу притянули, то, опомнившись, конечно, он одно бы мог сказать в свое оправдание, что не он убил себя, убила его Бурковская жестокая ночь.

Надо сказать, что дела его и вообще-то неважные к Рождеству совсем стали, работы не находилось — ошельмованному работу трудно найти, а в особенности, когда на вопрос: «Чем занимаетесь?», — не скрывается насто-

ящая причина безделья, а Маракулин почему-то не скрывал ее и наивно, как какой-нибудь двенадцатилетний ребенок о шалостях, рассказывал о своих талонных книжках, как он из-за этих талонных книжек с места слетел.

Плохо было дело. Выручали артисты Дамаскины, Сергей Александрович и Василий Александрович, да Вера Николаевна, а то хоть прошение пиши по-гвоздевски, как беспокойный старик Гвоздев, явившийся к нему тогда в Муркин день — в последний его день на старой квартире.

И напишешь, царское право — ночное царское право, видно, и оно не так-то просто дается, и без процентов, которых на всю жизнь хватит, лучше, пожалуй, и Бога не беспокой, не добьешься!

На Рождестве артисты елку у себя устроили, пригласили и жильцов Адонии Ивойловны. Народу собралось много, все, должно быть, артисты. Сергей Александрович больше всех хлопотал и пепельницы гостям подставлял, чтобы окурков на пол не бросали, а Василий Александрович так разошелся, такие огоньки пускал, всех со смеху уморил и обезживотил. А за картами и Сергей Александрович и Василий Александрович проигрались в пух и прах. На людях и Вера Николаевна разошлась и свои костринские старины пропела, каким от матери своей Лизаветы Ивановны петь научилась.

И с тех пор, с дамаскинской елки, вечерами на Святках, сидя одна в своей комнате и отрываясь от учебников, Вера Николаевна вполголоса напевала. Она пела старинным укладом и от ее старин веяло древнею Русью.

Зачин она клала запевом о семи турах и матери их турице, как шли семь туров златорогих подле синего моря и поплыли за синее море и выплыли на славный Буян остров и на Буяне встретилась им турица — мать их. И рассказали ей туры, как случилось им идти мимо Киева, мимо Божьей церкви Воскресенской и какое видели они там чудо: выходила из церкви девица, выносила на голове золотую книгу, забродила по пояс в Неву-реку, клала книгу на бел горюч-камень, читала книгу и плакала. А турица толкует турам чудо пречудное: девица — Божья мать Богородица, а читала она книгу золотую — евангелие, а читая, плакала — она слышит невзгоду над Киевом, над всею Русью-Святорусскою.

А за турами вставал во весь богатырский свой рост богатырь Илья Муромец, как вздохнул богатырь у гроба Святогора богатырский дух — третью белую гробовую пену, и так пометывает его и так подбрасывает, не знает Илья, куда свою силу девать. А там, вон она — Чурилья-игуменья — русая лиса, сорок черных девиц за нею, будто галицы, и уж гремит и стучит страшный старец Игримище-Кологренище, вышел из монастыря Боголюбова, хочет свою душу спасти, в рай спустить, и тащит в мешке белую капусту, горькую редьку, красную свеклу — девушку чернавушку.

И опять по синему морю плывут златорогие туры, встречают мать-турицу, рассказывают ей чудо-пречудное. Толкует им турица чудо: девица — Божья мать Богородица, а читала она книгу золотую — евангелие, а читая, плакала — она слышит невзгоду над Киевом, над всею Русью-Святорусскою.

Пела Вера Николаевна и разбойничью о Усах-молодцах, пела она и о скоморохах — веселых людях...

Потихоньку, скоморохи, играйте,
Потихоньку, веселы, играйте!
У меня головушка болит,
У меня сердце щемит...

В кухне перед тремя неугасимыми лампадками молится Акумовна, она молится за свою барыню, за брата барыни, за своего сына. В крайней комнате перед тремя неугасимыми лампадками Адония Ивойловна поминает Парашины корабли и, ничего не разумея, плачет.

С Верой Николаевной ровно стало что, распелась и заленилась.

— Вы, ей-Богу же, в Сергея Александровича влюбились! — как-то войдя врасплох в комнату к Вере Николаевне, сказала Верочка Вехорева, посматривая и лукаво и вызывающе и даже со злостью.

А та такая бледная, вспыхнула вся и замолкла, — ни слова. А ведь и ему не скажет ни слова, умирать будет, не скажет, есть такие. И оттого в ее старинах, от которых веяло древнею Русью, слышалась глухая щемящая тоска.

Верочка — так почему-то почти с первого дня повелось звать Веру Ивановну Вехореву, которую Акумовна вели-

чала еще и бесстыжею и не бранно, а ласково, редкий вечер проводила дома. Днем — в школе, забежит на часок домой и куда-нибудь в театр. Если же некуда, сидит у Дамаскиных. Сергей Александрович учил ее танцам. Гибкая и тонкая и легкая, как перышко, и когда оба они танцевали, казалось, на крыльях: крылья у обоих, как у птиц. Весело проводили время.

Маракулин попал раз на танцы и уж чаще стал заходить к соседям и оттого, что там была Верочка и танцевала, ему всегда бывало хорошо. А Вера Николаевна с Рождества уж больше не заглядывала к Дамаскиным и всегда отговорку найдет и сидит одна, уткнется в учебники, или дежурство у ней в больнице окажется.

Верочка нравилась Маракулину. Она танцевала хорошо и читала она хорошо — с голосом. Южанка, но воспитывалась в Москве и в говоре ее не было ни надоедливого южного чириканья, не было и холода северного — смирённой вольности, но зато была крепость и особенная московская желанность. После танцев Сергей Александрович, любивший стихи, всегда просил Верочку почитать что-нибудь. И письмо Онегина: Предвижу все, вас оскорбит печальной тайны объясненье... повторяла она для него по нескольку раз.

Что поражало Маракулина, а сначала совсем было оттолкнуло от Верочки, это крайняя ее самоуверенность, непомерная заносчивость и самохвальство, не уступающее скоморошьему зазыванью. Просто совестно становилось за нее. А всякое возражение принималось ею, как оскорбление. И туда занесется она, где уж всякие слова уравняются и всем словам пойдет один смысл — не клик провидящих, а вызов, жуткий крик о каком-то праве своем, перебить, как сказывает старина, всю поднебесную силу, случись только лестница на небеса, случись же кольцо в земле, повернуть всю землю вверх дном. А главное, заносящийся так, жутким криком кричащий о своем праве, никогда, ведь, своего крика не слышит. И жалко становилось Верочку.

Она говорила, что она великая актриса, ей не только не надо учиться, у ней все должны учиться, а если поступила она в какую-то глупую школу, то лишь для того, чтобы пробить себе дорогу. Без этого не обойдешься. И она пробьет себе дорогу, откроет свой клад и тогда увидят.

— И тогда увидят, — надрывалась Верочка, — многие пожалеют, да будет поздно! — и, перебирая имена знаменитостей и как бы сравнивая с собою, улыбалась не то с презрением, не то с сожалением, — вот меня вы посмотрите! — и глаза вспыхивали восторгом и горели жгучею ненавистью, — я покажу, кто я, всему миру, и пускай они увидят...

«Но кто такое о н и?» — спрашивал себя не раз Маракулин, часто, все чаще задумываясь о Верочке. Верочка о себе не прочь порассказать, но как-то все по-разному, и не поймешь, где настоящая правда, а где правда т а к а я.

По смерти отца она осталась маленькой. Отец — офицер. Из Вознесенска Херсонского, где стоял полк, мать ее в Москву переехала и поступила экономкой к старому генералу, родственнику мужа. Верочка училась в институте, и еще не кончила, умерла мать. У генерала бывал богач заводчик Вакуев, вел с генералом какие-то выгодные дела, не молодой, но крепкий и красавец, так по Москве слыл. Анисим Никитич ухаживать стал за Верочкой и ей понравился. И как-то так случилось, Верочка с согласия генерала переехала к Вакуеву. У Вакуева на Арбате был старый барский особняк. Жена Вакуева померла, дети устроились и только три барышни и уж в летах — три племянницы, взятые им после смерти разорившегося брата, хозяйничали в его доме. Год прожила Верочка у Вакуева и, надо полагать, за этот год надоела ему, и еще надо полагать, что жизнь ее на Арбате была не из веселых. Анисим, по ее рассказам, любил перемену, разнообразие и ему все удавалось и с рук все сходило. Анисим и в Петербург отправил ее учиться и высылал ей тридцать рублей в месяц, на эти деньги она и жила.

«Кто же, Анисим и три его племянницы, осточертевшие ей, те самые о н и, кто ее увидит?» — спрашивал себя не раз Маракулин, часто, все чаще задумываясь о Верочке.

Как-то на Федоровской неделе в начале весны Верочка пришла домой такая радостная и оживленная, просто с ног всех сбила. Адония Ивойловна на что слезлива и неподвижна, забыла слезы и с мокрыми еще глазами так засуетилась, словно бы Верочка ей дочка была — и вот домой вернулась к матери такая радостная и оживленная. Акумовна тоже, она топоталась топотнее, словно не в будний день, и особенно ласково посматривала на свою б е с с т ы ж у ю.

И день был солнечный, весною, теплом манило, на Бельгийском дворе, со снегом тая, расползалась черная гора каменного угля, а из четырех кирпичных труб, обходя Бурковы окна, ровный тянулся дым, а на Бурковом дворе высыпали ребятишки и даже перволетки с своими няньками.

Вакуев, сам Анисим Никитич приехал в Петербург, с Верочкой на Невском встретился, вот оно что, вот отчего и радость такая и оживленность необыкновенная.

Ночь Верочка не ночевала дома. А наутро, как вернулась, сейчас же за комнату принялась — за уборку. И сколько выказала изобретательности, а вообще-то разбросанная, беспорядочная, не верста Вере Николаевне, тут уж всякую пылинку она сдунула и под шатающийся стол бумажку подложила, чтобы крепче держалось, и шпильки свои по коробочкам разложила. И сколько было суетни и приготовлений, цветок достала, как на Троицу. Гостя она ждала к себе — Вакуева, самого Анисима Никитича. А день был такой же солнечный, весною, теплом манило.

Прошел день — медленный и вечер настал — тревожный, и когда вечером в прихожей ударил звонок, вся квартира — все четыре комнаты и кухня замерли, а Маракулин хотел лампу затушить, но лампа, не спросясь, сама потухла, словно бы грянул гром тарарахающий, московский.

Какой-то студент-технолог в поисках товарища попал не в ту дверь. И долго Акумовна с ним возилась, так как почему-то никак он не мог примириться, что Любимова никакого нет и не жило.

— Не может этого быть, — упирался студент ерепенясь, — это произвол.

Выпроводили кое-как студента, ушел, наконец, как дым, пьяный студент, но и ждать больше некого было.

Верочка ходила по комнате взад и вперед без устали и не своими шагами: шаги были крепкие и коггистые, а глаза ее бесстыжие, как два острых ножа. И чего-то жутко было.

Встревоженная солнечным весенним днем Адония Ивойловна загадывала за самоваром с Акумовной о летнем богомолье: уж пора ей в путь — весна пришла.

— Колышек с колышком свивается, — слышался в ответ растроганный голос Акумовны, — веточка с веточкою.

А Вера Николаевна, кончив свои занятия, тихо напевала любимые свои старины и от песен ее веяло древней Русью и глухою щемящей тоской,

> Потихоньку, скоморохи, играйте,
> Потихоньку, веселы, играйте!
> У меня головушка болит,
> У меня сердце щемит...

И вдруг замолкла, ни слова. Она и ему не скажет ни слова, умирать будет, не скажет.

— Веточка с веточкою, листик с листиком, — слышался растроганный голос Акумовны, — весна пришла.

И было еще тягостней, потому что Адония Ивойловна принялась плакать и громче обыкновенного, вспомнив, должно быть, о муже, как кладбищенская земля уходит и обваливается на его могиле.

Верочка ходила по комнате взад и вперед без устали и не своими шагами: шаги были крепкие и когтистые, а глаза ее бесстыжие, как два острых ножа. И чего-то жутко было.

Но погас певун — самовар, выплакались слезы и шаги затихли и все заснули в доме и во дворе, и гудки автомобилей не доносились с Фонтанки, и в Обуховской больнице замигал огонек по-ночному звездою, и поднялась над кирпичными бельгийскими трубами звезда, заглянула в окно, такая большая вечерняя весенняя — час ночи настал. И послышалось Маракулину, будто стучат, странный стук. Насторожился он, стал прислушиваться и понял: у Верочки стук, стучит в ее комнате. И он понял, это Верочка одна в своей комнате, не заснула и не заснет, и бьется она головою о стенку без слез, без жалобы, с раскрытыми сухими глазами: когда лихо, не плачут.

И почему-то все чувство его — все ожесточение, все отчаяние его, угомонившееся было на время, вспыхнув, вылилось на излюбленной им, опостылевшей генеральше. Весь в жару с каким-то мерзейшим упоением и скрежетом зубовным, представил он себе, как эта его генеральша несчастная, здоровенная, бессмертная, безгрешная, беспечальная — сосуд избрания, вошь сладко-сладко спит.

И ему захотелось сказать об этом кому угодно, но сию минуту, только бы сказать, пока еще сердце не лопнуло. И, задохнувшись, он вскочил к форточке и, что было сил, крикнул:

— Православные христиане, вошь спит, помогите!

И крикнув, он почувствовал, как медленно подступает, накатывается та самая прежняя необыкновенная его радость и вот перепорхнет сердце, переполнит грудь...

— Кого ты орешь! — окрикнул скрипучий голос и из углов показался волосатый горбачевский с конским волосом нос.

А стук все стучал. Это Верочка одна в своей комнате, — не заснула и не заснет, — и бьется она головой о стенку без слез, без жалобы, с раскрытыми сухими глазами: когда лихо, не плачут.

Жестокие минуты, мотанье и маянье закончили первый Бурковский год Маракулина.

Первая поднялась Адония Ивойловна, поехала она в Кашин, к Преподобной Анне Кашинской, а из Кашина на Мурман в Печенгский монастырь к Преподобному Трифону. За Адонией Ивойловной после всех своих экзаменов уехала Вера Николаевна к матери до осени в свой маленький белый с пятнадцатью белыми церквами заброшенный старый город Костринск, и такая, в чем душа только. Последней уехала Верочка. Экзаменов она не держала и свое Театральное училище бросила, так как нашла другое, более верное и испытанное средство пробить себе дорогу, — какое, она не сказала.

Она сказала:

— На будущий год увидите, на всю Россию я покажу, кто я!

Маракулин провожал ее на Николаевский вокзал: Верочка ехала через Москву куда-то в Крым. После звонка он особенно почувствовал, как ему горько, что больше не будет Верочки, и молча стоял перед вагоном. А она как-то особенно вся вытягивалась, посматривая нетерпеливо на прохожих и останавливая на себе взгляды, такая тонкая, гибкая и легкая.

И вдруг Маракулин улыбнулся в первый раз за все свое бурковское время, сам не зная отчего и почему,

просто улыбнулся, и должно быть, заметила она: или это было так необычно и неожиданно!

— Обо мне надо плакать! — протянула она по-театральному, прищурившись не то с сожалением, не то с гадливостью и, зонтиком ударив его по руке, сказала совсем и уж слишком серьезно, даже морщина надулась, — я великая актриса!

И он поверил тогда легко и всем сердцем, что Верочка великая актриса и что на будущий год она действительно покажет себя на всю Россию и имя ее скоро прогремит на всю Европу — на весь мир.

Вернувшись с вокзала к себе на Фонтанку и очутившись один и только с Акумовной, Маракулин почувствовал, как теперь постыла его жизнь и невозможно так жить.

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать и чувствовать.

Но он больше не согласен, потому что не может, он больше не соглашается жить так, не для чего, только видеть, только слышать, только чувствовать, и вошьей бессмертной, безгрешной, беспечальной жизни — царского права, той капли воды, какую ищет грешная душа на том свете, ему не надо. Он хочет и будет жить, но чтобы всего хоть один раз снова испытать свою необыкновенную радость, какую испытывал с детства и больше уж не знает, и однажды только подступила она в ту весеннюю ночь, когда Анисим не пришел к Верочке, в ту весеннюю ночь, когда колышек с колышком свивался, веточка с веточкою, листик с листиком, вспоминались, как листья слипающиеся, весенние слова растроганной солнцем Акумовны.

И ему так горько, горше вечернего, что нет больше Верочки, словно бы в ней-то и заключалась для него вся его необыкновенная радость — источник его жизни.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Вера! Верочка! Верушка!

Маракулин, переписывавший полууставом смехотворную старинную русскую повесть, над которою сидел с утра до вечера, — редкий и выгодный заказ, свалившийся ему, как какая-нибудь освежающая райская манна, вздрогнув, не довел затейливого усика в виноградах заглавной буквы.

А с лестницы все настойчивее повторялось знакомое имя:

— Вера! Верушка! Верочка!

— Акумовна, кого вы там, кличете? — не вытерпев, заглянул Маракулин в кухню.

— Веру, — сказала, не оборачиваясь Акумовна, — у! бесстыжая! — и затопотала вниз по лестнице во дворе.

Было поздно — часов одиннадцать, уж ветровой закат пыльно расстилался за Обуховской больницей и с короткою ночью наползали из-за болотных застав туманы, а на дворе, заваленном мусором, щебнем и кирпичами, все еще галдели ребятишки и, заливаясь, бренчала балалайка, — этого не русского убогого добра на Бурковом дворе вволю, да по окнам, положив подушку на подоконник, высунувшись, торчали головы взъерошенные и заморенные каменным петербургским зноем, в надежде, должно быть, подышать прохладою.

Тушь на пере высыхала и буквы не выходили и Маракулину казалось, что Акумовна больше не вернется — затеряется где-нибудь в Бурковском мусоре со своей таинственной недозванной Верой. И когда на кухне опять затопотало и не Акумовнин, чей-то полудетский, полудевичий голос заговорил часто, переходя то в веселый смех, то в ноющее причитание, он с каким-то облегчением задернул занавеску, и опять пошла работа.

Перепиской своей Маракулин дорожил и хотел непременно закончить ее, так как сидел над нею чуть ли не второй месяц. Эту редкую работу достал Маракулину Сергей Александрович перед своим отъездом на летние гастроли. Целых пятьдесят рублей должен был получить Маракулин и дела его значительно поправлялись.

— Да кто это у вас там на кухне живет? — спросил Маракулин на следующий день, когда вечером подала

Акумовна журавлевский красный с игрою певун — самовар.

— Верушка, — отвечала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны, — чудотворная.

И полоскательную чашку принесла уж не Акумовна, — Акумовна в дверях осталась, — чашку несла чудотворная Верушка.

Это была девочка — подросток лет пятнадцати, каких много на Бурковом дворе в няньках служат, вполне уж развитая, как девушка. Но вглядываясь пристальнее, Маракулин встретил в глазах ее что-то такое знакомое и необыкновенно близкое, только назвать не мог, и не припомнить ему, где однажды уж видел такое: огонек какой-то, нет еще что-то, чего уж никак не спрячешь и у сонного под веками поблескивать будет.

— Вас Верой звать?

— Верушкой... Верочкой, — сбиваясь и тихо как-то и угрюмо ответила девочка и, словно смутившись чего-то, попятилась.

— И даже Верочкой, вот как! — сказал Маракулин, с каким-то восхищением глядя на девочку, и поднялся вдруг.

А она, спрятавшись в коридор за Акумовну, чем-то уж в кухне постукивала или это у него, и Бог знает, с чего это бывает, сердце постукивало.

— Барин, что я хочу попросить вас, барин, не трожьте ее!

— Что вы, Акумовна, Бог с вами! — но сел он, как пойманный.

— Боюсь Василья Александровича, — продолжала Акумовна, — приедет с дачи, страшно, каждый раз подавай ему, неуемный, тоже эти лазают, как ночь так под дверями шарят, шатуны.

Приютив с улицы, Акумовна ревниво обороняла девочку от Бурковых шатунов — Станислава конторщика и Казимира монтера, и вечером нередко еще засветло запирала она кухню и укладывала девочку на свою постель под три неугасимые лампадки для безопасности. А называла она Веру чудотворною так потому, что совершилось чудо над нею.

— Чудотворная она, — говорила Акумовна, — до пяти

годов безъязычной была, не говорила, и доктору показывали Николаю Францевичу, нет пользы, и к Скорбящей ее водила мать, тоже посоветывали, к Матренушке — босиком ходит, а в темную пятницу пошли на Пороховые заводы, крестный ход в Ильинскую пятницу на Пороховых — двенадцать икон носят и до тысячи маленьких, всяких, отстояли они обедню, стали домой собираться, а она пить и просит: «Мама, дай мне пить!» С той самой поры и говорит.

Отец Веры — торговец книжками: книжки, крючки, пуговицы, разная мелочь. Мать Веры хворая, в поденную ходила: где полы мыть, где на уборку. Жили они в Кузнечном переулке в углах, где хиромант, окна там вроде венецианских — страшные. Стала Вера подрастать, отдали ее в золотошвейки, пробыла с год в золотошвейках, не пригодилась — глаза заболели, поступила в няньки. А тут как-то бежал отец с лотком через Владимирский от городового, у Пяти углов, на повороте попал под трамвай, — раздавило. И об эту же пору Вере от места отказали. И пришлось им тогда очень тесно. Мать и придумала: попробовать к брату послать, — на Муринском в Лесном жил, в дворниках, — не найдет ли он места. Вот девочка и пошла, добралась до Лесного уж вечером и по дороге, дом разыскивая, остановилась у гостиницы музыку послушать. Стоит она, слушает, глаза-то, должно быть, горят, рот разинула, а из гостиницы господин какой-то с барыней под ручку, и смотрит на Веру так ласково. Тоже остановился, стал расспрашивать ласково так. Она все рассказала вплоть до музыки, как музыку остановилась слушать. И какая счастливая случайность: им-то как раз и надобилась нянька и условия выгодные. Обрадовалась Вера, согласилась. Взяли извозчика, повезли ее к себе — и живут-то они тут близко. Какая счастливая случайность! Поздно уж было, стемнело, а домой приехали, прямо за стол ужинать, и Веру с собой посадили. Накормили ее. А как накормили ее, барин повел в другую комнату — через коридор комната — спать. А ночью опять пришел. Кричать хотела, рот руками зажал. С этого и началось. Очнулась Вера, — утро. Вышла из комнаты — коридор. По коридору бродила, искала барина и барыню, попала в буфет, — она, ведь, в гостинице ночевала! Спрашивает буфетчика, где барин и барыня? Буфетчик смеется: никаких

нет ни барина, ни барыни, а хочет она, пускай к нему идет в няньки. Вот положение: не согласиться, страшно — вернуться к матери страшно, согласиться, а что если буфетчик-то, как вчерашний барин, зажмет рот руками?.. И то страшно и другое страшно, а третьего нет. И все-таки пошла к буфетчику в няньки. Детей оказалось много, кое-как справлялась, и так с неделю. А через неделю, как уж пообвыкла, перевел ее буфетчик в отдельную комнату спать от детей отдельно — детей много! — ей как будто бы так удобней будет и спокойней. И опять пошло то же: сначала сам хозяин — буфетчик, за буфетчиком околодочный надзиратель. Как ночь, уж кто-нибудь непременно — человек по пять за ночь к ней приводили. И никуда уж из комнаты не выпускали, и детей она больше не видела: у них была новая нянька. Плакала, да что же, только смеются. И вышла Вера из комнатки от буфетчика одним чудом. Счастливая случайность: пожар — загорелось в гостинице. А то бы пропала. Выскочила она в суматохе из комнатки своей да бежать. Прибежала в Кузнечный в углы, где хиромант, а матери нету — от холеры померла мать. Вот положение, хоть назад к буфетчику в комнатку возвращайся. Да сжалилась дворничиха, тоже, как Антонина Игнатьевна, старшего Михаила Павловича жена, к братцу в Гавань ходила, жалостливая, с Антониной Игнатьевной знакома, и послала к ней в дом Буркова, не найдется ли девчонке местечка. А Вера вместо Антонины Игнатьевны попала к Акумовне.

— Чудотворная она, — говорила Акумовна, — одно страшно, лазают, как ночь, под дверьми шарят шатуны, страшно.

Лето тянулось нескончаемо, томящее однообразно. Стояла жара и по всему Петербургу, по всем улицам торчали рогатки — мостовые, как всегда, перемащивали — ни проходу, ни проезду, и духота.

По вечерам за самоваром Акумовна гадала Маракулину, как Адонии Ивойловне зимой за самоваром. Гадала много и щедро, не только на нем трефовом или, как говорила Акумовна, крестовом короле, но и на других королях и дамах — крестовой, червонной, бубновой, пиковой, на всех тех лицах, какие выходили ему по картам, чтобы и их судьбу узнать, и тем вернее дознаться, кто они такие, и что у них на мыслях.

Карта не лгала. Одно и то же, какая-то бестолочь: немножко скука, немножко деньги, немножко перемена, немножко слезы, досада, молодая особа, собственный свой дом и вещь, благородный важный господин с бумагой, казенный дом, молодой особы скука, немножко неприятно, собственные свои хлопоты, собственный свой разговор. И оставался Маракулин постоянно при собственном своем разговоре.

Разложит Акумовна в последний раз, зашепчет последние слова:

— Для дома. Для сердца. Что будет. Чем кончится. Чем успокоится. Чем удивит. Всю правду скажите со всем сердцем чистым. Что будет, то и сбудется.

И в последний раз все одно и то же — одна карта: какая-то бестолочь одна и собственный свой разговор.

Карта не лгала. И только иногда, должно быть, надоедало картам и они сердились: начинали издеваться — покажут большую перемену или выйдет большая дорога, большие деньги, исполнение желаний.

За картами нередко Акумовна вспоминала свою барыню, старого барина, брата барыни и своего сына, и какие сны кому снились, и перед чем снились, и что какой сон означает.

— А наш турийрогский батюшка, хороший был, великий покаянник, отец Арсений, — вспоминает Акумовна, — перед смертью своей встал и спрашивает: «Готовы ли лошади?» «Какие, батюшка, лошади?» «Да ведь я, говорит, только что молодых повенчал, на свадьбу меня зовут за границу ехать!» Да и помер. А за шесть дней, как старому барину помереть, видела моя барыня, будто она сапог с ноги потеряла. А перед смертью барыни приснилось мне, сижу я будто перед печкой — затопила печку, дрова разгорелись, стал жар разваливаться, я нарезала сала, положила в горшок, поставила в печку, и только что поставила, горшок и развалился на две половины и затрещал жар и чад такой... Не дал мне родитель слова благословения. Так все и вышло! катучим камнем коло белого света.

— А что же брат ваш и невестка? — спросил как-то Маракулин.

— Да тоже, одно — маются, лесу нет, дров нет, покосу нет, а меньшая дочь их Федосья, племянница, в Турий Рог ходила в поденную полоть, барину, молодому Буянову, понравилась, баловной барин, и оставил ее барин у себя на месяц в доме служить, а месяц кончился, еще на месяц, а там и на всю зиму. Брат-то все понимал, да невестке не сказывал. Лесу нет, дров нет, покосу нет, а от барина и дров дадут и денег, выгодно. Так всю зиму и прожила Федосья. А на Красную горку уехал барин в город, там и женился. И пошла Федосья домой к отцу опять, а уж все знают — все узнали! Стали ее попрекать братья, что такая она, грех-то у ней этот, как воронье, заклевали, и не вынесла, — за девять дён до Покрова померла. Двадцатый год минул, молодая. А Василий, двоюродный брат, на Маслену ноги отморозил...

Вспоминая Турий Рог и Сосну Гору, Акумовна нет-нет да и заметит и такое турийрогское и сосногорское, что, кажется, и в голову не придет на Бурковом дворе.

— Теперь, — скажет, — рожь уж готова, слава Богу! — и перекрестится, — дождь не хорошо.

Вера привыкла к Маракулину и не дичилась больше и он привык к ней и хорошо было, когда она входила в комнату: впереди Акумовна с самоваром, а за нею Вера с полоскательной чашкой.

«Из полоскательной чашки на том свете дьяволы дьяволов и грешников причащают!» — вспомнилось как-то Маракулину видение Акумовны из ее хождения по мукам и он впервые с отъезда Верочки улыбнулся.

И Вера, словно прочтя его мысли, ответила ему. И он долго видел ее улыбку полудетскую, полудевичью.

И как пусто показалось, когда Вера, найдя себе место, перебралась из кухни от Акумовны тут же на Бурковом дворе на четвертый этаж во флигель — так назывался черный конец дома к Бельгийскому заводу.

Акумовна частенько пропадать стала: наведывалась к своей чудотворной — к огоньку своему, к Вере своей, учила ее, должно быть, и чистоту наводить и морить березовые дрова, что-нибудь такое. И Маракулин оставался совсем один, пусто ему показалось.

Какой-то господин из флигеля такую взял повадку: как вечер, высунется из окна лицом к Маракулину, смотрит и свистит. И то, что господин этот глаз с него не спускал,

а Маракулин уверился, что это так, и то, что свист не прекращается, все это доводило его до бешенства и волей-неволей приходилось закрывать занавеску и сидеть в духоте.

И пусто было и душила злость.

И по утрам, читая газеты, с каким-то нетерпением искал он и, находя, радовался — злорадствовал всяким убийствам, пожарам, катастрофам, наводнениям, ливням, землетрясениям, веря в злорадстве своем, что страхом можно взять человека, устрашить человека, вывернуть как-то мозги его и душу, и тогда прекратится вечерний самодовольный, наглый свист у него над ухом.

А на новом Верином месте дело, должно быть, неладно шло, что-нибудь случилось: не оборонить, должно быть, Веру от шатунов да и за ней самой не усмотришь, бесстыжая.

Прерывая гаданье и заговаривая о Вере, со слезами говорила Акумовна:

— Я к Государю пойду: как помирать, руки так — и все расскажу.

— Не допустят, Акумовна.

— Нагишом пойду, нагая: как помирать, руки так — и все расскажу.

— И нагишом не допустят.

Но она стояла на своем, она верила, Государь заступится, не пропадет девчонка, и долго стояла на своем и вдруг примолкала, смирялась. И Маракулину слышалось, как шептала она свое конечное, свое отходное — кару и награду делам:

— Обвиноватить никого нельзя.

— Да кто ж виноват-то, Акумовна?

— Я черный человек, я ничего не знаю, — отвечала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны.

Лето тянулось нескончаемо, томящее, однообразно. Только и ждал Маракулин праздников: все-таки праздники!

Первым вернулся Василий Александрович клоун, представлял он и лето в Петербурге, но жил на даче в Шувалове и на квартиру иногда только заходил и то заглянуть, рабыня Кузьмовна тоже в Шувалове находилась при

нем. За Василием Александровичем, окончив свою поездку, вернулся Сергей Александрович, привез с собою из теплых краев или, по словам Акумовны, из того места, где на быках ездят, сто баночек с медом, — такой уж человек хозяйственный. А вскоре за Сергеем Александровичем приехала и Вера Николаевна с поляничным вареньем из своего маленького белого с пятнадцатью белыми церквами заброшенного старого города, от матери из Костринска. За Верою Николаевной явилась сама Адония Ивойловна.

Все вернулись, не хватало только Верочки. И вестей от нее никаких не было. И уж в сентябре по зеленой бумажке-билетику, выставленному у швейцара Никанора на дверях, Верочкину комнату сдали.

Новой соседкой Маракулина оказалась Анна Степановна Шиянова, по мужу Лещева, учительница из Пурховца.

Пурховец — древний город на реке Смугре, а по пению соловьиному — первый, соловей-город. В Пурховце, в женской гимназии, где преподавала Анна Степановна, были два учителя, две знаменитости: учитель истории Раков и учитель словесности Лещев, оба приятели и оба, по собственному определению своему, идейные. Судьба Анны Степановны тесно связана с судьбою Лещева, а Лещев и Раков, как две половинки, и по единодушию и по единомыслию — одно. Только Раков постарше, Лещев помоложе. И Раков и Лещев жили вместе у одной хозяйки, жили скупо, трезво и уединенно.

Павлина Поликарповна, их хозяйка, хоть и не шестнадцати лет, но еще бодрая и крепкая, служила она в незапамятные времена свои у губернского советника Герасимова в кухарках, и Герасимов перед кончиною своей во всем ее ограничил, как выражалась сама Павлина Поликарповна, выигрышный билет подарил ей за примерную службу. Купила Павлина Поликарповна домишко, пускала жильцов, тем и жила.

Раков, разведав о герасимовском билете, не преминул, как историк, заметить себе его номер в памятную книжку и всякий раз следил по газетам выигрыши, а к Павлине Поликарповне был почтителен, строг и ласков. И шли так годы тихо, уединенно и в ожидании.

Павлина Поликарповна, хоть и не шестнадцати лет, а думка-то в голове у ней бывала, нет-нет да и всплакнет она просто беспричинно так. По весне — особенно, когда

припекать начнет, да куры все занесутся, да сады зазеленеют, да ночи пойдут теплые, душные, томящие, да соловей защелкает, да сам Раков заиграет на гитаре, что на гуслях, заиграет да запоет соловьем — По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах, — тут уж никакое, кажется, сердце не выдержит, и упадет у Павлины Поликарповны сердце.

Пурховец — древний город на реке Смугре, а по пению соловьиному — первый, соловей-город.

Просматривая поутру Пурховецкие Губернские Ведомости, Раков неожиданно разгоготался, да так — ну как на радостях человек загоготать может, когда горла — мало, да и как было не загоготать: герасимовский билет и не что-нибудь — все двести тысяч выиграл! Но, вовремя спохватившись, сунул Раков в карман газету, нарочно громко раскашлялся и, затаив Павлинино счастье, пошел, как ни в чем не бывало, в гимназию на уроки.

Уж к вечеру, едва высидев уроки, Раков от волнения разнемогся, и пришлось Павлине Поликарповне с больным всю ночь провозиться. А наутро легче не стало и так с неделю. Целую неделю ухаживала Павлина Поликарповна за Раковым, а на заговенье они поженились. И первым делом после венца, как остались наедине молодые, был нескромный, но законный вопрос молодого: «Где билет?» — «Какой билет?» — «Какой, герасимовский?» А билет-то герасимовский давным-давно продан, билета уж никакого нет.

На заговенье, чуть ли не в тот же самый день, женился и Лещев. Лещев женился на Анне Степановне Шияновой. Шияновы — первые богачи пурховецкие, но отец Анны Степановны проиграл в карты все состояние, и жили они после большой жизни в бедности. Так и помер отец, так и померла мать. Анне Степановне было уж за двадцать, и странное дело, ничего в лице ее не было ни отталкивающего, ничего такого, чтобы безобразием или уродством назвать, даже напротив, а между тем никому она особенно не нравилась и вообще не ухаживали за ней. И невестой не считалась она в Пурховце, да и сама она себя не считала и уж в тайности сжилась, должно быть, что одна и одной останется она, и не сжилась, нельзя с этим сжиться, а уверила себя. А в один прекрасный день

получает она наследство от тетки какой-то, о которой и не слыхивала, и наследство немаленькое — тысяч пятьдесят что-то. И, конечно, в гимназии об этом известно, сама же она первая всем рассказала, и, конечно, Лещеву тоже известно. Тут-то Лещев и принялся за дело: по пятам пошел ходить за Анной Степановной, несчастным каким-то вдруг сделался, плакаться стал, ныть стал, и гонения какие-то на себя выдумал, и врагов каких-то нашел, и все болезни у него открылись сразу, и все неизлечимые, и вот-вот самоубийством кончит и при этом любовь разыграл самую отчаянную, соловьем запел, да таким соловьем...

Пурховец — древний город на реке Смугре, а по пению соловьиному — первый, соловей-город.

И женился Лещев на Анне Степановне, отобрал все ее теткино наследство — все пятьдесят тысяч да и показал ей дверь: «Мне, говорит, разве тебя надо, мне деньги твои надо!»

Веру Николаевну жалко было, за Верочку страшно, а за Анну Степановну больно. Как-то так она улыбалась, больно на душе за ее улыбку.

Вера Николаевна хотела учиться. Для чего учиться? Да так ей ее Мария Александровна сказала, в которую она, как в Иверскую, поверовала. И она будет учиться, пока сил хватит, и когда-нибудь за какой-нибудь физикой Краевича Богу душу отдаст.

Верочка хотела стать великою актрисой, прогреметь на всю Россию, на всю Европу — на весь мир, а хотела она этого так потому, что отмстить Анисиму хочет: на одну минуту, чтобы Анисим Никитич Вакуев, которому все удается и с рук все сходит, пожалел бы себя и раскаялся, что променял ее на каких-то других полюбивших его или продавшихся ему. И вот она пробивает себе дорогу каким-то верным и испытанным способом и будет пробивать, пока хватит сил.

А чего хотела Анна Степановна? Осталась она одна и без ничего, но не в этом дело: она и одна жила и без всяких денег жила, тут другое, тут душевное — она всей душой поверила, что ее полюбили, и сама она полюбила. Так чего же она теперь хочет? Чего хочет! А чего хочет человек, душу которого смазал кто-то, душу которого изнасиловали?

И, вглядываясь в Анну Степановну, Маракулин все более убеждался, что ей собственно на земле и делать-то нечего. И оттого она так улыбалась, больно на душе за ее улыбку.

Осень началась трудная, всем пришлось туго. После осеннего праздника — Воздвиженья, Василий Александрович клоун, летая в цирке на каких-то воздушных трапециях, упал и расшибся или, как говорили по двору, столбовую кость и ствол ног повредил. И так ему плохо было после воздушного его падения, даже попросил священника приобщиться. А доктор сказал, что пролежит он месяцев шесть и операция будет трудная.

— С пятки срежут и отворят мясо, — соболезновала Акумовна, — будут долой костку долотом скалывать, долой прочь, обе пятки, а испить бы ему настою из лошадиного навоза и все бы, как рукой...

У Маракулина после летней удачи опять ничего не было. По разным местам и учреждениям самое большее записывали его адрес, а известно, когда запишут адрес, уж ничего не дождешься. Случилась в то время в Петербурге перепись собак. И с неделю ходил он по всяким Бурковым и Бельгийским дворам, считал собак, а ходивши по собакам, познакомился с одним студентом, тоже счетчиком, Лиховидовым.

Студент этот, Лиховидов, сам находясь при последнем издыхании, как-то ухитрялся всякие собачьи занятия доставать, и кое-чем пользовался от него Маракулин. И уж дело пошло было опять на поправку. Но тут с Лиховидовым произошло недоразумение. Занимался Лиховидов где-то в конторе и как-то выходит он после вечерних занятий поздно и как раз выходит главный над ним — управляющий конторой, разодетый такой в шубе — воротник богатый. «Как, говорит, думаете, господин Лиховидов, что теперь лучше, чаю попить или кофею?» А Лиховидов с утра еще ничего не ел, как собака голоден, да и ветром петербургским на него дунуло, зуб на зуб не попадет, — посмотрел он на управляющего, словно бы соображая о чае и кофее, что теперь лучше, чаю попить или кофею, да как свистнет его по физиономии. И с тех пор пропал. А пропал Лиховидов, стало дело и у Маракулина.

На ловца и зверь бежит. После долгих поисков Анна

Степановна нашла себе уроки в какой-то частной гимназии, и гимназия оказалась образцовой, а начальница гимназии Леднева из идейных. Леднева начальница обладала великим искусством не тратить ни копейки из своего кармана, и делала она это и как-то очень просто и мудрено и, конечно, затуманивая свое дело самым настоящим петербургским туманом. Говорили, что платит она жалование учителям из каких-то таинственных обмундировочных денег, ей вовсе не принадлежащих, и что учителя в ледневской гимназии всякий год обязательно менялись. Раков и Лещев по своей идейности выходили перед Ледневой просто дрянь, как любой семеновец дрянь перед Станиславом конторщиком и Казимиром монтером по части кухарок.

Два месяца не получала Анна Степановна жалованья, все ей оттягивали под разными предлогами, и только на третий месяц выдали и, само собою, не как обыкновенное жалование, а как ссуду какую-то в счет тех же таинственных обмундировочных. Получив первое жалование, повела она и Маракулина и Веру Николаевну в Мариинский театр на оперу, и билеты обошлись ей не дешево, зато места — хорошие и было видно все и слышно.

В этот вечер в театре Маракулин встретил Верочку. Сколько раз за лето и осень думал о ней и в адресный стол посылал, но ответ получался один: выбыла. И вот он встретился. В первую минуту ему страшно стало, но страх перешел в беспокойство: Верочка была не одна, с Верочкой шел Глотов — кассир Александр Иванович, приятель Маракулина.

Верочка нисколько не изменилась, впрочем, разве изменяются люди! Верочка его сразу узнала, а Глотов — нет или умышленно по каким-нибудь бесспорным соображениям, по бесспорной причине сделал он вид, что сразу не узнал старого своего приятеля:

— Вот неожиданность, а мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!

А Верочка, узнав, что и Вера Николаевна в театре, сейчас же пошла ее разыскивать, и больше уж не вернулась.

Глотов повел Маракулина в буфет.

— Ты где ее встречал? — спросил Глотов приятеля.

— Зиму у одной хозяйки прожили, — ответил Маракулин.

— Так ты ее очень хорошо знаешь?

— Как когда.

И вдруг злость осунула их лица. Оба прекрасно поняли друг друга. Разговора больше не могло быть. Но разойтись было неловко. И молчать было неловко.

Глотов предложил выпить. Маракулин отказался. И они вышли из буфета, шли рядом, плечо о плечо, оба разыскивали Верочку. Маракулин молчал. А Глотов заученно и с каким-то удовольствием повторял одно и то же:

— Вот неожиданность, а мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!

В следующий антракт Маракулин не встретил Верочку и Верочка, пообещавшая еще раз зайти к Вере Николаевне, не пришла. И больше он ее не видел.

Из театра Маракулин с Верой Николаевной и Анной Степановной отправился на Невский в кофейную.

И встреча с Верочкой и встреча с Глотовым, встреча их вместе, театр и кофейная, все это взбудоражило Маракулина, и то, что скрытно закипало в нем там в буфете, когда стоял он с Глотовым, вылилось жгучим отчаянием. И стражда, он почувствовал, что если бы сейчас вот встал кто-нибудь от столика, какой-нибудь Глотов или брат Глотова или сват Глотова, который знает Верочку и Верочка которого очень хорошо знает, встал бы и подошел к нему и свистнул бы его по физиономии, как студент Лиховидов управляющего, он бы ногу ему в благодарность поцеловал и шею бы свою заодно подставил, пускай бьет кулаком, сколько душе угодно, или пускай по зубам ударит, чтобы челюсти треснули. И, чувствуя всю жгучесть вольной на себя принятой боли в жестокой страде своей, вспомнил он о своей излюбленной, опостылевшей, несчастной генеральше, и ему пропала охота — ему уж не надо было ни оплеухи, ни кулака, ни пинка ни от тех подстриженных усов, самодовольно болтающих с плюгавым безусьем и ни от тех лихих рыжих закрученных завитком вверх, которые знают Верочку и Верочка их очень хорошо знает. Нет, он думал в своем отчаянии, как было бы хорошо подварить генеральшу кипятком, ну так шпарнуть чуть-чуть кипятком, и с какою злостью бросится она кусаться и всех до одного искусает.

— Почему фамилия Верочки теперь не Вехорева, а другая — Рогова.

— Потому что она генеральша, — ответил Маракулин.

— Какая генеральша? — Вера Николаевна не понимала и смотрела то на него, то на Анну Степановну, которая улыбалась, и было больно на душе за ее улыбку.

А Маракулину захотелось уж самому встать и тут же сейчас у одной глаза выколоть — эти потерянные глаза бродячей Святой Руси, оробевшей, с вольным нищенством, опоясанной бедностью — боголюбским пояском, все выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не сострoит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на костре, а другую задушить, чтобы, перестала улыбаться, не было бы этой улыбки, из которой с каким-то наглым бесстыдством лезет в глаза всем и каждому смазанная изнасилованная душа, ей незачем жить, ей нечего делать, ей нет места на земле!

А может быть, ему самому уж нет места на земле?

— А как вы думаете, Вера Николаевна?

— Верочка адрес свой дала и предупредила, чтобы не спрашивать Вехореву, а Рогову.

Маракулин закрыл глаза, он почувствовал вдруг крайнее утомление и какое-то полное безразличие, и если бы, кажется, пожар начался в кофейной, он не тронулся бы с места, и если бы потолок стал обваливаться, он даже не взглянул бы.

Заметив, что ему не по себе, Вера Николаевна и Анна Степановна не хотели его тревожить и, чтобы не сидеть над душой, тихонько разговаривали.

Вера Николаевна рассказывала про какую-то сестру милосердия:

— Привезли в больницу ребенка, кипятком ошпарен; чтобы операцию сделать, надо кожу, а где взять кожу? — у ребенка? — не вынесет, ослаб очень, вот сестра и предложила свою, у ней и вырезали, сколько надо.

— И как же?

— Слава Богу, живы.

Анна Степановна, улыбаясь, перекрестилась:

— Слава Богу.

Маракулин поднялся и пошли на Фонтанку.

Верочка жила в меблированных комнатах на Мойке — небольшая квартира — и кроме ее да хозяйки никто в

квартире не жил. Комнаты были заставлены всякими диванчиками и столиками и завалены всякими вещицами, так, должно быть, было и у Ошурковых в их десяти комнатах. И какой-то всюду канареечный цвет: желтые подушки, желтые ширмы, все было желтое.

Маракулин, разыскавший, наконец, Верочку, в прихожей еще сообразил, что Верочка тут не по собственному выбору, а кто-то поселил ее в эту меблированную желтую квартиру.

Он застал ее и обрадовался удаче своей: она одна была. И разговорился легко и просто. Как всегда, сначала держала она себя крайне вызывающе, и рассказывала как-то все по-разному и не поймешь, где настоящая правда, а где правда такая. Она переменила фамилию только потому, что она на сцене, она служит в театре, в одном петербургском театрике-кафешантане.

— Я там танцую, приходите посмотреть когда-нибудь.

Но театр театром и танцы танцами, только Анисим денег ей уж давно не высылает. Вместо Вакуева ей один важный старик покровительствует, и эту квартиру для нее снял и для него она фамилию переменила, фамилию ей переменили: Варягинский важный, при дворе бывает.

— Так старикашка, левым глазом мышь видит: зажмурится и мышь пропадет, а откроет глаз и опять мышь тут как тут, серенькая, мышонок.

Анисим денег ей уж давно не высылает, а ей нужны деньги. Ей надо, чтобы старик Варягинский на ее имя капитал положил, и тогда...

— Я покажу, кто я, всему миру, и пускай они увидят!

Да, она покажет себя, ее имя прогремит на всю Россию, на всю Европу — на весь мир. Она выбрала свой сожигающий путь, но, ведь обыкновенным путем никуда не выйдешь, не пробьешь себе дорогу, без денег никуда не пустят и затрут, будь ты хоть чертом. Надо уметь лгать и деньги, лгать и деньги — вот что надо. И она пробовала прожить обыкновенно. Хорошо знает! Не в прачки же ей идти, или же ей в самом деле в прачки идти? В Кузнечном переулке с хиромантом она не согласна жить и в Горбачевских углах она не согласна. А положит старик на ее имя капитал, будут у ней деньги, тогда...

— За деньги все можно купить, — кричала Верочка своим жутким криком, кричал в ней не клич провидящих, а вызов, крик о каком-то праве своем перебить, как сказывает старина, всю поднебесную силу, случись только лестница на небеса, случись же кольцо в земле, повернуть всю землю вверх дном, и вызов и крик отчаяния ее сожигающего пути, — я проститутка и буду проституткой. А на будущий год покажу себя, вы меня увидите. И Вера Николаевна от денег не отказалась бы и эта ваша другая, с этой жалкой улыбкою, тоже взяла бы, только им никто не дает, а мне всякий даст, я умею лгать и я возьму свое!

И бросилась она показывать свои наряды, все комоды и гардероб отворила, — и всякие платья и белье ворохами, как попало, полетели к Маракулину, и уж один пестрый ворох шелковый и кружевной вырос между желтых диванов, как черная гора на Бельгийском дворе.

— И все это мое, — кричала она, — смотрите, подарки, мое все!

Маракулин поднялся, хотел было остановить ее, но подступиться нельзя уж было, и снова сел на желтый диванчик. А Верочка в каком-то бешенстве мяла, рвала и бросала вещи. И когда комоды были опустошены, и ящики вывернуты вверх дном, она принялась за безделушки, крутила их, кувыркая и разбивая, и сваливала все вместе в одну груду.

— И это все мое, подарки! — кричала она каким-то последним голосом, без всякого голоса.

На одну минуту у Маракулина непреодолимо поднялось желание взять спичку, чиркнуть и поджечь, чтобы все уничтожить, весь ворох, всю гору и эти желтые диванчики, желтые ширмы, желтый абажур, желтые подушки, все подарки.

Верочка схватила с этажерки маленькую бронзовую черепаху, протянула ему, желая, должно быть, подарить эту бронзовую черепаху.

— Когда говорят да... когда говорят да... когда говорят да... — в упор глядя на Верочку и, не принимая подарка, словно ударял он, и, не договорив, задохнулся, плечи его вдруг задрожали.

Да, она сама знает, тут ничего ее не было. А чужие вещи нельзя дарить. Подарков не дарят, но все-таки можно

подарить. А тут ничего ее не было, это не подарки, это все чужие вещи. Чужих вещей нельзя дарить. Тут старик-хозяин, Варягинский, который мышь видит, Глотов, кассир-хозяин, и всякий, у кого деньги, кто может дать денег и, чем больше даст, тем главнее будет. У ней все опоганено, все охватано, и она уж не может поцеловать Веру Николаевну, нечем ей поцеловать ее, все в ход пущено, все оплевано.

— И вы, Петруша, вы хотели бы, а? — спросила она вдруг с какою-то злостью, — да что же вы, хотите, да?

Маракулин поднялся.

— Так вот же вам, — Верочка высунула язык, — не получите-с, нищий! нищих не принимаю, слышите, не принимаю! — и глаза ее бесстыжие сверкнули, как два ножа, а распустившиеся волосы огнем ее жгли.

Не разбирая улиц, шел Маракулин, куда ноги вели. Была декабрьская оттепель, дул теплый ветер и фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны висели в тумане. Выйдя с Подьяческой на Садовую, стал он переходить на ту сторону и вдруг остановился: у ворот Спасской части, там где висит колокол, теперь стоял пожарный в огромной медной каске, настоящий пожарный, только нечеловечески огромный и в медной каске выше ворот.

И в ужасе Маракулин бросился бежать. Подкатывало и давило горло. И уж дома, очутившись в своей комнате в Бурковом доме один, почувствовал он, что плачет, как только раз в жизни плакал, когда уходила старая нянька.

И ночью ему привиделось, будто лежит он на Бурковом дворе, но Бурков двор больше действительного, и, хотя сжат он с боков домами, шкапчики-ларьки разносчиков как-то глубже стоят и каретный сарай и помойка и мусорная яма гораздо дальше, и больше сложено всяких кирпичей под окнами и щебню и мусору. И не один он лежал на дворе, с ним вместе лежали все жильцы и с парадного и с черного конца дома, из флигеля и горбачевских углов. И хотя многих не знал он в лицо, но тут догадывался и уж не мог ошибиться, что этот вот господин и дама — Ошурковы, которые десять комнат занимают и всякие вещицы у них, вся квартира заставлена и аквариум с рыбками, а тот вон в цилиндре, подвижной такой, — присяжный поверенный Амстердамский, весельчак, вести

умеет дела, в Сенате швейцары, поди, как Пасхи, его ждут. И сам Бурков лежал — бывший губернатор, самоистребитель, но так как его никто не видел, а видели только мундир его, то и тут собственно лежал не он, а мундир его, а рядом с мундиром старший Михаил Павлович с супругою, богобоязненной Антониной Игнатьевной, и торговец Горбачев с какою-то девочкой — дочерью, которой в крысином чулане пальцы выламывал, и Вера с Акумовной, и Станислав конторщик, и Казимир монтер, и Адония Ивойловна, и артисты Дамаскины Сергей Александрович и Василий Александрович, Вера Николаевна, Анна Степановна и акушерка Лебедева, покрытая меховой зимней шубой, которую у ней на Рождество украли, и швейцар Никанор, и студенты, которые панихиду по ночам пели, так и лежали рядышком в студенческих новеньких мундирах и с своим единственным медным краном, и все семь дворников и паспортист Еркин, — дворники с дровами, Еркин с больничными рублевыми марками, весь облеплен марками, все лицо и руки, и ребятишки в кучу лежали, и персианин-массажист из бань и та девочка, которая кошке Мурке молока принесла, с черепушкой лежала, и сапожники и пекаря и банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки, сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, приказчики, водопроводчики, наборщики и разные механики, техники и мастера электрические с семьями, с тряпками, с пузырьками, с банками и тараканами, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы — портнишки и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр и столяр и сбитенщик и все разносчики, обложенные финиками и постным сахаром, пахнущим поганками, словом весь Бурков дом — весь Петербург. А когда Маракулин, узнав всех своих бурковских, зорче стал вглядываться, то увидел и не бурковских — мать свою, отца и сестер, старика Гвоздева, Александра Ивановича Глотова, Аверьянова бухгалтера, Чекурова, и Лизавету Ивановну и Марию Александровну, Ракова с выигрышным билетом в двести тысяч, и Лещева, и Павлину Поликарповну, и всех блаженных и юродивых, старцев и братцев и всяких

бельгийцев и немцев, скучены были немцы вокруг доктора Виттенштаубе, который лечит от всех болезней рентгеновскими лучами, и наконец всю бродячую Святую Русь.

Так лежали на Бурковом дворе, как на смертном поле, но не кости, живые люди, не сухие кости, живые люди, у всех жило и билось сердце. И звери с людьми лежали, красивый рыжий губернаторский пес Ревизор на своей стальной докучливой цепочке высоко поднимал то тут, то там свою умную морду, где-нибудь и Мурка лежала, только застил ее какой-нибудь дымчатый кот. А рядом с Маракулиным генеральша Холмогорова лежала, вошь. И низко фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны, висели над Бурковым двором в тумане.

— Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко! — нескладно, точно спросонья, потянул носом, заросшим конским волосом, Горбачев.

И вот забренчало что-то, как шашкой, и из шкапчика-ларька вышел пожарный, нечеловечески огромный в огромной медной каске, и пошел, застучал сапогами. И ходко, сразу перемахнув через всех маляров и слесарей и разносчиков, приближался к Маракулину и, дойдя до него, стал.

Это был самый обыкновенный пожарный — красная рожа.

И тогда-то Маракулин почувствовал, как стало ему тяжело, ни ногой, ни рукой пошевельнуть не может и уж знает, что ему недолго осталось и только говорить еще свобода, и также почувствовал он, что и всем — всему смертному полю тяжело стало и ногой не пошевельнуть и рукой и только говорить еще свобода, и чувствуя последние минуты свои, слышал, как по Фонтанке гудят автомобили.

А над ним неподвижно стоял пожарный. Это был самый обыкновенный пожарный — красная рожа.

И хотел бы Маракулин дерзнуть, как какой-нибудь старец Кабаков, молитвою вызывающий глас с небеси, за всех, за весь мир спросить пожарного, но духу не хватило по-кабаковски спросить за всех, за весь мир, за все смертное поле, и он спросил о себе:

— А мне хорошо будет?

— Подожди, — сказал пожарный.

— Хорошо? — снова спросил Маракулин, едва уж дух переводя и в то же время слыша, как на Фонтанке гудят автомобили.

И ответил ему пожарный да так уныло, едва слово кончил:

— Хо-ро-шо.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Перед Рождеством у Маракулина сломался крест. Взяла его Анна Степановна поправить, да пошла из гимназии в Гостиный, у нее там кошелек и вытащили, а с кошельком и маракулинский крест — маленький крестильный золотой крест.

На Святках Акумовна гадала и Маракулину казалось, уж карты окончательно озлобились и издеваются всем карточным своим беспощадным чистым сердцем: веселая дорога, благородный важный господин, деньги большие, если не получали сегодня письма, то завтра получите, выпивает немножко, а где-то по углам трава и елки.

Но карта не лгала. Нагадала ли Акумовна или и без карт кем-то было положено, только вскоре после Татьянина дня и совсем неожиданно должен был Маракулин выехать из Петербурга в Москву.

Маракулин — московский. Родился и вырос он в Москве и учился в Москве. Лет пять всего до Петербурга прожил он в провинции, бывал по делам и в таких городах, как Костринск, и в таких городах, как Пурховец. Учился он в частном московском реальном училище на коммерческом отделении. Только что поступил он в училище, умерла мать, и еще не кончил он училища, умер отец. Последние годы в училище были трудные, самому о себе приходилось думать. У него две сестры, обе старше его, обе замужние. Когда он жил в Москве, он бывал у сестер сначала часто, потом реже, потом совсем редко. Маленьким они его очень любили и баловали и он это помнил, а они забыли. Когда он жил в провинции, он писал сестрам сначала часто, потом реже, потом совсем редко, только одни поздравительные письма, а потом и совсем перестал писать, они первые прекратили всякую переписку. И уж с Петербурга

он привык считать, что у него в Москве никого нет, и только на Калитниковом кладбище две могилы стоят, — два креста: отца крест и матери крест.

Отец его — старший бухгалтер у Плотникова, фабрика Плотниковых в Таганке, оптовая торговля на Ильинке. Отец его — трудовой человек, упорством пробивал себе дорогу. Мать — другая, мать — странная.

Евгения Александровна — так звали мать — правдивая она была и простая и сердечная. Правдивость ее все знали, отец ее хорошо знал и те, кто часто в доме бывали у них, тоже хорошо знали, и уж при ней не судачили про знакомых своих, так зря языком не трепали — не говорили такого, чего в глаза не могли бы сказать им. Возможности о ком-нибудь или о чем-нибудь двух мнений: одного мнения домашнего, какое дома высказывается в тесном семейном кругу, другого — уличного, какое на людях заявляется, если для чего-нибудь надобно бывает, такого обиходного порядка она не могла постичь и житейского домёка у ней не было. И потому всегда мог выйти если не скандал, то конфуз, и отцу ее не раз приходилось предупреждать ее. Этот житейский домёк, знающий два мнения, просто бесхитростная самозащита и часто подленькая, не мудрость; в мудрости, знающей не два, а двадцать два мнения — знание и пощада. Высшей мудрости у нее, конечно, не могло быть, но той мудрости, которая чутьем подсказывается, эта была у ней, как и та мудрость, которая сердцем постигается, неряшливости, грубости душевной — грубой прямолинейности у ней не было. И все ее трогало и мучило, не было у ней равнодушия, и была необыкновенная жалостливость и сочувствие, каждому помочь готова была. И ее любили за это. Женю все знали. Женю все любили за это. Гимназисткой, только что кончив гимназию, влюбилась она в студента-репетитора ее брата, и, как на Бога, смотрела на студента. А студент ничего, серьезный студент, только улыбается, улыбается и благодарит. Отец ее — дед Маракулина — доктор, служил фабричным доктором у Плотникова, и часто на фабрику брал ее с собою. А был у Плотникова молодой техник Цыганов, с фабричными возился, всякие чтения для них устраивал и театры, а впоследствии, как уверяли знающие, он и стачку поднял. Фабричные Цыганова любили и слушались. Женя, бывая на фабрике и

видя фабричную жизнь, от которой у ней вся душа переболела, познакомившись с Цыгановым, вызвалась ему помогать. И много времени проводила она с техником, сколько сил хватало, делала. А когда удавалось — ладилось дело, с какою радостью рассказывала она о своей удаче репетитору брата — студенту своему, на которого, как на Бога, смотрела. А студент ничего, серьезный студент, только улыбается, улыбается и благодарит.

И случилось однажды, сидела Женя у Цыганова, книжки подбирала для чтения фабричным, да книжки-то все такие были — листки. Она старалась, очень ей хотелось, поскорее чтобы прочитали те, о ком, она верила, что правда была в этих листках написана и выход указывался из жалкой их жизни, от которой у ней вся душа переболела, и торопилась, впервой было. И Цыганов тут же за одним столом с нею листки разбирал и не отходил от нее, спешил и тоже хотел, поскорее чтобы сделать все, дело опасное! И вот, когда было все сделано, листки собраны, подобраны и разложены, и она довольная такая, радостная и, поди, думая, как студенту — Богу своему о всем рассказывать будет, а студент, поди, уж кончает уроки с братом, а, может, с отцом уж сидит в столовой за самоваром и в шахматы с отцом играет, заторопилась она скорее домой, Цыганов вдруг бросился на нее и повалил на пол...

В этот вечер, когда она вернулась домой, и, как ей думалось, так и было, застала студента уж в столовой с отцом за самоваром — в шахматы играли, она ничего не сказала ни отцу, ни студенту и намеком не намекнула, что с нею у Цыганова только что случилось, и словом не обмолвилась о своем ужасе.

Ужас и стыд победили в ней всю ее правдивость, и она скрыла самое свое важное. Она молчала, и, не умея представляться, была вся наружу, и все-таки никто ничего не заметил, и только заметил отец в ее лице какую-то грусть, какой раньше у нее не было. А уж много спустя и еще кое-кто заметил и кроме отца, но не все сказали, да и сказать не могли, так как не раз видя ее, может, в первый раз внимательно взглянули на нее, и не могли решить, всегда ли была эта грусть и только они ее не замечали, или действительно перемена произошла.

Конечно, грусть эта всегда у ней была с рождения ее, грусть эта родилась с нею и все семнадцать лет таилась

в душе ее и только с того вечера, когда Женя у Цыганова листки разбирала да, разобрав, счастливая, радостная, уж думала, как расскажет студенту — Богу своему о этой своей радости, только тогда вот из ужаса вышла на свет ее грусть.

И разве одна грусть легла на лицо ее, когда она на полу валялась да в животной боли и в отвращении и в ужасе криком кричала бы, если бы крик не сдерживала, ну разве только грусть лежала теперь на лице ее, когда она молча и вся наружу мучилась.

Если бы люди вглядывались друг в друга и замечали друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно *железное* сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А, может быть, совсем и не надо было бы железного сердца, если бы люди замечали друг друга.

Но как все случилось, отчего случилось и как Женя сама себе все объясняла?

В первый вечер, в тот вечер Цыганов ослеп, другой какой-нибудь предумышленной причины не могло быть, просто он ослеп. И если бы он был о семи глаз, кто знает, не ослеп ли бы он и на все семь глаз от ее двух глаз, от того, как смотрела она радостная, готовая о радости своей сейчас вот передать студенту — Богу своему, а радость ее была огромная, ведь ей впервой было и дело опасное и поверила она, что нашла спасение той жалкой жизни, от которой у ней вся душа переболела и, наконец, она все исполнила.

Так сама Женя, не виня никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослеп он или не ослеп, не мог он на нее не броситься или мог и не броситься, и не только Цыганов, занятый делом, которое приходится вести тайно и скрытно, должно быть, обезглазел от своей деловой подозрительности. Да, конечно, обезглазел, а почему — все равно; ведь, если бы он замечал хоть что-нибудь, не было бы того, что дальше было. А было то, что всякий раз, когда Женя приходила к нему, разбирать ли листки или еще по каким делам такого же рода, чтобы помочь ему, всякий раз непременно повторялся тот первый опасный и радостный вечер. И просила она его, молила пощадить, не трогать ее, но он не хотел слышать, потому что ничего не слышал и ничего не замечал. И так целый год.

А когда Цыганов куда-то исчез с фабрики от Плотникова: одни говорили, что его в Сибирь сослали, другие, что он за Трехгорной заставой на заводе устроился и с большим окладом, а третьи, что объявил будто бы миру чуть ли не Новый Сион, — словом, когда Цыганова не стало и Женя было вздохнула, как точь-в-точь произошло то же самое и в другой раз, только на месте Цыганова очутился ее брат — юнкер. И просила она брата, молила пощадить, не трогать ее, но он не хотел слышать, а не хотел слышать, потому что ничего не слышал и ничего не замечал.

А не слышал и не замечал он, потому что ослеп в ту минуту, а ослеп он, потому что в ней самой было что-то ослепляющее: ведь ничего общего не было в братнин вечер с тем цыгановским опасным и радостным вечером.

Так сама Женя, не виня никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослеп брат ее или не ослеп, но только, не занимаясь цыгановскими делами, скрытностью дела и опасностью не загнанный в одну слепую подозрительность, напротив, имея перед собою открытый путь без осматривания, без настораживания, он должно быть, как многие и многие люди всякого ремесла и дела и мастерства и страсти, не отличался глазастостью. Да, конечно, не отличался глазастостью, а почему — все равно; ведь, если бы он замечал хоть что-нибудь, не было бы того, что дальше было. А было то, что всякий раз, заставая ее одну, он повторял все то же начатое им в свой сестрин вечер. И так продолжалось с год.

А когда брат из Москвы уехал и она осталась одна и могла вздохнуть, помощник отца — молодой доктор заменил брата, как брат заменил Цыганова, а за доктором еще кто-то и еще кто-то: смело подходили к ней и делали то, что хотели.

А делали они то, что хотели, не потому, что лежало плохо, они делали все, на что их слепых бросало.

Так сама Женя, не виня никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослепли или не ослепли, бросало их или сами они бросались, но только никого из них она ни в чем не обвинила и одну себя, свою какую-то суть обвиняла, слепящую и оглушающую.

Она молчала, все три года молчала, ни намеком не намекнула, ни словом не обмолвилась. А ужас был и стыд был и мука была. Ее любили и у ней было много подруг и она знала, как ее любят, и думают о ней, и, правдивая, при всей своей правдивости, не могла сказать им, что ошибаются они, не такая она, как они думают о ней, ведь, зная всю правду о ней, они, возможно, и отшатнулись бы от нее, и вот, скрывая правду о себе, она крадет их любовь.

Люди подходили к ней и делали то, что хотели, они делали все, на что их бросало, и она не могла сопротивляться, уступала им с животным отвращением и болью. И за то, что она уступала им и не могла не уступать при всем своем животном отвращении и боли, за какую-то свою суть слепящую и оглушающую, которая людей бросала на нее, — ей мало казни человеческой. Покончить с собою было бы очень просто, но что из того, если она покончит с собой! И если бы ее пытали и мучили и запытали и замучили до смерти, что из того, если бы ее замучили до смерти! Ей мало казни человеческой, мало людской казни, сама она должна и карать и казнить себя. Но чем карать себя и как казнить? За три года ужаса, стыда и муки своей, в ужасе, стыде и муке по ночам без сна уж волосы рвала она на себе и головою билась о железку кровати — девичьей своей кровати, но что взяла? Ничего, ровно ничего. Так кто ж ей укажет казнь и как ей казнить себя? И она молилась со всею жгучестью ужаса, стыда и муки самоосудившего сердца, просила Бога указать ей казнь.

Если бы люди вглядывались и замечали друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно *железное* сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А, может быть, совсем и не надо было бы железного сердца, если бы люди замечали друг друга.

Женя уехала из Москвы и жила некоторое время под Москвою по Курской дороге в семье одного доктора, товарища отца ее. Отец, теперь заметивший уж не одну только грусть, и, встревоженный, приписывая все переутомлению, уговорил Женю проехать отдохнуть немного в деревню. И вот случилось уж в деревне: в Большой пост на Страстной неделе во вторник и вовсе не в Москву она поехала к отцу домой на праздники, как думали, нет

она в лес ушла и в лесу там со вторника молилась три дня и три ночи со всею жгучестью ужаса, стыда и муки самоосудившего сердца, прося об одном — о казни: казнь указать ей и кару. А в Великую пятницу на вынос плащаницы она появилась в церкви совсем нагая и только с бритвою в руке. И когда понесли плащаницу, она пошла за ней — перед ней расступались, как перед плащаницей — и она стала перед плащаницей нагая с бритвою в руке: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Кто-то ответил «Аминь». Тогда она подняла бритву и стала себя резать, полагая кресты на лбу, на плечах, на руках, на груди — и кровь ее лилась на плащаницу.

С год, не меньше пролежала Женя в больнице, куда ее привезли тогда из церкви без памяти. От ее крестов примет явственных не осталось, так чуть заметный шрамик на лбу да и то под волосами не видно. И когда нашли, что она здорова, выписали ее из больницы и отправили ее к отцу.

Что ж, успокоилась она? Нет, не успокоилась. Но и о казни больше не просила. Где-то в глубине своей она замолчала. Бог знает, может быть, ее лечили чем-нибудь, или восстановляясь и здоровея, не могла она так чутко прислушиваться и услышать то, что в глубине ее говорилось. Но скоро она услышала и совсем неожиданно. Ходил к ее отцу бухгалтер с Плотниковской фабрики, Маракулин Алексей Иванович, и должно быть, Женя ему очень нравилась и как-то он объяснился ей. И вот тогда-то и услышала она, что в глубине ее говорилось.

Ни одному, ведь, человеку, неизвестно, за что же она казни себе просила, ни одному человеку неизвестны три ее мучительных года и четвертый год ее казни. Священнику на духу она ничего не говорила — она говорила мысленно под эпитрахилью, когда священник читал над ней отпуск после исповеди — сказать священнику она не решилась: ему мало будет знать, что сама она делала, — ее грех, и он всегда может спросить о тех лицах, которые были с нею, и, может быть, видя ужас, стыд и муку ее и желая дать ей житейское утешение, разузнать захочет, как происходило все, и, узнав обстоятельства дела, их осудит, а ее оправдает, но она сама их ни в чем не обвиняла, она только себя винит, свою суть слепящую и оглушающую, а затем священник и донести может. И вот теперь-то она

все скажет человеку, который ее любит. И надо все сказать, так в глубине ее говорилось, непременно надо все сказать человеку.

И она все рассказала без утайки. Он слушал кротко и плакал, — он любил ее. И в душе не веря, чтобы и еще раз то же с ней не повторилось, снова не вернулись бы те ее три года, он хотел верить, потому что любил ее.

Всю остальную жизнь свою Женя посвятила детям. В первый же год своей новой жизни она сразу как-то состарилась, но это была вовсе не старость, а тот ужас, стыд и мука, которые, как та грусть, вышли теперь на свет и лежали на лице ее. А какая-то вспорхнутость глаз и руки, сложенные так, будто умоляет она пощадить, не трогать ее, осталась до конца ее жизни. А в гробу лежала она с крестом — из-под венчика на лбу явственно виделся крест.

Маракулину было тогда десять лет, но он помнил этот крест, ее крест на восковом лбу из-под белого венчика. И теперь, когда он ехал в Москву, он вспомнил этот крест и воспоминание о кресте матери почему-то крепко и цельно слилось с тем золотым крестильным крестом его, который кто-то унес перед Рождеством.

И какая-то тоска хлынула на него.

В Москву Маракулин ехал по настоятельному вызову Плотникова.

Павел Плотников с Маракулиным учился, но был младше его на два класса. Когда в первый раз увидел его Маракулин, ему очень Плотников понравился: это был здоровый мальчик, какой-то молочный весь и парной и хотелось подойти и погладить его, потрепать так по голове и умыть, как зверушку, лимон сделать — взять крайними пальцами за щеку и постукать середними по носу тихонько, чтобы весь улыбнулся. В первый год у него болело горло и белый платок — повязка делала его еще милее. Маракулин и заговаривал и трогал его и заигрывал со всею ласковостью, но Плотников дичился. И только на следующий год судьба их столкнула. Маракулин был певчим и Плотникова выбрали в певчие и тоже альтом петь. На спевках Плотников очутился рядом с Маракулиным и уж понемногу перестал дичиться, напротив, привязался к

Маракулину, который все для него делал: задача трудная, задачу решит, перевод трудный, переведет. И так целый год продолжалась их трогательная и нежная дружба. А потом вдруг как-то после летних каникул Плотников вырос и уж ничего не осталось в нем из того котятного и щенятного, что тянуло Маракулина просто подойти и погладить его, как зверушку. И уж Маракулин не так стал возиться с ним, так ласково по-прежнему не говорил с ним, продолжая, впрочем, все делать для него, что только мог. А Плотников часто обращался к нему и притом, как к старшему, знающему такое, до чего ему самому, кажется, в жизнь не дойти.

Училища Плотников не кончил, в пятом классе застрял, его и взяли. Плотников — единственный сын и притом последыш после бесчисленных сестер и в деле надобный, а плотниковское дело на всю Таганку — на всю Россию известно. Ко времени своего злополучного окончания — в пятом классе он так раздобрел и так разросся, трудно было представить себе, глядя на него, того приготовишку Пашу с белым платком, молочного и парного Пашу, которому хотелось лимон сделать. Всякие отношения, кажется, должны были прекратиться, но этого не случилось. Плотников заходил к Маракулину и всякий раз заходил за книжкой, книжку просил дать почитать, и всякий раз чего-то словно робея. Маракулин давал книжку, и он надолго пропадал. И совсем неожиданно опять являлся и в час совсем неурочный рано утром и нередко в таком возбужденном виде, словно бы, начав вечер с таганской пивной и пропив полночи в каком-нибудь Саратове, а до утра у Яра, и обмывшись затем в пятикопеечных Полуярославских банях, из бань прямо и являлся, только без веника, что, как потом оказалось, и бывало на самом деле. Он робко возвращал книгу, робко заявляя и всегда одно и то же, что не одолел и ему надо попроще. Маракулин давал другую книжку попроще и Плотников снова пропадал надолго.

В училище в последних классах была сбродная компания, объединенная, должно быть, тем самым, что связывало Маракулина с Глотовым. Тут были всякие головорезы и тянущиеся за ними потаковщики, и все, кому надо было развернуться, из которых впоследствии вышли и самые заправские дельцы и обыкновенные служащие,

а кое-кто, спившись, кончил на Хитровке. Компания эта была завсегдатаем таганской пивной, московских бульваров, а в воскресенье летом — Кускова, в Кусково обычно перекочевывает на лето Таганка и Рогожская. В этой компании участвовал Маракулин. Случалось иногда, присоединялся и Плотников.

Плотников, пивший до протокола, и однажды, одетый так легко, что уж в более легком виде с улицы прямо в часть убирают, вступил на Таганской площади в ратоборство с лошадьми, буйный и несговорчивый, напившись до дыму, для препровождения времени мог выкинуть все, что угодно, и без всякого разбору, никем и ничем не стесняясь. Так все и знали. И только одно было исключение — для Маракулина. Маракулин в крайних случаях мог даже унять и разговорить безудержного непочатого Плотникова.

Павел Плотников непочатостью своей и уменьем выкинуть для препровождения времени любой выверт весь был в отца своего Василия Павловича, а Василий Павлович по этой части первый был деятель в Таганке и деятелен заразительно: имел последователей и немало. Только Василий Павлович буйным никогда не был, хоть не только пяти, а и одного класса нигде не кончил, и нигде на Таганской площади ни с людьми, ни с лошадьми не вступал в ратоборство, напротив, тих был и кроток и рюмки в рот не брал. В последние свои годы на старости лет, когда уж нового ничего Василий Павлович изобрести не мог и сам хорошо сознавал свою поконченность, вздумал он для препровождения времени заняться спаиванием околодочных — пришла ему сумасбродная затея поставить всю полицию не на ноги, как говорится, а вверх ногами. И повел он это дело с большим искусством, добиваясь своего всячески не мытьем, так катаньем: не сам, так по приказу его. А удочкой, приманкой была карета — самая обыкновенная, ничем не замечательная карета и даже без герба — в Таганке гербов по званию жителей не полагается. По утрам Василий Павлович обыкновенно садился у окна и стерег околодочного, который около этого времени шел мимо дома в часть. Околодочный зазывался в дом, будто по делам, — конечно, дел никаких не было, вести дела с полицией избегали, но так и совсем пустяки какие-нибудь на случай всегда находились, а пока что Василий Павлович предлагал посмотреть карету и так

предлагал, что больше упрашивал. И польщенный околодочный следовал за ним в сарай, а в сарае уж все требуемое было готово, и выпускался околодочный из сарая не иначе, как без задних ног — вверх ногами. На другой день то же самое, полегоньку да потихоньку и доводил до того, что околодочный, забывая всякий обход, с утра сам уж являлся в сарай карету смотреть и, конечно, такого околодочного из полиции скоро выгоняли, на его место назначали другого, а с новеньким начиналась та же самая каретная история. А по примеру Василия Павловича, заразившись его деятельностью, рыбник Барабохин в то же самое время спаивал попов, и удочкой Барабохину служил садок, самый обыкновенный рыбный садок, и вовсе не для держания какой-нибудь головоломной не существующей рыбы вроде той заграничной, имя которой не выговоришь, а простой стерляжий са́док. И карета и садок действовали с необычайным успехом и порядочно времени, пока не надоело. Таков был Василий Павлович, оставивший после себя достойного наследника Павла. Вместе с каретой получил Павел Плотников от отца своего и всякие затеи для препровождения времени, и таланта не зарыл, а приумножил. Уж что взбредет ему в голову, не сделав, не успокоится, а взбредало ему в голову разное и такое, чего побаивались. Но он никогда ничего не позволил себе, что хоть чем-нибудь затронуло бы Маракулина, — Маракулин исключение. Так все и знали.

Трижды Плотников принял самое горячее участие в Маракулине: в первый раз ограждая, в другой раз устраивая и, наконец, в третий раз выручая.

Ограждение заключалось в том, что Плотников отвадил от Маракулина Стракунова, избив Стракунова всенародно и не без внушения. Был в Таганке такой Сашка Стракунов — из пролазов, черт знает, на что жил, чем только не брезговал! Как-то втерся он в кусковскую компанию и чем-то понравился Маракулину — чем может такой нравиться, одному Богу известно — да и сам Маракулин не сказал бы толком, что его к Стракунову повлекло. Так цыганского отродья, кривлявый, только всего и есть. Стракунов Сашка обдирал Маракулина, как сидорову козу, и все, что было у Маракулина с уроков получено, все на на него пошло. Так с месяц вертелся. Узнал об этом Плотников и не замедлил — оградил.

А после окончания училища, почти тотчас после экзаменов, не прогуляв и недели, Маракулин уже поступил в контору на Кузнецком, и все это устроил Плотников.

Вечера летом проводились на бульварах. Как-то на Чистых прудах на четверговой летней музыке Маракулин познакомился с одной чистопрудной Полей. Поля, появлявшаяся на бульваре лишь в сумерки — рогожская, жила в Вокзальном переулке. На Чистых прудах она известна была, как Поля, но Дунаев, познакомивший Маракулина с Полей, звал ее Дуней, и Полянский звал ее Дуней. Дунаев и Полянский — одноклассники Маракулина, оба таганские, кусковской компании. А скоро и для Маракулина Поля стала Дуней. А произошло это знакомство вовсе не потому, что Маракулин непременно бы этого добивался, нет, повод — другое, сущие пустяки. На Пасхе как-то был Маракулин в гостях у Полянского и в самом обыкновенном разговоре о товарищах, — время было перед выпускными экзаменами, — поспорил с Полянским о Дунаеве. «Да ты просто влюбился в Дунаева, — заметил Полянский и улыбнулся особенно так, — на барышню он похож, ты и заступаешься». А Маракулин покраснел весь и ему стало неловко тогда и за то, что Полянский улыбнулся так, и за то, что сам он почувствовал, как покраснел весь. И разве он оттого только и заступался за Дунаева, что Дунаев на барышню похож? С этого и началось. Дунаев, похожий на барышню, был свой человек на всех бульварах и в знак ли своей товарищеской признательности или так вообще — в таких делах и так вообще может быть большим основанием, предложил Маракулину познакомиться с Полей. А у Маракулина не выходил из головы Полянский, а главное помнил Маракулин, как улыбнулся тогда Полянский, и теперь он схватился за это знакомство: уж Полянский больше так не улыбнется. Вот какие были сущие мальчишеские пустяки! И в один из чистопрудных четвергов вечером знакомство состоялось. Дуне Маракулин сразу понравился. И уж с первых же дней знакомства она грубо это высказывала перед Дунаевым и Полянским. А как-то ночью в Вокзальном переулке, провожая от себя Маракулина, она проворно спустилась с лестницы, чтобы отпереть ему дверь, и, когда он ступил на последнюю ступеньку, загородив двери, крепко обняла его и, обняв крепко — руки

у ней стали вдруг снова, как детские, — сунула ему в карман платок с его меткой, вышитой крестиком, шелковый и надушенный не теми духами, какими обыкновенно душилась, выходя в сумерки на бульвар, а другими. Но с той ночи чем больше Дуня привязывалась к нему, тем все дальше относило его. И к концу лета ему уж невыносимы стали и засматривания и выслеживания ее, не было уж места, где бы скрыться от нее. Она отставала от бульварной жизни, наряжалась, душилась не бульварными, другими духами, и для нее это был подвиг, потому что тратить на наряды без бульварной жизни, существуя только бульваром, невозможно. А она и не нарядная теперь, обыкновенная, если бы хотела, пошла бы в гору, какая-то необыкновенная: про это все говорили и ее знакомые — бульварные и ее приятельницы — бульварные, про это говорил и Дунаев и Полянский. И знал это Маракулин, ведь руки ее в ту ночь стали вдруг, как детские, — но что ему делать? Платок ее, а он его не вынимал из кармана с той ночи и забыл бы, если бы не чувствовал его, платок ее с меткой, вышитой крестиком, шелковый тянул какою-то тяжестью, словно чугун, не шелковый, и оставалось одно: или сжечь или бросить в Москву реку. И он бросил его в Москву реку. Был конец августа, последние кусковские гулянья, и уж Таганка и Рогожская повертывали оглобли в свою Таганку и свою Рогожскую, последний воскресный вечер холодный и звездный. Театр кончился и вокзал был полон народу. На платформе гуляла Дуня. И Маракулин подошел к ней и заговорил со всей накипевшей, долго сдерживаемой злобой, не дожидаясь ответа и не давая ответить и, сразу оборвав, отошел прочь. И теперь ему казалось, что он все исполнил: больше она не пойдет к нему, и ему больше нечего делать, и больше ему ничего не надо! К Дуне подошел Полянский и они гуляли по платформе. И, поравнявшись с Маракулиным, Полянский что-то сказал ему, но так тихо, не разобрать слов, и только улыбку заметил Маракулин, ну точно такую же, как тогда на Пасху. И вот, когда снова Маракулин увидел их и еще так далеко — на конце платформы, он почувствовал какой-то жгучий упрек, и чем ближе были они, тем упрек сильнее и жгуче, а с упреком стыд. И когда они снова поравнялись с ним — он стоял на самом виду — когда очутился он с нею ли-

цом к лицу, он больше не мог вынести жгучести укора и стыда своего и низко поклонился ей до самой земли — в ноги. И тут произошло что-то и молчаливое, но, должно быть, такое жуткое, отчего бросились все в сторону и поднялась суматоха. Между тем, подходил поезд, все тряслось и ветер свистел, а Маракулин, поднявшись с земли и видя, как какой-то полицейский, пристав что ли, куда-то тащит Дуню за руку, тоже затрясся и только слыша, как резко над ним, близко ветер свистит, ударил пристава. А на самом-то деле, пристав ее никуда и не тащил, и не случись пристава, ее раздавило бы поездом, но это после узналось, когда уж поздно было. Вечером на следующий день в Таганскую часть, куда перевезли Маракулина из Кускова, в камеру к нему явился Плотников и совсем неожиданно и словно чего-то робея, как когда-то за книжкой, и как-то робко сказал ему, что завтра утром выпустят его. Действительно, наутро выпустили Маракулина и без всяких. Так выручил его Плотников. И это было последнее свидание с Плотниковым.

Припоминая до мелочей все московское, всю ночь не заснул Маракулин и только совсем уж близко где-то около Подсолнечной забылся на минуту и ему приснился сон.

Ему снилось, будто подходит к нему Павел Плотников и робко говорит будто:

— Самое лучшее, самое рациональное, самое психологичное для твоей жизни, если тебе отрезать голову.

А Маракулин будто отвечает:

— Как же так без головы я буду, ведь, без головы быть это же страшно.

— А что поделаешь! — возражает Плотников и начинает убеждать его, что больно не будет, а самое большее, что может быть, чудно и странно. И хотя убеждает он как-то по-своему робко, но и возражений не допускает.

— Ну, режь! — соглашается Маракулин.

И Плотников берет бритву и начинает ему резать шею, и действительно, ничуточку не больно, а уж голова совсем запрокинулась, так на ниточке держится.

— Еще одно маленькое решительное движение и голова будет прочь отрезана, — говорит Плотников, чиркая бритвой.

И голова падает на пол.

А Маракулину будто и без головы все видно: он видит, как упала его голова и покатилась по полу и куда-то исчезла, и в то же время из горла широкой струей, выбивая вверх — прямо в потолок, хлынула густая вишневая кровь. Весь пол залит и весь он в крови, живого местечка нет. А потом будто кровавый вишневый фонтан ослабевать начал, все тише, не брыжжет кровь, и уж скоро не стало крови и лишь маленькая струйка вилась по жилетке к полу. И подошел будто Маракулин к зеркалу и безголовый, а посмотрел на себя в зеркало и чудно и странно ему показалось, нет головы, — одно горло красное.

— Как же это я без головы буду? — плюнул он и проснулся.

И сон оказался в руку: чудно и странно было то, что случилось.

У Плотникова уж поджидали Маракулина. Фомич, старый артельщик, прямо провел его к самому в кабинет. Кабинет был разделен на две половины, на два отдела: с одной стороны копии с нестеровских картин, а с другой две клетки с обезьянами. Между Святою Русью и обезьяной сидел Плотников, обуянный запоем, и зачем-то весь медом измазан, в какой-то гнетущей печали скитника. На столе валялись порожние бутылки — и под Святой Русью бутылки и около обезьян бутылки.

У него головы нет, рот на спине, а глаза на плечах. На Святках накинулся он на мед и ел его с воском и съел много и оттого завелась в нем пчела — целый улей. Он — улей. И ему страшно — на сладкое падки! — и ему страшно — съедят его, перегубят всех его пчел, разорят его улей, съедят его! А летом, как только появится первая муха, он займется эксплуатацией мухи в качестве двигательной силы. Вся Россия будет разделена на отделы с мушиным наместником на каждый отдел, наместники с генерал-губернаторскими полномочиями будут заведовать мушиным сбором, и в особой автоматической упаковке на бронированных автомобилях муха будет доставляться со всех концов России прямо в Москву в Таганку. Русская муха победит пар и электричество, Россия сотрет в порошок Англию и Америку. У него головы нет, рот на спине, а глаза на плечах. Он — улей. Русского языка он не понимает и по-русски не говорит.

— Мне твоего слона не надо! — сказал Плотников, свысока пьяными глазами обводя с ног до головы Маракулина, и при этом выругался с таким исто русским коленцем, такие чертежи пустил, что уж от звучности и крепости родной речи у самого глаза на лоб вылезли.

Маракулин стоял между Святою Русью и обезьяной и ровно ничего не мог понять: ни о каком-то диковинном русском мушином двигателе, ни о улье, ни о слоне, и было чудно и странно. А молчание его уж начинало, видимо, раздражать Плотникова, Плотников вышел из своего гнетуще-печального состояния скитника, и фырчал.

Русского языка он не понимает и по-русски не говорит. С помощью северноледовитоокеанского флота Россия, раздавив Европу, двинется за Лапландию на полюс и возьмет не только полюс, где живут рыбы с поджаренными ногами, а и все, что за полюсом, никому неизвестное — обиталище Гога и Магога, и будет это неизвестное, Гог и Магог, зваться Ландия, сиречь страна. Там, из этой заполюсной Ландии, пользуясь даровой всероссийской мушиной силой, как двигателем, будет Россия — он, Павел Плотников, самодержавно управлять земным шаром, вращая его по собственному произволу, то влево, то вправо, то остановит, то пустит.

— Прохвост, — крикнул вдруг Плотников, — твои слоны мятые, говорят тебе, мятных слонов я не покупаю! — и схватив со стола бутылку, поднялся, красный, измазанный медом, всклокоченный, с разинутым ртом, как пастью, и, покручивая бутылкой, стал прицеливаться.

Маракулин стоял между Святою Русью и обезьяной и ровно ничего не мог понять ни о северноледовитоокеанском флоте, ни о Гоге и Магоге, ни о Ландии, ни о вращении земного шара по произволу, и было чудно и странно.

И вдруг бутылка как-то робко скользнула на пол и раздался неистовый звериный вопль, истошнее всякого помогите, и все стены словно треснули, заколебалась Святая Русь, шарахнулись обезьяны и что-то ахнуло по углам и загудело по дому.

Плотников, в своем месячном жестоком запое, без головы, со ртом на спине и глазами на плечах, Плотников-улей, ни слова не понимавший по-русски и ни слова не говоривший по-русски, узнал Маракулина.

— Петруша, хвост-прохвост, — завязая в словах и крутя головою, как хоботом, топтался он перед Маракулиным и растопыривал, словно щупальцы, волосатые руки, и култыхало его и шатало его, как какой-нибудь северноледовитоокеанский броненосец, — Петруша, хвост-прохвост!

И, шатнувшись к дивану, грохнулся он всем своим огромным забронированным, Гогу и Магогу подобным, непочатым плотниковским телом и загудел ульем между Святою Русью и обезьяной.

Два молодца, дежурившие у дверей, подхватили Маракулина под руки и чуть ли не вынесли, ровно кладь, из кабинета в гостиную. А навстречу Маракулину подвигалась с палочкой сухонькая старуха, мать Плотникова, сама Евдокия Андреевна.

— Исцелил ты его, батюшка! — только и могла выговорить старуха и, перекрестившись большим старым крестом, выронила палку, согнулась к земле.

Какие-то темные старухи бросились было со всех сторон ей на помощь, но она не хотела подняться. И только Маракулин успокоил старуху.

Двое суток без просыпу, гудя ульем, спал Плотников. Тишина стояла в доме, словно бы кроме его, — его улья, не было больше в целом доме ни одной живой души. И за эти два дня никуда не выпускали Маракулина, ухаживали за ним, пичкали его, но дверь под замком держали.

Разговор шел о несчастном Паше, о его несчастье, как Паша, измазавшись медом, признавать никого не стал и в лицо не узнавал и даже мать родную за слона рогатого принял, за какого-то мятого, мятного зверя и Фомичу пристрелить распорядился, и как потом в несчастном бреду своем Маракулина кликать принялся жалобно, ровно кошка, котят у которой отняли.

— Вспомнила я тогда, — рассказывала Евдокия Андреевна, — как, бывало, еще к делу обвыкать Паше, принесет, бывало, книжку, скажет, у Петруши был, у Петра Алексеевича, счастье принес! Уверовал он в тебя, батюшка, с малых лет уверовал. Думаю себе: один ты целитель жестокого злого недуга его и несчастья. Воскресенского батюшку, отца Семена, покропить просили, не допустил, мятным зверем обозвал, на Хапиловку везти хотели, к братцу Иванушке, разговору не слушает. Николаю Фе-

доровичу доктору спасибо, надоумил за тобой послать. Исцелил ты его, батюшка! — и крестилась старуха большим старым крестом и низко кланялась.

— По самоустению нечистого дьявола, аки лютый зверь! — шептали из углов темные старухи.

А Евдокия Андреевна все крестилась и кланялась низко.

На третьи сутки проснулся Плотников и, как ни в чем не бывало, поехал в город и только вечером благополучно домой вернулся. Вечером потащил Плотников Маракулина в трактир к Лаврову.

Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина. Плотников все вспоминал: и училище и учителей всех и Чистые пруды и Кусково, вспомнил даже окрошку, какую-то особенную лавровскую окрошку, которую любил Маракулин. А от машины тоскливо было: не вернуть хотелось старое — прошлое было тут все, как на ладони, а как-то не понималось, зачем оно было и неужели только для того, чтобы вспомнить. И, заглянув в потайные уголки своей жизни, Маракулин понял, что в сущности и перемены-то никакой не произошло, точно тоже и думал он и чувствовал тогда, хотя бы за особенной лавровской окрошкой, только смутно, только тихо, с случайными вспышками ясности, впрочем, разве изменяются люди! Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина.

— А я с твоим Аркадием Павловичем, с приставом, уж больно ты, Петруша, зря его тогда обидел, вон там мы с ним... — Плотников показал в сторону отдельных кабинетов, и, крякнув, похлопал себя по карману, — пятьсот рублей просил за мировую, и все эта твоя Феня!

— Дуня, — поправил Маракулин.

— Дуня, Феня, все равно. Пойдем, брат, к Аркадию Павловичу, вот обрадуется-то! Ему, знаешь, за московское восстание крест дали, настоящий, и на Тверскую перевели, вот обрадуется-то! А знаешь, Петруша, — Плотников наклонился и заговорил совсем тихо, — я в тебя, Петруша, как в Бога верую, и не ладится, бывало, в делах что, только о тебе подумаю, имя твое произнесу громко, смотришь, все опять по-старому, и думаю так, придет конец — помирать мне придется, а я тебя возьму и покличу, и придешь, и смерть мою остановишь, кошкой паршивой замяучу и опять человеком сделаешь. Так-то, Петруша, вот как я о тебе думаю.

Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина.

И странное дело, вспоминая старое, даже о какой-то особенной лавровской окрошке, которую любил Маракулин, и в вере своей признаваясь, Плотников не полюбопытствовал и ни разу даже не заикнулся спросить, как живется Маракулину, а еще страннее то, что, не спуская глаз с Маракулина, казалось, видит Плотников совсем кого-то другого — не Маракулина, кого — Бог знает. А может быть, видел он и как раз не такого, чтобы о каких-то делах спрашивать и любопытствовать. Ведь у Иверской о делах не спрашивают! И было чудно и странно.

Еще день прожил Маракулин у Плотникова. Плотников возил его на Ильинку в амбар, потом в Тверскую часть к Аркадию Павловичу, которого к большому огорчению Плотникова в части не оказалось, а вечером проводил на вокзал. И на прощанье еще раз повторил, что верует в него, как в Бога, и помирать будет, а увидит его, с одра смерти встанет, замяучит паршивой кошкой и опять в человека обратится.

Уж в вагоне ночью за Клином Маракулин вдруг спросил себя, не снилась ли ему Москва?

Все было чудно и странно: и то, что Плотников верует в него, как в Бога, и то, что таскался он зачем-то на Ильинку в амбар и даже к приставу в Тверскую часть, к Аркадию Павловичу, а на Калитниково, на кладбище не прошел. А ведь, ему непременно надо было пройти на Калитниково, постоять у могилы, ну, хоть только постоять, только взглянуть, взглянуть и проститься.

И какая-то тоска хлынула на него.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

День с утра бегала Вера Николаевна по своим массажам, а вечера просиживала за учебниками: готовилась она на аттестат зрелости и, не оставляя заветной своей мысли, во что бы то ни стало, хотела поступить в Медицинский институт. Занималась с Верой Николаевной Анна Степановна, дела у которой в ледневской образцовой гимназии шли неважно.

Леднева — начальница гимназии пока что, ввиду каких-то таинственных обмундировочных, выдавала ей жалование из своих — из собственного кармана, сопровождая свою щедрую ссуду излюбленными рассуждениями своими о добрых делах вообще, об упадке нравственности и о безнравственности и о жертвах своих: она сама в своей собственной гимназии бесплатно уроки давала!

По рассказам Анны Степановны, одному Богу известно, что творилось в гимназии. Сумбур стоял образцовый в образцовой гимназии. И не то, чтобы подобралась одна вольница, ремень-ребята, нет, не в шалостях дело, а в том, что ученицами, как доходной статьей, дорожили, и такое отношение детьми прекрасно оценивалось. Конечно, никаких воздействий не полагалось, и отметки надо было подгонять такие, чтобы родителям не пришло в голову взять свою дочь от Ледневой и отдать в другое училище. Кроме того, сама Леднева — начальница, действительно, давала уроки и не только учила, но и любила присутствовать на уроках, проверяя вопросами своих даровых учителей. И выходило все далеко не по программе и совсем не по тем учебникам, которые министерство, одобрив, утвердило: так в Великую французскую революцию действовали вовсе не Робеспьер и Марат, как учить принято, — что Робеспьер и Марат! — действовал Гуго Копет и погибал за свои злодеяния с королем Людовиком.

Образцовый сумбур завершался образцовой теснотой и холодом в образцовой гимназии. Холод был самый настоящий крещенский: печей никогда не топили и не только в классах, что требовалось последним словом гигиены, но и в учительской. Правда, кажется, дети особенного лишения не чувствовали: дети прыгали, бегали, танцевали — сущий содом стоял в гимназии, но учителям как-то не совсем удобно было содом подымать, втихомолку содом не подымешь, а шуметь непристойно. На все же заявления у Ледневой начальницы один ответ был:

— Это еще что, — говорила начальница, — вот вы посмотрели бы в карасевской гимназии да побывали бы в спасской, там вот, действительно холод!

Ответ Ледневой переносил Анну Степановну из Петербурга в родной Пурховец, напомнив ей пурховецкого инспектора народных училищ, знаменитого Образцова.

А этот знаменитый Образцов какой-то стороной своей доводился Ледневой не больше, не меньше, как единокровным и единоутробным братом.

Раков историк отзывался о нем весьма почтительно. По словам Ракова, живи Образцов в древней истории, имя его обязательно начертано было бы в числе прочих изречений в каком-нибудь Дельфийском храме, а голова украсила бы вершину афинского Парфенона. И Раков историк не ошибался.

Когда какой-то учитель пожаловался Образцову, что в школе сыро и холодно и всего шесть градусов, вот ответ Образцова, достойный самой Ледневой: «Помилуйте, шесть градусов, воскликнул Образцов, это еще благодать! А вот в Покидошенской губернии, когда я там инспекторствовал, приезжаю я раз в школу, дети в тулупах, учитель в шубе, в калошах. Посидел я немного и сам продрог, хочу сделать отметку о своем посещении, чернила замерзли. Учитель дул, дул в чернильницу, грел, грел ее, ничего не действует. Так я и уехал без отметки. Вот какой бывает холод, а у вас еще благодать!» А когда какой-то учитель на тесноту пожаловался, что школа битком набита, и тут Образцов не ударил лицом в грязь: «Помилуйте, воскликнул Образцов, не видали вы тесноты! В Покидошенской губернии, когда я там инспекторствовал, заехал я раз в церковную школу — богадельню. Так в одной комнате там и кровати богаделок и гусыня в лукошке на яйцах гогочет, и теленок мычит, и тут же детишки на пяти партах занимаются, ступить буквально негде, а воздух такой, что у меня дух захватило. Вот какая теснота бывает, а у вас еще благодать!» И тому учителю, который заявил о массе лягушек в школе, заползающих даже под одеяло, Образцов дал отповедь подлинно дельфийскую и Пурховец или Покидош, все равно, попал волей-неволей в Ракову древнюю историю. «И вовсе не масса, воскликнул Образцов, какая-нибудь дюжина скачет, уж и масса. Не видали вы массы! В Покидошенской губернии, когда я там инспекторствовал, видел я школу, так потолок там буквально кишит тараканами. Хлопнешь дверью, а они, как дождь, сыпятся. Вот это масса! Приехал я из школы домой, раздеваюсь, а тараканы по мне, как по потолку, жена даже перепугалась, да скорей меня на мороз, там я и разделся. А у вас еще благодать!» Да, Раков, историк, как всегда, был прав.

Но если имя знаменитого пурховецкого инспектора следовало вписать в числе прочих изречений в каком-нибудь Дельфийском храме, Ледневу начальницу, обладавшую великим искусством не тратить ни копейки из своего кармана и ловко проводившую за нос не только своих изголодавшихся учителей, но, как говорили, и само министерство, Ледневу следовало почтить куда познатнее.

Проходила зима. Вместе с снегом уж тая, расползалась черная гора на Бельгийском дворе. Наступала весна с своей Пасхой.

Невесело встретили Пасху, как невесело прошло Рождество.

Василий Александрович — клоун выписался из больницы, поджила у него пятка, но все-таки прежнего нет, не вернуть, — пятка уж не такая, и стал он вроде, как без пяток: пройдет на угол Гороховой до газетчика и обратно — только и всего. Вере Николаевне вместо экзамена на аттестат зрелости доктор посоветовал, не теряя минуты, куда-то в Абас-Туман отправляться: с легкими что-то не очень-то ладное оказалось — скрип какой-то у ней и шип в легких. Анна Степановна от образцового ледневского порядка просто с ног валилась и все только улыбается, все улыбается своею больной страшной улыбкой.

На Пасху на Бурковом дворе все было, что бывало из году в год на большие праздники с тех самых пор, как на Фонтанке Буркова дом стоит: случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, караул и участок, но все в высшей степени и громче будничного.

У акушерки Лебедевой опять покража случилась, но уж не шубу зимнюю меховую украли, а тридцать два рубля, скопленные на шубу, — в чулке деньги лежали в запертом комоде, чулок остался, а денег не разыскали, как в печке сгорело. Опять винили швейцара Никанора, что не доглядел, а где Никанору углядеть: он и день на ногах и ночью вставай на звонки, так круглый год. Конечно, умный вор — свой, ничего не поделаешь! Пекарь Ярыгин из Бурковской булочной, нахристосовавшись в первый день, залег вечером на доску спать над квашнею, да во сне, знать, перевернулся неловко и упал в тесто, да за ночь-то его и засосало, хватились наутро — а уж только одни ноги из квашни торчат, хороший был пекарь

Ярыгин! Станислав конторщик и Казимир монтер, вздумав поразвлечься, шутки ради подпоили Еркина паспортиста. А Еркин, строго соблюдавший свой новогодний зарок братцу не пить водки, от долгого воздержания, хватив стакан злой перцовки, взбесился и полез в драку — и все это среди бела дня на дворе в то время, как в углах девицы в черных платочках и монашки-сборщицы в сапогах откалывали Горбачеву Христос воскресе из мертвых. Казимир-то ускоконул, а Станислав попался, сгреб его Еркин да на землю, ущемил, придавил коленкой, хапнул и откусил нос, а случившийся тут же на дворе рыжий губернаторский пес Ревизор откушенный Станиславов нос съел. Сам Бурков, бывший губернатор, самоистребитель, возвращаясь в первый день Пасхи из каких-то важных гостей, забыл на извозчике яйцо и, спохватившись только наутро, заявил полиции о розыске пасхального извозчика с этим, должно быть, замечательным яйцом, о чем оповестили на третий день все петербургские газеты. И на третий же день бурковские ребятишки, играя в военный суд, приговорили швейцарова Ванюшку — Никанорова сына — к смертной казни через повешение и приговор привели в исполнение: потащили мальчишку в каретный сарай и там на вожжах вздернули. Едва отходили, хлюпкий мальчонка, посинел, чуть не задохнулся. Наконец, и совсем непредвиденно муж и жена Ошурковы покончили самоубийством. И никто по двору понять не мог, с чего бы им кончать с собой: и десять комнат — квартира и все десять комнат всякими вещицами изнаставлены и аквариум с рыбками. «Хорошие были господа!» — в один голос говорила прислуга, кухарки и горничные, никогда подолгу не державшиеся из-за этих разных вещиц у Ошурковых.

Вскоре после Пасхи как-то на Фоминой Сергей Александрович, заключив с театром условие о поездке за границу, зашел вечером к Маракулину чаю попить. К чаю подошла и Вера Николаевна и Анна Степановна, пришел с палочкой и Василий Александрович — клоун. Разговор шел о дамаскинской театральной заграничной поездке, в которой сам Сергей Александрович видел чуть ли не спасение России. По его словам, Россия, задыхающаяся среди всяких Раковых, Лещевых, Образцовых, Ледневых, Бурковых, Горбачевых и Кабаковых, впервые своим ис-

кусством покажет себя городу великих людей — сердцу Европы — Парижу, и победит.

— Чего в самом деле, — сказал Сергей Александрович, расходившись, как на каком-нибудь театре, — все поедем, всем за границу надо, хоть на месяц, на неделю, все равно, только взглянуть и от всей этой бурковщины освежиться, и тебе Василий, мы тебя дотащим! и вам, Вера Николаевна, забудете Абас-Туман!

— А на какие мы деньги поедем? — улыбалась Анна Степановна.

— Как на какие деньги?

— Куда уж нам за границу, — заметила Вера Николаевна.

— Через край, брат, хватил с своим Парижем, вот что!

— Я достану денег, — сказал Маракулин, вспомнив вдруг о Плотникове, — тысячу рублей достану! — и сказал это Маракулин с такою верой и так твердо, что все ему поверили, и о деньгах уж больше не было разговору.

Вопрос был решен: все едут за границу в город великих людей — в сердце Европы — Париж. Голова у всех закружилась. Строились предположения и в предположениях развивались всякие подробности и с таким жаром и верою, словно бы с этой поездкой за границу действительно связано было спасение России — их спасение, и стоит им только переехать границу, так оно и начнется.

Там, где-то в Париже, Анна Степановна найдет себе на земле место и подымется душою и улыбнется по-другому, и там, где-то в Париже, Вера Николаевна поправится и сдаст экзамен на аттестат зрелости, и там, где-то в Париже, Василий Александрович снова полезет на трапецию и будет огоньки пускать, и там, где-то в Париже, когда Сергей Александрович, танцуя, побеждать будет сердце Европы, найдет Маракулин свою потерянную радость.

— Верочку бы отыскать, — схватился вдруг Маракулин, — Верочку бы взять с собою, чтобы и она там, где-то в Париже, нашла свое: или сделается великою актрисой и отомстит Анисиму или пусть лучше явится к ней успокоение, мир Божий сойдет на нее, уймется месть и просто она простит ему.

И когда он сказал об этом, все согласились, что надо взять и Верочку.

— А я Верочку встретила, — сказала Вера Николаевна, — в Москве вы тогда были, иду я вечером домой по Гороховой, бежит мне навстречу, а холод такой, метель поднялась, сама в одной кофточке летней, косынкой белой повязана. «Верочка!» — окликнула я. Остановилась она, посмотрела, да как-то так на меня посмотрела, дрожит вся. «Верочка, говорю, пойдемте чай пить, к нам чай пить!» — а она поправила косынку, дрожит вся, да головой так сделала. На Семеновском мосту... а холод такой, метель поднялась...

Письмо к Плотникову в тот же вечер было написано и утром отослано заказным в Москву. Маракулин верил, что придут деньги, верил в Плотникову тысячу, как сам Плотников верил в Маракулина.

Адония Ивойловна, между тем, на богомолье двинулась: поехала она в Иерусалим, где демьян-ладон вон не выходит и горят свечи неугасимые: там омоется она в Иордань-реке, оботрется плакун-травой и спадет с нее, как еловая кора, все ее горе — горесть вся и слезы, уразумеет она корабли Парашины и не будет земля уходить и обваливаться на могиле мужа на Смоленском.

Свободная по вечерам, Акумовна гадала и выходила всем большая перемена и дорога, а Маракулину, кроме того, трава и елки, как тогда перед Москвою, только елки эти совсем близко были и не по краям — по краям они лежали у Веры Николаевны.

— Веселая дорога! — шептала Акумовна.

— В Париж едем, Акумовна, в сердце Европы!

— А не взять ли нам Акумовну, согласна Акумовна за границу в Париж с нами? — подмигнул Сергей Александрович.

— Что ж и поеду, девять лет воздухом не дышала, воздухом подышу! — не заставила себя упрашивать Акумовна, готовая, пожалуй, за Сергеем Александровичем не только в Париж, а и на край света пешком идти.

— Ну вот и отлично, оставим рабыню Кузьмовну квартиру стеречь и прощай Россия. Надо от всего отряхнуться! — и уж больше не выдержав, от прилива что ли чувств своих и надежд на успех России, на ее победу самого сердца Европы, Сергей Александрович так затропотал ногами, как петух крыльями.

— Верушку прихватить бы заодно, погибнет, бесстыжая! — вспомнила Акумовна о своей Вере, давным-давно погибшей на Бурковом дворе.

— И Верушку твою прихватим, все за границей будем.

Акумовна любовно раскладывала карты на Сергея Александровича.

— А наш турийрогский батюшка, хороший был, великий покаянник, о. Арсений, — вспомнила вдруг Акумовна, — перед смертью своей встал и спрашивает: «Готовы ли лошади?» «Какие, батюшка, лошади?» «Да, ведь, я, говорит, только что молодых повенчал, на свадьбу меня зовут за границу ехать!» Да и помер.

— Поп попом и помрет! — усмехнулся Сергей Александрович, следя за картами.

А Маракулин почувствовал, что где-то дрогнуло в нем, словно сломилось что-то, но надежды встряхнули, выпрямили. Все надежды были на Плотникова и ни о чем другом не думалось. Надежды были силами.

Пришел май, белые палатки поднялись на Бельгийском дворе, навезли во двор кирпичей и песку, начался ремонт дома, а по вечерам, заливаясь, забренчала балалайка — этого не русского убогого добра на Бурковом дворе вволю, и уж, примостившись на подоконниках, стали высовываться заморенные за зиму и взъерошенные головы, в надежде, должно быть, погреться весенним майским солнцем.

А от Плотникова не было ответа. И в душу Маракулина закрадывалось жуткое беспокойство, только и сам он себе признаться в этом боялся и никому не говорил. Ответ придет, должен прийти! Они должны и они будут за границей в городе великих людей, в сердце Европы — Париже.

Там, где-то в Париже, Анна Степановна найдет себе на земле место и подымется душою и улыбнется по-другому, и там, где-то в Париже, Вера Николаевна поправится и сдаст экзамен на аттестат зрелости, и там, где-то в Париже, Василий Александрович снова полезет на трапецию и будет огоньки пускать, и там, где-то в Париже, когда Сергей Александрович, танцуя, побеждать будет сердце Европы, найдет Маракулин свою потерянную радость, Верочку отыщет, и там, где-то в Париже, Верочка сделается великою актрисой и мир Божий сойдет на нее,

и там, где-то в Париже, катучим камнем докатившись до Парижа, снимется с Акумовны родительское проклятие и подышит Акумовна воздухом, которым девять лет не дышала, и уж не надо ей будет к Государю добиваться, не надо будет пить настоя из лошадиного навоза, — там, где-то в Париже, не погибнет и ее Вера, давным-давно погибшая на Бурковом дворе.

Вера побеждала всякое сомнение, рассеивала силою своей и крепостью всякое беспокойство, Маракулин верил в Плотникову тысячу, как сам Плотников верил в него.

Всего неделя оставалась Сергею Александровичу до его заграничного отъезда и было решено, что с театром он поедет вперед и откуда-то из Парижа напишет, а к тому времени получатся деньги и чуть ли не весь Бурков двор двинется прямо с Фонтанки в Париж.

И наступившая неделя, полная тревоги и ожидания между верою и сомнениями, надеждой и безнадежностью сама по-своему все решила.

У Анны Степановны кончились экзамены и, должно быть, таинственные обмундировочные штатные или подъемные или прогонные — все по-разному их звали, получились, наконец. А такие деньги, как оказалось, однажды выдаются учителю, и, само собой, Леднева от места ей отказала: Анне Степановне будто бы и трудно в гимназии и недочеты за ней водятся, — кофточку с открытой шеей носит она, неприлично, и улыбка у ней такая, батюшку — законоучителя Аристовулова улыбкою смущает она, тоже неприлично, пойдет слава, скажут: в ледневской образцовой гимназии учительница батюшку совращает, — и это совсем неприлично! Словом, уж если захочет человек человека по какой-нибудь своей бесспорной причине опачкать, так уж постарается, на то он человек. Само собой, и кофточка с открытой шеей и батюшка Аристовулов, совращаемый Анной Степановной, все это тонуло в излюбленных рассуждениях о добрых делах вообще, о упадке нравственности и о безнравственности и о молодом деле, которое надо поддержать и о жертвах: сама она, Леднева начальница, в своей собственной гимназии бесплатно уроки дает и к тому же кормит двадцать учителей! и что все ее, Ледневу начальницу, хорошо знают — весь Петербург, и сама генеральша Холмогорова — ее друг.

Так все просто кончилось у Анны Степановны, очень просто, и пошла она, улыбаясь, — больно на душе было за ее улыбку, — пошла от Ледневой по своей дорожке — от Лещева к Ледневой, от Ледневой к Петровой, к какой-нибудь сестре Ледневой, пока не перестанет улыбаться.

И пришел, наконец, так долго, так много, так нетерпеливо ожидаемый ответ от Плотникова: через банк перевел Плотников Маракулину двадцать пять рублей. И уехал Сергей Александрович с театром за границу — в Париж, побеждать русским искусством сердце Европы. Перед отъездом нанял дачу где-то в Финляндии и уговорил Веру Николаевну и Анну Степановну поселиться вместе с Василием Александровичем, за которым все еще требовался внимательный уход, да и не скучал чтобы он очень без пяток с своей палочкой. И во главе с рабыней Кузьмовной двинулись вместо Парижа куда-то в Тур-Киля: и Вера Николаевна и Анна Степановна и Василий Александрович — клоун. И остались на Бурковом дворе лето летовать Маракулин да Акумовна.

— Я к Государю пойду: как помирать, руки так — и все расскажу! Я к Государю пойду, нагишом пойду, нагая: как помирать, руки так — и все расскажу.

Но Маракулин ничего уж не возражал Акумовне и даже не сказал ей ее же словами ее конечное, ее отходное — кару и награду людям: обвиноватить никого нельзя! Все в нем как-то замолкло и заглохло.

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а Маракулину, должно быть, надо было талон написать как-то да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем: видеть, слышать и чувствовать.

Но он не вынес жизни так не для чего, только видя, только слыша, только чувствуя, и запросил покою: выдумал себе генеральшу — бессмертную, безгрешную, беспечальную вошь, и нашел себе ее царское право в надежде вернуть свою потерянную необыкновенную радость.

И вот на ровном и прямом безнадежном его пути, где пропадала последняя тень и след надежды, уж заработали тихие и цепкие, как червячки, злые темные силы надвигавшегося отчаяния, и отгрызая и отвязывая его от жизни — его крепкий стержень и основу жизни.

С утра до вечера ходил Маракулин по Петербургу из конца в конец от заставы до заставы, от тракта до тракта, ходил, как мышь в мышеловке. В кармане лежала у него новенькая Плотникова бумажка — двадцать пять рублей, как лежал когда-то новенький шелковый Дунин платок, с его меткой, вышитой крестиком, и он забыл о новенькой Плотниковой бумажке, как когда-то о Дунином шелковом надушенном платке.

И все-таки до чего живуч человек: бросает его, бьет его, а он знай себе, как петух резаный, и без головы ходит, ровно бы и безголовый зерно ищет, хорохорится. Нашел себе Маракулин занятие, нашлось ему чем душу отвести: он сделал открытие и по важности своей это открытие его ничуть, кажется, не уступало, хотя бы тому же плотниковскому запойному предприятию эксплуатации мухи, как двигателя.

Стоит будто бы выйти на улицу, как независимо от воли твоей попадаешь под власть особого уличного закона и уж не от тебя зависит, как ступать и как держаться, а от какой-то волны или струи уличной, в которую попадешь. Попадешь в одну волну, и словно все смеются над тобой, гримасничают тебе, фыркают — это женщины, а мужчины губы выпячивают, так катушкою губы вертят, словно свистнуть собираются, а вот катит другая волна — и вид совсем другой, у мужчин лица зверские, хмурые, угрюмые, редко встретишь женщину, а если уж попадется, то в одиночку — идет и хохочет, никого не видит, как слепая, сама с собою хохочет, а вот и еще волна широкая — одни женщины и нет, кажется, злее глаз и злее улыбок, они, осматривая одна другую, колят глазами и улыбаются, словно шпаря улыбкой одна другую, злые жены, а вот и еще волна — люди, как люди, идут скученно, бодро, а между ними и не дети вовсе, а уродцы-карлики изможденные с болтающимися, как плети, вялыми руками и не по росту огромной с наклоном вперед головой, и еще есть много и разных волн, и есть волна относливая — попадешь и погонит

тебя, все бегут и люди и лошади и старики и дети и старухи и трамваи и автомобили.

И сделав это открытие свое, Маракулин ухватился за него с упорством, как, бывало, за отчет директору. Ведь, он теперь все равно, как уж мертвый, ведь, его похоронили. — «А мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!» — вспоминались ему слова Глотова кассира Александра Ивановича, сказанные тогда в театре. Да, давно похоронили, и он как мертвец, как покойник, как нездешний, может легко и просто и беспристрастно за здешними, за живыми следить. И теперь он будет проверять себя, свое открытие.

Но для чего проверять, и какой смысл в его открытии, кому оно понадобится и для чего, для удовольствия какого мертвеца, покойника, нездешнего или здешнего, живого? Этого он не спрашивал, это не касалось его, — все в нем как-то замолкло и заглохло — и просто, должно быть, не для чего, как не для чего резаный петух хорохорится.

Но он ошибся, проверять некогда было.

Проходя ночью по Невскому, Маракулин встретил Верочку. Так было: у Думской каланчи делали облаву и, как всегда, по Невскому металась сотня безалаберно разодетых женщин, хватаясь за прохожих и умоляя только проводить немного, и среди этих женщин бросилась в глаза одна, так же нелепо, как и другие, перескакивавшая с тротуара на мостовую и с мостовой на тротуар, только вся в темном — миновав околодочного, пустилась она к Аничкову мосту. В этой одинокой темной — все было на ней темное, и платье, и шляпа, и перчатки — он узнал Верочку. И вдруг вспомнив о новенькой Плотниковой бумажке и, комкая двадцатипятирублевку, — теперь он не нищий! — бросился он ей вдогонку. Но у Аничкова моста Верочка, смешавшись с толпою встречных, пропала.

— Верочка, — покликал он, озираясь то на Фонтанку, то на Невский, — Верочка! — и темное, что-то холодное обвилось змеей вокруг его сердца.

И наутро первое, что в нем подумалось и твердо решилось, непременно с вечера же идти на Невский и караулить Верочку. И день он просидел дома. В этот день приходился Семик — четверг перед Троицей и Акумовна особенно гадать собиралась: семицкое гаданье, по ее словам, особенное, как и сон семицкий, всю правду скажет.

На Бурков двор зашли бродячие музыканты: гармонья и бубен.

На гармонье играл какой-то из мастеровых не то слесарь, не то водопроводчик — высокий, черномазый, а бубном пристукивала девочка в матросской рубашечке и шапочке, так лет двенадцати девочка, не разобрать точно: у девочки ноги не было, одна нога. Она опиралась на палку, а на согнутом колене держала бубен.

Девочка пела под гармонью.

Она пела какую-то фабричную песню, в которой шли вперемежку и стихи вроде: Я опущусь на дно морское, я полечу за облака, и из цыганских всяких троек и жгучих очей, и чувствительные слезинки, и вдруг прорывало старинной стариной. Выговаривала она чисто, все можно было расслышать, каждое слово. Но дело не в слове. Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степною ширью и морским раздольем упоена была песня. И бубен падал, как падает сердце.

Обступили музыкантов ребятишки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом стали, притихли и, не отрываясь, глядели на одноногую девочку, как когда-то на кошку Мурку, катающуюся по камням от боли. А девочка пела. Персианин-массажист из бань, он всегда около ребятишек, черный тут же примостился, кружил белками. А девочка пела.

Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степною ширью и морским раздольем упоена была песня. И бубен падал, как падает сердце.

Ребятишки все теснее придвигались к одноногой девочке, словно не хотели отпускать ее от себя. И закрыли ее всю собою, так что ее не видно стало, и, казалось, это земля пела, степь пела, море пело — ширь и раздолье, сердце земли. И было страшно, вот кончится песня, вот кончит петь девочка и уйдет. Не хотелось, чтобы она уходила.

Но пение кончилось. Играла одна гармонья. Девочка, опираясь на палку, заковыляла по щебню и словно кружилась по двору с своим протянутым бубном и без улыбки открытым чистым лицом глядела вверх к окнам, как кошка Мурка, катаясь на камнях от боли, глядела вверх к окнам.

Акумовна как-то по-детски горько заплакала, все, должно быть, вспомнив, все свое: катучим камнем коло белого света.

Маракулин бросился на улицу и уж за воротами догнал музыкантов.

— Как зовут тебя, девочка? — тронул он ее за руку.

— Марья, — ответила девочка, без улыбки глядя на него открытым чистым лицом.

Гармонист тоже остановился, приподнял картуз, должно быть, отец, черномазый такой, щербатый.

Маракулин схватился за новенькую Плотникову бумажку, скомканную, сунул ее девочке, двадцать пять рублей, и, не оглядываясь, пошел. А вдогонку за ним снова неслась широкая песня. Степною ширью и морским раздольем упоена была песня. И бубен падал, как падает сердце.

Он шел по своему ровному прямому пути на Невский. Уж наступала ночь. Там, на Невском, дождется он Верочку. Он всю ночь будет караулить ее. И не ошибется, ведь, белая ночь — белая не обманет!

Ночь-то белая не обманет: какая-то вся в темном толкнула его и, придерживая платье, пустилась к Аничкову мосту. Все было на ней темное, и платье, и шляпа, и перчатки — он узнал Верочку и бросился за ней. Но у Аничкова моста Верочка смешалась с толпою таких же, — она не одна была в темном.

— Верочка, — кликал он, — Верочка! — заглядывая в глаза каждой темной, и не две, не три, их было много, все они увертывались от него и снова где-то собирались и словно подползали к нему тихо и незаметно, темные и тихие, и темное что-то холодное обвивалось змеей вокруг его сердца.

И ночью, в эту семицкую ночь, приснилось Маракулину, будто сидит он у стола за самоваром в какой-то большой заставленной комнате, и все разбросано и раскидано, как после сборов перед отъездом, и люди все незнакомые — усталые, какие-то понурые в комнате. А по соседству с ним, и это он с отвращением заметил: курносая, зубатая, голая, с нею еще кто-то в темном — нагнулись над рухлядью, разбирают тряпки. И в досаде, схватив стакан, он наметил в пустой голый череп.

А она, курносая, зубатая, голая, поднялась да к двери:

— В субботу, — стучит зубами, смеется, — ты не забудь дать фунт Акумовне, — стучит зубами, смеется, — а мать будет в белом, — смеется зубатая.

— Чего фунт, крупы что ли? или серебра? — заспорил он с ожесточением, словно бы оспаривая какое-то последнее право свое не подчиняться никаким срокам, никакой субботе, — да ну же, не дурачься! настоящий фунт стерлингов, да?

— В субботу, — смеется курносая, зубатая, голая и, не оглядываясь, стучит уж по каменной лестнице вниз во двор.

А на дворе — полон двор, да это Буркова двор, высыпали жильцы из всех квартир и из флигеля и Горбачевских углов: все семь дворников — старший Михаил Павлович и Антонина Игнатьевна, и паспортист Еркин, Станислав конторщик с откушенным носом, и Казимир монтер, швейцар Никанор и Ванюшка, Никаноров сын, приговоренный ребятишками к смертной казни через повешение, и ребятишки, приговорившие Ванюшку, и персианин-массажист из бань, и та девочка, которая Мурке молока принесла, и сапожники, пекаря, банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки, сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, водопроводчики, наборщики и разные механики и мастера электрические с семьями, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр и столяр и сбитенщик и все разносчики, словом, весь Бурков дом — весь Петербург.

И все глядят вверх к окну, как глядела кошка Мурка, катаясь на камнях от боли, как глядела бродячая певица — девочка Марья, кружась по двору на одной ноге с своим бубном.

— Что она сказала? — спрашивают Маракулина.

А Маракулин стоит будто в окне, как какой-нибудь старец Кабаков, молитвою вызывающий глас с небеси, стоит перед народом.

— Один из нас умрет! — говорит Маракулин.

И в ответ шепчет ему весь Бурков двор в тоске смертельной:

— Не я ли, Господи? Не я ли, Господи?

А высоко, куда выше четырех кирпичных бельгийских труб с громоотводами, парят зеленые, как птицы зеленые, аэропланы, и громадными зелеными крыльями застилают небо.

— Не я ли, Господи? Не я ли, Господи? — шепчет весь Бурков двор в тоске смертельной.

И уж идет будто Маракулин домой на Фонтанку и странно, слышит, как звонят ко всенощной у Воскресения в Таганке, и не на парадное входит он, а с кухни, приотворяет дверь — у плиты в кухне сидит какая-то женщина, на Акумовну похожа, только и не Акумовна, вся в белом. «Мать будет в белом!» — вспомнились ему слова курносой, зубатой, голой, и он бросился в комнату.

Та же комната вся заставленная, и все разбросано и раскидано, как после сборов перед отъездом, только нет людей незнакомых, ни души в комнате, только мать сидит, одна его мать с крестом на лбу.

— Уж пришла, села, — говорит мать, она говорит про ту, которая в кухне перед плитой сидит в белом, и вдруг заплакала.

А он стал на колени, наклонил, как под топор, свою голову в отчаянии и тоске смертельной.

В отчаянии и тоске смертельной проснулся Маракулин. Была пятница. И пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему — суббота, один день остался, он поледенел весь. И не хотел верить сну и верил и, веря, сам себя приговаривал к смерти.

Родится человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных Богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но и час смерти утаил от него.

И, поверив сну своему, почувствовал Маракулин, что не вынесет, не дождется субботы и в отчаянии и тоске смертельной, с утра бродя по улицам, только и ждал ночи: увидать Верочку, все рассказать ей и проститься.

А на его ровном и прямом безнадежном пути, где пропала последняя тень и след надежды, тихие и цепкие,

как червячки, злые темные силы надвинувшегося отчаяния отгрызали последние связи его крепкой основы жизни.

Трудно было ему отрываться от жизни.

А может быть, сон-то сном, а на проверку совсем и не то выйдет, почему это он так поверил сну? И разве можно верить какому-то сну, этак, пожалуй, Бог знает, до чего дойти можно! И никогда так не бывает, перед смертью снится всегда что-нибудь совсем простое, сапог теряют или еще что-нибудь, или за границу собираются ехать...

Маракулин, вспомнив о загранице, о том своем рае — Париже, очнулся.

Он стоял около какого-то забора, сплошь заклеенного объявлениями, и не мог признать, где, на какой улице стоит он. Из-за деревьев глядел шпиль Инженерного замка, но когда он пошел по забору и, как казалось ему, прямо на шпиль, шпиль вдруг пропал. А дальше он идти не решался, словно бы дальше и была его суббота, срок, час его. Повернул он обратно и опять увидел шпиль и смело пошел вдоль забора в противоположную сторону и шпиль долго держался перед глазами, но так же, как и в первый раз, вдруг пропал. А дальше он идти опять не решался, словно бы дальше и была его суббота, срок, час его. И он ходил по забору, следя за шпилем Инженерного замка, взад и вперед до положенной самому себе грани, в отчаянии и тоске смертельной.

Это беда его водила, беда метала с улицы на улицу, из переулка в переулок, отводила ему глаза, путала, это судьба его, которой не поперечишь и от которой не уйти.

Тоска своей смертельностью и отчаяние своей тяжестью, наконец, утомили его, срок и час забылись, голова опустилась и еще крепкие ноги вывели его на дорогу: он шел по Инженерной, и переходил улицу к Михайловскому дворцу.

И вот какая-то старушонка рваная, сморщенная, слезящаяся вся, уцепилась ему за руку перевести ее через улицу. И хотя была такая маленькая — кости одни, вцепившись костлявыми пальцами и повиснув, как безногая, показалась ему такой тяжестью, едва до рельсов дошел. А когда переступил рельсы, тяжесть старушонки словно еще увеличилась, и уж как под трамвай не попал он, одному Богу известно: мчавшийся, без умолку звонивший трамвай, пролетел так близко, что жарко стало.

Бросив старушонку, пустился Маракулин бежать.

И, пламенея и леденея, бежал он к Нарвским воротам, от костлявой старушонки бежал, от срока своего бежал и почему-то к Нарвским воротам, куда-то под Нарвскую арку, где, как казалось ему, нет и не будет костлявой старушонки, где забудет он о сроке, о своем часе, о субботе.

Но почему-то дойдя до Гороховой, не пошел по Садовой, а повернул по Гороховой к Фонтанке.

На Фонтанке около Буркова дома в переулке ловили какую-то барышню, должно быть, — революционерка. Городовые оцепили переулок и проходу не было. Маракулин остановился.

За барышней долго гонялись и наконец, какие-то в штатском, верно, сыщики тесно окружили ее, и повели к извозчику. Чем-то напоминала барышня — революционерка бродячую певицу — девочку, или открытым чистым лицом своим напоминала она Марью, только румяная и высокая. Шпильки выпали у ней и соломенная шляпа сбилась и растрепались большие русые волосы. Сел с ней пристав на извозчика и повезли.

«Мария Александровна, — подумал Маракулин, — вот она какая Мария Александровна, в жертву себя уготовавшая, готовая и еще раз умереть за человечество!» — и пошел дальше мимо Буркова дома по Фонтанке.

У Измайловского моста шагах в трех от пивной он догнал какую-то даму: не молодая уж, вся седая, но крепкая, здоровая шла она ровным шагом, словно гуляя для моциона. И когда Маракулин хотел обогнать ее, вдруг она пригнулась и как-то глупо побежала и в то же самое время из пивной один за другим выстрел и караул! И на тротуаре уж с пробитой спиной, уткнувшись в камни, лежала дама — здоровая, крепкая старуха и рядом, дымясь, лежал складной стульчик.

«Вот тебе и бессмертная!» — подумал Маракулин, узнав в убитой старухе свою несчастную генеральшу — сосуд избрания, ту самую генеральшу вошь, которую наделил он царским правом в свою жестокую бурковскую ночь.

И вот царское право слепою случайностью отнято, не помог складной стульчик.

С Фонтанки и переулков сбегался народ, с любопытством, с ужасом и с тем особым злорадством, с каким

смотрят живые глаза в мертвые, засматривали в лицо убитой. А она бессмертная, безгрешная, беспечальная неподвижно лежала с пробитой спиной, беспомощная, бездыханная, бессчастная.

— Это наша бурковская, генеральша Холмогорова! — сказал Маракулин подбежавшему городовому.

Понесли генеральшу — белый газ на ее шляпе, развеваясь, тянулся за нею паутиной. И Маракулин шел за нею впереди толпы за складным стульчиком. И опять мимо дома, не заходя домой, вышел он на Гороховую и так по Гороховой шел до самого Адмиралтейства, повторяя бессмысленно:

«Вот тебе и бессмертная! Вот тебе и бессмертие!»

В Александровском саду он было присел на скамейку и вдруг, как ужаленный, вскочил и опять пошел. Около памятника Петру остановился:

— Петр Алексеевич, — сказал он, обращаясь к памятнику, — Ваше Императорское Величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать! — снял шляпу, поклонился и пошел дальше, по Английской набережной через Николаевский мост на Васильевский остров.

На бульварчике между седьмой и шестой линией за Средним проспектом народ запрудил дорожку. Все стояли и хоть бы кто слово сказал, так было необычно тихо. Под деревом сидела старуха и, тряся головой, опутанной тяжелыми белыми волосами, только смотрела, и не слезы, кровь текла по щекам из ее смирных глаз тихими струйками.

«Не дождалась, — подумал Маракулин, — Лизавета Ивановна не дождалась, не сделала Божьего дела, не передала своего счастья, несчастная!» — и вдруг почувствовал страшную жажду, словно бы ожгли его эти кровавые тихие слезы.

Недалеко от Малого проспекта, на седьмой линии, около огромного дома в маленьком одноэтажном домишке пивная. Какой-то завалящий гривенник нашелся в кармане и Маракулин завернул в эту пивную: жажда мучила его невыносимо.

Он сел за грязный залитый столик лицом к окну, взял газету так, не читать, а так.

— Голодного накормить можно, бедного обогатить можно, — донесся знакомый голос и слова знакомые, — а коль скоро ты влюблен и предмет твой тебе не взаимствует, тут, хоть тресни, нет помощи!

«В Муркин день беспокойный старик Гвоздев, вот кто это говорил!» — вспомнил Маракулин и, положив газету, схватился за теплое пиво.

— Шутите все, Александр Иванович, я, Александр Иванович, намедни мышь съел на Афонском подворье, за пять рублей съел-с; с братией афонской спор держали. «Съешь, говорят, Гвоздев, твоя пятерка, а не съешь, нам подавай!» Хорошо, изловили сейчас мышку, на подворье мышей много, серенькая такая, мышонок. Снял я шкурку с мышонка, поджарил его немножко с боков для вкусу, разрезал на ломтики, посолил, благословился и скушал. Мышку-то скушал-с. Забрал пятерку, а самого смех душит, говорю: «Еще афонские, хе, пятерку за мышонка, да я у Прокопия Праведного этакую крысищу за рубль без соли съел!» Мне, Александр Иванович, хоть бы только как-нибудь прожить!

А в ответ Гвоздеву протянулся чей-то растроганный голос:

— Из-за вас я погибаю славненькие глазки!

— Я сам, Александр Иванович, до женщин охотник!

И уж что-то грузно повалилось на липкий пол и забарахталось и заплакало горько, как только плачут дети, как Акумовна плакала горько, все вспомнив под пение Марьи, все свое.

Допив теплое пиво и пуще растравив жажду, Маракулин вышел.

Он шел по своему ровному прямому пути на Невский. Уж наступила ночь. Там, на Невском, дождется он Верочку. Он всю ночь будет караулить ее. Увидит Верочку, все ей расскажет, и простится с ней. И не ошибется, ведь белая ночь — белая не обманет!

Ночь-то белая не обманет: Верочка сразу появилась, он узнал ее в темном. Но и замер от ужаса: все женщины до одной были в темном — все было темное, и платье, и шляпа, и перчатки. И они не увертывались, они шли уверенно и важно мимо городового в белом, огибая городового в белом, словно в каком-то старинном торжественном танце, от Знаменья до Адмиралтейства и от Адмиралтейства до Знаменья.

— Верочка, — кликал он, — Верочка! — заглядывая в глаза каждой, ни одной не пропуская, и темное, что-то холодное обвивалось змеей вокруг его сердца.

Это — отчаяние обвилось вокруг его сердца.

И уж смерть извилистыми окольными путями подходила к его порогу.

И всю ночь бродил он в отчаянии и тоске смертельной, заглядывая в глаза каждой, ни одной не пропуская, останавливался на Аничковом мосту и там стоял, пропуская их всех перед собой, и они огибали его, как городового в белом, шли уверенно и важно, словно в каком-то старинном торжественном танце, от Знаменья до Адмиралтейства и от Адмиралтейства до Знаменья.

И когда взошло солнце и все они темные сгинули куда-то, не осталось ни одной темной, никого не осталось на Невском, только городовые в белом, Маракулин повернул по Литейному к Финляндскому вокзалу.

Он вдруг решил, — это как-то само собою решилось: он поедет в Тур-Киля на дачу к Василию Александровичу, к Вере Николаевне, к Анне Степановне, они, ведь, его сколько раз выручали, они его выручат, они ему молока дадут, ему есть хочется, — ему, ведь, всего двенадцать лет! — они ему молока дадут.

Была троицкая суббота — канун Троицы, и по Литейному уж везли троицкие деревца: кудрявые зеленые возы тянулись по улице, такие зеленые — молоденькие березки.

На Финляндском вокзале поездов еще не было и пришлось бы ждать, а сидеть на вокзале не хотелось, и Маракулин пошел по шпалам, но, пройдя немного, у моста сошел с путей, сел у канавы и заснул.

И спал он крепко, как спал, должно быть, Плотников те двое суток своих в несчастном жестоком запое.

Когда же Маракулин проснулся, был вечер — конец субботы. И снова пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему — суббота, он поледенел весь. И не хотел верить сну своему и верил и, веря, сам себя приговаривал к смерти.

Родится человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок,

указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных Богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но и час смерти утаил от него.

И суббота наступила, суббота подходила к концу, срок настал и час близился.

А на его ровном и прямом безнадежном пути, где пропала последняя тень и след надежды, тихие и цепкие, как червячки, злые темные силы надвинувшегося отчаяния догрызали последние связи его крепкой основы жизни.

Трудно ему было отрываться от жизни.

А может быть, сон-то сном, а на проверку совсем и не то выйдет, почему это он так поверил сну? И разве можно верить какому-то сну, этак, пожалуй, Бог знает, до чего дойти можно! И почему он Акумовне не рассказал этот сумрачный сон свой, ну пусть бы Акумовна сообразила, она, ведь, божественная, она сказала бы, правда или неправда.

Маракулин, заволновавшись, бросился к трамваю, уже сел в трамвай, но, вспомнив, что у него нет ни копейки и последний завалящий гривенник он в пивной оставил, соскочил и, чуть не обгоняя трамвай, побежал на Фонтанку.

И он добежал до Фонтанки до Буркова дома, но в квартиру не легко ему было проникнуть. Ему казалось, что звонил он с полчаса, по крайней мере, а никто не отпирал и не подавал голоса, и бросил он звонить, принялся стучать в дверь, но и на стук никто не отозвался, в квартире было тихо и только ветер посвистывал в щели — должно быть, трубы в печах были раскрыты, жутко посвистывал ветер.

Еще позвонил, Маракулин еще постучал, постоял, подождал и спустился в швейцарскую, но и Никанора не оказалось — куда-то в лавочку ушел, а Ванюшка, Никаноров сын, ничего не знает: видел Акумовну поутру и больше к ней не подымался, Акумовна дома, а сам все смеется чего-то.

А если дома она, то отчего не отзывается и дверь не отпирает, ведь он же с полчаса звонил, по крайней мере, и стучал не меньше, уж не померла ли старуха?

И он вышел в переулок и, зайдя в ворота, пошел к черному ходу. Странно, подымаясь на лестницу, вдруг услышал, как звонят к всенощной у Воскресения в Таганке, и в тревоге удробило сердце.

Дверь в кухню оказалась незапертой. Акумовна сидела у плиты, и голова у ней была повязана белым, — в белом платке. «Мать будет в белом!» — вспомнились ночные слова из семицкого сна. И перед Акумовной на блюдечке лежали два яйца, третье яйцо она ела. «Фунт! — мелькнуло у Маракулина, — вот он какой фунт!»

Акумовна не улыбалась, и глаза были чужие, какие-то выпученные. И не Акумовна это у плиты сидела, нет, только похожая на Акумовну. И ужас обуял Маракулина.

— Батюшка, барин! — поднялась вдруг Акумовна, но не своим голосом сказала она, сиплым пропойным, только похожим на Акумовнин.

И, потеряв последние силы, Маракулин схватился за косяк двери и застонал.

— Батюшка, барин, Господь с вами, батюшка, барин, Петр Алексеевич, сейчас самоварчик, сию минуту! — затопоталась по-настоящему настоящая Акумовна и, бросив яйцо, ухватила со стола красный журавлевский самовар, застучала трубой.

Маракулин опустился на Акумовнину табуретку, но сказать ничего не мог, сжимало горло и губы дрожали.

— Батюшка барин, — топоталась Акумовна около самовара, — со мною-то что было, и чуть было не померла я, да спас Господь, смиловался.

А с Акумовной подлинно такое было, — и как это она еще не свихнулась, — действительно, спас Господь, смиловался. И уж не мудрено, что ни звонка, ни стука она не услышала. И как еще Маракулина она признала и голоса хватило у ней слово сказать, и помогут ли ей яйца, а ела она их, чтобы, хоть сипло, да все-таки говорить, не мычать по-коровьему, замычишь и по-коровьему!

Полезла Акумовна утром на чердак, белье у ней там кое-какое на чердаке висело, белье пошла поснимать, чтобы к Троице выгладить до всенощной, а кто-то и подшутил над ней: на чердаке ее запер. Стала она кричать и немало времени кричала, да услышать невозможно, некому: все квартиры пустые кругом — все на дачу уехали. И никому на чердак не надобится: ни одна кухарка, ни одна горничная на чердак не толкнется, — нет никого. И знает она, бесполезно, а кричит. Да и как не кричать! На чердаке оставаться — а до которых же пор? до осени? когда с дачи вернутся? или когда смилуется над ней, кто

ее запер, и придет и выпустит, да на это можно ли рассчитывать, ведь, и забыть могли, за делами забудется, мало ли! — оставаться ей на чердаке тоже никак нельзя. И уж голосу нет. И полезла она в потемках по чердаку шарить, забитое окно разыскивать: вспомнила, где-то под самой крышей было окно. Шарила она, шарила — нашла щелку, разыскалось окно. Вцепилась в доску, доску отдирать, да крепко доски держатся, сколько не бьется, все крепко сидят, а щелка маленькая, разве что мышонку пролезть. Да понадсела, ухватилась она обеими руками и высадила. Слава Богу, вольный свет! Перекрестилась да на крышу и поползла, да с перепугу на тот конец — на парадный к казармам поползла, ползет, ступить боится — нога соскользнет, а сама кричит. Доползла до трубы, встала она у трубы, сняла башмаки, кинула на улицу. Какие-то ребятишки подхватили башмаки и унесли. И стоит она у трубы босая, держится за трубу, кричит. И знает, что кричать так просто, не послушают, и кричит она, что барин, мол, вернулся, звонит барин, а она отпереть не может. Да шум на Фонтанке, пароходы, гудки автомобилей заглушают всякий крик. Босиком без башмаков не оскользнешься — пошла она от трубы, бродит по крыше и кричит свое: барин, мол, вернулся, звонит барин, а она отпереть не может. Услыхали маляры — соседскую крышу маляры красили: «Чего, говорят, бабка, кричишь, прыгай к нам!» — смеются. А как она к ним прыгнет, лестницу не дают, все лестницы заняты, она ведь не кошка. Но прошел первый страх, услышала голос человеческий, обвыклась она и сообразила — на другой конец, черный перейти ей и там по желобу во двор спуститься. Если по желобу влезать, рука может омлеть, а если по желобу спускаться и труба из рук не выскочит, то совсем легко — так и покатишься. Сообразила она, вспомнила и пошла на другой конец, на черный и уж прямо к желобу — голова у ней на высоте не кружится — да, ухватившись обеими руками за коронку желоба, ноги спускать стала, и уж трубу ловить, ногами прихватиться... «Остановись, бабка, кричит Никанор, не лазь, отопру!» — смеется. Ну, тут она обратно через всю крышу в окно да на чердак.

— Шесть часов промаялась, батюшка барин, чуть было не померла, да спас Господь, смиловался!

Самовар, между тем, поспел, красный журавлевский певун попыхивал, налаживаясь запевать вечернюю песню. Маракулин, за рассказом оправившись, прошел к себе в комнату.

А возможно, что весь сумрачный сон его не к нему вовсе, к Акумовне относился. Или это невозможно, за другого нельзя видеть? А почему бы и не увидеть!

Но суббота еще не кончилась, шла ночь, наступили последние часы, близился час идти на ответы: самому отвечать и требовать ответов.

Акумовна принесла самовар, доела для голоса яйца и вернулась к Маракулину и по привычке с картами в руках. Но Маракулин отказался от карт, ему не надо гадать, он ей свой сон семицкий расскажет, только пусть она скажет правду.

И стал он рассказывать весь свой сумрачный сон по порядку, отчетливо он его помнил, и рассказал он про курносую, зубатую, голую, назначившую ему срок — субботу, и о матери своей с крестом на лбу, как заплакала мать.

— Что этот сон означает, Акумовна?

Молчала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.

И снова пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему — суббота, он поледенел весь.

«Стало быть, — подумал он, — все правда — и почему Акумовна молчит? — стало быть, правда, сейчас, через несколько минут наступит ему срок, его час — конец?»

Родится человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных Богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но и час смерти утаил от него.

— Акумовна, так правда это или неправда?

— Я черный человек, я ничего не знаю, — ответила Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны.

И вот часы на кухне захрипели и медленно стали отбивать часы: час за часом. И пробило двенадцать. Кончилась суббота и началось воскресенье.

— Акумовна, двенадцать пробило? — робко спросил Маракулин.

— Двенадцать, барин, ровно двенадцать.

— Настало воскресенье?

— Воскресенье, воскресный день, барин, спите спокойно, Господь с вами! — Акумовна, оставив певучий журавлевский самовар, пошла себе на кухню спать.

А разве он может спать? Выждав, пока Акумовна угомонилась, и прикрыв самовар, Маракулин взял подушку и, положив подушку на подоконник, как делают Бурковские жильцы, летующие лето в Петербурге, прилег на нее и, держась руками за подоконник, перевесился на волю. Нет, он не заснет, он во всю ночь не заснет: суббота кончилась, настало воскресенье!

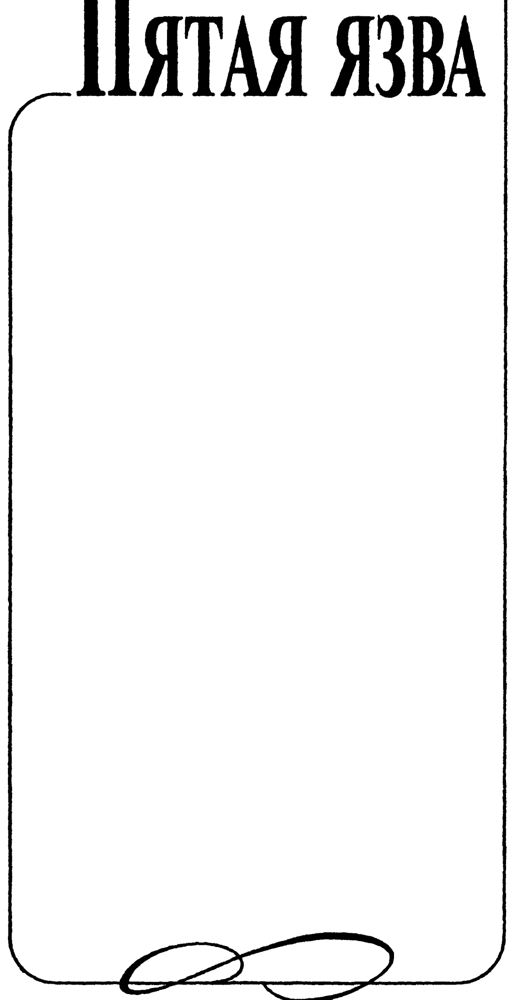
Было пусто на дворе, ни одного человека, и ни одного человека в окнах, только он один. И вдруг он увидел на мусоре и кирпичах вдоль шкапчиков-ларьков от помойки и мусорной ямы к каретному сараю все зеленые березки, — весь Бурков двор уставлен был березками и зеленые такие, — зеленые листики, и почувствовал он как медленно, подступает, накатывается та самая прежняя необыкновенная его потерянная радость: ключом выбивала откуда-то из-под сердца эта его необыкновенная радость горячая, и росла, наполняя сердце и, горячая, заполняла грудь. Уж ничего не видел он, только видел он березки, и вдоль березок, сама, как березка, та Вера — Верушка — Верочка и слипались ее руки с листьями, от листка к листку пробиралась она к сараю, будто по воздуху, и словно земля проваливалась по следу ее. И вот перепорхнуло сердце, переполнилось, вытянуло его всего, вытянулся он весь, протянул руки — и, не удержавшись, с подушкой полетел с подоконника вниз...

И услышал Маракулин, как кто-то, точно в трубочку из глубокого колодца, сказал со дна колодца:

— Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова.

Маракулин лежал с разбитым черепом в луже крови на камнях на Бурковом дворе.

# Пятая язва



## ГЛАВА ПЕРВАЯ
# ЛЮДСКОЙ ПУТЬ

В Студенце можно жить всякому, смотря по карману.

В Студенце Бобров не новичок: двадцать лет без малого служит Бобров следователем. Двадцать лет — не год, за такой срок к чему не привыкнешь, а, между тем, из всех жителей студенецких едва ли найдется еще кто, ну самый последний, ну, какой-нибудь Пашка-Папа́н — из бывших пажей босяк местный, о ком бы говорилось с таким раздражением, — о следователе Боброве всякий раз так говорилось, словно впервые он на зуб попался.

Александр Ильич Антонов, студенецкий исправник, на что уж, кажется, крут, а ничего.

— Барин ничего, только коготком бьется! — говорит про своего барина Филипп кучер.

А старик городовой Лукьянов столь же благодушно и не без достоинства шевелит своею щетиною:

— Я устоял, потому что под Шипкою был.

Исправник бьет ладонью по шее — такой прием — и виновный от неожиданности тут прямо носом и тыкался, или, выставив костяшки среднего пальца, хватит тебя под подбородок, что уж вернее и самого лагутинского кулака, а становой Лагутин — крепкорук, если в сердцах, так тарарахнет, через стенку пролетишь.

Следователь Бобров за всю свою службу пальцем никого не тронул, ну хоть бы так вид сделал — погрозил кому, и даже таких пустяков не слышно: у следователя, когда он допрашивает, руки всегда на столе, — пальцы сухие, долгие, как пристыли.

Тоже и пить — пьяным Боброва никто не видал.

А в Студенце кто не пьет! Полицейский доктор Торопцов Иван Никанорыч, человек еще и совсем не старый, а за веселые деньки ноги у него, как тумбы, не сгибаются.

Петруша Грохотов — Райская птица, ветеринар, ну этому что триста, то и три рубля, все одно, самый главный заводило, да и благодетель его, провизор Адольф Францевич Глейхер, — Петруша, угождая, величает немца светилом учености, — пьет аптекарь собственного изготовления, составленную из отравного зелья да из микстур горьких, какую-то такую крепость, пойло, что уж без всяких шуток чтит себя первым мудрецом и химиком — кругосветным Менделеевым. Александр Ильич, исправник, тоже не дурак выпить, правда, с приобретением у Жердева Чертовых садов клятвенное обещание исправничихе дал, Марье Северьяновне, ничего и ни под каким видом в рот хмельного не брать и, пока что, с самого Воздвиженья стойко обет несет. А кладбищенский поп Спасовходский — Сокрушенный, впав во искушение от пьянственного беса, до того допился, что голос у него однажды остановился, и три недели молчал поп, не могши ни слова сказать, ни распорядиться, а заговорил вдруг, когда попадья, испробовав все средства к оголошению батюшки, решилась на крайнюю меру и последнюю: вынула матушка из шифоньерки двадцатипятирублевую бумажку, зажгла свечку и на глазах у попа стала жечь бумажку, — поп и заговорил. Да чего там, все попивают; и дома, и в гостях, и в клубе первое удовольствие выпить — пьют до широкого света.

И пить будто не выпивает, пьяного за делом Боброва не видали, на службе трезв, и слов таких неподходящих никто от него и никогда не слышал.

А в Студенце за таким словом в карман не лазали, умели словцо заколодить: и так и этак самыми неудачными словами бранились, оскорбляя память родителей, и уж так неосторожно иной выразится, что хоть тащи его к мировому. Городской судья Налимов Степан Степаныч — Матюганский наденет себе на шею цепь да такое другой раз выпалит, так затàкает, инда в жар тебя бросит. А Сокрушенный поп, как заговорил тогда, так с тех пор все своими именами и называет, ничем не стесняясь, ни местом, ни лицом, ни временем, и, хоть на войне и не был, а прямо как по-военному может. А учитель духовного училища Шведов, развлечения ради, с Петрушей Грохотовым переделал всю хрестоматию Поливанова по-своему и совсем под стать судье Налимову, — для старшего возраста, и уж в таком неприличном

виде ходила по рукам эта хрестоматия, стихи переписывались и заучивались старательно. Телеграфист Вася Кабанчик, хоть и съел облизня, но в одном отношении, по имуществу своему, как выражался Сачков, портной студенецкий, личность весьма примечательная, сердцем прост, и по сей день верует, что любимый клубный романс Не говори, что молодость сгубила — поют его хором в чувствительную минуту податной Стройский, агроном Пряткин, секретарь земской управы Немов и Грохотов Петруша — самый и есть стих настоящий некрасовский, а не шведовское переложение для старшего возраста.

Нет, кого другого, а уж следователя на том свете не погонят в задние муки, не сидеть ему в озере огненном.

И безобразий за Бобровым никаких не слышно.

А то другой и складен и все, как следует, а возьмет, да и выкинет, да такое, что и родных не узнаешь. Купец Тяжелкин — магазин готового платья — купец, как купец, а вставил у себя в лавке большие зеркальные стекла и на радостях что ли, черт его не знает, или по природному безобразию своему разделся и, как есть, нагишом стал в базарный день у кассы всем на виду. Или Пашка-Папàн — босяк, ну, этот — шантряп, за стакан водки готов сделать все, что угодно, рубашка по пояс и все мелочи наружу, никуда от него не скроешься, как банный лист.

— Мадам, вы должны заплатить двугривенный, а то опозорю! — изводит которую-нибудь чиновницу, пока своего не получит.

А для мещанок свой сказ:

— Хочешь закричу, что ты гулящая, давай пятачок!

И дают, ничего не поделаешь.

Смешно сказать, чтобы за Бобровым что-нибудь такое числилось: нет за ним и безобразий, нет никаких несуразностей.

Опарин, голова студенецкий, своя гостиница, его же и номера Барашкова, ктитор соборный, а такую взял повадку — не иначе просыпаться, как под зык звонный и, хоть лей ты на него холодную воду и хоть шпарь кипятком, глаз не раскроет, только что трубным звуком и возможно с одра поднять. А пономарь соборный Фараон для протрезвления кровь из себя выпускает, ковыряя в носу: кровь покажется и будто бы в разум приходит. Тоже и Ивано́в купец, покойный Максим Максимович, рыбой торговал

тухлянкой, взъелся на дочь Зинаиду и заказал ей, чтобы не смела она у него куска хлеба брать, а когда он помрет, не смела бы ходить на его могилу, да так и в духовной прописал. Или молодой Зачесов, — о зачесовой свадьбе с год говорили! В день венчанья своего после ужина вышел Зачесов во двор прохладиться, очень уж жарко было, да и пропал. Наутро хватились: где, что? — а молодая одна, ничего не знает, плачет.

— Вышел, — говорит, — прохладиться и пропал.

Бросились искать, туда-сюда, все ошарили, — нет нигде. Отец уж и денег не жалеет, только б найти, сто рублей сулил, кто сына найдет. До трех часов искали и нашли-таки: на Медвежине на реке на берегу под лодкой спит. Холодка искал, ну, и хорош!

Несуразностей за Бобровым нет, и на руку чист Бобров.

А нынче с такой доблестью много ль кого сыщешь: берут, сколько рука выможет. Взять хоть члена управы Семена Михеича Рогаткина, так у податного Стройского нет для Рогаткина другого имени, одно прозвище — жулик, прямо в глаза и гласно так и величает:

— Жулик, мое почтение!

А Воздвиженский батюшка о. Амвросий антиминс староверам продал:

— Куда, — говорит, — мне такую святыню! — и продал.

Сказывали после, антиминс этот воздвиженский староверам влетел в копейку.

Жизнь что ли тяжела стала, развелось ли много безработных, что работу никоторую не работают, едят труды чужие, Бог один весть, только этим делом не заниматься, скоро чуть ли уж не в грех вменять будут.

Нет, и в реке огненной среди татей и разбойников, там не место следователю.

И на руку чист Бобров и не путанник какой, ни шашней за ним, ни так каких знакомств не замечали, и только что по должности следователь, а, ей-Богу, священствовать бы ему в Тихвинском девичьем монастыре вместо о. Харитона.

Всякий знает, что Прасковья Ивановна, следовательша, женщина невзыскательная — гостиница несонная, и ни для кого не тайна, что только и есть следовательская дочка первая Паша, а другие, хоть и Бобровы, а вовсе не бобровские: Анюта и Катя — товарища прокурора,

Зина — лесничего, а младшая Саня — податного. Податной Стройский, студенецкий ухаживатель, Дон Жуан, любитель порассказать в клубе о своих похождениях и во всех подробностях, не обошел и Прасковью Ивановну и немало вечеров посвятил ей. О. Николай Виноградов, протопоп соборный, как-то беседуя за трапезой в кругу друзей своих и приятелей, признался, что бобровское воздержание — явление необычайное, а Бобров — феномéн. А делопроизводитель полицейского управления Петроухов, искусный в холощении котов, как-то в шутку, конечно, перебирая чинов студенецких, Боброва совсем исключил, не на шутку полагая, что тут ему, по его части, дела быть не может. Ну, Петроухов, что Шведов учитель, в блуд ввержен, все по-своему переделает, но о. Николай не таков, разумом сед, — слово протопопа глубинномудростно: Бобров феномѐн.

Еще бы! Стоит только подумать, что в загробном видении писано о то-светном месте, где томятся блудники и прелюбодеи грешники, о блудном царстве, сколь необозримо оно, и нет его больше и обширнее, и нет его тверже и сильнее! Значит, самим Богом так указано, да иначе и быть не может, и разве что обратить грех этот на пользу человеком. Старец Шапаев, праведен и свят муж, не в воле своей ходит, а путем Господним, и по любви, старец так и сделал, и уж не шумурýет, не шепотом лечит, не наговором на масло, не травами, не бобом, не двенадцатью ключами, как бабушка Двигалка — Филиппьева, лечит старец Шапаев блудом.

И благонадежен Бобров, никаких даже и в помине за ним не было дел ни в гимназии, ни в университете, ни на службе, чист Бобров, как поцелуй ребенка, по отзыву исправника, а на бобровскую кинарку, выпевающую наш русский гимн, зарится сам Нахабин.

Моровой батюшка от вседневной обыдённой церкви, член училищного совета, о. Ландышев, ко всякой дыре гвоздь, открыл союзный отдел в Студенце и первым делом занялся проверкой жителей. И Немов, секретарь управы, издавна числящийся под надзором, попал в крестовый список опасных крамольников, туда же попал и бывший статистик Смелков, неизвестно для чего собирающий птичьи яйца, туда же попал и опаринский конторщик Кулепятов, за пение свое вставай-подымайся,

и три городских учителя: Сарычев, Глушков и Пыхачев — выписывали учителя вскладчину журналы и читали их вслух от доски до доски, и заштатный юродствующий поп Песоченский за то, что на первой неделе Великого поста на идолобесие уклонился, забыв заповеди Божия: — «позволил себе поп предаваться пьянству, увеселениям, танцам, пению нескромных песен и лакомству жаренного поросенка». А Бобров — Бобров не попал.

Как ни рылся, как ни копался поп Ландышев, а найти преступного ничего не мог: церковь, правда, Бобров нечасто посещал, но зато в табельный день всегда первый на молебне. Почтмейстер Аркадий Павлович Ярлыков не раз вскрывал письма и бандероли Боброва и так, по исконному обычаю почтовому, и по просьбе Ландышева, но все было дозволено и придраться не к чему: издания Археографической комиссии, Русской исторической библиотеки, Общества любителей истории и древностей российских и всякие труды Академии наук главным образом.

И притом Бобров такой редкий законник, ты скачи до Лыкова и в самом Лыкове такого, пожалуй, мудрено найти: знает Бобров наизусть не только законы все — свод государственных законов, но и какие ни на есть кассационные решения сената.

Николай Васильевич Салтановский, земский начальник, тоже законник, в съезде только и знает, что у приятеля своего уездного члена Богоявленского о статьях справляется, нет ли таких, что построже, и, кажется, будь его полная воля, и самого себя лишил бы всех прав состояния. Да все это одна бестолочь, бестолочь и ерунда, и недавно еще купавского мужика к каторге присудил он на четыре месяца, ну, виданно ли это где, на четыре месяца к каторге, не хуже урюпинского земского начальника Крупкина, который за зайца штраф двадцать пять рублей кладет на всякого охотника. Член Богоявленский цыкает на приятеля, зарвавшегося в законности, и, хоть дружелюбно, по приятельству, да не хорошо все-таки, ну, а Боброву еще никто в глаза брысь не говорил, да и не за что, да и невозможно: либо язык прикусишь, либо словом подавишься. Он тебе сумеет отклюнуться, его, небось, не обведешь вкруг пальца, на такого ногой не наступишь — колок, речист, смел.

А бобровская строгость, бобровское судебное беспристрастие, да отца родного подвел бы на виселицу, раз закон того потребовал бы, мать родную не пощадил бы, попадись такой случай преступный, помереть готов на своей правде, тело свое даст на раздробление, крепок, стоек в своем слове, в два пути не пойдет — моль на нем все зубы поломает, как говорил покойный голова Талдыкин. А точность, — статью не перепутает, точка в точку, буква в букву и самое путаное-перепутаное деяние твое под статью подведет; и неутомимая цепкость, — за волосок ухватится и до корня дойдет, все на чистую воду выведет, проныр какой-то; и чутье пёсье, — носом по воздуху учует, так носом к норе, к гнезду разбойному и придет, и уж ты прячься не прячься, как не хоронись, а Боброву в руки попадешься, Бобров тебя сцапает.

Кто изловчится поймать вора? — Бобров.

Бобров умел делать то, за что никто не умел взяться.

И кажется, искать такого следователя да поискать, да мало, и уж в награду либо ему заживо памятник где на площади поставить, обелиск какой египетский, как в Лыкове губернатор Оладьин воздвиг в знак заслуг своих на память себе и в поучение потомству, либо выбрать его почетным гражданином города Студенца, как выбрали лесопромышленника Нахабина, который в собственном автомобиле в Лыков ездит туда и обратно. Какой там памятник, какое почетное звание, куда уж!

Четыре страшные язвы: пагуба, губительство, тля, запустение, а пятая язва студенецкая — бич и истребитель рода человеческого — следователь Бобров.

Всякий раз, когда в клубе ли, в гостях ли истощался разговор, а в молчанку играть было не совсем удобно, да и неприлично: кто молчит, по-студенецкому значит, дурак, всякий раз в такие дурацкие минуты приходил на ум следователь Бобров, и начиналось перемывание бобровских косточек. А так как сам Бобров ни в какие другие отношения с обществом не вступал, кроме деловых, то из всех подскрёбов, подскрёбков, слухов, подслушанных оговоров собиралось самое сумасбродное добро для судов, рядов и пересудов, больше прохаживались насчет отношений Боброва к жене, к следовательше Прасковье Ивановне.

Рогач — вот что чаще услышишь, когда заходит речь о Боброве.

И с каким хихиканьем, с какими ужимками, с каким гоготом обезьянским выговаривался этот Рогач, но знали прозвище и другое, почудней Рогача — Оглодок.

Был в Студенце некто Исцов доброписец, ходатай по делам, человек базарный, прощения писал на базаре, он же и космограф — когда бывало солнечное затмение, стекла коптил. В своем драповом пальто и картузном кепи, с своим вздернутым хрящеватым носом и козлиной бородкой, шатался Исцов по базару, помахивая красными длинными руками, — левая переломленная.

— Я, как пеликан, — говорил Исцов, скашиваясь на свою переломленную руку.

Этот-то Пеликан-Исцов и прозвал следователя Оглодком.

Пеликан — совершенно верно, живой пеликан, но причем же оглодок — Бобров Оглодок?

Все сияло на нем, безукоризненно чистое белье, безупречная во всем опрятность, ровно подстриженная борода, не очень коротко, не очень длинно, в меру, ровный без хрипинки голос — отчетливый чистый русский говор и без высокого лыковского оканья, и без московских пряников, чисто, как надо, и улыбка одна и та же, блеснет и заморозит, а идет шибко и строго — начальный человек, а когда станет и когда садится, когда руку подаст, такая во всем уверенность, ровно за плечами Петропавловская крепость.

Нахабин не раз в разговоре с губернатором не то, чтобы жаловался, нет, а так к слову поминал следователя и не очень лестно. Нахабин ссылался на всякие студенецкие слухи, и что следователь какой-то неудобный. Студенецкий предводитель Бабахин отзывался о Боброве, как о человеке неприятном. Моровой батюшка о. Ландышев писал и в Петербург и в Москву, и все ландышевские изветы намекали на какую-то тайную, ничем неуловимую душетлительную деятельность Боброва, от гордыни и высокоумия проистекающую. И прокурорский надзор не был доволен следователем, но замечаний ему сделать не мог: и не в чем и не за что.

Словно по тайному уговору всеми чувствовалось тяжелое что-то, неудобное, камень, и такое обузное, будь хоть какая возможность придраться, придрался бы и сбросил бы с себя эту обузу, камень, и было б как раз то

самое, чего так всеми хотелось. Все донесения, доносы, кляузы, ябеды, изветы, все разговоры и толки сводились к тому, чтобы убрать из Студенца следователя. Жить с Бобровым в братстве и приязни никто не соглашался.

И неоднократно приступали к начальству, но сокрушали ро̀ги свои.

Бобров никаких повышений не получал, никаких наград, но и переводить из Студенца его не переводили: окружной суд всегда становился на его сторону, ценя в Боброве следователя.

Что же такое, кому и чем мешает Бобров, чей век заел, кому стал поперек дороги?

Живет он себе сам по себе, ни в дрязги не встревает, ни в какие истории не впутывается, никого не ссорит, никого не мирит, и не крестит и не венчает, и сам не ссорится и сам не дружит. Он свое дело делает и делает его честно со всею строгостью без единой поблажки, никому не льготя без всяких попущений, и другого бо̀льшего знать не знает и знать не хочет. Ему никого не надо, ни на что он не жалуется, никому и ни о чем не плачется, он свое дело делает честно, а живет себе сам по себе.

Да за что же такое?

Праведен, только что нет осияния — венца славы вокруг его головы... да кто же он? Богоненавистник, христопродавец, враг Божий, враг проклятый, пятая страшная язва — бич и истребитель рода человеческого? И этот Рогач, этот Оглодок, этот обезьянский гогот, это хихиканье, эти недобрые взгляды?

В чем же дело?

А вот, верно, в этом... в этом-то и дело, в этой жизни его про-себя, в этой замкнутости его, в этой его особливости, в том, что ни кум, ни сват, ни приятель, сам, один, он — Бобров. Вот в этом-то самом, отчего человека простого, ну карты там и всякие грешки за ним, и коготок и еще кое-что, исправника Александра Ильича Антонова с души воротит.

Терпел Александр Ильич, терпел и при всем благодушии своем дошел-таки до концов, вызвал к себе «пажа» Пашку-Папáна — и за двадцать пять копеек к общему удовольствию босяк высадил окна следователю.

Ровно в десять Бобров в своей камере и в десять вечера подымается к себе наверх. Для писаря есть обеденный

перерыв, но сам он остается в камере, в камере и чай пьет за столом, покрытом чистой свежей клеенкой. Кипы бумаг и дел на столе. Бобров надевает золотое пенсне и подписывает бумагу за бумагой. Около стола его в полу сделалось углубление, там стоят арестанты: их много приводят всяких. А он сидит прямо, руки на столе, — пальцы сухие, долгие, как пристыли, спрашивает ровным голосом с окаменевшим неподвижным лицом и глядит прямо в глаза, с кем бы ни говорил. Лыковский товарищ прокурора смущается от этого ровного голоса и прямого взгляда, а лыковский товарищ прокурора — известная собака. Писаря у Боброва долго не служат, часто меняются, не выносят бобровский замкнутости, и Пармен Никитич Кариев, теперешний письмоводитель, и месяца не прослужив, подыскивает другое место. А Бобров все сидит, так без малого двадцать лет сидит, прямо, прямой, окаменелый весь, и воротнички его кажутся, как камень, и голос — слова падают, как камень.

Всякий виновный знал, что из камеры Боброва одна дорога — в острог. Одна дорога, другой не было, а третьей не будет. И, переступая следовательский порог, всякий обвиняемый прощался с волей: вернуться домой не было надежды.

## ГЛАВА ВТОРАЯ
## КОНЦЫ ЗЕМНЫЕ

Сергей Алексеевич Бобров — лыковский: родился он в Лыкове, и в гимназии учился в Лыкове, и женился в Лыкове, и служба его началась в Лыкове.

Отец его служил бухгалтером в казначействе, очень точный был человек и за свою точность опекуном состоял у людей богатых и большие деньги на руках держал, и все его уважали. А кончил старик нескладно, запутался в чем-то и уж без места дожил свои последние дни.

Несчастье с отцом не получило бы такой огласки, не вызвало бы столько шума и того злорадства, какое пробуждается у людей непотерпевших к облихованному человеку, не будь за отцом такой безупречной славы.

Но это уж в конце дней отцовских, а до тех пор был отец в чести и славе, и дом Бобровых был на хорошем счету.

В доме у Бобровых муху было слышно.

В доме ходили на цыпочках и отец, и сын, и прислуга: надо было охранять Марью Васильевну, мать, которую и муха могла обидеть.

Все и делалось для одной Марьи Васильевны.

А Марья Васильевна, уставившись в одну точку, по целым долгим томительным тяжким часам сидела, молча, не двигаясь, на диване.

Такой помнит мать свою Бобров, и это его первая, на всю жизнь сохранившаяся память из далеких первых дней, первой горести, когда он, только что научившись молиться за папу и маму, не мог сам по себе решить, можно ли и надо ли молиться за лавочника Желткова, у которого в лавке такой вкусный лыковский пряник; когда он, бывало, возьмет между ног полено, да с поленом по двору, что, говорят, на коне ездит; когда он из кубиков на полу печку складывал и раз чуть пожара не сделал.

И еще вспоминаются ему ночи, просыпается он ночью от какого-то режущего сухого всхлипа и с захолонувшим сердцем открывает глаза: мать сидит на постели, а около на стуле сидит или стоит над кроватью отец и что-то все говорит и, кажется, все одно и то же, одни и те же слова, то скоро, то тише, потом, как маятник, ровно. И так до рассвета, когда мать засыпала, а отец, закутав ее в три одеяла и так подтыкав кругом, чтобы и щелки клопиной не оставалось, долго и часто крестил ее, долго прислушивался и, сгорбившись, на цыпочках выходил в соседнюю комнату и там, не раздеваясь, только что без сапог, ложился на диван, и как-то виновато — на самый краюшек, и должно быть, жестоко трясло его, потому что, и одетый, с головой кутался в свое серое одеяло и все ворочался, поджимая ноги, пока не свертывался клубком.

И такие ночи повторялись.

Ночи повторялись не часто, но при всей тяжести их, казалось, часто, и привыкнуть к ним нельзя было.

Мальчик Бобров ни разу ничем не обнаружил, что в такие ночи и он не спит, не спит и все видит. До крови прикусывал он себе губу, чтобы сдерживать слезы, и было ему жалко, и жальче ему было мать.

На другой день, когда после тяжелой ночи мать, уставившись в одну точку, молча, сидела на диване, он все вертелся перед ней, по-собачьи юлил перед ней и в глаза

ей засматривал, — и она смотрела на него и не видела. И он тихонько отходил в уголок и тихонько складывал кубики, строил печку.

Ну, что бы ему в такие минуты приласкать ее, ручонками своими охватить ее крепко-накрепко!

Или кто-то тяжко обидел ее, или совсем не обидел, а такую пустил в мире жить, и вот перед нею — одна тяжкая ночь.

Что-то смутно копошилось в его детской душе, и было ему жалко, а выхода жалости не было. Он тихонько складывал кубики, строил печку, пока сама мать не замечала его.

И тогда было очень весело, и все забывалось.

— Грубый вы человек! — как-то ночью однажды сказала мать отцу.

Это он услышал ночью, в тяжелую ночь, и с тех пор стало ему отца жалко, как было жалко мать, и стал он следить за отцом.

Когда в доме бывало благополучно — Марья Васильевна молча не сидела на диване, а что-нибудь делала — рукодельничала или читала книжку, отец обыкновенно смешное все рассказывал и всех представлял, отчего сама Марья Васильевна смеялась, но после тяжелых ночей отец притихал, и уж никаких разговоров в доме не было слышно.

Однажды в сумерки мальчик тихонько вошел к отцу в его комнату, отец не сидел за бумагами, как всегда, а стоял перед образом. Висела в его комнате над столом большая икона Божьей Матери, старинная, почерневшая вся, золотом писанная — Величит душа моя Господа. Стоял отец перед Божьей Матерью и как-то чудно — голова его крепко была вдавлена в плечи, словно силился он поднять неподъемную тяжесть, а когда обернулся, слезы дрожали в глазах.

— За мамочку! — виновато сказал отец, — за мамочку, чтобы ей легче было, а мне ничего, мне болезни пускай всякие, я за мамочку.

«Грубый вы человек!» — не выходили из головы слова матери, и, вспоминая их, он видел отца перед образом, как молился отец за мамочку, и сейчас же видел мать, как ночью плачет мать беспомощно.

«Грубый вы человек!» — повторялись слова матери.

У матери на душе что-то тяжелое, а отец в чем-то виновен, но в чем тяжесть ее и в чем вина его, мальчик не мог разобраться и, складывая кубики — печку свою, все думал и думал, а сердце ныло от жалости.

И однажды он положил в печку щепок, достал спичек и зажег...

Придя в возраст, когда уж вместе с отцом стал он охранять мать, понял Бобров, что отец его самый обыкновенный, каких в Лыкове сколько угодно, и звезд не хватает с неба и всякие грешки за душой, а мать — другой такой в Лыкове нет, и для нее не отец, один ангел Господен был бы настоящим другом и хранителем.

Марья Васильевна ни на какую болезнь не жаловалась, не заморыш чахлый, дышащий на ладан, была она совсем здоровая, и голос у ней был сильный и громкий. Глядя на нее, как вообще глядит, встречаясь, человек на человека своим наделенным зрением, но лишенным видения, обездоленным глазом, можно было подумать, да так и думали, что жизнь для нее — разлюли малина.

А ей Богом даны были глаза, такие вот самые — и она видела. И все, что она видела, шло ей в душу. И она мучилась от того, что все видела. И еще мучилась, что, как есть, одна была, а одному нелегко на свете быть. И еще мучило ее то, что люди, без которых не прожить жизнь, подходили к ней по-свойски, с своею короткою общею меркою, и общения не умиряли ее, а только ранили.

Дела она искала себе, чтобы чем-нибудь заполнить дни, и, найдя дело, скоро бросала его: люди, с которыми волей-неволей приходилось ей сталкиваться, общего, кроме дела, ничего с ней не имели, чужие ей совсем, а такой с чужими — не дело, а мука. Да и подходящего дела ей не было. Дело, ведь, ее совсем не житейское! Она только, измучившись, хваталась за дела, от измученности своей верила, что в них — покой ее.

Что-то надо было ей сделать, и она знала об этом, не знала только, что сделать, и еще больше мучилась.

Сколько раз собиралась она уезжать из Лыкова на край света куда-то, в пустыню какую-то, где совсем нет людей. И тогда в доме начинались сборы. Отец покорно собирал вещи, какие будто бы в дорогу ей нужны. Но как-то сама собой наступала минута — и Марья Васильевна оставалась дома.

И опять приходили тяжелые ночи.

Повод всегда находился: какая-нибудь встреча, какой-нибудь гость — со временем в доме у Бобровых гостей не бывало, отец понемножку всех отвадил — или от какого-нибудь разговора, от какого-нибудь слова и, кажется, совсем незначащего, но падающего больно на измученную душу, — только с годами можно было усвоить и крепко держать в памяти, чего нельзя было даже и намеком касаться при матери. Да мало ли еще сколько вещей вызывали тяжелые думы — тяжкие ночи.

Если ты ранен, и сам вольный воздух растравит тебе рану.

Как редок был день бобровского благополучия!

Если все, кажется, до мелочей было предусмотрено, всякие распоряжения по хозяйству отданы, комната прибрана и везде наведен тот порядок, какой любит Марья Васильевна, — вещи размещены на столе ее по ее выбору, и воды для умыванья наготовлено много — чистоплотность у Марьи Васильевны доходила до какой-то болезненности, и все так, как надо ей, и только протяни руку, все есть, беда приходила с другого конца.

День начинался с того: или Марья Васильевна сон дурной видела или какая-нибудь вещь, нужная ей, прямо из-под рук у ней исчезала, какой-нибудь гребешок, какая-нибудь подвязка.

И все шло прахом.

А дурные сны снились Марье Васильевне нередко, а вещи теряла она сплошь да рядом. Вещи-то никуда не терялись, никто их не трогал, и никуда их без нее не перекладывали, — лежали они под самым ее носом, на глазах у нее, да она их не видела, смотрела и не видела.

И все шло прахом.

И каждый раз каждое волнение ее казалось ей последним, которое доконает ее, ее концом. И каждый раз она одного просила — смерти.

И в доме жили под страхом этой смерти.

Уставившись в одну точку, не двигаясь, молча, сидела Марья Васильевна на диване. И так проходили часы — долгий томительный тяжкий день.

А отец украдкой в сумерки становился перед образом в своей комнате, перед Божьей Матерью — Величит душа моя Господа, и стоял чудно, голову крепко

вдавив в плечи, словно силился поднять неподъемную тяжесть.

И вот ей легчало... В слезах вся прощенья она просила, что мучает всех, измучила совсем.

И Боброву хотелось тогда унести мать туда, на край света, туда, в ту пустыню, где людей совсем нет, и он чувствовал в себе огромную силу, которая даст власть ему сделать так, по-своему.

— Мамочка, нас прости, мы перед тобой все виноваты.

А отец семенил, руки ее целовал, что-то бормоча бессловесное, и слезы дрожали в глазах, как за молитвой перед образом.

Так прошло детство тревожное, настороже, с одной главною мыслью, как бы чем не расстроить мать.

Если выдавались дни, когда мать казалась веселой и отец на радостях балагурил, мысль, что этот тихий час может в один миг кончиться от какого-нибудь звонка неожиданного, от какого-нибудь воспоминания горького, какое нежданно всплывет в памяти матери, не покидала Боброва. И он, ничем не обнаруживая этой мысли своей, держался настороже, научился не забываться, навык рассчитывать каждый свой шаг, чтобы как невольно не раздражить мать.

Пропасть между людьми вскрывается не тогда, когда они умышленно раздражают друг друга, а когда, не ведая, не хотя и совсем не желая, даже напротив, желая совсем другого, невольно один ранит другого. Тут уж, значит, у души с душой в самой основе нет никакой связи, и люди совсем чужие.

Учился Бобров хорошо, но ничем не выделялся. У него все как-то было, все дары, и все он мог хорошо исполнить, на все годился, всем одарован, но такого особенного чего-нибудь, устремленности на одно излюбленное, дара особенного, ему только данного, не было.

После гимназии он поехал в Петербург в университет. И в Петербурге все шло гладко, и ученье и жизнь. Отец посылал ему денег, правда, не так уже много, чтобы не думать о деньгах, но он привык все рассчитывать и нуждаться не нуждался.

Когда он был на последнем курсе, с отцом случилась беда. Но уж он в живых не застал стариков, одни, в беде, так они вместе и ушли: отец, в дугу согнутый, облихо-

ванный, мать — с остановившимися глазами, которые все видели, измученная вся.

Больше не суетился старик, не стоял у иконы своей, перед образом, больше не просила она смерти, успокоилась. Сперва мать померла, а за ней, и совсем незаметно, потянулся старик.

«Как же так я мамочку одну оставлю, ей и посердиться не на кого будет!» — вспоминались Боброву слова отца: это когда он раз в шутку предложил отцу вместе в Петербург проехать государя посмотреть, — у старика была заветная мечта, и спал и видел старик увидеть государя и непременно поговорить с ним, о чем поговорить, и сам он не знал, а должно быть, о мамочке, так что-нибудь.

Похоронил Бобров стариков своих, домишко продал, получил тысячу рублей из сберегательной кассы — старик эту тысячу скопил, на книжку для сына откладывал, сдал государственный экзамен и поехал за границу.

Год провел Бобров за границей, в Париже, и там жизнь так же ровно шла, как и в Петербурге, до всего добивался он, все хотел выведать, высмотреть, перенять. И вернулся он в Россию не в Петербург, не в Москву, а в родной свой Лыков, — кандидатом в Лыковский суд.

По отцу встретили Боброва в Лыкове не очень дружелюбно, недружелюбно и подозрительно, но уже скоро заметили его исполнительность и серьезность в отношении дела и через три года назначили в Студенец следователем.

Бобров женился и переехал в Студенец.

Ехал он на новую свою должность с самыми благими намерениями — год заграничный парижский оставил в нем неизгладимый след, и дело его в Студенце представлялось ему широкой общественной деятельностью на благо не только Студенца, а и всей России.

В Студенце прежде всего попробовал он сблизиться с местным обществом, но из общений своих вынес самое горькое чувство.

И, осторожный, расчетливый, не раз и не два он проверял себя.

«Может, он ошибается? И если все кажутся ему так грубы, ну, в глубине-то души, ведь, должен же каждый чувствовать себя таким, каков есть на самом деле, чувствовать, знать и мучиться?»

Но этот прописной вопрос его заглушен был другим вопросом:

«Да у всякого ли есть она, эта глубина, глубина души хваленая, чтобы чувствовать?»

Нет, он не ошибался.

«Люди вообще существа грубые», — тогда это в нем так и врезалось.

И никогда так близко не вспоминалась ему мать, Марья Васильевна, как в эти первые дни его деловой ответственной жизни. Только матери дано было и близко было горнее и предвечное, а ему — дальнее. Ее истонченную душу, глаза ее с ее видением взял он мерилом суда над людьми, и вынес свой жестокий приговор.

«Люди вообще существа грубые, — и уж скоро добавил он, — и глупые, — как добавит впоследствии, — и лютые».

И Бобров начал свою деятельность, развивая в себе до совершенства все качества следователя: строгость, судебное беспристрастие, точность, неутомимую цепкость и чутье пёсье.

И все это, весь свой труд полагал он во имя закона.

Хорош или дурен закон, но в законе видел он единственную крепкую узду, чтобы сдерживать людскую грубость, и в законе, только в законе видел он спасение России, без чего, казалось ему, России не быть.

Так началась деятельность Боброва.

До каких бы краев дошла она в других благоприятных условиях, один Бог весть: силу он чувствовал в себе огромную, сила не отпускала его, а росла с делами, — и казалось, он мог бы совершить невозможное, как тогда, в минуты жалости своей, когда хотел мать свою на край света унести, в пустыню, где нет совсем людей.

В семейной жизни Боброву не повезло.

Счастливо начавшаяся жизнь его с Прасковьей Ивановной скоро кончилась несчастно. Не так ему хотелось, и не так было тому делу быть, да уж судьба.

Если мать Марья Васильевна представляла собой один дух живый, и это сказывалось во всем, в улыбке, в глазах и особенно в губах ее, а в теле ее было настолько теплоты живой, насколько надобно ее для жизни, в которой горел дух, Прасковья Ивановна — лице земное по-своему горела, и напруженные губы ее, казалось, вот лопнут.

Боброву памятен вечер первой их встречи: ладонь ее, когда он прощался, пыхала при прикосновении, и он, как

обожженный, ушел тогда домой, и с той минуты только что о ней и была у него одна мысль, только о ней. И когда, встречаясь, он говорил с ней, слова ее пустяшные, вдруг значительные, были для него знаками того самого существа ее, что обожгло его в их первую встречу.

И как у матери сущность ее — дух живый, горящий в ней, покорял себе в неволю на всю жизнь, так у жены сущность ее — лице земное, пламенность, одна, бездушная, кровь покоряла навсегда.

Тайна сия велика есть.

Прасковья Ивановна, та̀к Богом одаренная, была до конца желанной, поскольку, желая и действуя, оставалась сама собою в своей самости — животным прекрасным и добрым, и становилась невыносимой — мелочной и мелкой, сварливой и завистливой, жадной и жестокой, как только выказывался в ней человек не безыменный, а с метрикою, занимающий определенное место в обществе.

Эта-то человекость и поставила Прасковью Ивановну в уровень местного общества, сделала ее всюду своим человеком, столпом во всех студенецких дрязгах. Прасковья Ивановна заняла одно из первых мест среди клубных дам.

Хорошая хозяйка, она могла перекричать любую базарную торговку, сделать выгодно покупку — а базар — вор! — и надуть ее было так же трудно, как бабушку Двигалку — Филиппьеву, которая, волшебствуя бобом и ключами, на бобе и ключах своих ржавых чайную открыла — Колпаки.

Если бы не Бобров с своим норовом, Прасковья Ивановна не только не побрезговала бы приношениями, а, надо полагать, развела бы сущее людодерство, выход установила бы — побор за дела следовательские, и далеко оставила бы за собой исправничиху Марью Северьяновну, а Марья Северьяновна — у ней на всякой вещи имя ее цветами да букетами вышито, жердевские Чертовы сады к рукам прибрала.

В первый год женитьбы у Боброва родилась дочь. Дом округлился. И жить бы поживать следователю со следовательшей, но уж на следующий год не стало для Боброва его счастливого дома, — одно название, дом.

На первый день Пасхи горничная со злости на барыню, недовольная праздничным подарком, положила к Боброву

в карман письма Прасковьи Ивановны: от товарища прокурора Удавкина к Прасковье Ивановне.

Вот тебе за пасхальный подарок!

И может быть, лучше было бы для него так, безропотно и послушно, так, не читая, и передать жене эти письма.

Бобров этого не мог сделать.

Тот пламень, что обжег и покорил его навсегда, огонь преисподний — гроза, огонь — пучина — опустошение, кровь с той же силой ножом врезался ему в сердце. И боль вызвала в нем отчаянное любопытство: с каким отчаянным наслаждением перечитывал он строчки, в которых ясно описывалось отношение товарища прокурора к его жене.

Кончил читать, сложил так, как было, и, собрав в себе весь норов свой, все упорство, и, ничем не обнаруживая чувств своих, Бобров передал письма жене, как пустяки какие, как шпильки, без всяких слов.

С этих пор жизнь его пошла уединенно и одиноко, — забывай, значит, прежнее!

В доме все осталось по-старому, так же приходили гости, как и прежде, еще больше гостей, еще чаще устраивала вечера Прасковья Ивановна, еще чаще наезжал из Лыкова Удавкин, товарищ прокурора, и было очень весело.

Бобров появлялся на люди только к чаю и опять уходил в свою комнату.

Родилась вторая дочь.

И когда сказали ему, что у него родилась дочь, он принял известие необыкновенно спокойно, вошел к жене, и такой выдержанный, каменный весь, стал перед ней, и вдруг всхлипнув, как мать когда-то в тяжкие ночи свои, режущим сухим всхлипом, от которого мороз по коже бежит, ударил жену палкой.

— Сука не может не метать! — ударил он ее палкой и, не обернувшись, вышел.

Уж редко Боброва видели с гостями, редко выходил он к чаю — чай ему подавали в его комнату. А с женой разговор у него был прост и короток: о деньгах, о расходах, как с письмоводителем о делах.

Не прошло и году, а Прасковья Ивановна опять была беременна.

И тут произошел однажды случай, уж окончательно загнавший Боброва в его жестокое молчанное житие.

Боброва разбудили ночью: с барыней худо.

Что-нибудь, действительно, было неладно, уж раз она сама позвала его: с рождения второй дочери, с тех самых пор, как ударил он жену палкой, он больше не входил в ее спальню.

И вот в первый раз он вошел к ней ночью, в ее спальню.

Не подымая головы, сидела она на смятой постели и тихо плакала, и было что-то за сердце хватающее в этом плаче ее, тихом и горьком.

Он пробовал заговорить с ней, расспрашивать стал, как спрашивает доктор: и что с ней, в чем дело, и на что она жалуется? Но она и звука не подала в ответ, словно не слышала его.

В комнате они одни были и, кроме них, никого не было.

Он стоял перед ней безнадежно, он чувствовал, как тлеет, как томится его сердце.

Он ей помочь готов, он ей поможет, он все для нее сделает. И как это повернулась у него рука ударить ее! Она одна для него, она все для него.

Он стоял перед ней безнадежно, и сердце его тлело, томилось.

А она тихо и горько плакала — зяблое, упалое дерево. И вдруг поднялась с постели, твердо, крепко стала на землю и неуклюже нагнулась, и ниже, все ниже — до земли, до самой земли — в ноги ему.

— Знаю, — сказала она, — знаю, все знаю! — сказала она непохожим голосом и смотрела, все будто видя, и не видя, горячим слепым своим глазом.

С этой ночи Бобров стал пить.

Обыкновенно после службы, усевшись за книгу, за полночь читал он, и тут наступала такая минута, — тишина ли ночи и горечь полуночная, воздух ли, как сам себе говорил Бобров, а потом уж по привычке, сложив книгу, он пил и, обезумев, валился. А утром, безумный от водки, обливался он холодной ледяной водой и, тщательно одетый, шел вниз в свою следовательскую камеру начинать дела.

И какая уверенность была в каждом движении его, в каждом шаге, в каждом слове!

За плечами чувствовал он Петропавловскую крепость, а жизни ему и вершка не было.

И когда было дознано, что Бобров пьет, — от всевидящего Бога легче схорониться, чем от людей! — и притом пьет Бобров один, запершись, втай, пóтиху, это не только не вызвало к нему сочувствия, нет, еще больше откололо его, — иное дело, если бы пил в компании, был бы тогда свой человек.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## МОЛЧАННОЕ ЖИТИЕ

В Петербурге спросишь стакан чаю, стакан и дадут, в Москве спросишь стакан чаю, чайник дадут, в Киеве — с своим чайником иди, а в Студенце — самовар тебе на стол да со стаканами: кого люблю, тому дарю.

Студенец на горе — лесная сторона. Против города на другой горе монастырь, — некогда старцы пустынные, работая Богу и церкви Божией, жили в нем, отшельники, питались лыками да сено по болоту косили в богомыслии и умной молитве, а теперь монашки лягушачью икру сушат, — помогает от рожи, да коров развели и молоко продавать возят на завод в Лыков, — Тихвинский девич-монастырь. Между гор река — сплавная река Медвежина. Кругом лес. В лесу муравей, и нет его жирнее и больше, женщины ловят.

Деревянная редкая стройка, заборы. Из-за тесовых заборов редкие деревца — ветлы какие-то, одни прутья торчат. На заборах подходящие остановкам, выцарапанные и намелованные стихи, назидательные весьма, но совсем не для громкого чтения. Покосившиеся домишки, крашенные в самый неожиданный цвет — целая пестрая деревня, одинокий каменный дом Нахабина с золотыми львами на воротах — живет Нахабин богатым обычаем, трехэтажная Опаринская гостиница, да кирпичный красный сундук — номера Бабашкова, каменный белый собор и острог белый каменный.

Улицы немощеные, от тротуара до тротуара — стоялая лужа, переход через улицу по доскам, доски от ветхости вбились в грязь, и по осени, знай, подвязывай калоши, а то зачерпнешь.

По угорам лужайки, у домов огороды. Лужайки обхожены коровами и лошадями, огороды по весне благоухают особенно — весенней городской поливкой.

В лужах, как мертвые, дрыхнут студенецкие свиньи, и лишь какой поросенок бродит по уши в липкой грязи.

Городская жизнь идет не густо, не валко от нового и до нового года, который встречается дважды: и в Васильев вечер, как полагается, и тридцатого на Анисью — на Анисью каждый для себя встречает, на день будто бы жизни прибавится.

В канцеляриях скрипит перо и щелкает машинка. В пожары бьют в набат. Озорники озорничают: наклеивают Боброву на окна вещи совсем неподходящие, сложенные на манер кораблика из синей канцелярской бумаги, или вымажут ручку звонка масляной краской, огадят крыльцо, или пошлют ценной посылкой морковь какую, ну, хоть той же учительнице Февралевой, откладывающей из своего жалованья на поездку в Петербург учиться. Летом, когда дамы выходят на Медвежину купаться, кавалеры залегают в кусты. Плавать никто не умеет, а плещутся у берега и визжат, и только одна следовательша Боброва выплывает на середку.

Временам и срокам ведется свой особый студенецкий счет. Для вящей точности приводится не год, не день, а некое событие летописное, достойное памяти.

— В тот самый год, — так говорят, — когда покойный мировой судья Иван Михайлович Закутин выбил окна Будаеву адвокату.

И так еще:

— В тот самый год, когда кладбищенский поп Азбуков со свояченицей своей Анфусой запарил в бане в два веника попадью свою и получил члена консистории.

Или еще вот как:

— В тот самый год, когда старшая дочь Пропенышева Ираида выбросилась из окна: «Полечу, говорит, к Богу!» — и разбилась насмерть.

Есть в Студенце и для погоды свой особый барометр. В верхнем этаже управы держат сумасшедших: если сумасшедшие поют — к перемене, кричат — жди ненастья, а ведут себя тихо, будет вёдро.

Зимою много снега и крепкий мороз. Летом — пыль, зной, комары. В августе начинай топить печи.

Защурит солнце свой рыжий осоловелый глаз из-за двух блинов-туч, сядет за гнилые заборы, и закрывают по домам ставни, и уж весь город — на боковую.

И только светятся окна клуба.

Студенецкий общественный клуб — место покоища и пагубы.

Пять клубных комнат — во всех одинаково желтоватые под орех обои, крашеный пол. В гостиной у дивана по стене жирные головные пятна — след добросовестной работы студенецкого парикмахера Юлина — Гришки Отрепьева, в красном углу просиженное кресло — с незапамятных времен обивка разрезана ножом. Висячие с подвесками лампы. Пропойный табачный дух.

Клубная библиотека рядом с уборной.

«Пройти в библиотеку», — означает: «пойду в уборную».

А в уборной среди всяких непечатных заборных стихов и восклицаний начертана историческая надпись, сохранившаяся от дней свободы.

«Да здравствует республика!»

Зимою в клубе выписываются газеты, летом не выписываются: в жару не до чтения, и кому читать?

Клубная горничная Лизка вся в розовом, с завитками — общественная кружка, так величают горничную клубные приятели. Клубный повар Василий, и в снеди и в питии славный, а в своем мороженом несравненный: уверяли, между прочим, что кладет Василий в мороженое, и притом совсем незримо, мелко-намелко истолченного перцу. Клубный буфетчик Ермолай Игнатыч, бывалый на Дальнем Востоке, неподражаемо кричал уткой и поездом, и всю закуску под сеткою держит и не столько от мухи — зимой какая же муха! — а чтобы кто чего, захватя, не унес.

Старшина клуба — уездный член Иван Феоктистович Богоявленский хромоногий и пьет и глядит в оба, без выигрыша из клуба не выходит, и хоть поймать не ловили, а словно бы и шулер.

Клубные члены — все свои люди.

Сам Александр Ильич исправник — член первый. За исправником — студенецкие чины. Городской судья Налимов Степан Степаныч — трезв, как кур, и лишь раз в году на свои именины не уступает и Ивану Никанорычу Торопцову, а доктор любит похвастать, что усидел девятнадцать бутылок в один вечер. Земский начальник Салтановский Николай Васильевич — Законник, акцизный Шверин Сергей Сергеич — студенецкий спортсмен, по университетскому знаку необыкновенных размеров и в

какой угодно свалке отличить его можно, ловкач порассказать о заграничных порядках, а по кличке Табельдот или Метрдотель, как придется. Агроном Пряткин Семен Федорович — после двенадцати рекомендуется свиньей, чувствителен необычайно, рыдает и умеет так всхлипывать, как весенний голубь, приятели дразнят его Аграфеной, на которой, прикрывая чей-то грех, агроном женился, а как, — не помнит. Секретарь управы Василий Петрович Немов — разумлив, из всех самый толковый, а найдет волна и сидит по неделям в клубе, горькую пьет. Податной Стройский Владимир Николаевич — Дон Жуан студенецкий, выпивши, привязчив, как доктор Торопцов; а когда хмель разнимет, плачет, как агроном Пряткин. Почтмейстер Аркадий Павлович Ярлыков — студенецкий охотник, многочаден, как землемер Каринский. Лесничий Кургановский Эраст Евграфович — Колода, член управы Семен Михеич Рогаткин — подрядчик, поставляет и сено и лес, даже строит мосты, человек простецкий, не столько сам пьет, сколько подпаивает. Неизменный Грохотов Петр Петрович ветеринар — Райская птица, по морозу в одном пиджаке ходит, легок ногами, человек, хоть и семейный, баба его всем известна, но бездомен, как Пашка — Папа̀н, босяк студенецкий, и удопреклонен: валится там, где его хмель свалит.

А за Петрушей уж всякие: и учителя, и канцеляристы, и писцы.

Из клубных дам самая деятельная — исправничиха Марья Северьяновна. За Марьей Северьяновной ее приятельницы: Анна Савиновна, жена акцизного, начальница ремесленной школы рукоделья, следовательша Боброва Прасковья Ивановна, докторша Торопцова Катерина Владимировна — Лизабудка, певица студенецкая, и хоть дальше Казани никуда не выезжала, но с заезжим человеком может так разговор повернуть, словно бы всю-то жизнь прожила в Петербурге.

В клубе играют, едят, разговаривают. Играют в рамс и преферанс, редко в винт, а после двенадцати — в железную дорогу. Разговоры — студенецкие сплетни, мнений ни у кого никаких: так, куда ветер.

— Теперь, знаете, по-другому считается! — любимый запев, за которым жди отзыв совсем противоположный вчерашнему.

В час по домам: пора и честь знать.

Дорога из клуба лежит мимо дома председателя земской управы Белозерова. Ноги не твердо, но по привычке волокут к заветному дому председателя.

Председатель Белозеров, студенецкий помещик, щеголь из неокончивших лицеистов, держался в стороне от клубных приятелей, но дело не в самом Белозерове, а в Василисе Прекрасной.

Эту Василису Прекрасную поял себе председатель прямо на корню, как говорил Исцов — Пеликан: работала Василиса на сплавной барже, над помпой, увидел ее Белозеров, остановились глаза его на Василисе, взыграло сердце, и купил он ее у родителей. В своем доме держал Белозеров Василису взаперти — сидел, как ястреб над белым телом, и лишь в праздники разряженную по последней моде выпускал ее в церковь к обедне. И уж Бог весть с какими целями, по нелюдимству что ли своему, заставлял он Василису раздеваться и так нагишом прогуливаться в гостиной, увешанной зеркалами, а сам разляжется на диване, лежит и курит, либо велит пол вытирать и без того, как зеркало, ясный, и тоже лежит да покуривает.

В щелку в освещенное окно можно все разглядеть, не надо и щуриться.

И в час крепкого студенецкого сна, в час вторых петухов нередко можно видеть, как у щелки освещенного Белозеровского окна, дружно обнявшись, припадают к окну полунощные приятели, и наступает такая минута — Петруша Грохотов ногтями царапает стену.

Дальше дорога поворачивает к дому следователя Боброва. Приятели не обойдут и его, и чей-нибудь кулак уж непременно дубаснет в ставню, а в верхнем окне у следователя и не мигнет, упорно горит одинокий бессонный огонь.

---

С тех пор, как с семьей было покончено и дом разорен, из вечера в вечер оставаясь один, в молчанном житии своем, Бобров, кроме чтения, большую часть часов ночных уделял сочинению.

Сочинение его выходило замысловатое, нечто вроде обвинительного акта и не лицу какому-нибудь известному, не студенецкому подсудимому, а всему русскому народу.

И было похоже на то, как когда-то в старину в смутные годы дьяк Иван Тимофеев в «Временнике» своем, подводя итог смуте, выносил свой приговор русскому народу, бессловесно молчащему, а троицкий монах Авраамий Палицын судил русский народ за его безумное молчание.

От столпов московских, с начала государства русского до последнего заворошения — памятных дней свобод собирал Бобров деяния народные и творил над ними свой суд.

Обиды, насильство, разорение, теснота, недостаток, грабление, продажа, убийство, непорядок и беззаконие — вот русская земля.

Нестойкий, друг с другом неладный, бредущий розно, разбродный и смолчивый, безгласный — вот русский народ.

К совести русского народа обращался Бобров, ибо в совести народной — покой земли.

Что же спасет русскую землю, вырванную, выжженную, выбитую, вытравленную и опустошенную? Кто уничтожает крамолу? Кто разорит неправду? Что утолит вражду? И где царский костыль? — все в розни, в конец разорено! Где бесстрашные прямые думы, бестрепетное сердце? — думают, что правят и строят, а наводят землю на лихо! Безнарядье низложит русское царство, сметет русский народ.

Законность, искони неведомая России, вот столп, которым укрепится земля.

Сочинение со временем было заброшено, писаться уж ничего не писалось, но вся сила его, все воодушевление, чувство, проникающее каждое слово, и дерзостно и повелительно обращенное к русскому народу, к родной земле, осмысливало бессмысленную, разбитую жизнь Боброва.

Он знал, для чего ему надо поутру подняться и идти вниз в свою следовательскую камеру, и терпеливо сидеть до вечера, допрашивать и подписывать бумаги, и на следствии во время облавы гоняться псом по разбойным следам.

Законность, единственное спасение гибнущей России, законность, выкоренить корень которой долг всякого русского, любящего свою родину, законность, без которой не может быть русского государства, законность, которую проводил он в своей деятельности, была его крепостью, смыслом его жизни — делом его души.

Сочинение лежало в ящике письменного стола, ящик заперт на ключ. И проходили месяцы, годы, а он не отпирал ящика, не раскрывал тетради, но в минуты безумия среди одинокой ночи все помыслы его обращались к заветной тетради, к кресту трудов его, и гнев его разгорался.

Сидя перед зеркалом один среди ночи в ночи он заводил свой тайный разговор, свою буйную речь — к зеркалу, к самому себе, как с площади московской с Лобного места, с Петровского подножья от памятника русского великого царя к русскому народу.

Та боль, та душащая тоска собственной своей разоренности, от которой воздух спирался и хотелось пить до одури, вылились с годами в жесточайшие обличения — в плач над разоренностью земли русской о погибели русского народа.

И вот будто в руке его и вяжущая, и решающая сила, знает он и корень зла, и средство спасения, может он указать, чем и как спастись России.

А с каждым днем бестолковая жизнь приносила ему все новые беззакония.

«Или уж самоуправство вошло в плоть и кровь русского народа? — спрашивал он себя, — и замешались все люди, а века строющаяся Россия разваливается, рассыпается и последний русский забывает свою родную речь, а смерть не спит — сильный чужой народ вот полчищем вступит в страну, смерть не спит — растерянный, расшатанный, ослабленный, оплеванный, оплевывающийся, спившийся русский народ — бродник народ! — без боя, нет, на разоренном поле своем, предавая брат брата, предастся врагу».

— Придут дни, — говорил он, — да это правда, пророчество право, дни уж идут, приближается срок, когда живущие в этом дворе не ступят по нему ногами своими, и затворятся его ворота и не отворятся более и запустеет этот двор — запустеет Россия!

А перед глазами его из глуби веков вставала строющаяся Россия, когда клались соборы, срубались церкви, ставились колокола.

Пожар уничтожит все до последнего, и вновь упорно и терпеливо на пепелище свозятся камни и лес и снова подымается стройка. Так город за городом застраивал

народ большую землю — Русь. И чем крепче церковь, чем выше храм, чем больше звонит колоколов, тем сильнее город, смелее речь — русская речь. Так храм за храмом — город за городом строилась Россия.

И вот не поганый Ахмыла, Грозный царь приходит на свою землю и разоряет свой родной русский город.

— Когда новгородского владыку, обряженного шутом, по приказу царя возили по городу с бубенцами верхом на белой кобыле, когда всенародно поставленные на правеж до полутысячи монахов палицами забиты были насмерть, вот когда еще беззаконие ядом вошло в русскую кровь. И московский святитель, мученик, верный и твердый сын России, прав. Да, «у татар есть правда, во одной России нет ее, во всем мире ты встретишь милосердие, а в России нет сострадания даже к невинным и правым!»

И одно за другим из казней казнь, смертною для народа казнью, беззаконие — сверху разгром, снизу погром все тяжче, все неистовее вставали перед ним из века через Москву с ее застенками, через смуту с ее предательством, через Петербург с его злодейством до последнего заворошения — памятных дней свобод.

В крови беззаконный, развращенный беззаконством уж представлялся ему русский народ затворéнным псоглавым народом, который в конце веков, в конечные дни земли и света бросится с воем, кривляясь, пьяный от воли из своего тысячелетнего плена на свободные народы и истребит все царства.

Клопами обкидывали беззаконства родного народа, и уста его закипали кровью.

— Когда на аграрном погроме, спалив усадьбу, погромщики выкололи глаза лошадям, когда в еврейском погроме громилы вбивали в глаза и в темя гвозди, когда околоточный в участке тушил папироску о голое тело арестантки, когда хулиганы, ограбив прохожего, отрезали ему губу так, ни для чего, когда революционеры убивают направо и налево по указке какого-то провокатора, когда воры распяли купца, прибив его руки гвоздями к стене, а ноги к полу, требуя денег, когда судья оправдывает явного убийцу-погромщика, — кто это делает, какой народ? — и вспоминается ему, как недавно в холодной арестованные хулиганы расправлялись с сектантом за его отказ перекреститься, обливали и били его, а полицейские

у окошка, сочувствуя, поощряли их, и, обозленные его терпением, повалили его на пол лицом — одни сели на спину, другие ему загибали утку, чтобы сломать хребет, измучились, а не сломали и, наконец, забили ему нос и рот табаком, — кто это делает, какой народ?... А когда деревенские парни-охальники, встретив священника, заставили его плясать, когда на свадьбе подрядчик затеял показать работнику, как надо учить жену, и ременным чересседельником бил по голой спине чужую беременную бабу, когда конокраду воткнули в зад палку, когда мать ставит свою дочь на рельсы и приказывает броситься под поезд: «Бросайся, ты никому не нужна!», а другая мать ищет покупателя на свою дочь, когда в волостном суде, пытая обвиняемых, одного жгли раскаленным железом, а другого подымали на дыбу, припекая ему пятки, третьему облили спину керосином и подожгли, четвертому в половые органы вгоняли мелконарезанный конский волос, — кто это делает, какой расточенный, убивший в себе душу народ? Какая изменная голова, изменная земле своей, измыслила дела такие на пагубу себе и всему народу? А хихикающее трусливое общество с своим обезьянским гоготом, бездельное... Лентяи и тунеядцы, воры, желающие выгородить лень свою и кричащие на всех перекрестках свой дешевый погромный клич и в этой травле видящие все русское дело. Нашли занятие! Нашли себе русское дело! Нищие душой, слепые недоноски, голыши духом, не находящие ничего другого для культуры России, для русского народа, как хулить и ругать Россию. Нашли занятие! Нашли себе русское дело! Продажные лицемерные исполнители, налагающие на других закон, а сами нарушающие его, первые предатели, первые изменники, первые злодеи. Подлое общество, подлый народ! Для кого же дорога Россия, кто ей верен, кто о ней печется, кто держит свою клятву служить ей неизменно — непреложно — неотъятно — нет, «я не русский! — отскакивал от зеркала Бобров, — не русский, я немец, все русские предатели и воры!» — и стоял сам для себя один — откатный камень — один с поднятым кулаком перед всем народом, а стяг его, палка его — закон — смертоносное знамя, как крест воздвизалый, тихо опускался на землю, а с ним погружался во тьму и весь народ русский, неустойчивый, неладный, смолчивый.

Последней вспышкой загоралось сознание, — отчаяние опустошало душу. И под стук в ставню возвращающихся веселых клубных приятелей, Бобров валился без мысли, без думы, и угарный сон без сновидений, тягучий и странный, покровенный темною кровью, давил и путал его до безумного утра, до делового дня.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## ДУБОНОЖИЕ

Многих ли ради грех наших и неправд, как сказал бы летописец, или, и без вины, по каким другим причинам, к греху не относящимся, а просто так, много самых неожиданных происшествий совершалось в Студенце.

В прошлом году приказчик истребительного общества из бывших матросов Кочнов вдруг ни с того, ни с сего, в ожидании кометы привязал себя веревкой за якорь и закопался в землю. Только с помощью Петруши Грохотова, как сам Петруша уверял всех в клубе, извлекли Кочнова из ямы, но бедняга уж недолго погулял по белому свету, затосковал и до кометы помер.

А нынче по весне, откуда ни возьмись, появились в Студенце черви, несметное их количество. Ползли они по талому снегу от провизора Глейхера мимо гостиницы Опарина, мимо казначея Понюшкина и прямо на протопопа Виноградова, с запада на восток, и размножались с быстротою молнии, как говорил Петруша. Трое суток ползли черви на протопопа, потом вдруг повернули на исправника и пропали. И пока ползли они, погода стояла теплая, а когда сгинули, стало ветрено.

Трогать червей никто не решался и даже смотритель тюрьмы Ведерников, уж на что пресловущ паче всех в таковом деле — на чистоте помешан: арестантов чистоты ради в камерах нагишом держит, да и тот не притронулся. А червяк, хоть с виду и походит на червя, но было что-то указующее и в телесном его строении и в рассечении естества его: весь покрыт редкими черными волосками, на брюшке у одних, как сосочки, ножки болтались, а у других брюшко было совершенно гладкое.

Вдовая дьяконица Агнцева, ответственный член общества истребителей, поймала-таки пару, и после всем желающим в лавке показывала.

Что говорить, много всяких бывало случаев, но все это пустяки и совсем не похоже на то, что случилось наутро после именин протопоповских, — чудеса в решете, как вечером после говорили в клубе, когда уж очухались.

У студенецкого исправника Александра Ильича Антонова выросли ослиные уши чудесным образом.

И не в каком-нибудь переносном смысле, а на самом деле, по всей по правде и притом всего за одну ночь — чего ночь! — за несколько часов ночных, а может быть, в одну минуту, внезапно, вдруг выскочили такие вот над его крепким стриженым лбом и заторчали сущим безобразием.

Конечно, другому бы — мало ли на свете каких лиц попадается, да и тут, в Студенце под боком немало ходит, взять хоть того же Лепетова, наблюдателя, или члена епархиального совета тоже Лепетова губернского, наезжающего в Студенец на экзамены, экзаменатора, известного больше под кличкою Соленого огурчика, да уши эти и совсем подошли бы и очень кстати были бы, и, кто знает, человека человеком сделали бы. Но Александр Ильич не Лепетов, наблюдатель, не Лепетов экзаменатор — Соленый огурчик, для Александра Ильича такое приобретение — зарез один, Божье наказание, безобразие.

При всей-то его лихой складности — и вдохновляет и страх наводит! — ну, кабы рога оленьи, еще туда-сюда, и то, пожалуй, не совсем уж, когда и серебро в бороде и одышка берет, при всей-то осанке его и лучезарности — Лучезарным прозвали студенецкого исправника, и вдруг эти самые уши.

Именины соборного протопопа о. Николая Виноградова в году однажды, да на весь круглый год.

Стол именинный бывал полный, пустые блюда не подавались, ходило агнче с яицы учинено, по словам именинника, — баранья нога, зажаренная с яйцами, и только не доставало, что яйца струфокомилова, а упивались так, кто вулог, кто наповал. Позапрошлой весной на именинах покойному голове Талдыкину и смерть приключилась судом Божиим, — не выдержал и Богу душу отдал.

Пировал Александр Ильич у протопопа и был грех, соблазнил его поп красным ягодным медом, а потом уж пошло вино доброе да пенное, разрешил себе Александр Ильич, не сдержал своего воздвиженского зарока, но осо-

бенного ничего не произошло, в карты, как еще никогда, везло, всех обыгрывал, загреб золота — девать некуда, и домой вернулся на двух ногах.

А вот наутро, возбнув от сна, как выразился бы протопоп именинник, и погладив себя по крепкой ежовой голове своей, Александр Ильич с трепетом ощутил на себе присутствие вещей неприличных: сразу как-то сообразил и понял он, что уши не его, уши у него ослиные, а сидят очень прочно.

Следовательше Бобровой Прасковье Ивановне быки снятся, будто все бык на быке и всякий за ней гонится и настичь ее хочет, почтмейстер Аркадий Павлович Ярлыков, охотник, видит во сне уток, гусей — дичь всякую, лесничий Кургановский ничего во сне не видит, а исправнику, хоть и нечасто, а если заладит сниться, так уж из ночи в ночь военные сражения снятся.

Не во сне, наяву чувствовал Александр Ильич эти уши, и все, кажется, понимал, но к зеркалу подойти посмотреться никак не решался, и сидел на диване, — на диване в кабинете стелили исправнику без исправничихи, — сидел и ощупывал себя, свои уши: тянул за мякиш, крутил за маковку, так закрутит, этак вывернет. И чем больше крутил он и вертел их, тем прочней чувствовал их, и без всякого зеркала яснее ясного видел себя во весь свой антоновский рост, во всей своей лучезарности: на шее Анна, грудь в медалях, разгарчивый румянец, крылом борода — волосок к волоску, и, Бог знает, пальца на два маслянистые с палевым отливом в редких черных волосках, подобных тем, что у червей Агнцевой дьяконицы, торчали ослиные уши.

Исправник в Студенце, что губернатор в губернском городе Лыкове, выше его нет начальства: и богатит, и убожит, и смиряет и высит.

И конечно, предстань он, ну, хоть в соборе на молебствии и ни в каком-нибудь, а в песием образе, да тот же протопоп Виноградов ему первому даст к кресту приложиться.

Эка беда, что уши, — серпом силы своей всякого посечет!

Памятные книги времени — летопись студенецкая помнит события куда знаменательнее и не такое было деемо и творимо — и был мир и любы, порядок и благочиние.

Посмеяться над исправником никто не посмеет.

«Бобров-Оглодок!» — вспомнился исправнику Бобров, и при одном воспоминании о следователе кинуло его в жар.

И Александр Ильич всех перечислил, всех жителей студенецких с Белозерова председателя до пажа-босяка и Фенички гулящей, и всех перебрал клубных приятелей: и старшину клубного, члена суда Богоявленского, и судью Налимова, и земского начальника Салтановского — Законника, и акцизного Шверина — Табельдота, и агронома Пряткина — Свинью, и управского секретаря Немова, и податного Стройского — Дон-Жуана, и почтмейстера Аркадия Павловича Ярлыкова, и землемера Каринского, и Торопцова, полицейского доктора, и лесничего Кургановского — Колоду, — и ни в ком не усумнился, Бобров, один Бобров следователь лез ему в голову.

Поистине Бог попускает, Сатана действует.

Бобров не полюбопытствует, как другие, не спросит по приятельству, откуда, мол, Бог послал такое и по чьей милости, но зато уж так посмотрит, а скорее всего просто обойдет, как обходят помёт, чтобы ногой не попасть, а уши тогда, как на грех, еще чего доброго, и зашевелятся.

«Будет он шевелить ушами или не будет?» — стал новый вопрос, и Александр Ильич упал духом, а в глазах стало зелено и замелькали огненные палочки: почувствовал он, как при одной только мысли уши сами собой зашевелились, так и запрыгали, как у коня.

Случись дома исправничиха Марья Северьяновна, дело ну как-нибудь да наладилось бы: Марья Северьяновна, что хочешь, все обладит. Но исправничиха в Чертовых садах, ей там дела всякого и без ушей по горло.

И что он скажет Марье Северьяновне? Воздвиженский-то свой зарок нарушил, не сдержал слова! Какой он Марье Северьяновне ответ даст? Не поблагодарит его исправничиха, и очень даже. И было б всего лучше ему после именин протопоповских вовсе не проснуться, так и почить бы сном до радостного утра.

«И за что мне такое? Так жестоко! И добро бы за грех смертный, за птичеблудие какое или за пупорезину там, как говорится, а то всего и есть, что на именинах у священника, протопопа и притом отца духовного выпил рюмку вина, поздравил! Конечно, зарок нарушил, обещания не сохранил, ошибся, не отпираюсь...»

Александр Ильич сидел на диване и шевелил ушами.

«Марья Северьяновна, ты от меня не отступишься? — горькие шли мысли, — Марья Северьяновна, не отступись!»

Александр Ильич молебно поднял глаза:

«Не отступись!» — и вдруг, не веря глазам, неистово замотал головой.

Прямо против него, под его знаменитым косым ковром заграничных и разных зверей, двенадцати шерстей разных волков, про который шла молва, что цены ему нет — «сколько миллионов и ордалионов тысяч несметных денег!» — дар тихвинских монашек, под бесценным ковром трупом лежал на диване Петруша Грохотов.

— Петруша! — покликал Александр Ильич, — Петичка! — и затаил дыхание, а сердце стучало, как в детстве когда-то на больших пожарах, до которых Александр Ильич всегда был большой охотник: на Петрушу ветеринара вся была его надежда.

Чуток на окрик Петруша, как конь, и как ни крепок был его сон, а и сквозь трупное хмельное забытье свое услышал он оклик, сплюнул и выругался чисто по-русски; в словах и движениях по природе своей без всякой застенчивости, Петруша даже и при дамах ругался, только по-малороссийски.

— Петруша, Петичка! — Александр Ильич голоса своего не узнал: это был какой-то лисий голосок петушку, когда лисица соблазняла петушка горошку поесть, так не говорил Александр Ильич и в бытность свою лыковским полицмейстером с губернатором, уши немилосердно дергались и он тянул их вверх за маковку, — Петруша, спасай!

Поднялся Петруша, и водкой залитым глазом уставился на исправника, — волосы у Петруши, как у беса, стояли стрелами, а Петрушина п у ш к а пыхнула вдруг таким крепким дымом, от которого померкло само майское ясное утро, а исправник поплыл куда-то с своими ушами.

Слезно поведал Александр Ильич приятелю беду свою.

— Копытной мазью, — сказал Петруша, ждать себя не заставил, — трещины на копытах заживают, верное средство!

И Петруше оставалось немедленно применить свое верное средство, — Александр Ильич готов был не только

смазаться этой копытной мазью, но и вовнутрь принять ее, сколько влезет, лишь бы была польза, — но Петруша вдруг завертелся, как на шиле, и поистине запел райской птицей.

О том, что случай подобный уж был однажды и ни с кем-нибудь, не с простым человеком, а с царем: у царя фригийского выросли ослиные уши, — Александр Ильич ровно ничего не знал, и никакого понятия не имел, а Петруша кое-что помнил, путая, правда, Мидаса с великим тезкою исправника, старинное же сказание о Ное, как праведный Ной в ковчеге зверей обуздал, знал Александр Ильич так же хорошо, как и Петруша.

Есть такое сказание о Ное, как праведный Ной, впустив в ковчег зверей, чистых по семи пар, а нечистых по две пары, задумал, обуздания ради и удобства общего, лишить их временно вещей существеннейших. И отъяв у каждого благая вся, сложил с великим бережением в храмину — место скрытое. И сорок дней и сорок ночей, во все время потопа сидели звери по своим клеткам смирно. Когда же потоп кончился и храмина была отверста, звери бросились за притяжением своим, и всяк разобрал свое. И лишь со слоном вышла великая путаница, слону в огорчение, ослу на радование и похвалу.

Осел, стяжавший себе слоновую долю, да царь фригийский с ослиными ушами увлекли воображение Петруши.

И правда, не руками, языком добывал Петруша хлеб свой насущный.

Александр Ильич попадет будто бы в греческую историю, и будут его с греческого переводить в гимназиях, двойки за него ставить, да проваливать на экзаменах, и, само собой, повышение он получит, чуть не губернатором сделается, а дойдет до Петербурга, министерский портфель за ним обеспечен — министр народного просвещения!

— С таким золотым сокровищем, — райской птицей заливался Петруша, — да такого другого с огнем не сыщешь, никаким дубоножием не взять, факт исторический, министр! Смотри на тебя и учись! А наши дамы! Отбоя не будет, Белозерова орогатить можно, покажем ему три пальчика, Василису Прекрасную пол вытирать себе заставишь.

Повышения по службе Александр Ильич очень хотел, но при чем тут повышение, никак понять не мог. Что же

касается дам и как это ни соблазнительно было, чтобы сама Василиса Прекрасная вытирала пол ему, старался Александр Ильич пропускать мимо ушей.

Из-за дам у Александра Ильича вышли однажды большие неприятности.

Будучи лыковским полицмейстером, разрешил Александр Ильич цирковым танцовщицам прокатиться среди бела дня, и притом во всей их прекрасной натуре, на велосипедах по Московской: танцовщицы прокатиться прокатились, а он полетел с места.

Копытная мазь, в которую уверовал Александр Ильич и неослабно держал в памяти, охлаждала всякий Петрушин соблазн.

А Петруша такое городил, такие живописал следствия, — и конца тому не было, откуда шли Петрушины речи.

— Да с таким дубоножием, это, брат, тебе финики не простые, понимаешь ты, любого приштопоришь, все можно!

— Петруша, сделай милость, — больше уж не вытерпел, перебил исправник, — Петичка, дай своей мази!

— Ма-ази... — передразнил Петруша, — сам от своего добра бежишь! — и что-то еще и совсем неподходящее буркнув, схватился одеваться, и уж скоро совсем был готов, застегнутый и подтянутый, и только картуз на голову да за дверь.

— Петруша, — голос у Александра Ильича даже дрогнул, — я тебя очень прошу, пожалуйста, честное слово, никому не сказывай!

— Ладно, сиди уж, — и упорхнул Петруша.

И пока летал Петруша за своей чудодейственной копытной мазью к благодетелю своему провизору Адольфу Францевичу Глейхеру, и пока там что да как, в Студенце совершилось событие немалому удивлению, но и слезам достойное.

---

Студенец — город торговый: торгует Нахабин, Табуряев, Яргунов, Пропеньшев, Зачесов — студенецкие лесопромышленники, торгует и уездный член суда Богоявленский через доброписца Исцова — П е л и к а н а. Зимою самая горячка — кипит работа: зимняя заготовка к предстоящему сплаву, чтобы вывести лес к реке. С каждым

сплавом растут хозяйские накопления. Студенец — город со средствами.

И телеграф круглый год не бездействует, не сидят, сложа руки.

Телеграфистка Нюша Крутикова, как всегда, принимала одно и то же и Нахабину, и Табуряеву, и Яргунову, и Пропенышеву, и Зачесову, развлечения не предвиделось. А за торговыми шли телеграммы случайные: председателю Белозерову, смотрителю тюрьмы Ведерникову, предводителю Бабахину да две запоздалые имениннику протопопу Виноградову:

«Наилучшие дню сердца пожелания!» — и просто, как напишет, по словам Васи Кабанчика, всякая баба: — «поздравляю с ангелом!».

Вася Кабанчик продавал марки.

День был базарный, на почту приходил народ, были и такие, что дожидались. День обещал быть жарким, и на почте спирало по-почтовому.

Нюша Крутикова вдруг оживилась: любопытное что-то бежало по ленте, — телеграмма, в Студенец телеграмма, да какая!

Наблюдателю епархиальному Лепетову адресована была эта телеграмма. Наблюдателю Лепетову сообщалось известие чрезвычайное: в Студенец к одиннадцати часам на автомобиле приедет губернатор.

И первый, кто узнал эту новость, был Вася Кабанчик.

Сейчас же, ни минуты не медля, вне очереди понес Еремей сторож телеграмму к Лепетову наблюдателю. И уж вся почта знала о губернаторе. А те посетители, что толкались со всякими посылками, немедленно разнесли весть по базару.

Без шапки бежал Вася Кабанчик с известием к почтмейстеру Аркадию Павловичу.

Аркадий Павлович, как и прочие чины студенецкие, сладко почивал себе после именин протопоповских, и снилась ему его любимая дичь.

Снилось Аркадию Павловичу, сидит он будто с акушеркой Бареткиной у себя на крыше курятника, и летят будто гуси — стадо гусиное и прямо над головою. Аркадий Павлович и говорит соседке:

«Давайте, Аграфена Ивановна, имать их!»

А один гусь отделился от стаи, летит к курятнику. Вытянули руки, заманивают гуся, поймать хотят. И вдруг

так быстро и незаметно налетел этот гусь на Аркадия Павловича и уклюнул его прямо в ладонь. Тут Аркадий Павлович хвать гуся да за горло, сдавил горло, и что же? — не гусь, оказалось, а ястреб, да какой ястреб...

Вася Кабанчик, слюня и шепелявя и по природе и от волнения, передал взбуженному Аркадию Павловичу чрезвычайное известие: сам он, Кабанчик, и телеграмму принял без двадцати трех минут десять.

Не умывшись, без чаю, напялил Аркадий Павлович мундир да бегом прямо к исправнику.

И трехногая лохматая белая собака его Оскарка пустилась за ним.

«Сам губернатор — на автомобиле!» — так и пуляло на каждой колдобине, бросая почтмейстера то в жар, то в холод.

Александр Ильич сидел на своем диване, и над ним трудился Петруша, успевший пропустить и не одну для промочки голоса у благодетеля своего Глейхера.

Чем-то шибающим, политанью какой-то натирал ветеринар исправнику уши, задевая озорства ли ради или от усердия места непричастные: то ляпнет по носу, то мазнет по шее.

Это и была та самая копытная мазь, в которую уверовал Александр Ильич.

Градом катились слезы, смачивая побагровевшие его щеки, но он терпеливо выносил свою горькую муку и бескорыстно, ибо на том свете подобная мука вряд ли зачтется.

Ни ушей необыкновенных, ни слез горьких, ничего такого не заметил почтмейстер. Не здравствуясь, выкрикнул он о губернаторе, обращаясь не столько к исправнику, сколько куда-то к ковру косому, стоющему «столько миллионов тысяч ордалионов несметных денег».

— В одиннадцать на автомобиле губернатор!

«В одиннадцать на автомобиле губернатор!» — и, как рукой, вернее самой копытной мази, в миг вобрались уши и из ослиных опять стали антоновскими. Александр Ильич вскочил с дивана и, вымазанный весь, выскочил в прихожую за почтмейстером.

И уж в одну минуту весь Студенец был поднят на ноги.

Все четыре стражника пустились по городу: надо было оповестить голову Опарина, протопопа Виноградова, во-

инского начальника Кобырдяева, земского начальника Салтановского, а главное, во что бы то ни стало, вызвать из Чертовых садов Марью Северьяновну.

Все чистилось, мылось, скреблось, смачивалось, смазывалось, гладилось, приглаживалось, мелось, уминалось, посыпалось песком, а над всем разносилась отборная наша родимая ругань, помогающая во всяких случаях.

Из городского, из приходских и начальных училищ сгоняли мальчишек к собору. Шведов учитель выстраивал парад потешных.

Уж стражники метались, сами не зная куда, бегали собаки, шарахались с криком наседки. Без толку загоняли скот по дворам. Пыль подымалась выше соборной колокольни.

Вздор, нескладица, неразбериха.

К собору на площадь все стягивалось для встречи.

Прибыл воинский начальник полковник Кобырдяев, старичок, пахнущий мазями бобковой, камфорной и оподельдоком, и председатель земской управы Белозеров один, без Василисы Прекрасной, и казначей Понюшкин — Цапарь, судившийся из-за лисы с покойным головой Талдыкиным: до правительствующего сената доходили и всеподданнейшее прошение на высочайшее имя подавали, и в результате Талдыкин, заплатив сорок пять рублей судебных издержек, помер, а лисья шкура, сданная в полицию на хранение, сгнила.

Был на месте и судья Налимов, и хромоногий член суда Богоявленский, и земский начальник Салтановский — Законник, и акцизный Шверин — Табельдот, и агроном Пряткин — Свинья, и лесничий Кургановский — Колода, и податной Стройский — Дон Жуан, и смотритель тюрьмы Ведерников, суетящийся с выпученными от страха глазами, и Аркадий Павлович почтмейстер, и становой Лагутин, опухлый, с волосатым кулаком, и член управы Рогаткин и именитое купечество студенецкое с медалями: Табуряев, Яргунов, Пропенышев, Зачесов, и только не было самого главного самого Нахабина, отлучившегося по делам в Лыков, — все вятшие мужи, чины студенецкие и во всем параде.

Вышел с крестом протопоп соборный о. Николай Виноградов и стоял протопоп в сонме студенецких попов, как кур водный, сиесть пав — павлин.

И сам Александр Ильич — Лучезарный с нахлобученным на уши картузом, как уж после старались друг перед другом заметить, что картуз был нахлобучен, сам Александр Ильич во всей красе своей, страшен, яко лев, отдавал распоряжения, — и все по его слову творилось.

А помощник Александра Ильича Копьев в своих неизменных валенках гонялся за упрямой, непослушной коровой, которую, как ни бились, ничем не могли согнать с площади.

И только не видно было головы — Павла Диевича Опарина.

Сколько ни будили Опарина, сон его был непробуден. И все средства пустили в ход, какие только в таких случаях принимаются, и зык звонный и трубный глас, — трудился все тот же Петруша Грохотов, но ничем нельзя было поднять голову.

И совсем уж было отчаялись, да клубный буфетчик Ермолай Игнатыч посоветовал персидским порошком попробовать. Персидский порошок и вывел Опарина на свет Божий.

Привезли голову на площадь, поставили.

С хлебом, с солью стоял голова Опарин в изумлении.

Заштатный юродствующий поп о. Песоченский, ненарочным делом похоронивший покойника о трех ногах: третья гуттаперчевая, — нелепостно в картузе своем, как псаломщик какой, толокся среди певчих, прочищавших горло. Моровой батюшка о. Ландышев, живыми и мертвыми обладающий, стоял в новенькой камилавке у союзного стяга среди студенецких мещан, пренебрегавших по старине колбасной лыковской, веруя, что колбаса с человечиной: на пуд мяса свиного, фунт человечьего. О. дьякон Завулонский нырял среди потешных и, выбирая из карапузов что поменьше, дыхал в нос ребятишкам:

— Я на тебя дыхну, пахнет или нет? — пытал о. дьякон.

Но какая сила могла скрыть вчерашние протопоповские именины, и притом так врасплох!

Председатель Белозеров, сторонящийся студенецкого общества, только брезгливо морщился.

Базарный день собрал народ, как в престольный праздник. Всем городом стоял народ вдоль рядов против собора до самого моста, и уж пройти можно было только боком и то с трудом.

Сам старец Шапаев, что блудом лечит, не вылезающий со своего огорода, застясь от солнца, стоял в кругу баб-поклонниц, жен верных и богобоязливых, без шапки, босой, скорбный, с образком на груди. И бабушка Двигалка — Филиппьева, вездесущая, двигалась, перегоняясь с места на место, одна без своего благоверного Геннашки, оставшегося стеречь Колпаки. И Исцов — Пеликан, и Юлин парикмахер — Гришка Отрепьев, и Пашка — Папáн, босяк, тут же околачивался, беззазорно вымогая свой пажеский паек.

Малыши лепились вокруг пожарного обоза и кишки, выставленной напоказ вроде пушки.

За большой суматохой все путалось, и уж никто не знал, кого встречали, губернатора или архиерея.

Туча галок, вспугнутая непривычным гамом, накричавшись до хрипоты, уселась смирно на белый купол собора.

Время шло к полудню, а автомобиля с губернатором все не было, не было и Марьи Северьяновны исправничихи, и оттого Александру Ильичу было нестерпимо жарко: прямо огнем пекло.

И вот, как часто случается, вдруг пригнал стражник с вестью:

— Едет.

— Едет! — побежало по площади от рядов до моста.

И через какую-нибудь минуту те, что стояли ближе к мосту, увидели в густом пыльном облаке мчащийся автомобиль.

Автомобиль свернул было в сторону к Нахабинской лесопилке и как будто приостановился, приостановился, помедлил, и уж прямо помчался к мосту, через мост, на площадь.

Наступила торжественная минута.

Лепетов наблюдатель, обалдевший с той самой минуты, как Еремей сторож вручил ему телеграмму, почему-то из всех его одного извещавшую о приезде в Студенец губернатора, вдруг так смок, словно ведро на него вылили; и зуб на зуб не попадал.

Фараон, пономарь соборный, с расковыренным носом для протрезвления, занес ногу на доску, соединяющую большой колокол с маленьким, и, как гром, загремели соборные колокола.

Шапки долой — обнажились все головы.

Протопоп поднял крест.

Автомобиль, между тем, замедлив ход, уж тихо катил, спотыкаясь о колдобины.

— Караул! Спасите! — возопил голова не своим голосом, вдруг, вышедши из изумления своего, и, растопырив руки, присел кульком.

Александр Ильич бросился к дверцам.

Дверцы открылись. И как-то сразу на обе ноги выпрыгнул из автомобиля Соленый огурчик, а в спину экзаменатору ткнулась нахабинская ковшом борода.

Потешные грянули ура.

И звонили по всему Студенцу.

---

Когда клубным приятелям все надоедало — и карты и буфет, пускались обыкновенно на всякие выдумки: пили со свечкой — в левую руку огарок, в правую — бутылку, или ставили на ковер ведро водки, раздевались догола и садились в кружок — зачерпнут железным ковшом, и пойдет ковш вкруговую, так будто бы душа пропускает.

В этот вечер после утренней раструски, которая чуть было не стоила жизни голове Опарину, — долго голова не мог возвратиться в свой ум, кричал птицей, свистел и никого не узнавал, но когда все так хорошо кончилось, не надо было друзьям прибегать для развлечения ни к каким выдумкам: и без того всего было чересчур много.

Вечером в клубе чествовали виновника торжества экзаменатора Лепетова губернского — Соленого огурчика.

Не встреча экзаменатору Лепетову — подвез экзаменатора на своем автомобиле из Лыкова Нахабин, не все те и досадные и счастливые, связанные с встречей, внезапности, об этом еще будут говорить, по крайней мере, до следующих именин протопоповских, занимали общество дела семейные.

Петруша Грохотов с быстротою молнии, по его любимому выражению, постарался всех оповестить о чуде с исправником и о своей копытной мази: на четыре ветра прокричал ветеринар антоновские уши.

И чего только не было сказано и пересказано о этих ушах чудесных, от которых уж давным-давно и следа не было!

Ноево сказание, к слову пришедшееся, Петруша рассказал во всеуслышание и со всеми мельчайшими подробностями, с перечислением зверей ковчежных, а для на-

глядности и вразумительности уподоблял зверей присутствующим приятелям, и много руками действовал, якобы за недохваткой слов точных.

— Что же теперь с Александром Ильичом будет? — допрашивали дамы ветеринара.

— Да отпадут, как и не было! — облизывался Петруша.

— А он лягаться не будет?

Но тут Петруша такое понес, ну, прямо из хрестоматии Поливанова для старшего возраста, работы учителя Шведова.

И вот в самый разгар Петрушиных речей вошел в клуб Александр Ильич, и сразу во всех пяти клубных комнатах наступила мертвая тишина.

Александр Ильич был, как всегда, лучезарен, но было в нем что-то и не похожее на него: сосредоточенность какая-то, словно бы одна изводящая мысль не покидала его, а попросту говоря, Александру Ильичу хотелось напиться.

Марья Северьяновна, вернувшаяся из Чертовых садов как раз в самую развязку, когда вместо губернатора вылезал из нахабинского автомобиля Соленый огурчик, нельзя сказать, чтобы осталась очень довольна, и Александру Ильичу попало на орехи.

— Осел! — сказал кто-то уж чересчур раздельно, как скажет тот, кому недостает только свалиться под стол и захрапеть.

— Если и осел, то все ослы! — поправил Петруша, как на ногу, так и на слово легкий.

И произошло нечто совсем ни на что непохожее: Александр Ильич, покорно целые часы слушавший Марью Северьяновну и наслушавшийся от нее немало всяких ослов, тут потерял и самое малое терпение, размахнулся и кулаком ударил по лицу подвернувшегося под руку агронома Пряткина — Свиньею.

И поднялось сущее столпотворение и рассеяние языков, чуть дело до ножей не дошло, недоставало только крикнуть, пожар.

Одни тянули Пряткина, другие Александра Ильича, и, как это часто бывает, помяли бока и совсем не тому, кому следует. А никому, собственно, боков мять и не следовало, просто надо было растащить сцепившихся.

Да так оно в конце концов и случилось.

Виновного отыскали. Уговорили, утихомирили противников и принялись за мировую.

Волей-неволей должен был Александр Ильич выпить и, вторично зарок нарушив, опять разрешил.

А Вася Кабанчик, с пьяных глаз выкрикнувший из уголка исправнику осла, — Вася Кабанчик почему-то считал себя единственным виновником всей путаницы, о Нюше Крутиковой и помину не было, — Вася Кабанчик был извлечен из-под стола и в библиотеке под дружный гогот, совсем бесчувственного, его потрошили.

И натешившись над Кабанчиком, качали обезноженного экзаменатора Лепетова — Соленого огурчика, потом сели ужинать.

За ужином Петруша впал в раж и, вздурясь и спьяна, вызвался показывать фокусы: Петруша хотел во что бы то ни стало проглотить вилку черенком.

— Да ты не с того конца! — наставлял Петрушу Рогаткин.

А Петруша, знать ничего не желаю, совал себе в рот вилку и давился.

— А я вот так, — кочевряжился на другом конце акцизный Шверин, — я в нос всуну орех волошский, а из другой ноздри выскочит у меня грецкий.

— Только мое снисхождение, что ты со мной тут сидишь, — тянул свое секретарь Немов соседу Рогаткину, — а то быть бы тебе в остроге. Кто голодающую муку в реке утопил?

— Шутки изволите шутить, Василий Петрович, сам Господь Бог, буря поднялась! — как самовар, сиял Рогаткин, посмеиваясь в бороду над господской компанией.

А Петруша бросил вилку и уж рассказывал, как в Петербурге семидюймовые гвозди в язык вбивают и совсем безнаказно.

Хмель разнимал приятелей.

И вдруг с улицы через раскрытые окна донеслась надрывающаяся поросячья фистула:

— Караул! Спасите! — надрывался умоляющий голос.

Мимо окна прогремел тарантас.

И к общему удовольствию все узнали голос доктора Торопцова: следователь Бобров вез пьяного доктора в Щеву на следствие, а ехать туда — не на милое поле, и доктор вопил.

И снова все оживилось, от фокусов перешел разговор на излюбленные пересуды о следователе, — и трепался Бобров и вкось и вкривь.

А час близился к мирному сну.

Ермолай Игнатыч уж пустил в ход свою сливянку — смесь всяких вин, да горький милефоль — тысячелистник на любителя. Кто-то по обычаю сделал попытку раздеться. И все было хорошо, а чего-то не хватало. Ну, чего же?

И наступила чувствительная минута.

Немов, Стройский, Пряткин и Петруша затянули свой любимый романс.

Александр Ильич, сначала подтягивавший баском, из беспечности впал в ожесточение.

— А кому какое дело, что я пьян! — надмеваясь сердцем, твердил он, глядя перед собою.

А Салтановский — Законник стучал кулаком и совсем некстати жалобно ныл:

— Буду целовать тебя в бесконечность!

И плакал Пряткин — Свинья:

— За что меня обидели?

А с другого конца говорил кто-то, будто очнувшись:

— Ну, что ж, поживем пока что, еще милефолю!

А в ушах отдавало:

— Караул! Спасите!

Кто это кричал, Опарин ли голова, доктор ли Торопцов, не хотелось разбирать, да и не разобраться. Мысли путались, язык не слушался и было все равно: экзаменатор Лепетов или губернатор Лепетов, ослиные уши или человечьи антоновские, следователь везет доктора или доктор следователя, — все равно и все ни к чему. Как ни к чему?..

И застило глаза пьяной слезой.

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей,
Не говори, что...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

## ВОЖДЬ ЖИЗНИ

Пол-лета стояло дождливо, пол-лета тепло, и прошло тихо. Летом, собственно, и событиям совершаться не полагается, не такое время.

Как водится, и в городе и кругом в деревнях много было пожаров и ночью и среди бела дня. Убийства со-

вершаются по праздникам, а пожары предвидеть невозможно. И часто горело через всю ночь до свету, всю ночь бил набатный колокол всполох, и, как труба, ходил огонь по городу.

В клубе выпивали пива больше, чем зимой, зато водки и всякого милефоля поменьше: летом голова кружится. Разговоров о именинной встрече экзаменатору Лепетову и о ушах чудесных, как и надо было думать, хватило на целое лето.

На Троицу град выпал больше желтка яичного, а на Петрово говенье усмотрена была ведьма.

Сушковские ребятишки — сам Сушков кузнец, кузня за чайной Колпаками — кузнечата первые донесли о ведьме: бегали ребятишки к монастырю мимо оврага, бегут вечером домой, а из оврага им кто-то в белом — ведьма.

Пошли слухи и толки, и скоро весь Студенец знал о ведьме и ходить уже боялись мимо оврага. А те смельчаки, что подходить к оврагу решались, рассказывали много разного и чудесного: кто говорил, что собственными глазами видел парикмахера Юлина — Гришку Отрепьева, варил будто бы Гришка в котелке себе ужин, а ведьма рядушком с ним сидела и они разговаривали, а другие добавляли при этом, что у ведьмы копыта лошадиные, а руки человечьи, тоже собственными глазами видели.

Почему именно Юлин попал в столь странную компанию, один Бог ведает, — Юлин у всех на виду, Юлин один на весь Студенец и стрижет и бреет. И странно, когда слух дошел до него, сначала он очень храбрился и кое-кому даже «морду набил», а потом присмирел и как-то подозрительно стал хорониться.

Богомольцы, приходящие в Тихвинский монастырь, с трепетом обходили и парикмахерскую Юлина и овраг нечистый, иные, страха ради, вплавь переплывали Медвежину, боясь опоганиться.

И залегла бы дорога — путь в монастырь, как в былые дни путь к Киеву от Соловья Разбойника, не вступись в дело сам Александр Ильич, решивший взять ведьму силою.

Намерение Александра Ильича было непоколебимо, твердо и благочестиво. И в один прекрасный день, очертя чертою, оцепил он овраг стражниками, а смельчаки с ломами и палками спустились в овраг. И тут уж кто с чем, кто с камнем, кто с кирпичом принялись закидывать яму.

И вдруг из ямы — собака, да большущая, лохматая, белая собака о трех ногах, а за ней щенята. Бросились вдогонку, а ее уж след простыл. Так и упустили.

И как ни было очевидно, что это — собака, не ведьма, и притом собака ярлыковская — Оскарка, а Юлин парикмахер совсем ни при чем, Юлина все-таки поцарапали, да так, что Гришке хоть ножницы забрасывай.

И кое-кто из смельчаков попал в камеру Боброва, и, конечно, отправился прямым путем в острог.

На Ильин день, как и в старые времена, прибегал дорогой неустроенной и неуезженной из лесов студенецких на Медвежину олень — золотые рога, кунал олень в Медвежину золотые рога. Но вода тепла, не остудилась Медвежина, и ильинским дождем не попрыскало землю, и дни не похолоднели. И пришлось оленю в канун Спасова дня опять прибегать на Медвежину, опять мочить в реке золотой свой рог.

А на Спас — на горе бабушка Двигалка — Филиппьева черта родила.

Двигалке под семьдесят, Геннашке, мужу ее, дай Бог, под сорок, а то и того нет, мужик здоровый: спьяну ли на Двигалкины деньги позарился, либо Двигалка ключами своими — двенадцатью ключами обошла мужика, что-то не без того. Ну, с Двигалкой Геннашке радость не великая, и сошелся он с работницей Васихой, — в чайной у них в Колпаках прислуживала.

Да от Двигалки разве что скроешь, — на то и Двигалка она, чтобы все и про все знать.

Пробовала старуха мыться медом, да после пить Геннашке давала, — не помогло, и задумала старуха попугать Геннашку, чтобы уж во веки вечные ему не шататься.

Поехал Геннашка в Лыков за товаром, осталась дома одна Двигалка, затопила Двигалка под вечер баню, позвала Бареткину акушерку, да в бане и разрешилась.

Черный маленький чертик мохнатый и с хвостиком, — вот каков плод ее чрева!

Бареткина в полицию:

— Так и так, у бабушки Двигалки черный маленький мохнатый с хвостиком, а шейка свернута.

Налили в банку спирту, Двигалкина чертика в банку, в спирт, да Торопцову доктору на осмотр.

Иван Никанорыч, хоть и пьющий, а людям добра немало сделал, и в скольких только поминаниях о здравии ни

записан, на ектинье за обедней поминают: взглянет Иван Никанорыч глазом и ровно сквозь кожу вовнутрь тебя все видит.

— Мертворожденный котенок! — сказал Иван Никанорыч.

Котенок! — Вера Торопцову велика, да уж тут не до веры.

— Я ничего, я нечистого не знала, пряником меня окормили! — звонила Двигалка звонче ключей своих волшебных, — и зачала я и родила от пряника: Васиха работница принесла мне с базара пряник, съела я пряник и почувствовала тяжесть.

А Геннашка мало того, что навеки вечные перепугался, Геннашка совсем рухнулся: кого ему наперед порешить, Васиху работницу или жену Двигалку? — только одно в уме и держит, извелся весь, как черт почернел, и от вина ослаб. И уж каждому встречному и поперечному все свое о черте. Сам к Боброву в камеру влез, ровно какой нечистик.

— А вы слышали, Сергей Алексеевич, извините за дерзость, баба черта родила, — глядя куда-то в сторону, с опаской шептал Геннашка, — один остался, у Ивана Никанорыча в банке сидит. Родила-то старуха их много, черти, что поросята, их много зараз родится, первому дала она соскочить на пол, а нечистый сам дал ему силы, он, первый-то, и утек, а второй, как появился, бабка хвать, да шею ему и свернула, он и попался в руки! — шептал Геннашка, а в голове крутило: кого ему наперед порешить, Васиху работницу или жену Двигалку?

Двигалкина черта-котенка показывали Боброву.

Бобров не принял дела.

Осенью в Студенец приехал из Лыкова суд, — началась сессия.

Бобров следил за делами. И все было так, как надо: убийц, им привлеченных, всех осуждали, — одних приговаривали к каторге, других в арестантские роты, изредка сажали в острог.

И щевского поджигателя Сухова — дело особенно памятное и потому, что случилось оно как раз в студенецкое дубоножие с чудесными антоновскими ушами и именинной встречей экзаменатору Лепетову, и потому, что пришлось тогда делать на поджигателя не легкую

облаву, щевского поджигателя, во всем в конце концов сознавшегося, закатали по всей строгости.

И было отчего быть довольным Боброву, можно было порадоваться: закон одолел! И он чувствовал себя как-то особенно на своем месте, прочно и бодро.

А ведь какой грех вышел: поджигатель-то не поджигателем оказался, — совсем ни за что пропал человек!

Дней через пять после суда явился из Щевы к Боброву мужик Балякин и во всем повинился: его грех, он Балякин, во всем виноват, он мужика Торопова поджег и ложно на Сухова показал, а Сухов ни при чем, Сухов у своей бабы овцу украл и пропил, и от бабы — люта очень, — в бане схоронился.

— Всякая вина виновата! — топотался мужичонка.

Допросив Балякина, Бобров отправил его в полицию, а сам поехал в Щеву на горелое место проверить Балякина.

И в Щеве, на месте, теперь все подтвердило, что поджег не Сухов, а Балякин, а Сухов от бабы своей схоронился, — ошибка судебного следователя.

Как, он, Бобров, сделал ошибку! Его, Боброва, обвели вокруг пальца! Вот тебе и моль все зубы переломает!

И эта ошибка была камнем, пущенным в него — ему в сердце, непреклонное и твердое, как сам камень, и горькое, как желчь.

И не то скребло у него на душе, не того ему было страшно, что теперь уж за эту ошибку схватится всякий, кому только охота, будут всюду трубить, ногой на него наступят, а то его точило, что он, Бобров, так жестоко и позорно обманулся.

Но на первых порах он не растерялся, нет, он как-то весь подтянулся, словно вырос.

Да, он ошибся, он виноват — всякая вина виновата! — но он исправит ошибку, и все будет так, как надо.

Сгоряча ему представлялось дело просто и ясно.

Возвращаясь из Щевы ночью, свалился Бобров с тарантаса в глубокий лакутинский овраг и боком ушибся больно о камни, но сразу поднялся, будто и не падал, — ничего не заметил.

Куда уж заметить!

В Студенце ждали дела.

А ведь дела эти особенно теперь нужны ему были. Без них ему теперь, как без рук. Без них ему — что уж

говорить! — больше и дыхнуть нельзя. Да, он исправит ошибку, мало того, он делами и только делами изгладит эту ошибку.

Бог весть отчего так бывает в жизни: в злые ли дни ты родился или под враждебной звездою, но нет покоя тебе, которым бы утешилась душа, а так тебя и крутит, и падают на твою голову горе и позор, и уж не знаешь, кто толкнет, что тебя свалит?

Чем не хороша была жизнь Василисы Прекрасной, чем ей плохо у председателя? Прежде-то, бывало, над помпой погни спину, иззябнешь, издрогнешь, все пальцы одеревенеют, а теперь в тепле, да в холе, как у Христа за пазухой, — барыня, и обута, и одета, и сыта. Голышом-то по теплой комнате прохаживаться не ахти как трудно! А вот, поди ж ты! Душа у Василисы заболела. Душа заболела и все опостылело, не мил ей и белый свет, хоть руки на себя накладывай.

Долго томилась Василиса, в себе таила, — ночью ходит перед идолом своим, а самоё слезы душат и, как камень, вот где! А он разлегся, лежит на диване, курит... как пёс, сидит: двери заперты, никого не подпустит.

Терпела Василиса, терпела, да невтерпеж видно, болит душа, и решила идти к старцу. Улучила Василиса минуту — самого-то не было дома, да по задворкам и пробралась на огород к Шапаеву: как скажет старец, так она и сделает.

Шапаев встретил Василису ласково, расспросил ее — как на духу все открыла ему Василиса, и нашел старец, что бес в Василисе, а беса изгнать можно.

— Смириться надо, — сказал старец, — в бархате ходишь, а грехом живешь. По естеству-то все Бог прощает, а нагишом ходить не показано, не по естеству это. Ходишь ты вот перед ним, а бесы-то радуются, бесстыжая, бесстыжеством распалила его. Смириться надо. Грех красотой творишь, а расточи эту красоту, унизь ее! Гордыня в красоте твоей! Смириться надо. В церковь пойдешь, вырядишься — Василиса Прекрасная! — а ты под ноги брось ее, красоту свою, растопчи ее! — и руки его уж потянулись к ней.

Отшатнулась Василиса, потупилась, — знала она, к чему поведет, а страшно.

— Что больно стыдлива стала? — захрипел старец и вдруг властно прямой весь, прямо: — а я тебе говорю, смирись, не щади себя!

Старец по кличке Шапаев не так уж был стар, правда, сед и ногами худ, словно простывал ногами и оттого все вздрагивал, но худоба его, жилистость эта была, как сталь, крепка, и, конечно, не с одним, с легионом бесов управиться мог Шапаев.

Василиса на все согласилась. И деньги, какие есть, все отдает.

Шапаев и стал изгонять беса...

Василиса Прекрасная, как-то ты теперь к Идолу своему покажешься? Что ему скажешь? И что он тебе скажет? А приятели клубные? Ведь, это они по тебе плакали, когда в чувствительную минуту пьяные пели: Немов, Стройский, Пряткин и Петруша! Василиса Прекрасная, еще не поздно, еще есть минута, ведь это сам бес водит тобой!

А ей что? Ей-то что, когда вся душа болит! Душа болит! Все, что захочет, все пускай делает!

И нет уж этой минуты, поздно.

Шапаев изгонял беса... по-своему изгонял беса. У! куда бес!

И вышел бес из Василисы.

Старец дрожал весь, глаза помутнели и волосы слиплись, вдруг суровый такой. А Василиса от радости в ноги, ноги ему целует: полегчало, как с души у ней свалилось, совсем легко, совсем тихо, ну, как прежде, как бывало, когда над помпой мерзла. Совсем ей легко.

— Ну, смирилась, а грех еще очистить надо, — и Шапаев еще раз велел прийти Василисе, — отпускную молитву возьмешь! Молитва есть такая! — сказал сурово, суровый, не посмотрел на нее.

И не раз, трижды придет Василиса, если так надо.

Нынешние старцы на послушании морят. И время не такое ходить по своей воле — растерялся, ослаб человек, а главное измалодушествовался, куда уж такому за свой-то страх дела подымать, спасать человечество, распустился народ. Да и дни не за горами, дни уж идут на нас, о которых и сказать страшно. Надо собраться, надо подготовить, надо душу выковать, дух укрепить. Вот старцы на послушании и морят.

Старцами недовольны, на послушание ропщут. А старцы непреклонны, слышать ничего не хотят, знай, одно свое: послушание. И правы.

Ну осмотримся, надумаемся, поглядим на себя, по России-то оглянемся, что мы такое, что у нас за душой-то, много ль добра, что за добро, и сильны ли средства нашей несильной малодушной силы?

Так говорят старцы.

Недовольны старцами, не понимают ни мыслей, ни замыслов их и, случается, бегут — «давай спасать человечество!» — слепые, берутся за дела и пропадают: слепые, нетвердые сбиваются, и пропадают да и других губят.

Глупые, ничего-то не смыслят, ничего не чуют, ничего не видят, не любят и не желают! Ну куда ты пойдешь: силы курячьи, душонка воробьиная, что сделаешь, что выдумаешь, чего достигнешь, кому поможешь?

Так говорят старцы.

И правы. Ну, сказать правду, всякая обезьяна чудеса нынче творить хочет. Голыми руками с папироской в зубах дар Божий хотят получить. А соблазн еще больше и жить труднее. Еще бы! — обезьяна чудотворить полезла, и слепой слюнявый мерзеныш хозяйствует.

Трудно было Василисе незаметно из дому выбраться, да надо, грех надо молитвой смыть, — сам старец сказал. На душе легче, а все будто прилипло нечистое что, а вот возьмет молитву и как из купели выйдет. И опять выискала Василиса минуту, опять по задворкам, да на огород к старцу.

Как же! Помиловал ее Господь, исцелилась она, только бы уж молитву-то получить.

Пришла Василиса к Шапаеву за молитвой. А бес-то, видно, как вышел тогда из Василисы, да в старца, так прямо в старца и прыгнул. Какая уж молитва! И слова сказать не может, позеленел, фуркает, как кот, в щель, да как набросится на нее и опять за свое... так и ломит боком, инда образок заскрипел на груди, руки — железо, грудь, как кузнечный мех.

Вся душа перевернулась у Василисы — ведь она грех приняла и молитвою снять его хотела! — и там, в безвестном, там, в тайном ее сердца, все запылало.

— Окаянный! — вздрогнуло сердце.

Рвется — не вырвешься, рвется Василиса, — не тут-то, нет, не отпустит... да вырвалась, — не тут-то, так и хрупнули его хваткие пальцы! — вырвалась да бежать.

А куда? Кто ее выслушает, кто заступится? Идол? Нет. К кому же идти? Где искать правды? Да к кому, — к следователю, к Боброву.

Василиса — к Боброву.

Все выслушал Бобров, слова не проронил, но с чем Василиса пришла, с тем и ушла, — обиду не снял, а делу дан был законный ход.

И из всех дел шапаевское дело было у Боброва в первую очередь: тут-то он покажет себя!

Шапаев не мог не знать, что вызванный к Боброву, в конце концов, а не минует он острога, и поклонницы-бабы затевали скрыть старца, грудью стать, не выдать.

Старец и в ус не дул.

— Я с Богом разговариваю, — учил он баб своих, овец неразумных, — всякий день к Богу обращаюсь и не боюсь, чего же мне сыщика-то бояться!

И правда, Шапаев говорил ничуть не робея и даже совсем не робея. И было похоже на то, что хоть и сидит Бобров и спрашивает, а Шапаев стоит перед ним и отвечает, а вместе с тем не Шапаев у Боброва, Бобров у Шапаева на допросе.

Старец не отпирался, да, лечил он Василису блудодеянием и вылечил, и деньги он у нее взял, да.

— А больше ничего, — Шапаев даже пришлепнул своей жилистой ногой и вдруг скосил к носу глаза, — кто весть Божия, токмо дух Божий, неизведомы судьбы его, неисследовано путие его!

И разговор как-то само собой повернулся совсем к другому — дело не в блуде и бесе, и не в деньгах, и не в насилии! — разговор повернулся к крепости Бобровской, к закону его, к его вере неколебимой в закон.

По Шапаеву выходило так, что нет преступления. Нет преступления, а есть несчастье. А несчастье от греха: в мире грех ходит, муты среди людей делает.

— Где человек, там и грех! — как молотком, стучали слова.

И тот, кого грех попутает, не преступник, а несчастный. И на все на то Божья воля. И не человеку судить не-

счастного, не человеку карать его: уж в несчастье своем несет грешник-несчастный свою кару — несчастье свое. И уж если повинен кто наказанию, то не тот, кто преступление совершил, а тот, кто осудил этого преступника, окаратель его.

— Грешник, униженный, многое постигает, грешный ближе к Богу, он-то и думает о Боге, молится, грешник первый предстанет пред Господом, — сказал старец, и в голосе его прозвучала великая скорбь и горькое раскаяние.

И на минуту потянуло Боброва без всяких отпустить его домой, но он сразу спохватился, и только подвинул свои сухие длинные пальцы.

Шапаев продолжал рассказывать, Шапаев говорил присказульками, на все давал ответы, сказывал и сказки.

А из всех путанных слов его, из всех сказок его был один вывод, да так, будто бы и в мудрых людях слух идет, что лишь подвигом народ исцеляется, а самый больший подвиг в вольном страдании.

— Весь от себя отступи и отвергнись от себя, прими на себя чужую вину, возьми крест другого и неси этот крест за другого, — как молотком, стучали слова.

Вольное страдание, это сладкое узничество за другого и спасет будто бы русский народ, просветит его сердце, очистит его душу.

До вечера думал Бобров, не отпускал Шапаева, пробовал толковать ему о своем — о законе, но старец прекословил ему.

— Говоришь хорошие слова, а сам о хорошем и понятия не имеешь! — немирно сказал Шапаев, тем разговор и кончился.

Бобров писал постановление — какой еще может быть разговор! — а Шапаев, скосив глаза к носу, стоял нахмуренный, бормоча что-то, молитву свою.

— Пресвятая Богородица наша по мукам ходила... — сказал вдруг Шапаев.

Бобров на минуту отложил перо, прищурился.

Шапаев дергался.

— Пресвятая Богородица наша по мукам ходила, Михайло архангел водил ее, показывал... — и голос его упал, — и оставила Богородица рай, Сама пошла в муку, к нам, в муку, с непрощенными мучиться и мучается и

стенает и молит за нас из муки, за весь мир заступница. Между людьми и Богом ниточки есть... — и замолк и стал такой скорбный и униженный, смотреть на него больно.

Шапаев пошел в острог, а Бобров к себе — в жестокое молчанное житие свое.

---

Ночь, запершись, Бобров не присел к столу, не раскрыл книги. Не до чтения ему было. Растревоженный, выбитый из колеи привычных мыслей, метался он по своей комнате, как после допроса в одиночке запутавшийся вор-острожник. В комнате было тесно. Ему бы куда где попросторней!

Ошибка с поджигателем не выходила у него из головы, и незабытной памятью стояли слова Шапаева.

А может быть, он и раньше ошибался, и не один раз, да только так проходило? И разве он не знает, что хорошо?

И было такое чувство, как на обыске, и оно не отпускало его, только гонялся он не за поджигателем, а за самим собой.

И вот в первый раз за столько лет он спросил себя, да прав ли он с своей законностью, и надо ли русскому народу его законность, в законности ли все спасение России?

Когда его вывалил ямщик Фарутин, он почувствовал, как внутри его перевернулось что-то, но он забыл тогда же, будто и не заметил, а вот вспомнил, а вспомнил потому, что в душе его что-то перевернулось.

Острая боль подкатывала к сердцу.

Что же спасет Россию, если не его законность? Подвиг, вольное страдание? А его законность? Куда же девать закон? И он, следователь, не нужен России? Куда ему-то деваться?

В душе его что-то перевернулось, в безвестном и тайном его сердца, и вернуться к прошлым ночам с их гневом и проклятием он уже не мог, не мог думать по-старому, вести мысль по проторенным путям. И вскрылись те больные точки, которые столько лет обходил он, хоронясь за свою заветную тетрадь — за обличения свои, ставшие, как вино, привычкой.

Он вдруг о жене вспомнил и с той захватывающей тоскою, с какой вспоминал только в первые годы разлада, ту ночь вспомнил, когда его к жене ночью позвали.

«Знаю, все знаю!» — ясно прозвучал над ним ее голос, те слова ее.

И ему стало обидно за все, и жаль всего, жизни своей, которая так истратилась ни за что.

Как ни за что? Да ведь он отдал всю свою жизнь на защиту закона — в защиту русского народа, который гибнет от беззаконства. Он творил дело души своей. Он служил во всем в правду России, он искал правды и оборон народу. Он весь для России.

Да, конечно, нужно было как-то наладиться, сердце его было уязвлено, крепость его расшатана, но он не хотел сдаваться.

Разве он не знает, что хорошо? И если всю его законность к черту, почему шапаевское вольное страдание хорошо?

«Взять на себя вину, ну, а тот подлец будет по воле разгуливать, да еще смеяться! И это хорошо? Для кого? Для России? И конечно, не сопротивляйся бьющему! Да ведь он же меня не одного бить-то будет, дай ему только волю, только, попробуй, смолчи. И, конечно, люби ненавидящих нас! Люди прощают всякого подлеца, потому так много и подлости. А Россия раздавлена этой исконной своей смолчивостью, отупела и озверела от своей податливости. И это хорошо? Для кого?»

Воздух начинал спираться, потянуло к водке.

«Я буду убивать, а другой возьмет мою вину на себя. А убивать я буду потому, что меня грех будет путать, а против греха ничего нет, — на все воля Божья. И совершив убийство, я, несчастный, и понесу свою кару в этом несчастье моем. А судья, осудивший меня по закону, — ведь меня судить будут, ведь не начнут же все люди среди исконного греха, в царстве судьбы и греха, все до единого святым житием жить! — судья-то тот Налимов понесет свою кару за осуждение свое. Для кого? Ради кого? Ради России?»

Водка обжигала и было больно, жгло.

«А что если людям все позволить, — спросил себя вдруг Бобров, — да так позволить, чтобы уж все было можно, хоть только на один-единственный день?»

И ответил:

«Люди вообще существа грубые и глупые и лютые, и за один день, за один-то день, пожалуй, и ничего бы не

сделали: соблазн так был бы велик, не знай, за что взяться, растерялись бы... Ну, а я, чтобы такое сделал я в этот один-единственный день?»

Бобров зажмурился и долго так сидел.

«Знаю, знаю, все знаю!» — шептал он, и снова в памяти его прошла та последняя ночь.

Час подходил к клубному разгону.

Там Василиса Прекрасная томила, пьяное вином, клубное сердце горело сердцу звездой далекой.

Снаружи загрохотала ставня — клубные приятели возвращались на ночлег мимо Бобровского дома, и от удара кольнуло в сердце.

На малую минуту сердце остановилось.

«Вот он, и конец!» — мелькнуло в душе и сразу так много забылось, как странно, и даже заветная тетрадь его с обличением и проклятием народу, затворéнному родному народу, которой держалась вся его сила и крепость, будто ее и не было никогда, и наступил покой бессилья: воля Господня буди во всем!

А сердце опять застучало, как всегда стучит, но он уж не решался пошевелиться, стало страшно, и страшно и больно, что вот и опять схватит!

В углу висел образ, тот самый отцовский, перед которым когда-то отец молился, Богородица — Величит душа моя Господа.

«Между людьми и Богом есть ниточки!» — вспомнились Боброву слова Шапаева, и голова его вдавилась в плечи, как у отца, когда старик молился.

— Пресвятая Богородица, спаси нас!

И вдруг ему совестно стало, поспешно он налил еще стакан, и, как подожженный, вскочил с места:

— Да на кой черт этому народу законность твоя! Ни ты ему, ни он тебе не нужен. Беззаступный, бунташный... проклятый народ! — и привычно Бобров поднял кулак, свою палку — закон — смертоносное знамя, крест воздвизалый, стяг свой — крест и проклятие: с ним и пойдет он один, отколовшись от всего народа, один, на край света по пустыне, где людей нет — откатный камень.

А в душе его все перевертывалось — в безвестном и тайном сердца его. И была душа его, как разодранный плат.

Под ним земля шаталась. И больно жгло.

Да у него все горит, ум горит, сердце горит, душа горит. Это Сухов, поджигатель, поджег!

Бобров сделал последнее усилие, глотнул еще — до дна, и стало как будто отлегать.

Осторожно дошел он до дивана, потушил свет.

Когда в Петербурге еще студентом Бобров захворал той обычной, считающейся легкой болезнью, о которой принято говорить не больше, чем о каком-нибудь пустяшном насморке, и после доктора вечером шел домой по Невскому, как-то чувствовал он себя со всеми близко: так много встречалось подпорченных и с грешком, как и он, все ему братья и сестры... И как было бы хорошо завтра вдруг явиться ему в клуб и там провести вечер, как все, со всеми. И все помирилось бы в добром духе, по-хорошему, и уж пошла бы жизнь хорошая и прохладная и веселая, бесскорбная, без кручины.

Или к Феничке пройти ему в гости?

И вот под клубное счастье, которое изливалось на его душу, как некий чистый елей — блудное миро, с мыслью о Феничке гулящей он повалился, и горький сон забрал его.

Мутен, горек сон приснился Боброву. Счудилось ему, в доме новая прислуга у них, здоровая девка, как Василиса, и входит она будто в его комнату, а в руках держит большие ножницы и стрекочет, наигрывает она ножницами, как парикмахер Юлин — Гришка Отрепьев, когда стричь собирается.

Ближе, все ближе подходит к нему эта девка. И чем ближе она подходит к нему, тем беспокойнее ему.

И темный страх напал на его.

Он скорчился весь, вобрался, стиснулся — рука к руке, нога к ноге.

— Помилуй меня!

— Не помилую.

— Спаси меня!

— Не спасу тебя, лютый.

— Пощади меня!

— Нет пощады.

Нет ему пощады! И он мечется, вертит головой, а деться ему некуда.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

# СТРАДЫ

Утром в обычный час встал Бобров, уныл и немощен, измученный сном.

Ледяная вода не помогла ему: весь он осунулся, охудел, опустился, все тело ныло, словно палками отколотили его, и все ему было обузно.

«Вот если бы ему в Париж, в Париж ему уехать! — хватался он за последнюю соломинку, — там бы и жить, и никто бы не знал о нем. Тихо прожил бы он свои последние дни. Там такой воздух легкий! По вечерам он слушал бы звон, как вызванивают часы в Сорбонне, в Сенате, у Сан-Сюльписа...» — и он стал прислушиваться, словно и вправду услышит — из города счастья, столицы мира дойдет до него весть, и на минуту до боли ясно представился ему Париж: пасмурный, серый вечер в мае...

А ученая канарейка выпевала гимн, наш русский народный гимн.

Бобров поднялся.

Трудно было одеться. Он чувствовал, как форменный сюртук его давит, а фуфайка шерстила, драла грудь и спину, словно парамант надет был на нем проволочный с гвоздиками — вериги игольчатые.

Через силу спустился Бобров вниз, в камеру.

Письмоводитель Пармён Никитич в своей голубой рубашке-фантазии уж сидел за столом, и короткие штаны его еще выше были поддернуты: на воле была невылазная грязь и, хоть подсушило, да предусмотрительность никогда не мешает.

День начался, как всегда: переписка, бумаги, потом стали приходить свидетели.

Отец поссорился с сыном, — мирили.

— Поклонись ему в ноги, мерзавец, голова не отвалится! Ну, а ты прости его! — учил Пармён Никитич.

А Боброву было как-то все равно, и что ни говорил Кариев, и хоть лбами их сталкивай, все равно и не для чего.

Урядник привел арестанта. Надо было спешно допросить. А это было привычно и легко Боброву, и с арестантом он скоро управился.

Наступил перерыв.

Пармён Никитич вышел, а Бобров остался один за своим столом.

И чай его остыл, а он и не пошевельнулся, как сел, так и сидел. Тяжело думалось, темно и тяжело и так, ни о чем, что попадется.

И почему-то вспомнилось ему одно дело, так, пустяковое, в газете вычитал.

Где-то, во Владивостоке судили китайца. Плохо что знал китаец по-русски, а понимал и того меньше. Судили китайца без переводчика. Судили китайца за то, что он брюки украл. «Украл ты пару брюк?» — спрашивает судья. «Один брука», — твердо отвечает китаец. «Украл ты один брука?» — «Украл». Ну, судья читает обвинение: «За кражу пары брюк такой-то приговаривается к наказанию». Как, за пару брюк? Китаец недоумевает, понять ничего не может, не хочет покориться. «Один бреука!» — вырывается из души его отчаянный крик, кричит китаец, а уж приговор вошел в силу и китайца ведут.

— Один бреука! — глотнул Бобров воздух: кольнуло в сердце, и затаился.

На подоконнике сидела галка, — глаза у галки были белые.

Как прикованный, смотрел Бобров на галку и не мог оторваться от ее белых глаз.

Галка сидела, не улетала. Галка уставилась на Боброва белыми глазами.

И озноб побежал по телу.

«Окно закрыть надо», — подумал Бобров, и не встал, а только зажмурился.

А в глазах стояли две белые точки, и в сердце кололо.

«Без переводчика, все мы без переводчика... Судья приговорит, а мы недоумеваем, кричим, да поздно... — схватился Бобров за китайца, думая, должно быть, китайцем прогнать галку, а и с закрытыми глазами все ее одну видел: галка тихо сидела на подоконнике, уставившись прямо на него белыми глазами, — да, без переводчика... и с каким возмущением, жестоко, несправедливо осужденные, идем мы в тюрьму! Пара брюк?..»

— Один бреука! — вскочил от боли Бобров.

Пармён Никитич на цыпочках затворял окно. Штаны его были еще короче, широкие разношенные резинки оттопыривались, и видны были серые нитяные носки.

И опять начались дела.

Бобров делал последнее усилие, чтобы хоть как-нибудь держаться, — смотреть на него было больно, — и опять подписывал бумаги — рука сама собой водила, и опять допрашивал, — привычно складывались вопросы.

Приходили какие-то мужики и бабы, как сквозь сон, во мгле проходили они перед Бобровым. Вонь прелью полушубков ошибала его.

Тяжко, медленно шли часы.

Наконец, посторонних никого не осталось. Ждать больше некого. Пармён Никитич отворил форточки, подвязал себе калоши, и можно было молча, как всегда, разойтись.

В это время в камеру вошел десятский с пакетом:

— Угрюпинский земский начальник Крупкин застрелил жену.

Бобров сунул пакет в карман, но вместо того, чтобы послать за лошадьми, медленно поднялся к себе.

---

В кабинете Александра Ильича под знаменитым косым его ковром двенадцати шерстей разных волков, у граммофона сидел после обеда сам Александр Ильич да член управы Рогаткин.

— Нос чешется! — подмигнул Александр Ильич.

— Водку пить.

— С удовольствием.

— А ну-ка разведи чего-нибудь еще повеселее! — Рогаткин, ухмыляясь в бороду, сиял, как самовар.

И граммофон трещал вовсю.

И Александр Ильич и Семен Михеич оба были довольны.

Дело Рогаткина, о котором он пришел потолковать с исправником, — какая-то казенная поставка, уладилось к обоюдной выгоде: Рогаткину — в карман, да и Марье Северьяновне не будет обидно, — Чертовым садам не урон, а пополнение, живи, не печалься!

Давно было пора идти в клуб. Там будут и вспрыски: для этакова случая и разрешить не грех. И Александр Ильич чихал, как пёс, от удовольствия.

В самый раз попали приятели в клуб.

Тут все были в сборе: и сам старшина Иван Феоктистович Богоявленский, и судья Налимов Степан Степаныч,

и земский начальник Николай Васильевич Салтановский — Законник, и акцизный Шверин Сергей Сергеич — Табельдот, и агроном Пряткин Семен Федорович — Свинья, и секретарь управы Василий Петрович Немов, и податной Владимир Николаевич Стройский — Дон-Жуан, и почтмейстер Аркадий Павлович Ярлыков, и лесничий Кургановский Эраст Евграфович — Колода, и Анна Саввиновна Шверина, и Катерина Владимировна Торопцова — Лизабудка, и Прасковья Ивановна Боброва, следовательша, и сам Иван Никанорыч Торопцов, успевший усидеть, если и не все девятнадцать, то уж во всяком случае, не меньше дюжины.

Всех занимала последняя новость: земский начальник Крупкин, застреливший жену, как зайца. И эта новость даже заслонила Белозеровский скандал с Василисой Прекрасной.

Крупкин, наезжая в Студенец, всегда бывал желанным гостем. Не молодой уж, но крепкий, с военной выправкой, сманил он своим птичьим глазом жену у Салтановского — Законника, а главное, славился своей охотой, — страстный охотник, держал он девять борзых и пользовался первой порошей, чтобы травить зайцев. И так его все боялись, что никто не осмеливался бить зайцев. А сталось вот что: в Урюпино к старосте из Петербурга приехал сын-солдат, привез с собой ружье и начал нещадно бить зайцев. Узнал Крупкин и засудил солдата: присудил к двадцатипяти рублям штрафа, да еще и на высидку. Солдат подал в съезд, а съезд смягчил приговор по закону. Заплатил солдат штраф и снова принялся за зайца. А за ним и другие. Взбеленился Крупкин, засыпал всех штрафами. А те — в съезд. Тут еще и губернское присутствие вмешалось, бумага за бумагой, чуть до дисциплинарки не дошло по жалобе съезда.

— Крупкин остервенел, — рассказывал Петруша, — знай штрафует за каждого зайца по четвертной, а зайцы прыгали у него уж вот где! А ночью и сна нет, так из углов и лезут, грудой сидят белые, серые, всякие. И померещилось ему ночью, прыгнул на кровать к нему заяц, он за ружье, нацелил, да как вдарит... А чиркнул спичку, по кровати кровь, — весь заряд всадил в жену.

Дамы охали и ахали.

А Петруша и тут не удержался и, обращаясь больше к дамам, к следовательше в особенности, пустился рас-

сказывать о какой-то заячьей шерстке, которая будто бы может погубить вернее всякого зайца.

В воздухе густело.

Разговор иссякал, — дурацкая минута, — пора заняться Бобровым.

Конечно, следовательская ошибка с поджигателем взята была на зубок. Чистым елеем — небесным миром возлиялась на душу заветная мысль, что следователю уж конец, даст Бог, уберут из Студенца.

И каким злотворцем — хищником, волком, губителем вставал в разгоряченном воображении Бобров.

— Ишь ты, маху, наш голубчик, дал!

— Скапустился!

— На шишу остался!

— Зададут ему феферу с фернопиксом!

— Так и надо!

— Так ему и надо! — подхватили хором приятели.

Кто-то предложил выпить за Бобровскую ошибку.

Появился милефоль и кричали ура.

И все было хорошо, а чего-то не хватало. Ну, чего же?

---

В Колпаках, в чайной у Двигалки на тесной хозяйской половине сидели за самоваром сама хозяйка Двигалка, Геннашка да Тихвинская монашенка мать Асенефа.

Геннашка пил с двенадцати ключей волшебную воду, прикусывая вместо сахара Богородицын хлебец. Всякий Божий день пил Геннашка по восьми чашек. Двигалка сама приготовляла ему воду: — двенадцать ключей от комодов, шкапов и сундуков, мылом вымытые начисто, клались в воду, вода с ключами нагревалась до тех пор, пока не закипала ключом, и тогда готово, а вкус противный, ржавый. Пил Геннашка эту воду, а мучился по-старому.

Мать Асенефа пила чай с принудкой, и уж второй самовар ставили для гостьи. Мать Асенефа рассказывала о чудотворной лампадке, что чудодействует и целебы дарует.

Главная святыня в монастыре — чудотворный образ Тихвинской Божьей Матери. К иконе ставят свечки и теплится много лампадок, и есть одна неугасимая царская лампадка.

Приехал в монастырь на богомолье Бабахина предводителя небельмейстер и усердия ради поставил свечку в двадцать копеек. А мать Асенефа при иконе стоит, за порядком наблюдает, вот и решила монашка, чем масло жечь, оставит она небельмейстерскую свечку на ночь гореть, а неугасимую лампадку потушит.

— Потушила я, матушка, лампадку, — рассказывала мать Асенефа, — заперла собор и пошла за всенощную в теплую церковь. Стою я, матушка, за всенощной и взяло меня раздумье: «Как же так, думаю себе, лампадка царская негасимая, а я поскупилась, загасила?» И так себе раздумалась, молитва не идет на ум, не молится. «Не хорошо, думаю, я так сделала!» Да скорее в собор. Отперла я собор, гляжу, а лампадочка горит. Царица Небесная сама дала осияние — седмиусный пламень! А меня опять грех: «Дай, думаю, испытаю», — взяла, да и затушила. Затушила я лампадку, заперла собор и пошла к себе в келью. Прихожу наутро, а лампадочка горит...

А Двигалка, поддакивая монашенке, довольная, что запугала Геннашку на веки вечные, отвадила мужика от работницы, знай, свое хвастала:

— Мне, матушка, родить, ... ..... .......! — и такому уподобляла деянию, отчего мать Асенефа только благочестиво кашляла.

А Геннашка пил свою ключевую воду и все думал и думал — кого ему наперед порешить, Васиху работницу или жену Двигалку, да не прихватить ли заодно и чудотворную мать Асенефу?

---

Против белого каменного острога, против окон решетчатых, у забора стояли три женщины, те, что сами приходят. Студеный был день, а ночь начиналась холодная и звездная с ветром. А они все стояли, не уходили, и под осенним упорным ветром.

В верхнем окне за железной решеткой тускло светила тюремная желтая лампа. Там за решеткой трое сидело: осужденный за поджог Сухов, поджигатель Балякин и старец Шапаев, — и разобрать было трудно, кто из них старец, кто поджигатель, кто осужденный.

Женщины стояли истомно.

Выл ветер, звезды в ночи мерцали — Божьи светильники, осенние звезды, холодные, как сама ночь.

Кто их измолит, кто поведет путем спасенным, кто избавит, кто измет от Судии страшного ответа, муки вечныя и грозныя?

Седмерыми смертоносными грехами они согрешили, они согрешили от начала и до конца, от земли до небес, от земли до бездны, от юга до севера, от востока до запада, и грехов их больше, чем звезд нощных и листа древесного больше, чем травы земной и песка морского, и камней, и дерев, и зверя, и скота, и птиц, и рыб, и больше, чем в море волн и капель дождевых и человек и всей твари от начала века и до конца: алчного не накормили, жаждущего не напоили, путника странного не ввели в дом, нагого не приодели, больного не посетили, в темницу к сидящему не пришли.

И неисходно они молились в долгую ночь под холодными звездами.

И им виделся старец, любивый и любимый, ведующий тайная сердец их; непоступно в самосиянном свете превышнего третьего неба беззвездного — неба небесе скорбно стоял в воздухе старец.

— Господи, защити и помилуй! Господи, покажи милость! Господи, согрей сердце! Господи, да Ты слышишь ли?

А за белым каменным острогом на старом кладбище ветер гулял. Веял ветер, выл, вился вкруг крестов гнилых, и, как в поле зрелый отягченный колос, преклонялись кресты, и один лишь крепко стоял, как поставили, стоял, не воротил головы тяжелый памятник студенецкого купца Максима Иванова:

Под камнем сим
Лежит купец Иванов Максим,
Им бы жить да наслаждаться,
А они изволили скончаться.

— —

Нюша Крутикова дремала у аппарата и под выстукивания его дремалось сладко. И вдруг подпрыгнула Нюша, словно Вася Кабанчик кольнул ее. Лента шла и крутилась, как и всегда, но слова выходили невсегдашние: телеграмма из Лыкова исправнику Антонову шифрованная!.. Ласточкой метнулась Нюша передать новость соседу, а соседа нет.

Вышел Вася Кабанчик проветриться — звездная ночь — стал Кабанчик, да так и залюбовался собой.

— —

Подушечка, подушечка,
Подушечка пуховая...

— тихо пели бобровские барышни: Паша, Анюта, Катя и Зина подблюдную песню подушечку, поют ее на девичниках, да на вечерах, когда к невесте приезжает жених, тихо пели барышни, и голоса их томились.

Кого люблю, кого люблю, поцелую,
Тебя, моя подушечка, подарю я.

В форменном тяжелом сюртуке, в каменных воротничках, — в игольчатом жгучем параманте лежал на диване Бобров.

Он, как поднялся к себе, как прилег на диван, так и лежал.

На столе горела свеча. Пламя ее колебалось — ветер гулял за окном.

Не открывая глаз, лежал Бобров. Озноб обжигал его. И хотелось встать, закутаться потеплее и попить, — хоть бы один глоток, — но он лежал и не мог позвать.

Мысли шли по своей воле, сердце стучало и замирало по своей воле, а его воля была самой последней.

И из последней воли своей он не хотел никого звать.

В памяти его подымались завесы: такое далекое и забытое, случайное, проходило перед ним, но такое кровное и с болью утраты невозвратной.

Почему-то вспомнился ему протокол, писал он этот протокол незадолго до женитьбы своей, будучи лыковским кандидатом: на лыковской станции в багажном отделении найдена была корзина, в корзине оказалась убитая женщина.

Слово в слово выжигались слова:

«Убитая довольно полная женщина, на вид ей лет тридцать пять. Лежит с повернутой головой. На ней черная кофточка модного покроя, две юбки. На ногах модные ботинки со шнурками. Когда была поднята левая рука убитой, по корзине поползли громадные черви...»

И вдруг ему стало ясно, что убитая в корзине — это жена его, Прасковья Ивановна, Паша.

Как это просто, — подумал он, — перстная земля, как все, как я, а я то...»

Но уж память другую подымала завесу, не давая ему ни перевести духа, ни одуматься, ни сообразить. Кто-то выше его воли, сильнее и крепче, не спрашиваясь, хочет он или не хочет, распоряжался над ним по-своему.

Как это давно было! Он сидит в трамвае, к Смольному едет, а против него женщина в черной плисовой кофте: лицо, как морковь, и нос, как морковь, красная вся, вспухлая от слез, в руках икона — Божия Матерь, да, да, Божия Матерь — Величит душа моя Господа, крепко обеими руками она держит ее, прижимает ее к груди, а сама все покачивается, как пьяная, и глаза опущены в землю на дырявые полусапожки. И вдруг кричит: «Берите меня, куда хотите!»

— Берите меня куда хотите! — кричит она последним голосом последнего отчаяния.

— А вам куда надо? Куда едете?

— На Петербургскую.

— Эка, на Петербургскую!

— Да ты не в ту сторону, совсем не в ту сторону.

Кого люблю, кого люблю, поцелую,
Тебя, моя подушечка, подарю я.

— стонут голоса: бобровские барышни за стеной поют — томились голоса их.

— Берите меня, куда хотите! — на крик кричит женщина и вот подняла глаза из муки, измученные, как у матери, качается, как пьяная, Василиса Прекрасная.

И вдруг Боброву совсем ясно, что не мать, не Василиса Прекрасная, нет, совсем нет, это он стонет... И его последняя воля собирает последние силы, чтобы было совсем неслышно, совсем тихо...

— Папа, тебе плохо? — Катя, третья дочь его, прокурорская, вошла в комнату.

— Ничего, — Бобров поднял глаза, — Катя, я... ничего! — и повернулся лицом к стене и уж все будто повернулось в нем.

Он в камере у судьи. Он, Бобров, стоит перед судьей. Налимов судья судит его. Но из того, что говорит судья,

плохо что понимает он: Налимов, хоть и по-русски говорит, да как-то по-своему, трудно разобрать. И одно только ясно ему, что его, судебного следователя, статского советника Боброва судят. Да, он виновен, он ошибся. И вот судили. Как! За одну ошибку и так жестоко? И он хочет что-то сказать в свое оправдание, хочет оправдываться, да уж поздно: судья снимает цепь. А какие-то китайцы схватили его под руки...

— Один бреука! — рванулся, глотнул Бобров воздух.

И сердце похолодело, стало сердце.

И тихо стало в комнате, тише, чем всегда. Пламя колебалось — ветер гулял за окном.

Не пели барышни, — присмирело за стеной в их горячих девичьих думах, не томились голоса их свадебной песнью.

Широкий и гулкий, наш разбойный ветер, ветровы песни томились... сердце томилось, море томилось... там море — море ль мятется, там зной горючи — земля иссыхает, не дождят небеса, увядают ли травы, там мука — плач ли безмерный, стенания, крик непрестанный, там страсть неутолима, гроза, пагуба нескончаема, вопль неутешим? — ветровы песни томились, ветер разбойный гулкий широко гулял.

— Папа! — окликнула Катя.

Но ей никто не ответил, только пламя метнулось.

И жутко так тишина томила.

Неслышно подошла Катя к дивану, не дыша, наклонилась.

— Папочка! Родной! Папочка! — и отшатнулась.

С открытыми окаменелыми глазами в форменном тяжелом сюртуке жалко так лежал Бобров, и пар шел из его рта.

1912 г.
с. Бобровка

---

# Плачужная канава

РОМАН



*Бурю внутрь имѣя*

# КОРЬЁ

## 1. ИСТИНЫ

### 1.

Не от Каракаллы царя римского, не про его красные термы, бани по-нашему, а от тощеты и дел бесследных начну мою повесть —

буду рассказывать о обойденных в царстве земном, от них же первый был и есть сосед и кум наш Алексей Иванович Баланцев и великое множество с ним и выше его и за ним, кинутых в ров львиный — канаву плачужную со дня рождения,

от Каракаллы царя римского до последней, изводимой учеными, бездомной чумной бациллы, из микроскопа, зажатой меж стекол, вопиющей на небо.

Когда-нибудь потом я расскажу вам и совсем про другое и совсем по-другому — —

А если бы все мы знали, кинутые в ров со дня рождения, какое есть римское небо

— я видел!

какой холодок в красных Каракалловых термах среди развалин на Авентинском холме

— я стоял там!

и какая такая старая дорога Аппиева, — все бы шел, так и шел меж гробниц и полей, где из маков от пшеничного теплого колоса какие-то птички лиликают

— я видел, я слышал!

Увы! и Рим с холмами и дорогами, вечный город — Рим, с римским правом, Форумом, Петром и Павлом, как и город мечты о человеческом счастье и воле — Петербург с проспектами и трактами, Медным всадником, с белой ночью и любимым, душу томящим, желтым осенним туманом

— во рву, на дне плачужной канавы.

Премудрая Мать, милосердная, обойдя весь круг — круги мученские, стала у последнего — у плачужной канавы и как увидела всю-то муку:

— Хочу мучиться с грешными!

Горьким плачем залилась — —

И послал Господь своих ангелов в плачужную канаву небесной росой утолить горький плач, — и спустились ангелы Божии на самое львиное дно —

без них измёрли, измёрзли, задохнулись бы все мы в тесноте и тощете и отчаянии!

и вот от крыльев загорелись звезды, повеяло райским веем, и голос, как оклик, прозвучал по заре — —

О Хождении Богородицы по мукам, о плачужной канаве слышал Баланцев еще в раннем детстве от няньки Устиньи, а красных Каракалловых терм никогда не видел и старой Аппиевой дороги не видел, а только мечтал.

И чем тяжче бывало, тем жарче.

А бывало уж так хорошо, не позавидуешь!

Нынче-то и Алексей Иванович устроился, в страховой конторе служит на Невском:

место его, хоть и не первое, самый он младший в инспекции, а все-таки должность порядочная и отнюдь ни на какого обойденного не похож.

У него на Малой Монетной и угол свой есть, и книжки кое-какие завелись старые, — старинную он любит книжку почитать неторопливую, — и чай пьет всякий вечер с филипповскими баранками.

Затащил к себе на новоселье, поставил самовар, — с полотенцем чай пили, инда пар из-за голенища пошел, и душа распарилась.

Посмотрю на приятеля, — правда, чем-то жалок, но никакой обойденный.

Вот когда та несчастная история с ним случилась, когда с места полетел он твердого и насиженного, да еще к тому же как раз и семейные дела его пошатнулись, вот тогда —

вот тогда, как шатался он без дела и не год, а целых два с хвостиком, и один, как есть, прожил день за днем, а дни ему стали, как больничные, — все концы потерял,

растерялся совсем, псу дворовому, конуре его завидовал, заключевнику и каторжнику позавидовал — да пропади она, воля, и белый свет пропадом!

да и потом на месте уж, на Товарной станции, куда, наконец, определился после двухлетнего-то шатания своего за грош и день и ночь корпеть без праздников, вот тогда — —

На Золотоножской он тогда жил в Комаровке.

И как жил, один Бог ведает, — очень он тогда весь унизился.

И думаю, не от истории своей служебной — ну, с кем греха не случается, и почему его обвинили — вор! — а не управляющего — вор! — ей-Богу, одинаково все делали, и не преступление какое, а попустительство, в этом и было все.

Да видно, если судьба тебе, все равно, не так, так этак пропадешь!

И в подтверждение судьбинного пропада своего вспоминался Баланцеву о ту пору судебный случай:

судили околодочного — какие-то праздничные брал! — а свидетельствовал пристав, и ни для кого не было тайной, что пристав-то сам и есть первый и самый хватальщик, да пронесла судьба, не попал, вот и свидетельствовал.

Значит, судьба, — линия такая пропадная.

Но почему его такая судьба?

Нет, не история его несчастная тогда его унизила, а все вместе: семейные дела его пошатнулись, а вернее, просто пропали.

Вот это самое да нужда — она тут как тут — и унизили его.

И так ему как-то гадко на себя, на тень свою смотреть стало.

И куда бы не пришел, а ходил он все по делам просительным, все словно бы чем-то на голову выше его делались и права какие-то получали на него самодержавные. А он перед всяким шута горохового и ну ломать.

Надо же как-нибудь, в самом деле, ни криком, ни слезами ничего не возьмешь, — дело испытанное —

ведь нет на свете подлее твари, чем человек!

А и так совсем молчком тоже невозможно, не выдержишь, подыхать-то один конец, да чего-то не хочется из упорства, из любопытства, и еще от чего-то.

Ну, и вывертывал.

И в то же время, подумайте, всякое-то слово, намек пустяшный, а без этого невозможно —

ведь, нет на свете грубее твари, чем человек!

прямо его за живое, ой, как больно бывало, вот — захлебнется.

Обегал он всех, никого не забыл — тут в тенетах-то этих всякую щелочку припомнишь! — и знакомых и самых дальних родственников, которых в другое время никогда бы и не хватился, — от родственников больнее бывало, потому что права какие-то особенные, по крови что ли, имеют на тебя,

и ходить не стало к кому.

По опыту всей жизни моей и беды, и других, за кем следил в жизни, скажу вам:

если не изменится что-то в душе человеческой, а такое от беды бывает, знайте же, никакое устройство жизни человеческой и самое человеколюбивое и человекодоверяющее, — свободнейшее, о каком только мечтали самоотверженные и благожелательные люди в тесноте и тощете и отчаянии, ничего не поправит,

и останется человек, как был, первый подлец, подлее и грубее всякой твари на земле, и по всей справедливости ров львиный — канава плачужная законный удел и свое место человеку.

И некуда идти и некого больше просить.

И не то жутко, что пройти тебе некуда — ерунда! — а то беда, что и самого-то тебя уж не потянет ни к кому.

Заведется двугривенный, пойдет он, бывало, в пивную — там и ему место найдется, там и кривляться не надо! —

То же и в церкви, часто в церковь ходить стал.

И стоит, бывало, за всенощной и, кажется, так бы и не ушел никуда: каждое слово так особенно, словно для него, — и слова и всенощная идет для него. И уж не сам с собою, как в пивной, как в глухой час в Комаровке своей тараканьей, а прямо с Богом:

— Господи, за что это мне?

Стоит и смотрит в тьму.

И из тьмы, — тьма какая-то есть в церкви от тоненьких свечей, — из черноты надсвечной, ждет ответа — —

Или закроет глаза и стоит так, пронизанный весь тупой болью:

— За что это?

Он не мог примириться —
Ведь, он совсем не туда попал!
И не по его воле так вышло —
Значит, судьба!
Но почему его такая судьба?

У Баланцева голос был, — теперь уж не то, — бросил он университет, в консерваторию поступил. Думал, тут его дорога — выйдет толк. Потом женился, консерватория-то, и незаметно совсем, стала отходить, а нашлось место твердое, денежное, да так и дотянуло до истории этой несчастной с — попустительством.

И если бы не Антон Петрович, теперешний его начальник, пожалуй, и совсем пропал бы.

Это Антон Петрович вытащил его из тараканьей Комаровки и на Товарную станцию определил, а из Товарной станции перевел на Невский в страховую контору в инспекцию.

И знаете что, сам-то Антон Петрович, хоть и помощник инспектора и начальство, и жалованье ему вдвое против Баланцева, а тоже оказывается обойденный.

На этом собственно и завязалось у них знакомство в пивной в дни бесцельных шатаний Баланцева.

Да и слово это самое, ярлычок этот бестий — *обойденный!* — пришпилил на спину приятеля Антон же Петрович Будылин.

А копнуть, пожалуй, и начальник Антона Петровича, инспектор Блюменберг и товарищ его Комаров, уж люди как люди, а не миновать, попадут в обойденные.

Да и все правление — директора, даром что в собственных автомобилях разъезжают и всемогущи, а повидай поближе да послушай: другой, может, с радостью пересел бы за Баланцевский стол и пожитки свои, что понужнее, перенес бы в угол на Малую Монетную, только б избыть —

беда беспощадна, и вход ей как царю в царские врата.

Так, подымаясь по лестнице всяких возможностей, власти и удобств житейских, чего доброго, дойдешь и до самого Каракаллы, царя римского — и у него, римского, окажется на спине такой же самый бестий ярлычок обойденного, как и у Антона Петровича Будылина и у Баланцева, соседа и кума нашего.

2.

Баланцев занимал последнее место в инспекции, с ним равняли только барышень, получавших еще меньшее вознаграждение, а всех ниже стоял инспекторский курьер Константин.

И барышни, приравниваемые к Баланцеву, и курьер Константин едва ли были из тех, кому жилось на белом свете беспечально:

постоянно слышались жалобы, и лежала на лицах забота.

Вот Константин одно время, казалось бы, доволен не меньше доверенного Федотова, награжденного от природы всеми телесными дарами или, как говорили, в жеребячьем ряду стоял, но и Константин в свой черед забеспокоился. Захворала Паша — Паша проворная и чай подаст и услужит, все у нее весело! — и все, что скопил Константин за зиму, до копеечки все извел на лечение и остался при одном жалованье.

А если бы беда и мимо прошла, не захворала бы Паша, все равно забота рано или поздно легла бы, как бестия тень, на лицо Константина.

Константину очень хотелось, чтобы инспекция форму для него ввела, «мундирную одежду», как в других конторах полагалось, и он не раз обращался к Баланцеву доложить Антону Петровичу Будылину, и Баланцев докладывал, но Антон Петрович по рассеянности своей забывал сказать Блюменбергу, а знай Блюменберг, да он

для порядку обмундировал бы и самого Антона Петровича.

И это знал Константин, и, ходя не обмундированный, упречно смотрел и озабоченно.

А когда Константин стал собирать Пашу в деревню на поправку, оказалось, что все ненужные вещи, какие даже и Константину ни к чему, всякие коробки, протоптанная обувь, изношенные штаны, и вся эта рухлядь укладывалась с Пашей ехать в деревню, где и такое все пригодится до ниточки.

И надо думать, деревенские земляки Константина, стоявшие еще ниже его, и прельщавшиеся городским отбросом, за какое великое счастье сочли бы для себя поменяться местом с Константином, Константину же в свою очередь участь Баланцева была наивысшей и просто недосягаемой.

Так спускаясь все ниже по лестнице удобств житейских, власти и возможностей,

дойдем до измученных работой животных, проводящих жизнь у нас на глазах на улицах и там, в поле за глазами,

доберемся по тропам и дорогам до дикой звериной жизни лесной, водной, пустынной, воздушной,

до царя зверей льва, занозившего себе лапу,

до обиженной пичужки, у которой разорили гнездо другие птицы,

до червя-детеныша, мать которого съедена обиженной пичужкой,

и, наконец, до чумной бациллы, над которой в лабораториях мудруют ученые с микроскопом.

Так и замкнется круг на земном царстве во рву львином от Баланцева до Каракаллы царя римского и от Каракаллы до чумной бациллы, в небо вопиющей.

Бестий ярлычок обойденности, как первородное проклятие, как Каинова змеиная печать, клеймила неизгладимо всю тварь, всякого, кто тянул канавную жизнь — бедовал под звездами.

И сама земля вопияла к Богу:

— Господи Боже, — вопияла земля к Богу, — устала я, измучилась, топчут, режут, грязнят, кровью пятнают.

Нет моих сил терпеть! Позволь потрясусь, сброшу с себя проклятую ношу.

И воды вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли воды к Богу, — освободи нас! Дай змеями подняться, смести с земли наших врагов: иссквернили чистоту источников.

И ветры вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли ветры к Богу, — мы от века вольные, теснят нас, отравляют! Дай же нам волю — встречником мы пронесемся над земною корой: очистим землю от горькой отравы.

И духи, переносящие мысли человеческие, измученные пустыми пересудами, безответственным судом и празднословием, вопияли к Богу:

— Господи, — вопияли духи к Богу, — мы не злые, мы стали злые, наше сердце обеспощадилось! Позволь же упасть на голову тем, кто нас посылает, дай освободить землю, воды, воздух.

И само солнце вопияло к Богу:

— Или дай я пожгу землю, Господи, — вопияло солнце к Богу, — или прекрати мой свет и тепло мое! Я омрачу, я заморожу все живое на земле. Нет моих сил терпеть —

И земля идет неустанно, то белая в снегу, то цветами нарядная,

текут и волнуются моря и океаны,

дуют, носятся ветры,

духи переносят злые мысли,

люди родятся, растут, как растут деревья, трава, камни, строят свою убогую жизнь, —

рокот, вопь и вопль ударяются в надзвездную железную тьму —

— Господи, за что это?

### 3.

— За что это мне? — шептал Баланцев кругом один и не один со всею тварью.

И есть ли — был ли кто, хоть один, среди обойденных в царстве земном необойденный без ропота и жалобы?

Баланцеву не раз вспоминалась одна счастливая старуха.

Ехал он в трамвае, и вошла с палочкой старуха — очень смешная: в красной фланелевой юбке, в бархатной голубой шубе, на голове пушистая ушанка. Такого наряда часто ли увидишь в Петербурге! Вся седая, остриженная, в очках и с необыкновенно здоровым цветом лица. С любопытством она озиралась и вдруг заговорила. Она разговаривала с каждым, она не могла утерпеть и рассказывала о своем счастье: пятнадцать лет, как ослепла, а на днях ей в клинике делали операцию, и она опять все видит; пятнадцать лет она ходила во тьме, уж навсегда простилась с белым светом, и вот видит белый свет и не наглядится.

Баланцев вспоминал эту встречу — счастливого человека, подлинно не обойденного, по крайней мере, в первые-то дни прозрения своего.

Но другие воспоминания гасили это единственное, застрявшее в памяти.

И повторяя нянькины слова, Устиньи-няньки, виделась ему плачужная канава — ров львиный —

там среди черноты ночи рассеяны звезды — мимолетные минуты счастья — когда ангелы Божии нисходят на львиное дно.

А то темь — ночь — жалоба — вопль —

И человек подлеет, мучает, мучается.

А ведь, кажется, чего бы проще и не то, чтобы там царю Каракалле приголубить чумную бациллу или Баланцеву пойти к обездоленным зверям —

Нет, так далеко, пожалуй, и бесполезно — чрез какое отречение надо пройти и как побелить свое сердце, какое надо превращение всего существа и высота духа, чтобы проникнуть человеку — — до чумной бациллы или по-приятельски заговорить со зверем.

Ни царю Каракалле, ни Баланцеву такого нипочем не совершить, даже если бы и пожелали, потому что, и это мы знаем: ни Каракалле, ни Баланцеву сил таких не отпущено и вышли они в мир один римским царем, другой служащим в страховой инспекции на Невском, оба простыми обыкновенными людьми — перстью.

Нет, зачем так далеко, пусть бы чумные бациллы соединились хотя бы с холерными, а звери со зверями, а люди с людьми в единой воле облегчить друг другу тягчайшую и опаснейшую общую долю жить на трудной земле во рву львином.

А все делалось как раз наоборот.

Люди, гоняясь за внешними удобствами жизни, направляли свои мысли и всю силу своего ума не к тому, чтобы найти пути приблизиться и почувствовать друг друга, а лишь только чтобы облегчить внешнюю сообщаемость между собой.

И духовное проникновение притуплялось.

Люди летали по воздуху, как птицы, а не замечали под носом и самое немудреное человеческое горе.

Люди исповедовали единого Бога, Христа и Духа, крест носили на шее, а ведут беспощадные войны, истребляя друг друга, как мух.

Исповедовали свободное безбожие во имя божественного разума и вольной воли, а попирали эту волю в каждом, кто смел не соглашаться.

И царственных воль было столько, сколько оказывалось налицо вооруженной «сàми».

И в грядущем с завоеванием и победой над внешним все сулило душевную грубость и такой скрежет, о котором и в Устиньином аду не слышно.

Ведь, первая беда, а с ней сознание, что обойден, и первое пробуждение совести, а с ней сознание, что и сам-то ты, обойденный, сам кого-то еще топчешь, каким это режущим воплем пронзит человеческую душу — человека, летающего птицей.

И какой неизгладимой мыслью канет в памяти, вмещающей всю житейскую мудрость.

Да тогда уж и самый тончайший и до последней точности вымеренный инструмент, не одной счастливой старухе, а тысяче ослепших, никогда не вернет взмученной душе белого света, и падет на душу черное отчаяние:

просто идти уж некуда и не знай начать с чего.

И будет так:

с внешней легкостью общения духовная общаемость совсем прекратится, — ангелы забудут пути к людям — и земля провалится, как Содом и Гоморра.

На обойденной земле обойденные люди, мечтали о справедливости, а своими делами чисто внешними укрепляли свою обойденность.

На обойденной земле обойденные люди, стражда, устанавливали законы житья — железную узду на себя — на жестокое человеческое племя, грубо граня дозволенное от запретного —

и пристав, первый хватальщик, мог законнейшим образом свидетельствовать на уличенного околодочного.

И об этом как было не думать Баланцеву: ведь, он же первый был в шкуре околодочного, и, как пристав на околодочного, свидетельствовали на него люди, которых пронесла судьба.

Твердыня несокрушимая — законы — государство — суд человеческий — — справедливость — нет, не мир несла эта твердыня человеку, а еще глубже — ров!

И люди подлели, мучили, мучились.

Но скажу так:

если бы и вышло так, что под большой бедой люди уж готовы были бы соединиться, как обойденные, нашлось бы такое разъединяющее, такие стены, и уж бесповоротно.

И такое разъединяющее всегда было.

И это не пол, не возраст лет и нрава, а возраст духа: неодинаковыми являемся в мир — один, как ангел, другой как моль, — и дар благодати духа неравен.

А по духу и судьба.

А по судьбе и любовь.

Да, если бы обойденные и соединились на обойденной земле во имя ли Божье, т. е. высшей силы нечеловеческой, или во имя свободного безбожия в вере в человеческий разум, во имя свободы, равенства и братства обойден-

ных — отчаявшиеся и одичавшие в беде в своем последнем отчаянии готовы поверить и в этот прекрасный обольщающий призрак! — ров, куда брошены люди со дня рождения своего — канава плачужная останется темна и свирепа.

А и в самом деле, ну, как долговечно такое свободное соединение человека с человеком, когда нельзя и представить себе даже намека на закон общий и равный для ангела и мòли.

Судьба человеческая разна — разно положена она по возрасту духа.

А по судьбе любовь.

## 4.

Толкуя и перетолковывая в тараканьей Комаровке о своей судьбе, понял Баланцев, что пропавшие его семейные дела несоизмеримо важнее других его несчастных дел и куда судьбиннее.

И устроившись на Невском, позабыв про свое старое служебное, он никак не мог забыть о том, что произошло в сердечной его домашности, и чувствовал острейшую обиду.

И эта обида затмевала всякое его благополучие, — угол на Малой Монетной и чай с баранками филипповскими.

Виня себя в мелочах перед женой, в одном он упрямо оправдывал себя:

насиженное и крепкое место, ради которого он бросил консерваторию, ведь это жертва его любви к ней — он все для нее отдал, отошел от своего главного, принизил себя.

И словно в насмешку, как раз, как с местом-то ему пришлось расстаться, ушла и она от него.

И хотя он не мог не понимать после всех-то своих канавных раздумий, что любовь — по судьбе его, и оборвалась она еще задолго до его служебного несчастья, он все-таки в обиде своей приурочивал охлаждение жены к своему несчастью.

А она не только ушла от него и сошлась с другим, но и дочь взяла с собой — отняла последнюю соломинку, за которую схватился было он в несчастье и обиде.

Нет, он не мог примириться.

А в то же время жена его, связав свою жизнь с другим, тоже никак не могла примириться с тем, что произошло в ее жизни обок с покинутым мужем:

он испортил ей жизнь, измучил ее, и он же еще и оправдывается, больше того, упрекает — жертву принес!

Она не верила этой жертве — все равно, такая уж судьба его, — все равно и один без нее он не кончил бы никакую консерваторию.

И вот хочет, чтобы и ребенок был не с нею, а с ним!

А это совсем невозможно, потому что она — мать, и ребенок прежде всего ее.

А кроме того, да разве он воспитает? Да он одним видом своим жалким искалечит.

Да и куда ему! Самому-то ему хоть бы как на дорогу выбраться.

И вот в несчастье и обиде своей он сетовал на судьбу и горевал безнадежно,

потому что любил.

А она, сетуя на него и обвиняя его во всем нелюбимого, по старой ли любви своей жалела его, и хотела бы облегчить ему в его беде, и ничего не могла.

И был тупик, из которого не было выхода.

Надо было какую-то другую силу выше той, что отпущена была на век их, чтобы выйти из тупика и примириться с судьбой — друг друга принять.

Такой силы не было.

И оба непримиренные, глядя во тьму, одно вышептывали, одно горькое — безответно,

одними устами и единым сердцем:

— За что это?

А знаете, что я скажу вам?

А скажу я вам от всего сердца:

будь благословенна беда, скорбящая душу человеческую, и горе, ранящее сердце!

ведь, только беда, только горе еще пробивают тот камень, которым завален крылатый дух в ползком человеке —

а без духа, посмотрите — — что есть человек человеку?

Человек человеку не бревно — чего там бревно!

Человек человеку — подлец.

## 2. НОГА В ПУХОВОМ ЧУЛКЕ

### 1.

На углу Суворовского проспекта и Заячьего переулка в писчебумажном магазине Деллен выставлен был плюшевый желтый медвежонок:

медвежонок хапал пастью и махал глазами.

К окну липли ребятишки, и толклась прислуга — горничные и кухарки, посланные поскорее сбегать письмо опустить или за лекарством в аптеку или еще куда на Суворовский — поскорее.

Всякому доставляло большое удовольствие постоять у окна поглазеть на медведя.

Медвежонок выставлен был еще на Великом посту, и тому прошло времени не мало, а Антон Петрович и слухом не слыхал и видом не видал никакого медведя.

Жил Антон Петрович на Таврической в двух шагах от Заячьего переулка, — тут и трамвай останавливается.

Но садился он подальше на следующей остановке, а не против писчебумажного магазина — против магазина, хоть и не так уж людно, да ему-то никогда не удается:

то газетчик мальчишка перебежит дорогу или автомобиль загудит с Таврической, — так вскочить и не успеешь.

После же службы с Невского всегда пешком возвращался Антон Петрович и, стало быть, всякий день обязательно проходил мимо магазина Деллен, и за этот месяц случалось и в самый магазин заходить.

А узнал о медвежонке он только сегодня.

Баланцев за завтраком, когда разговор зашел о всяких петербургских диковинках, помянул о медвежонке.

— Видели, какой чудесный медведь у вас на Суворовском!

Баланцев большой был любитель всяких редкостей.

— Который? — растерялся Антон Петрович, — где?

И крошки розаночка так и запрыгали на его кустатых, из носу вылезающих, ничшенианских усах.

Антону Петровичу сразу представилось невесть что:

и белый медведь — который медведь живет на льдине,

и другой — бурый медведь — который медведь в лесу ест мед и малину,

и шкура медвежья — такая медвежья шкура у бухгалтера Тимофеева в его кабинете около дивана лежит,

и окорок медвежий — на Моховой окорок в колбасной у Шмюкинга выставлен медвежий.

— Неужто не заметили? — не отставал Баланцев.

Антон Петрович, мысленно зацепившись за окорок, хотел было выпулить:

«Очень вкусный».

Баланцев перебил:

— Знатная для ребятишек игрушка.

— Настоящие-то по Лубянке бродят, а у нас в Петербурге медведи игрушечные! — подал голос доверенный Федотов «из жеребячьего ряда», остря над последним московским известием о беглых медведях.

— Я так и полагаю, не настоящий.

Антон Петрович подозрительно перевел свои темные глазки: не насмехаются ли?

Никто не смеялся.

А Баланцев и подавно: Баланцев давно бы рассказал о чудодейственном суворовском медведе — от медведя был он в неменьшем восторге, чем ребятишки и прислуга, липнувшие к витрине — да только вчера, выбравшись наконец со своей Монетной на Суворовский, в свои старые места, наткнулся у Деллен на диковинку.

Конечно, подозрения напрасны! — и Антон Петрович засопел благодушно:

еще бы! никто не проник в его мысли, спутанные медведем, и ничего он такого не сказал несуразного.

— Вам, как мыслителю, не до медведей, Антон Петрович! — довершил Баланцев полное его удовольствие.

Антон Петрович слыл не только в инспекции, но и во всей конторе за образованнейшего человека или, как сам он любил о себе говорить, за *мыслителя,*

которому, чуть ли не единственному на свете по прямому преемству от Шопенгауера поручено было блюсти на земле черный глаз на мир и жизнь.

И, находясь на такой исключительной высоте и избрании, расценивал он и сослуживцев своих и так всяких встречных прежде всего по их отношению к себе,

требуя от них, слепышей, которым доступны лишь самые маленькие обиходные мыслишки, молчаливого или

громкого одобрения всем без исключения своим словам и поступкам.

— Вашего медведя я непременно посмотрю! — с полным сознанием высоты своей и достоинства сказал Антон Петрович, покровительственно кивая Баланцеву.

И с удовольствием докончил завтрак.

Но все-таки, как же это так — целый месяц? — а медведя он и не заметил?

И это при всей-то зоркости его глаза и замечательности?

Зано́зила мысль медвежья, перебивала гладкие служебные мысли.

2.

Запоздалость произошла не потому, чтобы там какие «коварнiи человѣцы» вроде лавочника Пряхина, поставщика сладкой смеси, отвели бы глаза Антону Петровичу, и не от рассеянности, возможной с человеком задумчивым, погруженным в размышление, тем чудаком Прокоповым, что натыкается на прохожих и проходит свой подъезд.

Нет, смешно и говорить об этом.

Антон Петрович, хоть и чувствовал себя незаурядным мыслителем, да боек не был на мысли и уж никак не погружался.

И за весь его долгий пеший путь с Невского дай Бог какая безделица в виде немудреного житейского соображения или воспоминания нетрудного дневным сиротливым огоньком поблескивала в его взму́ченной душе.

Нет, вся причина такой запоздалости заключалась в том, что весь пеший долгий путь его с Невского самые разнообразные вещи — весь Невский — проходили через его душу — с магазинами и пешеходами, с Невским ветром, трамваями, автомобилями и извозчиками.

И без всякого видимого толку —
рыбаковские модные жилеты с соловьевскими сигами,
филипповский крендель с пестрыми сытинскими книгами,
белая магическая палочка городового с булавскими, здобновскими и жуковскими фотографическими карточками,
кавалергардская каска с сумаковским творогом,

ждановские процентные бумаги с японскими веерами,
синие и малиновые шары староневской аптеки с линденовскими серебряными часами и золотыми иконами.
Куда уж что разбирать!

И как ни верти глазами, вещи полной Невой наплывали, закручивались бессмысленно и без порядка — и сновала одна муть, как Фонтанка, смесь — апельсинные корки и огрызки.

И в ушах стоял шумящий хлыв.

Городовой на перекрестке со своей белой палочкой следит за экипажами, чтобы давали дорогу трамваю, да чтобы ломовики сворачивали с Невского,

бритый биржевик соображает о бумаге, как бы так половчее на грош пятаков схватить,
военный о войне,
голодающий о хлебе,
монах о искушениях,
женщины о нарядах,
чудак о ерунде,
жулик о чужом кармане,
актер о интриге,
хроникер о происшествиях,
сыщик о воре,
гимназист о двойках,
археолог о тридевятом веке —

Ну, всякий о своем, все подбирая к себе, к своему заветному, смысл которого, пусть и самый ничтожный, есть смысл жизни, — тот дух, те крылья, какими держится на земле ползкий коротенький человеческий век.

Антон Петрович в пешем пути своем через весь Невский ни к чему ничего не подбирал, весь отдаваясь на волю цепляющимся вещам и невскому ветру.

И не будь у него безделицы в мыслях, немудреного житейского соображения или воспоминания нетрудного, или, как вот сию минуту, игрушечного заводного медвежонка, ей-Богу, его разорвало бы, и перемешало бы, разнеся по кусочкам, в общей смеси с невскими вещами —

с банновской сигарой,
механической обувью,
тележкинской ветчиной —
кому что.

Да, только теперь, когда его, как кошку, потыкали носом, возвращаясь со службы с одной нераздельной медвежьей мыслью о заводном медвежонке, Антон Петрович на углу Заячьего переулка обратил внимание на окно писчебумажного магазина Деллен.

И вправду, он увидел медведя:

медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Антону Петровичу очень понравилось.

И он постоял бы подольше, полюбовался бы на медведя, но стоять с ребятишками и прислугой показалось ему неудобным,

— Еще смеяться будут.

Только в свою собственную квартиру входил Антон Петрович без опаски, в других же местах, растворив дверь, обыкновенно сразу же терялся, забывая и самые простые слова, какие держал наготове, и часто говорил, что приходило на ум, и, случалось, ни с чем несообразное.

— Я у вас лягушку-квакушку покупал —

Антон Петрович выпалил, входя в писчебумажный магазин.

Продавщица, барышня толстенькая, а такие нравились Антону Петровичу, смотрела на него приветливо.

— Дайте мне папку! — поправился Антон Петрович, собравшись с духом, — я у вас покупал папку.

— Какую вам папку?

Барышня добродушно улыбалась.

— Черную, такую.

Антон Петрович помахал шляпой на полку, где лежала бумага, и от волнения лицо его еще больше засалилось.

Барышня, подставив стул, полезла за папкой.

— Точно такую! — чуть не крикнул Антон Петрович.

И повернулся от прилавка к столику.

Весь столик был уставлен фарфоровыми собачками.

Этих собачек он давно облюбовал и раз даже на Святках хотел купить, но почему-то купил бумажную зеленую лягушку — для бумаг зажим.

И когда так стоял Антон Петрович, взарившись на фарфоровых собачек, случилось несчастье:

под барышней, разыскивающей папку, подломился стул.

На треск Антон Петрович обернулся —

И увидел одну ногу в сером пуховом чулке, и нога показалась ему гораздо толще, чем это должно быть.

И эта самая нога в чулке втиснулась в его память и подняла другую заглохшую собачью мысль.

Пользуясь тем, что барышня ошарашена и занята только собой, Антон Петрович протянул руку к столику и, не глядя, сунул что попало себе в карман.

Барышня отделалась только испугом.

Раскрасневшаяся, подавая папку, улыбалась еще добродушнее.

Никакой папки не видел Антон Петрович.

Он видел ногу в сером пуховом чулке, и нога была толще, чем он предполагал, — и эта живая нога имела лицо раскрасневшееся и добродушно улыбалась.

Да еще он чувствовал у себя в кармане, да так чувствовал, как глазами видел —

беленькую фарфоровую собачонку.

И только, когда барышня зашуршала бумагой, завертывая папку, Антон Петрович очнулся.

— Не надо завертывать! — сказал он нетерпеливо, — зачем завертываете? Я — сосед. Так донесу.

И раскланиваясь больше, чем это следует, пошел к двери — —

И вдруг почувствовал, как ноги его как-то вовнутрь сгибаются, словно их сводит и оттого скорее идти невозможно.

Барышня ли смеялась ему в спину — от заспинных насмешек такое бывает.

Или стыд сводил ему ноги?

Вот он, Антон Петрович Будылин, помощник инспектора — мыслитель — преемник Шопенгауера, стянул какую-то фарфоровую собачонку, которой и цена-то грош.

Барышня и в самом деле смеялась, — ну, и как тут удержаться, одни эти поклоны чего стоят!

И то была правда, что застыдился он, только совсем не оттого, что сделал недозволенное и осуждаемое — украл собачонку.

Нет, совсем не оттого.

Если бы был он уверен в безнаказанности, он и не такое бы еще сделал. И, кажется, не было греха, который не совершил бы он просто из озорства и любопытства. И ему приходилось только печаловаться, что на его душе нет ни завалящего убийства, ни растления, ну, ничего, нарушающего Десятисловие. Да не будь у него страха перед наказанием, перескочить через ограду святых правил и всяких законов было бы для него делом плевым.

И застыдился он только оттого, что представил себя уличенным.

Медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Антон Петрович отвернулся. И, благополучно перейдя на ту сторону, пошел ровно:

стыдиться нечего было — не схватят!

Скажу еще о этой его стыдливости — злом демоне неотступном: стыдился он и не только потому, что его уличить могли, он стыдился вообще всего, что не одобрял любой болван, под глазом которого он оказывался. И сколько можно было представить судей, столько и стыдных поступков, и среди людей добрых он стыдился, что никого не спас и не помог никому, а среди злых, что не убил.

Стыд у него был всеобъемлющий.

Маленькая худенькая нищенка с блестящими глазками, вся зеленая, перебежала с угла Таврической от Николаевской Академии и кивала Антону Петровичу без всякого попрошайства —

Антон Петрович всякий день подавал ей.

И на этот раз по привычке он опустил было руку в карман.

И быстро выдернул, коснувшись чего-то холодного — собачонки — краденой.

— А я думал, тебя зовут Анюткой, — подмигнул Антон Петрович нищенке.

Так всегда одно и то же говорил он нищенке.

И повелось это с тех пор, как узнал он, что зовут ее не Анюткой, как вообразил он, а Надя.

Ощериваясь, как собачонка, нищенка, не получив две копейки, дань Будылина, жалобно заглядывала ему в глаза.

— В другой раз, когда у вас будут! — вдруг объяснила она себе из своего горького, так ранним-рано оскорбляемого сердца.

И, щерясь и кивая, пустилась на ту сторону к медвежонку — стрелять у трамвая.

Еще надо было Антону Петровичу купить коробку сладкой смеси, — ну, тут не страшно, лавочник знакомый! — да еще вечернюю Биржевку.

Антон Петрович читал газеты из пятого в десятое. Русской жизнью совсем не занимался, просматривая одни только заграничные известия, — а ведь, для этого, пожалуй, и газеты не надо было покупать. Но газетчик раскланивался, да и все покупали.

А ведь первое, чтобы скрыть от людей свою непохожую взмученную душу, надо поступать так, как все поступают.

С Биржевкой и коробкой пряхинской смеси и черной делленской папкой поднялся Антон Петрович к себе на верхотуру.

И, не раздеваясь, прямо прошел в свою комнату, всю заставленную, где обыкновенно проводил свои одинокие вечера.

Распечатал смесь и набросился на конфеты.

И всю бы прикончил коробку — и полконфетки не осталось бы к чаю, — если бы не старуха Овсевна:

— Обед готов.

## 3.

Дома носил Антон Петрович черную косоворотку с ремешком, ремешок, как всегда, оказался перевернутым, а сорочка горбом надулась.

Недоеденную коробку со сластями накрыл Антон Петрович Биржевкой, а папку положил к папкам, где хранились у него старинные петербургские документы.

Сделать что-нибудь для Петербурга, для его славы, закрепить память единственную петровскую, стало еще с юности, от «младыхъ ноготъ» его, еще там, в Москве колыбельной, им самим предназначенное дело.

Кажется, все было в порядке, и Антон Петрович перешел в ванную.

И долго там копался — мыл руки: перетирал каждый палец отдельно; потом примочил себе волосы.

И пошел в столовую.

На непомерно длинном столе краешек накрыт был поверх клеенки скатертью, — тут у краешка он и уселся за трапезу.

Ел Антон Петрович по-своему, жуя из всех челюстей с остервенением, — привычка пошла еще с детства, и сам он давно подметил всю непривлекательность такого своего кошачьего уписывания и на людях стеснялся.

Старуха узнавала по чавку, — а этот Будылинский чавк слышен был в кухне, — и по оттенкам чавка сображала, нести перемену или погодить.

За последнее время, правда, на этот природный самозвон не очень-то можно было рассчитывать: со старухой всякое бывало: бывало, и чавка не слыхать, присвист один стоит в столовой, кончил, значит, зубы прочищает, а она сидит себе у теплой плиты, клюет носом; а то вдруг схватится и совсем не вовремя, да проворно так, все со стола и начнет прибирать.

Антон Петрович кончал второе, когда пришел сапожник.

— От сапожного мастера сапоги принесли, получить ждет! — Овсевна просунулась в дверь.

На второе были ножки в сухарях — любимое кушанье, и вставать из-за стола не хотелось.

Нетерпение же посмотреть сапожную новинку одолело.

С липнувшими пальцами вышел Антон Петрович на кухню.

Мучительным из мучительных дел житейского обихода было для Антона Петровича —

во-первых, объясниться — слова путались и говорилось совсем не то —

во-вторых, искать по путеводителю поезд — тут он всегда такое покажет и, если послушать, то обязательно не туда заедешь —

в-третьих, рассчитываться — без бумажки тàк он ни за что не мог сосчитать и самую простую мелочь, и

всякие расчеты обыкновенно кончались тем, что, пересчитывая вслух и толком ничего не сосчитав, отдавал он, точно не зная сколько, а чаще больше того, чем следовало.

Сапожному мальчишке, спутавшись в счете, Антон Петрович прибавил еще на чай:

прибавить надо было.

Антон Петрович предпочитал русский костюм всем костюмам, всю жизнь мечтая о поддевке и высоких бутылками сапогах, а это были вовсе не сапоги и не штиблеты на резинках, обычная Будылинская обувь, это были высокие ботинки со шнурками — новость, на которую решился он только по обстоятельствам чрезвычайным.

С тех пор, как познакомился он с Машей Тимофеевой, случилось с ним что-то, — он сам не мог сказать хорошенько, только как-то подтягиваться стал. И вот задумал обзавестись шнуровыми ботинками, какие все давно уже носили, да ему-то не попадалось. И купил такие ботинки, да носить-то никак не может наловчиться: то шнурки затянет ни на какую стать, то опустит, как поводья, и до швейцара не дойти, по земле путаются. И кончил тем, что шнурки оборвал и натер мозоль.

Сапожник переменил шнурки, а ботинки растянул на колодке, теперь в самый раз, на ногу.

Антон Петрович забрал из кухни ботинки — острый сапожный дух так и шибал! — поставил ботинки рядышком на стуле и взялся доканчивать простывшие ножки.

На загладку полагался саговый пудинг и жиденький клюквенный кисель.

В еде, как и во всем обиходе жизни своей однообразной и одинокой, Антон Петрович отличался особенным постоянством: по неделям изо дня в день готовились на обед ножки в сухарях, потом неделями котлеты с горошком, и неизменно саговый пудинг на загладку.

— Нюшка племянница заходила, страховку требует Максим Назарыч, — подала голос Овсевна.

Антон Петрович, занятый пудингом, сразу не понял: и какую страховку и кто такой Максим Назарыч?

Племянница же старухи Нюшка, которую он уже давно задумал взять к себе на место старухи, — эта гладкая

Нюшка с пухлой рожей и зверским ртом, вдруг стала перед ним ногой в сером пуховом чулке барышни из писчебумажного магазина Деллен — ногой толще, чем он представлял себе.

И эта нога вызвала в нем память о краденой фарфоровой собачонке.

Он вспомнил, что в пальто, в кармане за носовым платком, где-нибудь прижавшись в уголку, лежит тихо и смирно собачонка.

— Девка гладкая, нос шишечкой, а ничего не жрет. Накупит пирожных, пирожными и питается. «Дура девка, говорю, пирожными сыт не будешь!»

— А как она насчет этого?

— Я и то говорю: «ты, может, тяжелая, пирожные-то жрешь?» «Не-т, говорит, тетенька!» Известно, дура.

Подъев весь пудинг, Антон Петрович вышел в переднюю.

Там нащупал он карман, тихонько запустил руку — какая холодная, она самая, конечно, собачонка!

Но когда вытащил он на свет свою воровскую находку, весь так и вздрогнул:

не фарфоровая собачонка, вовсе не собачонка лежала у него в кармане, а самый подлинный, как игрушка блестящий, холодный браунинг.

## 4.

Откуда и как пошел Антон Петрович Будылин?

Вот он в забытьи ума стоит с этой своей блестящей собачкой, совсем не той, какую взять метил тогда у медвежонка от ноги в сером пуховом чулке, раскрасневшейся и улыбающейся —

и скажу вам: та-то фарфоровая лежит себе преспокойно, только не в левом кармане, а в правом.

Вот стоит он и в толк не возьмет, откуда взялась такая необыкновенная и никак неожиданная:

подсунул ли ему кто, злой насмешливый человек, или собственная мысль его, промелькнувшая среди смутных взбудораженных мыслей во взмученной душе, собственное желание, подавшее голос из немого сердца, стало вещью и необыкновенной и никак неожиданной.

Вот и стоит он, крепко держит блестящую собачку, и одни усы кустатые торчат — —

Где же и когда зародился такой беспамятный человек?

О своих летах Антон Петрович не любил говорить.

Нынче на Святках у Тимофеевых, когда разговор коснулся возраста человеческой жизни, Антон Петрович, не сводивший глаз с Маши, вдруг точно возмутился.

— Всегда говорят мне, — сказал он, возмущенный, — будто жалеть буду, что не женат! Но когда же, спрашиваю я, разве после пятидесяти лет жалеть буду?

Антону Петровичу и на самом деле пятидесяти нет, ему и до сорока пяти еще с год подождать.

А если виски у него седые, и весь он — все салящееся лицо его в мешках, метрические года тут совсем ни при чем, это уж так природой сделано.

И жениться ему еще не поздно.

А зародился Антон Петрович от русского кореня из третьего и последнего Рима — Москвы.

Сын благочестивых родителей — так повелось начинать жития подвижников, так будет и тут уместно, потому что жизнь Будылина и труды его поистине подвижнические! — провел он первые годы свои на Трубе у птичьего толкуна, где по воскресеньям вся Москва голубятная голубями торгует.

Когда же отец его Петр Петрович вышел в отставку — «папаша в полиции служили!» — скромно говаривал Антон Петрович, — обзавелись они собственным домком у Покровского монастыря, туда и переехали.

Было их много детей — сестер и братьев, большая семья.

Да одни еще в детстве перемерли, а другие — кто пошел счастье искать, да так и сгинули; сестры замуж вышли и разъехались по провинции, помер отец.

И осталась Аксинья Матвеевна с младшим, с любимцем Антошей.

А жила с ними тетка, сестра Петра Петровича, Олимпиада Петровна, бабушкой ее все звали — древняя старуха об одной ноге.

— Почему это у бабушки одна ножка с мясом, а другая деревянная? Свинчатка? — скажет, бывало, дотошный!

Или пристанет:

— Найди ключевую косточку!

А когда на Москве-реке утопленника выловили — сосед лавочник потонул, Спиридон Иванович — и много об этом было разговору, совсем извел бабушку:

— Когда ты, бабушка, утонешь, ты хватайся за дно!

Затейный рос мальчишка, — бесенок.

Стал подрастать, отдали учиться. И засупился.

И такой опальчивый сделался, как подменили. Все за книжкой, слова не добьешься, или пойдет, не скажется и пропадает Бог весть где.

Гимназию кончил с медалью, а в университете и году не проучился, погнали.

Много было огорчений Аксинье Матвеевне и бабушке об одной ноге.

Чтение книжек обострило и загнало все его мысли к одной огненной мысли.

И эта мысль зажгла его душу.

Весь мир сошелся у него в одном огненном деле.

И этому заветному огненному делу и положил он отдать свою жизнь.

5.

Две сказки рассказывал русский народ о душе человеческой:

какая цена душе и какой ответ за душу?

И по одной сказке выходит так:

не только убить человека, а и подумать о таком, в конец пропадешь!

Ты только помыслишь о убийстве и уж мысль твоя, как нож, — и тому, на кого замыслил, не сдобровать.

А за это душе-то твоей и в сей жизни уготовано место, — не позавидуешь!

Мысль и дело — одно:

от мысли станется, а кто сделал, неважно.

*не убий, не моги и помыслить убить!*

Таков первый завет — воля народная.

По другой же сказке выходит как раз наоборот: убить вменяется, коли обреченный несет в себе зло.

Зло проклято, нет оправдания, и даже кровь молчит.

*убий! благословен убивший!*

Таков второй завет — воля народная.

Две сказки — два завета.

Сказка складка, а есть и быль.

Русский народ оставил и дело — завет самосожигающейся «последней Руси», — огненный крест.

Если враг душит жизнь на земле, сквернит ее святая святых и на земле нет больше правды, во имя родной земли, ее святынь и правды, грядет час страстям — вольная страда, вольная огненная страсть, костер.

*не убий! себя убий! смертью на смерть!*

Таков третий завет — воля народная.

Три завета из души народной от истерзанного, перемучившегося неправдою жизни, и вот прозревшего совестливого сердца.

По-другому сказанные, другим словом выраженные живут они в душе народной и ходят по русской земле глубинным путем, как ходит в мире грех.

«Хождение в народ» со всем отречением, месть за обиду народную, огненная мечта о счастье мира, вольная виселица, — да это такое русское, заветное, завещанное русским народом — русской сказкой и былью.

Мысль о огненном деле потрясла душу Антона Петровича, совсем еще тогда юного и непорочного.

Приятели его, разделявшие его одинокую мысль, считали дело не менее важным и тоже готовились к нему, но такого ожесточенного устремления, такого захвата и прямоты ни у одного из них не было.

А что за ожесточение было в нем, можно судить по его исключительной нетерпимости:

когда он узнал, что деятель — так называли они людей, делающих то единственное нужное дело, к которому и

сам он готовился, — этот прославленный деятель, на которого указывали ему товарищи с большим уважением, курит — возмущению его конца не было; и до тех пор слушавший с замиранием сердца рассказы о похождениях этого деятеля, теперь он не захотел с ним и знакомиться.

«Как может деятель что-нибудь делать, кроме дела!»

И такое ожесточение его не от тупоумия и вовсе не единичный случай одинокого, захрясшего в устремлении своем на одной мысли о каком-то единственном ответственном деле насупленного человека.

Само собой, в первой же студенческой демонстрации Будылин принял участие.

И, хоть ровно ничего он не сделал преступного и слова не обронил, да видно за одну его насупленность и погнали из университета.

И то, что его погнали и в восемнадцать лет очутился он один с одной своей головой, в которой все мысли скрутились в одной огненной мысли к *делу,* — это его нисколько не огорчило, напротив —

теперь-то и приступит он к самому настоящему делу!

Оставаться в доме с матерью и бабушкой об одной ноге было совсем некстати, а тут подвернулся товарищ его Кудрин, тоже исключенный.

И недолго думая, поехал он к приятелю в деревню:

там вдали от дома, в деревне будет ему простор делать большое дело.

Ранней весной в первый раз он приехал в деревню.

На всю жизнь не забудет — какая земля дышащая, как живая грудь, какая трава, первые цветы, первые птицы, и особенно те весенние теплые дни, пасмурные от исступленного дыха рождающихся жизней —

все шевелится и копошится, вылезает, растет.

Как очумелый, ходил он, разиня рот — всю его мысль вышибло! — не говоря, а мыча, ничего не помня, не понимая, а только глазея и слушая.

К началу лета обжился, осмотрелся и принял твердое и бесповоротное решение всего себя посвятить делу.

И первое, что он сделал, это написал письмо в Москву матери:

принципиально разрывает с семьей и прерывает всякие письменные сношения с ней и с бабушкой навсегда.

И опять Аксинье Матвеевне кручина: что ей с Антошей делать? — и дом оставил, и ни за что — ни про что от матери отрекся!

Три недели собиралась старуха, думала думу.

И надоумилась: разыскала одного из приятелей Антоши, студента Харина, собственноручно письмо написала, — все-то слезами искапала.

И упростила студента отвезти письмо в деревню —

да чтобы сам и в руки передал, да разговорил, — авось одумается!

Да и саек московских не забыла старуха, передала Антоше — московский гостинец от себя и от бабушки.

Харин в студенческих беспорядках принимал участие, но как-то цел вышел, не тронули его. А старухе он из всех товарищей Антошиных больше всех по душе был: и добротой и веселостью.

И надо сказать, все они, товарищи-то Антошины, и выгнанные и уцелевшие, не под стать были Антоше: книга книгой и разговоры всякие — в этом все их и дело — а развлечения само собой, и никакой насупленности, разве который нарочно начнет, чтобы постарше казаться.

После уж узнал Будылин, что и Харин, посланец московский, и Кудрин, у которого жил он в деревне, оба товарища, готовясь к общему делу, участвовали не только в их кружке изучения аграрных программ, а и совсем в другом:

восемь душ их было в другом-то кружке, и на всех была одна —

Письмо ли, слезами искапанное, собственноручное, сайки ли московские, или разговоры Харина, а произвели свое действие.

А, может, просто соскучился по городской жизни — непривычному-то в деревне не больно гораздо!

И покатил он блудным сыном назад в Москву.

И эта его поддачка на московские сайки — а он именно так впоследствии все и объяснил себе сайками — решила всю его жизнь.

Изуверским языком тех самых книжек, какими он взасос зачитывался и какие по догадкам Аксиньи Матвеевны и загнали его, сказал он тогда себе, уласканный домом,

теплом, матерью старухой и бабушкой об одной ноге, выговорил он слово к слову, попивая чаек московский с московскими домашними сайками —

ведь, нигде, только в Москве такие и пекут! — как пух, легкие, с соломкою.

«Если я допускаю такое недопустимое совместительство семейных связей с аскетическими принципами — жить исключительно для дела, то приходится расстаться с принципами!»

И вот до тех пор не участник никаких восьмерок, ужаснувшийся, если бы кто о таком открылся ему, он первым делом, расставаясь с принципами — с заветами своей одинокой мысли, пустился как раз по этой самой дорожке —

И в первый же вечер своей новой жизни загулял в веселом доме.

Московская Горка — бульвары с Соболевкой и солдатской Грачевкой, — вот его новое и единственное дело без размышлений, книжек и всякой ответственности.

И в день совершеннолетия своего, когда напишет он себе программу жизни — свой собственный завет, отрешась от всяких заветов, он поставит на первое место это новое свое дело:

«Провести счастливую жизнь, причем главный элемент счастья половые, а если удастся, и романтические отношения с женщинами».

Насупленный, дикий — нет, и веселая московская Горка не улыбнула! — оболтус, шатающийся вечерами по бульварам и ничуть не похожий на добродушного Харина, участника восьмерки, ни на Кудрина, пропившего свое безделье в деревне, ходил он кобелем, готовым вскочить на первую встречу — без разбора.

С зимой бульварные шатания кончились — сердце ли сорвал или набило оскомину? — и опять покатил он в деревню к приятелю.

И опять Аксинье Матвеевне горе: что ей с Антошей делать?

Изредка получались письма, извещавшие мать о полном благополучии и совершенном здоровье.

Аксинья Матвеевна просила вернуться.

А в ответах ни слова не было о возвращении, но зато была какая-то непохожая, не будылинская совсем, нежность, точно не он и письма писал.

Нет, это его, он писал.

И недаром в программе жизни — в своем собственном завете он поставил —

«Сопоспе́шествование счастью близких».

А в близкие само собой первыми попадали мать и бабушка.

«За московские сайки».

Так после насмехался он сам над собой.

А все-таки домой не поехал!

И как ни плакалась старуха, как ни просила, торчал в глуши — какая даль! — сколько верст от московского дома.

Целый год прожил он безвыездно в деревне.

И тут среди людей невзыскательных, главным образом женщин, он вообразил себя мыслителем — кличка осталась за ним и до сего дня.

Да и как было не поддаться лукавому:

за год-то своего деревенского подножного шалопайства он сделал, как сам и уверовал тогда же, величайшее открытие —

*о произвольности всякой морали.*

Вверх ногами опрокинув скрижали всяких заветов, он перемешал добро и зло.

И почил во славе.

А прославив самого себя, возжаждал признания.

И слава стала одним из заветных его желаний.

И в день совершеннолетия своего, а оно наступило в дни его собственного прославления, он начертал свой собственный завет на место низвергнутых.

В первую голову поставил он свое счастье —

*женщины и слава!*

А последним стоял Петербург, — история Петербурга.

Скука ли деревенская, тоска ли по городу, или, как коренной москвич, почувствовал он в Петербурге вызывающее что-то, перевертывающее весь московский завет, вот назло и поставил —

*сопостѣшествованіе исторіи петербургской.*

За год деревенского шалопайства, сделав свое открытие о добре и зле, он всем существом своим понял раз и навсегда:

без непосредственного удовольствия ничего не мило в жизни, а лишь по́-милу и цена, и сама жизнь желанна лишь как праздник, удовольствие, а вся деловая сторона жизни, труд, за первенство которого он хотел когда-то умереть, — и скучное и проклятое дело.

«Женщины и слава!» — вот первое.

И к этому весь ум и все заботы.

### 6.

Померла бабушка об одной ноге.

Известили — не приехал.

И похоронила без него Аксинья Матвеевна бабушку.

А бабушке-то уж как хотелось в последний раз посмотреть на Антошу —

«Посмотрю и Богу душу отдам!»

Приехал он уж проститься с самой Аксиньей Матвеевной:

немногим пережила она бабушку — по одной по дорожке пошла она на тот свет, понесла к Богу два мешочка гостинцев — свое желанное сердце да горькие слезы.

И отнесли Аксинью Матвеевну к бабушке в Покровский монастырь —

там когда-то в век самосожигающейся «последней Руси» было заложное кладбище — для горемычных, странников, замерзнувших и от напрасной смерти погибших, для всех несчастных,

где нашел себе место покоя Саватей старец — Стефан Вонифатьевич, кротчайший соборный протопоп благовещенский, духовник тишайшего царя.

Похоронил Будылин мать и уж как есть один остался.

И если понадобилось бы по какому разлучному завету, не надо уж никаких и связей порывать, — все порвано и не по воле немилостивой, а по судьбе праведной.

Впрочем, об этом он и не думал: огненное дело свое он ведь еще тогда похоронил под сайками и всякую память изгладил своим заветом —

счастьем с женщинами и славой.

От матери остались кое-какие деньги да еще и дом у Покровского монастыря.

Что ему делать?

Да что делать — для славы надо что-нибудь выдумывать, ведь женщин-то сколько хочешь — и Соболевка и Грачевка.

Думал Будылин опять закатиться в деревню и там что-нибудь выдумать, написать такое сочинение, чтобы всех с толку сбить.

Да видно не судьба: тот приятель его Кудрин, пропивавший деревенский досуг свой, вдруг отрезвился, все добро свое отдал своим сестрам, разделил весь дом и ушел странствовать по белому свету — за святою Русью —

за горемычными, странными, беспокойными — за теми, кому тесно в нашей тощете и отчаянии.

И Будылину самое бы подходящее дело тоже начать странствовать — не торчать же ему в самом деле в опустелом гнезде у Покровского монастыря! — ну, странствовать не за святою Русью, по-своему как.

На том и решил.

И тут в первый раз в жизни добром помянул он и покойницу мать и покойницу бабушку об одной ноге:

без их кубышки куда б ему!

И долго не собираясь, уехал за границу.

И пока хватило денег, странствовал.

И то, что до отъезда еще связывало его с родной землей — с Покровским монастырем, с могилой матери и бабушки, тут на старой земле в Париже, где-то на Сан-Мишеле, окончательно порвалось.

О старом Петербурге, о истории петербургской, он еще держал в мыслях назло Москве саешной, но России — родины русской для него больше не стало, как не стало

больше человека — «венца творения Божия», а стала одна тварь —

от звезды и до чумной бациллы, на небо вопиющей.

Помнит он, на всю жизнь остался в его памяти день: в Париже попал в Дом Инвалидов и увидел великую могилу.

Какая охватила его жалость и презрение к человеку, перед саркофагом которого почтительно снимали шляпы — кто-то даже прикрикнул: «шляпы долой!»

А к жалости и презрению прибавилось еще и возмущение перед ничем неумолимой издевательской судьбой:

мировая слава, кровь и глумление над этой кровавой славой.

Из Парижа он переехал в Женеву.

И в этом скучнейшем и чистейшем из городов Европы довершил свое отчаяние.

А и вправду, два черных глаза открылись на мир и жизнь.

Истратив все деньги, почернелый вернулся Будылин в Россию.

России не было — родины не было, одно географическое название: Россия!

И остался еще дом у Покровского монастыря да память о Трубе —

«папаша в полиции служил!»

Дом Будылин продал, и это дало ему возможность протянуть еще с год без всякого дела.

А к тридцати годам пришлось задуматься о проклятом и скучном деле:

надо же как-нибудь перебыть на подлейшей земле среди подлейшей твари!

И тут совсем неожиданно повезло.

Приятель его Харин, участник веселой осьмерки, он же и посол с московскими сайками, решитель судьбы, любимец Аксиньи Матвеевны, вытянул его из беды.

У Харина, выдвинувшегося адвоката, нашлись связи, и место было готово:

место спокойное, никаких особенных мудростей не требующее, — в петербургской страховой конторе на Невском.

Так навсегда и распростился Антон Петрович с Москвою.

7.

Служба далась нелегко.

Правда, дело не требовало никаких мудростей, но ведь Антон Петрович не мог сообразить и самых простых вещей.

И хотя со временем попривык и кое-как наладил то несложное дело, которое составляло его обязанность, понимать-то мало понимал, что собственно такое делалось в этой страховой конторе, где можно было, а это он хорошо понял, и без царя в голове при связях занимать большое место.

Нелегка еще показалась служба и потому — и это, пожалуй, первое и самое главное! — что ведь самым ненавистным было для него всякое принуждение — труд обязательный.

И каким счастливым почувствовал бы он себя, если бы вдруг кончились все дела!

А отпусти ему Бог хвост и обеспечь покойную жизнь, да он, поверите ли, сумел бы обернуться —

примостившись где поудобнее, и тихо и смирно помахивал бы он хвостом день и ночь.

Только злая необходимость — ничего не поделаешь, жить надо! — будила его всякий день, выгоняла на улицу, на Суворовский и вела на Невский в контору.

И та же необходимость заставляла его коверкаться, подлаживаясь под проклятое дело — как березовый шкап подделывают под орех, так и он подделывал себя под людей этого проклятого дела.

Он сознавал свою непохожесть и избранность, и какую потерянность и приниженность испытывал он, как только требовалось по житейским делам пошевельнуть пальцем.

Ведь, чтобы наловчиться жить, надо стать лицом к лицу с жизнью, а он, занятый самовосхищением и избранностью своей, только и делал, что обегал жизнь.

Только из самолюбия он пускался на хитрость: он притворно выставлял себя участником жизни.

И другой раз это удавалось ему.

Подрядчик Александров даже уверовал в особую деловитость и житейскую смышленность Антона Петровича, а главное, в его благочестие.

И всякий раз, собирая к себе в дом на обед синодских владык, случавшихся в Петербурге, обязательно звал и Антона Петровича. Больше того, единственному Антону Петровичу доверил он под величайшим секретом свою истайную тайну:

подходил десятилетний юбилей, как вел подрядчик подробнейшую запись не только словам, произносимым владыками на обедах — какие уж там слова за первым лакомым сортом! — нет, совсем не словам, а кушаньям, лакомым первым сортам, пожираемым владыками, с пометой против всякого, много ли чего скушать изволил.

И такую достопамятную запись — советовался подрядчик — ловко было бы издать к юбилею и именные книжки поднести дорогим гостям.

Если бы подрядчик хоть что-нибудь видел в своем советчике — страшно даже и подумать! — видел и чуял, какое добро скрывалось за одобрением и поддакиванием.

Антон Петрович все одобрял.

Антон Петрович не причислял себя ни к какому классу, а из народа просто вычеркивался.

Народом для него была старуха Овсевна, которую терпел он по своей необыкновенной лени — ведь и тут надо было пальцем пошевельнуть! — а искать прислугу, да это такое беспокойство, и лучше пускай расчленится старуха на две старухи и уж две Овсевны, две костлявые засядут ему на плечи, нет, искать новуе дело невозможное.

Народ для него был вещью темной и грубой.

Еще тогда, до саек московских, однажды в деревне очутился он среди мужиков и почувствовал такую растерянность, да больше никогда и не пытался подходить поближе.

«Мужик скорей свинью накормит, чем голодного человека», — сказал как-то Кудрин, деревенский его приятель.

«И хоть ты мед ему на голову лей, все будет кричать: горько!»

Нет, Бог с ним, с народом — ладней со скотом бессловесным — кнут и ласка!

Но это только так казалось Антону Петровичу — животных он боялся: ему страшно было погладить собаку или кошку, не меньший страх внушали и лошади.

А с кем он мог расправляться смело, это только с мухами.

От скота и народа отколот, а верхи закрыты, если не считать обеды у подрядчика с обжорливыми владыками, но и то сказать, какой же владыка верх!

Он, конечно, по праву мог приткнуться к интеллигенции.

Но интеллигенция-то никогда не признала бы его своим. Политикой он не занимался,

а какой же интеллигент без политики, так, чучело-чумичела!

Ведь, он и газет не читал, а русская жизнь для него была чужой и даже ненавистной.

С интеллигенцией его сближала книга.

Но тут он чувствовал какой-то непобедимый стыд, и когда он нес книгу, он испытывал вроде того, как если бы бубновый туз был у него на спине.

И в книжный магазин входил он с бо́льшей опаской, чем в писчебумажный, а и в писчебумажном робел: как бы кто не увидел!

Эта ни с чего приходящая мысль так его всего и корчила.

Да и самое чтение книги, купленной с такой опаской, он скрывал, прячась даже от старухи Овсевны, которой никакого не было дела, сидит ли он за книгой или нос ковыряет.

Будь у него дом, наверное, занял бы он место в жизни.

Но дом давно уплыл, и земли у него нет — один горшок стоит на столе: когда-то сирень была куплена на Пасху, как все покупают, да так и осталась стоять — голые прутья, а выбросить страшно, — мало ли подумают что.

Круг знакомых — сослуживцы по страховой конторе.

И в гостях, когда случалось бывать так или в именинные дни, он только и ждал, когда позовут к столу. В карты

он не играл — не мог и самых простых пустяков сообразить.

К людям он относился всегда боязливо, ожидая от них всякой гадости, а желал и требовал, чтобы его хвалили и уважали.

Сам же он никого не уважал.

В последние московские дни в канун петербургской службы — проклятого дела своего, шел он вечером домой через всю Москву, и чувство тягчайшее, какое подымается у человека перед неизвестным наступающим и неизбежным, пригнетало его взмученную душу.

Многое и заметное проходило мимо, — не замечал он под носом. И так бы добрался до Таганки, не видя ничего и не слыша.

И вдруг одно и совсем не такое уж приметное остановило его.

У Красных ворот какой-то фабричный, прощаясь со своей спутницей, вынул из кармана мел и без всяких слов водрузил на ее спине во всю спину белый крест.

И Будылин скорчился весь, пораженный и униженный, будто этот самый позорящий белый крест влепил ему на спину фабричный.

«Всякий человек, — подумал он тогда, — всякого другого может оскорблять публично просто так, здорóво живешь!»

И горчайшее чувство охватило его взмученную душу.

Да, он был прав:

всякий может оскорбить тебя так, здорóво живешь, и ты ничего не поделаешь, и три, сколько хочешь, никогда не стереть со спины белый позорящий крест.

«Такой уж подлец человек, а русский в особенности», — решил тогда Антон Петрович.

А вскоре испытал и на самом себе, но тут уж Россия была ни при чем, — тут было больше.

Около дома играли ребятишки, и, когда он входил в калитку, какой-то пузырь забежал вперед и к большому удовольствию товарищей, таких же пузырей, мелом провел ему по штанам.

И Будылин вспомнил вечер, Красные ворота, фабричного, и к мысли своей горчайшей тогдашней еще прибавил,

что от озорства не спасет никакая одежда, никакое положение

и управы искать негде.

«На человека искать управы негде!» — вот что сказалось в его взбудораженных мыслях.

Самое лучшее, конечно, не иметь дела с людьми.

Но как это осуществить, когда от людей и можно спрятаться, что в могиле.

«И от самого себя!» — что-то подало голос из самого сердца.

И он понял, почему эта фарфоровая холодная собачонка — нечаянный браунинг так поразил его.

— Да, и от самого себя!

И Антон Петрович, охваченный страхом, опустил на стол блестящую находку.

— Там разберут милостивее! — сказала Овсевна.

Безулыбная, сморщенная старуха, встревоженная Нюшкиным известием о страховке: она себе тянула свое — свою печаль.

### 8.

Обыкновенно после обеда на другой край стола ставила Овсевна самовар, и из столовой запевала такая самоварная мурмля: спишь, проснешься, а то и сквозь сон не удержишься и нальешь стакан.

Антон Петрович наливал себе крепкого чаю, уносил стакан в свою комнату и пил там не спеша — с удовольствием.

И наступали блаженнейшие минуты.

Можно было подумать, что какие-то особые ангелы, да не те, что землю вертят, а те особые, что над душистыми чаями веют в китайской земле, эти самые чайные китайские ангелы витали над упивающимся Антоном Петровичем.

Усаживался Антон Петрович у окна против брандмауера, попивал чай.

И шли мысли легонько пò ветру.

Мысль о зле, проникающем мир, осветила ему человеческую жизнь и душу его до самых потаенных уголков.

И от безрадостного взгляда на жизнь, без всякого намека на утешение, Антон Петрович никогда не уклонялся.

И окно его, выходящее на брандмауер, представляло башню — столп, откуда и в самом деле взирали на мир два черные глаза.

Свинья, почуяв, что в навозе есть своя сладость, раз плюхнувшись в навоз, валялась в нем не без удовольствия, помахивая хвостиком; так и Антон Петрович, пораженный еще в дни юности своей злой мыслью, уперся в брандмауер и, не ожидая, а главное *не желая* ничего другого, вкусно прихлебывал душистый чай.

Жизнь представлялась ему заколдованным кругом безысходно существующего от века и ничем в веках непреоборимого черного зла.

И он не только мирился и не искал выхода из этого злого круга, напротив, желал, чтобы злой черный круг таким и остался бы навеки.

В этом и была его вера.

И если бы вдруг обнаружилось, что и из этого злого круга есть какие-то выходы, он так растерялся бы, что наверное позабыл бы, где дом его — Таврическая верхотура.

А если бы нашел верные указания, что человек когда-нибудь выскочит из этого злого круга и попадет в другое царство, не черное, райское, да от одной только райской мысли он потерял бы вкус к — — чаю.

И не потому, что стало бы ему совестно за избранных счастливцев рядом с обойдёнными, а исключительно от сознания, что вот он, Антон Петрович Будылин, так позорно ошибся.

Да, если бы он увидел, что мир вовсе не безысходно и неодолимо скверен, в нем оскорблена была бы самая сердцевина его проклятого существования на проклятом белом свете.

И вся услада его сводилась к расширению и углублению отчаянного взгляда на мир и жизнь и в самоуверении, что иначе и быть не может.

— И не нужно! Не нужно! — с хрипом шептал он бездушному, как живому, брандмауеру.

Мысль его была ленива, наново перестраивать свой взгляд было бы для него не то что тяжко, а просто непосильно.

И он копался в книгах, отыскивая новые подтверждения злой своей мысли, чтобы как-нибудь не сорваться, и до ниточки показать свою правоту и прежде всего перед самим собою.

С какой радостью хватался он за разоблачение всякой утешительной бывальщины, созданной обездоленным обойденным человеком, чтобы только как-нибудь вынести на свет все зло и темь жизни.

Хлебом не корми, только расскажи ему о какой-нибудь позорящей «гордого человека» гадости или какое событие, сбивающее с толку человеческую веру.

Оклеветать и поверить в свою клевету — вот первое удовольствие!

Из книжек подбирал он замечания и факты, проливающие свет на истинные человеческие побуждения, от которого не больно поздоровится! — как сам любил похвастать.

Доставалось вере человеческой, плохо приходилось и истории.

Подмигивая брандмауеру, заводил он свой спор и разоблачения.

— Вы знаете, — подмигивал он брандмауеру, — сказание о апостоле Петре и Симоне волхве, как в Риме препирались, и как побежденный волхв низвергнут был на землю? А знаете ли вы, что волхв-то тут совсем ни при чем, а спорил апостол Петр с Павлом! Первоверховые-то, вместе поминаемые и празднуемые, врагами, оказывается, были, вы понимаете? А еще скажу вам, наверняка-то никто не возьмется сказать, был или не был апостол Петр в Риме, — а скорее всего никогда и не был.

И заведет о Римской церкви, как по-домашнему приспособила она Бога — творца — домостроителя — зиждителя, Петрова каменная церковь.

— Уж доподлинно каменная, совсем как в благоустроенном доме, с промыслом, всемогуществом и всеблагостью. И все это в круге зла, черноты и проклятия, понимаете?

А для утешения малых сих поставила доброго Пастыря. И никакая сила не одолеет ее. Еще бы, чаек-то попивать всякому хочется, и уж что-что, а от этого никто не откажется и обязательно поддержит.

Из русской истории его особенно привлекало Смутное время, когда во всю распоясалась русская душа изменная, неверная, жестокая.

— Всем известная нижегородская быль — Минин и Пожарский! Знаете — Минин-и-Пожарский на Красной площади в Москве памятник в вразумление! Минин кликнул клич к православным за Русь православную, и здравый ум толкнул руку к кошелькам и даже к закладным: «Заложим жен и детей!» Все это истинная правда. Ну, конечно, где убеждением, а где и силой действовал Минин, чтобы жертвовали. Но дело-то не в том, а вот, когда подобрались разбойники и потихонечку замирилась Русь, революция кончилась, тут кто посостоятельнее и пораздумал да все до копейки назад и выбрал: жертву-то свою за Русь православную, и опять в кубышку. А из каких таких денег? — ни за что не отгадаете. А я вам скажу: из кабацких доходов, — вот тебе и жертва!

Антон Петрович отхлебывал, причмокивал.

— А еще вы, может, слышали, — подмигивал он брандмауеру, — жил-был на Москве в XVII веке Иоанн Неронов, протопоп от Казанской, вот уж подлинно столп и утверждение русской веры — огненной «последней Руси». Ведь, это ему, протопопу, от образа Спаса глас был о «последней Руси»: «Дерзай и не бойся до смéрти!» Это его, Неронова, в видении по Христову велению ангелы дубцами побили. И этот-то ревнитель русской веры при всем своем благочестии, а землякам своим, нижегородским кабатчикам, мирволил на Москве и сколько раз от царской грозы спасал. А вы понимаете, что такое кабатчик по старой-то русской вере — вино-то чье — разве Божье? — вино от винокурца — беса, а кабатчик слуга его покорный, бесослуг. Вот тебе и столп!

Святая Русь, — юродивые и блаженные, убогие, прозревшие от белого своего сердца, и не только отказавшиеся от мира сего, но еще и вольно принявшие на себя вину всего мира, святая Русь неколебимая, как и «последняя Русь» огненная, совесть русская со всей ее болью и скорбью, — белый свет белого сердца, без которого темь

и пусто на Руси — разбой и пропад, и язык мешается, это русское единственное, как Никола, подкапываниями и розысками огульно превращались из святой Руси в Русь смердящую.

И это не только со святою Русью — с Россией у Антона Петровича свои были счеты — но и со святой Германией, со святой Англией, со святой Францией, со святой Италией, со всем белым светом, где еще жив человек, не погасла искра Божия, — то же самое, — обязательно подведет под смердящее.

Больше всякого праздника, а в праздники можно было спать, сколько влезет, и на службу идти не надо, бывали те вечера, когда Антон Петрович выуживал что-нибудь разоблачающее, что шибало в нос, и святость обращал в смердящее.

Воображая весь мир своим врагом уличенным, тыкал он его носом, как кошку:

— смотри, мол, чуй, все неправда и нет никакой правды —

— И не надо ее, не надо!

— чуй и задыхайся —

— Так вам и надо, так и надо!

и омерзитесь вы, смердящие, смердящейся жизнью.

А по лени своей мысленной и неповоротливости старался он уверить себя, что все это ясно и просто и ничуть не загадочно:

— и что ж тут такого — зло, змеей извиваясь, проникает мир!

Но скажу вам, Антон Петрович не окостенел еще, и «кожаные одежды первородного изгнания» не задушили сердца.

И вот, как сейчас, с ужасом опустив на стол браунинг, он весь растерзан стоит, так и без браунинга вдруг ни с того ни с чего проникало в его уверенность самое беспощадное сомнение и червем точило его мысль.

Тайна мира и жизни, загадочность всего происходящего, минуту назад разрешенная так просто и ясно, брандмауером подымалась перед растерянными его глазами.

Но коснейшая лень и тут выкручивала его.

— В темных потемках нет темных предметов, и когда все равно удивительно, нечем и удивляться!

И прищелкивая языком, прихлипывал Антон Петрович.

И сидел блаженно, как истукан.

А мысль, замеревшая на минуту, оживая, набредала на свою излюбленную черную тропку.

## 9.

Люди зарождаются на земле, как мухи, души же человеческие приходят в мир своими путями. Люди родятся душевно-непохожие — ни в отца, ни в мать — по-своему. И вот почему постоянная вражда и ссора, и так враждебен семейный очаг. Никто не знает, где его душевный корень и кто его родители, кто братья, кто сестры по духу. Кровь единственная скрепа очагов, но и сама живучая кровь мертва, когда души далеки. Полупрогнившие очаги с жалкими, бессильными кровными поцелуями.

Пол сводит людей через похоть. Но душа из разных видений. И вот сама цементная похоть летит к черту. Полупрогнившие очаги со слепыми, неверными поцелуями. Очаг — устой государства. По очагу и цена. Все примазывается, подчищается, чтобы только сохранить приличие. И от показной внешней крепости и постоянной лжи прогнивает и самый устой жизни — очаг, а за очагом — государство.

Люди зарождаются на земле, как мухи, и родятся на свет, чтобы жрать и гадить — испакощенная земля — отравленный воздух — очаг болезней и мора!

Слава всем войнам, истребляющим паскудный человеческий род,

слава мору, чуме, холере, туберкулезу, освобождающим землю

от только жрущего, только гадящего, только смердящего человека!

И какое это страшное бремя, какой кровавый крест, наваленный тебе на спину, быть на измученной земле в жестоком человеческом круге,

какое это ужасное наказание —

быть человеком!

И если ты совестливый, тебя затопчут. А если ты бессовестный, вечно держи ухо востро:

всякую минуту придет еще бо́льший негодяй и даст тебе в морду — не подымешься — и все твое жалкое дело жизни пойдет прахом.

Со всей исступленностью вопиет седой голос из века: «Лучше было бы не родиться!»

Глас, вопиющий в пустыне.

Люди родятся не по человечьим указам, и все, что рождается на свет, так и должно родиться, и кричи не кричи, никто тебя не послушает.

Бедный человеческий род, вечно обманутый, — вечно обманывающий! Люди, вертящиеся около жалких насущных своих дел, соперники, заклятые враги, каждым поворотом своей походки кривоногой давят друг друга, а каждым словом, каждым огоньком лисьих глаз с головой выдают алчные позывы. Люди, такие разные, и в одном похожие — в своей жратве свинячей, никогда не изменятся.

И где такая сила, которая бы изменила человека?

Сила духа легкая, как веяние ветра, что передвинет? А внешней не проймешь. Но все равно, никакое изменение невозможно.

— И не желательно!

Антон Петрович грозил брандмауеру.

И уверяя себя в безысходности отвечного и ничем неотвратимого зла, подбирая всякие разоблачения, сводя святость к смердящему, хуля и грязня всю жизнь, Антон Петрович редкий день не заводил беспощадной войны и еще с двумя заклятыми своими врагами.

Имя первому — национализм.

Национализм считал он гнуснейшим кровавым заразительным предрассудком, в жертву которому принесено столько благородных человеческих душ.

Повальность и устой этого предрассудка для большинства обрекали всякую борьбу с ним на неизбежную неудачу.

И перебирая все доводы свои для поражения этого первого ненавистнейшего врага, терял Антон Петрович всякое беспристрастие.

Все падало прежде всего, конечно, на Россию.

Россия представлялась ему сбродом диких народностей — уже тем самым, что попали они в сброд, обречены были на одичание! — какой-то азиатской Австро-Венгрией, называемой Российской державой.

И он доходил до такого исступления к этому русскому сброду, что никак уж не мог согласиться жить и помереть верноподданным своего отечества и мысленно называл себя в эти жестокие схватки свои просто *нетем* — дезертиром.

И хорошо понимая, что все живые люди — патриоты своего отечества, и что только родная земля, родные корни дают плод, что без родной речи, родной песни захиреет всякое творчество, и так же хорошо понимая, что такое русский, делающий русское дело — строители земли русской, и что такое немец, сосед наш ближайший, делающий свое немецкое дело — строитель Германии, видел плоды дел их в искусстве, в науке, в технике, и все-таки отбивался и руками и ногами от всякого отечества — от всякого и особенно от своего дикого, изуверского ма̀терного —

недаром же нет ни у одного народа такой грубой и дикой похабщины, такой матерной матерщины, как у русских!

С горечью сознавал он, что по природе сам-то он косноязычный, лишен дара слова, ужасался нищенскому своему словарю, понимал, что почернелый весь, старый не по возрасту, обойденный он в жизни — какая же выпала ему любовь, какая пришла слава и кто после смерти помянет его и где, на каком петербургском Сытном рынке воздвигнут крылатый памятник —

*Antonio Deo Sancto*

— обойденный на обойденной земле, обойденнейший и вот злорадствующий и глумящийся перед брандмауером над неудачами и грехами злейшего своего врага.

Но это так укрепилось в нем, что как-нибудь измениться было просто немыслимо.

Еще тогда, сидя день и ночь за книжкой у Покровского монастыря под крылышком Аксиньи Матвеевны да бабушки об одной ноге, еще тогда он вычитал о человечестве, о планете, и безродное человечество и родина-планета

загасили в нем всякую искру любви к своей земле, к своей московской колыбельной родине, мало того, вызвали ненависть ко всему родному, колыбельному и эту ненависть, думал он, унесет с собой в могилу.

А эта ненависть была подготовлена у него непреодолимым отвращением к духу школьного товарищества, ко всему исключительному, посягающему на отдельные права, что означается словом *наш.*

Странствием же своим по старой Европе он укрепил эту ненависть.

Россию он не разделял, как в дни своей юности, на две враждебные половины, не делил ее на Россию казенную, которую принято было не уважать, винить во всех бедах и напастях, и бороться против которой считалось за особую честь, и на Россию народную, обиженную, голодающую, за которую надо вести борьбу и, если надо, погибнуть, нет, Россия для него была одна — его отечество смрадное, смердящее, матерное.

И в грядущее благо родины он не верил, не хотел верить и злорадствовал всякой беде и радовался всякому несчастью, несуразице и неразберихе русской, а во время войны поражениям, неумелости и глупости, а в революцию разбою.

— Избранный народ Божий, — говорил Антон Петрович, ожесточаясь, — положил печать свою на всей нашей церкви, обескрылил Петрово христианство, заразил еще и безобразным пороком избранничества и особого исторического призвания.

И до того ему было ненавистно и нестерпимо всякое национальное чувство, — а ведь, сам-то плоть от плоти и кость от кости своего народа! — много положил он изобретательности, тут уж и лень прошла, и всяких хитростей, вытравить в себе все родное.

Шатаясь по чужим краям, он выдумал самое верное средство вытравления. Правда, для живого человека это средство совсем неподходящее, но это нисколько не оправдывало национального чувства, а было лишь новым доказательством, что от него, как и от всякой несправедливости — помните того фабричного у Красных ворот с белым позорящим крестом! — как и от гадости человеческой просто деваться некуда,

разве в могилу.

— И от самого себя!

Антон Петрович взвизгивал, вдруг вспоминая свой меловой крест вдоль спины — свою обойденность.

А средство вернейшее против национального заключалось в том, чтобы прежде всего до надсадка громить все национальное, что сам он и делал за послеобеденным чаем. Затем шли условия, трудно выполнимые: не жить, например, в стране, к которой принадлежишь происхождением, а если уж приходится оставаться в своем отечестве, то надо заглушить в себе всякий интерес к местным порядкам, разучиться родному языку, вести себя так, как вел бы себя эмигрант, не следить за злободневной жизнью, не читать газет и книг, только иностранные, совершенно пренебрегая родным и занимаясь только тем, что есть в родном общего с иностранным.

По мере сил Антон Петрович следовал своему верному убийственному наказу, но многое или совсем невыполнимо или по-чудному очень, ну, взять хоть будылинское чтение иностранной хроники из вечерней Биржевки.

А какое лицемерие, кто любя свое отечество, будто бы не забывает и человечества, веря в счастье и отечества своего и человечества.

Благополучие одной страны всегда шло в ущерб благополучию других стран и про это всякий дурак знает.

Антон Петрович набрасывался на своего врага с последним остервенением.

— Лицемеры! Лучшая проверка — война. Патриот, мечтающий о счастье человечества, неизбежно во время унижения своей родины обращается просто в бесчеловечного, и француз в прусаке видел и в самом деле какое-то насекомое.

Ненависть Антона Петровича к национализму, несовместимому с счастьем всего человечества, зародившаяся из ненависти к школьному товариществу и развившаяся на чужой земле, происходила у него во имя человека вообще, человека безродного, планетного, просто человека, и, казалось, тут-то он и должен был верить и исповедовать.

Но и безродная человечина — гуманизм — был для него так же ненавистен, как и национализм.

И это был его второй враг, с которым он вел лютейшую войну.

Как в борьбе с национализмом, грозя брандмауеру и попивая вкусно чаек свой неизменный, объявлял он себя *нетем* — дезертиром, так, переходя войной на гуманизм, заявлял о себе гордо:

— Я русский, сын русского, но убеждения мои и моя вера — зенитная тля!

Любовь к другим народам, к человечеству, считал он несравненно выше любви только к родине, к родному, но по сравнению с братством ко всему живущему, ко всякой твари — к тле последней и первой, и эта любовь — человеколюбие была столь же несправедлива и лицемерна.

И как национализм с его исключительностью и избранничеством, так и гуманизм с его всечеловеком, безродием и планетностью, он приписывал исконному замалчиванию наших братьев — зверей.

И никак не мог примириться, чтобы с понятием человека связывалось нечто отдельное от остальных живых тварей.

— И почему провозглашать человека над другими тварями? Чем он выше? Что принес страждущему миру? Слезы, только слезы, кровавую войну, виселицу, гильотину, ненависть и лицемерие. Лживое проклятое племя! И закон жизни везде один, как для человека, так и для не-человеков: люди и звери в борьбе обретают свое право, только в борьбе. А для борьбы все средства хороши и первое: ложь.

— Какой там дьявол — Я! Я! — человек — отец лжи.

Гуманизм с напыженной головой и пустым сердцем вставал перед ним душителем всякого полета, суля человечеству полное успокоение и неограниченное право невозбранно жрать и гадить.

Можно любить себя, любить семью, а по духу сестер и братьев, можно любить родину — место, где родился, и речь, на которой говоришь, но любить человечество — всечеловека?

— Есть три крепкие связи, три скрепы: кровью, похотью и духом. И из этих трех связей связь середняя — через похоть и будет главной в планетном всечеловеке, а от духа ничего не останется. И гордый человек, захватив землю от океана до океана, обжираясь и гадя, потеряет всякие пути к миру, к твари — к зенитной тле.

Гуманизму противопоставлял он любовь к твари, но в такую любовь совсем не верил и тем обрекал мир на всеконечную погибель.

— А духи? Пустота, наполненная невиденными нам живыми существами, вот все это живое, что снует в комнате и за окном до брандмауера, и, проникая брандмауер, скачет в соседнем доме, духи, о которых одни догадываются, верят и боятся, а другие ни о чем не догадываются, не верят, смеются, как будто бы от этого легче, духи, встревающиеся в наши дела, в мысли, ведь они живые, тоже тварь — —

Люди, как звери, и звери, как люди, строили свою жизнь по одной мерке: жрать, плодиться, гадить. И человеку, как и зверю, некуда было спрятаться от общей участи живого мира: приходил час, и все летело вверх тормашками.

И всегда есть, были и будут и не могут не быть мучители и жертвы, люди и человеки, люди и звери, волки и овцы, холерные больные и холерные запятые, обидчики и обиженные.

Но что ужаснее всего: обратиться не к кому!

— И не надо!

Антон Петрович отставил стакан и бессмысленно с блаженством всезнающего сидел, обращенный к бездушному брандмауеру.

А два его черные глаза лукаво светились — —

## 10.

После чаю Антон Петрович усаживался за книгу.

И как без чаю не выходило никакой философии, так и без книги не приходили мысли.

Без чтения его собственная ленивая мысль дремала, с книгой же летал он под облаками.

Приноровив свою трудовую жизнь, Антон Петрович составил себе целую настольную библиотеку по всем отраслям знания от Зарозвездника Заратустры до древнерусского словаря Срезневского.

Чтение было строго распределено. Книги читались медленно. И самый ход медленного чтения по преимуществу иностранных книг имел для него особенную прелесть.

А главное, мечты, подогревавшие его старания, — без них он забросил бы книгу.

Он мечтал, каким ученым, каким мудрецом он сделается, когда одолеет все мысли чужой мудрости, и как венец в Петербурге на Сытном рынке гранит —

*Antonio Deo Sancto.*

Без книги Антон Петрович засыпал.

Непреодолимая лень была во всем его существе, а в мыслях своя особенная:

мысль, засевшая в нем, словно окостеневала и ничем нельзя было своротить.

Кроме чтения книг было и еще занятие: старинные документы.

Увы! о старом Петровском Петербурге был у него всего один документ «Швецкая война», а то все позднейшие.

Всякие грамоты, реестры, письма и записи он тщательно переписывал, подклеивал и распределял по папкам — занятие затягивающее и засасывающее, как карты.

А так, сам по себе, без книг, без старинных документов и без чаю Антон Петрович мало о чем думал.

И, пожалуй, ровно ничего не думал.

Сидеть же и ничего не думать было для него из всех самым приятным времяпрепровождением.

## 11.

В несчастный вечер Антону Петровичу пришлось нарушить весь свой порядок: на одну эту холодную не фарфоровую собачонку — на этот браунинг блестящий он истратил столько времени, стоя у своего стола в мертвом столбняке, да так всю философию и простоял, да, пожалуй, и добрую половину чтения.

Кроме того, старуха Овсевна, расстроенная деревенскими известиями о страховке, возилась с самоваром ни на какую стать, а вернее, просто забыла о самоваре и не сразу хватилась.

Антон Петрович с браунингом, заполнившим все его мысли, допивал седьмой стакан.

С парадного позвонили.

Овсевна, над ухом которой дребезжал звонок, не отзывалась: верно, прилегла измученная и заснула.

Антон Петрович позвонил от себя на кухню и затаился:

всякие страхи полезли ему в голову и, конечно, полиция, дознавшаяся об этой его нечаянной находке.

Права на ношение огнестрельного оружия он не имел и при том же он стянул запрещенную вещь, хотя и не намеренно, приняв за фарфоровую собачонку, но ведь это совсем неважно, что обознался в покраже, важно то, что не имеет права и украл, вот и нагрянули.

Антон Петрович протянул было руку, чтобы убрать в ящик подозрительную вещь, но уж Овсевна поднялась на звонок и шла отворять дверь.

«Господи, что ж это такое, сейчас поведут в кутузку!»

Антон Петрович похолодел, и сердце его так и забилось, словно увидел он привидение или дом загорелся.

И совсем напрасно: никакие страхи, никакая полиция, это швейцар,

— К телефону.

— Откуда? кто спрашивает?

Швейцар ничего не мог ответить.

Робея, Антон Петрович спустился к швейцарской.

Ему прежде всего необходимо было дознаться, откуда его вызывают.

«Хало! Откуда говорят?»

И только после совсем бесполезных окликов:

«Из пивной — трактира — аптеки —» — он успокоился и кричал:

«Хало! Кто говорит?»

А дознавшись, кто говорит, не кричал уж, а стонал:

«Хало! Ничего не слышу! Повторите! Хало! Не слышу!»

Говорить с ним по телефону была сущая мука.

Накричавшись и намахавшись — он под крик, хал и стон махал еще рукой, помогая крику и стону — поднялся Антон Петрович назад к себе на верхотуру в добром духе:

звонили из пивной, — вызывал Баланцев.

«Завтра в Казанском соборе торжественная обедня с митрополитом!»

Антон Петрович пообещал прийти в собор —

«Если позволит погода».

Он ничем особенно не хворал и изъяна у него никакого не было, а почему-то погода всегда имела для него решающее значение:

будет сухо — выйдет, а если дождь — калачом не заманишь.

Впрочем, если завтра будет и дождь, завтра-то он и на дождик не посмотрит, непременно выйдет.

И о погоде прокричал он Баланцеву просто по привычке: Баланцев готовил ему приятный сюрприз, он это догадался по голосу.

Антон Петрович даже вытянулся весь и лицо его засалилось от предвкушения удовольствия:

да, конечно, завтра он встретит в соборе Машу, — завтра многое решится.

Баланцев о Маше ни слова не сказал, но Антон Петрович по голосу догадался, что это так, и вот почему все заиграло в нем.

Антон Петрович задумал примерить ботинки: в них он завтра щегольнет в соборе на обедне.

И он напялил ботинки и, кряхтя, затянул крепко.

Прошелся — ничего, даже свободно.

Недоставало только галстука.

Привычка к ношеным вещам была у Антона Петровича прямо невообразимая: один и тот же галстук носил он до полного развала, не говоря уж о белье, которое так зверски занашивал, что прачка стирать отказывалась.

Да, галстук следовало бы ему переменить и надеть чистую сорочку, да и голову не мешало бы вымыть, ведь ванна так стоит и не для Овсевны же устроена, чтобы старуха носовые платки стирала.

Антон Петрович вдруг с остервенением стал тереть свой салящийся жирный лоб.

Ему вспомнилось, как совсем недавно на Святой, попав к Тимофеевым, завел он разговор с Машей и такое понес и так мямлил, и та, не дослушав, отошла от него.

А что если и опять такое случится?

И уж ботинки не помогут и, надень он новый пестренький галстук, — сам галстук не вывезет.

Тайна разговора — как и о чем говорить с человеком, которому хочешь понравиться — всегда занимала Антона Петровича.

И при всей своей разговорчивости он не мог угадать, что нужно и чего не надо: или перебивал собеседника или приводил примеры, доказывающие как раз обратное, но главное, слова говорил он путанно и уж очень по-книжному, — ни одного живого слова.

Баланцев в шутку, должно быть, не раз говорил ему, будто в молодости отличался он особенно меткостью в разговоре, а приписывал эту способность свою единственно чтению юмористических журналов.

«Как, бывало, идти куда в гости, — смеялся Баланцев, — засяду я накануне за журналы, начитаюсь, а уж на другой день так жарю, самому на удивление, откуда что!»

Антон Петрович пробовал, но и сам Аверченко и Тэффи ничему путному не научили его:

набившись всякой чепухи, он в разговорах терял все концы бесповоротно.

Был еще один способ, и довольно верный: подслушивать.

Антон Петрович и подслушивал, — старался что-нибудь перенять от говорливых людей, уловить тот стержень, ту веточку, на которую нанизываются слова.

Но и из подслушивания никакого проку не вышло, да и не безопасно было: могли заметить, уличить, пристыдить и даже привлечь.

И почему это так человеку не повезет?

А ведь сколько говорунов и каких! — слова, слово за словом, и как складно, и что-то выходит!

Если бы Антон Петрович слышал Андрея Белого или Степуна —

Но этот круг литературный для него был закрыт.

Пробовал еще Антон Петрович и уж последнее средство: был у него русско-немецкий разговорник и стал он по этому разговорнику разговоры заучивать и сам с собою практиковаться.

И ничего — выходило гладко и сладно.

А на людях — одно горе.

От невнимательности это или еще от чего, но сколько ни старался, разговорную тайну он никак не мог постичь.

Время подходило к последнему ночному чаю.

Разбуженная швейцаром Овсевна так и не легла, и будить ее не надо было.

Из кухни потрескивало.

А на воле погода менялась — пасмурило.

— Ветер в трубе уёт! — сказала Овсевна.

Но кто это выл: ветер в трубе или самовар, трудно было разобрать.

На ночь Антон Петрович чай пил в столовой и за чаем производил расчет со старухой.

Старуха писать не умела и все расходы держала в памяти, а память ее была, как старое решето, и потому большая выходила путаница.

Антон Петрович обыкновенно дважды пересчитывал: и на бумаге и на счетах.

И все-таки редкий расчет сходился — у старухи оказывалось денег или гораздо больше, чем показывали счеты и бумажки, или такая недохватка, ничем не покроешь.

Еще раз пересказывала Овсевна расходы, а сама недоверчиво поглядывала: конечно, подозревала, что Антон Петрович просто ее обсчитывает.

С грехом пополам окончив расчет и выдав денег на завтра, Антон Петрович залюбовался на свои новые ботинки.

Он вдруг уверовал в них и вообразил, что и без всякого разговору одним видом своим — ботинками тронет Машино сердце.

— Что, Овсевна, во сне видела? — благодушно спросил Антон Петрович.

— Девок видела, — пробурчала старуха, — на поле будто, при дороге картошку копают. К нехорошему.

Антон Петрович хотел было сказать: «к смерти».

Да так в другое время и сказалось бы, но уверовав в свои побеждающие ботинки, вдруг пожалел:

— Ничего, к перемене погоды.

Горемычно подперлась старуха.

— Ветер в трубе уёт! — словно и сама воя за ветром, сказала она жалобно.

Нынче полсотни минуло, как переехала Овсевна из своего Подболотья в Петербург служить, и с той поры ходит по местам и записывается в конторы. Похоронила она мужа: не любый, вдовый был. И как не силилась, не потекли слезы по покойнику — ведь, от людей надо поплакать! — ни слезинки. А пришла она в Петербург

клюквинкой, — известно, вдовье мясо! — и вот вся-то сморщилась, почернела, изморщинилась, за годы-то кухонные тараканные забыла и посты и праздники, и в церковь перестала ходить и не помнит, когда и приобщалась, и только что на сон грядущий перекрестится. И одно что твердит — от старого осталось! — только в одном поминая Бога:

«Божье немилостиво, надо и своей головой делать!»

Про это Овсевна твердо помнила, держа в памяти одну эту единственную мысль с именем Божьим.

И за службу свою кухонную тараканную сколотила денег, все в кассу носила, и наконец, в своем Подболотье построилась: остаток жизни собиралась старуха дома в своем собственном доме на свободе пожить.

«Деревня веселая, лесу много, озеро близко, пашня хорошая, всего много, хлебища — —!»

А как построилась, вернулась на зиму на Таврическую и, не знай беды, живет себе у Антона Петровича, а дай весна и на волю домой.

А беда там свое делала: пожар зажгла.

«В солдатах выслужился, женился, а ума не нажил! — пеняла старуха лихому человеку, — поджег солдат дом тестя в сердцах на жену, не подумал: не его враг, а все крещенные сгорят».

И Овсевнина новая изба сгорела и совсем без всякой вины.

«В середку попала, вот и вся и вина».

Погорельцев добрые люди не оставили: кто чем, много соседняя игуменья помогла, а Овсевне и жертвы не дали, а почему, ума не приложить.

Но главное-то не в том, что жертвой обошли, главное в страховке — страховку не выдают.

А на эту страховку вся и последняя надежда.

«Божье немилостиво, надо и своей головой делать!»

Ей ли не знать, она это вот где выносила, и как строиться, собственноручно страховку старосте передала. А староста Максим Назарыч деньги от старухи взять-то взял, а в книгу-то, видно, и не подумал записать. И теперь отпирается: никаких будто денег не брал!

Давеча Нюшка и принесла это известие.

Так прямо тетке и сказала, чтобы денег никаких не ждала — все равно, без страховки ничего не выдадут!

И вот взбудораженная отказом, несправедливостью — ведь, снова построиться, эта дума единственная ни на минуту не покидала Овсевну! — в который раз пересказав всю свою пожарную историю, попросила она Антона Петровича сочинить ей прошение.

Антон Петрович пообещал навести справку, но где и у кого, он совсем не представлял себе.

— У Алексея Ивановича похлопочите!

Старуха возлагала большие надежды на Баланцева, веруя, что по расторопности своей Баланцев все должен знать и, успокоенная обещанием Антона Петровича, пошла в кухню.

— За душу все можно вытерпеть! — не то выла, не то ворчала, как ветер, Овсевна.

И скоро из кухни поднялся такой кашель, словно бы ножами и сверлами разрывали грудь — так всякую ночь ужасно старуха кашляла.

И как еще при таком ножовом кашле она жила-была на белом свете?

Или и вправду, что крепче всего человек на свете, или то правда, что за душу все можно вытерпеть.

## 12.

Антон Петрович представлял себе мир не как подобие сна, а как подлинный сон своей души.

Существенной разницы между сном и явью для него не ощущалось.

Правда, в один прекрасный день он, пользуясь случаем, застраховал свою жизнь.

Но это было в порядке житейском: явь держала его в постоянном трепете, сон же нисколько не пугал.

Без сновидений сна у него не бывало, но к великому огорчению самые яркие чувства приходились на кратчайшие мгновенья, и в памяти ничего не оставалось или одни обрывки.

Антон Петрович перешел из столовой в спальню. Это была маленькая комнатенка с голыми стенами, как и столовая и кабинет.

Пестроты Антон Петрович не выносил, — ну, галстук другое дело и не для себя надевает! — сады же, цветники, оранжереи, громкие толкучие улицы, картинные галереи,

выставки, театр, все это снующее красочное очень его беспокоило: для неповоротливых его глаз и неподвижных мыслей настоящая пытка.

В Париже, несмотря на людность, серый парижский камень успокаивал его.

Самым же излюбленным городом, конечно, была Женева.

Обои для всех комнат подбирал Антон Петрович одинаковые — без всякого цветочка и полоски, и без деревцов и без разводов.

Ни о каких стенных украшениях не могло быть мысли, единственное исключение — картинка из Сатирикона.

Эта картинка висела в спальне.

Лежа в постели, Антон Петрович смотрел на картинку.

А изображала она провинцию:

какой-то ржевский франт под ручку с барышней шествует по деревянным мосткам, перед ними вывеска «Баня», а за ними, высунувшись по пояс из окна мезонина, провожает глазами ржевская кумушка.

Вспоминал ли он, глядя на картинку, свой шалопайный деревенский год, когда, за московскую сайку отрекшись от огненного дела, лодорничал, —

а, может, и сам так хаживал!

а, может, глядя на картинку, дух его окрылялся: взять, осмелиться да и пройти так под ручку!

Потушив свет, Антон Петрович лег и согревшись — зяблый, он и летом зяб! — собрался дремать.

Но, должно быть, вся дрема ушла к старухе Овсевне, а на его долю осталась одна бессильная томь.

Любовь была для него единственной дверью, через которую проникал он к душе другого.

Но какая же была у него любовь — не любовь, а хоровожение!

А кроме любви, хотя бы и любовного намека, было еще одно чувство, окрылявшее его душу — редко приходило оно, но необыкновенно остро.

Ему вспоминался случай из ученических лет, вспоминался один забитый гимназист, которого вечно изводили товарищи, и особенно стали донимать, когда у того отец помер.

Чувство непомерной жалости к этому забитому сверстнику, охватившее его в те далекие московские годы, снова при воспоминании перевертывало все его сердце.

И теперь вспомнил он вдруг про этого Васю.

И вот среди смрада во тьму его, как луч, пробил жалобный свет — —

И сердце его дрогнуло.

Я никогда не забуду, как в госпитале помирал сосед мой, военный чиновник, — все его просто чиновником называли, — молодой еще человек, а на вид суровый, такие стали суровые люди зарождаться, и сурьезный за болезнь свою — худой» по замечанию сиделок, т. е. обреченный.

Помирал он от сердца, — что-то с сердцем у него неладно было, — уж приобщали, и только что кислород поддерживал.

И вот ночью в последнюю минуту, весь расслабленный сдернул он с себя одеяло — из дому жена принесла голубое — вскочил и, задыхаясь, так жаловался бессловесно — дышать ему нечем стало! — и столько беспомощности было в его боли, такой детской, и я видел лицо его не суровое, совсем не похожее, — и он так просил, и столько было детской нежности, и как у детей — беззащитного.

С открытым сердцем, — там горевала среди нашей недоли пробужденная душа, с видящим сердцем какой-то непоправимый грех за этого забитого Васю — метался Антон Петрович, как тот военный чиновник в госпитале без воздуха — беззащитно.

А над ним висел потолок,
над потолком крыша.
А там звезды, мечущиеся по ледяным воздушным
полям —
А над звездами, как крыша, небеса —
тьма несветимая кривая.
А через тьму беспутная звезда,
как меч —

Слава всем войнам,
истребляющим человеческий род,
Слава мору, чуме,
холере, туберкулезу,
освобождающим
землю,
слава —
— —

# ПЛЕТЕНИЦА

## 1. ЧЕЛОВЕКИ

Доктор Задорский принадлежал к тому редкому кругу лиц, которые обязаны исключительно своему дару и воле. Сам своей головой завоевал он положение и славу, какой заслуженно начинал пользоваться. Никакого подлаживания под прихоть пациентов и начальствующих у него не было. И его боялись и ценили.

Детство прошло не здесь, в провинции. Большая семья — жизнь нелегкая. В Петербург приехал уж взрослым. Мечтою его была наука. А пришлось заняться практикой. Несколько лет ушло на незаметную работу незаметного человека. Какой-то удачный случай — так всегда бывает — и пошла молва.

К уловкам он тоже не прибегал.

А есть много всякого, поражающего воображение пациентов, что создает славу.

Не без пользы, например, во время визита рассказать пациенту о своем диагнозе вразрез с мнением признанных авторитетов.

Не мешает завести книжку, в которой расписать визиты наперед недели на две и, конечно, вымышленными пациентами.

А то тряхнуть стариной· в прежнее время жаждущий славы доктор нанимал извозчиков и в часы приема выстраивал около своей квартиры, — пусть всякий видит и чувствует, как ломится народ.

Очень еще помогает жениться на богатой.

Но самую большую услугу могут оказать дамы: сумеешь покорить, займешь прочное место — раздуют, как свиной пузырь.

Доктор Задорский был вне всяких обычных домогательств и слава шла к нему за его исключительный дар.

Правда, в его практике был какой-то счастливый случай, который переоценили, но без этого не обходится никакая слава.

И стали записываться на прием.

Знаменитостью он еще не считался. Имя его не произносилось в пустые минуты. Про него пока говорили, как о молодом докторе, у которого большое будущее, сурьезном и внимательном.

И обыкновенно, когда к профессорам и утвердившимся знаменитостям не было средств попасть, обращались к Задорскому.

Так пошла к Задорскому Маша.

Маша считала себя совершенно здоровой. И только по настоянию отца пошла она на исследование.

Но что она скажет доктору?

По-настоящему она должна была бы все выложить ему по всей правде — весь свой несчастный замужний год. Памятливая — ей ничего не стоит восстановить день за днем со всей своей болью и отчаяньем.

Маша вышла замуж неожиданно и совсем неудачно.

И за что ей такая судьба выпала издевательская?

Пылинин, муж ее, это полная противоположность: совсем другая душа и другое устремление.

Маша всегда правдивая и ответственная за свое, в нем же одна безответственность и голое бесстыдство.

И насколько Маша решала все с большим душевным напряжением, его решения, как и поступки, были всегда воздушны:

пообещать и не исполнить — ему ничего не стоило, или сегодня сказать одно, завтра по-другому или подписаться под противоположным одновременно.

Машу все мучило, и не только настоящее, но и прошлое по ее необыкновенной памятливости, для него же все было и ясно и просто — просто задуматься не о чем — и что бы ни случилось, как с гуся вода — безмятежностью и забвеньем отличался он удивительным. Его можно было оскорбить с последней беспощадностью, а он только оближется и больше ничего.

И не от всепрощающего сердца, и не от сердца мудрого, прозревшего тщету хвалы и порицания, а от бездушности всего существа и бездумья.

И если у Маши душа, у него — надо сказать: пар.

И вот при всем этом необыкновенно заносчивый выступ — стать неприкосновенная.

Лишенный всякого дара, по своему бездушью и бездумью — воздушности, как моль, он, кажется, все мог:

Пылинин был и литератором — писал рассказы, сочинял стихи и драмы, и в философии, и по всяким религиозным вопросам, везде как свой, и писал он самым пригвожденным истасканным словом и на самые избитейшие темы и, само собой, общедоступно или, попросту говоря, на дурака.

Пылинин был и музыкантом — играл на рояли и свои сочинения, конечно, и чужие с треском и ужасно упрощая и уж без всякого слуха заслушаешься.

Пылинин и пел и рисовал: пел всегда под кого-нибудь, а рисовал с той слащавостью, которая прельщает безглазье, ну а на безглазье мир стоит!

Появление Пылинина в обществе всех очаровывало.

И про это он знал.

И уж что любил и чего искал, то, пожалуй, только этого — только легких успехов.

Молиное существо его, уверенное в своем всемогуществе и чарах среди низких душ, рвалось к орлиным полетам. И он ничем не стеснялся, и где можно и где нельзя урывал назоем.

Такие зарождаются чаровые, — такая моль в пламенном плаще, и среди низких душ, бездушья и безглазья могут прослыть даже за гениальных, а уж само собою за приятных собеседников, бла́го неумолкаемы — многоязычны — и безобидны и ничуть не скучны: чего-нибудь да уж ляпнет или что-нибудь да сотворит! — скучающими или унылыми таких не встретите.

Кипучесть прямо стрекозиная.

А находчивость беспримерна.

При всяких обстоятельствах они на своем месте: посади в тюрьму, сладит и в тюрьме, сошли в ссылку и в ссылке обернется, совсем изгони в тартарары и там будет свой, — везде найдется и устроится по своей именно особой и беспримерной воздушности — молиной!

В обществе приятные люди, кажется, и слава Богу, приятные, значит безвредные.

Но это совсем не так, — так только кажется, — пустотой, воздушностью, беспечалием своей жизни и безответственностью дел и слов своих несут большое горе и соблазн.

И скажу вам, в смутные годы — в потрясения общественные рядом со смелостью и безумием безумцев и такие легколетные взлетают на самые верхи, примазываются к власти и, пользуясь всеми житейскими приемами своего бездумья и безответственности, сеют величайшее зло, соблазняя простое доверчивое сердце золотыми посулами — раем земным.

Во рву-то львином, в тощете и отчаянии нашем и вдруг — — рай!

Сердце у Маши доверчивое, как и глаза ее.

А ему до нее, до ее тяжелой души и доверчивости никакого дела. Она ему просто понравилась. А понравилась, почему не жениться?

Так мог бы он жениться на сотне, на тысяче. Понравилась и готово.

Но Маше, — чем он мог ей показаться?

А у таких, знаете, есть свое очарование: ведь моль в пламенном плаще!

И еще бескорыстность, нестяжательность, и никакой намеренности, а все так — ведь с этим легко жить и беззаботно.

И еще уменье лгать и убеждать в своей лжи.

Маша поверила и вышла замуж.

И с первых же дней обнаружилось —

И эта легкость, какой наполнено было все его существо, камнем легла на ее душу.

Само собой он нисколько не подумал разорвать свои прежние связи. Что ж тут такого? И чему мешает? — о ней, ведь, он совсем не подумал.

И когда это обнаружилось, а произошло это на третий день свадьбы, ее это просто убило.

А на все упреки он отвечал так же легко, как всегда и на все, словно ничего особенного не было.

Ну, что ж тут такого? Ну, а если он виноват, — только он совсем ненамеренно, — он винится.

И разжалобил.

Маша простила.

Забыть она никогда не забудет, и примириться не может, а так на время — до первой памяти.

Временно вина его пропала, но не исчезла.

Тут он ей всяких клятв — для него, как и все, ничего не стоило! — и еще больше сгладил.

А все-таки наскочил, это-то он понял, — совсем не ожидал, что Маша так примет: надо быть осторожнее!

И принялся за старое, только с хитрецой и обходом.

Жизнь у них шла бесшабашная.

Дом их — постоялый двор.

И никому невдомек: всем казалось и лад и полная чаша.

И немудрено: самый бессовестный поступок свой он так умел скрасить, не задумаешься, и всякую фальшь выдаст за чистую монету.

И почему Маша тогда еще, в первые дни медового месяца, не уехала от него, ведь он был весь, как на ладони!

Или, видно, захочет Бог отнять разум у человека и отнимет.

Или судьба?

И за что ей такая судьба выпала издевательская?

И с год протянула она постоялую жизнь.

Только случай решил.

Однажды он заявил Маше и с той же легкостью своей и беспечностью, с какой все делал, что он болен.

— Не стоит обращать внимания, — сказал он, — такое бывает. Бывают такие болезни: залечишь, а она возвращается. Но ничего, скоро поправим и без всяких последствий.

Маша ничего не поняла.

Тогда он с подробностями рассказал ей об этой болезни своей вернувшейся. И исследование показал.

— Вот видишь, это и означает!

При всей ее болезненной мнительности, как еще она тогда ничего не сделала над собой? Или от неожиданности?

Когда все сообразила, в душе ее не осталось и тени чувства, одна гадливость.

И она уехала к отцу.

И уж тут, живя с отцом и, проклиная свой год замужний, она в первый раз почувствовала, что с сердцем у нее что-то делается: она его чувствовала.

И в такие минуты тоска находила темная — места не найти.

* * *

Маша пересмотрела все, что было в приемной.

Приемная, как у всех, показная — «для всех»: мебель под красное дерево и картины в золотых рамах — лес и охота, как полагается. А на столе журналы с картинками.

Перелистав какой-то Сатирикон, села в уголок.

«Как на исповеди, — подумала, — все надо сказать без утайки!»

Про отца ей нечего рассказывать, худого ничего она не видела, напротив: он только и жил для нее. Разные они: она сама по себе, он сам по себе. В нем много покорности и уступчивости, а в ней та гордость, в которой он мало что понимал и часто осуждал. А гордость ее заключалась в том, что она любила, чему верила, и эту веру свою так не могла дать на растоптание, ни за что, — любовь ее в своем высшем, в вере своей, и делала ее гордой и крепкой.

Робость и покорность отцовская ее не заразила. Всегда смелая. А смелых опасность не загоняет, а тянет. И это только теперь она как-то оробела вдруг.

Или после западни замужней?

Когда она училась, она мечтала о какой-то большой жизни и светлой. Она готова была всем верить. И дурного от людей ничего не ждала, напротив.

А вот жизнь ее и хряснула.

Она никогда не представляла себе, чтобы жизнь была так зла, именно зла, злорадна.

Или судьба ее такая издевательская?

Сколько вероломства, предательства, а все эти уколы и царапины от мелких слабостей и грешков человеческих — неверное, легкоданное слово, зря данное обещание!

Но что ее больше всего поразило, когда попала она в черный круговорот, это бездумье — такое ужасное свойство человеческое, которое гибельнее всякого порока.

Можно бороться и карать вероломство, можно клеймить всякую подлость, но с бездумьем, что вы поделаете? Самое на вид безобидное, а внутренне страшнее всякого страха, потому что безобидно, скрытно и неуловимо.

«А я этого и не знал!»

«А я и не подумал!»

«Вот не думал, что так выйдет!»

Негодяй, да ты думай наперед, а потом делай, а не наоборот, нагадишь, а когда потычут, и схватишься!

Маша все это испытала на себе, и ни одно разочарование так больно не ударило ее, как этот бездумный удар.

Любовь пришла к ней по тайным путям — такая уж судьба! — и повела ее не для того, чтобы открыть ей светлую сторону, а одну беду жизни, проклятие жизни и пропад.

И во всем винила она обольстившее ее бездумье.

И об этом она должна сказать доктору?

— Да, да, да, она все скажет.

Да еще вот что она вынесла из этого своего года — не на кого ей положиться!

И вся ее жизнь сгублена.

И утешенья нет нигде.

Говорят, что и другим плохо, да еще и как плохо! Но чужая беда — не утеха.

Ее беда заполнила все существо ее с краями.

И утешения нет нигде.

И об этом она должна сказать доктору?

Да, да, да, все скажет.

Очередь дошла, наконец, до Маши.

Она поднялась и вся загорелась — ну никак не поверишь, что больная.

«Господи, помоги!» — мысленно перекрестилась Маша и переступила порог.

* * *

Доктор встретил обычными вопросами.

Маша слышала его голос, но лица не замечала.

И одно она почувствовала, что отец был прав, посылая

ее к доктору, — по голосу поняла она, что может ему все рассказать.

И ничего не сказала —

И ничего не сказала о своем горьком годе, а стала с подробностями рассказывать о сердце, как сердце у нее —

— То вдруг замрет, а потом, как птичка.

Маша думала, что чем больше подробностей будет о ее сердце, тем понятнее станет доктору ее болезнь, она думала, что болезнь ее исключительная и редко у кого есть.

И вдруг заметила, что доктор, все время записывавший в книгу, перестал писать. И что-то нетерпеливое почудилось ей. И она заторопилась кончить свои подробные описания.

Доктор попросил раздеться.

— Надо выслушать.

Маша сняла кофточку.

— Вы замужем?

— Да.

Маша страшно смутилась: ведь, должно быть, сейчас и надо начать исповедь о горьком годе и бездумье.

— А дети у вас есть?

— Нет.

— Почему же у вас детей нет?

— Так.

Доктор пристально посмотрел. И она увидела глаза —

И загорелась вся.

«Неужто все рассказывать и зачем это он спрашивает?» — подумала уж с досадою.

А он наклонился к ней совсем близко и она почувствовала крепкий запах табаку и светящиеся глаза.

И после постукивания, когда она одевалась, она все еще чувствовала и этот крепкий запах табаку и глаза — —

«Ничего слащавого, — вдруг подумала она, — самое противное слащавость!»

Но почему это она подумала?

А в ответ ей только сердце тихонько забилось, не больно.

Доктор писал рецепт и был строгий, даже суровый, а из-под опущенных век светилось — —

---

## 2. ЧАРОДЕЙ

Баланцев большой выдумщик на всякие затеи.

Тусклая одинокая жизнь приятеля его Антона Петровича Будылина только и красилась выдумками Баланцева, а то лишенная всяких происшествий так и захрясла бы на единственном событии: жил-был великий мыслитель и философствовал с брандмауером!

В Казанском соборе, где Антон Петрович был так уверен, что встретит Машу, Маши не оказалось, а был один Баланцев.

Баланцев, видя разочарование приятеля, постарался уверить его, что Маша еще подойдет, а скорее всего пришла уж и стоит где за колоннами невидно для них.

И Антон Петрович успокоился.

А когда певчие — одни дети — запели «Верую», даже растрогался.

Внешнюю красоту церковного богослужения Антон Петрович всегда любил и недаром в московские шалопайные свои годы обегал все сорок сороков московских, не пропуская храмовых праздников с протодиаконом, жандармами и карманниками.

— Вы обратите внимание на часы: сейчас бить будут, удивительно! — Баланцев шептал приятелю, нагревая растроганное Будылинское сердце.

Антон Петрович не раз слушал и не без удовольствия, как звонили часы в Notre Dame в Париже, и в старых нюрнбергских соборах, — часы он любил и теперь насторожился.

И как это он раньше-то не замечал, что в Казанском соборе тоже есть часы и бьют. И даже не думал никогда, что висят часы в соборе и не простые?

Серебряный звон пролился по собору, собирая колонны, образа и детское «Верую» вместе в одно струящееся серебро — верую.

— Марья Александровна не пришла! — грустно сказал Будылин, — чудесные часы! А, может, стоит где невидимо?

— Нет, поздновато, Антон Петрович. А какая чудесная у нее душа. И какая тяжелая история в ее жизни. За что такое валится на человека? И как это все выносит человек?

— Она тоскует?

— Не в этом дело: сердце у нее что-то. Александр Николаевич очень беспокоится. Есть один удивительный доктор, все о нем говорят.

— Какой доктор?

— Задорский доктор, молодой еще. Очень хвалят. Может, и поможет.

Антону Петровичу вдруг стало неприятно:

какой-то доктор может что-то поправить, а вот он и при всех его знаниях — ничего, да еще чего доброго, Маша влюбится в доктора?

К кресту не пошли прикладываться: и за теснотою да и не любил Будылин.

— Ослюнявят, а ты изволь прикладываться!

Так и пошли к выходу, расправляясь и подталкивая.

Баланцев вызвался проводить.

* * *

Дорогой разговорились и само собой о Маше.

Кроме Антона Петровича, допускавшего разговоры с Баланцевым, — правда, Баланцеву, слушавшему Будылинские рассуждения о той же обойденности и о злом проклятом круге, нельзя было и слова вставить, — был еще Тимофеев, бухгалтер — и это единственный дом, где Баланцев и сам мог о своем высказывать, и куда заходил он по субботам вечером чай пить: Маша была его слабостью и пристрастием и ни с кем он бы не мог ее сравнить.

— Много о вас говорили, — начал Баланцев.

Будылин от удовольствия сопел.

— Она считает вас самым умным человеком, ни на кого не похожим и очень странным.

— Ничего не понимаю, — дико отозвался Антон Петрович, очень довольный.

— Да нечего и понимать! Вы ее очаровали. И знаете, доктор доктором, а такая веселая сделалась.

Распустив лопухом уши, Будылин остановился и тупо уставился в витрину корсетной мастерской.

— Какой вы счастливый, Антон Петрович!

Остановился и Баланцев.

— Я не признаю никакого счастья. И не может быть на земле никакого счастья! — Антон Петрович зверски скривился, и в то же время довольная улыбка горела на его лице.

— Признавать не признавайте — это дело философии, а тут сама жизнь. Вам бы, Антон Петрович, усы сбрить, сразу бы лет на тридцать помолодели. Давайте-ка сейчас в Пассаж к Орлову!

Будылин испугался:

— Неудобно. На смех подымут.

— Кто подымет? Да и стоит ли обращать внимание. Ну, сначала поговорят, посмеются, а потом и привыкнут. Сами знаете, человек ко всему привыкает. А ей-Богу, лет на тридцать станете моложе.

— Только не сразу, — замахал Будылин, — Бога ради не сразу. Я подумаю.

И оторвался от корсетной витрины.

И уж пошел с одной думой о усах бритых.

Оторвался от витрины и Баланцев.

Шли по Невскому молча.

Баланцев, не обращая внимания на спутника, бормотал себе под нос и чего-то смеялся: должно быть, затея смехотворная была у него в голове и вот уж он ее видел осуществленной и смеялся.

Антон Петрович, остервенело хватаясь за колючие ничшеанские усы, смотрел куда попало.

— Почему вы убеждены, что Марья Александровна в меня влюбилась?

Будылин вдруг схватил за руку Баланцева и лицо его сделалось и зверским и жалким непомерно:

— Мучитель!

Или догадывался он, что это только одна из затей приятеля, для развлечения и затеянная? А в то же время отказаться от мысли, что и на самом деле Маша в него влюблена, он не имел силы:

ведь, это было теперь его заветной мечтой и делом — любовь Маши.

Баланцев даже растерялся:

ведь он ничего подобного и не говорил, он только еще собирался сказать, чтобы развлечь приятеля, почерневшего от черноты своих глаз, и сказал бы, но не такими словами.

Баланцеву стало очень жаль Будылина.

— Она считает вас самым умным человеком и самым знающим. Вы должны, по ее мнению, все понимать. Вы очаровали ее вашим разговором.

Будылин выпустил Баланцевский рукав.

«Так это правда: он покорил Машу!»

И от счастья, не имея больше сил сдерживать своего чувства, Будылин — счастливец! — всхлипнул.

— И знаете, Антон Петрович, я вчера был у них, она только что вернулась от доктора. И когда я заговорил о вас, глаза у нее так и горели и она улыбалась, — поддал пару Баланцев, — чудесное превращение, не узнать! Только одна любовь так красит человека. И старик оживился и его не узнаешь.

Баланцев продолжал расхваливать Машу, вливая похвалой отраву в Будылинское взмученное сердце.

Так совсем незаметно очутились они на Суворовском проспекте.

* * *

От неровной походки, а главное от непривычки, шнурки у ботинок развязались — Будылин и почувствовал это и заметил, но поправляться на улице не решился.

И шел, шмыгая, чтобы как не запутаться и не оборвать.

И вдруг, перед его глазами стал медвежонок:

медвежонок хапал пастью и махал глазами.

Путаясь в шнурках, бросился Антон Петрович на ту сторону.

Сердце его так билось, точно кто нарочно напугал его из-за угла, и он долго не мог отдышаться.

Баланцев, ничего не понимая, тоже поспешил и стал было прощаться.

Но, где там! Антон Петрович ни за что не хотел отпустить: и праздник и торопиться некуда, а главное —

— Одному в праздник особенно скучно.

В комнатах на Таврической, куда благополучно добрались приятели, разговор продолжался о Маше.

Размечтавшийся Баланцев горы городил, отравляя взмученное сердце.

Овсевна старуха на свой страх стряпала, Бог знает что.

Отравленный Баланцевской мечтой, размечтался и сам Антон Петрович.

В комнатах ему было свободнее и душа его, не разрываемая хлывом уличных вещей, могла свободно сновать свои мечты.

А размечтался Будылин о женитьбе, как он женится на Маше —

— Но как же все это произойдет?

Ведь, он же не умеет и самых обыкновенных вещей делать: он как следует, по-человечески не может ни умыться, ни высморкаться, и ест, черт знает как, и притом же метеоризм, а лицо —

— У меня лицо флуоресцирует. Как сахарная голова или керосин. Голубчик, Алексей Иванович, научите!

Антон Петрович хныкал, охваченный нетерпением.

— Насчет лица не ручаюсь. От метеоризма верное средство касторка. А в остальном научу. Слушайтесь и подражайте. Согласны?

— Согласен. И насчет лица —

* * *

Баланцев все показывал на себе: слушайтесь и подражайте!

Ходили в ванную комнату и там плескались.

Не раз Баланцев заставлял повторять умывальные свои приемы, но толку не было — Будылин по-прежнему перетирал пальцы.

Потом, желая научить сморкаться, Баланцев запрокидывал голову и смотрел в потолок —

Антон же Петрович, взгромоздившись на табуретку, перебирал на верхней полке самые пыльные книги, чтобы пылью вызвать чёх.

И оба чихали.

— Вот так! зажмите нос платком — учил Баланцев, — та-ак!

А толку никакого не выходило: платок был сам по себе, а нос сам по себе.

Оставалась еда: надо было показать, как есть без чавка и всхлипа.

Но эта съестная наука отложена была до обеда.

Что же касается лица, — без пудры ничего не поделаешь.

— Надо прежде всего обзавестись тальком и одеколоном!

А ни талька, ни одеколона у Будылина не водилось.

— И поверьте, Антон Петрович, женские руки и любящий глаз все исправят и всему научат! — утешал Баланцев бестолкового и безнадежного приятеля.

* * *

После обеда, который долго тянулся и по беспричинному позабытию Овсевны, — старуха ничего не соображала! — и за трудной съестной наукой, после всех проб и примеров, сели чай пить.

Время философствовать —

Но какая же тут философия, когда решалась судьба.

И притом Баланцев...

Антон Петрович украдкой кивнул брандмауеру:

«Не могу, мол, на людях, извини!»

Чем же занять время?

Как чем? День особенный, надо было подумать о вечерних развлечениях.

— Такого дня больше никогда не задастся! — так и сказал Антон Петрович, чувствуя, что вступает в новую полосу жизни, — а может, на немножечко прикурнуть?

— Я решительно против, — оборвал Баланцев, — а женитесь, с этим придется расстаться навсегда.

— Ну когда-то еще!

Антон Петрович, довольный, отхлебывал чай.

Баланцев, в глазах которого играли самые невозможные затеи, не спускал глаз с приятеля.

— Антон Петрович, что я подумал? Знаете что? вам следует для большей начальности переименоваться.

— Как переименоваться?

— Ну переделайте себя, по крайней мере, из Антона в Антония.

— Что-то монашеское. Я не хочу.

— Да кто же говорит про монашеское, — наоборот. А то что такое Антон? Антон Горемыка, Антон Рубинштейн, Антон Чехов, — то ли дело Антоний, — Антоний Будылин.

— Если для нее так приятней, я согласен. Да, я согласен — и подумал: «Antonio Deo Sancto», памятник на Сытном рынке, гранит!» — а фамилию-то как же? Я готов, если нужно, и фамилию. Фамилия у меня не осо-

бенная: дед был Бадулин, отец переменил в Будылина, и, может, мне переделаться?

— В Быкова, — перебил Баланцев, — Антоний Быков, чудесно!

Будылин сразу не мог сообразить, хорошо это Быков или насмешка.

— Быков! Конечно, Быков! Подать на Высочайшее и утвердят. Антоний Петрович Быков!

Баланцев, и сам не зная чему, радовался.

— Ладно, — поддался Антон Петрович, — всякая перемена, как новое рождение. Я вновь войду в мир, любопытно! Плохо вот только: на Высочайшее подать — Антоний Быков — огласка, напечатают в газетах.

— Не напечатают, зачем?

Подходил вечер.

Как же им провести вечер?

Идти на Офицерскую в Луна-парк?

Будылин был как-то и даже с американских гор катался и больше не согласен.

— Идиоты выдумали для идиотов, нет, не согласен.

— А не пройти ли к Тимофееву?

Так сразу? — страшно.

— Я танцевать не умею, — почему-то сказал Антон Петрович, или от страха? — когда-то польку еще танцевал и то в одну сторону. Вот и плавать тоже умел.

— Танцевать научиться очень просто, а плавать только решиться надо и больше ничего.

— А может, на велосипеде лучше?

Баланцев предложил идти на скэтинг. Будылин опять не соглашался.

— Я на настоящих коньках пробовал и то ткнулся.

— Да тут же на колесиках, Антон Петрович.

Нет и это не выйдет.

— Болван на колесиках!

Болван не болван, а надо же как-нибудь провести вечер! И до чего это было пусто, хоть шаром покати.

— В пивную? — как последнее предложил Баланцев.

— Я придумал, давайте рисовать, — ошарашил Антон Петрович.

И это рисование было так неожиданно, что Баланцев покорно сел.

Антон Петрович вынул бумаги, карандашей.

— Ну давайте!

И подмигнув выразительно, что рисовать, уселся за работу.

* * *

Антон Петрович никак не умел, а Баланцев рисовал, как дети.

Немилосердно муслили карандаш и, помогая и шеей и плечом, старательно выводили что-то —

одно и то же во всевозможных видах.

И вдруг у Будылина, как ему самому показалось, начинало выходить похоже и, любуясь произведением своим, он впал в умиление.

Сердце его играло.

Сердце, что табакерка, заведи только, и пойдет играть, — пока завод не кончится.

Баланцев тоже увлекся.

Правда, выходило у него уж очень фантастическое и совсем ни на что не похожее. И вот для вразумления и стал он под рисунками подписи подписывать.

И пропал.

Будылин, подсмотрев, пришел в неистовство.

— Не понимаете, что делаете, — горячился Антон Петрович, — так по-свински заляпать!

— Да я же ничего не ляпал, я только подписал, — оправдывался Баланцев, громко произнося при этом имя единственной вещи и искренне не понимая, в чем его обвиняют.

— Ну разве так можно! — Антон Петрович передразнил Баланцева, назвав грубо грубым названием единственный предмет, бесчисленно изображенный обоими на бумаге, — нет, надо произносить это так — —

И голос Будылина сделался нежен, ну прямо лисий, не поверишь.

Баланцев повторил, подражая.

И вышло совсем скверно, как-то насмешливо скверно.

Антон Петрович бросил карандаш.

И уж весь распал его излился на исконных врагах.

Забыл Будылин о Баланцеве и о всем умилении своем перед собственным похожим рисунком.

Возмутила грубость, которая послышалась Будылину в Баланцевских подписях и, главное, в самом произношении, как это он выговорил, и, конечно, русская грубость, потому что Баланцев из русских русский.

И вот поднялась вся Россия, от которой отрекался Антон Петрович в ожесточенной философии своей пред брандмауером в чайном благодушии.

И в который раз вспомнились Красные ворота, фабричный белый крест, проведенный мелом по спине, без всяких слов.

— Все оплевано, омелено и сапожищем растерто, — горячился Антон Петрович, подмигивая кому-то, брандмауеру? нет, спиной он стоял к окну, — а по сапогу изматернино! Обойдите весь свет и нигде не найдете такой подлости, укорененной в самых недрах народной жизни и освященной стариной и преданием. Россия! — бахвальство, «наплевать» и «обознался» и «здорово живешь»! Ведь только мы, одни мы, только русские, искони всякого закидывали шапками, а потом вот где трещало. «Наплевать!» — и опять за старое до новой затрещины. Свистнет тебя по морде, а сам: «фу, черт, обознался!» Или кулаком тебя со всей мочи. За что? спросишь. А рожа так и сияет: «Здорово живешь!» Ни за что, значит! Вот она Россия — русская правда.

— Вы, Антон Петрович, как некий философ Секунд, рассуждаете!

Баланцев попробовал сшутить и успокоить приятеля.

Но Антон Петрович, как от мух отмахнулся:

философский стих нашел на него, а точкой, упором его глазу вместо брандмауера был испещренный лист с Баланцевскими фантастическими рисунками единственной вещи и дикими подписями.

— У русского народа за душой нет ничего. Самодержавие, православие, народность! — и Антон Петрович только свистнул — и ваш хваленый чудодейственный социализм, — и он опять свистнул.

И вдруг, зевнул во весь рот.

— Все равно — наплевать!

А это означало: засесть бы ему теперь за книгу, окрылить мысль, набраться слов.

— А я все-таки думаю заглянуть к Тимофееву, — поднялся Баланцев.

Будылин виновато заморгал: уж не сказал ли он чего?

— Мне, как мыслителю, Алексей Иванович, от обиды, я ничего не имею.

* * *

Как только скрылся за дверью Баланцев, Антон Петрович прилег на диван.

— Прикурнуть бы на немножечко!

И совсем неожиданно для себя крепко заснул.

И приснилось ему — —

— — идет он с Машей по лесу, грибы собирает свинушки. Нагнулся он за грибом, а Маша цветы рвет и все дальше и дальше от него.

— Маша, Маша!

А она уж и не слышит.

Он бегом, нагнал ее на болоте.

А из болота девка.

Высунулась по пояс из болота черная, ребрастая да Машу к себе и тянет —

Толкнул он девку, высвободил Машу, да скорей с ней на берег.

Высоко забрались — не достать никак.

А та черная ребрастая не пронялась да и ну швырять камни — и полетели камни, да все мимо, все мимо. Он ей в отдачу и тоже мимо — не попадает.

И устал, присел на бережку, и девка угомонилась.

А тишина такая, все зелено, чуть ветерок и дремно.

И вдруг черные длинные пальцы — черные длинные потянулись из болота да как в ногу ткнут булавкой —

Будылин вскочил с дивана.

И так горячо представилась ему Маша, так мысленно увидел он ее близко.

«Неужто это правда? Правду сказал Баланцев? Сбрить усы! Ну а привычки и неумение? Любовь научит? А фамилия? Все старое насмарку?»

Антон Петрович велел Овсевне самовар ставить, а сам присел к окну коротать часы до чаю.

* * *

Белая ночь зеленоглазая, болея, холодела над опустелым Петербургом.

Все разъехались: кто на дачу, кто за границу и остались подневольные, связанные делом, да ожидающие отпусков.

Под музыку, от которой выло на сердце, развлекались, прожигая ночные часы.

И то, что в прошлом году прошло в Берлине по части развлечений, повторялось, как новинка, в Петербурге, — поплоше и победнее Берлинского, конечно.

Вы заглядывали в Луна-парк? Помните все эти идиотские хождения по искривленным поверхностям, помните танцы диких? — Все это прошлогоднее.

На окраинах в рабочих кварталах еще не оторвавшимся от земли заводским и фабричным, а таких едва ли не весь Петербург, грезилась родная деревня: луга, поле, лес.

И тоска была по траве.

А дальше по деревням там — на полях одна мысль о погоде.

А там опять под Берлин — провинциальные театры — но еще плоше,

и ску-у-чища.

А там — Россия — дремучая, ковылевая, и темная, как гроза, как пожар —

В свете белой ночи и белых приторных электрических шаров спускались над Петербургом, над торчащими красными трубами, как бледные северные звезды, белоночные крылатые небесные вестники:

одни шли по душу,

другие с душой,

третьи — утешители.

И демоны из воздушных жилищ с севера, с юга, с востока и с запада проникали в жилища лукавой мыслью, соблазном и завистью;

темным спутником, черной встречью шныряли демоны по трактам, проспектам и людным улицам.

Антон Петрович высунулся из окна и смотрел вниз.

И все дышало в нем величием и гордостью, как в Медном Всаднике над полноводной Невой, и вместе что-то от химеры было в лице его, безобразнейшей химеры,

засматривающей с колокольни Собора на гудущий вечерний Париж.

Какой-то пробиравшийся по двору, может, и вор, заглянув наверх к Будылину, вдруг присел на корточки — —

А может, только померещилось Будылину и никакого вора не было, или просто кто по нужде зашел во двор.

Душу томило, хотелось какой-то воли — так и разорвал бы зеленоватую ткань болеющей белой ночи!

Будылин плюнул вниз — —

Овсевна подала самовар.

Крепким чаем ударило в голову.

Антон Петрович основательно засел за самовар.

И уж никого не проклинал он и никому не грозил, благодушие нашло на него, словно бы плевком своим прорвав зеленоватую ткань болеющей белой ночи, выскочил он на вольную волю.

Весь мир благословил —

И чувству его стало тесно.

И вот, никогда не певший, безгласный, запел он Лермонтовскую песню, благословляя демонский мир —

выхожу один я на дорогу:
сквозь туман кремнистый путь блестит — —

Белая ночь, сливаясь алыми зорями, переходила в утро.

Серые облака бежали — белые торопились, чтобы к восходу завладеть небом — закрыть живые небеса мертвой ватой.

* * *

В первый раз, когда Маша рассказала отцу о Задорском, Александр Николаевич очень обрадовался — ведь, он так беспокоился! — но после первых же слов ее вдруг наступила молчаливая минута.

Есть люди, которым дано чуять, слышать и отмечать тайный голос молчания, и такой человек, по дару своему может войти в судьбу и не то что повернуть, — повернуть судьбы никто не властен! — но от многого предостеречь и оградить человека.

Но я знаю, есть всегда недоверие к себе и это недоверие — сомнение и заглушает твой самый глубочайший голос, а за недоверием и сомнением всякий наплыв ме-

лочей, который и загромождает и рассеивает, так все и теряется.

Тимофеев не позабыл о этой минуте, только тайный голос у него не сказался словом и все на время как бы сравнялось.

И другие рассказы Маши о следующих свиданиях с доктором ничего уж тревожного не вызывали.

Александр Николаевич всякий раз только радовался:

нашелся-таки человек, который вернет Маше и смех ее и веселость ее прежнюю, и будет опять хорошо у них в доме.

О Задорском у них в доме говорилось много.

Маша была очарована: уверенность и крепость покорили ее.

И когда, однажды, вечером в субботу доктор Задорский появился у Тимофеевых — его пригласила Маша — Александр Николаевич и сам убедился в живости и в уме его.

И эта живость и ум покорили.

Правда, в этот первый вечер что-то и не понравилось в госте: то ли самоуверенность, или еще что, чего сразу та́к и не скажешь.

Александр Николаевич хорошо запомнил, как вошел доктор — так уверенно и так твердо! И как сам он растерялся вдруг перед этой уверенностью и чего-то неловко ему сделалось.

«Лучше бы никогда не приходил!» — мелькнуло тогда.

Но скоро все сгладилось,

В гостях был еще Баланцев.

И за чаем разговор завязался общий на злободневное и по медицине.

Больше всех говорил Задорский, а ему было что порассказать.

После чая перед вторым самоваром Александр Николаевич вышел с Баланцевым к себе в комнату.

Маша осталась в столовой с гостем.

И за вторым самоваром сидели долго.

И опять больше всех говорил доктор: начитанный, да и много чего видел, да и круг знакомых самый разнообразный.

Поздно разошлись в этот первый вечер.

* * *

Маша была необыкновенно оживлена.

А ведь это только и радовало отца.

О том, как при первом взгляде на гостя он растерялся, об этой роби своей даже не намекнул он Маше, а вместе с Машей хвалил Задорского и за ум и за его внешность.

— Из него выйдет большая знаменитость. И знаешь, Маша, во лбу его есть что-то роковое. Он мне напомнил давнишнего приятели моего, революционера, а тот подлинно уж роковой человек. И что-то в походке у них есть общее. И так же ступает крепко.

И хотел представить Маше.

Но ничего не вышло, да и немыслимо было: походка Тимофеева, оробелого человека, мелкая, шмыгающая никак не передавала ни крепости, ни уверенности.

Увлеченный воспоминанием о приятеле — роковом человеке, стал он рассказывать всякие подробности о его приключениях.

Маша сначала слушала внимательно.

И вдруг показалось Александру Николаевичу, не слушает она его, а чего-то крепко задумалась.

«И не мудрено, — так объяснил он себе, — поздно, спать пора!»

* * *

На следующий день разговор только и был, что о Задорском.

Но особенного ничего не было сказано, что бы запало в душу, что потом бы вспоминалось.

Одно можно было сказать: Задорский вошел в их жизнь.

Кроме Баланцева, не пропускавшего ни одной субботы, скоро Задорский стал самым частым и первым гостем у Тимофеевых.

Александру Николаевичу смутно стала приходить мысль, только очень еще смутно, беспокойная и навязчивая, для которой еще не нашлось у него слова, когда он заметил необыкновенное волнение Маши всякий раз перед приходом доктора.

Ожидания ее стали прямо ужасны: она не находила себе места от нетерпения.

А Задорский всегда опаздывал; назначенный час проходил. И просто страшно становилось за нее: сердце не выдержит.

— А вдруг, да не придет?

Но об этом даже и подумать страшно было.

И раз случилось: ждали и все сроки прошли и не дождались.

Какая это была ночь — во всю ночь не заснула Маша.

Но зато какая радость вспыхивала на лице ее и как загорались глаза, когда после всех ожиданий и тревоги наконец-то появлялся Задорский.

И такой же радостью она горела вся, пока он был у них.

А уходил он обыкновенно после долгого разговора в прихожей.

И однажды проводы так затянулись, а все казалось, чего-то еще не договорено, — любовь ведь, как бездонный колодезь, не исчерпаешь! — Маша пошла провожать на лестницу и до самой двери — «до ворот» — провожала.

Глядя на ее оживленность, видя радость ее, горящую в лице и глазах, во всех движениях ее, Александр Николаевич и сам смеялся, как смеялись Маша и Задорский, и в проводах, которые стали называться ритуалом, в бесконечном ритуале сам принимал участие, нарочно для Маши задерживая всякими пустяками уже одетого гостя.

И эта радость ее заглушала всякое беспокойство.

* * *

Задорский понемногу вошел в их жизнь, и уж казалось, век были знакомы.

Все заветные и просто дорогие семейные воспоминания были не раз пересказаны доктору, да и он рассказал о себе, о детстве, об ученьи и какие были удачи в жизни и неудачи.

Маша наряжалась в самые лучшие свои кофточки, подбирая что ей больше шло.

Да ей все шло — ведь молодость и любовь озолотят и самые жалкие лохмотья!

И стол приберет, все сама, — а раньше-то, бывало, и не посмотрит! — и всегда чего-нибудь к чаю достанет особенного, сластей каких-нибудь, очень вкусных.

Задорский от всего откажется: совсем он ничего не ел такого.

Но все это для него, весь стол, — ведь щедрее любви ничего нет!

И, бывало, узнает Маша что-нибудь очень интересное и, видно, как бережет, таит, чтобы ему первому рассказать.

Любовь! Красна ты, и светла, — красна, весь мир красишь!

И что́ бы ни случилось, что́ бы ни встретилось, для того, кто любит, нет безразличного — все для него и везде он.

Не узнать Маши, точно преобразилась.

И вся ее беда канула: не вспоминала она больше свой проклятый замужний год, — был он или не было!

Любовь! Красна ты и светла, светла — зачаруешь, осветишь! И нет ни уголка пустого — и все для него и везде он.

* * *

Повелось так, что когда приезжал Задорский, Александр Николаевич только выходил к чаю — посидит немножко и опять пойдет к себе.

А Маша с гостем.

И весь вечер вместе.

Задорский избегал суббот, когда обязательно являлся Баланцев. И Маша не любила, когда кто-нибудь приходил — был третьим.

А когда никто не мешал, и она с ним, какая радость горела на ее лице — горела в глазах.

И глаза ее светились.

Войдет Александр Николаевич и ему станет весело.

И все беспокойство тогда забывается: ведь с каждым разом ожидания Задорского становились напряженнее.

Занятый с утра до вечера Задорский часто никак не мог бывать у Тимофеевых.

А Маша больше не могла не видеть его.

И когда он не мог приехать к ним, он приглашал Машу к себе на прием.

И обыкновенно до позднего часа засиживалась у него Маша.

И всегда Александр Николаевич дожидался ее, и без нее никогда не садился за самовар.

* * *

Время было возвращаться, а Маши все нет и нет. Тимофеев и чаю попил один, а все нет.

Белая ночь — что-то больное, горькое и бесповоротное белело сквозь ее зелень.

Прибрал он у себя на столе, присел так к столу, закурил — —

Тишина кругом, поздний час — — белый сквозь зелень рассвет.

И только голуби под крышей,

только голуби —

И чего-то жутко ему показалось — горкотня голубиная.

И вдруг он понял и не то, что полюбила Маша, про это он давно знает, нет, другое, что наступало с рассветом, — вышло, идет, входит в жизнь их, как судьба, упорно и бесповоротно.

И ему вспомнился тот первый вечер, когда Задорский в первый раз пришел к ним, нет, еще раньше, тот первый вечер, когда Маша вернулась с приема и рассказывала о докторе, — замолчали-то они чего-то, вот тогда и сказалось это бесповоротно, как судьба.

И грусть сжала его сердце.

Горько голуби горковали — —

А оно наступало, шло, и шаги были, как горкотня голубиная, всю душу горькой тоскою тянуло.

Места не находил он. Обошел комнаты, — все поправил.

И в первый раз, не дождавшись, лег.

Тишина была и только голуби —

горько голуби — —

Только это, только это бесповоротное, как судьба.

Тяжело наваливалось, все собой закрывая, и проворными пальцами, железными коготками заколачивало стены, потолок, дверь, окно.

И он только дышал, как под тяжкою тяжестью, в дреме.

* * *

И вдруг очнулся: Маша плачет.

Не поверил:

— Маша плачет?

И не поднялся, а всегда бы поднялся!

И опять слышит — —

— Плачет!

И горечь с ее горьким плачем впилась в его сердце.

А с плачем из рассветной алой тишины голуби горковали.

И хотелось самому плакать, только плакать и без слов просить поправить что-то, если можно!

* * *

На следующий день Тимофеев не пошел на службу.

Позвонил Задорскому:

— Несчастье, ночью у Маши был припадок: что-то с сердцем.

Задорский обещал приехать.

День был пасмурный, тихий.

Маша ходила расстроенная, заплаканная, ждала.

И оживилась, когда приехал Задорский.

И он был не как всегда, чего-то очень грустный.

И сидел недолго.

А когда уехал, осталось тяжелое такое чувство: беда ли это вспрыгнула на плечи — тяжелая?

И уж и просить напрасно?

И судьбу ничем не повернешь и ничем не умолишь?

* * *

Когда любит человек, весь свет для него мил.

Баланцев заблуждался, но нисколько не врал: Маша и вправду хорошо отзывалась о Будылине.

И это верно: это она говорила, что Будылин ни на кого не похожий.

И то верно: когда она говорила, всякое ее слово было согрето любовью, и всякий отзыв ее был полон, как цвет.

Баланцев долго ни о чем не догадывался.

Баланцев был уверен, что исключительное положение, какое занял у Тимофеевых Задорский, вызвано было особой признательностью к доктору:

Машу не узнать было!

Маша так изменилась, потому что помог ей доктор.

При чем же Будылин?

Да ни при чем, та́к, — для затеи.

Баланцев затеял развлечь своего темного друга, и достиг цели.

* * *

Антона Петровича не узнать было!

С каждым днем черный выходил он из своей черноты.

А это любовь заполняла сердце его.

Только чего же он медлит? Надо же, наконец, объясниться!

А по осени, когда полетят птицы в теплые страны, сыграют свадьбу.

И когда Антон Петрович в первый раз громко сказал себе о птицах — когда птицы полетят в теплые страны! — и о свадьбе, сам даже испугался, — так это было дико, ни с чем несообразно и просто невозможно.

Прошел день, он и еще раз сказал и еще громче — когда птицы полетят в теплые страны, сыграют свадьбу! — оробел от своих слов, но не так уж.

А понемногу привык и мысли свои настроил на всякие подробности.

* * *

В первую же субботу, окончательно уверившись, что он и есть жених самый настоящий, сговорился Будылин с Баланцевым, и женихом потащился к Тимофеевым.

Он решился. Он сбрил ничшеанские свои усы, крепко затянул шнурки у ботинок, подвязал ярко-голубой галстук и, набравшись слов из русско-немецкого разговорника, сам чувствовал, что смелеет с каждым шагом.

Задорский, случившийся в тот вечер у Тимофеевых, после спросил Машу:

— Почему у вас все какие-то ископаемые бывают?

И вправду, что-то от ископаемого было в Антоне Петровиче: ведь, чтобы изгладить всякую флуоресценцию с Будылинской физиономии, Баланцев прибег к верному средству — к тальку, но с излишком: тальк, как пепел, сыпался с рогатого лба.

Гостей встретила Маша.

Не удержавшись, сразу же она громко расхохоталась.

Да и Александр Николаевич не мог скрыть улыбки.

А Баланцев, как переступил порог, так со смеху и покатился.

Антон Петрович решил, что так полагается и, стараясь во всем подражать приятелю, сделал что-то похожее на улыбку, но такое вышло, такое смертельное, лучше бы не старался.

И это еще пуще подожгло Баланцева.

— Ну вот, вам и жених! — захлебываясь, выпалил он.

— Подождите ж, нельзя так сразу.

Антон Петрович начинал смущаться.

— Жених, жених!

Баланцев, не унимаясь, подталкивал Будылина.

Антон Петрович вдруг схватился:

куда-то пропал букет, который должен он был поднести Маше еще на пороге.

— Где цветы? Вы меня совсем спутали!

Букет оказался под шляпой у Баланцева.

Антон Петрович, не стерпев, ткнул Баланцева кулаком в живот.

— Мучитель!

Баланцев перестал смеяться.

Отряхнув букет, Антон Петрович подошел к Маше, но слова — черт знает что такое! — слова, заученные из русско-немецкого разговорника, забылись все до одного.

Молча топтался он на одном месте и шаркал, как неумелые дети.

Маша, едва сдерживаясь, смотрела.

«Как она смотрела! Как она смотрела!»

Вспоминая, говорил после Антон Петрович Баланцеву, неисповедимо уверившись, что весь вид его тогдашний, а букет особенно, произвели и без слов должное впечатление.

Оставалось найти подходящую минуту и объясниться.

А все мешало: Маша не была одна, а все на людях, правда, близких, но все-таки на людях такого делать не полагалось.

«Надо стать на колени, потом поцеловаться. Нет, это никак невозможно!»

И несколько раз, довольно внятно, всякому слышно, шептал Будылин Баланцеву, чтобы тот вышел из комнаты и увел с собой Тимофеева.

Но Баланцев точно оглох.

«А может и слава Богу, что все так не делается!»

Антону Петровичу стало страшно:

вот уйдет Баланцев, уведет Тимофеева, останется он глаз на глаз с Машей и надо будет начать объясняться — надо будет говорить...

«А вдруг скажу, да что-нибудь не так или само скажется и совсем не то!»

И так же внятно стал он теперь шептать Баланцеву, чтобы тот ни под каким предлогом не уходил и не оставлял его одного.

А Баланцев, точно назло, начинал делать всякие подходы, чтобы увести Тимофеева и оставить Антона Петровича наедине с Машей.

«Что я наделал! Что я наделал! — терзался Антон Петрович — так легкомысленно связать свою и чужую жизнь!»

Антон Петрович уж готов был просто сбежать.

Не тут-то, все делалось наоборот: Баланцев встал, за ним Тимофеев —

Антон Петрович почувствовал, что коленки у него дрожат и голос пропал.

Но в это время вошел Задорский.

Не выдержав, бросился Антон Петрович к доктору. И тряс его руку с таким неистовством, точно был доктор первым и единственным, кого он только и ждал.

А взглянув на Машу, Антон Петрович подосадовал: такая вдруг радость залила ее лицо!

«Доктор всему помешал!»

Необыкновенно весело было в тот вечер у Тимофеевых.

Не сразу догадался Баланцев, что между Задорским и Машей есть что-то.

«Доктор ухаживает за Машей!»

Так сказалась догадка.

И когда про это передал он Антону Петровичу, того точно пришибло.

— Что вы говорите? Я не допущу.

— Можете! Но этим вы ничего не поправите. А лучше всего, конечно, проверить.

— Я пропал! — глухо сказал Антон Петрович.

И сколько ни уверял Баланцев, что дело вовсе еще не потеряно, что в крайнем случае можно стреляться.

— И оружием устранить противника —

Антон Петрович, не умевший стрелять и никогда не стрелявший — ратник ополчения второго разряда — одно твердил:

— Пропал.

* * *

Неужто так-таки пропал?

А и в самом деле, вы только подумайте, ведь только любовь к Маше и уверенность в сочувствии ее перевернули Будылина:

Маша стала единственной дверью к жизни, единственным лучом в его погребную темь.

В Маше олицетворился его высший суд, перед ее глазами предстал он грязный, негодящий, флуоресцирующий, как сахарная голова, как керосин.

Вот он напряг все свои силы выбраться на дорогу и когда, казалось ему, выдирался уже из трясины на ровь, его снова безжалостно толкнули назад в трясину.

Баланцев даже испугался, — так пришибло приятеля.

И немало истратил он слов разговорить его и рассеять.

Антон Петрович в горечи дум своих пропащих вспомнил о браунинге, попавшем в его карман в тот медвежий злополучный день с краденой фарфоровой собачонкой, и видел в странной своей находке грозное предзнаменование, свою судьбу.

Смерть казалась ему единственным исходом.

И с тех пор любимой его прогулкой сделалась Невская Лавра: он бродил по старому кладбищу — и как он завидовал покойникам!

И как страшно ему было возвращаться за ограду к живым домой, — к живой жизни, которая его отвергла.

И все-таки любовь, любовное чувство, и, само собой, Баланцевские любовные разговоры взяли над всем верх.

Антон Петрович поддался.

И кончил тем, что опять обрился и решил бороться.

— Я не допущу.

День выдался знойный — Петербург дышал помойкой!

И Нева текла полноводно холодная под горячими мостами.

Любовное чувство Будылина разгорелось жарче асфальта.

И почему в самом деле не померяться ему силами?

А если ничего не выйдет, так уж и быть — судьба.

— Он не допустит!

И разве он сваленный пропащий человек?

Нет, он чувствует в себе силу всех мировых бойцов и готов хоть на льва.

Но как же ему все это устроить?

Баланцев учит: будь смелей, а главное, поменьше думай.

Не думать —

— Немыслимое дело!

Не думать он не может и робость свою никогда не победит, сколько бы ни дулся.

И в глубине взмученного сердца чувствовал Будылин, что из любовной его затеи ровно ничего не выйдет.

И разве можно переделаться?

И сама слава, которая гонит людей в огонь и ради которой может человек от всего отречься, отступала перед его брандмауеровым упором.

Нет, он ничего не может, кроме, как думать — только думать.

— Мыслитель!

И зачем он так далеко зашел в этой истории своей любовной? Сидеть бы ему тихо и смирно, как сидел столько лет, читать книги, мечтать о мудрости, философствовать.

И во всем виной проклятая его философия. Договоришься черт знает до чего! Вот и договорился.

Теперь надо действовать и назад ходу нет.

А вот возьмет он и упрется.

— Пускай, само собой.

Так и Баланцеву скажет:

— Само собой!

Пальцем не пошевелит, потому что разлюбил Машу, и не то что разлюбил, а никогда он ее и не любил, он только представлялся, философствовал.

А женится он на Нюшке, племяннице Овсевны старухи.

«Девка гладкая, нос шишечкой, а ничего не жрет!»

И Антон Петрович с жаром ухватился жениться назло на Нюшке.

Да и не на́зло, а просто та́к, «здорово живешь»: взял и женился!

А главное все побоку.

И не надо действовать.

* * *

Часы шли — знойные, помойные.

Поздно уж было перерешать.

Еще неделю назад пригласил Будылин гостей к себе на обед: Тимофеева, Машу, Баланцева и доктора Задорского.

А этот обед затеял он с единственной целью: и себя показать и испытать свои силы —

последний натиск, и все решится бесповоротно!

Может, Задорского и не следовало бы звать и было бы благоразумнее без всяких свидетелей?

Да Баланцев настоял.

И, правда, какое же соревнование и какой натиск без противника?

Но разве, по чести-то говоря, он годится на такое?

— Ничуть.

— Один смех.

Экая, ведь, глупость-то человеческая.

* * *

От волнения и растерянности Антон Петрович с утра вышел из дому и бесцельно скитался по улицам.

Он выбирал самые удушливые места на Песках за Суворовским проспектом:

в зное и духоте невыносимой растравленная душа его еще больше распластывалась.

Ботинки немилосердно жали, мозоли сверлили.

А он с остервенением крепче нажимал на больное.

Безнадежность и неуверенность переходили в отчаяние.

«Неужто сегодня свершится — Господи, пронеси!»

А сердце — взмученное сердце колотилось от счастливых и пропащих ожиданий.

* * *

Вечер наступил еще душнее дня.

— Все готово?

Баланцев, как и надо было, явился первым.

Антон Петрович сидел за своим столом, безнадежно закрыв глаза.

— Главное, смелее и ничего не думать!

Баланцев вышел на кухню.

И все там осмотрел, все кастрюли.

И вернулся довольный.

— Овсевна молодец, обед будет царский!

Но Антон Петрович ничем не отозвался: он так все и сидел неподвижно с закрытыми глазами.

— Антон Петрович, слышите, пора!

С болью раскрыл глаза несчастный.

— Мучитель, — прошептал он, и побелевшие губы его дрожали, — мучитель мой!

Баланцев вдруг и сам поддался:

зачем это он все делает, всю эту кутерьму заварил?

Или не изжил еще привычку — играть шута горохового? — в те годы-то свои обреченные, ведь, как он откалывал, чтобы только как-нибудь продержаться!

Ни слезами, ни проклятиями, это уж дело испытанное, ничего не возьмешь, — таков уж подлец человек, подлее и грубее всякой твари на земле!

Впрочем, рассуждать некогда, надо было прихорошить хозяина — размякший от жары, Будылин напоминал какой-то постоялый рассольник.

Баланцев заставил его умыться, сам пригладил ему волосы.

Но и умытое лицо Будылина флуоресцировало необыкновенно.

И в таком несмываемом виде встретил он гостей.

Не доставало только Задорского.

И когда гудел лифт, Антон Петрович срывался к двери:

— Не Задорский ли?

Маша беспокоилась не меньше.

Насилу-то дождались.

* * *

За обедом Овсевне помогала Нюшка, — расфуфыренная она была какая-то особенно зверская в белом.

Все шло неожиданно ровно и гладко, честь честью.

И только одно тревожило Баланцева: идиотская растерянность и гробовое молчание самого хозяина.

Задорский выручал своим разговором — все его и слушали.

Оттого и сап, и чавканье, и прихлёб Будылинский не так были внятны.

Ну, обед сошел благополучно.

Антон Петрович вдруг багровый весь от волнения, чуть не плача, стал просить Машу пройти с ним посмотреть его философскую комнату.

Маше и в голову не приходило, да и никак ей не догадаться, что решительная минута наступила.

В волнении Антон Петрович даже забыл закрыть за собою дверь.

Ни минуты не медля, все, как учил Баланцев, с всхлипом пал Будылин на колени и, забыв все слова, только кланялся до земли, как перед иконой, кланялся и исступленно смотрел —

Маша оторопела, не веря глазам, не понимая.

А он, всхлипывая, продолжал стучать лбом об пол.

Задорскому, случайному свидетелю необыкновенного объяснения, — он вошел в комнату из любопытства, желая посмотреть, какой такой диковинкой задумал Антон Петрович удивить Машу, — с первого взгляда показалось, что Антон Петрович чего-то уронил и шарит по полу.

А сам Антон Петрович, елозя по полу, не видел ни Маши, ни доктора и, конечно, ничего не ронял и не шарил.

И единственное слово вдруг вырвалось у него и было оно полно непомерной гордыни, признания и отчаянной жалобы:

— Я русский, сын русского, но убеждения мои и моя вера — зенитная тля!

— Антон Петрович, встаньте, что с вами?

Маша теперь поняла и ей было неловко перед Задорским.

Задорский, улыбаясь, тихонько вышел — он тоже понял.

Антон Петрович быстро поднялся и сразу же сел на диван. Заученные слова, в которых для него заключались все философские его рассуждения и обличения врагов, сказанные им вдруг, вывели его из беспамятства.

— Я согласен. Я переменю и фамилию и имя. Я больше не Антон Петрович Будылин — я Антоний Петров Быков,

Antonio Deo Sancto на Сытном рынке, гранит. Пусть будет по-вашему, но я не могу, — Антон Петрович закрыл глаза, — я не могу. Я вызван на состязание — померяться силами — и возьму верх. Я всех покорю, я отдам не только мою жизнь — добро невелико! — а и все мои таланты видимые и невидимые, словом иже делом — —

Между тем Задорский шепнул Баланцеву, Баланцев Тимофееву.

И уже втроем подошли к двери.

Антон Петрович с закрытыми глазами продолжал бормотать что-то совсем несвязное: из молитв что-то.

— Да покажите же нам ваши диковинки! — перебила Маша.

Антон Петрович открыл глаза и, никак не ожидая увидеть ни Задорского, ни Тимофеева, ни Баланцева, в ужасе вскочил с дивана.

— Что я хотел показать? фарфоровую собачонку? Но это не та, не фарфоровая. Это настоящая фарфоровая! — и стал отчаянно шарить по столу.

— Да вот она стоит! — ткнул пальцем Баланцев.

— Я ее украл в писчебумажном магазине Деллен! — неожиданно для себя крикнул Антон Петрович и сразу присмирел, как напроказившая собачонка.

Всем стало неловко.

Рассматривали и трогали собачонку.

— Цена ей двугривенный, не стоило марать рук! — сказал Баланцев.

И вдруг Антон Петрович заплакал.

— Антон Петрович, не хорошо так убиваться, эка беда! — уговаривал Тимофеев.

А он положил голову на стол и, мотая головой, плакал.

— Антон Петрович, перестаньте! — дергал за руку Баланцев.

Ничего не помогало.

И только когда Нюшка подала самовар, самоварная упоительная мурмольня подняла Антона Петровича.

* * *

Помятый, исслюненный пошел он за гостями в столовую.

А Маша была такая веселая, так ей было весело — —

— Вы хоть бы чаю выпили, Антон Петрович!

Тимофеев пододвинул горячий стакан: жалко ему стало Будылина.

— Ничего мне не надо, ни чаю, ни сахару, я знаете, Александр Николаевич, вроде как посторонний совсем на этом свете.

А чай шибанул ему в нос, и он робко потянулся за ложечкой:

— Я, как перед Богом вам, Александр Николаевич, больно отказаться от мечты всей жизни. Как я ее добивался!

— Никто вас не осудит, Антон Петрович. Если бы это драгоценность какая —

— Я совсем не про то, я — я мечтал — я устранен —

— Да бросьте вы вашу эту дурацкую фарфоровую собачонку! Эка беда, ну скажут, по нечаянности, обознался!

Баланцев хозяйничал, как у себя дома.

Все шло, как нельзя лучше.

Антон Петрович сиротливо пил чай.

После чаю гости поднялись идти домой.

Антон Петрович не удерживал.

Да на него и не обращали внимания.

Он надел было шляпу, чтобы хоть до ворот пройти, и вдруг в дверях увидел Нюшку.

И зверский красный ее рот остановил его.

И он остался — никуда не пошел.

«Ну, и хорошо, — не вышло, так не вышло. Так тому и быть, судьба», — облегченно подумал он.

«Не судьба, а Баланцев!» — точно кто-то пискнул ему в ухо.

И немилосердно зажглась на ноге мозоль.

* * *

Вечером Антон Петрович не взял даже счета с Овсевны.

А старуха не раз приступала!

Старуха успокоилась разговором с Нюшкой: дело ее со страховкой улаживалось благоприятно.

А последний самовар ночной умирил и самого Антона Петровича.

И лег он совсем примиренный.

И только где-то в самой глуби несуразного существа его, как червячок точил и мышью пел нехорошее.

И приснилось ему — —

— — подымается он будто на лифте — —

Бог знает, на какую высоту он поднялся, — этажей не считал.

А подымался не один, а с доктором Задорским. И оба подымались они — к Маше.

Вот, наконец, и дверь ее.

Около дверей ящик.

И надо из лифта прыгнуть в этот ящик, и тогда уже отворить дверь.

Задорский так и сделал: прыгнул в ящик и, должно быть, очень крепко рванул дверь —

Ящик отвалился и повис на ощерившихся гвоздях.

Антон Петрович ухватился за край — —

Если влезть ему в ящик и начать приколачивать гвозди, ящик никак не выдержит — сорвется.

И он отдернул руки —

А перед ним страшная пропасть и уж ему ничего не остается — назад все равно не вернуться.

И он полетел вниз.

Высоко над землей он летел — —

Не на крыльях и не на аэроплане, а в самом обыкновенном вагоне третьего класса.

Вагон битком набит: сидят и стоят и так примостившись висят на ремнях под крышей.

А чтобы пройти в другой вагон, надо высунуться из окна и на руках тянуться в окно соседнего вагона: вагоны летят друг к другу под углом.

И слышит он: Маша зовет!

Маша зовет:

— Она пришла бы в их вагон, да боится.

И вдруг видит: Задорский высунулся из окна, ухватился за окно другого вагона и повис — —

— Селедки голландские! Селед-ки!

* * *

Антон Петрович открыл глаза.

— — селед-ки!

Раннее петербургское утро.

И это утро — белый свет — как гарь:

не смотрел бы!

не просыпаться бы никогда!

И чувство, какое охватило его, отчаянное, напоминало ему далекое, совсем было забытое из его деревенского шалопайного года.

Помнит, пришла в дом такая, как Нюшка, гладкая, со зверским лицом, пришла помогать в уборке. И задумал он ночью прогуляться к ней. И вот, когда все заснули, прокрался в коридорчик, где спала она, разбудил ее. И победив свою робость — он всегда был робок, должно быть от книг и от спутанных мыслей — полез к ней. И это нисколько не удивило ее. А его от неожиданности, что ли, сразило.

И он должен был вернуться к себе под упреки, что потревожил, и, конечно, с насмешкой.

А когда поутру проснулся и было вот точно такое же утро — такое же чувство — белый свет, как гарь.

— Да лучше б провалиться сквозь землю!

* * *

Будылин, думая о Задорском и Маше, представлял себе жизнь их одним завидным счастьем, какое выпало на их долю, может быть, единственным в мире.

То, чего он добивался с такими жертвами — была, ведь оставлена философия, книги, наконец, сбриты усы! — и ничего не добился, им досталось совсем легко — судьбой.

И что ни говори, а было-таки на свете счастье, которого он никак не мог принять.

И теперь, философствуя, он старался найти всякие нарушения этого счастья, потому что, ведь, всякое счастье нарушало его философию.

Он успокоился на том, что Маша рано или поздно изменит, так все и кончится.

И хотя оснований думать так никаких у него не было, за наступающую измену он ухватился, и приурочивал к одному прекрасному дню, когда случайно — по судьбе опять же!

— они столкнутся, и Маша бросится к нему на шею.

* * *

Баланцев, по-прежнему бывая по субботам у Тимофеевых, не мог не заметить перемену.

А Задорского он больше не встречал.

Говорили же о нем всегда.

И разговор, как заметил Баланцев, был очень напряженный: Тимофеев, говоря, словно взвешивал всякое слово, а Маша с необыкновенным волнением.

А однажды Баланцев пришел не в положенный свой день, не в субботу, и застал у Тимофеевых Задорского.

И все было, как раньше: оживление Маши, особенная внимательность к ней Задорского.

Все это ясно говорило о их счастье.

И желая людям только счастья и, не веря ни в какое счастье, Баланцев, обожавший Машу, с тревогой думал о новых ее разочарованиях и неизбежных.

* * *

Тимофеев не мог не видеть, какие были отношения у Маши с Задорским, но об этом ни слова не было сказано.

И о той ночи Маша не обмолвилась: почему тогда плакала и отчего как раз с той ночи пошел разлад?

Задорский приезжал к ним куда реже.

И чаще стало повторяться: ждут и ждут, а его нет.

И в эти часы волнение Маши доходило до исступления.

А приезжал Задорский и все казалось по-старому, как тогда, до той ночи.

А на другой день опять не узнать было Машу: озабоченность, тревога, тяжелое молчание.

Что-то такое совершилось, чего не знал Тимофеев. Одно знал он: то, что стало, не сулило никакого счастья.

Кто же виновен?

Кого винить? — Машу?

Задорского? Нет, тут было что-то помимо их — выше их.

И оно действовало наперекор их воле, — оно разлучило.

* * *

Задорский, за суетой своих дел, назначал день и совсем неумышленно не являлся к ним.

А Маша, желая высказать ему все свои подозрения — она стала думать, что он не любит ее! — не договаривала всего из-за какого-то гордого своего стеснения.

И все шло прахом.

Стало быть, никто не виновен?

Судьба? — судьба, перед которой сами небеса послушны.

* * *

Маша полюбила Задорского просто —

— потому, что он милее всех.

И эта любовь ее — суженая любовь.

Да, он и умный, это она сразу увидела, но мало ли умных! Не очень много, пожалуй, даже совсем немного, но все-таки есть, и не им одним свет сошелся.

И разве Пылинин, муж ее, глупый что ли?

Нет, конечно, и не будь ума, никогда бы не вышел Пылинин с своим искусством легкой, бездумной, лживой жизни.

Любовь Маши была суженой: она полюбила —

— потому что не могла не полюбить.

А Задорский?

У него что?

Задорский, по природе своей незлобивый добрый человек без всяких заковырок, ко всякому доброжелательный. Пациенты с первого же знакомства привязывались к нему и все ему доверяли.

Но сам никому, ни единому человеку не верил, и о себе, о своем, никому ни полслова.

Его научила жизнь, что в сущности никому нет дела до другого, и при случае, та́к здорово живешь, и самую твою чистейшую откровенность, твое сокровеннейшее зачернят и засмеют — та́к, здорово живешь.

А никому не доверяя, он умел хранить чужую тайну.

Маша была уверена в нем.

И только с Машей он был не как с другими.

Ей единственной он говорил о себе правду — не все, всего страшно, но мог бы и все сказать.

Ласковый к людям, к Маше он был необыкновенно ласков.

А полюбил он ее также по судьбе:

— не мог не полюбить.

И любовь к ней пришла с первой встречи.

Когда в первый раз ушла от него Маша, он, закончив прием, лег спать и вдруг спохватился:

«Что такое случилось? — спросил он себя, — что было такого необыкновенного в этот вечер?»

И ответил:

«Была новая пациентка».

С первого взгляда она тронула его сердце —

и душа его всколыбнулась.

И с тех пор он стал о ней думать, ждал ее.

Едет ли в трамвае, вспомнит и мысленно обнимет ее. Или среди ночи проснется, а она вся в его мыслях и опять он словно подойдет к ней —

Только с ней впервые он почувствовал в себе волю, а никогда ни с кем он не чувствовал в себе этой воли — с другими он был просто наемник.

И когда Маша в отчаянии скажет ему:

— Зачем это я пошла тогда к вам!

— Это все равно бы случилось, где и когда, но мы встретились бы непременно.

Так он ответит ей — по всей правде от всего сердца.

* * *

Или это верно и истинная правда: отношение мужчины к женщине по своему существу оскорбительно для женщины — за обладанием неминуемо следует охлаждение.

Вот это-то и оскорбило Машу.

И вызвало те слезы ее, как плакала она, вернувшись домой в ту белую ночь.

И хотя на следующий день он был к ней ласков, как и раньше, она никак не могла забыть —

какая наступила в нем резкая перемена, какая холодность и суровость, он тогда ее даже не проводил!

— а ведь она мечтала и ждала совсем другого.

Или это так всегда?

Ей и хотелось ему сказать об этом.

И не могла.

И когда потом она приехала к нему с единственной целью спросить об этом, он почувствовал это, села на скамеечку у ее ног и только глядел на нее, не давал произнести ей слова.

— Не надо! не надо!

Останавливал ее, боясь, что вот она скажет.

Потом поднялся и тихо попросил ехать домой.

Его испугали слезы ее той ночи, и он не хотел повторения.

А Маша ни за что не хотела расставаться с ним.

— Вы совсем ребенок, вы ничего не понимаете! — с горечью он прощался с нею.

Он понял: не надо было той ночи. А чувствовал:

— та ночь была неизбежна.

И лучше бы было: всегда только глядеть в глаза, моля о любви —

А этого он не мог всегда.

Всякое же повторение той ночи вызовет у ней эти слезы, — он чуял.

Вот это-то и отстранило его от Маши.

А отстраняясь, и совсем незаметно под всякими деловыми предлогами, он вызывал в ней всякие подозрения и ревность.

И при встречах, теперь редких — совсем редких! — Маша начинала говорить с ним от своей боли резко.

У Маши не было середины: или так или уж этак — без всяких.

И когда Маша твердо по-своему заявляла о чем-нибудь: «никогда», так и бывало, так уж и знай:

— никогда!

И это «никогда», как гвозди вбивала она, заколачивая —

— навсегда.

Такая бесповоротность ее решений нередко самой же ей первой причиняла горчайшую боль: решив что-нибудь навсегда и выполнив решение свое, она вдруг спохватывалась, — но было уже поздно.

И сколько надо было сил, чтобы поправить, и не всегда удавалось.

Задорский же, по природе незлобивый и совсем не резкий, с болью принимал всякое резкое слово —

его ранила та страстность, с какой звучало у нее в тяжкие минуты и самое простое слово.

А слова ее и резкие и бесповоротные — ее «никогда» и ее «навсегда» — были, как гвозди.

И после таких объяснений Маша всякий раз предлагала ему больше с ней никогда не видеться.

Маша думала: он ее разлюбил.

Нет, он ее никогда не разлюбит и нельзя ему разлюбить ее.

И найдя исход себе — свое дело, в которое ушел с головой — он в неделовые часы свои чувствовал тягчайшую пустоту, от которой не было ему никакого спасения.

И с болью вспоминалась Маша.

А Маша одна со своей болью и безответным вопросом:

— почему все так вышло и наперекор их воле они разлучены?

А как бы хорошо они жили!

И зачем это все так вышло?

Полюбили друг друга и разошлись:

она со своей мукой неутолимой — он с любовью неутоленной,

она с проклятиями злой судьбе и исступленным зовом и слезами — он с безнадежностью и грустью.

Или затем и произошло все, чтобы по суду судьбы покарать их?

Или затем, чтобы через всю горечь разлученных дней, наградить их?

Оттруждали ли они какую-то старую свою вину и через крестный терн принимали благодать?

* * *

— — но в этой жизни ужасной равно тяжки и кара и милость, награда Твоя!

И лучше человеку совсем сгинуть, забытым Тобой, без всякой благодати —

— всегда терпеть и страждать —

— горькая чаша переполнилась!

# СО КРЕСТА

## 1.

Телеграмма никому — на инспекцию Страховой Конторы:

дочь очень плоха помогите поддержите доложите правлению тимофеев.

Все читали телеграмму: все инспектора и их помощники, — Антон Петрович и Комаров и Блюмменберг.

И всякий как-то очень поспешно отходил от столика, на котором лежала телеграмма развернутая и уже помятая, несвежая. Каждый вдруг почему-то спешил к своему столу и уж больно нетерпеливо и чересчур сосредоточенно принимался за дела, будто и в самом деле во всех этих страховых счетах и бланках заключалось что-то удивительно завлекательное, ну, как газетная статья, за которую газету прихлопнули, — а статья такая невской страховой инспекции, как сахар собаке.

Да, каждый так и уткнулся в свое дело — в страховые счета, бланки, письма, бухгалтерию.

А телеграмма оставалась лежать на столике.

И Баланцев не без досады и также нетерпеливо взялся за бумаги — за счета и бланки:

телеграмма его возмущала.

А и в самом деле ведь, всякий из них все, что мог, все для Тимофеева сделали, и вот опять — —

* * *

Невская страховая инспекция была выше всяких упреков.

Кого угодно возьмите, до Блюмменберга, все были на высоте и долга и чести, да и в душевности никому не откажешь.

Страховое общество людьми вообще отличалось, как в московском, так и в петербургском отделении.

Народ подбирался не какой-нибудь: редко кто в свое время в тюрьме не сиживал, а кто и в ссылке пожил, да и на всяких политических банкетах принимали участие и толклись в девятьсот пятом году на митингах, да и после, если что надобилось, подписать протест какой, ну, против «кровавого навета» что ли, подпишут, долгом почтут не отказаться.

Сообща выписывали журналы и всякую статью добросовестно прочитывали, да и по беллетристике новинки не обходили, о которых шумела столичная критика, абонировались на концерты, ходили в театр, предпочитая премьеры, где можно было посмотреть весь знаменитый Петербург.

Нечего и говорить о грешках там каких в делах служебных, — такого ни за кем не водилось. Да и подумать грешно, чтобы завелось когда.

И в черствости тоже не обвинишь: все, что можно сделать, все сделают, из петли тебя вытащут.

Взять хоть того же Баланцева, ведь, он уж было на все рукой махнул, а вот, видите, вытянул же его Антон Петрович на свет Божий.

Да и Тимофеева —

С Тимофеевым обошлись по-товарищески и про это всем известно:

Тимофеев служил у черта на куличках, выхлопотали ему место в Петербурге и с большим повышением, — у Бойцова на заводе сколько лет сидел он и не в помощниках, а в каких-то подпомощниках бухгалтера, а тут занял сразу место бухгалтера.

Тимофеев не может пожаловаться.

И все теперешние его жалобы и эта телеграмма — —

— Ну нельзя же так распускаться, малодушествовать, надо же себя в руки взять!

— И разве у каждого нет своего такого, отчего бы кричать только и остается, да не кричим же!

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Телеграмма преследовала Баланцева.

Шли всякие дела по службе, а эта телеграмма и совсем неделовая из головы не выходила.

Нет-нет, отрываясь от дела, подымал Баланцев глаза и смотрел на столик, —

на столике лежала телеграмма, развернутая, помятая и такая недельная.

— Ну, что такое «доложите правлению»?

— И как же так можно писать, разве на смех?

— И что скажешь в защиту?

— Ссылаться на домашние обстоятельства, на дочь — «дочь очень плоха!» — смешно.

— Ведь ему же дан был отпуск, срок кончился; попросил еще, продлили, — и вот уже все сроки пропущены.

— Да, по-видимому, он и вовсе не собирался являться на службу!

— Как же это так?

— Так поступать!

— Страховое общество не благотворительное учреждение, не богадельня, и таких держать не станут.

— Возможно, что постановление уже состоялось.

— Как же докладывать?

— Нельзя же и инспекцию в дураки ставить!

Баланцев послал Константина за справкой:

— нет ли чего о Тимофееве?

Ранний морозный вечер ало пушил на воле грустными густыми дымами.

За Гостиным солнце закатывалось —

Голубой трамвайный огонек днем, как искорка, а теперь ярко-голубой, резко разрывался.

Зажгли зеленые и голубые лампы.

Баланцев не вытерпел, взял со столика телеграмму, бережно сложил ее и спрятал себе в карман —

Скоро уж домой.

А вот и справка.

Константин, вытаращенный весь, по-фронтовому подал Баланцеву выписку:

правление не признало возможным удовлетворить ходатайство о продлении отпуска без жалования и постановило считать уволенным со службы.

— Господа, — поднялся Баланцев, — Тимофеева уволили.

Никто ничего не ответил.

Скоро уж домой —

на душе обед, тепло домашнее и слава Богу.

## 2.

Алый морозный вечер посинел.

Грустные белые дымы сгущались в ночь.

Морозило.

Мороз не дремал: не оставил он ни проволоки, ни гвоздика, ни одного карнизного выступа, все верхи и верхушки запушил хрупкими пушинками, сам воздух закалил летучей лютью и основательно уселся на городовом, — на его усах и белой палочке, на автомобилях и на извозчиках —

Или все прохожие носа не показывали, а сидели по домам, в поморозье у керосиновых печек?

или и не сидели нигде, а в скороходов обернулись?

подгонял, лютью подстегивал мороз, уж не шли, а бежали по Невскому и кто как — наперегонки.

Забежал Баланцев к Филиппову баранков к чаю купить, вдохнул в себя теплый хлебный дух. И с теплыми баранками скорее назад в лють рысцой мимо Аничковых коней, мимо Екатерины до Публичной Библиотеки, там на Садовой вскочил в трамвай и покатил домой на Монетную.

А мороз за ним — —

* * *

Мороз и там давал себя знать.

Неповоротливо от шуб и муфт, а теплее нисколько не становилось.

Стекла нарезаны были цветами — густые хвощи да елочки с крестиками стыли белые и вдруг загорались жемчугом:

то как в венчальном венце алым —

то как на темных иконах восковым — в тоскàх.

Или на эти-то волшебные цветы и загляделась —

Баланцев стоял, за ремень держался, а как опросталось место, присел и сразу увидел:

против него с бабушкой сидела девочка.

Бабушка в стеганой кофте ноздрятая, Бог ее знает?

А у внучки — руки длинные, красные, гусиные без варежек, а пальтецо, ветром подбитое, синее, и черная плюшевая ушанка, а из-под ленточек две прядки и такие, напоказ всему лютому морозу.

Бабушка нет-нет да и запахнет ей пальтецо, чтобы не простудилась:

— несмышленная, сама-то не понимает!

Бабушка сидит на кончике бочком, Бог ее знает.

А внучка прямо и свободно и все-то глазеет —

Да, конечно, волшебные хвощи и белые елочки, это они, живые, волшебные, тянут к себе.

От уличных огней глаза ее загорались в лад морозным цветам.

И вдруг она сладко зевнула всем ротиком —

зябко ей —

— Бабушка, а бабушка!

— Скоро, скоро, Машутка.

Бабушка плотней запахнула ее узенькое пальтецо, ветром подбитое, синее.

Баланцев смотрел на цветы, на Машутку и вдруг ему вспомнилось.

Вспомнил он —

это тогда, как без должности-то ходил он по Петербургу, у него тоже своя такая росла Машутка, только не с ним, а далеко где-то с матерью —

вот идет он, бывало, мимо магазинов, и хочется ему купить ей чего-нибудь, а у самого только-только что на Казбек и хватит, такие папиросы самая дрянь,

а как ему хотелось тогда ну что-нибудь — — ведь если любишь, хочется тому что-нибудь сделать, если любишь —

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Баланцев так и съежился, будто его и на свете не было, а в трамвае так башлык один в калошах.

Рядом с Машуткой соседка ее: в светло-зеленом узком пальто, уж таком обтянутом, узком и легком, словно бы под ним и рубашки-то нет, а прямо на тело надето, шея открытая совсем не по сезону и паутинки-чулки и туфельки на высоких кривых каблуках.

И не дрогнет.

Или окостенела?

Синие большущие глаза не взморгнут, так и уставились так —

как два луча.

И когда морозные цветы, белые хвощи и елочки загорались алым жемчугом, — то алым, то восковым, как чистая свеча, — лицо ее стыло —

жемчужина на темных иконах в тоскàх.

Сидела она как-то одна, отдельно.

Сосед ее мастеровой к соседу к мастеровому жался.

Машутка к бабушке.

— Кто калошу потерял? — выкрикнул кондуктор.

Стали осматриваться — за теснотой путали ноги с соседскими.

Машутка развеселилась и зевать перестала.

А та — так и осталась, не шевельнулась. И глаз не опустила — не посмотрела на свои туфельки.

— Кто калошу потерял? — выкрикивал кондуктор.

И смешным эта калоша показалась.

Пересмеивались —

Скоро уж домой —

на душе был обед, тепло домашнее и слава Богу.

Баланцев пропустил остановку, — до Большого проспекта махнул.

Он все смотрел на эту Машуткину соседку.

Или уж замерзшая ехала она — мертвую вез ее трамвай?

Или в беде какой — и морозу не взять! — забедованная?

И горело ее лицо:

то алым,

то восковым чистейшей свечи жемчугом, как у темных икон в тоскàх.

«Дочь очень плоха, помогите, поддержите, доложите правлению».

Баланцев спрыгнул прямо на мороз.

У! как колола костистая лють, больно кусала.

Он бежал по Каменноостровскому.

И левая нога его была как скована — налегке — без калоши.

3.

На столе дожидалось письмо.

Что говорить, за последние недели это всякий день!

И по почерку Баланцев сразу узнал: Тимофеев забрасывал его письмами.

И опять взяла досада.

Еще первые письма писал Тимофеев чернилами, а теперь пошли карандашом.

Тимофеев просил Баланцева приехать.

Все свои надежды Тимофеев возлагал на Баланцева — Баланцев единственный человек, который может что-то поправить.

* * *

«пишу к вам, как к душевному и сердечному человеку, чуткому к чужому горю. Поддержите, помогите, не дайте затянуться мертвой петле. Помогите! Умоляю, не оттолкните, не пройдите мимо. Помогите! Вызволите от муки смертной, приезжайте, увезите нас! Приезжайте. Душа умирает».

И все в таком вот — вопль и жалоба — мольба придавленного человека непоправимой бедой.

Ну, что же это?

И как это назвать?

— Она сплошная несообразность.

Как же может Баланцев ехать?

Поехать, значит, бросить службу: —

— отпуска ему ни за что не дадут!

И что он может сделать, чем помочь?

В инспекции он самый последний, самый незаметный.

И как можно так терять голову, вообразить, что Баланцев может что-то сделать!

Ну, он поговорит еще, пожалуй, с Будылиным.

Впрочем, чего ж! пробовал ведь он, и ровно ничего из его разговора не вышло

— потому что зря.

И это всякий понимает.

Всякому разговоры его становятся просто в тягость.

— Да, он ровно ничего не может.

И денег послать не может — — а именно деньги-то и надобны.

Без должности да в беде бедовой попробуй повернись-ка, попробуй — —

Баланцев по себе это очень хорошо знает.

Баланцев сам еще недавно на себе все это вынес. Баланцев может представить — и представить и почувствовать свободу — «освобожденного от занятий!»

Вот почему к нему, к Баланцеву, и писал Тимофеев.

Надо же, в самом деле — —

Или ничего не надо?

Никогда не надо?

За себя —

А за другого, если любишь — —

В письмах поминалась Маша, в каком она опять горе, но в чем дело — в чем ее теперешнее горе, ничего не говорилось.

Но это все равно, беда пришла —

Оттуда она приходит и ничего не боится, ни морозу, ни — —

Или и на нее можно?

Баланцев словно голову потерял.

Или, как сказалось у Тимофеева:

«Баланцев просто плюнул в раскрытое сердце».

Баланцев совсем забыл, или затмение такое нашло, не попомнил, что человек разрывается и в беспомощности душа у него умирает,

и стал читать пошлейшую пропись и прежде всего, как полагается, посоветовал не возиться со своим горем, а вспомнить, сколько горя на свете, и всем плохо, и все мучаются, —

как будто от чужих мук легче бывает!

И это тыканье чужой бедой, как это не похоже на Баланцева!

Ведь, он сам был в беде, и самому же ему в утешение тыкали эту всесветную чужую беду, сколько раз, и спокойно отходили прочь.

А за чужой бедой следовало само собой прописное:

«взять себя в руки»!

И, наконец, упрек:

зачем было рассчитывать на других и верить людям?

И этот упрек человеку, когда его хлопнуло, — это уж не только плюнуть в раскрытое сердце,

а еще и размазать.

Поистине, Баланцев как одеревенел.

— человек человеку бревно!

И деревяшка водила пером по бумаге, выплевывая и размазывая —

— человек человеку подлец!

* * *

Баланцев запечатал письмо и ясно вспомнил Машу, какой видел он ее в последний раз, когда отец решил увезти ее из Петербурга:

Маша безучастно, как застывшая, с закатившимися глазами, а рядом притихнувший Тимофеев, совсем растерявшийся, на все готовый, лишь бы как-нибудь помочь дочери, и не знавший, как помочь, беспомощный —

«Помогите, поддержите, доложите правлению!»

И опять как сверло засверлило.

А, может, Тимофеев и прав?

И если бы Баланцев поехал, и вышло бы что-нибудь путное, не в денежных делах, а для души.

Ведь, если так просит, значит, дошел человек —

— И это неправда, ты можешь, ты можешь! — сверлом засверлило.

Нет, Баланцев никак не мог.

Баланцев не может поехать.

И ничего не может сделать:

— правление уволило, — ничего не поделаешь!

Или уж каждому в ячейке своей сидеть приходится, в крайней своей хате, чтобы самому-то удержаться, хоть как-нибудь.

— Да зачем удержаться-то?

Тимофеев получит постановление. Сразу-то он даже с радостью схватился за это: уволили! —

шею подставить, —
ну!

Когда пришла беда и бьет, каждый новый удар принимается с каким-то запоем:
ну, бей, бей, ну, еще —
и добей, подлец — или как? —
благодетель или просто никак, меня, подлеца!

Растравит он свою рану, — ничего, хорошо!

А на мелочах и спохватится и увидит пропасть: над пропастью которой стоит —

и не один —

и никакой надежды.

А Маше все равно: у нее беда, обида ее суженая все заполнила, всю душу, все существо и пугать и грозить ей нечем.

* * *

Баланцев все представил себе и точно самого его прихлопнули.

И вот деваться ему некуда, а на него валит и хлещет —

Но что он может сделать?

В тишине за самоваром сидит он, перед ним баранки свежие с маком. Лампадка горит. И вот книги, немного их, зато любимые. И тепло в его комнате.

А вот все бы взять, да и бросить и ехать — и тогда на сердце затеплится ярче лампадки и в душе раскроется свиток любимее всяких книг.

Нет, он ничего не бросит —

И жалко ему, и совестно, что счастливый он такой!

Нет, никуда не поедет —

Все равно ничего не выйдет.

И ему жалко и совестно — —

## 4.

Успокоенный жалостью, Баланцев заснул.

И приснилось ему —

Есть старинный апокриф о смерти Авраама, — этот апокриф когда-то читал Баланцев, а теперь ему приснилось.

Приснился ему Авраам —

он увидел Авраама в ту минуту, когда архангел Михаил вернул Авраама после небесного хождения по мукам опять на землю:

потому что пришел последний срок, и смерть должна была взять душу Авраама.

И стала смерть перед лицом Авраама.

И совсем не похожа на ту ощеренную и злую курносую, какой приходит она на землю к простым смертным, нет, она была красоты необычайной —

Авраам ведь друг Божий!

Но и красотой не могла смерть обмануть Авраама.

Авраам не назвал смерть именем смертным, а только почуял недоброе в своей необычайной гостье.

И душа его содрогнулась.

В страхе смотрел Авраам на красоту ее —

не мира сего.

А в ту минуту, как появилась смерть перед Авраамом в необычайной красоте своей — и такого в апокрифе нет, а снится Баланцеву, — призвал Бог души всех людей, которым Авраам за долгий свой век сделал добро, и тех, кому сделал Авраам зло.

И видит Баланцев, как затолпились люди, осененные светом — добром Авраама, и их было без числа, и каждый из них становился за спиной Авраама — против смерти.

И смерть стала еще прекраснее от этого света.

— Молю тебя, скажи мне, кто ты? — спросил Авраам.

И в эту минуту увидел Баланцев, как с противоположной стороны, как шарик, оторвавшийся от горизонта, катилась прямо на Авраама черная тень; и рос этот черный шарик и свет от него густой темный был, так темен и так ядовит — всякий свет померкал.

А вот из черной тени выступило лицо человеческое — это был единственный человек, обиженный другом Божьим, единственный обойденный на земле Авраамом — и у друга Божия нашелся такой! — и вот явился на судный зов.

Он стал за спиной смерти.

И тень от него упала на смерть.

И изменила лицо ее из красоты в плач.

И человек этот рос, покрывая тенью всю землю — — и смерть и Авраама.

Это был великан — единственный обойденный на обойденной земле в мире гроз и бурь, тревоги и неутоленности.

«Помогите, поддержите, доложите правлению!»

## 5.

Тимофеев хотел устроить жизнь свою так,

— чтобы было все ровно и гладко.

Сначала-то думалось ему, что у всех идет жизнь и ровно и гладко, и только у него не по-людски:

и отец, и мать, и все, кто их окружает, необыкновенно счастливые люди.

Так всегда думается, будто другому легче, а этот другой на тебя косится с завистью: вот, мол, какой счастливец.

Ну, а по правде-то, разве кому легко?

И раз навсегда можно было бы отрешиться от мысли сделать свою жизнь и жизнь других на земле ровной и гладкой.

— Сама земля не легка.

Но мало ли, что нужно!

Тимофеев хотел устроить жизнь свою так,

— чтобы было все ровно и гладко.

То же самое хотел и отец и дед его, и деда его дед — до Адама, все Тимофеевы.

И ему казалось, что это совсем легко достижимо,

— стоит лишь устранить кое-что чисто внешнее, что постоянно мешало и отцу его и деду и деда его деду — до Адама, всем Тимофеевым.

И такое решение его устроить жизнь свою тимофеевскую по-своему пришло к нему на распутье его лет.

* * *

Отец Тимофеева фабрикант — известный человек в деловых кругах. Средства у Тимофеевых были очень большие.

Но жизнь отца, и это уж скоро стало заметно, шла далеко не так, как хотелось старику. С каждым годом

отец становился беспокойнее: выгода от дела явственно возрастала, но с ростом выгоды убывал покой.

И чем дальше, тем чаще повторялся один беспокойный припев, что нет надежных людей и некому поверить:

— в пустяках обманут!

А казалось бы, как раз наоборот:

слишком много людей, на кого можно было положиться и поверить.

И Тимофеев, тогда еще совсем юный, гимназистом, объяснил себе беспокойство отца тем, что люди, среди которых ищет отец веры, совсем ее не заслуживают,

— потому что сами ищут выгоды от отцовского дела и только подхалимничают и льстят, а случись беда, первые и покинули бы отца.

Это чуял отец и беспокоился.

— А почему отец окружил себя именно только такими людьми?

Да очень просто:

— просто потому, что отцовское выгодное дело притягивало именно таких.

А позорче-то взглянуть, и выйдет, что, ревниво ограничивая круг своих помощников, отец дал маху:

ведь на его стороне было огромное большинство — весь строй жизни держался его делом! — и выбрать можно было не за страх и из выгоды, а за совесть.

Фабрики и торговля, которые были в руках Тимофеевых, это ли не ось, на которой обращается весь наш машинный день — горький хлеб наш насущный?

* * *

И по мере раздумывания о жизни отца, Тимофееву, тогда еще совсем юному гимназисту, не представлялась жизнь отца той жизнью, какую он избрал бы себе:

прежде всего в ней не было, несмотря на всякие благоприятные материальные условия, самого главного —

— ни ровности, ни глади, а одна тревога и беспокойство.

И из-за чего было отцу так стараться? — из кожи ведь лез со своими делами!

— Из-за самого дела?

Да, конечно, ход самого дела — искусство делать дела — вот что веселило отца. И отними у него это дело,

он потерялся бы: спился бы или еще как, все равно, пропал бы, — без своего дела он не мог и дня прожить!

Так сам он не говорил никогда, он ссылался обыкновенно на семью, —

будто все заботы его — все дело его — ради семьи.

А было ли от этого в самой основе жизни в душе легче семье и покойней?

И не легче ли было бы всем, если бы отец так не старался и не беспокоился?

Но отцу не приходило в голову об этом спросить себя.

Он нисколько не сомневался, что положение его и средства, которые добывает он своим делом, укрепляют семью,

— без него, без его дела все бы пропало!

А между тем всякие болезни и напасти приходили так же, как и к другим, менее обеспеченным, и хотя в доме у них всего было вдоволь, да и про черный день запасено, охи и ахи были нисколько не меньше, чем в фабричных корпусах, где жили тимофеевские рабочие.

Отец часто говорил, что своим делом он дает жить семье, как живут все порядочные люди,

а кроме того дает заработок очень многим, которые без него просто пошли бы по миру побираться.

И никогда-то не усумнился: подлинно ли хорошо и достойно живут все эти «порядочные люди»?

как никогда не сказал себе: правильно ли то его дело, которое дает заработок?

и не лучше ли было бы для тех, кому дает он заработок, очутиться безо всего и идти по миру или искать совсем другое дело?

Для отца была установившаяся жизнь нерушимой,

строй жизни незыблемым,

и другой жизни, другого строя жизни он и не представлял, да никогда и не задумывался.

И жил по-заведенному, воротил большими делами, с одной мыслью, исконной тимофеевской —

чтобы все шло ровно и гладко.

И никогда-то не бывало при всех успехах его дела ни ровности, ни глади.

— А потому, — сказал тогда себе Тимофеев, еще мальчиком-гимназистом, — что живет отец не по правде.

А что же такое надо было устранить из отцовской жизни, чтобы началась жизнь по правде?

* * *

Ради семьи отдавал отец большую половину своих стараний и, расширяя свое дело, он имел в виду в своем деловом глазе пользу не только своего дома, а и того огромного торгового дома, который называется Россией, а Россия — часть еще большего дома — мира.

И ни разу не спросил он себя:

хорошо ли для России его хозяйственные дела — строй его дел, а, стало быть, и тому огромному большому торговому дому — миру, строй хозяйственных домов — строй государств, из которых слагался мир?

И никогда не задумывался:

цвет его хозяйственного дела, все то, что называется культурой, подлинно ли необходимо России и миру и ведет мир к расцвету духа, а не к разложению духа, оскотению человека?

Тимофеев, тогда еще совсем юный, верил в силу достигнутой человечеством культуры и не сомневался, что делание житейского дела — мировое человеческое хозяйство — укрепляет мир и ведет мир к благу, а человека к совершенствованию и очеловечению.

Ему казалось тогда неправильным не самое дело, а строй делания, путь дела, и из неправильности пути выводил он и беспокойство и тревогу дельцов — людей, которые хозяйничали на земле и застраивали землю.

Люди, если бы избрали себе иной путь жизни, достигли бы гораздо большего и в смысле удобства жизни и в смысле покоя:

устранился бы целый ряд житейских несчастий, неизменно сопутствующих принятому и несомненному для отца строю и укладу хозяйственной жизни —

изнурительный труд, проголодь и болезни одних, и излишества и опять болезни других.

Если бы отец его отдал рабочим фабрики, то дело пошло бы совсем по-другому:

рабочие, пользуясь прибылями, какие с излишком идут в один карман отцу, устроили бы свой обиход удобнее и жизнь свою сноснее.

Если бы отец точно так же разделил и свои доходы от земли между теми крестьянами, которые работали на его земле, то всем бы жилось куда лучше.

И прежде всего всегда озабоченный отец не беспокоился бы так.

Стало быть, всю неправду отцовской жизни видел тогда Тимофеев не в неправде самого дела, а в способе ведения этого дела.

И распространял свой суд с отцовского дела на всю деловую Россию, а по России и на весь деловой мир.

Тимофеев был убежден тогда:

совершись так по его суду, и устранилось бы множество бед и несчастий, и пошла бы в мире ровь и гладь, по крайней мере, та ровь и гладь, какая зависит от человека.

В беспокойном тогдашнем пытании его и несмирении его перед сложившейся жизнью сказалось в пробуждавшейся душе его исконное человеческое искание града грядущего.

И ответ был найден.

— Чтобы по правде шла жизнь, — сказал себе тогда Тимофеев, — надо переделать самый строй жизни.

Он не знал еще, что люди плохи —

бессовестны и подлы, если прикинуть к человеку божескую мерку, веруя в силу Божию, нечеловеческую, а затем еще люди и глупы, если судить их судом от безбожного свободного разума, и очень часто что выгодно и невыгодно, они плохо различают, а оттого и хорошее — шатко:

хорошо все то, что ближе к носу.

Он не знал, что при человеческой плохости и глупости и самый справедливейший строй жизни ничего не поделает —

не облегчит человеку жизнь, и не поможет в беде.

Это он увидит лишь впоследствии и все-таки найдет для себя лазейку вынести жизнь, но уж без всякой надежды на ровность и гладкость.

Он поймет: искать в жизни ровности и глади дело пустое и бессмысленное,

потому что сама жизнь-то в самом существе своем не ровна и не может быть ровной, и никакой нет и не может быть глади по самому движению жизни.

* * *

Мать при всей обеспеченности их и богатстве была до скряжничества расчетлива.

С самого детства он только и слышал всякие рассуждения ее: что выгодно и как выгоднее?

А все эти свои мелочные расчеты она оправдывала заботами о семье или, как она сама говорила:

ввиду всяких случайностей!

Эти случайности могут в один прекрасный день разорить их и тогда не будет, в черный-то день, чем семье прожить.

И эти предусмотрительные и скаредные рассуждения, а они повторялись изо дня в день, нестерпимо было слушать.

И хотелось наперекор здравому и дальновидному промышлению просто швырнуть в печку без счету и разбору те выгаданные и урванные копейки, какие от расчетливых расходов собирались у матери в рубли и целые сотни —

«ввиду всяких случайностей про черный день!»

Находились сочувствующие, — искренно или подлащиваясь, не разобрать было, — очень они одобряли мать и ставили в пример.

Но бывало подтрунивали и явно насмехались — и такими оказывались по положению своему стояли вровень и даже выше Тимофеевых.

Да и как было не смеяться!

Жизнь в доме шла серо, безрадостно:

расчет караулил каждый час и все придушивал.

А ведь могли бы при таких больших средствах сделать домашнюю жизнь какой нарядной и праздничною. А вотподишь ты!

Всегда озабоченная, в старом, заплатанном, всегда дома со своими безрадостными расчетами и настороже, — такой видел он мать, такой она и осталась в его памяти на всю жизнь.

После уж, много спустя, узнал он: те самые деньги, которые мать выгадывала, все эти копейки, из которых составлялись рубли и сотни «ввиду всяких случайностей про черный день», ни на какой черный день она и не думала копить, как уверены были, кто видел ее всегда озабоченной, нет, совсем не то:

все, что собирала мать, все до копейки отдавала тайно бедноте горемычной.

— По долгу совести.
— От жалостливого сердца.
— От своей совестливости.

Так объяснили ему те, кому помогала мать всю свою безрадостную жизнь.

И пораженный, он спросил себя:

«Неужто ж долг этот совести такой ужасный?»

И понял:

совестливость это такая страшная сила, сильнее, пожалуй, и самой корыстности, и может совсем оголить человека!

Чуя всем существом своим, как непосильно человеку божеское по высоте своей и — — жестокости, видя единственное спасение в человеческом — в милосердии, он понял, откуда оно:

да только от совестливости!

Матери уж не было в живых.

И ему оставалось одно: идти на могилу и просить простить его —

— по неведению и недогадливости осуждал ее!

* * *

Жизнь в доме, какую привык Тимофеев видеть с детства, его не прельщала.

И с возрастом он решил ступить на свой путь — по-другому начать жизнь.

— в конце которой ровь и гладь.

И эта ровь и гладь жизни представлялась ему не в лежебокости, не в плевании в потолок, нет, совсем, совсем нет:

он отрекается от ненужных тревог отца и забот матери, он берет другую тревогу и другую заботу.

— безукорно.

Будущее, какое готовилось ему и по воспитанию его и по состоянию Тимофеевых, было в смысле всяких удобств и власти очень большое:

он предназначался для отцовских дел вместе со своим братом.

Все, чему завидуют люди, — деньги и положение, все это было перед ним, стоило ему только, нисколько не раздумывая, пойти по указанной отцовской дорожке.

А он все сжег и пошел по-своему.

## 6.

С первого шага своей самостоятельной жизни Тимофеев встретил на пути препятствие.

И там, где искал он ровности, оказалось, нет и не было никакой.

Правда, говорится в сказании о льве и старце:

— и уж если человек примется очень стараться, жди беды, а зверь неразумный — и подавно.

И если лев, опекая коня, довел коня свирепостью своего вида и подозрительностью до вопиющего ропота и отчаяния — лев, за вынутую старцем занозу, служа старцу, сопровождал коня, когда несчастный конь старцу воду возил, — глупый, старательный человек, охраняющий заветы, может довести другого — «коня!» — до полной безнадежности, коню старцеву позавидуешь!

Тимофеев, найдя жизнь отцовскую неправедной, стесняющей жизнь других, положил устроить свою жизнь, —

чтобы от его деятельности не только никому не было стеснения или принуждения, а было бы всякому легко и свободно.

И он не сомневался, что может облегчить трудную жизнь, которую видел вокруг себя.

Нелегкая потащила его за границу:

там за рубежом найдет он указания, как сделать так, чтобы из его деятельности была польза всем страждущим, трудникам жизни.

Есть великие призывы человека о царстве человеческом на земле — большие кличи к человеку о человеке, о его царстве и о его воле и о его свободе, и на эти призывы и кличи идут не только одаренные, но и летит мошкара. И мошкара по ничтожному свойству своему опорочивает и умаляет их.

И всякий, кто вздумал бы судить по призыву обо всех откликнувшихся на него, глубоко ошибется, как и тот, кто по мошкаре начал бы суд о призыве.

* * *

Тимофеев поехал за границу и само собой в Швейцарию: хотелось поскорее всему научиться, — а где, как не в Швейцарии, найдет он и товарищей и учителей!

Большая была тогда у него горячка.

И когда после уж спросит он себя, что питало эту горячность его тогдашнюю швейцарскую, он ответит:

только жалость, только сердце, и никакие рассуждения.

Всякие рассуждения его — вся работа мысли его только выговаривала тихие шепоты сердца.

А сердце горело жалостью.

Ему просто совестно было перед другими, кто жил хуже его. И чтобы успокоить совесть, он и стал рассуждать о желаемой легкости и гладкости жизни и, наконец, принял решение отказаться от всех отцовских благ и выйти в мир свободным — безо всего.

Не взяв от отца ни копейки, с грошами, скопленными на уроках, поехал он прямо в Цюрих.

* * *

Тимофеев приехал в Цюрих с такими чаяниями и с такой открытостью —

на все готов!

Все дни он просиживал в русской читальне и все, что было запрещенного или чего трудно было достать в России, все, кажется, перечитал до последнего листка.

И так жил он, полуголодный, почти без сна —

чтобы только все узнать и начать дело!

Понемногу завязались знакомства. Но близко ни с кем не сошелся: самый младший — все были старше его.

Цюрих — сущее кладбище, и, когда зарядит дождь, тишина там наверху такая! — только часы звонят.

Сначала-то он часов и не заметил, но потом, когда добрую половину загреб литературы да изголодался, и слышит:

часы — звонят!

Как на кладбище.

И напала на него тоскущая тоска —

Кажется, все бы отдал, только бы — назад в Россию.

Но как же так ехать с пустыми руками?

Тут нашелся один — печальный человек — Мушкин.

Из всех этот Мушкин один отнесся к нему душевно и вызвался помочь: будет с чем ему в Россию ехать!

И действительно: за четвертной принесли к нему сундук — не простой, — двудонный сундук и стенки — двойные, и все так чисто сделано, никому и в голову не придет, и никто не схватится, что и пустой сундук, а полон добра — «литературы» во сколько!

Теперь можно было и в Россию ехать — не стыдно.

Вот он какой Мушкин — добрый человек и внимательный.

На Мушкина смотрел Тимофеев как на благодетеля своего, не знал чем и отблагодарить.

А Мушкин — добрый человек, печальный человек еще душевнее стал: повел Цюрих показывать — все в читальне, за книгой, один-то Тимофеев ни разу и не спускался сверху в город — зашли в ресторан, выпили испанского и с колбасой испанской.

Мушкин попросил взаймы —

— до зарезу! через неделю обязательно!

Ну, как тут быть, отказать невозможно:

Тимофеев все, что было у него, все и отдал.

Так, пустяки оставил себе — как-нибудь обойдется, на неделю хватит.

А больше приятеля и не видел: слышал, уехал Мушкин в Женеву.

Прошла неделя, — нет и нет: забыл видно.

Тимофееву уезжать надо — сундук стоит — единственное добро — ждет: пора, пора! А не то, что на билет, за комнату нечем заплатить.

Ну, как тут быть, не хорошо, а пришлось сказать.

Сжалилась учительница Судакова, бывалый человек из Москвы, попеняла она Тимофееву — оказывается, Мушкину в деньгах давно уж никто не верит, и это всем известно, и не впервой такое! — дала денег на дорогу, добрая душа!

На радостях забыл Тимофеев все свои голодные мытарства, забрал сундук — слава Богу! — и в Россию.

И благополучно границу переехал — сберег сундук, единственное добро свое, тяжелый такой, а на глаз пустой.

И прямо в Москву.

* * *

Приехал Тимофеев в Москву, а что ему дальше делать, и не знает.

Дал Мушкин адрес — к кому в Москве обратиться сундук использовать, да раньше осени того человека в Москве не будет.

Тимофеев жил в Москве, и одна была дума: дождаться ему поскорее того человека, знакомого Мушкина, и начать делать.

Как-то в самом начале осени встречает он Судакову и очень ей обрадовался и все рассказал, как сундук перевез через границу и как ждет теперь свидания, которое решит его дело.

Холодно слушала его Судакова, неприветливо — он сразу это заметил, а все стоял и, проговорив свое — за месяц в Москве он ни с кем слова не сказал! — ждал уверенный, что и на этот раз, как там в Цюрихе, она поможет ему: она укажет, к кому обратиться.

Ответ Судаковой был совсем неожиданный, и не сразу ответила она ему, и он стоял, ждал —

Тимофееву никуда не надо ходить, ни по каким адресам — вот какой был ответ — все равно никто его не примет, потому что ему не доверяют.

— Зачем вы Стрелкову записали фамилии эмигрантов, вообще лиц, к которым, по вашему мнению, следует обращаться за указаниями?

Тимофеев вспомнил студента Стрелкова, — неприкаянный, растерянный, шатался этот Стрелков по Цюриху, — раза два зашел к нему — единственный гость.

— Ничего подобного, ничего я не записывал!

— Да как же так? Стрелкова спросили, откуда он всех знает, он указал на вас и листочек показывал с записями, — горячилась Судакова, — нет, никого вам не надо разыскивать, бесполезно, и не трудитесь.

Тимофеев не нашелся, чего и сказать: правда, Стрелкову он рассказывал о Мушкине, когда без денег-то остался и не знал, что и делать, а больше ничего, ни про кого.

И то, что бродило в душе его там, в кладбищенском Цюрихе, чего он не смел сказать себе там, вдруг ясно сказалось: это о мошкаре, от которой ничем не отобьешься и которая всюду проникнет.

И в первые жестокие минуты свои он чувствовал себя, как ошпаренный.

И хотя со временем все и улеглось, чувство отстраненности сохранилось у него на всю жизнь.

И остался он один и с ним его сундук двухдонный да раскаленное сердце.

Из Москвы Тимофеев никуда не уехал, просто не знал — куда.

И еще раз привелось ему встретить Судакову.

Столкнулся на Тверском бульваре и так оробел, таким виноватым почувствовал себя, словно бы и в самом деле в чем таком провинился, и вот все двери закрыли перед ним.

Откуда это появилось у него, такое чувство оробелое и виновное, и сам не мог бы сказать себе, но и впоследствии всякую клевету принимал так, будто и на самом деле кругом виноват.

А Судакова на этот раз куда была приветливее, ну как там в Цюрихе, когда сжалилась над ним и выручила.

— Знаете, действительно, вышло недоразумение: вас зря обвинили. Вернулся Кашин и все объяснил — это Стрелков путанник, он и вас запутал.

И теперь, когда все выяснилось, казалось бы, может Тимофеев идти по указанному адресу к тому самому человеку, который его и направит.

Нет, все равно, ходить ему никуда не надо.

— Вы из такой буржуазной семьи, — неожиданно объяснила Судакова, — и родственники у вас такие! нет, пока никуда не ходите.

И, казалось бы, такой ответ просто должен был убить Тимофеева, а его нисколько не тронуло: за все свои московские дни он сжился с своей отстраненностью и ничего уж другого не ждал.

* * *

Помнит он, как прожил эти последние дни в Москве. В душе кипело, но еще ничего не сказалось, и чувство, охватившее его тогда, не выговорило своего последнего слова.

Шел он так поздним вечером — чуть только снежок выпал и таял — и нахлывало на его душу широкое, темное, как сама талая ночь.

Помнит, как чего-то остановился он на Полуярославском мосту — деревянный такой мостишко через Яузу у бань.

И казалось ему, один он был на целом свете, а с ним темное небо, земля, покрытая легким снегом, да почернелая Яуза.

И в этой его одинокости перед лицом неба и земли сказалось вдруг из всех чувств его и из всех мыслей его слово —

и это слово решило всю его жизнь.

Не взял он никакой литературы, никаких листков из своего драгоценного цюрихского сундука, оставил сундук — не надо ему никакой памяти! — и поехал в родные края, не к отцу, по соседству.

И там поступил на завод к Бойцову.

## 7.

В тот последний прощальный вечер, когда стоял Тимофеев на Полуярославском мосту и из раскаленных чувств его и мыслей вышло слово —

в этом решающем слове все сказалось, как ему быть.

Будет жить он простым человеком незаметным, незаметно с такими же, как он, которых больше, чем полмира, и, вынося весь труд и лишения, отдаст все свои силы облегчить трудную жизнь.

Тогда-то и сказал он себе о высоте и жестокости божеской в противоположность милосердию человеческому с прощением и смирением.

Жизнь его у Бойцова была нелегкая.

Жар и сталь машинная — вы видели заводы с кирпичными красными трубами, и эту угольную плешь далеко вокруг, холодный блеск стекол в корпусах, масляный жар, сталь и стук колес —

Колеса, масло и жар, как городские камни, завладевают душой человека — без них не надо жизни, но и какая жгучая тоска о земле с тишиной ее трав и чистотой чистых полей!

Тимофеев, сидя в заводской конторе, проводил целые дни под грохот и шум машин и масляный шмыг ремней.

Жизнь была у всех темная — работали до одури, ели да пили.

И у всякого была одна одинокая мысль:

та́к чтоб устроиться, чтобы получать побольше, а делать поменьше:

работа давила.

И не было в сущности никакой другой жизни, как пить и есть — и на это и уходил тот малый досуг, какой выпадал от обузной работы.

И когда вспыхнул бунт — и вышли рабочие из корпусов и пошли к Бойцову дому —

лиц не видно было, и одни ноги, — большие пальцы, закорузлые и измученные, и один голос, — этот голос, как ременный шмыг.

Тимофеев знал каждого рабочего в отдельности, с каждым приходилось ему иметь дело по всяким расчетам — ни одна получка не могла обойтись без него — каждый в отдельности был жалок и в лице у каждого была тягота, но когда вышли все вместе, никакого лица не осталось — одни большие закорузлые пальцы в вихре ремней и колес.

А когда все улеглось, и все стали на работу, и пошла заводская жизнь по-старому, он опять увидел каждого в отдельности, и была у каждого большая жалоба в глазах, перемигающая в ненависть и нечеловеческую покорность.

И какие надо было средства — нет, он больше не верил в цюрихскую свою науку! — что надо, чтобы подняло самый дух жизни?

## 8.

Тимофеев женился рано.

А когда стала подрастать дочь, жена померла.

И остался он с Машей да с своей тяжелой думой и покорностью.

Однажды он повез Машу показать родные места.

Ни отца, ни матери не было уже в живых. А с братом, которому перешло все большое отцовское дело, как-то не сладилось: некогда тому было за делами!

Повел он Машу на кладбище, рассказал ей о ее бабушке —

И вернуть не вернешь и ничего не поправишь.

Грустно вернулись домой.

* * *

Выросла Маша, — своя у нее жизнь началась. Кончила гимназию, на курсы поехала в Петербург. А вскоре и он за ней в Петербург переехал.

Перевод от Бойцова в Страховую контору совершился для Тимофеева неожиданно.

Когда Маша уехала на курсы, заскучал он один и задумал хоть куда-нибудь поступить, только бы поближе — о Петербурге он и не мечтал.

Случай сделал самое неожиданное.

В командировку по ревизии страховых отделений послан был из Петербурга инспектор Комаров. Познакомился Комаров с Тимофеевым на заводе, разговорились, понравился ему Тимофеев.

Так и попал Тимофеев в Петербург совершенно случайно и неожиданно занял большое место.

* * *

Тимофеев в своем деле бухгалтерском отличался особенным старанием: книги велись в образцовом порядке и представляли дело со всей ясностью — сразу все увидишь как на ладошке.

А в этом большое искусство! — бухгалтерия есть искусство.

Правление с первого же отчета осталось Тимофеевым очень довольно.

А для самого-то Тимофеева большое было горе.

Петербург был его мечтою. И когда представился случай уйти с завода, оказалось не так это просто. И сколько он перемучился перед тем, как заявить о своем решении — Бойцов слышать не хотел! — и все-таки при всей своей уступчивости настоял-таки на своем и уехал в Петербург.

И что же оказалось?

В Петербурге он садился на живое место.

Помощник бухгалтера Копорев, исправляющий должность бухгалтера, имел все права на это место, и вот Копорева обошли и посадили Тимофеева.

Какими глазами смотрел на него обойденный Копорев!

Да и вся бухгалтерия — старые служащие сразу же настроились враждебно.

Тимофеев ни сном, ни духом не знал, что есть на свете такой Копорев, и этот Копорев метит на освободившееся место бухгалтера. Сам Тимофеев места бухгалтера не добивался и охотно согласился бы на меньшее и уж никак не думал перебивать у кого-нибудь место.

Но об этом никто не думал, и только видели в Тимофееве не своего, а поставленного правлением,

— потаковника начальства, пролазу.

Пробовал Тимофеев объясниться.

И все объяснения его мало чему помогли.

И только постепенно сгладилось.

А впоследствии, когда и сам Тимофеев полетел с места, только тогда примирились.

Но тогда уж и мир ни к чему.

Начало петербургское бухгалтерское, как обухом ударило. Тимофеев как-то вдруг схряпнул весь.

## 9.

За бойцовскую службу в фабричной страде с тяжелою думой о беде человеческой непоправимой, вскрылась в его сердце острейшая жалость к человеку.

Всякая малейшая услуга тяготила его; ему постоянно казалось, что он тяготит других.

Острейшую жалость чувствовал он особенно к детям и особенно к больным детям: все бы, кажется, сделал, чтобы только помочь.

И всегда Маше рассказывал и, вспоминая, мучился жалостливой этой своей болью.

Жалко ему было Баланцева, когда узнал он всю беду его, и до такой жалости, просто и словами не выскажешь, изнывающей.

И больных животных ему было жалко и вообще животных, потому что они никак не могли пожаловаться и терпели молча.

А когда оставался он один и, судя себя и разбираясь в других — в мире живом, жалость наполняла его сердце безмерная:

видел он мучимых — было их не перечесть! — бедою замученных —

кто им даст утоление?
кто уймет тоску и скорбь покинутости и обойденности?
кто остановит их плач беззвучный, неотпускающий?

видел оборванных, дрожащих от холода — и одеться было не во что!

видел голодных — есть было нечего!

видел обиженных — ни за что, ни про что — и не было кому заступиться!

видел оклеветанных — кто успокоит, чем утешит?

Тьма застилала глаза —

это стоны человеческие, мычанье и рев животных, крик птиц, шип раненой змеи, хруст камня, гул земли и трепет звездный,

горечь мира всего.

Тьма застилала глаза —

Острейшая боль от боли и горя раскалывала сердце.

И однажды он пошел, стал на Знаменской площади в самой толчее трамвайной и автомобильной.

И сказал от всего своего безопорного расколотого сердца:

— Пусть падет на меня вся мука, на все готов, все перенесу, только б им так не мучиться!

## 10.

Как давно это было, когда мечтал Тимофеев устроить свою жизнь ровно и гладко!

Как давно это, как стоял он в Москве на Полуярославском мосту, весь вскрыленный талой ноябрьской ночью и решал свою судьбу.

Жизнь его многому учила —

Или нельзя уж ничем переделать человека?

Сколько обманывали его, сколько всяких проходимцев ловко окручивали его, дурака!

Достаточно было ласкового слова а, может, просто хитро выговоренного, чтобы он поверил в самое искренное и чистейшее чувство.

— Ведь над тобой же смеются! Тебе всегда все кажется! — часто говорила Маша, когда принимался он уверять ее, как хорошо все к нему относятся и как его все любят.

А по правде только одна Маша и любила его по-настоящему. А любить по-настоящему, значит, любить не для себя, не для своей какой выгоды, а только для того, кого любишь.

Когда Маша после своего исступленного отчаяния исступленно винилась, она повторяла, жалея:

— Папочка, одно мне страшно, — говорила она, — как ты без меня жить останешься! Затопчут тебя.

А когда что-нибудь выходило у него или очень смешно или чересчур несуразно, он говорил Маше, смеясь над собой:

— Вот погляжу на людей, и все какие-то настоящие — —

— Это ничего, — смеялась и Маша, — ты на настоящего совсем не похож, но это ничего.

Да, когда-то он все сжег и вышел в жизнь — вольной нищеты, да, совсем не как настоящие люди, и устроил себе дом с горчайшей жалостью и нашел в этой жалости мир.

И вот дом его загорелся.

И весь мир, какой был в душе его, кончился.

Не то, что полетел он с места — на его место сел счастливый теперь Копорев, обиженный, обойденный когда-то правлением — нет, не это, а беда, случившаяся с Машей, подожгла дом и унесла всякий мир.

# ПРО ЛЮБОВЬ

## 1. ЗВЕЗДА СЕРДЦА

«Вы поймите, как же я могу заниматься: я с утра надорван и ночью, если удается, засыпаю растерзан!»

Но этого никто не понял.

Единственный Баланцев написал ему — да лучше бы и не писал! — с упреком в малодушии.

Тимофеев прекратил переписку.

И вернувшись в Петербург вскоре после своего увольнения из страховой конторы, никому не дал о себе знать.

В контору на Невский он не раз подумывал зайти.

И всякий раз раздумывался: было и неловко чего-то и горький осадок — «как это уволили его и все отнеслись так равнодушно?»

Да и невозможно было ему очень-то расхаживаться.

Последнее, что еще оставалось в запасе, было прожито.

А все ценное в ломбард пошло.

В своем невольном бездействии перебрал Тимофеев всю квартиру, отбирая вещи, с которыми можно было расстаться: ничего уж не было дорого и все, кажется, уступил бы охотникам, — одно горе, очень-то никому его вещей не надобилось.

Только что шкуру медвежью купили.

А остальное — и смотреть не желают.

И если бы не Бойцов, к которому обратился Тимофеев за помощью — трудно ему было на такое решиться! — если бы не Бойцов, хозяин, у которого служил он на заводе, очутился бы он с Машей на улице.

Всякий раз, когда наступало примирение в душе Маши и он отсыпался за все бессонные ночи, приходили надежды на восстановление деловой жизни, — назначался уж день, в который пойдет он искать себе место.

Но тут какая-нибудь случайность, пустяки сущие выводили Машу из ее примирения и кидали опять ее в ожесточенное отчаяние.

И все начиналось сызнова.

От постоянных разговоров, — а приходилось разговаривать по целым часам! — от «одного и того же», от одних и тех же вопросов — конечно, все о Задорском! — язык перебалтывался, слова стирались и не оставалось в словах ни силы, ни убедительности.

Маша ничего не замечала, да и где ей было замечать! — душа у нее болела.

И чтобы выбраться ей из ее тупика на волю, надо было высказаться — вынести в слове все до последнего из ее темных тайников на белый свет.

После кратких часов молчания она начинала беспокоиться и жаловалась, что «он с ней совсем не разговаривает!».

А когда случалось, выходил он в другую комнату, он слышал, как Маша начинала сама с собой разговаривать и говорила горячо и громко, полным голосом.

В разговорах проходило время.

Принимались всевозможные решения, чтобы как-нибудь поправить, успокоить ее душу, но и самые противоположные оказывались ни к чему.

Тимофеев готов был ехать к Задорскому и объясниться: «в ноги поклонюсь ему, чтобы только приехал!» — и все пойдет по-старому.

И не раз повторял Маше, как он все скажет, день за днем, и все разъяснит: и зачем им ссориться! ведь, это одно недоразумение! —

«ведь они любят друг друга!»

Маша как будто соглашалась, но потом все отвергала —

«ехать не надо и не к чему!»

Маша не верила, что он сумеет объясниться по-настоящему, —

«нет она была уверена, что он только напутает».

Она все прощала.

И на время мир входил в дом.

Уж казалось, начинается новая жизнь — и о старом забыть!

И вдруг впадала она в жесточайшее раздражение:
«нет, она никогда не простит!»

И начнет упрекать, что скоро он так успокоился —
«обрадовался, что простила, и успокоился!»

И в конце упреков останавливалась на единственном для себя исходе —

«кончить самоубийством!»

— Все равно, один конец.

Но этим не кончалось.

Разговор опять переходил к жизни — к Задорскому.

— Неужто он мог ко мне относиться так же, как и к другим? — спрашивала она.

И, обвиняя его и коря, переходила — и совсем незаметно — к самообвинению.

И оправдывала его во всем, кругом виня только себя.

От душевной утомленности, от неуверенности за каждую ближайшую минуту, от неожиданности всяких поворотов — «скажешь так и выйдет ладно, а прибавишь слово и все испортишь!» — от постоянной настороженности и домашних забот Тимофеев совсем растерялся:

стал забывать, — забывал куда чего положит; или что-нибудь только подумает сделать, а пройдет время, и уж кажется ему, что он это сделал.

Маша от растерянности своей душевной все теряла, но забывчивости у нее ни на что не было.

Нет, она слишком хорошо все понимала — и в памяти все проходила и с еще большей горячностью и остротой.

И особенно резко и назойливо приходило ей на память в жестокие минуты отчаяния не то доброе, что ей делали люди, а лишь одно злое.

Растерянность отца с путаной забывчивостью приводили Машу в крайнее раздражение.

И если в минуты виновные начинал он оправдываться, выходило еще хуже.

И все оканчивалось одной угрозой, одинаковой и по пустякам и в важном:

Маша грозила самоубийством.

А было так потому, что и важное и пустяки равно трогали ее душу — обнажали больное.

И эта боль ее кричала — невыносимо!

В минуту своего раздражения, не видя и не слыша ничего, только одну свою боль, Маша вдруг обращала на него внимание и видела, какое страшное утомление на его лице и во всем, и как весь он согнулся.

И этот вид измученного, падающего человека повертывал ее больные мысли к единственной всеразрешающей мысли —

самоубийству.

— Двум больным жить нельзя, — говорила она, — уеду и буду жить одна.

— Да как же ты одна-то без меня проживешь! — робко возражал Тимофеев.

— Все равно погибать!

Голос ее в такие минуты становился резкий — «ужасный», она смотрела куда-то в какую-то пустую точку или, закатив глаза, та̀к смотрела, и какая-то невыносимая боль — «смотреть нестерпимо!» — болела в белом безглазье.

И вот в окостенении своем и столбняке, совсем растерявшись, понял он всю тяжесть ее креста.

Он старался все исполнить и, если случалось прошибался в своей забывчивости и недогадливости, все равно «никогда уж ни в чем не оправдывался», и, даже когда прав был, винился, как виноватый.

А угодить все-таки не мог — не было никакого ручательства, что какое-нибудь слово не раздражит ее!

И всегда могли найтись последние пустяки и эти пустяки — безобидные открывали дверцу в самое ее кипучее.

Маша по целым дням лежала — могла пролежать день.

И это был особенно дурной знак.

Просто глаза закрывались от утомления и безвыходности.

И другой раз он не выдержит и в своем бессильном отупении начинал дремать.

А случалось такое, как на грех, когда Маша решала свое что-нибудь важное — и вдруг обращалась к нему с вопросом.

И замечая, что он дремлет, приходила в неистовство.

Он готов был все сделать для нее: от всего отказаться, закабалить себя в какую угодно и самую проклятую работу — просто душу продать черту! — только бы спасти ее.

Стал он совсем тихим и на все сговорчивым, стараясь предвидеть всякие мелочи и пустяки безобидные, «чтобы только как не раздражать».

Но и это не помогло.

«Внезапность» и «неожиданность» выводили ее из себя.

А как убережешься?

И уж что он ни делал, а ведь непроницаемой стеной не огородишься!

Растерзанная ее душа не могла успокоиться.

И если бы все шло без задоринки в домашнем обиходе, все равно, нашлось бы, на чём излить сердце и душу вывернуть.

Вот она какая любовь —

любовь — всекрасущая, всесветящая!
любовь — беспросветная!

В своем отчаянии Маша и ему не верила:

— Знаю, — говорила она, — на словах-то все готов сделать!

И припоминала все его ошибки вольные и невольные, и с такой болью и горячностью, как будто все снова совершалось в явь, не в памяти.

— Замолчи! — исступленно не кричала она, а шептала.

И этот шепот был резче всякого крика.

Мучения ее были так велики и крест так тяжел!

* * *

Откуда же такая мука — ее тягчайший крест?

Душа ее была надорвана тогда еще тем легким замужним годом, какой прожила она с мужем, — и уж самый малый удар мог ее искалечить.

С той голубиной ночи, как в слезах вернулась она от Задорского, почуяла она, что все кончено.

Она поняла:

«любит он ее не для нее, а только для себя».

А такую любовь — ею полмира живет! — она не могла принять.

И надорванная душа ее распалась.

И крест ее любви придавил ее.

Ожесточение ее вдруг сменялось непомерной жалостью и раскаянием.

Она часто начинала видеть, что она больна, и что сама она во всем виновата; и вот отец, который любит ее всею любовью, т. е. не для себя, а только для нее, весь извелся. И вспоминала она все свои мысли и поступки вольные и невольные, от которых бывало тяжко людям, и, винясь во всем, просила прощения.

И так просила — да легче бывало, когда в исступленные минуты отчаяния она проклинала весь мир!

Она исступленно винилась!

И винясь перед отцом, что измучила его, винилась перед Задорским, которого оттолкнула от себя:

«сама отогнала и оскорбила!».

И в такие покаянные минуты ей хотелось увидеть Задорского: просить его простить ее!

Нетерпение было ужасно.

— Нет, ты ни в чем не виновата! — и не из желания только успокоить, но и по всей правде говорил ей Тимофеев.

И правда, вины ее никакой не было.

За ее легкий замужний год любовь ее была оскорблена и сердце ее искало другой любви.

Такой любовью представлялась ей:

не обладание, а преданность «звезде своего сердца» —
любить не для себя, а только для любимой, служить
ей преданно и беззаветно —
«purus amor!»
«Не владеть, а только молить о любви!».

А награда любви в этой любовной мольбе — в чувстве любви.

Purus amor —

звезда сердца!

Такой, только такой любви искало ее оскорбленное сердце.

«Purus amor — звезда сердца!».

она внушает подвиг и самоотречение —
она исправляет и возвышает —
она сливается с неземною, движущей небесами любовью.

И чем же она виновата, если ее сердце открыто только такой любви!

Задорский любил Машу, но его любовь была такая — ею живет полмира! —

не для нее он любил ее, а для себя.

«Purus amor» — это выше его сил!

И он понял, и любя по-своему — так любит полмира! — также понял:

«если не отстранится, и сам измучается и дело свое погубит, и ее только измучает».

Она винила себя, будто резко говорила с ним и этим отпугнула его от себя.

А если бы говорила она мудро, снисходя до него, кроткими словами высшей силы, силой своей высокой любви, она внушила бы ему «чистейшую любовь», и он стал бы и выше и чище, и дело его не только не пропало бы, как думал он, напротив, расцвело бы, очистившись от мелкой суеты, налипающей ко всяким человеческим делам.

Да, она говорила с ним резко, но она говорила с ним резко, —

«потому что любила».

Ведь только тот, кто любит, может так крепко, так резко отзываться и даже возненавидеть —

«любить и ненавидеть — это не несовместимо!».

А этого он не понял.

Две волны наплывали на ее душу:

исступленно ожесточенная с проклятием —
и исступленно виновная с покаянием.

И проклятие и покаяние разражались горчайшими слезами.

И эти слезы, как плывучий огонь, могли бы прожечь и самый твердый камень —

но судьбиное сердце неумолимое — крепче всякого камня!

В редкий тихий час межгрозный Маша только и вспоминала —

«как было хорошо тогда, в те месяцы, когда приезжал Задорский!».

А Задорский, заваленный делами, вдруг среди дел и напряженных мыслей вспоминал Машу:

«те дни, когда он приезжал к Тимофеевым, просиживал вечера один с Машей!»

и грызучая тоска точила его.

И поправить ничего нельзя.

Тут было выше человеческого.

А нечеловеческое — судьба! — она вела по доле каждого со всей жестокостью к последнему пределу человеческого крестного терпения.

## 2. НЮШКА

Чем утешился Антон Петрович Будылин — его взмученное сердце, замученное ревностью, завистью и тьмой одиночества?

Единственная ведь дверка в мир для него — любовь.

Любовью Антон Петрович и утешился.

В один прекрасный день получилось два письма:

письмо от докторши Кулигиной,

и письмо от балерины Петровской.

И оба письма любовные — оба письма «объяснительные».

— Откуда сие?

— — —

— Неисповедимо!

Потащил как-то Баланцев Будылина к докторше Кулигиной на именины.

У Кулигиной были гости и среди них знаменитая, уж престарелая балерина Петровская.

Антон Петрович накануне прочитал очень веселую старинную книгу — эту книгу достал ему Баланцев в утешение:

*«Повесть забавная о двух турках в бытность их во Франции».*

Воображая себя Ахметом, трехбунчужным пашой, Будылин занимал дам рассказами о турецких любовных приключениях.

Сначала это было очень трудно — слова не давались, вывертывались, подменивались, ну, как обыкновенно со словами, коли нет говорливого дара!

Но понемногу не Будылин, а уж Ахмет освоился: французская повесть о турках самому ему очень нравилась.

Хозяйка-докторша осталась довольна — вечер не проскучали.

А дня через три Овсевна и подает эти два загадочные письма.

письмо от докторши Кулигиной,
и письмо от балерины Петровской.

И когда Антон Петрович сказал Баланцеву, Баланцев очень оживился, но хоть бы одно слово наводящее —

Баланцев внимательно разбирал почерк, бумагу, печать.

— Что же дальше? — Антон Петрович больше не мог вытерпеть.

— Да ничего. Вы — как Ахмет, ничего!

— Как ничего?

— Да ничего и не значат эти письма. А вообще горевать вам нечего: женское сердце вы еще побеждаете, вот и все!

— И больше ничего?

— Ровно ничего.

— А отвечать я не должен?

— Зачем?

Антон Петрович растерялся —

«как же так, такие письма и вроде как и нет ничего!».

Но потом воспрянул —

«отвечать ничего не надо и притом победа!».

Да теперь он безбоязненно может ходить по земле твердо и крепко, как кур, как доктор Задорский, покоривший Машу.

Неделю Будылин жил настоящим Ахметом — Ахметом мечтал он о своих турецких любовных победах, и уж ему начинало казаться:

«все встречные женщины заглядываются на него, и делают ему глазки!».

В трепете от этих «глазок» — а они его преследовали! — впал, наконец, Будылин в блаженное умиление.

— Положительно нет отбою, голубчик Алексей Иванович, — жаловался он приятелю, тихо смеясь, — не знаю, Алексей Иванович, чему приписать?

И вдруг опять письмо — два письма.

Подписи, как и в первый раз, неразборчивые, но можно было легко догадаться:

конечно, одно письмо писала докторша Кулигина!
другое письмо писала балерина Петровская!

И Кулигина и Петровская вызывали Антона Петровича на свидание к памятнику Екатерины.

И одно горе: и докторша и балерина назначали час совсем неподходящий.

Однако, большой был соблазн уйти со службы не вовремя!

И так и этак раздумывал Антон Петрович и все-таки не решился.

И притом же такое невероятное совпадение: и докторша и балерина обе, самой собой не сговариваясь, поджидали его в одно и то же время и на одном и том же месте.

Нет, это уж невозможно!

Так Антон Петрович и не пошел.

Но его любовная мысль до крайности взбудоражилась.

С трепетом проходил Будылин мимо памятника Екатерины.

Он не решался поднять глаза:

ему мерещилась и докторша Кулигина и балерина Петровская — и докторша и балерина, как екатерининские вельможи, унизывали памятник одновременно и там, и там, и там — —

Докторша Кулигина, и хоть очень ученая, но в привлекательности отказать ей никак нельзя; а балерина Петровская когда-то, возможно, очень привлекательная, но в таком уж преклонном возрасте — пятидесятилетний юбилей отпраздновала! — лет двадцать, как совсем не танцевала.

Зато балерина — одно это имя «балерина» волновало Будылина пуще всяких докторш!

На докторше Кулигиной можно было бы жениться. —

А с балериной Петровской — та́к: ну, быть коротко знакомым, и чтобы все говорили, что у Антона Петровича Будылина есть балерина или «Антон Петрович Будылин подцепил балерину!».

И притом же — и это как правило — все высокопоставленные лица испокон веков обзаводились балериной.

— В такой вот шляпе, как на картинках! — Антон Петрович мечтал вслух.

И уверившись в своих высокопоставленных правах, не раз приставал он к Баланцеву повести в гости к докторше Кулигиной —

но Баланцев чего-то увиливал.

И одно было объяснение

«Баланцев ревнует!».

— Баланцев ревнует! — решил Антон Петрович.

И это еще больше подбавило жару.

И тут произошел еще и один случай и тоже вроде турецкого и уж окончательно закружил Будылина.

Послал Будылин Овсевну на почту: задумал заказное письмо отправить — «в Кострому археологу Ивану Александровичу Рязановскому».

С Рязановским познакомился Будылин через Баланцева, когда знаменитый костромской археолог или, как сам любил называть себя покойный, «некое ископаемое в лисичьей шубе», возвратясь из Швеции, где искал документов Смутного времени, жил в Петербурге на Лиговке в «Версале». У Рязановского в богатейшем его костромском древлехранилище на Царевской были и самые настоящие Петровские документы, — этих-то заветных документов и добивался Антон Петрович:

«хоть временно, хоть глазком посмотреть!».

Овсевна расписку с почты принесла, а денег за марку не заплатила.

— Не взяли, — сказала старуха, — должно не полагается.

Конечно, старуха Овсевна что-нибудь напутала!

Обязательно надо было выяснить:

«а то еще подумает, нарочно не приклеил марки!»

Антон Петрович написал письмо на почту, вложил марок на четырнадцать копеек и сам пошел опустить в ящик.

А дня через два получился ответ — открытка «с многоточиями».

Известно, если мужчина в письме многоточит, это означает бессилие, а в дамском — читай совсем наоборот — тут за точкой и намёк и обещание.

«Многоточие у дам — это вроде птичьего приседа перед куром!» — так, припоминается, выразился кто-то из французских современных философов, чуть ли не сам «всемирно известнейший» Яша Шрейбер.

> «благодарю за присланные на письмо марки. В том вы не виноваты. Моя рассеянность тому причиной. Но ведь должна быть причина рассеянности!?.. Ну, скажем, хотя бы усталость... Вы великодушны к рассеянности женщины? Приходите в наше отделение, угадайте только в нашу смену и узнайте меня, хотите? Я занята в понедельник утро, вторник вечером и т. д., через день вечер. Мое имя Александра Петровна Сушкова. Итак мы поменялись именами. Я хочу знать вас лично, и знать, свободны ли вы? Пока прощайте, неизвестная вам...»

— Да, — сказал сам себе Антон Петрович, сам же себе удивляясь, — да, подлинно, отбою нет!..

Конечно, он великодушен, и, конечно, свободен, как никто!

Но показаться на почту, познакомиться с рассеянной Александрой Петровной Сушковой, чего-то ему все-таки неловко.

Антон Петрович просто боялся разочаровать Александру Петровну.

Ведь, на месте бритых ничшенианских усов вылезли у него какие-то черт знает, не то тараканьи, не то еще каких гадов, притом же какими-то прутиками, шевелящимися при всяком причмокивании.

А находясь в любовном восхищении, Будылин помимо воли то и дело, что губой чмокал.

Будылин боялся разочаровать Александру Петровну, но любопытство разбирало.

И чем бы все это кончилось, а может, и повезло бы:

ведь, столько мечтающих пристроиться!

И не такая рухлядь, а и самая последняя мочалка в штанах могла держаться гордо — не она, мочалка, а в ней, в мочалке, была нужда.

Антон Петрович, пораздумав, решился-таки идти вечером в четверг.

А в среду, когда он мечтал о свидании с Александрой Петровной, а свидание это должно было кончиться, само собой, успешно, неожиданно явился Баланцев:

«идти вместе к докторше Кулигиной!».

Антон Петрович заупрямился — очень уж, во-первых, сразу, очень неожиданно. — — Но под разговорами Баланцева размяк.

— Чем же все кончится, Алексей Иванович?

— Ничем, ровно ничем, — Баланцев как будто даже удивился такому вопросу: «чем кончится?» — предупреждаю, про любовные письма ни слова, это неудобно. Лучше расскажите что-нибудь таинственное: из Гоффмана что ли? Про «Песочного человека». —

— Плохо что-то припоминаю, — сказал Антон Петрович.

— Ну, из Бальзака. Помните, такой рассказ из итальянской жизни, про актеров: еще главная-то актриса оказалась мужчиной?

— Это неудобно, — чмокнул Антон Петрович, — совсем неудобно: еще примут на свой счет, неудобно. Я лучше уж расскажу из «Дочери шотландского лекаря», про царицу Савскую.

На «царице Савской» и порешили.

Вальтер Скотт в устах Будылина очарует кого хочешь!

* * *

Зима кончалась под знаком «докторши и балерины».

И без толку.

Всякий раз как с Баланцевым таскался Будылин к докторше Кулигиной, всякий раз обязательно на другой же день получались письма.

Но что ж из этих писем?

Решающего ровно ничего.

И как всегда, и на этот раз решила судьба.

Слегла старуха Овсевна: замучилась совсем старуха своим ужасным кашлем. Пришла тетку проведать племянница Нюшка и осталась у Будылина.

И с того вечера, как Нюшка заночевала на кухне, мысли Антона Петровича направились по-другому.

С каждой встречей он стал вглядываться в Нюшку, и чем зорче глядел в ее зверскую рожу, тем больше, казалось ему, отвечала она всем его требованиям.

А во сне снились ему ноги, такие неожиданные, как у той барышни в медвежьем писчебумажном магазине Деллен, — в сером пуховом паголинке.

И вдруг совсем ясно сказал себе Антон Петрович, так и выговорил, что решил жениться, а жениться именно на Нюшке.

Довольно ему в самом деле хороводиться, пора и честь знать.

«Пить ему чай с Нюшкой, ничего не хотеть, ни о чем не думать!»

Жить они будут тихо: Нюшка будет жрать пирожные и все у них будет.

— А старуху к черту!

Антон Петрович грозил брандмауеру, другу своему поверенному и вот уж молчаливому, подлинно, могила.

Хоть под конец жизни хотелось ему простой тихой жизни.

— На лоне природы!

Антон Петрович чмокал, подмигивал все тому же бесчувственному своему каменному другу.

«А ну их, — и докторшу и балерину!»

Он может совсем не заботиться о своем костюме, не надо ему никаких и шнуровых ботинок.

А Нюшке он купит большую шляпку, как у балерины Петровской!

Ему надоела, измучила его эта жизнь со всякими требованиями:

«ведь, уж столько времени он должен чего-то добиваться, беспокоиться, подлаживаться».

А он не хочет больше — не желает!

Нет, новую начнет он жизнь.

— На лоне природы! — по Жан Жаку.

Антон Петрович чмокал, подмигивал другу, причмокивал:

— На лоне природы!

О согласии Нюшки не было вопроса.

Само собой, Нюшка будет только рада или так, что сердцем-то, пожалуй, она никак не отзовется. Ей чего? Ни места искать! Будет Нюшка и на кухне и в комнатах полная хозяйка:

«ешь, пей и спи, сколько влезет!»

Антон Петрович открылся Баланцеву.

Баланцев сразу ровно бы ничего и не понял.

Очень отдаленно начал Антон Петрович и туманно:

> сначала о гностике Василиде — «о бесстрастном отдыхе от муки существования с его вечным гнётом хотения и воли» —
>
> потом о Руссо и про «лоно природы», — а потом уж о решении жениться на Нюшке.

— Алексей Иванович, вы понимаете, мне все надоело! Как перед Богом скажу вам: хочется мне ничего не желать, ни о чем не думать, — на лоне природы!

Что мог ответить Баланцев?

Неприглядная жизнь приятеля вопияла не то хрюком свинячьим, не то со креста воплем души, обреченной на крестное существование, «с вечным гнётом хотения и воли».

— Значит, судьба, Антон Петрович.

Что же еще скажешь!

И было решено: не откладывать в долгий ящик, на Красную горку играть свадьбу —

«Антон Петрович Будылин и Анна Семеновна Пугавкина!»

### 3. НЕКУДА

Задорский только и мог забивать себя работой и работал действительно до упаду.

Он ясно сознавал, что ему «не под силу» была бы жизнь с Машей, и хорошо, что так все произошло:

они расстались.

— Да, не под силу!

Но своей работой совсем от себя, от своего чувства, он не мог оградиться.

Без Маши было пусто. Раньше он как-то и дело-то свое делал для нее: «приедет, расскажет ей». А теперь одни каторжные будни —

«и жить не интересно!»

И вдруг память о Маше пробуждалась со страшной силой:

мстила ему за все часы его забвения.

И в такие раскаленные минуты ему ничего не хотелось, только —

«только бы вернуть!»

Если бы он был пьяница, он напивался бы до бесчувствия в такие минуты.

Но что-нибудь сделать — как-нибудь передать Маше о этой своей мстительной памяти, — у него не хватало воли.

Работа его давила.

И все часы его были разобраны.

Какой-нибудь особенный случай тащил его к делу: он ехал в больницу. Или принимал у себя, пока не застило в глазах, и он не разбирал слов.

Так всякий день — так прожил он зиму.

И когда повеяло весной, пробудилась и память о первой встрече, о первых свиданиях, он так и скорчился весь —

нет, он больше не мог схорониться от своей мстительной памяти и никаким уж делом ему не оградить себя!

Если бы Маша позвонила ему, — он все бы бросил, все свое дело, он сейчас же бы приехал куда угодно.

Он на все согласен, — ему ничего не надо!

«он будет только смотреть и молить о любви».

Последние дни прожил Тимофеев той самой собачонкой, которую, помните, ребятишки, играя в дикую игру, тащат топить —

И отбивается собачонка и говорит по-собачьи, как с взрослыми:

«Что это вы, ребята, затеяли: топить! Ну потопите меня, и не с кем будет играть вам. Бросьте!»

А ребятишки весело с криком и визгом, с загорающимися глазёнками знай себя тащут. —

И несчастная понимает, что дело пропало, — и перестала упираться, повыла — никто не услышал! —

и шла к речке молча, только глядела:

«За что это мне?»

Последние дни прожил Тимофеев отчаянно, как эта несчастная, попавшаяся в какую-то дикую игру, собачонка.

Всякий день было так:

«или ему быть или пропасть».

Всякую минуту могло случиться, и про это так страшно было сказать себе: Маша — — Маша в исступлении отчаяния своего не выдержит и что-нибудь такое сделает над собой!

Бойцовские деньги подходили к концу.

А тут как на грех: слез с трамвая, задумался, хотел билет разорвать, а разорвал пятирублевку.

И все-то неудачи.

Пошел наниматься в контору на Морскую и выходило все благоприятно, да видно, справились на старом месте —

и «решительно» отказали.

И даже в кандидаты записывать отказались.

Отчаяние петлей захлёстывало.

Когда схватит за сердце и станет тесно в доме, хочется на волю, и выходишь — — и не воздухом развеять боль, —

а еще больше растравить себя!

Комнатных стен твоих мало, надо нá люди — к этим движущимся грозящим стенам.

Вот и выходишь —

Никто ничего не видит, никто ничего не чует, а те, кто смотрит и видит — не верят.

И где же найти милосердие — какими жгучими словами или каким кровавым хлывом надо хлестнуть по окаменелому сердцу и пробудить в мире и самое малое участие в человеке к человеку!

Тимофеев тогда ничего не сказал Маше о своей неудаче с местом, боялся еще больше расстроить, и когда выпала тихая минута, он вышел на волю.

Он дошел до Гостиного двора.

Сзади шмыгая, все кто-то словно хотел его обогнать — так показалось ему — и это его забеспокоило и он ускорил шаги.

А тот не отстает — тоже заторопился.

И вот не вытерпел — крепко двинул плечом и оглянулся:

а никто и не думал обгонять его, а толкнул он какую-то женщину, глазеющую на витрину.

«Что же это такое, ни за что человека толкнул!»

И Тимофеев пошел виновато.

В проезде выставлены были игрушки.

Не покупать, а только посмотреть толкнуло его. Ему померещилось: висит деревянная лисица — палочки такие раздвигаются —

*«У лисы бал»*

Подошел он поближе: рассмотреть хорошенько.

— Что вам? — огрызнулся приказчик.

И тут увидел Тимофеев, что это совсем не лисица, а висели солдатики — тоже такие палочки, игрушка.

— А там на палочках лисицы у вас нет? «у лисы бал»?

— Нет, — сурово ответил приказчик.

— А может, была? Лисица на палочках?

— Нет у нас никаких лисицев!

Так и сказал «лисицев» — и что-то важное и грозное в этом «еф» прозвучало.

Приказчик отошел, искоса посматривая на странного покупателя и подозрительно.

Тимофеев вышел из Гостиного и пошел назад по тротуару.

Около ларька, загораживая дорогу, возились ребятишки:

один другого цапнул, тот в долгу не остался, и пошла потасовка.

Грубо он отпихнул кого-то — и хорошо еще, что тот отскочил, а будь послабее, так и ткнулся бы в камень! — и, совсем уничтоженный, заспешил домой.

А сзади смеялись:

— С ребятишками полез в драку: хорош гусь!

«Что же это я? Зачем это я?» — и стыдом заливало

его сердце, как и тогда, как ни с того, ни с чего толкнул женщину у витрины.

А в душе кипело.

Сорвать сердце — крикнуть, как ударить, чтобы вывести из души все ее крики, все бессильные угрозы.

И уж смириться.

— Смириться?

Надрываясь, шел Тимофеев домой — в железную тьму.

С утомлением и от последней истерзанности в душе затихало.

Готовность ко всему открывалась в сердце.

И он покорно просил:

«пусть бы все на него упало — на одного, один он и примет всю муку»

И в чем-то тайном винился.

Ему казалось, что еще день, другой и тогда что-то докажут против него, какую-то тяжкую его вину, которую он не помнит — забыл за днями! — но чует, что виновен.

И он повинится во всем и понесет наказание —

«начнет новую жизнь».

Забытая вина, в которой уличат его, эта вина, в которой повинится он, выпустит его из этой железной клетки.

Но какая была эта вина; в чем, перед кем и когда провинился он?

* * *

Маша глянула так, как давно уж не глядела.

— Знаешь, папочка, какой мне сегодня сон снился!

— Что же тебе снилось?

Тимофеев даже оробел.

— К нам пришел Алексей Иванович, — рассказывала Маша, — а живем мы в двухэтажном доме во втором этаже. «Знаете, говорю я, какой сегодня мне сон снился! Приехала я будто домой, иду по саду и встречаю няньку Ильишну покойницу. «Здравствуй, говорю, нянечка!» «Здравствуй!» И поцеловались. «А знаешь, говорит она, какой мне сон снился!» «Какой, нянечка?» Рядом плечо в плечо идем по саду. «А снилась мне Матерь Божия и говорит она мне: «А какой у нас новый снежок выпал!»

И Тимофеев повторил за Машей:

— Новый снежок выпал —

И белый тихий, как снег, сошел свет.
И стало в доме тихо, как давно не бывало.
Или помирилось в ее немирной душе?
Или оттого, что повеяло весной?
— Хочешь, Маша, пойдем на острова! Там весна.
— Мне больше никуда не хочется.
И Маша пошла к себе — в свою комнату.
И долго там перебирала на своем столе: вынет из шкатулки письма и опять положит, тоже и любимые камушки, — а одно письмо долго держала в руках —
или расставаться не хотелось? а надо —
И вдруг горьким плачем заплакала.
— Неужто всегда так? — бился плач ее.
И слезы — огонь плавучий.
Эти слезы подожгли весь мир с весною, что веяла на воле, и с белым тихим снежком, что приснился в ночь.
И опять затаилось в доме, но не как поутру — другая тишина: свинцовая.
Выждав минуту, тихонько заговорил Тимофеев:
— Решил я: напишу еще раз Бойцову. Денег у нас, деточка, совсем нету. Я все напишу. И поедем куда-нибудь.
— Поедем.
— В Рим, на старую землю, — обрадовался он ее кроткому ответу, — как-нибудь проживем.
— Мне все равно! — резко сказала она.
И вдруг вся изменилась.

## 4. КАНАВНОЕ ПРОЗЯБАНИЕ

Вечером вышел Баланцев пройтись по Каменноостровскому.
С тихим плывом вспоминалась ему его прошлая жизнь.
Он не роптал, что все так вышло — «погубилось его счастье», — не винил никого, ни себя, ни жену, и на судьбу не пенял.
— Значит, так написано, и дело с концом!
И в такие минуты наплывшей тоски затаивался он и тихим становился, словно бы и нет его и не было на свете.
А в мыслях проходили все неодинаковые его годы.
И как мог он так мало ценить свое счастье!

И почему никого не нашлось, кто бы попрекнул его в его счастьи, чтобы почувствовать и уцепиться.

Или все равно, и хоть бы весь мир кричал ему и сам он зубами держался за это свое счастье, счастье ушло бы —

должно было уйти.

— Значит, так написано, и делу конец.

И этот плыв тоски, вдруг подымавшейся и падавшей на сердце, — «невозможность! бесповоротность! судьба!» — и собирали все существо его в какой-то комочек.

Есть вещи, которых при усилии можно добиться и взять, как бы они ни были недоступны —

но есть и невозможное, чего не вернуть и никак не создать.

То, что жена его полюбила другого и ему пришлось покориться, — это ни от кого не зависело: ни от него, ни от нее.

— Так, значит, написано.

И никакого обмана не было: она, полюбив другого, не могла оставаться с ним, и первая же сказала ему со всей беспощадностью своего нового чувства, что ошиблась, и по-настоящему его никогда не любила, а любит другого.

И он покорился.

— Так, значит, написано.

Но позабыть-то невозможно.

И в этой памяти все.

Солнце, подсушившее нарядный Каменноостровский, обратило в невылазное месиво с лужами и колдобинами задворки — боковые улицы.

Без калош Баланцев напрыгался, пока дошел до угла.

Надобно было перейти на ту сторону.

И стал было он приноравливаться, — как бы этак лужу обойти! А тут как раз идет трамвай —

Баланцев приостановился.

И слышит: закричал кто-то —

даже сердце ёкнуло.

«Кто-то попал!» — подумалось ему и с тревогой и с тем любопытством, какое испытывает человек к беде существа живого, человека или собаки, все равно.

Трамвай остановился.

И все, кто слышал крик и кто ничего не слыхал, побежали смотреть:

«кого раздавило?»

— Слава Богу, успел затормозить! — сказал кто-то.

— Только лицо оцарапало.

— Молодая еще. Барышня.

— Жизни-то, видно, не жалко.

Всякий выражался по-своему, но у всех было одно чувство —

«Бог пронес!»

— Слава Богу, успел затормозить!

Баланцев хотел было посмотреть, кого это, кто этот помилованный, да непросохшая лужа, как море, у него под ногами.

И он только прислушивался, всматриваясь на сбежавшихся на чужую беду.

Зеленый весенний вечер проникался дымными сумерками.

Холоднело болотным холодом — петербургским.

Белые фонари зажигались.

Какой-то господин в мягкой измятой шляпе — от белых фонарей очень бледный, белый — усаживал на извозчика барышню:

она была в черном и шляпа черная, лица не разглядишь.

И, усадив, обнял ее, отбивающуюся.

И поехали.

Народ отхлынул.

Трамвай с уверенным звоном — дорогу! дорогу! — уверенно покатил в Новую Деревню.

Расходиться не собирались.

В белом фартуке приказчик из колбасной объяснял любопытным, что барышня — это дочь, а повез ее — отец:

хотела броситься у Аквариума, да отец удержал.

— Отец-то следил за ней. А вырвалась — не уследишь! — и вот здесь лицом прямо на рельсы так и ткнулась.

Баланцев благополучно перешел лужу и пошел вниз по Каменноостровскому.

«Лицом прямо на рельсы ткнулась!» — повторялось, как врезанное.

Он нет-нет да оглядывался.

Какое-то беспокойство охватило его.

Что-то припомнить хотел. И совсем уж оно поддавалось и вдруг ныряло в беспамятство:

отец, усаживающий дочь, господин в мягкой шляпе, до того ему напомнили —

«Лицом прямо на рельсы ткнулась!»

Баланцев остановился.

— «Булочная Пекарь!» — прочитал вывеску и подумал: — «очень вкусный хлеб семейный!»

— Да ведь это Тимофеев и Маша! — вдруг врезалось словом.

И словно хлестнуло его.

Он бросился бежать —

А и бежать-то ему некуда:

за извозчиком? — «в другую сторону поехал извозчик!»

на старую квартиру к Тимофеевым? —

«давно на другую переехали!»

Зеленый свет весенний растворялся в глубоких сумерках белой ночи.

Лиц не разобрать.

Все сливала ночь — и ночь и отчаяние — все лица в одно лицо.

И какое это было лицо: и жестокое и непреклонное —

на огромном коротконогом туловище с болтающимися отвислыми сосками.

И не говорило, а гавкало —

Добежал Баланцев до Троицкого моста.

А оно все тянется, переваливаясь, коротконогое, волоча по камням отвислые соски.

И никогда не кончится — не завьется хряпким тоненьким хвостиком.

И никуда от него не уйти.

— Разве в Неву?

Гордая текла Нева, усмехалась на жалкого злого поползня.

Что ж, она всякого примет, а потом и вышвырнет — осклизлое пучеглазое мясо:

«не надо оно ей, не камушки!»

На пустынном Марсовом поле очутился Баланцев.

И был кругом один на пустынном поле.

И против Марс — «разделяющий» — высоко стоял один чугунный с чугунным копьем.

* * *

Чугуном раздавленный вернулся домой Баланцев.

Бедою всей жизни — всех жизней всего мира переполнилась его душа —

«или ничего не поправишь и ничем не поможешь?»

«и никому нет дела ни до кого?»

— Царь жестоковыйный! — шептал он из своего угла с Малой Монетной весеннему небу разливающейся белой ночи от занывшего распятого сердца последним словом осужденного на вечную муку.

— Царь жестоковыйный, царь судеб мира, разум неисследимый, всемогущая воля! за что бросил меня и их всех, горюющих на земле, в ров львиный? Плачужную канаву? За какую веру или за какое ослушание? Три отрока кинуты были в печь, Даниил в ров за свою веру, прародители, первые люди на земле, брошены были на бесплодную землю — за свою вольность! Они знали свою вину — —

я — я ничего не знаю!

как дурак торчу во рву — в канаве плачужной и дураком несу свое наказание. И вот эти все — вон те и те, все это ползучее на коротких ногах с лицом жестоким, и те — и Будылин и Тимофеев и Маша и Задорский и Овсевна, и они ничего не знают — —

и знает ли кто?

нет, тайна Твоего гнева, а может, не гнева, а милости Твоей к нам, канавным, закрыта для нас, запечатана и никому не откроется. А если другой и скажет, будто что-то узнал — «в утешение» скажет. А мы, дураки, и

поверим. Без веры, что нагишом, и от стыда сгоришь да и замерзнешь. Грешен, я и сам выдумывал всякую небыль в утешение себе, когда моих сил больше не стало выносить канавное заключение. Во рву львином, Ты про это и сам хорошо знаешь, Ты все знаешь, ведь око Твое недремно, проницает всюду всякую пылинку, Ты знаешь, в нашей канаве плачужной все мы устраиваемся, кто как может, по талантам, отпущенным каждому Тобой же, по тала́ну своей судьбы. И первое в нашей жизни — надо так изловчиться, чтобы дом себе построить с крепкой кровлей да надпись написать на воротах для пущей верности, что, мол, твой это дом, — тебе принадлежит. А построив дом и укрепив его, заглуши ты в себе совесть, истопчи ее, если можно, с корнем выдерни из своего сердца, оглуши и оледени свое сердце. И тогда — ничего, еще кое-как можно — и во рву можно. Ведь, только бессовестье спасало и спасет нас от отчаяния, то полетит твой дом к черту — никакие столбы и самые крепкие и самые надежные нипочем не выдержат. И ходи тогда с ручкой, проси милостыню: «добрые люди, не сжалится ли кто, не приютит ли ночь переждать?»

а никому нет дела ни до кого!

и беда твоя так и останется — так и пойдешь с протянутой рукой. Назойливы эти попрошатели, навязчивы эти собаки! — а зато и собаки на них злы. И, конечно, ты же сам во всем и виноват останешься. И поделом тебе: чего дурака валял, не зевай! Хочешь во рву жизнь прожить, хочешь в канаве устроиться, живи, только брось эту дурь — совесть дурацкую! Совесть, что вино, а с вином дела не очень много сделаешь, да и не уйти далеко. И опять вот грех: как вино никак не выведешь, запрещай не запрещай — ни-чего! так и совести не погасишь — ты ее залил и успокоился, а она, как назло, возьмет и вспыхнет, да таким огнем — — Искалечит, калекой пустит по миру: и голова цела и руки-ноги в исправности, а ту́т вот — калека! Да про все это, слышишь ли, да Ты все слышишь! — слышишь ли, и малые дети нынче знают. И надо сказать правду, в нашем канавном углу нашего львиного века укрепилось-таки основательно бессовестье. И даже в цвете духа, вон на тех ступеньках, куда нам

простым и обыкновенным — дуракам! — никак уж не залезть, оно и туда на вершину духа червячком проползло и точит — честолюбием, завистью и черствостью — —

и уж правды, как ног у змеи, нипочем не найти!

ну, и жили ничего, не так чтобы очень, а все-таки — от-дня-ко-дню, от года до году, ничего поскрипываем. Тесно у нас, во рву-то, в канаве нашей, места порожнего не отыщешь. И теснота наша кишит такими лжами, такими скрытями — у свежего человека от духоты голова закружится. А мы свыкаемся. Правда, мутит иногда, и зелень в глазах — —

«Господи, хоть бы форточку открыть, высунуться и разок глотнуть воздух!»

а форточки-то все замазаны — иначе нельзя! — да по замазке еще и бумагой на молоке заклеены. А не замазаны которые, все равно, так набухли от сырости, что разве кулаком высадишь. И другой раз так подойдет, ей-Богу, высадил бы, и опять грех: сил нету — сил нет да и страшно — —

— Царь жестоковыйный, за что Ты меня бросил в это канавное житие? С моим недугом, с моей болью, с моей мукой, с внезапностями, со случайностями, со всею тревогой, с моей тоской жарчайшей? Или это Твоя милость ко мне особенная, и Твое око, проницающее все и последнюю песчинку, Твой глаз обращен ко мне?

и я один — и я за всех?

нет, я недостоин этого, не могу: жалок от рождения моего, я персть исперстная, и никому ничего от меня. Не припомню, какое добро я сделал, утешил кого или зло было от меня, кого оскорбил я больно?

пустое место после меня!

и пусть бы покинутый Тобой, забытый Тобой, во кромешной тьме моего духа — в круге тягчайшего наказания Твоего, болтался б я по ветру, как клочок бумажки гденибудь на топучих задворках, ни о чем не тужа, ничего не жалея: куда ветер, туда и меня. Господи, Твоя милость уж очень жестокая, она непосильна мне, и око Твое, как огонь. Буду все говорить — кому же и сказать? У меня нет никого — —

и я один — и я за всех.

вот иду я, и тоска на меня нахлывает о каких-то днях неканавных, о каком-то времени не плачужном, и, как волчок, завертелся б я от моей тоски жарчайшей, а иду, как шел. И никому в голову не придет, что такое тàм у меня, с моей душой, и какое несу сердце — жалок, ничтожен, а глаза, не моргая, уставлены со всей силой, но и напряженные до боли, мои глаза ничего-то не видят, ничего не проницают — улица, дома, прохожие, все то же, что и всегда —

откуда же эта тоска?

откуда нездешняя память?

или это Твои слуги, вестники, посланные Тобой, как Твоя ко мне милость, они окружили меня и нашептывают мне о том, чего я никогда не узнаю, никогда не увижу здесь, в этой-то — в моей канавной жизни — во рву?

— — — — — — — — — — — — — — — — —

— Царь жестоковыйный, царь жесточайший, никому не придумать такой пытки, ни такой муки, как нас тут изводят! Страда наша канавная поистине равна адовой муке:

вложить в сердце тоску, окрылить ум и бросить в канаву!

не в наказание, знаю, а в милость. И невмоготу нам милость Твоя, Господи —

слышишь ли!

и скажу я, против этой Твоей жестокой милости есть одно средство: обессовеститься и топтать ради собственного своего покоя, кого попало. А есть и еще: взять всю Судьбу Твою и со всеми талáнами судьбы своей отбросить к черту —

свою сделать судьбу себе!

смрадную канаву — ров львиный — обратить в цветущий сад. Вот этими руками, разумом и мудростью, данными Тобой —

Твое обратить против Тебя!

или не выйдет? А почему?

Да потому — — все равно, пропащее дело!

и первое, потому что люди, брошенные в ров львиный, шалеют от беды, от неподъемных трудов, от духоты и тесноты, — а с ошалелым какое может быть дело? Одному нельзя, невозможно, надо сообща сад-то этот садить во рву на дне! А сколько кроме шалых — зачумленных

бедою, сколько еще и дураков и бестолковых на белом свете! Да лучше с последним негодяем, вытравившим в своем сердце всякий след совести, лучше с наглейшим мерзавцем, по крайней мере, ясно и без обольщений, но с добродушнейшим и по-бабьи злым идиотом — — А таких — полмира. И с такой блаженной оравой, с таким идиотским столплением не овладать ни одному вождю — ни демону, ни ангелу — эти идиоты непременно полезут, куда их не просят, и испортят всякое дело в самом же его начале путаницей своей и бессмысленным, бездумным шатанием.

Или никогда не удастся людям и самым смелым
сбросить с себя судьбинное иго — начать по-своему
жизнь по воле не Твоей, а по своей по собственной?

какого рожна, в самом деле, если один какой одаренный разумом и мудростью на свой страх начнет ковать свою судьбу и того смрадного уголка канавы, где живем мы все! Ну, пускай только начнет, да та же идиотская мошкара заест его — и ничего не останется: от гордых дел один прах, который еще и огадят, а от самовольника белый гремячий скелет с ощеренной пастью и пустыми упречными ямами на месте смелых разумных светящихся глаз. «Эй, выходи, сажай свой сад, посмотрим, какой такой сад!» — —

нет, пропащее дело!

но ведь, что-нибудь да надо делать: жизнь-то канавная — невыносимая! Или так только ползти и ползти на волю Божью? Нет, сил нету больше. И вот, чтобы как-нибудь да устроиться в тесноте и тьме канавной, люди исхитрились — отыскали всякие обходные тропки. Бессовестье и ложь — правило жизни: трижды ложь и сорок раз «Господи помилуй!», трижды ложь и сорок высоких человеколюбивейших и обещающих слов, за которыми — ровно ничего. И ничего — потихонечку всякий доживал до своего предела. Ну, а против досадной «случайности» ничего уж не поделаешь, рожóн, капýт — —

Господи, мне вдруг все так ясно, жизнь всю я вижу
человеческую до последнего человека!

и чего ж это люди-то, «человецы на земле», канавные рабы, невольники Твоей всемогущей судьбы, зачем еще тянут они свои дни в тесноте и полном неведении: откуда и за что они выносят болезни, терпят беды, «случайности», опасности и, наконец, весь тот труд — простые дни существования своего с жестокой погоней за хлебом насущным? В какие дома я ни входил, в какие углы ни заглядывал, везде одно и то же:

тягота какая-то всем — и собой и другими!

соберутся в праздник гости — или говорят о выеденном яйце или из газет, осуждают, льстят и лгут, лгут, лгут, и одно только спасает — корм, а если нет и корма, все покроет — жалоба —

какая пустота и жуть от пустоты глухой канавы!

вот вышли из ворот: «Пойти, пройтись!» А я подумал вслед: «Эка, сладко видно в комнате, коли потянуло гулять в такой мороз!» И вспомнил всю смертную скуку и всю тяготу жилых, осклизлых от нужников, застенных жилищ — —

зачем же тянут люди скучнейшее подневольное житье свое да еще с болезнями, бедами, напастями? Что же их держит во рву — в канаве плачужной?

неужто рабий страх? — как поставили, ни с места! Или страх загробных снов — ?

загробных снов — —? Да уж чего страшнее эта сама явственнейшая явь — жизнь канавы, не придумать страшнее!

и все равно, никто ведь не знает своего часа. Все не в нашей власти: как прикажут и распорядятся, так и будет. А ты не смей и пикнуть! Тебя не спросят — !

чего же медлить? Ждать? Раз — и готово, вот Тебе и власть!

а может, и это по Твоей воле, и тут — Твоя судьба, и моя рука — раба Твоей руки? И от Тебя никуда не скроешься?

но все равно, я не хочу больше терпеть —

а нет, канава кишит, ползет — танцует, покорная, рабья под кулаком, под плетью — —

так что ж, что же держит в этом смраде и духоте и беде несносной?

или люди так тупы и корм для них все? И пересуды, лесть и ложь, ложь, ложь — скука — ложь — плевать! Или беспамятны: смазали, утерся, позабыл; попался, ткнули, поджило, валяй сначала! Или такая душевная мелкость, такая скудость духа, бездушье, безголосье, слепота — ?

или я не прав?
и все не так?
и жизнь не ров — не канава?

или ров и канава, но в духоте не душно — вам не душно? — и в смраде легко, как в чистом поле? И все это я лишь с больной головы? И только от своей беды, от себя? А жалобы?

жалоба везде — —

есть же, стало быть, лапа какая-то и на самых заядлых сторожил нашей канавы, возроптавших бы, если бы какой благодетель вздумал вывести всех нас из этого львиного рва — из смрадной канавы в чистое поле? А раз есть и будет вечно жалоба —

ну, я не о всех, не за всех!

и при всей жесточайшей милости Твоей, какая изливается на меня, за всех не смею говорить, я только за себя! —

что же удерживает тебя-то самого быть на белом свете? какая такая приманка, если так безнадежно в тесноте и беде канавной?

— — — — — — — — — — — — —

а идешь по улице среди каменных домов, скованный камнем вместе с улицей, и вдруг солнце — — и так оно засветит и с чего-то на душе тàк вдруг радостно станет, идешь, и ничего уж не чувствуешь, все позабыл —

и только свое сердце, все существо
свое образование!

или осенью, когда желтые палые листья несет ветер по тротуару, а там — догорает заря — — и опять точно схватит —

и какая-то радость пронзит душу!

или зимним днем заскрипит снежок — заметет метель — блестнет от фонаря снежинка — — и как огонь обожжет душу —

и все твое существо заиграет от счастья!

или в грозу, когда ломится небо — — или, что то же, как задумаешь исполнить большую задачу и горами катаешь, вот-вот раздавит, вот сорвешься — — а на сердце тоненький лучик —

и опять от радости играет сердце!

и снова тьма и боль и тревога и —

жалоба!

или еще: улыбнется ли кто — тáк случайно; или заговорит — донесет отдельное слово; или нечаянно взглянет кто — — и от этого взгляда, от этого голоса, от этой улыбки, как перевернет всю душу, и окутает такою небесною негой —

все позабудешь, всю черноту и страх и боль и жалобу
и благословишь, трижды благословишь судьбу!

что это? откуда?

никто ничего не знает! и узнает ли?

или это ангелы Божии сходят в наш ров — и очи их горят в солнце, переливаются в желтых листьях, а в скрипе снега чуется их голос, а в снежинке блестят их белые крылья, а в ломающей грозе шум небесного полета, а в громе скатывающихся гор крепость духа — «святый Боже, святый крепкий!» — и их это свет в скользнувшем взгляде, в нечаянной улыбке, и их это зов в случайно зазвучавшем голосе —

— — — — — — — — — — — — —

— Царь жестоковыйный, терплю и смиряюсь — — эти дары Твои, минуты озарения, эта моя радость —

ради этих минут мы живем, я живу, все потерявший, живет и будет жить Маша с своим отчаянием, и все, кто прихлопнут бедой, и все, кто ранен, все, кому не мил свет, и последняя желанная надежда — смерть,

— Царь жесточайший, только ради этих огненных минут мы все и выносим и боль и беду и болезнь и обиду и клевету. Только потому и кишит канава —

и скажу еще: как ни люто во рву львином и лучше бы вовсе не быть никогда на свете, а как вспомнишь — — и благословишь!

и как бы ни было невыносимо в канаве, где живем мы дураками — ведь, никто, никто-то по истинной по правде ровно ничего не знает, за что все это, за какую веру или за какую вольность? — а и дураками, а будем жить. Милость Твоя жестока, а дары Твои —

премудрые и милосердные они веют орошающим светом, как веяли первому человеку в его унижении на трудной земле, а звездами — нахлывной тоской — пробуждают память — —

от всего моего сердца говорю я, от всей беды моей и беды других, за кем следил в жизни —

звезды! — я вижу, зажглись звезды над нами! — и в звездах — —

воистину: человек человеку — не стена, не бревно! человек человеку — не подлец! человек человеку — дух утешитель.

— Господи, и до чего хорошо на земле в Божьем мире!

Никогда так не бесились блудливо, как в канун кровавой расплаты.

Не знали, чего только придумать!

И танго — последнее слово обреченных — вихрем подхватив полмира, закружило над пропастями.

Никогда не зияли пропасти так бездонно, как в канун кровавой расплаты.

Духовное ощущение в мире притупилось:

смотрели — и не видели,
слушали — и не слышали,
трогали — и не осязали,
порывались — и не чуяли.

Одно безглазое мясное выворачивалось со всеми кишками.

Крупповские трубы без срока дымили небеса — кипела работа над железом: загудут стальные пчелы — пьяной напьется теплотой холодное сердце!

А там — под зуд и стук неугомонных аэропланов собирались стаи черных умнейших птиц: как задымится на развороченной земле человечье парное мясо — будет воронью большая пожива!

А там — под землею, треснувшей под тяжелым колосом, текли белые могильные черви, чтобы начать свою ненасытную жратву — будет и червю праздник!

А там — ковали из серебра две великие чаши: одна — для горчайшей тоски — другая — для горючих слез. —

А там — Демиург скликал демиургов: «Приидите! сотворим человека по образу нашему и подобию!»

И медленно змей из его уст проникал в уста безобразной косолапой мясной человечины.

А там — и вскрылил высоко над обреченной землей карающий ангел и грозный, поднял горящий факел —
и кинул на землю.

## 5. АБРАКЗАС

Стозвонная Европа — родина колоколов, рыцарей и славословящего камня — колыбель Данта, Шекспира, Гёте — я ходил по твоим каменным улицам в канун кровавой расплаты.

Майские нарядные катанья в Париже в Елисейских полях и какие измученные серые лица там — у подножия Святого Сердца — жалкий приют измызганной в постоянном труде бедноты и беспросветно.

Помню весенний праздник в благоговейно поблекшей Флоренции, ее гремячие по-московски мостовые; и другое гулянье в Париже в опустошенном Сен-Клю — какие жалости подобные развлечения, топот дешево разряженной толпы, какая грубь сапог, и только что по-русски не матерят.

Я помню воскресные скучнейшие семейные прогулки в Груневальде, огоньки вечерних Берлинских кафе с бесконечной музыкой и бесчисленными проститутками.

Я вижу в Вене в соборе у Сан-Стефана перед образом Богородицы — какие вереницы страждущих и неумиренных: не отводя измученных глаз с заплаканных очей, глядят.

Жажда чуда и свиное самодовольство — мозолистые будни и убогий праздник, разряженная отупелая сыть и надорванные усталостью и проголодью лохмотья.

Стозвонная Европа — прокрикнутая биржевая глоть...

И какой это жгучий крестный вздвиг быть человеку в человеческой пустыне среди людей! — в звериной пустыне со зверями завиднее доля.

И как это больно иметь живую душу, осененную помыслом быть на земле человеком! — раком в сети завидней: «дави любой, вырывай хвостик!».

* * *

Россия, родина моя дичайшая, с синим скрипучим снегом и тоскующей синью осенних сумерок, с белыми лебедями, белоснежным, златоверхим, краснозвонным Кремлем. —

Россия ленющая, бахвальная, юродивая и разбойная с Пугачевым, Ванькой Каином, Разиным и неисчислимыми «ворами». —

Россия тайновидящая с видениями Достоевского и щемящим сном Льва Толстого, со словом Аввакума, Гоголя и Лескова — тебя ли не помнить в канун кровавой расплаты!

Бакст — Leon Bakst (Лев Самойлович) — прославленный, как Дягилев, Парижем, не забыл петербургские вечера в Казачьем переулке, «обезьяньих старейшин», вспомнил в Париже Россию, свой портрет Розанова, и зимой в канун войны приехал в Петербург на побывку, и из участка — «по правожительства!» — отпущенный под расписку, прямо угодил на самые верхи татуировать петербургских дам.

И запестрели в парикмахерских витринах у Орлова и Жарова невиданные парики: голубые, лиловые, розовые.

А там — и не знаю я, слишком уж проста ты, родина моя несуразная, и за что тебе такая кара и такой великий грозный вздвиг!

А там — и вскрыл высоко над обреченной землей ангел грозный и пламенный, ударил крылом по пламенным водам бездонного подземного озера — и загорелась земля!

* * *

В дни объявления войны, когда в Петербурге невская толпа Невой хлынула на Дворцовую площадь и, стоя на коленях перед Зимним дворцом, видя в царе — образ России, всем народом клялась умереть за Россию. — —

И в первые дни революции, когда та же толпа хлынет Невой по петербургским улицам жечь царский суд — грозу неволи и несправедливости, Баланцев заплачет, как ребенок, поверив в наступление свободной жизни — в новую небывалую Россию.

А потом, в дни урыва и наскока, когда возопит дикая утроба, Баланцев покорно забьется в свой угол на Малой Монетной: «или такая судьба всех дел человеческих? и обещания вождей человечества устроить на земле рай — во рву беды и безглазой тьмы только мечта, только желание?».

* * *

Доктор Задорский, призванный на войну, должен был еще в самом начале войны покинуть Петербург.

Перед отъездом он заехал к Тимофеевым проститься.

И опять, как прежде, засияло в доме.

— Знаете что, — вдруг сказала Маша, — мы больше не увидимся.

И перекрестила его — в последний раз просветили глаза светящиеся, как звезды, какие печальные, какие покорные — в последний раз.

Только любовь видит так ясно: и вправду — в последний раз! не вернуться ему и никогда он не взглянет — ни на кого уж не взглянет.

* * *

Баланцев, разыскавший Тимофеевых вскоре после трамвайного случая на Каменноостровском, был единственным их субботним гостем.

Через Баланцева Тимофеев и на место определился, благо с мобилизацией нужда пошла на непризывных.

А когда началась революция — ведь нет на земле и не было необойденного! — и за жестокой расправой беда, голод, мор, Тимофеев, как и Баланцев, покорно принял судьбу. Никуда, конечно, не побежал, остался в Петербурге вместе со всеми — тем незаметным, но крепким камнем, на котором стоит Россия.

Маша после смерти Задорского, как освобожденная, вышла из круга своей личной судьбы и пошла «в мир». —

Она тоже не покинет Россию — родину мечты и горя. В России во все времена — при всяких царях и владыках — жили люди, и таких многое множество. Это те камни — крепь земли, простые обыкновенные люди: от напастей никуда им не скрыться, где родились, там и смерть — всю тяжесть они и несут на себе. Кто же им-то поможет в беде — в трудных буднях незаметных, совсем негромких? — ведь, у всякого есть свое горе!

Маша сквозь всю черноту и труд жизни пронесет светоч своего умудренного бедой сердца.

* * *

Антон Петрович не женился на Нюшке: представьте, Нюшка не согласилась!

А жил Антон Петрович на Таврической на старой своей квартире, как и прежде. И Овсевна старуха жила на кухне, ну, совсем как прежде.

Когда объявили войну и начались всякие победы и поражения, Антон Петрович только руки потирал от удовольствия: ведь все-то оправдывалось, как по писанному, все было необыкновенно нормально — «по-человечески».

А когда война вошла в обиход жизни, Антон Петрович заметил, что злейший его враг — национализм, кричавший во все пушечное свое горло на всех перекрестках, враг, как оказывается, совсем ничтожный, и бороться с ним только руки пачкать.

Антон Петрович убедился, что дело совсем не в национализме и не национализмом движется вся эта бойня, а той шкурной выгодой, какую извлекают все, кому только ни лень из этой бойни: «война во имя национализма оказалась выгоднейшим предприятием, особым промыслом — им питалось жестокое и увы, неразумное человечество!»

— Всю землю могли бы в парник обратить, идиоты!

Антон Петрович грозил брандмауеру, представляя себе те огромные средства, изобретательность и труд, все несметные богатства, какие ухлопали «культурные народы» на истребление этой самой культуры.

И когда в феврале в Петербурге вышли на Невский с революцией, Антон Петрович даже перекрестился:

— Грядет!

И стал зорко присматриваться: его занимал тот кавардак, какой начинается на земле.

И смерч, взвитнувший над Россией — он верил — летел на запад — —

— Как пустынное солнце! — подмигивал Антон Петрович брандмауеру.

Человек, извлекающий пользу из души и крови, выступал перед ним во всей своей наготе — бездушно, бессовестно с едой и американскими горами, — и обойденность вопияла еще истошней и еще обнаженней лезла в глаза.

И уж с ожесточением кивал он брандмауеру:

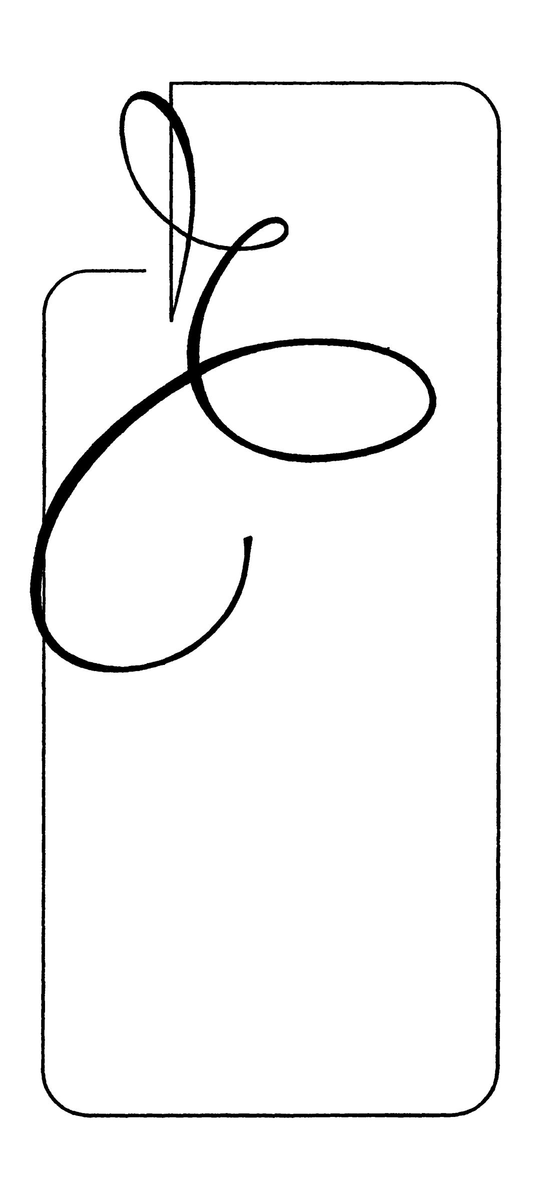
«Родился подлецом и пусть подлец подохнет подлецом, бесстыжий человек!»

Но под жалостью, вдруг нахлывающей на него с неимоверной болью, в мучительной памяти своей о каком-то мальчике Васе, забитом гимназисте, сверстнике своем, спохватываясь, он гавкал, выговаривая на злых духов и свои черные мысли последнее и единственное всесокрушающее заклинание:

«Абраказас!»

1914—18 гг.

# ПРИЛОЖЕНИЯ



# АВТОБИОГРАФИИ

## Алексей Михайлович Ремизов

Моя фамилия Ре́мизов*.

Я, Алексей Михайлович Ремизов, ратник ополчения 2-го разряда, почетный гражданин. Родился я в 1877 году 24 июня в Москве в Замоскворечье. Отец мой Михаил Алексеевич Ремизов — московский 2-ой гильдии купец; торговля отца — *большая галантерея*. Моя мать Мария Александровна Ремизова, урожденная *Найденова*, из знаменитой купеческой семьи Найденовых. Предки мои по отцу Ремизовы — тульские, из города Венёва; предки по матери Найденовы — владимирские, из села Батыева Суздальского уезда.

Учился я сначала у дьякона Василия Егоровича Кудрявцева — дьякон В. Е. Кудрявцев священником теперь у Бориса и Глеба на Арбате, потом учился я в Московской 4-ой гимназии, потом в Александровском коммерческом училище, которое и окончил в 1895 году, потом слушал я лекции в Московском университете, всякие лекции слушал: и о ракообразных и финансовое право, и физику и русскую историю, и о паукообразных и английскую литературу, и многое множество введений, и историю философии права, и о таких мелких живых песчинках, которых «невооруженным глазом» нипочем не увидишь... Зимою по воскресеньям я ходил рисовать в Строгановское училище, летом к учителю музыки Александру Александровичу Скворцову, учился на трубе играть.

Хотел я все произойти, все искусства одолеть, всю мудрость постичь, и ничего не вышло. Рисовать я не научился, — так рогульку еще могу какую, чертей с рогами, елку, а уж коня... чтобы всадник на коне ехал, нет, и трубою тоже не владею, только что в концертах случится иногда бывать, так за трубою непременно, как трубач мундштук прочищает, ну и лекций университетских до конца не дослушал...

В ноябре 1896 года за *полугодовую ходынку* попал и я, грешным делом, в Каменщики — в *губернский тюремный за-*

* Ударение на *ре́*, а не на *ми* (*Примечание А. М. Ремизова*).

*мок* — в Таганскую новую тюрьму. В тюрьме продержали меня до сочельника и на волю выпустили да не домой, а на Рязанский вокзал с околодочным к поезду: ехать мне в Пензенскую губернию на 2 года под *гласный надзор.* Кн[язь] П. Д. Святополк-Мирский, губернатор пензенский, ни в какой Мокшан и никуда в Чембар меня не отослал, а оставил в самой Пензе жить. И все шло тихо и смирно и вдруг опять грех: весной 1898 года опять меня посадили в острог, а весной 1900 года погнали *этапным порядком* через Тулу, через Москву — по Москве сквозь Бутырки в Ярославль, а через Ярославль за тысячу верст за Вологду в зырянский город Устьсысольск на 3 года под гласный надзор.

Весной 1903 года кончилась моя ссылка и положено было отбыть мне еще 5 лет *ограничения,* ни в Москву, ни в Петербург не велели въезжать. В 1903 году я женился на Серафиме Павловне, урожденной *Довгелло.* В 1904 году родилась у нас дочь Наталья. Где-где мы только не жили, отбывая наше ограничение: жили мы и в Херсоне — в Херсоне служил я в театре «Товарищество Новой Драмы» у Вс. Эм. Мейерхольда, был я в театре не актером, а вроде как смотрителем актерским, *пастухом театральным,* жили мы и в Одессе на Молдаванке и в Киеве у Печерской лавры на Зверинце и по другим городам разным и дачам, и углам, и закоулкам. В 1905 году в генваре кн[язь] П. Д. Святополк-Мирский, уж не губернатор, а министр внутренних дел, снял с нас ограничение, и с тех пор живем мы в Петербурге.

Коммерческие познания свои я применял не раз. Кроме мелких поденных и сдельных работ, которые исполнялись походя, служил я в Вологде *бухгалтером* в магазине С. Л. Сегаля — С. Л. Сегаль известный знаток драгоценных камней, служил я и *старым дворецким* при журнале «Вопросы жизни»: хозяйство журнальное вел у Д. Е. Жуковского — Д. Е. Жуковский философ и издатель философских книг. И Соломон Леонтьевич и Димитрий Евгеньевич, хозяева мои, не жаловались, но и медали мне золотой не дали.

Кроме всякой коммерческой арифметики, навык я писать с завитушками. Это хитрое искусство, к которому пристрастил меня еще в гимназии учитель чистописания Александр Родионович Артемьев — Артем, Московского художественного театра артист, я к делу почти не применял, и только что для приятелей да удовольствия своего ради выведешь другой раз в письме какой усик или виноградом заплетешь заглавную букву.

Было мне 2 года, играл я однажды в игру какую-то мудреную: одинокую и молчаливую, взобрался я на комод да с комода и кувырнулся на пол да прямо на железку. С переломанным носом и разорванной верхней губой сидел я, закатившись, посиневший, на полу, а мое белое пикейное платьице — меня наряжали

девочкой — становилось алым от хлеставшей из носу и из губы крови. Сквозь слезы я видел мое алое платьице и злую острую железку, и сидел на полу, не двигался с места, пока не хватились. И вот боль, которая закатила меня, которая меня измазала всего, липкая такая кровь, словно бы открыли мне глаза на мир, чтобы видеть и открыли мне уши к миру, чтобы слышать. С этих пор я отчетливо помню себя, с этих пор я стал вглядываться и вслушиваться, складывая в памяти слова, дела и деяния.

У меня было 2 кормилицы: первая моя кормилица... так я и не дознался, откуда она попала в дом, вторая — баба калужская, мужа ее в солдаты забрали. У меня было 2 няньки: первая нянька — тульская, не замужняя, вторая — зарайская, крепостная, вдовая. От них-то я впервые и услышал чистый русский говор, от них я узнал русские сказки, в их жалобах, в их молитве, в их жизни самой я почуял нашего русского Бога, и принял в сердце беду нашу и страду нашу и терпение. Все они перемерли, уж нет никого в живых, — царствие им небесное!

Всенощные, обедни и ранние и поздние, часы великопостные, ночные приезды в наш дом чудотворных икон, ночные и дневные крестные ходы, хождения по часовням и на богомолье по святым местам, заклинание бесов в Симоновском монастыре, жития из Макарьевских четий-миней, — вот моя первая грамота и наука после сказок, россказней, докук и балагурья.

Детских книг я никаких не читал, ни Жюля Верна не читал, ни Майн-Рида, я хорошо знал церковную службу, много житий всяких мучеников и подвижников и благоразумных разбойников, умел речисто прочитать шестопсалмие и кафизмы, умел пропеть на все 8 гласов, умел звонить, умел и трезвонить.

5-и лет меня отдали к дьякону в науку, 7-и лет мне сшили сапоги и отправили в гимназию учиться, с 12-ти лет я на нос очки надел.

В нашем доме водились книги и русские и нерусские. Моя мать окончила лютеранскую школу Peter-Paulschule, и немецкий язык был ей, что русский. Мать постоянно читала журналы и всякие новые книги. В 12 лет и я уселся за книгу и все читал, все, что только ни попадалось. А чтобы прочитать как можно больше, я по ночам ставил ноги в холодную воду и так читал до утра, забывая и сон и уроки. В год я одолел много книг, много всяких историй и рассуждений, рассказов и романов, и задумал я постичь философию. Как постигнуть философию, какие надо книги читать и так, чтобы все узнать, с этим я обратился к профессору Николаю Андреевичу Звереву, преподававшему в старших классах Александровского коммерческого училища «энциклопедию права». Н. А. Зверев — важный теперь сенатор, в Сенате сидит — отнесся ко мне необыкновенно внимательно и всячески надоумил меня; следуя его указаниям,

равно бы стал я постигать непостижимую премудрость философскую.

— Батюшки, барин, зачитаетесь! — охала нянька, старуха старая: ложилась она, я сидел за книгою, вставала она, я все сидел за книгою.

А книгами философскими пользовал меня гимназист, товарищ старшего брата моего Николая, П. В. Беневоленский и другой гимназист, тоже одноклассник брата моего Николая, Н. П. Суворовский, и книгами, и добрым словом.

В ноябре 1899 года вышла 15 книжка «Вопросов философии и психологии» со статьей В. П. Преображенского о *Ницше* с примечаниями от редакции. И предался я Ницше, как некий святой пещерник нечистому. В 1894 году вышел сборник «Русские символисты» и стихи К. Д. Бальмонта «Под северным небом». Тут я узнал имена Бальмонта и Брюсова, эти первые имена современной русской поэзии, и полюбил их без рассуждения. В 1895 году прочитал я *Метерлинка,* заполонившего меня не меньше самого Ницше. В 1899 году начал выходить журнал «Мир искусства»; художники, объединенные С. П. Дягилевым, с Александром Н[иколаевичем] Бенуа в корню, стали мне любимыми моими спутниками. Тут же я узнал *Льва Шестова и Василия Васильевича Розанова* и записался в их постоянные любительные читатели.

Сам я никогда даже и не думал о писательстве. И всего один раз за все ученические годы мои для ученического журнала написал я рассказ из деревенской жизни — в деревне я никогда не жил! — историю, как убили какого-то священника, очень страшный рассказ — истинное происшествие со слов дворника нашего Афанасия. Предавшись Ницше и Метерлинку, я стал переводить их. И только в тюрьме — в Московском губернском тюремном замке затеял я и собственные свои писания. Мне захотелось описать чувства, человеком испытываемые в тюрьме, застенную нашу неволю, и, принявшись за описание тюрьмы — «вся наша жизнь сесветная — тюрьма!» я имел перед глазами не *Записки из мертвого дома, а Serres chaudes* Метерлинка (Собр. соч. Т. II. В плену).

От сказок и Макарьевских четий-миней через любимых писателей — Достоевского, Толстого, Гоголя, Лескова, Печерского к Ницше и Метерлинку и опять к сказкам и житиям и опять к Достоевскому... Вот она как загнулась дорожка, вот те камушки, по которым шел и иду за тридевять земель в тридесятое царство за живою водой и мертвой.

Проживал в Вологде один ссыльный Б. В. Канин[1]. Уж не раз пробовал перо Б. В. Канин, только не в беллетристике, и

---

[1] В тексте соскоблена фамилия «Савинков» и вместо нее вписан его литературный псевдоним. — *А. Г.*

вот надумал он рассказ сочинить, сочинил рассказ, да с моим *Бебкой* самому Горькому в Арзамас и послал. Не одобрил Горький наших рассказов, ни канинского рассказа, ни моего, а все-таки переслал рукописи в Москву к Л. Н. Андрееву. И 24-го ноября 1892 года* в газете «Курьер» появился *Бебка.*

С Катеринина дня 1892 года я и веду мою писательскую летопись.

В 1902 году мне разрешили побывать в Москве. Первым делом пошел я на Пресню к Л. Н. Андрееву, от Андреева отправился я на Цветной бульвар к В. Я. Брюсову, Брюсов взял у меня для 3-его альманаха «Северных цветов» мою *Красную коробку* (Собр. соч. Т. II). И завязался узелок.

В начале 1903 года П. Е. Щеголев поехал из Вологды в Петербург и рукописи мои не забыл взять. Неусыпными стараниями его попал я к Мережковским в «Новый Путь». Кое-что удалось мне о эту пору поместить при содействии А. В. Тырковой (А. Вергежского) в ярославской газете «Северный Край».

Большую заботливость встретил я у Дмитрия Владимировича Философова: Философов мне и «Мир Искусства» высылал в Вологду, Философов и письма мне о моем *Пруде* писал длинные. Петербургские литературные столпы Ф. К. Сологуб и Вяч. И. Иванов, приняли меня с моими произведениями сочувственно. Первое пригласительное письмо и при том, как к заправскому литератору, я получил от «Грифа» — С. А. Соколова-Кречетова. А книгами пользовал меня Е. В. Аничков и П. Е. Щеголев, и книгами и добрым словом.

Так и пошло мое писательство потихоньку да полегоньку из кулька в рогожку.

Автобиографических произведений у меня нет. Все и во всем автобиография: и мертвец Бородин (Собр. соч. Т. I. Жертва) — я самый и есть, себя описываю, и кот Котофей Котофеич (Собр. соч. Т. IV. К Морю-Океану) — я самый и есть, себя описываю, и Петька (*«Петушок»* в Альманахе XVI Шиповника) тоже я, себя описываю. А мертвец Бородин, известно, чем кончил, а Котофей Котофеич... где он теперь, Котофей, по-хорошему ли пробирается ли к Лиху-одноглазому освобождать свою беленькую Зайку, никто об этом не знает, а Петьку в 1905 году в Москве на Земляном валу на мостовой подняли с простреленной грудью уж окоченевшего.

Петербург, 1912 г.

Алексей Ремизов

Собрание сочинений Алексея Ремизова издано «Шиповником», СПб. 1911—1912 гг. Вышло 8 томов: т. I Неуемный бубен и др[угие] расс[казы]; т. II Часы и др[угие] расск[азы];

---

* Так в рукописи. На самом деле первая публикация Ремизова состоялась в 1902. — *А. Г.*

т. III Бедовая доля и др[угие] расс[казы]; т. IV Пруд; т. V Крестовые сестры и др[угие] расс[казы]; т. VI Сказки — Посолонь и К Морю-Океану; т. VII Отреченные повести — Лимонарь; т. VIII Русальные действа (пьесы).

Переводы Алексея Ремизова: А. Родэ. Гауптман и Ницше. М., 1902 г.; А. фон Леклер. К монистической гносеологии. Изд. Д. Е. Жуковского. СПб., 1904 г.; Пьесы: Андре Жида, Рашильд и др., изд. «Театр и Искусство». СПб., 1908 г.

## Алексей Михайлович Ремизов* — сын московского купца род[ился] 24.VI.1877 г. в Москве

Дед мой, крестьянин Веневского уезда Тульской губернии, сидел на земле, за сохой ходил, пахарь. Отец, Михаил Алексеевич Ремизов, с детства попал из деревни в Москву, определился *мальчиком*** в лавку к Кувшинникову, кипяток таскал, в лавочку бегал, к делу приематривался, так и жил на побегушках, а вышел в люди, сам хозяином сделался: Кувшинникова торговля кончилась, началась Ремизова — *галантерейный магазин М. А. Ремизова,* две лавки в Москве, да две лавки в Нижнем на ярмарке. Без всякого образования, трудом и смёткой, «русским умом» своим отец сам до всего дошел и большим уважением пользовался: у Николы в Толмачах, в нашей приходской церкви, отец долгое время был старостой церковным, а на ярмарке купцы в чалмах да в халатах, страшные и важные такие, отца *большим купцом* величали.

В духовной своей завещал отец на колокол в село на свою родину, и такой наказал колокол отлить гулкий и звонкий: как ударят на селе ко всенощной, чтобы до Москвы хватало за Москва-реку до самых Толмачей.

Этот колокол заветный, невылитый, волшебный, благовестными звонами в вечерний час гулко-полно катящийся с дедовских просторных полей по России — это первый мне родительский завет.

Моя мать — московская купеческая дочь, Марья Александровна Найденова. Образование она получила хорошее, училась на немецкий лад в Петропавловской лютеранской школе и в духовном развитии и устремлениях своих шла вровень с передовыми русскими женщинами своего времени. Жизнь у нее сложилась трудная, но и трудная доля ее, правда, расшатала, а все-таки не сломила в ней *найденовское железо.*

Найденовы — владимирские, из села Батыева Суздальского уезда. В 1765 году прадед мой, крепостной крестьянин капитана Матюшкина, Егор Иванович Найденов продан был московскому

* Ре́мизов — ударение на «е», так выговаривал отец, так и я выговариваю, так и надо. (Примечание *А. М. Ремизова*).

** Выделенное курсивом написано в рукописи красными чернилами. — *А. Г.*

первой гильдии купцу и шелковых фабрик содержателю Панкрату Васильевичу Колосову и водворен на Москве за Земляным городом на Яузе в колосовскую красильню. Начал он учеником, вышел в красильные мастера, походил в мастерах и свое дело завел: Колосовское дело кончилось, началось Найденовское, — в 1816 году уволен из мастеровых и причислен в московское купечество.

Егор Иванович — человек крепкий и выносливый, железный, ничего ему не делалось, и в моровую язву заразился, но и чума не взяла, в 1812 году оставался он в Москве, Москву стерег, и большой был охотник и искусник хитрый: любил медведей травить, петушиные бои чествовал и обучал птиц пению всякому под орган и разговорам всяким человеческим — скворцы прямо, как человеки разговаривали! — сам генерал-губернатор — *главнокомандующий,* прослышав о диковинных канарейках и скворцах ученых, вызвал его к себе с птицами птичью премудрость послушать, но он от такого «начальнического милостивого внимания» отказался, сам не пошел, а своих певунов, птиц чудесных всех до одной отдал посланным безвозвратно. Таков был первый Найденов Егор Иванович, от которого все и пошло. За делами не доглядел, переночевал в нетопленой холодной красильне, схватил горячку и помер.

Дед мой Александр Егорович-*меньшой* продолжал начатое отцом, завел ткацко-набивную и шерстепрядильную фабрику и расширил торговлю, тихий, очень осторожный, очень скрытный, образование получив всего только в приходском училище, он постоянно искал общения с людьми образованными, высоко ценил знание и сам учился, научился по-французски читать — много читал, посещал театры и вел запись виденному, событиям жизни — найденовскую летопись. Вот почему в такой старозаветной русской семье следующее поколение — мои дяди и моя мать получили воспитание на немецкий лад.

Немецкая школа вывела в жизнь третьего Найденова — Николая Александровича Найденова, имя которого сохранит наша история. Начиная с 60-х годов прошлого века до конца 1905 года († 28 ноября 1905 г.) деятельность его в торгово-промышленном мире поистине была *петровская.* С 1876 года стоял он во главе Московского Биржевого Комитета, и большинство крупных экономических преобразований и законодательств всяких прошли при его непосредственном участии. Нрава «задорного», так как сам он выражался о себе в своих воспоминаниях*, с огромными знаниями не только в чисто экономи-

---

* Н. А. Найденов. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном, I. М., 1903 г. (Для лиц, принадлежащих к роду); Селю Батыево. Материалы для истории его населения XVIII—XIX столетий (не для продажи). — *Примечание А. М. Ремизова.*

ческих и юридических науках, но и по истории и археологии, и с большим творческим полетом, весь одаренный, непохожий ни на кого, превратил он свою жизнь — свои дни в какую-то бессменную работу, без передышки, без праздников, без прогулов для крепкой и деятельной, крепко выкованной гордой русской России. Отказавшись при жизни от высокой привилегии — от дворянства, наказал он похоронить себя, как самого простого человека — последнего рабочего, и этой последней волей достойно завершил дело своей жизни.

Рабочая — не шалопайная, трудовая Россия ради России умной, крепкой и гордой, русской России — это мне второй родительский завет.

Я родился в доме отца моего в Малом Толмачевском переулке и все детство провел в Москве, и отрочество, и всю мою юность. Учился я в коммерческом училище, в университете ходил по всем аудиториям и слушал все науки, но курса не кончил, попал в тюрьму. На Рождество Богородицы в 1902 году напечатано в первый раз мое произведение — «Плач» («Плач девушки перед замужеством»).

1913 г.

# КОММЕНТАРИИ

## ЧАСЫ

*Роман*

Впервые опубликован: Часы. Роман. Санкт-Петербург: EOS, 1908.

Другие прижизненные издания: Шиповник 2, 1910; Сирин 2, 1912.

Рукописные источники не обнаружены.

Текст печатается по первому изданию с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации; опечатки исправлены в соответствии с последующей публикацией. Этот выбор мотивируется тем, что во всех посмертных изданиях воспроизводилась вторая редакция романа, сделанная автором в 1910 г для второго тома своих «Сочинений». Однако применительно к творчеству Ремизова нельзя рассматривать последнюю редакцию как заведомо каноническую, ибо все без исключения редакции сосуществуют здесь как равноправные. Между тем в сознании критиков и современников «Часы» ассоциировались прежде всего с первой редакцией, опубликованной в 1908 г отдельным изданием.

Роман «Часы» написан осенью—зимой 1904 г в Киеве, когда Ремизовы, которым после ссылки в Усть-Сысольск и Вологду (1901—1903) запрещалось проживать в Москве и Петербурге, были вынуждены поселиться на юге России (Херсон — Одесса — Киев). О начале работы над «Часами» писатель сообщал своему вологодскому приятелю О. Маделунгу 13 сентября 1904 г.. «Я начал этюды к повести „Часы“ Но за минутами — часами — днями — ночами забот пишется только вспышками» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу / Сост., подгот. текста, предисл. и прим. П. Альберга Енсена и П. У. Мёллера. Copenhagen, 1976. С. 31). Материальная неустроенность, усугубившаяся с прекращением службы Ремизова заведующим литературной частью в «Товариществе новой драмы» В. Э. Мейерхольда и с рождением 18 апреля 1904 г. в Одессе дочери Натальи, стала своеобразным «бытовым фоном», который во многом определил мрачную атмосферу этого произведения. В том же письме к Маделунгу Ремизов с нескрываемой горечью описывал свои житейские обстоятельства: «Думаю и думаю, как выбраться на <д>орогу хоть на некоторое время. С. П. поступила в гимназию учительницей за 30 р. в месяц. И пока выручает. Мечтал одно время поступить учителем чистописания за 10 р. в мес., но дело не выгорело. Вот Вам настоящие заботы. Даже неловко писать, слишком уж прозаично» (там же). Впоследствии Ремизов неоднократно возвращался к этому времени, причем не только в автобиографической прозе. Так, в инскрипте С. П. Ремизовой-Довгелло, сделанном 1 марта 1923 г на

экземпляре первого издания романа (1908), он писал: «О происхождении Часов: это самое больное, о чем со стыдом вспоминаю: это в Киеве — когда ты кормила Наташу и на уроки ходила, а я писал. <...> Помню комнату, почему-то помню всегда, однооконная, узкая и тут же кровать складная походная, и дверь, где ты с Наташей. Пожар помню. Я взял рукопись эту „Часы“, икону и Наташу. <...> Это память начальная — пробивания моего в „люди“» (цит. по: Каталог С. 16—17). А в другой, адресованной ей же дарственной надписи на втором томе «Сочинений» (1910), которая тоже относится к «берлинскому периоду» и помечена 31 июля 1923 г., вновь упоминал о «Часах»: «<...> память это вологодская и киевская — в Киеве самоотверженно занимался. Все-таки человек — упорный! Куда ослу! Писал, помню, и хорошо понимая, что никуда. С „Часами“ — писанием Часов — соединяется у меня тягчайшее чувство — киевская наша жизнь, когда ты уроки давала» (там же. С. 17). «Память вологодская» возникает здесь не случайно. Несмотря на некоторую условность «губернского города», ряд деталей (Собор и Соборная площадь как центр городской жизни, деревянные тротуары и т. д.) указывает на то, что именно Вологда является прообразом места действия романа. В инскрипте жене на английском переводе «Часов» (1924) Ремизов прямо называет их «вологодской повестью» (там же. С. 29). Кроме того, как неоднократно отмечали исследователи и комментаторы ремизовской прозы и эпистолярия, тема часов и образ часового магазина в романе восходят к известному факту из биографии самого писателя: в Вологде Ремизов, получивший специальное образование в московском Александровском коммерческом училище, вел бухгалтерию в часовом магазине, владельцем которого был Соломон Леонтьевич Сегаль, тем более что сына последнего, как и героя «Часов», звали Костя. Следует указать и на то, что у Сегаля была дочь Катя, а его жена Анна Яковлевна, подобно ремизовской героине Христине, считалась красавицей. Однако это не означает, что семейство Сегалей послужило прямым прототипом семьи Клочковых, описанной в романе. В соответствии со своей художественной стратегией, сформировавшейся еще в процессе работы над предыдущим романом «Пруд» (1901—1903), Ремизов нередко использовал в качестве материала факты собственной биографии, преломляя их сквозь призму фольклора и литературной традиции прошлого, в первую очередь образцов древнерусской литературы и произведений русской классики XIX в., и одновременно насыщая текст историческими реалиями и «анекдотами», почерпнутыми из текущей газетной хроники. В результате конкретные житейские коллизии, помещенные в широкий культурный контекст, обретали первоначально не свойственный им философский смысл. Вследствие такой «объективации» (она сродни механизму мифологизации) события, происходившие в действительности, редуцировались до отдельных мелких реалий, выполнявших, среди прочего, функцию «сигналов» автобиографического подтекста. Этот художественный прием позволял поддерживать иллюзию достоверности повествования и провоцировал читателя на поиски прототипов. Между тем сам Ремизов ответственно заявлял: «автобиографических произведений у меня нет <...> ибо не совпадаю я ни с одним из моих героев, и жизнь моя прошла не так, как в рассказах идет» (Письмо к Г. И. Чулкову от 15(28) ноября 1911 г. // РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 46. Л. 14). «Случай Сегаля» типичный пример подобного рода редукции, так как единственное, что связывает вологодского часовщика с текстом рома-

на, — это принадлежность ему магазина, в котором когда-то служил автор. Письма Ремизова к Сегалю, содержащие любопытные бытовые подробности и детали перипетий его литературной карьеры, свидетельствуют о том, что дружеские контакты между ними сохранялись, по крайней мере, до начала 1908 г. (см.: ГЛМ. Ф. 156. И 50920/1—14. ОФ 6453/1—14). Приятельский характер их отношений подтверждается и перепиской с Маделунгом (см.: Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. С. 22, 26, 34, 37 и 40). В поздней прозе Ремизова С. Л. Сегаль, «гармонист и неистощимый острослов» (Иверень. С. 243), неизменно выступает в качестве положительного персонажа (см., например, его беллетризованную переписку с женой (На вечерней заре 1. С. 157—158, 163, 166—168) и книгу «По карнизам» (Белград, 1929. С. 37)). Таким образом, сам Сегаль и члены его семьи вряд ли могли послужить источником для пессимистических построений в «Часах». Когда при публикации второй редакции романа в составе «Сочинений» Ремизов датировал его 1903—1904 г. (Шиповник 2, 1910. С. 147), хотя в действительности работа над текстом началась не ранее второй половины 1904 г., тем самым он указывал на тесную связь этого произведения с другим эпизодом своей жизни в Вологде. В начале 1903 г. между ним и ссыльными во главе с Б. В. Савинковым произошел конфликт из-за отказа будущей жены писателя С. П. Довгелло продолжать революционную деятельность в рядах партии эсеров, и в частности принимать участие в террористических актах создаваемой ими Боевой организации, в чем не без оснований усматривали ремизовское влияние. В результате оба «предателя» подверглись бойкоту, что привело Ремизова к острому переживанию комплекса «подполья» и мучительным размышлениям над феноменом «подпольного сознания» (подробнее об этом см. во вступительной статье и комментарии А. М. Грачевой к переписке Ремизова с П. Е. Щеголевым: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 124—126, 166; а также литературный монтаж вологодских и херсонских писем Ремизова к жене за 1903 г., и в частности раздел «Подполье»: На вечерней заре 1. С. 153—190). Апокалиптические настроения и чувство безвременья как порождения «подпольного сознания» стали впоследствии основной темой «Часов». Поэтому при публикации первой редакции романа в 1908 г. Ремизов посвятил его «Борису С.», т. е. Борису Савинкову. Косвенным подтверждением того, что писатель подразумевал именно Савинкова, может служить точно такой же, продиктованный соображениями конспирации способ обозначения его имени редактором журнала «Золотое руно» Сергеем Соколовым в письме Ремизову от 13 февраля 1906 г.: «Стихи Бориса С. возвращаю» (эта фраза снабжена дешифрующей пометой Ремизова «Бориса Савинкова»; см.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 203. Л. 3). Во второй редакции посвящение Савинкову было снято, а весь второй том «Сочинений» посвящен С. П. Ремизовой-Довгелло.

После отмены запрета на жительство в столичных городах, в феврале 1905 г. Ремизовы переехали из Киева в Петербург и поселились при конторе журнала «Вопросы жизни», в котором писатель служил заведующим редакцией. Бурная культурная жизнь столицы, новые литературные знакомства и обилие работы в журнале, где, помимо прочего, в течение 1905 г. публиковался первый ремизовский роман «Пруд», долгое время не позволяли ему вернуться к тексту

«Часов». Сделать это Ремизов смог только летом 1906 г., уже после закрытия «Вопросов жизни». 24 июня 1906 г. он писал Ф. К. Сологубу из села Берестовец Черниговской губернии, где в имении родственников С. П. Ремизовой-Довгелло жила их дочь Наташа: «Отделал большую вещь в роде чего то <sic!>, написанную первоначально в Киеве 2 года назад в состоянии ужасном, а потому ужасов нагромождено пропасть. Впрочем, нет это не от этого, — не умел владеть собой. Ну, это мой последний грех. Буду просить Вас по осени заглянуть в рукопись <...>» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 410. Л. 4, об. — 5). Сологуб был не единственным, кого Ремизов намеревался познакомить с рукописью своего романа. Один из первых известных нам отзывов на «Часы» принадлежит жене Вяч. Иванова Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Возвращая рукопись, в недатированном письме к Ремизову (судя по содержанию, написано не ранее августа 1906 г.) она делилась своими впечатлениями: «Что касается Часов, простите, милый друг, что я там наколобродила карандашом. Это для себя скорее я писала, т<ак> к<ак> начала с середины и собиралась написать потом сначала и общее мнение. Часто возвращается на мысль это едкое, тоскливое, нервы сосущее произведение. Но, дорогой мой Алексей Михайлович, искристый, истинный талант, мною глубоко почитаемый и с болью любимый, я решусь честно и прямо сказать свое мнение, в объективной истине которого совершенно не уверена. Часы, как и Пруд, *не искусство.* Быть может, они ценны, даже совершенно наверное, но не в царстве Искусства. Это другое, еще небывалое, — это разъедающие червяки, которых вы оживили глодать сердца людей, эти вопящие молитвы, которые исторгаются со скрюченными пальцами, перекошенными губами и злыми и скупыми слезами. Но все, что от искусства, для художников ограничено незыблемою гранью и закованно в броню, как бы незаметна эта броня не была для читателя. У вас нет брони. Нет граней. Все, что от искусства, несет в себе какую-то сферу, разряжающую свое электричество. У вас текут какие-то светящиеся зеленым, бледным, фосфорическим светом линии, все по одному направлению, дрожа и зыблясь и прерываясь, но никогда не встречаясь во взрыве и огне. Все ваши герои слабые, не умеющие сказаться, [нрзб. 1 слово] делающие <?> и бессильные, и бессильна, невысказанна вся сфера их окружения, и нигде даже не рисуется силуэтом то косное, то твердое, обо что могли бы раздробиться их порывы и выбить искры, „на крыльях пламенных несущие пожар“. Ужасно *не то,* все это, что я сказала. *Пишу* очень второпях, но не *думаю* второпях. Поэтому простите форму выражений <...>. Простите и забудьте, если совсем это не то» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 3, об. — 5, об.). Уже летом 1906 г. Ремизов предпринял первую попытку опубликовать «Часы». В конце июля он предложил свою «повесть» Н. П. Рябушинскому, издателю журнала «Золотое руно», с которым чрезвычайно активно сотрудничал в этот период. 24 июля 1906 г. Рябушинский ответил Ремизову: «Повесть присылайте для ознакомления» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 1, об.). Однако вскоре он на два месяца уехал за границу, а по возвращении в начале октября долго не мог приступить к чтению рукописи. В результате редактор литературного отдела «Золотого руна» А. А. Курсинский посчитал, что «Часы» отклонены Рябушинским, а причины отказа уже известны Ремизову, и 9 декабря выслал ему рукопись обратно в Петербург (см. сопроводительное письмо Курсинского автору: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 10).

18 декабря 1906 г. Ремизов сообщал Маделунгу: «„Часов“ не печатают. И Бог весть, когда будут печатать. На днях их мне возвратили без всякого отзыва из „Золот. Руна“. Придется, наверное, отдавать печатать без гонорара» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. С. 41). Вскоре это недоразумение выяснилось, и «Часы» были возвращены в редакцию, где пролежали всю зиму и весну 1907 г. без движения. Наконец, Рябушинский принял, на этот раз мотивированное, окончательное решение. 18 мая 1907 г. он писал Ремизову: «Часы» немного велики, даже очень, и не могут быть напечатаны, так как я решил давать лишь небольшие беллетристические произведения» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 192. Л. 4). Чуть раньше стало очевидным, что не приходится рассчитывать и на отдельное издание (в конце 1906 г. «Золотое руно» выпустило в свет книгу Ремизова «Посолонь»; подробнее об этом см. в т. 2 наст. собрания сочинений), так как еще 5 марта 1907 г., отвечая на ремизовское предложение опубликовать его книгу «Чертов лог», Курсинский выразил сомнения в возможности получить на это согласие Рябушинского и пояснил: «<...> вообще вряд ли будут у нас еще какие-либо отдельные издания» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 135. Л. 15). В это время в Петербурге по инициативе приятеля Ремизова литератора А. С. Рославлева возникло новое издательство «EOS», владельцем которого стал торговец «ломаным железом» из Екатеринослава Константин Львович Саксаганский. Сам Саксаганский был далек от литературы, но зато его жена Анна Семеновна жаждала настоящей столичной славы, ибо уже успела издать отдельными брошюрами целых двадцать пять собственных пьес. Ее стремлением «погрузиться в „литературную пучину“» (Встречи. С. 56) умело воспользовался Рославлев, убедив супругов в необходимости «создать издательство с блестящими именами» (там же), в числе которых назывался и Ремизов. (Между прочим, с рекламными целями список драматических сочинений Анны Саксаганской был помещен в издании «Часов» непосредственно за текстом романа, что впоследствии послужило поводом для иронического описания в книге «Встречи» того, как Рославлев якобы «перечислил все 25» наизусть, чтобы вынудить издателя опубликовать книгу Ремизова (с. 57—58)). 22 сентября 1907 г. К. Л. Саксаганский заключил с Ремизовым договор на издание романа «Часы» тиражом до двух тысяч экземпляров с условием «печатать в средних числах ноября сего года» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 104. Л. 1; здесь же находится договор на издание «EOS'ом» сборника «Чертов лог и Полунощное солнце», который предполагалось начать печатать месяцем раньше, в середине октября 1907 г.). Роман вышел в самом начале апреля 1908 г. и небольшое число экземпляров успело даже поступить в продажу и разойтись, но через несколько дней на него был наложен арест (см. об этом: Речь. 1908. 2 (15) апр. № 79. С. 5; 8 (21) апр. № 84. С. 4). 3 апреля 1908 г. Ремизов сообщал В. Ф. Ходасевичу: «Собирался Вам мой роман „Часы“ послать, да их конфисковали (128 ст<атья>)» (РГАЛИ. Ф. 537. Оп. 1. Ед. хр. 79. Л. 2). О том же уведомили и газеты. Однако 128 статья Уложения о наказаниях применялась к произведениям, в которых цензура усматривала факты неуважения к верховной власти, что совершенно не согласовалось с содержанием ремизовского романа. Вероятно, в этом обвинении можно усмотреть рецидив «поднадзорного» периода в жизни писателя. Поэтому вскоре запрещение по 128 статье было снято, но тут же наложено по более уместной 1001 статье (за порнографию и оскорбление нравственности). Ремизову вменялись в вину два эпизода: рассказ о скотоло-

жестве с собакою и сцена изнасилования Лидочки Костей (подробнее об этом см.: Цехновицер О. В. Символизм и царская цензура // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1941. Вып. 11. № 76. С. 314—315). Наконец, арест был все-таки отменен определением Санкт-Петербургского окружного суда без каких-либо изъятий текста. Впоследствии Ремизов пытался дезавуировать все эти обвинения, утверждая, что произошло недоразумение: внимание цензуры к «Часам» случайно привлекла слишком «откровенная» обложка другого издания «EOS'a» (Встречи. С. 56). Роман был замечен и довольно высоко оценен критикой. Рецензенты дружно восприняли «Часы» как этап на пути художественных исканий писателя, бесспорно обладающего выдающимся литературным талантом. В своем отклике на роман М. О. Гершензон утверждал, что Ремизов — «большое дарование и одна из лучших надежд нашей современной литературы» (М. Г. [Гершензон М. О.] [Рец.] Алексей Ремизов. Часы. Роман. Изд. Eos. СПб., 1908. 174 // Вестник Европы. 1908. № 8. С. 770). Однако это дарование «сказывается в такой странной, <...> чудовищной форме, <...> рассказ ведется так дико-причудливо, такими капризными зигзагами, психология действующих лиц так осложнена намеками, юродством, фантастикой, и, главное, внешняя манера изображения — слог, разговор — так ненужно эксцентрична, что на каждой странице вам хочется с досадою бросить книгу», но останавливает общее с автором «чувство восторженной скорби при виде метущегося во тьме и грязи человечества» (там же. С. 769), ибо «роман в целом есть один надрывный вопль скорби, вырвавшийся из сердца, измученного зрелищем человеческого страдания, уродством человека и его тоскою по небесному» (там же. С. 770). Особенно удачным Гершензону представляется изображение «душевных состояний» Христины Федоровны и Нелидова. И в этой связи у него возникает мысль, ранее уже прозвучавшая в отзыве Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, который мог быть известен критику: «Это уже что-то большее, чем литература: это обнаженное сердце борется, ликует, скорбит перед нами, оно раскрыто до дна, как в счастливейших своих вдохновениях умеют раскрывать его только великие сердцеведы (там же). Не менее высокую оценку таланту Ремизова дал Андрей Белый. Он открыл свою рецензию утверждением: «А. Ремизов — один из первых стилистов наших дней. Мы чтим в нем одного из крупнейших художников» (Яновский [Андрей Белый] [Рец.] Алексей Ремизов. Часы. Издательство «Eos». СПб., 1908. Ц. 1 руб. // Весы. 1908. № 6. С. 67). Однако, по его мнению, несмотря на наличие «ярких страниц» и «удивительных стилистических фокусов», «Часы» являются «шагом назад», так как ремизовский стиль пока «не нашел себе фабулы», поэтому не соблюдается единство формы и содержания, а «часто заемная в основном и лишь усовершенствованная в деталях техника его письма паразитирует на лирике его глубоко-страдающей души» (там же. С. 67—68). С такой оценкой решительно не согласился принадлежавший к противоборствующему символизму лагерю А. И. Куприн: «<...>Ремизову широко знаком и настоящий северный крепкий русский язык, и распоряжается им Ремизов, когда захочет, положительно блестяще, с большой оригинальностью, находчивостью и гибкостью. И природу он чувствует очень тонко <...>», а «диковинные слова: чуча, шкамарда, худорба, надолба, плешняк, нюхало, елдырник, набуркаться, напихтериться, пихтеря, ухаба, шкулепа, гундырка», которые «так и пестрят, так и скачут на каждой странице», черпает «в идиотизмах местной жизни» (А. К. [Куприн А. И.][Рец.] Алексей Ремизов. Часы. Роман. Издание EOS. 1908. СПб. Ц. 1 р. // Современный

мир. 1908. № 7. С. 127). Сравнивая Ремизова с Сологубом, Куприн делает вывод не в пользу последнего: «Умный Сологуб только притворяется старым, серым, пыльным, хитрым домовым, лукаво выглядывающим из-за печной заслонки, Ремизов — настоящий, подлинный колдун» (там же. С. 125). И определяет писателя как «самого крайнего представителя крайнего импрессионизма в современной русской литературе» (там же). Это утверждение явно не прошло мимо внимания Ремизова. Перерабатывая роман для второго тома «Сочинений», он постарался избежать прежде всего импрессионистической неотчетливости текста, прописав целый ряд деталей. Еще один концептуально значимый отклик на «Часы» принадлежит К. И. Чуковскому, который познакомился с романом только в конце 1908 или даже в самом начале 1909 г. В недатированном письме к Ремизову (судя по содержанию, относится именно к этому периоду) он восклицал: «Безумно жалею, что раньше их не читал. Если бы такое течение: мистический анархизм — существовало на самом деле, Ваш роман мог бы быть манифестом этого анархизма. Тема „Часов“ гениальная. Жаль, что мистического анархизма нету» (ГЛМ. Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 58. Л. 1). Вскоре Чуковский опубликовал статью «Вселенская тошнота», где назвал ремизовскую прозу «дневником замордованного жизнью человека» и сформулировал для себя и читателей ту самую «гениальную тему» его романа: «Положительно можно сказать, что нет на свете такой мерзейшей мерзости, которой не описал бы Ремизов. <...> Ремизова тошнит от мира, — от созерцания жизни. <...> он, как никто в нашей литературе, умеет передать читателю это свое чувство вселенской тошноты, мирового головокружения. <...> Прочтите роман „Часы“, — вы поймете, что здесь широчайший захват, необъятные перспективы и что тошнота у Ремизова, поистине, мировая, вселенская и даже метафизическая тошнота. <...> Ремизов фатально неспособен изобразить какое-нибудь движение вперед, какое-нибудь развитие, созревание чего бы то ни было, — чувства или события; всякое нарастание явлений, всякая эволюция для него непередаваема: его романы топчутся на одном месте, и все у него „вдруг“, и все идет по кругу, уходит и вновь ворочается <sic!>, кружится, кружится без конца. Это мировое кружение „рвотных, блевотных, тошнотных“ сил — есть единственная тема Ремизова <...>» (Чуковский К. Заметки читателя. Вселенская тошнота // Речь. 1909. 11(24) янв. № 10. С. 3).

Осенью 1910 г. Ремизов приступил к подготовке собрания сочинений, так как 10 октября передал права на публикацию всех своих произведений, в том числе и тех, которые будут написаны во время действия договора, до 1 января 1918 г., издательству «Шиповник» (авторскую копию договора см. среди писем к нему С. Ю. Копельмана: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 9—10; впоследствии «Шиповник» переуступил свои права издательству «Сирин», которое в 1912 г. повторило все восемь томов). «Часы» были включены во второй том вместе с повестью «В плену» и рассказом «Пожар» под общим заглавием «Рассказы» (жанровое определение «роман» в составе «Сочинений» писатель сохранил только для «Пруда», убрав также и подзаголовки «повесть»). Этот том вышел в свет 8 января 1911 г. Характер и количество ремизовской правки позволяют говорить о принципиально новой, второй редакции романа. В первую очередь, здесь снят эпиграф, введено понятие «глава» в членения текста внутри частей, расширен ряд эпизодов (например, гораздо более подробно повествуется о Нелидове: в частности, выясняется, что он бывший чиновник, актер и учитель,

что учился вместе с Сергеем Клочковым и впоследствии казненным студентом Федоровым в университете, что у него была невеста, которая умерла). Кроме того, Ремизов переименовывает многих героев романа, а безымянным дает имена. Если в первой редакции фамилией Клочков наделяется только Костя, причем лишь в самом конце романа, то во второй и другие члены семьи, и появляется она в первых же строках. Христина Федоровна превращается в Христину Михайловну Клочкову, ее дочь Еленушка — в Ирннушку, кухарка Ольга — в горничную Фросю, а князь Елаваров — в князя Мыловарова. Лидочка получает фамилию Лисицына, Нелидов имя Владимир Николаевич, а студент, в которого влюблена Катя, называется Кузнецовым. И наконец, в текст вносятся значительные стилистические изменения. В многочисленных печатных откликах на отдельные тома и собрание сочинений Ремизова в целом роман «Часы» упоминается в основном в связи с общей проблематикой его творчества и другими произведениями (см.. Рыстенко А. В. Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. Одесса, 1913. С. 31—32, 35, 38, 40, 103—104; Садовской Б. Настоящий // Садовской Б. Ледоход: Статьи и заметки. Пгр., 1916. С. 140—141 (впервые опубл. в 1912 г.) и др.). Стоит процитировать здесь и отзыв присяжного нововременского критика А. А. Бурнакина, который репрезентировал мнение «среднего читателя»: «Сила Ремизова — в факте; он занимательный рассказчик, балагур <...> Когда же действительность не дает Ремизову случаев и происшествий, когда ему негде чудачить и потешать, тогда Ремизов судорожно хватается за „индивидуальные переживания“ и преломляет действительность в изломанном зеркале личного фиглярства и самодурства. Образчиком такого „преломления“ является рассказ <sic!> „Часы“, эта смешная и немощная попытка передоновщины, это натужное стремление выявить и разоблачить козни и маски неприметного „мелкого беса“. Жертвой авторского самодурства служит мальчик Костя, из которого Ремизов, в угоду своим сологубовским тенденциям, делает полуидиота, дегенерата, психического уродца. Уродец этот и является тем зеркалом, с помощью которого Ремизов запечатлевает в диких и странных изломах зло, безумие и бессмыслицу жизни, Божье попустительство, козни нечистого. Ремизовский малолетний Передонов явная клевета на детскую душу, ибо вне дегенерации нет причин его злостному душевному уродству; и весь рассказ „Часы“ — явная выдумка комнатного человечка, вздумавшего судить о жизни на основании предвзятых отвлечений и рассуждений в духе легкомысленного и явно книжного демонизма. <...> в тех рассказах, в которых он обращается к мистическому восприятию, где он мудрствует лукаво о власти судьбы и о бессилии человека, о предопределении и неведении, тут Ремизов <...> зауряд-фальшивомонетчик чувства и настроения, холоднокровно-напыщенный выдумщик страхов и ужасов. Таков весь второй том <. >» (Бурнакин А. [Рец.] Литературные заметки. (Сочинения А. Ремизова. Т. 1 и 2) // Новое время. 1911. 26 марта (8 апр.). № 12585. С. 4).

В последний раз Ремизов вернулся к этому роману в начале 1920-х гг., уже находясь в эмиграции и живя в Германии, где пытался переиздать все свои произведения. Однако «Часы» в новой, «шарлоттенбургской» редакции так и не увидели свет (см. об этом: Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин: 1921—1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris, 1983. С. 185).

Ремизовский роман пользовался популярностью и у переводчиков на европейские языки. Еще в 1911 г. Ладислав Рышавый перевел «Часы» на чешский язык и намеревался опубликовать их в одном из пражских издательств, но, по не известным нам причинам, так и не осуществил свой замысел (подробнее об этом см. в его письмах к Ремизову 1911—1912 гг.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 191). А в 1924 г. английский перевод романа был издан в Лондоне и Нью-Йорке.

С. 3. *Борису С.* — Подразумевается Борис Викторович Савинков (1879—1925; лит. псевдоним — В. Ропшин), член партии эсеров, глава ее Боевой организации, беллетрист, поэт и публицист. Познакомился с Ремизовым в вологодской ссылке, где вместе с ним предпринял первые попытки опубликовать свои художественные произведения (см. об этом: Иверень. С. 193—215). После инцидента, произошедшего между Савинковым и Ремизовым в начале 1903 г. и послужившего «психологическим поводом» к созданию «Часов» (подробнее об этом см. в преамбуле к наст. коммент.), возобновил дружеские контакты с писателем и его женой в середине 1900-х гг. Высоко ценил творчество Ремизова и его мнения о литературе, нередко обращался к нему за профессиональными советами при работе над собственными произведениями. Их отношения продолжались вплоть до отъезда Савинкова в Россию в 1924 г. Ремизов посвятил его памяти очерк «Савинков» (Последние новости (Париж). 1932. 13 марта. № 4008), включенный затем в книгу «Иверень» под названием «Савинков. Le tueur de lions» (с. 264—272).

С. 5. *Ибо, как во дни перед потопом...* — В качестве эпиграфа Ремизов взял слова Христа, обращенные к ученикам в ответ на их вопрос «когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф. 24; 3). Христос предупреждает учеников, что многие попытаются прельстить их, назвавшись его именем, человечество ожидают войны, голод, мор и другие трагические события, за которыми последует знамение Сына Человеческого на небе, а лишь затем непосредственно отвечает на заданный ими вопрос: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один; / Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24; 36—37), и далее раскрывает смысл своих слов в цитируемых Ремизовым двух стихах. Таким образом, эпиграф призван подчеркнуть апокалиптический аспект основной темы романа — время как причина истории и, следовательно, страданий человека. Апокалиптические настроения были широко распространены на рубеже XIX и XX вв., в том числе и в близких писателю литературных и философских кругах. К концу 1900-х гг. общественные интересы переместились в социальную сферу. Поэтому, снимая эпиграф во второй редакции «Часов», Ремизов, скорее всего, стремился переакцентировать внимание читателя с христианской метафизики на экзистенциальную проблематику своего романа.

С. 7. *Костя, почему у тебя нос кривой?* — Деталь внешнего облика самого писателя. В книге «Подстриженными глазами» (Париж, 1951; гл. «Первые сказки») он рассказывает о том, как в двухлетнем возрасте, играя, «влез на комод и с комода упал носом на железную игрушечную печку» (с. 29), «перебив» себе при этом носовой «хрящик», и связывает с данным происшествием собственное «пробуждение» в сознательную жизнь. Эта травма способствовала формированию у Ремизова комплекса неполноценности и, одновременно, своей

исключительности (не как все), который компенсировался в процессе творчества. Кривой или вздернутый нос становится обязательным элементом внешности целого ряда его, как правило автобиографических, персонажей, превращаясь в лейтмотив многих произведений. Носителем юношеских комплексов автора в полной мере является и Костя. Подробнее о ремизовской теме носа, в том числе и в «Часах», см.: Безродный М. Генезис лейтмотивов у А. М. Ремизова // Русская филология. Вып. 5: Сб. студ. науч. работ филол. фак. Тарту, 1977. С. 104—109; Топоров 2. С. 129—132; Горный Е. Заметки о поэтике А. М. Ремизова: «Часы» // В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана: Сб. статей. Тарту, 1992. С. 197—199, 202. В последней работе детально анализируется эротический аспект этой темы.

С. 7. *...не упускали случая ~ посмеяться над уродом.* — Еще один автобиографический мотив. Ср.: «В детстве про меня говорили с досадой да и в глаза: „уродина"» (Встречи. С. 17). Восходит к теме переломленного носа (см. предыдущий коммент.) и роднит героя с главным действующим лицом другого ремизовского романа «Пруд» Колей Огорелышевым (см. об этом: Безродный М. Указ. соч. С. 107).

*...из часового магазина, где служил мальчиком...* — Во время вологодской ссылки сам Ремизов служил бухгалтером в часовом магазине С. Л. Сегаля. Подробнее об этом см. в преамбуле к наст. коммент.

*...заводные ключи* — т. е. ключи, которыми заводят часы. Ср. во второй редакции романа: «В кармане у него гремели часовые ключи» (Шиповник 2. С. 15).

С. 8. *...слились в гадкую пьявку.* — Этот образ, возможно, восходит к книге Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (часть четвертая, и последняя; глава «Пиявка»), где человек, который дал укусить себя десяти пиявкам, называет Заратустру «великой пиявкой совести» (цит. по: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 179). По свидетельству Н. Кодрянской, Ремизов узнал о немецком философе из статьи В. П. Преображенского «Фридрих Ницше: Критика морали альтруизма», опубликованной в 15 книге журнала «Вопросы философии и психологии» за 1892 г., и, находясь в своей первой ссылке в Пензе (1896—1898), сделал перевод «Заратустры», который затем безуспешно пытался опубликовать (Кодрянская. С. 147—148; см. также автобиографию Ремизова 1912 г., где писатель охарактеризовал это свое увлечение следующим образом: «И предался я Ницше, как некий святой пещерник нечистому» (Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 3. С. 440; публикация А. М. Грачевой)). Чуть ниже, в сцене приставания к Ольге (часть первая, глава 4), «несносной пьявкой» будет назван сам Костя.

*— Почему это я дурак? ~ Ну идиот, разница небольшая.* — Отсылка к роману Ф. М. Достоевского «Идиот», в котором разные персонажи постоянно в глаза называют князя Мышкина идиотом, а иногда и дураком. Как и у Достоевского, подобное обращение окружающих с ремизовским героем спровоцировано его непохожестью на других, однако, в отличие от князя Мышкина, для Кости оно является предметом постоянной болезненной рефлексии и причиной жестоких комплексов. С героем Достоевского его сближает и то, что оба они кончают безумием.

С. 12. *Не мог сдержать клокотавшего чувства власти...* — скорее всего,

в этом пассаже содержится намек на центральное понятие философии Ницше «воля к власти», в основе которого лежит представление о мире как непрерывной борьбе соперничающих друг с другом и стремящихся к господству над всеми остальными индивидуальных воль.

С. 12. *...больше всего чай люблю.* — За этим на первый взгляд совершенно нейтральным вкусовым предпочтением персонажа скрывается не только гастрономическое пристрастие самого автора (по свидетельству многих современников, Ремизов всегда любил чай, умел заваривать его особым способом и с радостью потчевал им гостей, а также, в соответствии с принципами собственной поэтики, наделял теми же качествами своих героев), но и отсылка к идеологическому подтексту романа. В книге «Взвихренная Русь» Ремизов вспоминал вологодский спор с Савинковым о революционной деятельности как единственном способе социального поведения, достойном мыслящего человека, в котором сам отстаивал право личности на приватное существование и иной жизненный путь, перефразируя при этом известные слова героя «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Достоевский. Т. 5. С. 174): «А я все хотел спросить: помнит ли он (Б. В. Савинков. — *И. Д.*), как еще в Вологде однажды я вот, как теперь, этот вопрос: „Революция или чай пить?“ Понял ли он — двадцать лет прошло! — что меня тогда мучило? В Вологде, где было так тесно, я чувствовал в себе, как и теперь, этот упор — быть самим собой» (Взвихренная Русь. С. 89—90). Впоследствии ремизовская формула «Революция или чай пить?» стала лейтмотивом его творчества, одной из ключевых идеологем, на которых зиждется историософская концепция писателя. Подробнее об этой «гастрологеме» и, в частности, ее связи с философией В. В. Розанова см.. Доценко С. Обезвелволпал А. М. Ремизова как зеркало русской революции // Europa orientalis. 1997. № 2. С. 310—316.

С. 13. *...из веселого дома «Нового Света»...* — не исключено, что в названии публичного дома в пародийно-сниженном ключе обыгрывается понятие Апокалипсиса «новая земля» (Отк. 21; 1): Новый Свет как новый континент, т. е. новая земля.

*Казенная лавка* — торгующая спиртными напитками. Казенной называлась потому, что в дореволюционной России право производства и продажи вина и водки находилось в монополии у государства и передавалось желающим только в аренду (на откуп).

*Господи, просвети нас...* — во второй редакции эта молитва вложена в уста Костиного двойника безумного юродивого Маркуши-Наполеона (Шиповник 2. С. 22).

С. 14. *Поравнявшись с галантерейным магазином...* — автобиографическая деталь: отец писателя купец 2-й гильдии М. А. Ремизов владел двумя галантерейными магазинами в Москве (в Третьяковском проезде и на Кузнецком мосту) и держал еще две лавки в Нижнем Новгороде на ярмарке.

*Капулек* — мужская прическа; локоны, свисающие на лоб.

*...мудрая головка!* — Эвфемизм, смысл которого сразу же был понят приказчиком, и потому он «гадко хихикнул». Во второй редакции превращен в его прозвище (Шиповник 2. С. 24).

*Чуча* — уродина. В. Даль полагал, что, ныне бранное, это слово произошло от названия первобытного народа (чукча или чудь), населявшего Сибирь и

Пермский край (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 616).

С. 15. *Шкáмарда* — областное слово, заимствованное Ремизовым из работы П. Тиханова «Брянский говор. Заметки из области русской этнологии» (СПб., 1904; Сб. ОРЯС. Т. LXXVI. № 4), где оно определено так: «ругательное выражение, тоже что дрянной человек» (с. 94).

— *Стрекача-то, брат, дашь...* — т. е. пустишься в бега.

*...насидишься в единичном...* — имитация просторечного говора; подразумевается «одиночное заключение». Если в первой редакции общеупотребительная форма встречается впервые только в четвертой главе третьей части, то во второй редакции это просторечье всюду снято.

С. 16. *Залезняк* — колики в животе.

*Худорба* — тощий, худощавый человек.

С. 17. *Надóлба* — тумба, столб; употребляется как ругательство в значении: дубина, пень, дурак, болван.

*Хрундучáть* — здесь: бухтеть, ворчать; от *хрунить* — хныкать как ребенок.

С. 19. *Сухотка* — болезнь истощения, в данном случае, вероятно, как следствие чахотки.

С. 20. *Самоглот* — здесь: обладатель непомерного аппетита. Ср. другое значение этого слова: персонаж ремизовской сказки «Волк-Самоглот» из книги «Посолонь» назван так потому, что ест все подряд без разбора (см. т. 2 наст. изд.).

С. 21. *...а называлась она голубиная...* — Речь идет о легендарной Голубиной книге, упавшей на землю с небес возле кипарисового древа, которое выросло на горе Сионской на месте погребения Адама после потопа. О ней повествуется в широко бытовавшем в народной эпической традиции, и особенно в местах распространения старообрядчества, в том числе и на Русском Севере, духовном стихе XVII в., где утверждается, что Голубиная книга заключает в себе абсолютное знание о жизни, так как посвящена вопросу о начале и конце мира: «...от чего зачался наш белой свет? От чего зачал<о>ся солнцо праведно? От чего зачался и светел месец? От чего зачалася заря утрення? От чего зачалася и вечерняя? От чего зачалася темная ночь? От чего зачалися часты звезды?», и т. д. (цит. по: 60. Голубина книга сорока пядей // Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. СПб., 2000. С. 339). Ремизов был хорошо знаком с разными вариантами этого духовного стиха, включая и процитированный нами, а также со специальной научной литературой о нем.

*...напихтеривался пихтеря...* — т. е. много и жадно ел, набивал брюхо едой подобно тому, как сеном набивают *пихтерь*, высокую корзину раструбом, предназначенную для его переноски. *Пихтеря* — обжора.

С. 24. *Еленочка* — Ремизов называет дочку Христины и Сергея именем своей племянницы Елены Сергеевны Ремизовой (1902—1976), к которой было первоначально обращено его стихотворение «Над колыбелькою» (1902), переадресованное затем собственной дочери Наташе. Именно такая форма ее имени употреблена и в ремизовском письме к П. Е. Щеголеву от 1 ноября 1902 г. (см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 1. Вологда (1902—1903) / Вступит. статья, подгот. текста и коммент. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 144). Этот образ, безусловно, навеян отцовскими переживаниями писателя. Недаром в

следующей главе он перечисляет Наташины игрушки (лисичку, заиньку и медведюшку), а в первой главе четвертой части называет Еленочку «беленькой крошкой» (в книге «Посолонь» это словосочетание устойчиво сопутствует всем сказочным воплощениям дочери). Во второй редакции Ремизов воспользовался именем другой знакомой девочки, дочки художника Б. М. Кустодиева Иринушки, героини его рассказа «Мурка» (1912).

С. 26. *Утивать* — здесь: успокаивать.

*...изливал ~ свою рассолодевшую душу...* — т. е. раскисшую, ослабевшую под воздействием алкоголя.

*Троица* — церковный праздник св. Троицы отмечается в воскресенье на Неделе Пятидесятницы, восьмой по счету после Пасхи.

*Мордоре* — красно-коричневый с золотистым отливом (от фр. *mordoré*).

*Не омег я...* — Омегом называется все невыносимо горькое на вкус, а также трава из семейства зонтичных, растущая по болотам близ стоячих вод. Однако эти значения не подтверждаются контекстом. Вероятно, здесь герой искажает (неправильными словоупотреблениями пестрит вся его речь) название последней буквы греческого алфавита «омега», которое в иносказательном смысле означает «конец», т. е. эту фразу можно интерпретировать как «я не последний человек». Замена женского рода на мужской в данном случае вполне согласуется с брутальными претензиями часового мастера.

*Плеха* (*плёха*) — «брань, намек на развратное поведение» (Зеленин Д. Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию. СПб., 1903. С. 115 (Сб. ОРЯС. Т. LXXVI. № 2)); «блядю́га, проститутка» (Халанский М. Г. Народные говоры Курской губернии. СПб., 1904. С. 21 (То же. № 5)).

С. 27. *Хряпка* — старуха, хрычовка, карга (Даль В. Указ. соч. С. 567). Тиханов приводит другое значение этого слова: «сердцевина капустного кочана, кочерыжка» (Тиханов П. Указ. соч. С. 91).

С. 28. *Городовой спросонья схватился за селедку...* — т. е. за шашку. Бытописатель жизни столицы в конце XIX в. С. Ф. Светлов относит это слово к разряду специфически петербургских (см.: Светлов С. Ф. Петербургская жизнь в конце XIX столетия (в 1892 году). СПб., 1998. С. 39).

С. 29. *Третевошние щи* — приготовленные позавчера.

С. 30. *И не введи нас во искушение...* — цитата из молитвы «Отче наш».

С. 31. *Солнышко — Ведрышко, Выгляни!* — Традиционный зачин приговора или заклички из детского календарного фольклора. Кроме непосредственного знакомства с устной традицией, Ремизов мог воспользоваться и книгой П. А. Бессонова «Детские песни» (М., 1868), где опубликован образец веснянки с подобным зачином (с. 234).

*Если не обратитесь...* — Ремизов неточно цитирует слова Христа в ответ на вопрос учеников «кто больше в Царстве Небесном?» (Мф. 18; 1). Ср.: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18; 3).

*Приидите ко мне!* — Евангельская цитата; ср.: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11; 28).

С. 32. *Заушение* — пощечина.

С. 33. *Рогатина* — вообще род копья с двулезвенным ножом на древке, используемого при охоте на медведя; здесь же подразумевается *рогатка*, продольный брус с вдолбленными в землю крест-накрест палисадинами для преграждения пути.

С 33. *Когда казнили его друга...* — дальнейшие размышления Нелидова восходят к ремизовскому спору с Савинковым об оправданности террора. К моменту публикации «Часов» эта тема стала предметом дискуссии не только в революционных, но и в более широких общественных кругах. Позиция самого Савинкова заявлена в его нашумевших романах «Конь бледный» (1909) и «То, чего не было» (1911).

*Смерть за смерть...* — речь идет о переданном Богом через Моисея ветхозаветном принципе «око за око, зуб за зуб»: «кто убьет человека, того должно предать смерти» (Лев. 24; 20—21). Устанавливая новый завет, Христос утверждает вместо него принцип непротивления злу насилием: «Вы слышали, что сказано: „око за око, и зуб за зуб“. А Я говорю вам: не противься злому» (Мф. 5; 38—39).

С. 34. *...тысячелетние башни ~ Ни одна из них не доросла до небес.* — Аллюзия на Вавилонскую башню, символ человеческой гордыни, проявившейся в стремлении уклониться от предначертанного Божьей волей. В наказание Бог смешал язык строителей башни, после чего они, перестав понимать друг друга, были вынуждены прервать свою работу и разойтись по разным странам. В данном случае имеется в виду относительность и неполнота человеческой мудрости.

*...по случаю каких-то вестей с войны.* — Подразумевается русско-японская война (1904—1905), в начале которой наблюдался подъем патриотических настроений в обществе. Однако затем падение Порт-Артура (1904), поражения при Мукденах и в Цусимском сражении (1905) спровоцировали обострение социального недовольства и в конечном счете стали одной из причин первой русской революции (1905—1907).

С. 38. *...я поступил... в лягушачью веру!* — Костя уверовал в так называемые «чары над лягушкою», распространенное народное суеверие, состоящее в том, что «если иметь крючок и вилочку от пары лягушек, то можно заставить каждого по желанию чувствовать к себе любовь или ненависть» (Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880. С. 271), т. е. обрести абсолютную власть над людьми. В книге И. П. Сахарова «Сказания русского народа», которая служила источником многих сказочных мотивов для Ремизова, подробно описывается этот способ приворота: «*Чары над лягушкою* принадлежат к любовным чарованиям и занесены в русскую землю с Востока. <...> Знахарь приказывает ему (влюбленному. — *И. Д.*) выходить утренними зорями к озерам и ловить лягушек парных. Если он успеет схватить парных лягушек, то должен положить их в продырявленный кувшин и бежать, не оглядываясь, до первой муравьиной кочки и там его зарыть. После этого он должен бежать, также не оглядываясь, до самого дома. <...> Влюбленный идет на третий день к муравьиной кочке, раскапывает и находит *вилку* и *крючок*. Эти орудия делают чудеса в любви. Если хочешь кого заставить поневоле любить себя, то стоит только зацепить девушку этим крючком — и желание увенчано. Если же девушка становится в тягость, то стоит только оттолкнуть вилкою, и она на всю жизнь остается равнодушною к самой горячей любви» (цит. по: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990. С. 85—86). Именно о «крючке», тонкой косточке от лягушачьей лапки, и толкует далее Костя.

С. 39. — *Заячья — это от другого...* — в этом пассаже пародируются представления народной медицины: заячью кровь и мясо используют при лечении

от недержания мочи, сырой мозг — от болезней глаз (см. об этом: Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. С. 419—420). Ремизовская «игра со смыслами» заключается в том, что здесь подразумевается не реальный способ лечения, а символическое значение зайца, которому, вследствие его чрезвычайной плодовитости, в традиционной культуре приписывается особая половая мощь и удаль.

С. 42. *Нáбалмаш* — «не подумавши» (Тиханов П. Указ. соч. С. 59).

С. 43. *Залезняк* — см. коммент. к с. 16.

*Захулить* (от *хула*) — разбранить, признать негодным.

С. 44. *Двугривенный* — серебряная монета достоинством 20 копеек; чеканилась в дореволюционной России с 1760 г.

С. 47. — *...а который молодой человек...* — здесь цитируется нравоописательное лубочное сочинение «Ключ к женскому сердцу, или как надо вести себя в обществе», которое названо чуть ниже; во второй редакции сокращенное название приводится непосредственно перед цитатой.

*...которого ~ сосал хмелевик...* — т. е. мучило похмелье.

*Огузок* — задняя часть чего-либо, а также всякого рода остатки (от *гузно* — зад).

С. 48. *Останный* — здесь: последний.

*Штукарь* — хитрец, фигляр, фокусник.

*...на шармочка норовят...* — пытаются промышлять на чужой счет.

С. 49. *Набуркаться* — набрюзжаться, наворчаться вволю.

*Отходник* — золотарь, занимающийся чисткой отхожих мест.

*...бас, как у Шаляпина...* — По свидетельству самого Ремизова, впервые он услышал Федора Ивановича Шаляпина (1873—1938) еще в свою бытность в Москве, а лично познакомился с ним уже в Петербурге, благодаря С. П. Дягилеву (Встречи. С. 140, 142). Шаляпин упоминается как персонаж снов в книге «Взвихренная Русь». Ему посвящены ремизовские очерки «Шаляпин» и «Царский конь», включенные в книгу «Встречи» (с. 135—146).

С. 51. *Призарить* — вероятно, высмотреть (от *зарить*).

*Взгоркнуть* — загоревать, затосковать, вскручиниться.

С. 52. *...как соляная...* — т. е. подобная соляному столпу, в который превратилась жена Лота, нарушив запрет оглядываться на уничтожаемый огнем с небес Содом (см.: Быт. 19; 26).

С. 53. *Калянный* — закаленный, упорный, упрямый; Тиханов приводит другое значение: «жесткий» (Тиханов П. Указ. соч. С. 50).

С. 54. *Карáндуш* (или *карандыш*) — коротышка, недоросток; у Тиханова: «карлик, человек небольшого роста» (там же. С. 51).

С. 55. *...в какой-то одной стране Бесинии...* — в простонародном сознании Ивана Трофимыча название фантастической для него страны Абиссинии совмещается с распространенным в фольклоре представлением об арапе, негре, чернокожем вообще как бесе (или черте, ведущем свою этимологию от слова «черный»). Стилистически этот пассаж восходит к посланию царя Ивана Индейского Греческому Императору Мануилу (см.: Сказание об индейском царстве // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859. Т. II. Отд. III. С. 100—101), которое Ремизов цитирует и в написанной в 1906 г. апокрифической повести «Что есть табак» (подробнее об этом см. в т. 2 наст. изд.).

С. 55. *Куринасы* — во второй редакции «Часов» особо подчеркивается, что это люди «с кривыми носами», т. е. сразу же устанавливается их непосредственная связь с Костей, который в конце романа, впав в безумие, идентифицирует себя с учителем и сыщиком Куринасом. Е. Горный справедливо отмечает, что совмещение в этом образе носа и яиц превращает его в персонификацию фаллоса (см.: Горный Е. Указ. соч. С. 198). Скорее всего, Ремизов имел в виду не только «орнитологическое» значение, но и внутреннюю форму своего неологизма (кури нас), так как в период работы над первой редакцией романа написал повесть о происхождении табака из дьявольского уда (см. предыдущее прим. и т. 2 наст. изд.). В более позднем рассказе «Аленушка» (1912) куринас («остроносый зверь серый с короткими лапками») назван среди прочих игрушек из собственной коллекции писателя (см.: Ремизов А. Весеннее порошье. СПб., 1915. С. 27).

С. 56. *...он победил смерть.* — Герой отождествляет себя с Христом, который крестным страданием и воскресением победил смерть.

*А Костя ~ извивался в припадке.* — С одной стороны, это аллюзия на припадки падучей у таких героев Достоевского, как князь Мышкин и Смердяков, а с другой, возможно, отсылка к древнерусским повестям о бесноватых Савве Грудцыне и Соломонии, тем более что здесь постепенно происходит переход от собственно Костиного состояния к сцене беснования метели в поле. По позднейшему свидетельству Ремизова, с этими памятниками средневековой русской литературы, переложение которых писатель сделал в 1940-е гг., он впервые познакомился во время вологодской ссылки (Ремизов А. Бесноватые. Савва Грудцын и Соломония. Париж, 1951. С. 8; подробнее об этом см.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и древнерусская культура. СПб., 2000. С. 187—207).

С. 57. *С вечера до петухов, с первых петухов до свету...* — т. е. с вечерней зари до ночи и с полночи до утренней зари. По древней традиции ночь делилась на три фазы: первые петухи (полночь), вторые (до зари) и третьи (заря).

*Незнамый* — неизвестный, неведомый.

С. 58. *Плисовый* — изготовленный из хлопчатобумажной ткани с ворсом.

С. 59. *Планетчик* — астролог.

*Обер* (от нем. *ober* — высший, главный, старший) — офицер, имеющий чин от прапорщика до капитана (с 14 по 9 класс Табели о рангах), что в гражданской службе соответствует чину от коллежского регистратора до титулярного советника.

С. 65. *Павый* — павлиний.

С. 66. *...он не хотел тебе смерти...* — во второй редакции романа причина Катиной болезни объясняется более внятно: в молодости ее отец по легкомыслию случайно заразился, скорее всего, сифилисом, который, вероятно, передался девочке по наследству (см.: Шиповник 2. С. 105—106). Именно поэтому в обеих редакциях он так настойчиво именуется развратником, хотя, на первый взгляд, не дает к тому никакого повода.

С. 67. *Слонять слоны* — ходить без дела, шататься; у Тиханова: «слоны́-слоня́ть» (Тиханов П. Указ. соч. С. 82).

С. 69. *Спрохвала* — «постепенно, не сразу» (там же. С. 83).

С. 71. *Скесов сын* — т. е. чертов сын; от *скес* — черт, сатана, дьявол.

*Ахлять* — слабеть, худеть.

С. 73. — *Так гуляла бондыриха с бондырем...* — вероятно, плясовая народная песня непристойного содержания; возможно, вариант «Камаринской» (см. ком-

мент. к с. 82). На ее абсценный характер указывает, среди прочего, присутствие в тексте бондыря (бочара), который в свадебных песнях символизирует любовника (см. об этом: Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883. С. 10).

С. 74. *Шкулепа* — подразумевается пенис. Скорее всего, слово образовано от *шкуль* (игральная бабка или специальная палка для игры, именуемая также «шляю»).

*...Могол великий!* — Название «Великие моголы» было дано европейцами государям знаменитой тюркской династии бабуридов, основанной султаном Бабуром в 1526 г. Их империя просуществовала вплоть до 1761 г., когда попала под власть англичан.

*Гундырка* (или *гундорка*) — болтун, тараторка; другое областное значение: неуклюжий человек.

С. 75. *Отходники* — см. коммент. к с. 49.

С. 82. *...гремел ~ разудалого камаря...* — Речь идет о знаменитой русской плясовой песне про «комаринского мужика», которая известна во множестве, в том числе и скабрезных, вариантах под названием «Камаринская». Как танец она представляет собой перепляс, главным образом мужской. Музыкальную обработку этой песни сделал М. Глинка в 1848 г.

*...или в разбойники записаться в Чуркины...* — Иван Трофимыч имеет в виду героя популярного лубочного рассказа «Разбойник Чуркин» писателя XIX века Пастухова.

С 85. *Времени больше не будет.* — Неточно цитируется Апокалипсис. Ср.. «времени уже не будет» (Отк. 10; 6).

С. 86. — *Повинен смерти!* — Библейское выражение, означающее «заслуживающий смерти» (см.. Исх. 21, 19; Мф. 26; 66).

*Ратуй* (т. е. *ратату́й*) — «петрушка (pierrot), главный герой всем известной кукольной комедии; название получил от припева им шарманке: „туй-туй-рататуй, туй-туй-рата-туй...“» (Тиханов П. Указ. соч. С. 76).

С. 87. *Аз есмь Господь Бог твой!* — Речевая формула, в разных вариантах широко употребляемая в Ветхом Завете. Свидетельствует о том, что Костя отождествляет себя с Богом.

*Лы́нды лы́ндать* — отлынивать от работы; у Тиханова: «гулять, лениться» (там же. С. 56).

*Он больше не Костя Клочков...* — Здесь впервые, как бы между прочим, возникает фамилия героя, которая во второй редакции несет большую смысловую нагрузку, так как символизирует «разорванность» его сознания. Возможно, ко времени завершения работы над первой редакцией Ремизов еще не до конца осмыслил данный аспект образа Кости. Не исключено, что писатель «нашел» эту фамилию в период службы в журнале «Вопросы жизни». 27 мая 1905 г. один из его редакторов С. Н. Булгаков сообщал Ремизову: «Посылаю статью Клочкова „О народной воле“ к возврату, это статья — „для самообразования“» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 68. Л. 3).

С. 88. *Коноплятый* — рябой, пестрый.

*...закусил ее сахарно-выточенный носик...* — автобиографическая деталь. В книге «Подстриженными глазами» Ремизов вспоминает следующий эпизод из своего детства: «...когда я еще был совсем маленький, меня в колясочке возили, в Сокольниках, а был я ласковый и любил целоваться, и, однажды, поцеловав

какую-то девочку — рассказывая случай, называли имя: Валя — я этой Вале откусил носик» (С. 124). Этот эпизод вошел и в первый роман писателя «Пруд».

С. 88. *Капулек* — см. коммент. к с. 14.

*Шкулепа* — см. коммент. к с. 74.

С. 90. *Саваоф* — одно из имен Бога (буквально: сила воинства); означает Его величие, всемогущество и славу.

С. 93. *...повинной смерти.* — См. коммент. к с. 86.

С. 94. *И не введи нас во искушение...* — цитируется молитва «Отче наш».

## КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ

*Повесть*

Впервые опубликована: Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». СПб., 1910. Кн. 13. С. 159—297.

Другие прижизненные издания: Шиповник 5, 1911; Сирин 5, 1912; М.: Книгоиздательство «Универсальная библиотека», 1918; М.; Пб.; Берлин: Издательство З. И. Гржебина, 1923.

Рукописные источники: Черновая и Наборная рукописи, 1910 — ИРЛИ. Ф. 79 (Архив Р. В. Иванова-Разумника).

Текст публикуется по первому изданию с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации, с исправлением опечаток по другим публикациям.

Замысел и содержание повести «Крестовые сестры» непосредственным образом связаны с обвинением Ремизова в плагиате, которое прозвучало 16 июня 1909 г. в подписанной псевдонимом Мих. Миров статье «Писатель или списыватель?» (БВ. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5—6), где утверждалось, что он выдает народные сказки за собственные. Этот инцидент вызвал значительный резонанс в литературных и издательских кругах и в течение всего лета муссировался в прессе. В защиту писателя выступил в печати М. М. Пришвин, а сам Ремизов был вынужден опубликовать «Письмо в редакцию» (см. Приложения в т. 2 наст. изд.), в котором сформулировал основные принципы своей работы с фольклорными материалами (подробнее об этом см.: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступит. статья, подгот. текста и прим. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 159—173). Само обвинение произвело на него столь сильное впечатление, что даже спустя многие годы Ремизов продолжал вспоминать об этом с нескрываемой горечью (см. например: Кукха. С. 81—83; Встречи. С. 21—30). По позднейшему свидетельству самого писателя, к работе над повестью он приступил в начале осени 1909 г. и сделал пять допечатных редакций (Встречи. С. 30—31). Между тем, согласно архивным материалам, это произошло лишь летом 1910 г., причем сохранились только две рукописные редакции, которые имеют отличия от первой печатной (подробное описание черновой рукописи с пометой «Ждань Боровическ. уезда Новгород. губ. 1910» и наборной рукописи, предназначенной для альманаха издательства «Шиповник», с пометой «Аландские острова. Wandrock 1910» см.: Обатнина Е. Р. Материалы А. М. Ремизова в Архиве Р. В. Иванова-Разумника // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2001. С. 3—23). 14 июня 1910 г. Ремизов, находившийся с 1 июня в санатории М. М. Волковой в деревне

Тур-Киля (Уси-Кирко, Финляндия), сообщал И. А. Рязановскому: «Я по приезде сюда начал рассказ и все дни пишу его, хочется хоть начерно написать. Рассказ из Петербургской жизни: Крестовые сестры. Ведется от первого лица — человека склонившегося. <...> Вернемся из санатории и опять надо голову ломать, как дальше. Вот тут-то у меня на Сестер крестовых и упования. Если б только удалось написать» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 9—10; стоит обратить внимание на то, что во всех известных нам рукописных и печатных редакциях рассказ ведется от третьего лица, а значит речь идет о другой, самой ранней редакции). Два месяца спустя, 9 августа 1910 г. он писал тому же адресату уже с острова Вандрок (Wandrock): «Сижу я все над „Крестовыми сестрами“ — третий месяц идет. Но не от лености тяну, Вы знаете, третий раз переписываю с отделкою. <...> Из Тур-Киля мы уехали 30 июня. До 10-ого июля проживали в Казачьем, а 10-го меня увез к себе (г. Боровичи, Новгородск<ой> г<убернии,> имение Ждань) Е. В. Аничков <...>. У Аничкова сидел я по 18-и <sic!> часов над повестью моей и очень изморился. <...> А с 30 июля здесь на Аландских островах у Иванова Разумника. На этой неделе, в крайнем только случае на той — в Петербург» (там же. Л. 11). Ремизов пробыл в Финляндии до 20 августа, а 5 сентября отправился в Москву (см.: Ремизов А. М. Адреса его и маршруты поездок. 1905—1912 // РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 14). За это короткое время повесть была не только завершена, но и отдана в печать. Уже 18 сентября писатель сообщал Рязановскому: «Перед отъездом в Москву кончил „КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ“ и устроил их в Шиповник. Вчера вышел XIII (13) альманах, в котором они напечатаны» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 12). С этого времени начинается двухлетний период чрезвычайно плодотворного сотрудничества Ремизова с издательством «Шиповник», совладельцы которого З. И. Гржебин и С. Ю. Копельман относились к нему с неизменной симпатией и начиная с осени 1906 г. неоднократно пытались опубликовать ремизовские произведения в своих альманахах, однако по разным причинам их совместная работа долгое время не складывалась (только единожды, в 1909 г., в «шиповииковском» сборнике «Италии» удалось поместить сказку «Мышонок»). 1 июня 1910 г. с писателем был заключен очередной договор на издание книги «„Неуемный бубен“ и другие рассказы» (хранится среди писем к Ремизову С. Ю. Копельмана 1906—1911 гг.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 129. Л. 8—8, об.), впоследствии также не осуществленное. Возможно, именно эти постоянные неудачи и побудили обе стороны действовать столь стремительно при публикации повести. 28 августа 1910 г., всего через неделю после возвращения Ремизова из Финляндии с практически готовой рукописью «Крестовых сестер», Гржебин пригласил его для переговоров в издательство, добавив при этом: «повесть Ваша нам всем очень нравится» (Гржебин З. И. Письма А. М. Ремизову. 1906—1912 // РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 97. Л. 7). А 1 сентября 1910 г. заведующий редакцией Д. Л. Вайс подписал «Условие» о праве на помещение ее в тринадцатом альманахе издательства «Шиповник» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 69. Л. 1—1, об.). Впоследствии Ремизов переосмыслил этот эпизод, умалив роль его реальных участников и приписав заслугу публикации повести Иванову-Разумнику (Встречи. С. 31), который действительно сразу же высоко оценил ее и непосредственно в день выхода в свет напечатал первую статью о «Крестовых сестрах» под названием «Бурков двор» (Русские ведомости. 1910. 17 сент. № 213. С. 2—3). Однако в момент переговоров с «Шиповником»

он, скорее всего, еще не вернулся с Аландских островов в Петербург (см. об этом: Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908—1944 гг.) / Публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступит. заметка и коммент. Е. Обатниной и В. Г. Белоуса // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. СПб., 1998. С. 39). Уже весной у владельцев «Шиповника» возник проект публикации собраний сочинений современных русских и иностранных авторов, в том числе и Ремизова (см письмо Копельмана Ремизову от 22 мая [1910] г.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 129 Л. 5). Успех «Крестовых сестер» среди критиков и у читателей побудил их ускорить заключение договора на издание ремизовских «Сочинений», который был подписан 10 октября 1910 г. (см.: Там же. Л. 9—10; подробнее о нем см выше в преамбуле, предпосланной нашему комментарию к роману «Часы»). В письме к Рязановскому от 13 марта 1911 г. Ремизов упоминал, что «поправляет» повесть (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 19), очевидно, для пятого тома своего собрания сочинений, выпущенного в ноябре 1911 г. Эта работа свелась в основном к незначительной стилистической правке. Единственным существенным вмешательством в текст предыдущей редакции было снятие в начале шестой главы большого абзаца с рассказом о плодотворной деятельности инспектора народных училищ Образцова в Пурховце и Покндошенской губернии. О степени популярности «Крестовых сестер» свидетельствует и поступившее в мае 1916 г. от владельцев московской «Универсальной библиотеки», печатавших массовым тиражом дешевые издания художественных произведений, предложение опубликовать именно эту повесть (см.: Ремизов А. М. Переписка с редакциями и издательствами «Разум», «Северные записки», «Унионо» и др. в связи с изданием его произведений. 1909—1920 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 51; в следующем письме издатели настоятельно просили автора не вносить никаких изменений в текст и предупреждали о желании избежать посылки ему корректуры (там же. Л. 52)). Вероятно, по внелитературным причинам, книга вышла только в сентябре 1918 г. и была воспроизведением редакции, помещенной в пятом томе «Сочинений». Наконец, уже находясь в Германии, Ремизов вновь вернулся к своей повести и сделал новую «шарлоттенбургскую» редакцию (частично изменил разбивку на абзацы и главки, ввел в отдельных случаях разрядки), которая вышла в 1923 г. в берлинском издательстве З. И. Гржебина (см. об этом: Русский Берлин. С. 185). Это последнее прижизненное издание, как и пятый том его собрания сочинений, посвящено С. П. Ремизовой-Довгелло.

Не меньшей популярностью пользовались «Крестовые сестры» у переводчиков. В середине января 1911 г. Ф. Фриш сообщала Ремизову о готовности мюнхенского «Georg Müller Verlag» опубликовать повесть в ее переводе на немецкий язык (см.: Фриш Ф. Письма А. М. Ремизову. 1909—1912 // РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 230. Л. 6). Вскоре к нему обратилось и само издательство (два письма к Ремизову из «Georg Müller Verlag» см.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 256). Этот перевод был выпущен в свет в 1913 г. с предисловием Е. В. Аничкова (черновик его статьи на русском языке сохранился в собрании Б. Ф. Лаврова: РНБ. Ф. 414. Ед. хр. 15). Тогда же, в январе 1911 г., просил у Ремизова разрешить ему сделать перевод «Крестовых сестер» на чешский язык и Ладислав Рышавый (см. его письма к писателю: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 191. Л. 1—4). После долгих издательских перипетий этот перевод был опубликован

в Праге в 1916 г. В 1920-е гг. повесть была переведена на японский, финский и французский языки (переводы опубликованы соответственно в 1924, 1926 и 1929 гг.). В 1930 г. вышла в Торино на итальянском. И наконец, в 1946 г. в Париже было выпущено последнее прижизненное издание «Крестовых сестер» в переводе на французский, выполненном друзьями Ремизова Робером и Зенитой Вивьерами.

И критики, и друзья писателя весьма высоко оценили эту ремизовскую повесть, отметив значительный прогресс в его творчестве. Так, Иванов-Разумник в уже упоминавшейся ранее статье «Бурков двор» прямо заявлял: «...повесть прекрасная, к тому же во многих отношениях являющаяся „центральной вещью“ творчества А. Ремизова, ключом к этому творчеству. <...> и вряд ли я ошибусь, если скажу, что „Крестовые сестры“ были вообще громадным шагом вперед, расцветом таланта Ремизова...» (цит. по: Иванов-Разумник. Творчество и критика. Статьи критические. 1908—1922. СПб., 1922. С. 57, 59). Ему вторил Чуковский: «По-моему, это прекрасное произведение: нервный, напряженный, очень капризный стиль, — мастерская, уверенная лепка каждого образа, — и подлинная выстраданность логики. Впервые Ремизов не тонет в своей теме, не барахтается в ней, а владеет ею вполне, преодолев мучительное косноязычие большой, но „закупоренной“ души», и особо подчеркивал лирический характер «Крестовых сестер»: «Новая повесть Ремизова есть повесть лирическая. <...> и, благодаря этой лиричности, повесть не кажется вам каталогом всяческих подлых анекдотов <...>, а есть подлинный вопль обалдевшей, замордованной, запуганной души» (Чуковский К. Для чего мы живем. («Крестовые сестры», повесть Алексея Ремизова. Альманах «Шиповника» кн. XIII) // Речь. 1910. 26 сент. (9 окт.). № 264. С. 3). Ту же черту отмечал и Иванов-Разумник в своей второй посвященной повести статье «Между „Святой Русью“ и обезьяной. (Творчество Алексея Ремизова)»: «...ужас перед жизнью совмещается в нем с нежным и любовным отношением к этой жизни во всех ее проявлениях» (Речь. 1910. 11(24) окт. № 279. С. 3). Его точку зрения не разделила Е. А. Колтоновская, которая обнаружила в «Крестовых сестрах» исключительно апокалиптические настроения и «философию пассивного фатализма» (Колтоновская Е. А. Пути и настроения молодой литературы // Колтоновская Е. А. Критические этюды. СПб., 1912. С. 31, 36). Напротив, находившийся в этот момент в петербургской тюрьме «Кресты» приятель Ремизова по вологодской ссылке П. Е. Щеголев в письме от 25 сентября 1910 г. приветствовал выход повести: «<...> прочел я прошлого дня „Крестовых сестер“. Поздравляю Вас: вещь хорошая и богатая. Я даже укорил бы Вас за обилие богатств, закрывающих внутреннее содержание. Очень интересно, а, главное, знаменует прогресс в Вашей работе. А у нас совсем нет писателей, которые прогрессировали бы! Потом исполать (т. е. спасибо! — *И. Д.*) Вам за язык. Видно, что пошли Вам на благо и книжки, и Казачий переулок. Вижу, что Вы удовлетворили благородному чувству мщения, выставив начальницу. Вещь капитальная!» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 243. Л. 7, об.). Критик Вл. Кранихфельд, услышавший в «Крестовых сестрах» «подпольные ноты», вместе с тем тоже отмечал и «прогресс» у писателя, и изысканность формы этого произведения: «...появилась новая повесть Ремизова <...>, и она показала, что автор не стоял на месте. Он работал и овладел формой настолько, что отдельные места ее даже поражают чистой прозрачностью рисунка. Собственно говоря, это не повесть, а лирическая поэма, в которой

чувствуется определенный ритм и в которой автор намеренно повторяет отдельные фразы и строфы, периодически останавливая движение фабулы и задерживая внимание читателя на основных, так сказать, лейтмотивах поэмы. Надо признать, что это нововведение исполнено Ремизовым удачно и достигает цели». Кроме того, он обратил внимание и на другую ремизовскую новацию, по мнению критика, позаимствованную им у Сологуба, — «вкрапленные в повесть и внутренне с ней совершенно не связанные намеки на разные текущие события и даже газетные сплетни» (Кранихфельд Вл. Литературные отклики. В подполье // Современный мир. 1910. № 11 (Ноябрь). С. 97). На ту же новацию указал и профессиональный газетный критик А. Бурнакин: «...Ремизов упоенно пользуется услугами хроникеров, повторяя <...> то истории с выигрышными билетами, то анекдоты о босяках, которые едят за рубль целую крысу, то о бабе, которую заперли на чердаке, то о няньке-девчонке, которую обманули и испортили» (Бурнакин А. Новая специальность // Новое время. 1910. 29 окт. № 12440. С. 4). Он отметил также газетное происхождение истории с самоупразднением губернатора и рассказа об инспекторе народных училищ. Обилие мелких деталей, почерпнутых из полицейских отчетов и газетной хроники, счел за недостаток и А. А. Измайлов, который был непосредственно причастен к обвинению Ремизова в плагиате, так как заведовал Литературным отделом «Биржевых ведомостей», инициировавшим публикацию злополучной статьи Мих. Мирова. Вероятно, именно поэтому он жаловался на путаность и неотчетливость («целого нет») текста, якобы затрудняющие его понимание (см.: Измайлов А. Старорусские кружева. (Быль и легенда А. М. Ремизова) // Измайлов А. Пестрые знамена. М., 1913. С. 91). Вскоре появилось и первое монографическое исследование творчества Ремизова на материале восьми томов его «Сочинений» — «Заметки о сочинениях Алексея Ремизова» профессора А. В. Рыстенко (опубликовано в Одессе в 1913 г.), где впервые были отмечены некоторые фольклорные и древнерусские источники ряда мотивов в произведениях писателя, в том числе и в «Крестовых сестрах».

С. 97. *Маракулин дружил с Глотовым ~ Петр Алексеевич ~ Александр Иванович ~ один узкогрудый ~ и усы кота...* — фамилия главного героя повести Маракулин образована от слов *марать, маракать,* т. е. пачкать, чернить бумагу, писать начерно, исправлять писанное, и является прежде всего отсылкой к его сословной принадлежности (отец Маракулина Алексей Иванович был бухгалтером на фабрике Плотникова в Москве, а его сын, закончивший, как и сам автор, московское коммерческое училище, в начале повествования выдает талоны в богатой торговой конторе; знаменательно, что оба служат не в государственных, а в частных учреждениях, и эта черта в свою очередь сближает их с Ремизовым, принадлежавшим по своему происхождению к купеческому сословию). С другой стороны, писатель намекает здесь на маракулинскую страсть к каллиграфии и его детскую мечту стать учителем чистописания. (Подробнее об этом см.: Топоров 1. С. 146.) Фамилия его друга также семантически мотивирована в тексте, так как он становится причиной увольнения героя со службы, т. е. «проглатывает» его. Имена и отчества этих персонажей не менее значимы. Образ Маракулина имеет непосредственное отношение к «петербургскому мифу» и восходит к богатой литературной традиции, в центре которой находится «маленький человек» — двойник и одновременно антагонист основателя Пе-

тербурга. Наделяя собственного героя именем первого российского императора Петра Великого, Ремизов не только маркирует его связь с этой традицией, но и подчеркивает историософский смысл повести (см. об этом: Топоров 1. С. 147—148). А ее автобиографическая подоплека, возможно, отражена в имени Глотова. Современный исследователь усматривает здесь намек на ремизовского «обидчика» критика *Александра* Алексеевича Измайлова (Данилевский А. А. A realioribus ad realia // Литература и история: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту, 1987. С. 103 (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та; вып. 781)). Не исключено, что писатель делает более сложный ход: собственно Александром Ивановичем является другой журналист — газетчик и уголовный хроникер, приятель Ремизова Котылев, который во время скандала с обвинением в плагиате, напротив, находился в лагере его горячих защитников и предлагал разрешить ситуацию при помощи публичного мордобоя (Встречи. С. 24). Вводя в текст его имя и отчество, Ремизов подразумевает не столько реального прототипа, сколько саму моральную атмосферу этого литературного скандала, ибо расценивает последний как характерное проявление феномена «бульварной» прессы. Таким образом, ремизовский сарказм направлен не только на Измайлова, но и на газету «Биржевые ведомости». Тот же прием непрямого противопоставления используется им и при описании внешности героев. Ремизов придает обоим черты портретного сходства с Петром I (один узкогрудый, а у другого усы кота), намекая тем самым на то, что Глотов является двойником-антагонистом Маракулина.

С. 97. *...обоим что-то по тридцать или по тридцать с чем-то...* — герои являются ровесниками автора, так как во время скандала вокруг обвинения в плагиате Ремизову едва исполнилось тридцать два года.

С. 98. *...считает он себе ~ лет двенадцать...* — отсылка к образу князя Мышкина из романа Ф. М. Достоевского «Идиот», которого окружающие воспринимают как очень молодого человека, в то время как ему в начале повествования уже двадцать шесть лет (см., например, реплику генерала Епанчина по этому поводу: Достоевский 8. С. 24).

*...он сроду никогда не плакал...* — Вспоминая собственное детство, Ремизов замечает: «Я видел человеческие слезы <...>, но я не помню, когда бы я сам плакал, а, должно быть, никогда, и если мне бывало больно, я кричал» (Подстриженными глазами. С. 35—36).

С. 99. *...почерком Маракулин славился.* — Сам Ремизов с детства увлекался каллиграфией (см. об этом: Подстриженными глазами. С. 40—48; главы «Каллиграфия» и «Куроляпка») и воспринимал письмо как высокое искусство, превратив его в одну из составляющих собственного художественного и бытового поведения. С 1900-х гг. он писал в основном полууставом, украшая не только рукописи, но и обычные письма старинной вязью. Наделение этим свойством Маракулина еще раз свидетельствует об автобиографичности данного образа. Вместе с тем у него есть и литературный источник: искусством каллиграфии владел и князь Мышкин.

*.. по Невскому...* — подразумевается центральная магистраль Петербурга — Невский проспект, одна из старейших улиц города, официально получившая это название еще в 1738 г.

*...бревном в глазу сидит!* — Неточная цитата из Нагорной проповеди. Ср.: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе

не чувствуешь?» (Мф. 7; 3). Это выражение, вошедшее в пословицу и давно являющееся языковым клише, исподволь вводит в текст одну из двух главных тем повести, которая далее будет сформулирована героем в виде сентенции «человек человеку бревно», где евангельская метафора, соединена с известным латинским изречением («homo homini lupus est» — «человек человеку — волк»). Любопытно, что одновременно здесь дана скрытая отсылка и ко второму идеологическому лейтмотиву «Крестовых сестер» — «обвиноватить никого нельзя», так как цитируемые слова произнесены Христом в пояснение своего завета «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7; 1).

С. 100. *Пасха* — самый древний и главный христианский праздник в ознаменование Воскресения Христова, установленный еще апостолами. Принадлежит к числу подвижных праздников церковного календаря, так как каждый год выпадает на разные дни. Время празднования Пасхи было окончательно определено Первым Вселенским собором: ее отмечают в первое воскресенье после весеннего равноденствия и первого мартовского полнолуния, которое происходит между 22 марта и 19 апреля (здесь и далее все праздничные даты даются по старому стилю), причем последнее число приходится иногда на понедельник, поэтому сам праздник бывает между 22 марта и 24 апреля.

*...вор ~ и экспроприатор.* — Ремизов приводит здесь наиболее обидные для себя выражения Мих. Мирова, на которые обращал особое внимание читателей в своем открытом письме в его защиту и М. М. Пришвин. В частности, он подчеркивал, что статья «Писатель или списыватель?» называет «писателя А. Ремизова вором, экспроприатором и др. именами» (Пришвин М. Плагиатор ли А. Ремизов? (Письмо в редакцию) // Слово. 1909. 21 июня (4 июля). № 833. С. 5), подразумевая следующие пассажи Мих. Мирова: «Русский писатель г. Алексей Ремизов успел уже составить себе имя. <..> Позвольте через посредство „Биржевых Ведомостей“ рассказать читающей публике, как г. Ремизов экспроприирует (другого выражения не подберешь!) свою славу. <...> Для сборника „Италии“ г. Алексей Ремизов принес в редакцию „Шиповника“ „Мышонка“. <...> И мышонок этот, если называть вещи их настоящими именами, оказался краденым. <...> Нельзя, к сожалению, думать, что г. Ремизов увлекся однажды. Увы, я имею право предполагать, что свою экспроприацию г. Ремизов практикует как систему» (Миров Мих. Писатель или списыватель? (Письмо в редакцию) // БВ. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5). Эти инсинуации должны были звучать тем более оскорбительно, что слово «экспроприатор» в значении «вор, грабитель» являлось расхожим термином именно уголовных газетных хроник этого периода, причем «Биржевые ведомости» пользовались им особенно часто.

С. 101. *Аверьянов сказал: — Впредь до выяснения вашего недоразумения я хотел бы с окончательным ответом подождать.* — Здесь почти дословно процитировано письмо редактора журнала «Сатирикон» Аркадия Тимофеевича Аверченко, отправленное Ремизову 18 июня 1909 г. (т. е. через день после появления статьи Мих. Мирова) в ответ на его вопрос о судьбе своих сказок в этом еженедельнике. Ср.: «<...> В „Бирж<евых> Вед<омостях>“ — читал. О первой сказке „Про мертвеца“ — не может быть и речи — она пойдет в одном из ближайших №№ — с примечанием. Что же касается 2-й и 3-й, то, *до выяснения этого недоразумения в печати* (я всецело согласен с Вами отно-

сительно возможности пользования материалом, *конечно, с примечанием*) — я хотел бы с окончательным приемом этих сказок подождать. <...>» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 1; слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым красными чернилами, а заключительная часть пассажа, после тире, отчеркнута слева одной чертой теми же чернилами). Очевидна и игра с фамилией этого ремизовского корреспондента: Аверченко — Аверьянов. В книге «Встречи» Ремизов передает слова Аверченко как сказанные ему в устной беседе (Встречи. С. 22). Между тем в заключение цитированного выше письма тот замечает: «<...> жалею, что не вижу Вас лично» (там же).

С. 101. *...человек человеку зверь ~ человек человеку бревно...* — см. коммент. к с. 99.

*Был он во всем, стал ни в чем.* — Реминисценция из песни «Интернационал» (стихи Э. Потье, рус. перевод А. Коца).

С. 102. *...не хироманту же с Кузнечного...* — имеется в виду хиромант, т. е. гадатель по руке, живущий в Кузнечном переулке, который расположен между Владимирской площадью и Николаевской улицей (ныне ул. Марата) и входит в локус Маракулина. Следует отметить, что в Кузнечном переулке жил и умер Ф. М. Достоевский.

*...на соседа по углам...* — т. е. живущего с хиромантом в одной комнате, обычно находящейся в нижнем или верхнем этаже дома, и снимающего в ней «угол», состоящий в основном из спального места. Подробнее о «петербургских углах», в которых селилась городская беднота в начале XX в., см.: Покровская М. И. По подвалам, чердакам и угловым квартирам Петербурга. СПб., 1903; а также очерк Н. А. Некрасова «Петербургские углы» (1843) в «Физиологии Петербурга» (СПб., 1845).

*...чтобы сердца не изнести...* — здесь: изнурить; износить до ветхого состояния, как одежду.

С. 103. *...по ломбардам либо в Столичный либо в Городской на Владимирский.* — «Санкт-Петербургский столичный ломбард» находился по адресу: Владимирский пр., д. 14, а «Санкт-Петербургский городской ломбард» (Московское отделение) располагался в соседнем доме по адресу: Владимирский пр., д. 16.

*...к часовщику на Гороховой...* — в 1909 г., когда происходит действие повести, на Гороховой ул. находилось семь часовых магазинов и двенадцать мастерских (см.: Весь Петербург на 1909 год. Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Издание А. С. Суворина. [СПб., 1909]. С. 1409—1411).

*...и татарин не берет.* — Имеется в виду обязательный персонаж городской жизни татарин-старьевщик. Петербургская белошвейка М. И. Ключева оставила любопытные воспоминания о приходах в дом старьевщика, относящиеся к рубежу XIX—XX вв.: «Не пропускали ни одного дня, чтобы не посетить нашего двора, казанские татары, они занимались скупкою старых вещей от населения. Они ходили в длинных халатах, на голове носили тюбетейки. Придя на двор, они отрывисто кричали: „Халат, халат", что означало: „Покупаю поношенные и старые вещи: пальто, костюмы, шубы и т. д." Продавцов в бедных домах было достаточно, но платили им очень мало» ([Ключева М. И.] Страницы из жизни Санкт-Петербурга. 1880—1910 / Публ. А. Л. Дмитренко // Невский архив: Историко-краеведческий сборник. СПб., 1997. Вып. 3. С. 206). Сам Ремизов

вспоминал о московских татарах-старьевщиках с их выкличкой «шурум-бурум» в предисловии к книге «Встречи» (С. 9).

С. 103. *Линолевый* — изготовленный из батиста или другого тонкого полотна.

*...поясок боголюбский...* — специальный пояс с вытканной или написанной на нем краской молитвой, носимый на теле как оберег.

*...его помощник Чекуров — бич пошлости...* — подразумевается сотрудник журнала «Сатирикон». См. коммент. к с. 101 и 117.

С. 104. *...квартира на Фонтанке у Обуховского моста...* — речь идет о квартире в доме № 96/1, находящемся на набережной реки Фонтанки, которая вытекает из Невы у Летнего сада, а затем вновь впадает в нее у выхода в Финский залив, пересекая при этом центральную часть города. *Обуховский мост* построен через Фонтанку по Царскосельскому (ныне Московскому) проспекту. Дом Маракулина расположен ближе к другому мосту через Фонтанку — Семеновскому (по Гороховой улице). Он является еще одной автобиографической деталью повести, так как с 22 сентября 1907 по 22 сентября 1910 г. в смежном с ним доме № 9 по Малому Казачьему переулку проживал сам Ремизов, занимавший квартиру № 34 из трех комнат окнами во двор в пятом этаже (Ремизов А. М. Договоры и домашние условия с владельцами квартир на наем площади. 1905—1910 // РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 6—28; см. также: Топоров 1. С. 144, 148—149).

С. 105. *...убилась кошка ~ а то и нарочно, шутки ради, осколком или гвоздиком покормил ее какой любитель...* — реминисценция из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Ч. 4. Кн. 9. Гл. 4. «Жучка»). Коля Красоткин рассказывает Алеше Карамазову: «...каким-то он (Илюша. — *И. Д.*). образом сошелся с лакеем покойного отца вашего <...> Смердяковым, а тот и научи его, дурачка, глупой шутке, то есть зверской шутке, подлой шутке — взять кусок хлеба, мякишу, воткнуть в него булавку и бросить какой-нибудь дворовой собаке <...>. Вот и смастерили они такой кусок и бросили вот этой самой лохматой Жучке...» (Достоевский. Т. 14. С. 480).

*...массажист из бань...* — имеются в виду «Центральные бани, бывшие Егорова», находившиеся по адресу: Большой Казачий пер., д. 11. Ремизов упоминает их под названием «Егоровские бани» в книге «Кукха» (с. 57).

С. 106. *Царское* — т. е. Царское Село.

С. 107. *...из Черемене цкого...* — Черменецкий Богословский мужской монастырь помещался на острове в Черменецком озере к югу от г. Луги в Лужском уезде Санкт-Петербургской губернии.

*На Зелениной...* — улица на Петербургской (ныне Петроградской) стороне, по которой первоначально проходила дорога от Петропавловской крепости к пороховому (зелейному) заводу, отсюда и происходит ее название (зельем в старину называли порох).

*...на Ольгин день...* — память равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении нареченной Еленой, празднуется 11 июля.

*Обводный* — канал, сооруженный в 1803—1835 гг. под руководством военных инженеров Герарда и Базена; его название напоминает о том, что тогда здесь проходила южная граница города.

*...угол снял...* — см. коммент. к с. 102.

С. 108. *...у Воскресения в Таганке...* — церковь Воскресения Христова в

Таганке построена в 1671 г., снесена в начале 1930-х гг., ныне на ее месте находится сквер в самом начале Таганской улицы.

С. 108. *...кроме кухарки Акумовны...* — прислуга Ремизовых, появившаяся в их доме в Малом Казачьем переулке в период, когда писатель приступил к работе над «Крестовыми сестрами» (см. об этом в дарственной надписи С. П. Ремизовой-Довгелло на экземпляре берлинского издания повести: Каталог. С. 24). Упоминается в книге «Взвихренная Русь».

*Аквариум* — ресторан, находившийся на Каменноостровском пр., д. 10; принадлежал Г. А. Александрову.

С. 109. *Размогаться* — разнемочься, заболеть.

*Стояли петровские жары...* — около Петрова дня, праздника первоверховных свв. апостолов Петра и Павла (отмечается 29 июня), обычно стоит сильная жара, а солнце достигает наибольшей летней силы.

*...крещенский мороз.* — Так называются сильные морозы, которые, как правило, бывают на Крещение или Водокрещи — 6 января в день Богоявления Господня, когда совершается водосвятие.

*Акумовна божественная...* — В книге «Крашеные рылá» (Берлин, 1922. С. 133) Ремизов называет Акумовну (см. коммент. к с. 108) «вещая старуха».

С. 110. *Обуховская больница* — общедоступная больница для всех сословий и обоих полов (бесплатная для лиц, уплативших городской больничный сбор); мужское отделение располагалось на наб. р. Фонтанки (д. 106) у Обуховского моста (см. коммент. к с. 104), давшего больнице название, а женское — на Загородном пр. (д. 47).

*Завод Бельгийского Общества* — Бельгийское акционерное общество электрического освещения Петербурга, находилось по адресу: Фонтанка, д. 104/2.

С. 111. *...подновляющийся и подстраивающийся Петербург летом.* — Этот мотив восходит к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

*...мелькает красный крест белых сестер...* — подразумеваются сестры милосердия из Обуховской больницы (см. коммент. к с. 110), вместе с тем здесь, как это было ранее с другими лейтмотивами, исподволь вводится одна из ключевых тем повести.

*Бурков дом — весь Петербург.* — Ремизовская повесть, помимо религиозно-философской проблематики, насыщена скрупулезно точным бытописанием и потому вполне укладывается в жанровую традицию «физиологии Петербурга», осложненную «петербургским мифом» с его устойчивыми идеологемами и, что особенно важно для этого писателя, литературными текстами-источниками от Пушкина и Гоголя до Достоевского. Бурков дом и прилегающие к нему участки города составляют обособленное и самодостаточное пространство, репрезентирующее «весь Петербург» (о символическом аспекте этого образа см.: Топоров 1. С. 145—146). Выбирая в качестве эквивалента мегаполиса именно доходный дом, Ремизов наследует сложившемуся в XIX в. устойчивому представлению о нем как «Ноевом ковчеге» (А. И. Герцен), идеальной модели социальной структуры города (подробнее об этом см. в комментарии А. М. Конечного к воспоминаниям С. Ф. Светлова «Петербургская жизнь в конце XIX столетия» (с. 118—120)). Однако, как часто бывает у Ремизова, его формула одновременно подразумевает и конкретное печатное издание — адресную книгу «Весь Петербург», на протяжении многих лет издававшуюся А. С. Сувориным.

С. 111. *...генеральша Холмогорова или вошь...* — аллюзия на образ старухи-процентщицы из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 112. *...на Загородном в церкви...* — имеется в виду собор Введения во храм Пресвятой Богородицы и Св. Иакова (нижняя церковь), полковой храм лейб-гвардии Семеновского полка, построенный в 1837—1842 гг. по проекту архитектора А. К. Тона при участии А. К. Росси, Н. Л. Бенуа и К. К. Мейснера, находился напротив Царскосельского (ныне Витебского) вокзала на Загородном пр. между д. 45 и 47; снесен в 1933 г., за счет чего расширен сквер, ранее примыкавший к собору.

*...в полдень по пушке...* — подразумевается одна из старейших петербургских традиций отмечать наступление полдня выстрелом пушки с равелина Петропавловской крепости, сохранившаяся до наших дней.

*...на Неве из пушек палят: не то покушение, не то наводнение.* — Пушечным выстрелом из Петропавловской крепости горожан исстари предупреждали о начале наводнения, а также о других экстраординарных событиях (прежде всего смерти государя), так как до постройки постоянных мостов через Неву сообщение между разными частями города, особенно весной и осенью, было затруднено. Ремизов подразумевает здесь также участившиеся с середины 1900-х гг. покушения на государственных деятелей.

С. 113. *...с Гороховой и Загородного...* — Гороховая, одна из первых улиц Петербурга, проходит между Адмиралтейским и Загородным проспектами в непосредственной близости от Буркова дома и является средней из радиально расположенных магистралей, которые сходятся у Адмиралтейства (две другие — это Невский и Вознесенский проспекты). Загородный проспект тянется от Владимирской площади до Забалканского (ныне Московского) проспекта и ограничивает участок, где помещается Бурков дом, с юга. Сохранился авторский экземпляр берлинского издания «Крестовых сестер» с наклеенным на форзаце рисунком Ремизова, изображающим план этой части города, куда включены три радиальные улицы, расходящиеся лучами от Адмиралтейства, Фонтанка, Загородный и Малый Казачий переулок с обозначением дома (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 112).

*Марсово поле* — в начале XVIII в. здесь было топкое болото, из которого вытекали две речки Мья (будущая Мойка) и Кривуша (будущий Екатерининский канал; ныне канал Грибоедова). Петр I приказал осушить его и устроить луг для зверинца, затем на нем демонстрировали фейерверки, проводили военные смотры и парады, что и побудило назвать этот плац в честь бога войны. В XIX в. вплоть до 1897 г. на Масленицу и Пасху здесь устраивали гулянья с балаганами, сопровождавшиеся оживленной торговлей съестным (подробнее об этом см.: Петербургские балаганы. СПб., 2000).

*...на Пасху...* — см. коммент. к с. 100.

*...Христос воскресе...* — главный стих пасхального канона, исполняемый во время праздничной заутрени; на протяжении всей пасхальной недели верующие приветствуют друг друга его начальными словами; в это же время он обязательно включается и в чин отпевания.

*Дули* — груши.

С. 114. *Шептала* — сушеные персики.

*Невская лавра* — Александро-Невская Свято-Троицкая лавра, одна из самых молодых среди четырех лавр в дореволюционной России, была основана Пет-

ром I в 1710 г. на месте, где, по преданию, св. благоверный князь Александр Невский разбил шведов 15 июля 1241 г. В 1717—1722 гг. по проекту Д. Трезини была сооружена первая Благовещенская церковь лавры (всего в ней было одиннадцать храмов). Дальнейшее строительство продолжалось на протяжении почти всего XVIII в. 30 августа 1724 г. Петр собственноручно перенес сюда мощи Александра Невского, которые до этого находились в Рождественском монастыре во Владимире. Кроме Митрополичьего дома и других монастырских строений, в лавре было три кладбища.

С. 114. *...праздничных меньше рубля не берет.* — В праздничные дни, прежде всего на Рождество и в Пасху, обслуживающий персонал доходного дома (дворники, швейцары, полотеры и т. д.) обходил жильцов с поздравлениями и получал в ответ так называемые «праздничные» наградные деньги.

*Двугривенный* — см. коммент. к с. 44.

*Богоявленье* — см. коммент. к с. 109.

*...к братцу в Гавань...* — Гаванью называется обширный участок западной оконечности Васильевского острова, одного из крупнейших в дельте Невы. Первоначально в этом районе предполагалось построить главный морской порт Петербурга, откуда и пошло название местности, однако из-за мелководья осуществить этот замысел Петра I ни в XVIII, ни в XIX в. так и не удалось. Упоминаемый здесь братец — довольно распространенный петербургский типаж. Далее, рассказывая о поездках Адонии Ивойловны на богомолье, писатель выстроит целый ряд подобных вымышленных им и действительно существовавших «блаженных», «святых» и «старцев», появление которых в тексте повести объясняется не только тем, что они пользовались популярностью в простонародной среде, но и исключительным интересом к сектантству на рубеже 1900—1910-х гг. в непосредственном литературном окружении Ремизова. Это явление в культуре начала XX в. подробно анализируется в монографии А. Эткинда «Хлыст» (М., 1998).

С. 115. *Семеновец* — гвардеец Семеновского полка, который был создан в 1683 г. как потешный петровский полк и стоял в подмосковной деревне Семеновская, давшей ему название. С 1700 г. лейб-гвардейский. Всегда находился под патронажем императора. В 1742 г. казармы Семеновского полка были перенесены с Мойки (у Синего моста) за Фонтанку, где по проекту Ф. И. Деменцова в 1800 г. был выстроен новый казарменный комплекс с обширными плацами, к началу XX в. еще не до конца утративший свое доминирующее значение для этой местности, что и отражено Ремизовым в тексте повести: здесь постоянно упоминаются то Семеновский мост, то казармы, то сами семеновцы, то их полковая церковь, так как они окружают Бурков дом.

*Вязьма* (или *Вяземская лавра*) — место обитания петербургского дна с середины XIX в. Располагалась в южной части Сенной площади между Обуховским (ныне Московским) проспектом и Фонтанкой на землях, ранее принадлежавших князю Вяземскому, откуда и пошло ее название.

*Рождественский пост* — начинается 15 ноября и заканчивается с первой звездой в навечерие Рождества Христова 25 декабря.

*...панихиду ~ Вечную память.* — в ремизовском тексте два стиха одной и той же стихиры названы как самостоятельные песнопения чина отпевания, и кроме того, между ними помещено некое «Надгробное рыдание», не входящее

в канон, и скорее всего, относящееся к совершенно иной традиции. Не исключено, что это последнее может оказаться даже жестоким романсом.

С. 117. *«Сатирикон»* — еженедельный юмористический журнал, выходивший в Петербурге с 1908 по 1914 г. (изд. М. Г. Корнфельд, ред. А. А. Радаков, с № 9 — А. Т. Аверченко); в числе его постоянных сотрудников были А. Т. Аверченко, Саша Черный, Тэффи, П. П. Потемкин и др. О мотивах упоминания «Сатирикона» на страницах повести см. в коммент. к с. 101.

*Андрей Тяжелоиспытанный* — псевдоним А. В. Прохорова, автора популярных лубочных изданий 1900-х гг.

*Эльза Гавронская ~ Похищение Людмилы...* — перечисляются лубочные сочинения.

*...у Суворина...* — книжная торговля Суворина производилась по адресу: Эртелев пер., д. 6, т. е. в том же помещении, где располагались редакции его изданий — газеты «Новое время», журналов «Исторический вестник» и «Журнал театра Литературно-художественного общества», а также суворинская типография и книгоиздательство.

*...у Вольфа...* — Товарищество «Вольф, М. О.» имело три книжных магазина: в Суконной линии Большого Гостиного двора, 18; на 16-й линии Васильевского острова, д. 5—7; на Невском пр., д. 13.

*...у Митюрникова...* — братья Митюрниковы владели двумя магазинами: Иван Иванович — на Литейном пр., д. 31; а Федор Иванович — на Итальянской ул., д. 15.

*...на Невском, в Гостином, на Литейном...* — здесь было множество книжных магазинов.

*...в единственном по Гороховой книжном магазине...* — находился по адресу: Гороховая, д. 17, принадлежал Юлиусу Карловичу Гаупту и действительно был единственным на этой улице.

*Надо от всего отряхнуться!* — подразумеваются строки «Марсельезы»: «Отречемся от старого мира, / Отряхнем его прах с наших ног».

С. 118. *...на Смоленском похоронен.* — Смоленское кладбище находится на Васильевском острове и расположено вдоль реки Смоленки. Оно возникло в конце 1730-х гг. и в начале XX в. было одним из самых больших в городе. Кроме православного, включает в себя также лютеранское и армянское кладбища, находящиеся на другом берегу Смоленки.

*...на Садовой...* — улица, идущая от Марсова поля до Калинкинской площади (ныне пл. Репина).

*...суровская лавка...* — торгующая бумажными, а также легкими шерстяными и шелковыми тканями.

*Миткаль* — бумажная ткань, ненабивной ситец.

*Забалканский* — ныне Московский проспект. Во времена Ремизова именовался Забалканским в память о русско-турецкой войне (1877—1878), так как войска уходили по нему из столицы на Балканы. До этого назывался Обуховским, потому что начинался у Обуховского моста (см. коммент. к с. 104).

С. 119. *...в Верхотурье у Федотушки Кабакова...* — В письмо к А. Маделунгу от 17 (30) марта 1908 г. Ремизов вклеил несколько газетных вырезок, среди которых две, помеченные им 1908 г., были посвящены делу старца Федотушки из Верхотурья. В первой, более краткой, сообщалось следующее: «7 февраля выездной сессией окружного суда в Верхотурье, Перм. губ., началось разбором

дело о старце „Федотушке“. Живя уединенно в лесу и выдавая себя за иеромонаха, Федотушка привлекал толпы паломников, преимущественно женщин. Некоторых богомолок Федотушка оставлял при себе, *для удовлетворения своих страстей, а потом убивал.* Дело раскрылось благодаря одному солдату, жена которого ушла к Федотушке и не возвратилась. Около жилища Федотушки власти обнаружили целое женское кладбище» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. С. 47; слова, выделенные курсивом, подчеркнуты Ремизовым). Во второй вырезке тот же случай описывается более детальио. Эти вырезки свидетельствуют не только о методах работы писателя над повестью, но и о его живом интересе к проблеме сектантства (см. об этом в коммент. к с. 114), а выстраиваемый Ремизовым ряд со всей определенностью указывает на отсутствие у него иллюзий в отношении подобного «народного богоискательства», которые питали многие его современники. Следует отметить, что о деле «старца» Федотушки сообщали и «Биржевые ведомости» (1908. 9 февр. № 34. С. 5; разд. «Судебная хроника»).

С. 120. *Старины* — былины.

С. 121. *Обвиноватить никого нельзя!* — 11 (24) мая 1909 г. в период работы над повестью Ремизов писал Маделунгу: «Еще не исполнен один завет, который исполнить до конца следует: — нет виноватых. Только при исполнении его возникнет (конечно, при мастерстве — это уже само собой) картина жизни. Всякий идет к своей цели и всякий прав» (Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. С. 49). Современный исследователь справедливо полагает, что в этот момент писатель размышлял над словами короля Лира «Нет в мире виноватых! нет! я знаю!» и их интерпретацией в работе своего близкого друга философа Льва Шестова «Шекспир и его критик Брандес» (см.: Данилевский А. А. A realioribus ad realia. С. 99, 115).

С. 122. *...псковитянка, как величают ее артисты...* — аллюзия на оперу Н. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1872).

*Флюндра* — игрушка из коллекции Ремизова, в которой, в частности, имелись «две „каменные“ (роговые) рыбы: „Симпа“ и „Флюндра“, на которых держится остров „Бур-Бурун“» (Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. 7 сент. № 243. С. 2). В ремизовской автомифологии Бур-Буруном именовался остров Вандрок, на котором создавалась одна из редакций повести (см. об этом в преамбуле к наст. комментарию).

*...с Сенной...* — площадь в центральной части Петербурга, расположенная у начала Забалканского проспекта. В 1740-е гг. здесь торговали сеном и дровами.

*...к Осташкову в Нилову пустынь...* — Нилова (Нила Столобенского) мужская пустынь расположена в восьми верстах от г. Осташкова Тверской губернии на острове Столобенском, находящемся на озере Селигере. Основана в середине XVI в. преп. Нилом Столобенским. В день храмового праздника (27 мая) к его мощам стекалось до пятнадцати тысяч паломников.

С. 123. *...на том свете ходила она по мукам.* — Видение Акумовны восходит к распространенному в апокрифической литературе жанру «хождений», центральным произведением которого является «Хождение Богородицы по мукам», чрезвычайно интересовавшее Ремизова. Однако еще А. В. Рыстенко заметил, что «хождение по мукам» Акумовны навеяно не этим апокрифом, а «целым рядом сходных и однородных загробных видений и хождений, столь популярных на Западе и у нас» (Рыстенко А. В. Заметки о сочинениях

Алексея Ремизова. Одесса, 1913. С. 45). Современная исследовательница предлагает в качестве текста-источника ряд мотивов ее видения «Хождение на тот свет Феодоры» из Жития Василия Нового (см. об этом: Тырышкина Е. В «Крестовые сестры» А. М. Ремизова: Концепция и поэтика. Новосибирск, 1997. С. 76).

С. 124. *Манто* — широкое дамское пальто, обычно меховое.

С. 126. *Фролов день* — так называется в народе день памяти свв. мучеников Флора и Лавра, отмечаемый 18 августа.

*Покров* — праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, приходится на 1 октября.

*...лесные и водяные хозяева.* — Имеются в виду леший и водяной.

С. 128. *...на престольный праздник...* — т. е. праздник того святого, которому посвящен храм, где он отмечается.

С. 129. *Надеждинские курсы* — речь идет о Специальных курсах Б. В. Шкловского для подготовки к экзамену на аттестат зрелости и в Женский медицинский институт, находившихся по адресу: Надеждинская ул., д. 33.

*Театральное училище* — находилось по адресу: Театральная, д. 2 (ныне ул. Зодчего Росси).

С. 130. *Медицинский* — Женский медицинский институт (Архиерейская ул., д. 6—8), одно из трех высших учебных заведений для женщин в Петербурге.

С. 131. *...к батюшке Ивану Кронштадтскому в Кронштадт...* — Иоанн Кронштадтский (в миру Иван Ильич Сергиев; 1829—1908), священник Андреевского кафедрального собора в г. Кронштадте, проповедник и духовный писатель. Канонизирован Русской православной церковью в 1990 г.

С. 132. *Христово Воскресение* — т. е. Пасха.

С. 137. *...в детстве хотел Маракулин быть кавалергардом ~ разбойником ~ учителем чистописания.* — Деталь автобиографии Ремизова. Подробнее об этих мотивах в повести см.: Доценко С. Почему Маракулин хотел стать разбойником (из комментария к повести А. Ремизова «Крестовые сестры») // Блоковский сборник. К 70-летию З. Г. Минц. Тарту, 1998. Вып. 14. С. 144—159.

С. 138. *Святки* — время от Рождества (25 декабря) до Крещения (6 января).

*...запевом о семи турах и матери их турице...* — зачин былины «Василий и Батыга», известной во множестве вариантов. Ремизов мог основываться на ряде печатных источников, однако, учитывая, что большинство фольклорных сборников, включающих эту былину, было опубликовано уже после выхода в свет его повести, с полной уверенностью можно говорить лишь об издании «Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года» (СПб., 1894. Т. 1).

С. 139. *...Илья Муромец ~ Чурилья-игуменья ~ Игримище-Кологренище ~ о Усах-молодцах...* — здесь называются былины из сборника «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым», составленного в середине XVIII в.

*Потихоньку, скоморохи, играйте...* — Ремизов цитирует песню о скоморохах, опубликованную в сборнике А. Д. Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» (М., 1904. Т. 1. С. XXIII).

С. 140. *...письмо Онегина...* — далее цитируются первые строки письма

Онегина к Татьяне из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (глава восьмая).

С. 141. *...на Федоровской неделе...* —день памяти св. великомуч. воина Федора Тирона отмечается 17 февраля, а также в субботу первой недели Великого поста (так называемая Федорова суббота).

С. 142. *...как на Троицу...* — см. коммент. к с. 26.

С. 144. *Николаевский вокзал*—ныне Московский, сооружен в 1844—1851 гг. по проекту архитектора К. А. Тона.

С. 148. *...на Пороховые заводы...* — строительство этих заводов началось по указу Петра I в 1715 г. в районе реки Охты; возникшие возле них поселения «работных людей» получили название Пороховые.

*Ильинская пятница* — имеется в виду пятница перед днем памяти пророка Илии (отмечается 20 июля), одна из двенадцати пятниц, приуроченных к датам больших церковных праздников и особо почитаемых святых. Культ Пятницы восходит к язычеству (почитанию богини плодородия); в христианскую эпоху языческую Пятницу сменила св. великомуч. Параскева (греч. «пятница»).

*...через Владимирский ~ у Пяти углов...* — здесь неточность Ремизова: Владимирский проспект идет от Невского до Владимирской площади, в то время как Пять углов отстоят от нее на целый квартал по Загородному проспекту. Пятью углами горожане называют перекресток, образованный пересечением Загородного проспекта с Разъезжей улицей и примыкающей к нему Троицкой улицей (ныне ул. Рубинштейна), который действительно имеет пять углов.

*...на Муринском в Лесном...* — в *Лесном,* нагорной северной части Выборгской стороны за Лесным институтом, было два Муринских проспекта — 1-й и 2-й.

С. 151. *Красная горка* — первое воскресенье после Великого поста; название восходит к языческому празднику весны. С этого дня разрешается совершать браковенчание.

*Покров* — см. коммент. к с. 126.

*...на Маслену...* — неделя, предшествующая Великому посту.

С. 152. *...на даче в Шувалове...* — дачная местность вокруг Суздальских озер к северу от Петербурга, называемая так по имени прежнего владельца этих земель графа А. П. Шувалова; ныне вошла в черту города.

С. 154. *По синим волнам океана...* — романс на стихи М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль» (1840).

*...на заговенье они поженились.* — Заговеньем называется последний день мясоеда, канун поста. На мясопустной неделе, как правило, не играют свадеб, так как считается, что брак будет несчастливым.

С. 155. *...физикой Краевича...* — имеется в виду пользовавшийся большой популярностью учебник физики, написанный выдающимся педагогом и преподавателем Константином Дмитриевичем Краевичем (1833—1892).

С. 156. *Воздвиженье* — праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечается 14 сентября.

*Случилась в то время ~ перепись собак.* — Факт из биографии самого Ремизова: после закрытия журнала «Вопросы жизни» для заработка он брался за любую работу и однажды принимал участие в переписи собак и автомобилей в Петербурге (см. об этом: Кукха. С. 49—50).

С. 157. *...нашла себе уроки в какой-то частной гимназии...* — подразумевается

Рождественское коммерческое училище М. А. Минцловой (Суворовский, 23), в котором в 1906 г. работала С. П. Ремизова-Довгелло. В книге «Кукха» писатель замечал: «„Образцовая“ гимназия, где учила С. П., оказалась просто мошеннической» (с. 49). Перипетии этой истории, очевидно, были хорошо известны друзьям Ремизовых. Недаром П. Е. Щеголев расценил эпизод с частной гимназией в повести как «удовлетворение благородному чувству мщения» (см. об этом в преамбуле к наст. комментарию).

С. 158. *Страда* — здесь: страдание.

С. 162. *...у ворот Спасской части...* — четвертый участок Спасской части находился на Садовой ул. в д. 58. Именно в этой части Порфирий Петрович допрашивает Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 165. *Татьянин день* — память св. мученицы Татианы отмечается 12 января.

*Учился он в частном московском реальном училище...* — еще одна автобиографическая деталь: Ремизов тоже закончил в Москве Александровское коммерческое училище.

С. 179. *...с одной стороны копии с нестеровских картин ~ Между Святой Русью и обезьяной...* — речь идет о картине М. В. Нестерова «Святая Русь» (1901—1906, Русский музей, Санкт-Петербург).

С. 180. *Сиречь* — то есть.

*...самодержавно управлять земным шаром...* — намек на ремизовского приятеля Председателя Земного Шара поэта Велимира Хлебникова и его философско-эстетические концепции. Подробнее об этом см.: Данилевский А. А. A realioribus ad realia. С. 110—112.

С. 182. *...за московское восстание крест дали...* — подразумевается так называемое Московское восстание в декабре 1905 г. В его подавлении принимал участие Семеновский полк (см. об этом: Владимиров В. Карательная экспедиция лейб-гвардии Семеновского полка в декабрьские дни на Московско-Казанской железной дороге. М., 1906).

С. 184. *...в Великую французскую революцию действовали вовсе не Робеспьер и Марат ~ действовал Гуго Копет и погибал за свои злодеяния с королем Людовиком.* — Максимильен Робеспьер (1758—1794) и Жан Поль Марат (1743—1793) были вождями Великой французской революции (1789—1793) и руководителями Конвента, казнившего короля Франции Людовика XVI (1754—1792), который после свержения официально именовался Гуго Копет.

С. 187. *...заявил полиции о розыске пасхального извозчика с этим ~ замечательным яйцом, о чем оповестил на третий день все петербургские газеты.* — На третий день Пасхи 1910 г. в разделе «Хроника» петербургской газеты «Биржевые ведомости» (вечерний выпуск) было помещено следующее объявление: «Полковник гвардии барон Боде, служащий в гофмаршальской части, заявил полиции просьбу *о розыске извозчика,* на котором в первый день св. Пасхи *он забыл яйцо,* полученное в Царском Селе» (БВ. 1910. 20 апр. (3 мая). № 11671. С. 3; слова, выделенные нами курсивом, в газете даны полужирным шрифтом).

С. 187—188. *...Россия ~ своим искусством покажет себя ~ Парижу...* — на то, что Ремизов цитирует здесь рекламные сообщения в петербургских

газетах о дягилевских Русских сезонах в Париже, обратили внимание еще рецензенты повести Кранихфельд и Бурнакин (см. об этом в преамбуле к наст. комментарию).

С. 194. *Семик* — четверг перед Троицей на седьмой неделе после Пасхи. В этот день принято поминать покойников на кладбищах, а также ходить в рощи, завивать венки из березовых веток и украшать сами деревья лентами, гадать о браке.

С. 201. *Около памятника Петру...* — имеется в виду знаменитый «кумир на бронзовом коне», которому многим обязан «петербургский миф», памятник Петру I («Медный всадник»; 1768—1782) работы Э.-М. Фальконе. Герой ремизовской повести уподобляется в этой сцене пушкинскому Евгению из поэмы «Медный всадник».

## Апокалипсисы Алексея Ремизова
## («Пятая язва» и «Плачужная канава»)

«И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится».

*Книга пророка Аввакума. 2; 2—3.*

Второе десятилетие XX в. было явлено России в облике надвигавшегося смерча, спираль которого, взвихряясь все круче, втягивала в себя и рушила старое, сложившееся веками, и новое, лишь недавно рожденное. Но огромному большинству проживавших на территории Российской империи не дано было тяжкого дара провидения и предчувствия грядущего. Они жили по классической формуле грустного афоризма А. П. Чехова: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни...»[1]. Среди немногих, слышавших шаги времени, были писатели.

Во все ускоряющемся калейдоскопе dances macabre друг за другом проносились русско-японская война, Первая русская революция, мировая война, Вторая русская революция... Насыщенность исторического бытия страны была такова, что произведение о судьбе России, независимо от того, к какому литературному направлению принадлежал его автор, неизбежно становилось символическим текстом. Конкретный сюжет, насыщенный вполне «реалистическими» подробностями, бытом и этнографией, одновременно представал как развернутая метафора, приобретающая все расширяющееся символическое значение. При этом происходило интенсивное «стяжение» смысловой насыщенности словесного ряда, когда повесть или рассказ заключали в себе проблемно-тематический объем, ранее вмещавшийся лишь в пространство романа. В 1910-е гг. появились «Деревня» и «Суходол» И. Бунина, «Городок Окуров» М. Горького, «Уезд-

[1] «Театр и искусство». 1904. № 28.

ное» и «Алатырь» Е. Замятина, «Белый скит» А. Чапыгина, «Тайга» В. Шишкова и др., в которых обширная информация была художественно как бы «спрессована» в емкой, виртуозно смоделированной форме. К таким произведениям принадлежала и повесть А. М. Ремизова «Пятая язва» (1912)[1].

По-чеховски «хмурая», обычная история жизни и смерти провинциального судебного следователя Боброва составляет фабулу «Пятой язвы». Но Ремизов, следуя распространенному литературному приему русской литературы начала XX в., избрал определенный «литературный код», использование которого значительно увеличивало объем «информационного поля» произведения. Таким «кодом» стали раскрываемые «проницательным читателем» отсылки на определенную литературную традицию, и прежде всего на традицию изображения провинции у Гоголя и Достоевского. Поскольку главным героем повести был следователь, а стержневым структурообразующим сюжетным мотивом — мотив «суда», то основными текстами-источниками стали «Ревизор» Гоголя, «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» Достоевского.

На первый взгляд, гротескное описание жизни студенецких обывателей и мытарств «честного следователя» Боброва представало собранием провинциальных анекдотов, стилизованных под Гоголя и Достоевского. Но постепенно изображение быта становилось ви́дением бытия. А предметы и явления реальности превращались в художественные символы.

Огромное значение в повести имели также традиции древнерусской литературы, канонических и апокрифических ветхозаветных и новозаветных текстов.

Ремизов воспринимал начало XX в. как время катастроф и потрясений и в истории России, и в миросозерцании каждого живущего в ней человека, сколь бы ни было его сознание полным архаических представлений и старых понятий. В «Пятой язве» повествование велось в формах несобственно-прямой речи — от лица самих студенецких жителей, и, по большей части, от лица одного из них — рассказчика. Авторский голос лишь изредка включался, как одна из составляющих, в хор голосов героев. Рассказчик трактовал события XX в. в привычных его сознанию категориях, воспринимая современность в духе христианских эсхатологических «сказаний» и «виде́ний» о последних днях мира, о Страшном Суде, за которым следовало наказание грешных и награждение праведных. При этом двумя основными текстами-источниками повести стали апокрифы «Откровение Мефодия Патарского» и «Хождение Богородицы по мукам».

---

[1] Ремизов А. Пятая язва / Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 18. СПб., 1912. С. 109—201. Далее «Пятая язва» цитируется в тексте с указанием страницы по этому изданию.

Сопоставление дней нынешних с «последними временами», о которых пророчествовалось в апокрифических произведениях, главным образом, в «Откровении Мефодия Патарского», было особым художественным приемом, с помощью которого осмыслялась значимость настоящего момента истории России.

Автор апокрифического «Откровения Мефодия Патарского» называл *пятой язвой,* приходящей на землю непосредственно перед явлением Антихриста, разъединенность людей друг от друга. Именно в такой презрительной оппозиции к ближним находился следователь Бобров.

В своем творчестве Ремизов неоднократно обращался к другому апокрифу — «Хождению Богородицы по мукам»[1], видя в нем совершенное воплощение идеи, которой он придавал первостепенную онтологическую значимость, — идеи сострадания. Богородица посещала загробный мир, видела мучения людей и просила Сына простить их, в случае отказа давая зарок остаться в аду и страдать вместе с грешниками.

Первая глава повести «Пятая язва» построена по структурной модели «Хождения Богородицы по мукам». Рассказывая о многогрешных жителях Студенца, повествователь постоянно противопоставляет им следователя Боброва, как ни к чему не причастного праведника. «Уж следователя на том свете не погонят в *задние муки*, не сидеть ему в озере огненном» (Пятая язва. С. 115). «Нет, и в реке огненной среди татей и разбойников, там не место следователю» (Пятая язва. С. 117). В апокрифе бесконечным кругам грешников была противопоставлена Божественная заступница за людей перед Высшим Судией. Бобров же, принадлежа к «миру людей», «гордился» своей праведностью и на этом основании считал себя вправе судить и осуждать других. Но вспомним, что в христианском вероучении «гордыня» является главным из семи смертных грехов.

Сюжетный параллелизм ремизовского текста с текстом «Хождения» приводил читателя к парадоксальному выводу: Бобров не брал на себя роль праведного человека или Заступника, относящегося к Божественным силам, а фактически узурпировал власть самого́ Высшего Судии — Христа, творящего Суд в момент своего Второго Пришествия. Тем самым, образ ремизовского героя сближался с образом Антихриста, предрекаемого авторами эсхатологических сочинений.

Тема последнего Страшного Суда была центральной и в «Хождении Богородицы по мукам», и в «Откровении Мефодия Патарского». Сюжет ремизовской повести о следователе пред-

---

[1] Еще в 1905 г. Ремизов изучал книгу Н. Бокадорова «Хождение Богородицы по мукам. (Опыт истории христианской легенды)». Киев, 1904. (См.: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Лит. наследство. Т. 92, кн. 2. М., 1981. С. 82).

ставлял собой цепь «судов» как реальных — эпизодов службы Боброва, так и трансцендентных, происходящих в снах и видениях.

Структурообразующим сюжетным мотивом «Пятой язвы» стал мотив некоего Суда, проведенного Бобровым и завершившегося написанием «обвинительного акта и не лицу какому-нибудь известному, не студенецкому подсудимому, а всему русскому народу» (Пятая язва. С. 146).

«Обвинительный акт» Боброва представляет собой публицистическое произведение, пронизанное скрытыми цитатами из древнерусских памятников, в котором изложена определенная концепция русской истории. Для героя Ремизова, и в этом плане он шел вослед древнерусским авторам — публицистам эпохи русской Смуты начала XVII в., истоки разорения и бед русского государства заключались в нравственном несовершенстве, слабости самого народа.

В своем «сочинении» Бобров анализировал его «деяния» и приходил к безапелляционному выводу: «нестойкий, друг с другом неладный, бредущий розно, разбродный и смолчливый, безгласный — вот русский народ» (Пятая язва. С. 146).

«Головная» теория следователя о том, что он «право имеет» судить и осуждать народ, что он — тот единственный, кто знает путь спасения России, отчетливо ассоциировала этого героя Ремизова с фигурами лжепророков, изображенных в эсхатологических сочинениях.

«Сидя перед зеркалом один среди ночи, в ночи он заводил свой тайный разговор, свою буйную речь к зеркалу, к самому себе, как с площади московской с Лобного места, с Петровского подножья от памятника русского великого царя к русскому народу <...> И вот будто в руке его и вяжущая, и решающая сила, знает он и корень зла, и средство спасения, может он указать, чем и как спастись России. <...> „ — Придут дни, — говорил он, — да это правда, пророчество право, дни уже идут, приближается срок <...> — запустеет Россия! <...> — нет, я не русский! — отскакивал от зеркала Бобров, — не русский, я немец, все русские предатели и воры!“ — и стоял сам для себя один — откатный камень — один с поднятым кулаком перед всем народом» (Пятая язва. С. 147, 148, 150).

Единственное спасение, «узду» для народа, ремизовский герой видел в неуклонном соблюдении «закона», государственности, поскольку только «законность, искони неведомая России, вот столп, которым укрепится земля» (Пятая язва. С. 146).

Представление Боброва о себе, как о Высшем Судии над другими людьми, отделение себя от народа, являлось, согласно художественной концепции произведения, истоком морального краха героя.

Все сюжетное развитие повести подчинено раскрытию ста-

новящейся все более многозначной темы Страшного Суда. Анекдотические, страшные и фантастические эпизоды из жизни студенецких обывателей представали явлениями, предвещающими «последние времена».

По мере движения сюжета к финалу начинал осуществляться Высший Суд, но над тем, кто взял на себя право осудить свой народ. На уровне бытовой реальности фактическим поражением героя явилась его первая и единственная профессиональная ошибка — обвинение невинного человека в поджоге избы.

На символическом уровне особое значение имело идейное поражение Боброва в споре с другим подсудимым — старцем Шапаевым, «лечащим блудом». В повести образ этого героя полигенетичен. Он восходит и к одному из излюбленных праведных персонажей древнерусской литературы — к образу старца из «Патериков» — сборников рассказов о жизни раннехристианских монахов; и к героям Достоевского: старцу Зосиме из «Братьев Карамазовых» и безымянному старцу-сектанту из «Преступления и наказания», и, наконец, к скандально известному реальному прототипу: к «святому черту» — «старцу» Григорию Распутину.

«Где человек, там и грех! — утверждает Шапаев, — <...> И тот, кого грех попутает, не преступник, а несчастный. <...> И не человеку судить несчастного, не человеку карать его <...> Пресвятая Богородица наша по мукам ходила, <...> и оставила Богородица рай. Сама пошла в муку, к нам, <...> с непрощенными мучиться» (Пятая язва. С. 182—183). Используя символику древнерусского «Слова о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, можно сказать, что бесчеловечному в своем нравственном ригоризме «Закону» Боброва Шапаев противопоставлял «Благодать», основанную на любви и сострадании.

Финал повести Ремизова — смерть героя от сердечного приступа — был, одновременно, образом-метафорой его нравственного прозрения.

Предсмертное видение Боброва восходит к традиции апокрифических сказаний о путешествиях по разным сферам небес и пророческих видений Страшного Суда, таких, как «Книга Еноха», «Восхождение пророка Исайи», «Хождение Богородицы по мукам», «Видение апостола Павла», «Житие Василия Нового», слово Палладия Мниха «О втором пришествии Христове, о страшном суде и будущей муке» и др. В видении Боброва герой, до того кощунственно узурпировавший роль Высшего Судии, сам оказывался судимым и осужденным. Ремизовская символика кары праведника за единственную совершенную ошибку восходит к апокрифу «Смерть Авраама». В этом сюжетном эпизоде «Пятой язвы» повествование, ведущееся как внутренний монолог героя, становилось диалогичным. Это был как бы разговор разных голосов в душе Боброва. Один — голос

«законника» — не принимал логически не оправданного наказания, другой — голос совести — признавал его высшую справедливость. Герой сходил в «муку», но в этом, по Ремизову, заключалось прощение Боброва, его слияние, хотя бы лишь в момент смерти, с душой мучающегося народа.

«Пятая язва» пронизана предвестиями грядущих катаклизмов. Для писателя было неясно, каким будет ее новый этап. Но Ремизова волновало то, что люди, творящие историю, — «вожди жизни», абстрагировались от реального народа, во имя которого они начинали свои преобразования.

Значение «Пятой язвы» как произведения о судьбе России проницательно отметил Андрей Белый в письме к Ремизову 1913 г., неточно обозначив название произведения[1]: «Книгу Вашу прочел, не прочел, а проглотил. „Пятую Казнь“ еще никогда не читал. Она меня глубоко потрясла. Как открыл, так и не мог оторваться. Это — что-то колоссальное, чем гордиться может наше десятилетие литературы. „Вехи“ русской литературы, которые потом будут критикой превращены в шоссейные дороги среди пустырей, обозначаются для меня редко, редко подобные произведения. <...> Можно сказать, что „Пятая Казнь“ есть то, чем будет гордиться период 1910—1913 года. За этот период времени ничто меня не потрясло так, как „Пятая Казнь“, разве только когда-то „Куликово Поле“[2]. „Куликово Поле“ и „Пятая Казнь“ произведения вещие»[3].

В августе 1914 г. Россия вступила в мировую войну. Начался новый акт драмы российской истории. И в этом году Ремизов приступил к работе над новым крупным произведением, получившим окончательное название «Плачу́жная канава».

В «Пятой язве» идейно-тематическая основа произведения (размышления Ремизова над судьбой народа и государства российского) раскрывалась через традиционные образы-символы русской провинции. Если вообразить крупномасштабную географическую карту Российской империи, то место действия ремизовской «Пятой язвы» было бы изображено на ней как ничем не занятое пространство. Когда в эту условную пустоту погрузился взгляд писателя, то перед его мысленным взором возникли «наиреальнейшие» Лыков и Студенец, плавно понесла свои воды река Медвежина. Это были все те же классические «город N», «один город» и другие, подобные им многочисленные уездные и даже губернские города, созданные фантазией русских писателей. Именно о них Максим Горький писал, «что // Страшнее бездны звездной — город маленький уездный, // Что разлегся

---

[1] Возможно, что Андрей Белый сделал это сознательно, раскрыв таким своеобразным способом свое понимание содержания повести.

[2] Цикл стихотворений А. Блока «На поле Куликовом».

[3] РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 32—32 об. (копия).

бесполезно над обрывом у реки»[1]. При этом в произведениях о русской провинции *реальные* Санкт-Петербург и Москва зачастую представали как *города-миражи,* как воплощения не просто другого мира, но иного света, оборачивавшегося то раем, откуда Бог, боги или их земные наместники разили зло и награждали добродетель, то адом, где заканчивались жизни и умирали души.

В «Плачужной канаве», в допечатной истории названной автором «повестью», а в журнальных публикациях — «романом», та же сущностная для Ремизова тематика судьбы России и ее народа раскрывалась с помощью традиций «петербургского текста».

Среди литературных предшественников «петербургской темы» этого ремизовского романа, как ранее — «Крестовых сестер», в первую очередь надо назвать имя Ф. М. Достоевского. Один из основных текстов-источников «Плачужной канавы» — «Записки из подполья». При этом и реальная жизнь, и бытие души не только одного из героев — Баланцева — «человека из подполья» начала XX в., но также других персонажей ремизовского романа были определены и предопределены заимствованной у Достоевского идеологемой: все они имели «сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре»[2].

Поскольку основное место действия «Плачужной канавы» — Петербург, то фантастическую географию «Пятой язвы» сменила реальная топография города на Неве. В произведении Ремизова по-достоевски точно указаны все адреса и маршруты героев. Однако в художественной системе романа Петербург — и наиреальнейший, и «умышленный» город, — являлся образом-знаком микрокосма, который, в свою очередь, представал символом макрокосма. На первой ступени обобщения Петербург — символ государства Российского. Страдания и беды героев романа — это как бы персонифицированные и рассмотренные на конкретных примерах страдания всех людей, живущих в России. Но есть и следующая ступень обобщения, где Петербург являлся символом всего мира, от первых дней творения и до своего конца погруженного в муки.

Роман «Плачужная канава» продолжил одну из центральных тем ремизовского творчества 1910-х гг. — эсхатологическую. Как и в «Пятой язве», Ремизов обратился к посвященным ей раннехристианским каноническим и апокрифическим текстам, а также к гностической литературе.

---

[1] Горький М. Письмо А. Н. Тихонову. 23 мая 1913 / Горьковские чтения. 1953—1957. М., 1959. С. 42.

[2] Достоевский Ф. М. Записки из подполья / Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. V. Л., 1973. С. 101.

Лексико-семантическая основа названия романа — «Плачужная канава» (ров плача)[1] — восходит к апокрифу «Хождение Богородицы по мукам» и ветхозаветной Книге Пророка Даниила. В «Хождении» увиденное Божественной Заступницей место самого тяжкого адского мучения — это огненное озеро, в которое погружены безнадежно плачущие («вопиющие») грешники[2]. Согласно библейскому сказанию Пророк Даниил был брошен в ров львиный за то, что нарушил приказ царя Дария в течение тридцати дней не обращаться с молитвами и просьбами ни к человеку, ни к Богу, а только к самому царю. При этом трагическая парадоксальность ситуации заключалась в том, что Дарий обрек Пророка на смерть против своей воли, не в силах преступить собственное повеление (Дан. 6; 1—28). В ремизовской космогонии все человечество оказывалось по воле не называемого и непостижимого «Жестоковыйного владыки» брошенным в бездну — «ров», «канаву» страданий.

Для литературы начала XX в. использование традиций Достоевского было уже достаточно тривиальным. Более оригинальным было обращение Ремизова к Н. С. Лескову как к создателю особого, значимого варианта «петербургского текста».

Именно из заглавия, пользуясь авторским определением, «русского романа» Н. С. Лескова «Обойденные» (1865) Ремизов заимствовал центральную символическую метафору для обозначения всего рода людского. Это название стало определением основного обобщенного «героя» ремизовского повествования: «буду рассказывать о обойденных в царстве земном, <...> от Каракаллы царя римского до последней, изводимой учеными, бездомной чумной бациллы, из микроскопа, зажатой меж стекол, вопиющей на небо» (Плачужная канава. С. 283)[3].

«Пятая язва» — произведение, еще достаточно традиционное по своей поэтике, и, в частности, по сюжетосложению (развитие повествования сконцентрировано вокруг судьбы одного героя — Боброва). Качественно иной является поэтика «Плачужной канавы». Одновременно, и опираясь и переосмысливая традиции многофигурного романа Лескова, Ремизов создал произведение, художественная структура которого на первый взгляд представлялась «рыхлой» и архаичной. Так, сначала последовательно, а затем как бы вперемежку, рассказывались истории неудачной судьбы Баланцева; житейских перипетий Будылина; любви Маши

---

[1] Первоначальное название романа «Ров львиный».

[2] Хождение Богородицы по мукам / Памятники старинной литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. Вып. 3. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862. С. 122.

[3] Т. к. окончательный авторский текст романа «Плачужная канава» впервые издается в настоящем томе, то ссылки на него приводятся по данной публикации с указанием страниц.

и доктора Задорского; «исканий правды» Тимофеева. Повествование о судьбах героев, ведущееся от лица объективного рассказчика, перемежалось и эмоционально-насыщенными лиро-эпическими авторскими отступлениями; и, казалось бы, автономными текстами-переложениями древних апокрифов, патериковых рассказов, гностических легенд; и протяженными публицистическими монологами Будылина, восходящими к монологическому повествованию «Записок из подполья». При этом то, что с точки зрения традиционного романного повествования представало как результат авторской «недоработки», поскольку все составляющие текста неожиданно и «немотивированно» прерывались, переплетались и т. п., по сути представляло собой повествование нового типа. В нем фабульный рассказ (как вид эпического литературного рода) соединялся с формами драмы (монологи Будылина) и лирики (авторские отступления-обобщения), формируя новую художественную структуру, целостность которой была основана на применении художественного принципа монтажа. Результатом было появление нового типа романного жанра — романа-коллажа, каким и является «Плачужная канава».

В ремизовском романе представлена картина тотального разрушения социальных, политических, моральных ценностей современности.

Следуя за Достоевским и Лесковым, Ремизов обратился к жизни тех, кого в XIX в. называли разночинцами, а в начале XX в. — интеллигентами. При этом ремизовские интеллигенты являлись, с одной стороны, потомками «случайных семейств» Достоевского, а с другой — людьми, окончательно «выломившимися» из завещанных родителями социальных рамок. Наиболее четко это выражено в жизненной позиции парадоксалиста Будылина: «Антон Петрович не причислял себя ни к какому классу, а из народа просто вычеркивался» (Плачужная канава. С. 318).

Многие из ремизовских героев (Баланцев, Будылин, Тимофеев) служили в одной «конторе». Таким образом, в повествование была включена классическая для русской литературы «петербургского периода» тема взаимоотношений личности и социума. Каждый из служащих проходил свой путь осознания сути этих взаимоотношений, в итоге приходя к выводу об их коренной несовместимости и противоположности. По принципу нарастающей метонимии выстраивалась цепочка понятий-символов: «контора» — «Петербург» — «государство» — «мироустройство». При этом символом государства представал именно Петербург, в противоположность Москве, которая имела в романе значение символа родины, «Русской земли». Перипетии судеб Баланцева, Будылина, Тимофеева неизменно оканчивались столкновением с государством, в той или иной ипостаси стремившимся подавить и раздавить человеческую личность.

Для создания романа Ремизов щедро использовал факты своей биографии, обстоятельства жизни и даже саму внешность ближайших друзей и родственников. Так в этом произведении писатель приоткрыл тайну своей студенческой каникулярной поездки в Швейцарию 1896 г., откуда вернулся с сундуком нелегальной литературы, а также обстоятельств своего первого ареста, последовавшего осенью того же года. Участие в демонстрации и изгнание из университета легли в основу истории Будылина. Обстоятельства летней поездки и впечатления от революционной среды в слегка преображенном виде изложены в предыстории Тимофеева. Выводы, к которым на практике приходили Будылин и Тимофеев, и которые «теоретически» доказывал парадоксалист Баланцев, заключались в том, что революционное изменение мира не являлось сколь бы то ни было действенным способом вывести страждущих людей из бездны «рва львиного», а представало лишь средством удовлетворения амбиций тщеславных политиканов.

В «Плачужной канаве» наиболее целостно подведен итог предреволюционного развития социально-политических взглядов Ремизова. Для писателя абсолютно неприемлемым был любой вид подавления индивидуума социумом, проистекало ли оно из «идеи государства», долженствующего исполнять условия «общественного договора», или из «идеи свержения» этого государства во имя установления «царства свободы и справедливости».

Современный мир предстает в романе как множественность его разъединенных составляющих. При этом символическое понятие «обойденности» приобретает всеобъемлющее значение. Людская разъединенность лежит в основе житейских историй героев: любящих друг друга, но так и не соединившихся Маши и доктора Задорского; безнадежно одинокого Будылина; тоскующего по утраченной семье Баланцева; брошенного без людской поддержки Тимофеева. Все они обойдены людьми, судьбой, Богом.

Тема последних времен, не только наступавших, но уже наступивших, открывала роман: «Люди, гоняясь за внешними удобствами жизни, направляли свои мысли и всю силу своего ума не к тому, чтобы найти пути приблизиться и почувствовать друг друга, а лишь только, чтобы облегчить внешнюю сообщаемость между собой. И духовное проникновение притуплялось. Люди летали по воздуху, как птицы, а не замечали под носом и самое немудреное человеческое горе. Люди исповедовали единого Бога, Христа и Духа, крест носили на шее, а ведут беспощадные войны, истребляя друг друга, как мух. <...> И будет так: с внешней легкостью общения духовная общаемость совсем прекратится, — ангелы забудут пути к людям — и земля провалится, как Содом и Гоморра» (Плачужная канава.

С. 292—293). По мере развития повествования эсхатологическая тема становилась доминирующей.

«Плачужная канава» имеет несколько кульминаций. Одна из наиболее концептуально-значимых — это безответный разговор Баланцева с Создателем — «Царем Жестоковыйным». Его библейский аналог — обращенная к Богу речь Иова на гноище. Его «петербургский» прототип — безнадежная угроза-укор Евгения «Медному всаднику».

Ремизов начал писать роман «Плачужная канава» в год вступления России в мировую войну, работал над ним в годы революции и закончил во время «красного террора». Парадоксальным образом реальность подтверждала эсхатологические прогнозы, данные автором еще в начале работы над произведением. Финал «Плачужной канавы» представлял собой фиксацию текущего момента происходящей мировой катастрофы, в эпицентре которой находилась Россия.

Самая ранняя из сохранившихся редакций, датированная 1 июня 1917 г., заканчивалась мрачным пророчеством Будылина, сделанным после победы февральской революции: «И когда 23 февраля закричали хлеба! — Антон Петрович даже перекрестился: грядет! И стал зорко присматриваться. И когда распустилось вовсю и появились планетчики — окстись мне — планета! — и омерзительное человечество с его утробой, извлекающее пользу из крови, стало кличем пролаз, тупиц, временщиков и провокаторов, он с удовольствием выводил на подписях своих: Тушино[1] (С.-Петербург). Но сердце его было неспокойно»[2]. Следующая редакция, датированная 1918 г. — временем диктатуры пролетариата, завершалась финалом, аккумулировавшим дальнейшие новые реалии времени: «И когда омерзительное планетное человечество с ненасытимой пакостной утробой его и душой мародерской, извлекающей пользу из всего, даже и из души и крови, сделалось кличем времени — во имя какой-то бездушной и бессовестной свинарни, рая с едой, сраньем и американскими горами, он с удовольствием выводил на запотелом стекле: «Князь обезьян и кавалер Антон Петров Будылин». Но и отрекшись в отчаянии своем от человеческого, сердце его человеческое было неспокойно: ведь обойденность кричала еще истошнее под свободой и братством, еще обиженней, чем даже под статью всеобщего холопства...»[3]. Окон-

[1] Во время русской Смуты начала XVII в. Тушино — ставка самозванца Лжедмитрия II, прозванного «Тушинский вор», было прибежищем разного рода авантюристов, политических и просто преступников.

[2] Ремизов А. М. Ров львиный / Плачужная канава. — РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 93. Л. 133.

[3] Ремизов А. Ров львиный [Плачужная канава]. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 181.

чательный текст романа заканчивался магическим заклинанием, направленным против мирового зла.

«Пятая язва» и «Плачужная канава» — последние крупные прозаические произведения, созданные писателем в России. Они пронизаны ремизовским предчувствием катастрофы, ожидающей родину. Но апокалипсисы Алексея Ремизова представляют собой не только картины грядущего пришествия Антихриста, вида́ния безысходных страданий людей, за вину и без вины томящихся во «рву львином». Экзистенциальный мир Inferno, всеобщей разъединенности обозначен в художественном пространстве Ремизова формулами: «Человек человеку — бревно. Человек человеку — подлец». Но ему противостоит тот же несчастный и обойденный, но способный на сострадание и любовь «человек человеку — дух-утешитель». Апокалипсисы Ремизова, подобно своим христианским прототипам, заканчиваются предвестиями Второго Пришествия чаемого Спасителя, встреча с которым суждена России, следующей путем страдания и духовного очищения.

*А. М. Грачева*

# КОММЕНТАРИИ

## ПЯТАЯ ЯЗВА

Впервые опубликовано: Пятая язва / Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 18. СПб., 1912. С. 109—201.

Прижизненные публикации: Пятая язва / Ремизов А. Подорожие. СПб.: Сирин. 1913. С. 43—156; Пятая язва. Берлин — Петербург — Москва: Изд. З. И. Гржебина. 1922. 116 с.

Тексты-источники: 1) Памятники отреченной русской литературы. Собраны и изданы Николаем Тихонравовым. Т. II. М., 1863 (Далее: **I.**); Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. Вып. 3. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862 (Далее: **II.**); 2) Русская историческая библиотека. Т. 13. Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. 2-е изд. СПб., 1909 (Далее: **III.**); 3) Полное собрание русских летописей. Т. 3—4. Новгородские летописи. СПб., 1841 (Далее: **IV.**); 4) Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1892. Т. 9 (Далее: **V.**).

Печатается по тексту первой публикации с исправлением опечаток.

Замысел произведения «Пятая язва» возник у Ремизова в 1909 г., в период завершения работы над «петербургской» повестью «Крестовые сестры» (1910). Писатель вспоминал об истоках нового художественного замысла: «...повесть „Пятая язва“. Человек среди человекообразных. Наша провинциальная глушь, <...> уездный город Костромской губернии Галич — матерьял рассказа И. А. Рязановского» (Встречи. С. 39).

Иван Александрович Рязановский (6.08.1869—1921?) — историк-архивист, археолог, библиофил, юрист. Окончил ярославский Демидовский юридический лицей. Служил в Костромско-Ярославском акцизном управлении, с 1899 г. — в костромском Окружном суде. С 1900 г. исполнял должности судебного следователя и городского судьи, с 1903 г. был судебным следователем 2-го участка Варнавинского уезда Костромского Окружного суда. В 1906 г. вышел в отставку. В 1909 г. причислен к 1-му департаменту министерства юстиции в Петербурге. В 1912 г. перешел в Кострому на место Секретаря костромского Губернского присутствия. В это время по поручению Губернской ученой Архивной комиссии организовывал Романовский музей. После окончания устройства музея вышел в отставку и в 1914 г. переехал в Петроград (подробнее см.: <Биографическая справка И. А. Рязановского> — РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 269. Л. 1). Ремизов познакомился с Рязановским через М. М. Пришвина и долгие годы поддерживал с ним теснейшую дружескую связь. В 1910-е гг. именно с Рязановским писатель наиболее подробно обсуждал вопросы, связанные с изучением древнерусской культуры. В открытке к нему от 24 декабря 1909 г.

Ремизов писал о начале работы над новым произведением: «С Новым Годом! <...> Ждет: „обвинительный акт“» (ГЛМ. Ф. 19 ОФ 3462/1—28). Косвенное отражение изначального авторского замысла «Пятой язвы» можно также найти в письмах к Ремизову Р. В. Иванова-Разумника, с которым литератор делился размышлениями о новом произведении. В письме от 1 ноября 1911 г. критик спрашивал: «Напишите о судебном следователе и „обвинительном акте России“. Подвигается? Приеду — прочтите» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 115. Л. 35 об.). В послании от 17 ноября он, очевидно получив письмо Ремизова, вновь вернулся к этой теме: «О следователе не пишете, а все читаете — это хорошо; когда доспеет само „выпрет“ <...>. Хотелось бы, чтобы эта вещь вышла большой повестью, вроде „Сестер“; да вряд ли и выйдет меньше — материал слишком обширен. На „роман“ бы хватило. И можно действительно сделать большую вещь» (Там же. Л. 36). Летом 1912 г. Ремизов совершил путешествие по русской провинции, оказавшее значительное воздействие на формирование идейно-художественной концепции нового произведения.

С 9 по 31 июля 1912 г. (о времени посещения см.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 15) писатель гостил в имении А. А. Рачинской (село Бобровка Тверской губернии), где продолжал работу над повестью. Вероятно, название села отразилось в фамилии главного героя. В Бобровке Ремизов закончил и тут же стал переделывать текст «Пятой язвы». Мотивы неудовлетворенности написанным звучат в его июльских письмах А. Блоку. Так, 22 июля Ремизов сообщал: «Сиднем сидел тут все дни: пишу следователя Боброва. Очень устал я Кончил всю повесть, перечитал — две последние главы „Вождь жизни“ и „Один бреука“ никуда не годятся: не могу приняться переделывать. А надо, непременно надо» (ЛН. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 108). А в письме, датированном с 26 на 27 июля, он отметил, что «как раз сегодня принялся за исправление неудовлетворяющих <...> страниц» (Там же. С. 109).

Окончательный этап работы над текстом был связан с поездкой Ремизова в Кострому к И. А. Рязановскому. Писатель вез с собой рукопись повести и ехал с творческой задачей, обозначенной в письме к Рязановскому от 1/14 июля 1912 г.: «Желания мои такие: хочется мне сейчас привести в порядок повесть о следователе и с рукописью, которую я мог бы прочитать, не спотыкаясь, к Вам в Кострому. У Вас посидеть и сделать всякие исправления и вставки» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31. Л. 29). В письме Рязановскому от 3/16 июля он замечал: «Числа 7-го хотел бы к Вам выехать в Кострому, боюсь, дома ли Вы? <...> Хочу в Костроме воздухом — духом русским подышать» (Там же. Л. 31). Почти те же слова повторены в письме Ремизова Б. А. Садовскому от 8/21 августа 1912 г.: «„Дубоножие“ писалось все лето и теперь кончилось. Буду переписывать. Завтра еду в Кострому подышать русским духом» (РГАЛИ. Ф. 461. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 5).

Ремизов был в гостях у Рязановского с 10 по 20 августа (о времени посещения см.: ГЛМ. Ф. 19 ОФ 3463/1—3; РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 15). Впоследствии он вспоминал: «За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а прямо сказать, выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге <...> За семь дней

и семь ночей я узнал о книге в „себе самой“ и понял, что такое книжник в царстве своих книг. <...> я сам весь был в книге. Сохраняю мою костромскую память — „рязановскую“ <...> в „Пятой язве“» (Подстриженными глазами. С. 155). Именно в Костроме окончательно сформировался внутренний контекст повести, которым стала древнерусская литература. В письме от 20 августа к Блоку Ремизов сообщал об итогах своей поездки: «Насмотрелся я старины, надышался русской речью. Повесть мою еще раз переписал, теперь получше стала. Очень тяжко исправлять, когда голова зашла за голову, все написанное не удовлетворяет. <...> По вечерам Пролог читали (рукописный) времени ц<а>ря Василия Ивановича» (ЛН. Александр Блок: Новые материалы и исследования. Т. 92. М., 1981. Кн. 2. С. 108).

«Пятая язва» была опубликована в альманахе «Шиповник» с датой «1912 г. с. Бобровка». В 1913 г. публикация без изменений текста была повторена в сборнике «Подорожье» с датой «1911—1912». Берлинское издание 1922 г. имеет посвящение С. П. Ремизовой-Довгелло и дату: «1911—1912. 1922. Charlottenburg». По тексту проведена стилистическая правка (устранение черт «народного стиля» — сказового повествования, изменение строфики). Однако в целом текст 1922 г. — не редакция, а вариант первоначального текста.

Появившись в альманахе «Шиповник», повесть «Пятая язва» сразу же привлекла к себе внимание критики. Большинство рецензентов самых разных направлений восприняли ее как обобщающее произведение о России, сопоставимое с повестями Горького и Бунина. Так, например, В. Львов-Рогачевский отмечал: «Перед вами — новый „городок Окуров“ или Студенец, а в нем — новый Кожемякин — следователь Бобров, летописец Студенца и всей России. Только летопись Кожемякина была написана слезами любви, а „временник“ Боброва написан желчью ненависти» (Современный мир. 1912. № 11. С. 362). Нововременский автор А. Бурнакин, фактически написавший не рецензию, а памфлет на Ремизова и его произведение, бичевал «Пятую язву» как «повесть, в которой обличается провинция, <...> оплевывается Россия <...> Было это, было. Сначала „Мелкий бес“, потом „Городок Окуров“, потом „Деревня“» (Новое время. 1912. № 13212. 21 дек. С. 5). Вычленив главную тему произведения, критики, в основном, не поняли его художественной целостности, глубокой взаимосвязи между судьбой города Студенца (символа России) и трагедией главного героя. Образ Боброва истолковывался по-разному: как символ интеллигенции, «разочаровавшейся» в революции (В. Боцяновский.—БВ. 1913. № 13341. 11 янв. веч. вып. С. 5); как воплощение «всей оппозиции русской» (С. Любош. — Современное слово. 1912. № 1728. 28 окт. С. 2-3); как тип идеалиста, потерпевшего крах при столкновении с действительностью (В. Голиков. — Вестник знания. 1913. № 2. С. 235) и т. п. При этом многие критики сочли сюжет о Боброве одним (подчас даже излишним) эпизодом из серии историй о жизни студенецких обывателей. Причиной непонимания было то, что большинство рецензентов прикладывали к повести мерки старой реалистической литературы, не учитывали специфику художественного метода писателя. Отмечалась близость ремизовской манеры к традициям Гоголя, Достоевского, но зачастую это расценивалось как подражательность: «Это странная, необычная повесть — дикая смесь Достоевского с Гоголем» (Л. Мович. — За 7 дней. 1912. № 49. С. 2164); Ремизова «хоть кипятком, хоть холодной водой, а он знай свое: хочу быть Гоголем, да и баста» (А. Бурнакин. — Новое время. 1912.

№ 13212. 21 дек. С. 5). Более тонкие критики (например, Е. Колтоновская. — Новый журнал для всех. 1912. № 12. С. 100) расценивали эту преемственность как типологическое сходство писательской индивидуальности.

Почти никто из рецензентов не отметил использования в повести традиций древнерусской литературы, существенных для понимания произведения. На них указали только А. Измайлов и П. Щеголев, хорошо знавшие увлечение Ремизова древней книжностью. Измайлов подчеркнул присутствие в повести пласта древнерусской литературы, но увидел ее влияние лишь на язык произведения. Он писал, что Ремизов «любит книгу и написанное слово не только в содержании их, во внутреннем существовании, а даже во внешности. Любит эти дубовые дщицы, восковые застывшие капли, киноварную букву, начинающую сказание, полууставный завиток рукописи. <...> По этой черте почти совсем одиноко стоит фигура его среди собратий <...> Тихонько прячется он в своем уголке, сидит за древней книгой, пересыпая ее прекрасные самоцветные слова» (Русское слово. 1912. № 260. 10 ноября. С. 5). Щеголев проследил влияние древнерусской литературы на формирование не только языка, но и художественной структуры повести. Он отмечал, что «дело, в конце концов, не в Студенце и не в Боброве. Разорение русской земли — вот истинная тема А. Ремизова, и самой повести его пристало бы название „Плача о погибели русского народа“. Сам А. Ремизов очень напоминает тех старцев и книжников, которые в старину в одиночестве своих келий описывали разорение родной земли и обращали свой „Плач о погибели“ к своим соотечественникам» (День. 1912. № 26. 27 окт. С. 6). Наиболее адекватной по пониманию критиком авторского замысла была рецензия Р. В. Иванова-Разумника. Как упоминалось, в процессе работы над повестью Ремизов находился в постоянном контакте с критиком. Иванов-Разумник внимательно проследил в своей рецензии развитие мотива Суда и особо остановился на проблеме трагической отделенности героя от своего народа. Он был единственным критиком, кто осмыслил финал повести, как катарсис: «Так всегда совершается трагедия — рост души человеческой; от формальной правды, от идеи законности следователь Бобров должен перейти, перестрадав, к высшей человеческой правде, к любви человеческой. <...> Он умер победителем над самим собою; <...> умер, став человеком и приняв страдания человеческие» (Заветы. 1912. № 8. Отд. II. С. 48).

С. 209. *Пятая язва* — название повести восходит к «Откровению Мефодия Патарского» — переводному византийскому сочинению неизвестного автора. В Средние века его создание приписывалось Мефодию, епископу города Патар в Ликии (Малая Азия), жившему в III—IV вв. Одни исследователи датируют текст IV в., другие — VII в. На Руси славянский перевод «Откровения» (вариант: «Слова Мефодия Патарского») известен с начала XII в. «Откровение» — один из основных литературных источников текста Ремизова. О названии повести см. текст источника — списка «Слова Мефодия Патарского» XIV в.: «прѣди поидут же прѣд ними на земля, язвы Д҃ (4 — *ред.*): пагуба, губительство, тле и запустение» (I. С. 220). Под «пятой язвой» в тексте-источнике подразумевается разобщенность между людьми.

С. 211. *Студенец* — колодец, ключ из земли, родник. Название города, возможно, восходит к цитате из «Слова Мефодия Патарского». Когда наступят последние дни перед концом света, то «облаки не дадять воду, земля отвержется

плодовъ своихъ, море исполнится смрада, рыбы его изомруть, рѣки изсохнуть, студенцы оскудеють» (I. С. 265).

С. 211. *...из бывших пажей босяк местный..* — Вероятно, ироническая аллюзия на популярную в русской литературе начала XX в. тему романтизированного «босячества», наиболее ярко представленную в раннем творчестве М. Горького. Ср. образ одного из босяков — «Барона» в пьесе «На дне» (1902)

*Исправник* — начальник полиции в уезде.

*...устоял, потому что под Шипкою был.* — Имеется в виду один из знаменитых эпизодов русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — сражение за Шипкинский перевал, который русские войска захватили 19 июля 1877 г. и удерживали вплоть до наступления основных сил в январе 1878 г.

*Становой* — имеется в виду становой пристав — начальник стана (административно-полицейского подразделения уезда).

С. 212. *...пьет аптекарь собственного изготовления ~ чтит себя ~ Менделеевым.* — Предметом докторской диссертации знаменитого химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1874—1907) было исследование растворов спирта по удельному весу (тема: «О соединении спирта с водой», 1865). Менделеев установил процентное содержание этилового спирта, оптимальное для производства качественной водки.

*Воздвиженье* — двунадесятый церковный праздник: Воздвижение Честного Креста Господня, 14 сентября.

*Инда* — так что.

*...переделал всю хрестоматию Поливанова... ~* для *старшего возраста..* — Имеется в виду переработка в эротическом духе кн.: Поливанов Лев. Русская хрестоматия для двух первых классов средних учебных заведений. Книга неоднократно переиздавалась. Например: 3-е изд. М., 1873.

С. 213. *...съел óблизня...* — идиоматическое выражение, означающее — потерпеть неудачу, обмишуриться. *Облизень* — отказ, неудача.

*...верует, что ~ романс Не говори, что молодость сгубила — ~ самый и есть стих настоящий некрасовский, а не шведовское переложение для старшего возраста.* — Имеется в виду переложение в эротическом духе романса «Не говори, что молодость сгубила...» (слова Н. А. Некрасова, муз.: Пригожего (1877), Фамицына (1889). В издании «Пятой язвы» 1922 г. начальная строфа «переложения» приведена почти полностью: «Не говори, что молодость сгубила, // ты ревностью истерзана моей, // Не говори, что ... простудила, // всю зиму ты ходила без штанов...» (С. 79).

*...следователя на том свете не погонят в задние муки, не сидеть ему в озере огненном.* — Скрытая неточная цитата из апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» (II. С. 119—120). По пояс в озеро погружены проклятые родителями, до пазухи — блудники, по шею — людоеды.

*Шантряп* — пустой, никчемный человек.

*Ктитор соборный* — церковный староста — «поверенный прихода, избираемый в каждой церкви, для участвования с причтом в распоряжении церковным имуществом, под надзором благочинного и епархиального начальства. <...> Нередко старост ц<ерковных> называют ктиторами, но это не вполне правильно» (Полный православный богословский энциклопедический словарь. СПб. Б. д. Стб. 2114—2115).

С. 213. *Пономарь* — низший церковнослужитель, обязанностями которого были звонить в колокола, участвовать в клиросном пении, прислуживать при богослужении.

С. 214. *Антиминс* — в восточном христианстве так называется плат, который заменяет престол и на котором можно совершать богослужение. На нем изображено положение Христа во гроб и в него вложена частица св. мощей. В русской церкви с середины XVII в. возлагается на все престолы без исключения.

*...и в реке огненной среди татей и разбойников, там не место следователю.* — Скрытая неточная цитата из апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» (**II.** С. 121).

С. 215. *Податной* — имеется в виду податной инспектор — т. е. инспектор, занимающийся взиманием податей и других налогов.

*...в загробном видении писано о то-светном месте, где томятся блудники и прелюбодеи грешники...* — Скрытая неточная цитата из апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» (**II.** С. 121).

*Старец Шапаев...* — полигенетический образ. Среди его литературных прототипов основное место занимают старцы из романов Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» (см. далее коммент. к с. 264). Главный реальный прототип — «старец» Григорий Ефимович Распутин-Новый (1869—1916) — народный целитель, экстрасенс, известный своей близостью к царскому семейству, имевший значительное число поклонников, преимущественно женщин. В момент создания «Пятой язвы» жизнь и деятельность Распутина была предметом общественного обсуждения, многочисленных скандальных слухов и газетных разоблачений, посвященных, в основном, его развратному поведению. См., например, памфлет С. М. Труфанова (бывш. иеромонаха Илиодора) «Святой черт»: «Преимущественное содержание „старческой“ деятельности Распутина — это врачевание в людях так называемых блудных страстей. <...> Григорий признает в женщинах существование преимущественно блудных бесов, и <...> избавляет <...> от бесовских приставаний» (Труфанов С. М. Святой черт // Григорий Распутин. Сб. исторических материалов. Т. 1. М., 1997. С. 349, 358). См. также коммент. к с. 493.

*Кинарка* — канарейка.

*Моровой батюшка от вседневной обыдённой церкви...* — *Моровой* — относящийся к мору (моровой язве, чуме). *Обыдённая* — церковь, построенная за один день.

*...открыл союзный отдел в Студенце...* — Отдел «Союза русского народа» (1905—1917) — правой политической партии, объединившей членов различных черносотенных организаций и часть монархистов. К 1907 г. сложилась ее базовая основа — система местных отделов Союза.

*...числящийся под надзором...* — находящийся под надзором полиции, которому подвергались лица, ранее судившиеся по политическим мотивам или считавшиеся властями неблагонадежными.

*...за пение свое вставай-подымайся...* — Имеется в виду популярная революционная песня «Вставай-подымайся, рабочий народ...».

С. 216. *Заштатный поп* — священнослужитель, выведенный за штат, неположенный росписью.

*Табельный день* — день табельного праздника, включенного в число казенных.

С. 216. *Почтмейстер ~ не раз вскрывал письма и бандероли Боброва ~ по исконному обычаю почтовому...* — аллюзия на мир чиновничества в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1835). Ср.: «**Городничий.** <...> Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо <...> этак немножко распечатать и прочитать <...>. **Почтмейстер.** <...> Этому не учите, это я делаю не то, чтоб из предосторожности, а больше из любопытства, смерть люблю узнать, что есть нового на свете <...> это преинтересное чтение!» (Гоголь Н. В. Собр. соч. В 5 т. Т. 4. М., 1961. С. 17).

*...издания Археографической комиссии, Русской исторической библиотеки, Общества любителей истории и древностей российских и всякие труды Академии наук...* — такая «скрытая отсылка» использована Ремизовым для указания на «список использованной литературы». См. вышеуказанные источники текста повести.

С. 217. *Четыре страшные язвы: пагуба, губительство, тля, запустение, а пятая язва студенецкая — бич и истребитель рода человеческого — следователь Бобров.* — См. коммент. к с. 209.

С. 218. *Оглодок* — огрызок, объедок, оглоданная кость.

*...и без высокого лыковского оканья...* — тип произношения гласных, характерный для волжских говоров.

*...и без московских пряников...* — Имеется в виду характерная черта московского говора — «открытое» произношение гласных, называемое московским «аканьем».

*...за плечами Петропавловская крепость...* — Петропавловская крепость (до 1914 г. официальное название — Санкт-Петербургская крепость) была заложена по повелению императора Петра I 16 (28) мая 1703 г. на Заячьем острове. Эта дата официально считается днем основания г. Санкт-Петербурга — с 1712 по 1918 г. — столицы Российской империи. С конца XVIII в. до 1918 г. крепость была главной политической тюрьмой в России. В повести Ремизова — символ государства, всеми способами стремящегося осуществить контроль и упорядочивание жизни своих граждан.

*...на ~ душетлительную деятельность Боброва, от гордыни и высокоумия проистекающую.* — В христианской доктрине «гордость» является первым из семи смертных грехов.

С. 219. *...но сокрушали рóги свои.* — библеизм. Ср.: «все роги нечестивых сломлю» (Пс. 74; 11).

*Он свое дело делает...* — Отсылка к одной из концептуальных идеологических идиом русской революционно-демократической мысли, идиоме, восходящей к христианской символике «богоугодного делания». В русской литературе она была наиболее программно выражена в романе вождя революционных демократов, сына священника и учащегося Саратовской духовной семинарии Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1862—1863).

С. 220. *И, переступая следовательский порог, всякий обвиняемый прощался с волей: вернуться домой не было надежды.* — Последовательное соотнесение личности и дел Боброва с образом и деяниями адского порождения — Антихриста. Ср. в «Божественной комедии» Данте надпись над вратами Ада: «Через меня путь в город скорби, // Через меня путь к вечной муке, // Правосудие двинуло моего высокого Творца; // Меня создало Могущество Божие, // ~ // Оставьте всякую надежду вы, входящие!» («Ад», песнь 3. Перевод Б. К. Зайцева).

С. 220. *Концы земные.* — Название главы — цитата из «Слова Мефодия Патарского» (I. С. 264).

С. 222. *...икона ~ Величит душа моя Господа.* — Название иконы — цитата из евангельского чтения (Лк. 1; 46), входящего в «Канон молебный к пресвятой Богородице», который является обращенной к Богоматери молитвой о помиловании. Эта икона относится к определенному иконографическому типу: «Многофигурная композиция, иллюстрирующая песнопение. В центре изображена Богоматерь в славе, восседающая на престоле, по сторонам святые. Выше Спас и Саваоф. Над ними два ангела держат небо в виде свитка со звездами, солнцем и луной. Под Богоматерью два ангела низвергают „низложенных сильных с престолов", которые изображены в образе царей, падающих вместе со своими престолами в черную бездну. В правой части иконы — Богоматерь, повторенная дважды, и восхваляющие ее народы (надпись „блажат [хвалят] мя все роды"). В левой части иконы — „смиренны алчущие" сидят за трапезой. В верхнем левом углу горний Иерусалим, рай (надпись: „гора Исалим")» (Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. II. XVI—начало XVIII века. М., 1963. С. 481).

С. 223. *...мальчик ~ складывая кубики — печку свою, все думал ~ и однажды он положил в печку щепок, достал спичек и зажег...* — Введение автобиографического мотива. См. дневниковую запись Ремизова 1930-х гг.: «Я с детства думал поджечь: началось это с игрушечной печки, это была та самая печка, на которую я дряпнулся — только не помню, что меня тогда обидело, но я в печке разложил огонь. <...> Я не видел исхода — как только поджечь» (Собр. Резниковых).

*..глядит ~ человек на человека своим наделенным зрением, но лишенным видения, обездоленным глазом ~ А ей Богом даны были глаза...* — Ремизов использует библейскую символику: зрение как духовное ви́дение.

*.. на край света ~ в пустыню какую-то...* — Стремление к богоугодной, целомудренной жизни. Образ восходит к реалиям раннего восточного христианства, когда в Египте, Сирии, Палестине верующие удалялись из городов в пустыни, чтобы в одиночестве вести жизнь монаха-отшельника.

С. 231. *...на другой горе монастырь, — некогда старцы пустынные ~ жили в нем, отшельники ~ в богомыслии и умной молитве...* — Прототипы ремизовских монахов — так называемые «заволжские старцы» XVI в., противники владения монастырями имущества («нестяжатели»), возродившие в лесном Заволжье скитские формы монашеской жизни — промежуточной формы между отшельничеством и общежительным монастырем. Наиболее видным представителем «нестяжателей» был Нил Сорский (ок. 1433—7.5.1508) — монах, организатор скита на реке Соре в Белозерском крае, автор посланий и монастырского «Устава», в котором, в частности, говорится о «мысленном делании» и «умной молитве».

С. 232. *...от нового и до нового года, который встречается дважды: и в Васильев вечер ~ и тридцатого на Анисью...* — Память Святителя Василия Великого (379) — 14 января (1 января н. ст.). «Васильев вечер, канун Нового года, слившийся вместе со святками или каледою в наши дни, в прежнее время именовался то *богатым вечером*, то *Авсенем*, то *Овсенем*, то *Таусеном* <...>, а в некоторых губерниях *каледой* и *таусенем*, так как эти два праздника ныне безразлично сливаются в одни святки» (Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забылиным. М., 1880. С. 33—34). (Память Святой мученицы Анисии (285—305) — 30 января (12 февраля н. ст.).

С. 232. *Вёдро* — хорошая, сухая погода.

С. 233. *...студенецкого парикмахера Юлина — Гришки Отрепьева...* — Прозвище восходит к исторической личности русской истории XVII в. Имеется в виду Лжедмитрий I (ок. 1580—17.5.1606) — самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича, сына царя Ивана IV, в 1605—1606 гг. — русский царь. По официальной версии правительства царя Бориса Годунова настоящее имя самозванца — Юрий (Григорий) Богданович Отрепьев. Заняв московский престол, Лжедмитрий продолжал в быту быть приверженцем западных обычаев, в частности, брил бороду, что не соответствовало тогдашним русским правилам.

*...от дней свободы.* — Имеется в виду время первой русской революции 1905—1907 гг.

*Кур* — петух, кочет.

С. 234. *Табельдот* — общий стол в гостиницах (совр. вар.: табльдот).

*Удопреклонен* — глагол образован от древнерусского слова «уд» — пенис.

*Рамс, винт* — карточные игры.

С. 235. *...заставлял он Василису раздеваться и так нагишом прогуливаться в гостиной, увешанной зеркалами...* — Возможно, иронический намек на скандально-популярный рассказ Ан. Каменского «Леда» (1906), героиня которого проповедовала культ красоты подобным образом.

С. 236. *...дьяк Иван Тимофеев в «Временнике» ~ выносил приговор русскому народу, бессловесно молчащему...* — Тимофеев Иван (ум. ок. 1629) — дьяк, публицист эпохи русской Смуты начала XVII в., автор публицистического сочинения «Временник», посвященного изображению и оценке современных автору исторических событий. «Бессловесно молчащему» — неточная цитата из «Временника»: «Но убо иже господомладенческое неповиннѣ заколение и всеградное туне огнемъ потребление и не хотяще убо и подъяхомъ вси, яко ничю же знающемъ, бессловеснымъ молчаниемъ спокрывшеся...» (**III.** Стб. 302—303).

*...троицкий монах Авраамий Палицын судил русский народ за его безумное молчание. — Авраамий (в миру Аверкий Иванов Палицын, ок. 1550—13.3.1626)* — церковно-политический деятель, публицист, в 1607—1608 гг. — келарь Троице-Сергиева монастыря, автор одного из популярнейших историко-публицистических произведений о Смуте — «Истории в память предыдущим родом», ядром которой является «Сказание» об осаде Троице-Сергиева монастыря войсками самозванца Лжедмитрия II. В разделе «Сказания» «О начале бѣды во всей Росии» автор писал о том, что она пришла «и за всего мира безумное молчание, еже о истиннѣ къ царю не смѣюще глаголати о неповинныхъ погибели» (**III.** Стб. 479).

*Кто уничтожает крамолу? Кто разорит неправду? Что утолит жажду?* — Ср. анафоры в публицистическом сочинении периода Смуты «Плач о пленении и о разорении Московского государства»: «И кто не исполнится от христианъ плача и рыдания? кто не ужаснется, толикую скорбь и язву слышавъ о присной по духу братии своей? кто не накажется толикими бедами?» (**III.** Стб. 233).

*Костыль* — здесь: посох.

*...была ~ делом его души.* — Цитата из древнерусского патерикового рассказа, повторенная в ремизовском пересказе («Вошиное насланиe»): «Был некто человек,

нарицаемый *праведен* <...> Ушел он от мира <...> в пустыню и, творя дело души своей <...> жил (Ремизов А. Бисер Малый / Заветы. 1912. № 8. С. 53—54).

С. 237. *Лобное место* (1534). — Расположенное на Красной площади в Москве возвышенное место круглой формы, откуда оглашались царские указы, зачитывались и исполнялись приговоры. Ныне перенесено с первоначального места. «Впервые Лобное место упоминается в нашей истории именно при том случае, когда царь Иоанн Васильевич просил прощения у земли Русской и обещал быть судьей и обороной своих подданных» (Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. 2-е изд. М., 1999. С. 179).

*С Петровского подножья от памятника великого русского царя...* — Имеется в виду памятник Петру Первому (1768—1778) работы Э. М. Фальконе (голова Петра выполнена М. А. Колло) в Санкт-Петербурге. Его упоминание вводит в повесть вариант социокультурного петербургского мифа о противостоянии государства и личности, вариант, вошедший в русскую культуру после появления поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

*...в плач над разоренностью земли русской о погибели русского народа.* — Сочинение Боброва написано в древнерусском жанре «Слова», сочетающего в себе, по определению Д. С. Лихачева, черты плача и славы. Ср. с названиями произведений древнерусской литературы «Слово о погибели Русской земли» (XIII в.), «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства» (XVII в.), входящий в состав «Временника» И. Тимофеева «Плач из среды сердца глубокъ и рыдание горко от лица града святаго великаго к могущему спасти мя Богу на иже мучителски мною владущаго, неже благодержавно» (III. Стб. 359). Этот жанр будет активно использован Ремизовым в его творчестве периода второй русской революции («Слово о погибели Русской Земли» (1917), «Слово к матери-земли» (1918), «Плач» (1918) и др. — См. 5 том наст. изд.).

*Придут дни, ~ пророчество право, дни уже идут, приближается срок, когда живущие в этом дворе не ступят по нему, ~ и затворятся его ворота и запустеет этот двор — запустеет Россия!* — Текст Ремизова основан на пророчестве в «Слове Мефодия Патарского» о нашествии племен «затворенных тартарохъ. / Тогда отврѣзутся врата сѣвернаа, и изыдуть силы языческыя, аже бѣху затворены вънятръяду и подвижится въсѣ землѣ от лица ихъ устрашут же ся человеци и побѣгнуть» (I. С. 224).

С. 238. *Ахмыла.* — Имеется в виду Ахмыл, посол хана Узбека, в 1318 г. вызвавший в Орду св. князя Михаила Тверского, который погиб там мученической смертью. В летописи под 1320 г. «находится также известие о татарском после Ахмыле, который сделал много зла Низовской земле, много побил христиан, а других повел рабами в Орду» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 3 / Соловьев С. М. Сочинения. В 18 кн. М., 1988. Кн. 2. С. 217).

*Грозный царь приходит на свою землю ~ Когда новгородского владыку, обряженного шутом, возили по городу ~ на белой кобыле...* — Ср. текст Н. Карамзина: «Еще судьба Архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу» (V. С. 96).

С. 238. *...до полутысячи монахов палицами забиты были насмерть..* — Число убитых взято Ремизовым из текста «Повести о разгроме Новгорода Иваном Грозным», вошедшей в погодную статью «Новгородской третьей летописи» за 1570 г. Ср.: «а игуменовъ и черныхъ священниковъ, и диаконовъ, и соборныхъ старцовъ, изо всѣхъ новгородскихъ монастырей, собраша <...> числомъ ихъ яко до пятисоть старцовъ и болши, и всѣхъ ихъ поставиша на правежь <...> и <...> избивати ихъ палицами насмерть» (IV. С. 256—257).

*...«у татар есть правда, во одной России нет ее ~ в России нет сострадания даже к невинным и правым!»* — Ремизовский текст сло́ва «московского святителя» — обращенной к Ивану IV речи митрополита Филиппа — буквальный перевод с немецкого цитаты из «Записок о московских делах» — «Послания» служивших у Грозного иноземцев И. Таубе и Э. Круза. Указанный отрывок из «Послания» приведен у Карамзина в примечании № 191 к т. IX «Истории»: «<...> die Tattern und Heyden haben Gesatz und Recht; allein in Reuschlandt ist es nicht; in aller Weldt wirdt Barmhertzigkeit gefunden, und hie in Reuschlandt ist Über die Unschuldigen und Gerechten kein Erbarmen» (V. С. 37).

*...представлялся ему русский народ* ***затворенным*** *псоглавым народом, который в конце веков ~ пьяный от воли ~ истребит все царства.* — Текст Ремизова — контаминация неточной цитаты из «Слова Мефодия Патарского» и упомянутого в древнерусском переводном памятнике «Александрия» названия фантастического народа, проживающего в Индии (пёсьеглавцы). Также здесь игровое обыгрывание популярной идиомы: русский народ — «народ-богоносец». Источник Ремизова — известная ему статья А. Н. Веселовского «Данте и символическая поэзия католичества» (см. ремизовский конспект статьи 1910-х гг.: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 7—8), где пояснялась символика имен некоторых святых: «Так имя св. *Христофора* истолковано было этимологически как богоносца <...> Старая легенда приписывала ему страшный вид — и эта подробность понята была конкретно: русские иконописцы изображали его с лошадиной либо пёсьей головой» (ВЕ. 1866. № 4. С. 192—193).

*...революционеры убивают ~ по указке какого-то провокатора...* — Отзвук громкого скандала в партии социалистов-революционеров, когда в 1908 г. один из руководителей ее Боевой организации Евно Фишелевич Азеф (Азев) (1869—1918) был разоблачен как агент Департамента полиции.

С. 239. *...трусливое общество с своим обезьянским гоготом...* — В данном контексте Ремизов подразумевает под понятием «обезьяна» традиционное публицистическое противопоставление гуманистических («человеческих») и антигуманистических («обезьянских») начал.

*...«я* ***не русский! ~ не русский, я немец, все русские предатели и воры!»*** — Скрытая цитата — изложение речей Ивана Грозного в записках английского посла Д. Флетчера, сочинении XVI в., запрещенном к публикации в России вплоть до революции 1905 г.: «*Иван Васильевич*, отец теперешнего Царя, часто гордился, что предки его не *Русские*, как бы гнушаясь своим происхождением от *Русской* крови. Это видно из слов его, сказанных одному Англичанину, именно его золотых дел мастеру. Отдавая слитки, для приготовления посуды, Царь велел ему хорошенько смотреть за весом. „*Русские* мои все воры“ (сказал он). Мастер, слыша это, взглянул на Царя и улыбнулся. Тогда Царь, человек весьма проницательного ума, приказал объявить ему, чему он смеется. „Если Ваше Величество простите меня (отвечал золотых дел мастер),

то я вам объявлю. Ваше Величество изволили сказать, что Русские все воры, а между тем забыли, что вы сами Русской". „Я так и думал (отвечал Царь), но ты ошибся: я не *Русской*, предки мои Германцы"» (Флетчер Д. О государстве русском. СПб., 1905. С. 19).

С. 239. *...погружался во тьму и весь народ русский...* — Основа текста — образы из «Хождения Богородицы по мукам».

С. 240. *Многих ли ради грех наших и неправд, как сказал бы летописец, ~ много самых неожиданных происшествий совершалось...* — Стандартная летописная формула. Ср. «Статьи о смуте» из Хронографа 1617 г.: «Того же лѣта грѣхъ ради нашыхъ гладъ бысть великъ» (III. Стб. 1285); «Въ лѣто 7111 бысть грѣхъ ради нашыхъ моръ лютъ» (III. Стб. 1286).

*...истребительного общества...* — Ремизовский неологизм в стиле Лескова. Имеется в виду: потребительского общества.

*...появились в Студенце черви, несметное их количество. ~ ползли они ~ с запада на восток, и размножались с быстротою молнии ~ Трое суток ползли черви на протопопа, потом вдруг повернули на исправника и пропали.* — Ср. в «Повести о видениях в Нижнем Новгороде и Владимире»: «и будеть на нихъ многое множество поползущего гаду. — И пахнуть на мя рукавомъ своимъ, и абие поползе по земли и по мне много жужулець и червей множество» (III. Стб. 241—242).

С. 241. *...не доставало яйца струфокомилова...* — Струфокомил (струфокамил) — заимствованное из греческого древнеславянское название страуса (См.: Белова О. В. Славянский бестиарий. М., 2000. С. 243—244).

С. 241—242. *...разрешил себе Александр Ильич, не сдержал своего воздвиженского зарока ~ А вот наутро ~ ощутил на себе ~ уши ~ ослиные...* — Ремизов контаминирует два древнегреческих мифологических сюжета о фригийском царе Мидасе. Первый сюжет: Мидас подпоил учителя Диониса Силена и насильно удерживал его. За его освобождение Дионис исполнил пожелание Мидаса — наделил его способностью обращать в золото все, к чему он ни прикоснется. Дар бога обернулся несчастьем, от которого Мидас избавился, погрузившись в воды источника Пактол. Второй сюжет: фригийский царь получил ослиные уши от Аполлона в наказание за то, что в музыкальном состязании богов предпочел его игре на кифаре игру Пана на флейте. Мидас скрывал уши, но их увидел его брадобрей.

С. 242. *...на шее Анна...* — Имеется в виду российский орден Св. Анны (учрежден в 1736 г.) 2-й степени, представлявший собой золотой крест, покрытый красной финифтью, с изображением в середине св. Анны. Орден полагалось носить на шее на узкой красной ленте с желтой каймой по краям.

*...серпом силы своей всякого посечет.* — Неточная цитата из апокрифического жития св. Андрея Юродивого. В главе «Провидение о Царьграде» рассказывается, что Господь, разгневанный беззакониями жителей города, «серпом силы своея посѣчеть персть» (Сахаров В. Апокрифические и легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии. СПб., 1888. С. 136).

С. 243. *...почить бы сном до радостного утра.* — Ремизов цитирует моностих Н. М. Карамзина из цикла «Эпитафии» (1792): «Покойся, милый прах, до радостного утра!», ставший одной из самых распространенных надгробных надписей русского некрополя конца XVIII—XIX вв.

*...за птичеблудие...* — Птичеблудие (древнерус.) — совокупление с птицами.

С. 244. *...волосы ~ как у беса, стояли стрелами...* — Имеется в виду иконографический канон изображения бесов в древнерусском искусстве. Ср. описание антихриста в апокрифе «Вопросы Иоанна Богослова Господу на Фаворской горе»: «Тогда явится отметникъ, называемый антихристъ <...> власы головы его остры, какъ стрѣлы» (Сахаров В. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула. 1879. С. 124).

С. 245. *...с великим тезкою...* — Имеется в виду Александр III, прозванный Македонским (356 до н. э. — 13.06.323 до н. э.) — один из великах античных завоевателей и полководцев.

С. 247. *...сообщалось известие чрезвычайное: <...> в Студенец <...> приедет губернатор.* — Ср. в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: «**Городничий.** Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор» (Гоголь Н. В. Собр. соч. Т. 4. С. 9). Дальнейший порядок распространения вести о губернаторе в тексте Ремизова также ориентирован на текст Гоголя.

С. 248. *Политань* (от фр.: poli tanné) — темно-коричневая полировка.

С. 249. *Оподельдок* (от фр.: opodeldoch — мазь) — сорт мази.

*...как кур водный, сиесть пав* — «кур морской» — славянское обозначение павлина (Белова О. В. Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. С. 154).

С. 250. *Персидский порошок* — средство от блох.

*Гуттаперчевая* — сделанная из гуттаперчи — упрогого вещества, сходного с каучуком.

*...у союзного стяга...* — т. е. знамени «Союза русского народа».

С. 251. *...старец Шапаев, что блудом лечит ~ стоял в кругу баб-поклонниц..* — См. коммент. к с. 215.

С. 252. *...на четыре ветра прокричал ветеринар антоновские уши.* — Трансформация двух сюжетных мотивов. Первый из них — финал мифа об ослиных ушах фригийского царя. «Мидас прятал уши под фригийской шапкой. Его брадобрей вырыл ямку в земле и прошептал туда: „У царя Мидаса длинные уши“. На этом месте вырос тростник, который прошелестел об этой тайне всему свету» (Словарь античности. М., 1992. С. 353). Второй — мотив снятия порчи, наведенной колдуном. Ср. формулу заговора: «Стану я, раб Божий Н., благословясь, пойду перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами в чистое поле на три росстани, помолюсь я, раб Божий, трем братам, трем ветрам: первый брат, ветр восточный, второй ветр — запад, третий ветр — север!» (Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. С. 308).

С. 253. *...сущее столпотворение и рассеяние языком...* — Идиоматическое выражение, восходящее к библейскому тексту о стремлении людей построить Вавилонскую башню до неба и божеском наказании — смешении языков (Быт. 11; 4—6).

С. 254. *Орех волошский* — грецкий орех.

*Кто голодающую муку...* — т. е. муку, предназначенную для голодающих.

С. 255. *Милефоль* (от фр. mille-feuille — тысячелистник) — здесь.: настойка на тысячелистнике.

*«Не говори, что молодость сгубила...»* — См. коммент. к с. 213.

С. 256. *Троица* — см. коммент. к с. 26.

*...на Петрово говенье..* — Имеется в виду Петров пост, который начинается через неделю после Св Троицы и заканчивается в Петров день — память Святых и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла — 29 июня.

С. 257. *На Ильин день ~ кунал олень в Медвежину золотые рога.* — Согласно народной примете в День пророка Илии (20 июля) «начинается осень, появляются холодные утренники: <...> говорили: <...> „На Ильин день олень копыта обмочил: вода холодна“» (Бондаренко Э. О. Праздники христианской Руси. Калининград, 1998. С. 236).

*...в канун Спасова дня...* — Канун церковного праздника Преображения Господня (19 августа), в народе называемого Вторым, яблочным Спасом.

*...Двигалка* ***ключами*** *своими — двенадцатью ключами обошла мужика..* — Речь идет о привораживании при помощи волшебной воды.

С. 258. *Ектения* — молитва всех присутствующих во храме. Современная ектения бывает четырех видов: великая, малая, сугубая, просительная.

С. 264. *...в мудрых людях слух идет, что лишь подвигом народ исцеляется, а самый больший подвиг в вольном страдании. ~ прими на себя чужую вину, возьми крест другого ~ Вольное страдание ~ и спасет будто бы русский народ...* — Один из аспектов религиозной доктрины старца Шапаева восходит к идеям романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором сектант Миколка делает ложное признание, что это он убил старуху-процентщицу и ее сестру. См. объяснение этого факта следователем Порфирием Петровичем: «он <...> просто сектант <...> сам он еще недавно <...> у некоего старца под духовным началом был. <...> в остроге-то и вспомнился <...> честной старец. Что значит у иных из них „пострадать“? Это не то, чтобы за кого-нибудь, а просто „пострадать надо“; страдание, значит принять, а от властей — тем паче» (Достоевский 6. С. 347—348).

*Пресвятая Богородица наша по мукам ходила ~ и оставила Богородица рай, Сама пошла в муку, к нам, в муку, с непрощенными мучиться и мучается...* — Изложение ремизовского варианта трансформации сюжета древнерусского апокрифа «Хождение Богородицы по мукам», воспринятого сквозь призму его интерпретации Достоевским в романе «Братья Карамазовы» (Достоевский 14. С. 225). См. текст ремизовского апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» и коммент. к нему в 6 т. наст. изд.

С. 266. *«Взять на себя вину, ну, а тот подлец будет по воле разгуливать, да еще смеяться?»* — Трансформация мотивов романа «Преступление и наказание». Ср. рассуждения Раскольникова: «Донести, что ль, на себя надо? <...> Не пойду. <...> я скажу: что убил, а денег взять не посмел <..> Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. <...> Зачем я пойду?» (Достоевский 6. С. 323).

*...не сопротивляйся бьющему! ~ люби ненавидящих нас!* — Неточное цитирование евангельских заповедей (Мф. 5; 39, 44).

С. 266. *«А что если людям все позволить...»* — Отражение идей Ивана Карамазова: «Раз человечество отречется поголовно от Бога <...>, падет все

прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. <...> человечество устроится окончательно. <...> В этом смысле ему „все позволено". <...> „все дозволено", и шабаш!» (Достоевский 15. С. 83—84).

С. 268. *Мутен, горек сон приснился Боброву.* — Неточная цитата из «Слова о полку Игореве»: «А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ в Киевѣ на горахъ» (Слово о полку Игореве. СПб., 1907. 6-е изд. С. 8). Сон Святослава предвещает его смерть.

*Счудилось ему, ~ здоровая девка ~ в руках держит большие ножницы ~ стричь собирается.* — Символика сна Боброва основана на античном мифе о вестницах судьбы Парках (Мойрах), одна из которых перерезает ножницами нить человеческой жизни.

С. 269. *Страды.* — Название главы восходит к церковно-славянскому слову «страды» — страсти. Термин «Страсти» обозначал жанр апокрифических произведений, в которых изображались страдания Иисуса Христа (см: Сахаров В. Апокрифические и легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии. С. 89).

*«Вот если бы ему в Париж, в Париж ему уехать!»* — Соединение двух устойчивых неомифологических мотивов новой русской литературы: 1) отъезд в другое место (деревню, город, страну) = новая жизнь (воскресение). Ср. лейтмотив «отъезда в Москву» в пьесе А. П. Чехова «Три сестры» (1901). 2) отъезд = смерть. Ср. семантику «отъезда в Париж» (самоубийства) Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Достоевского. См. также развитие мотива «отъезда в Париж» в повести «Крестовые сестры».

*Парамант* (параман) — «принадлежность монашеского одеяния, состоит из двойных перевязей, сплетенных из шерстяных ниток; спускаясь с шеи крестовидно, обнимает плечи и под мышками перепоясывает одежду. <...> Своей крестовидной формой Параман означает тот крест, который инок берет на себя, чтобы следовать за Христом» (Полный православный богословский энциклопедический словарь. Т. 2. СПб., Б. г. Стб. 1760).

С. 273. *Зададут ему феферу с фернопиксом!* — Зададут ему перцу с дегтем! Фефер (нем.: Pféffer) — перец. Фернопикс (лат.: pharmaceutuca pix) — лекарственный деготь.

С. 275. *...жаждущего не напоили ~ нагого не приодели, больного не посетили, в темницу к сидящему не пришли.* — Ср. в «Святителя Димитрия исповедании грехов, глаголемом пред иереем от лица кающегося»: «Исповѣдую такожде, яко согрѣшихъ зѣло <...> ожесточеніемъ ко убогимъ, во страннопріятіи и угощеніи нищихъ, <...> непосѣщеніемъ болящихъ, <...> и въ темницѣ сущихъ, <...> неодѣяніемъ убогихъ, ненасыщеніемъ алчущихъ, ненапоеніемъ жаждущихъ» (Цит. по: Булгаков С. В. Настольная книга для священно-церковно-служителей. В 2 т. М., 1993 [репринт изд. 1913 г.]. Т. 2. С. 1101.

*И им виделся старец ~ неподступно в самосиянном свете превышнего третьего неба беззвездного — неба небесе скорбно стоял в воздухе старец.* — Текст Ремизова основан на переосмыслении сюжетов: 1) апокрифического «Откровения (Видения) св. Павла» (V в. н. э.), в котором вознесенный до третьего неба апостол Павел видел мучения грешников и Царство Небесное; 2) первоисточника «Откровения» — новозаветного текста — Послания ап. Пав-

ла: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет, — в теле ли — не знаю, вне тела ли — не знаю: Бог знает, — восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, — *только* не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает» (2 Кор. 12; 2—3). Основа ремизовского осмысления источников: Шепелевич Л. Этюды о Данте. I. Апокрифическое „Видение Св Павла". Ч. 1. Харьков. 1891. С. 33—51. Далее: Шепелевич. Апокрифическое „Видение Св. Павла", с указанием страницы.

С. 276. *Подблюдная песня* — обрядовая песня при святочном гадании.

С. 277. *Плисовая кофта* — из хлопчатобумажного бархата.

## «ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА»

*Роман*

Впервые опубликовано: Канава (контаминация первых публикаций 4-х частей) / Ремизов А. М. Избранное. Сост., примеч., послесл. А. А. Данилевского. Л.: Лениздат. 1991. С. 389—546.

Публикации отдельных частей и глав[1]:

**Часть I «Корьё»: Гл. 1. «Истины».** — Впервые: Канава. *Роман.* Часть первая. Корьё. Гл. 1 (без названия) // РМ, 1923, № 1/2. С. 46—60; Др. изд.: Истины (из неизданного романа «Плачужная канава») / Опыты (Нью-Йорк), 1957. Кн. 8. С. 6—20; **Гл. 2. «Нога в пуховом чулке». Разделы 1—12.** — Впервые: разделы 1—7 — Канава. *Роман.* Часть первая. Корьё. Гл. 2—3 (без названия) // РМ, 1923, № 1/2. С. 60—89; разделы 8—12 — Канава. *Роман.* Часть первая. Корьё. Гл. 4—5 // РМ, 1923, № 3/5. С. 52—75; Др. изд.: Нога в пуховом чулке. Гл. 1—12 / Новый журнал (Нью-Йорк), 1957. Кн. 48. С. 49—98.

**Часть II «Плетеница»: Гл. 1. «Человеки»** — Впервые: Канава. *Роман.* Часть вторая. Плетеница. Гл. 1. (без названия) / РМ, 1923, № 6/8. С. 62—70; **Гл. 2. «Чародей»** — Впервые: Канава. *Роман.* Часть вторая. Плетеница. Гл. 2—6 (без названия) / РМ, 1923, № 6/8. С. 71—110; Др. изд.: Плачужная канава. Часть «Плетеница». 1. Человеки. 2. Чародей / Новый журнал (Нью-Йорк), 1957. Кн. 56. С. 5—13, 13—49.

**Часть III «Со креста»: Гл. 1—10 (без названий)** — Впервые: Канава. *Роман.* Часть третья. Со креста. Гл. 1—2 / РМ, 1923—1924, № 9/12. С. 29—59; Др. изд.: Со креста (Из неизданного романа «Плачужная канава») / Грани (Frankfurt/Main), 1957, № 34/35. С. 176—194.

**Часть IV «Про любовь»: Гл. 1. «Звезда сердца»** — Впервые: Про любовь. Из романа «Ров львиный». Гл. 1 (без названия) / Воля России (Прага), 1926, № 5. С. 33—44; **Гл. 2. «Нюшка»** — Впервые: Про любовь. Из романа «Ров львиный». Гл. 2 (без названия, частично) / Воля России (Прага), 1926, № 5. С. 44—52; **Гл. 3. «Некуда»** — Впервые: Про любовь. Из романа «Ров львиный». Гл. 2 (частично), 3 (главы без названия) / Воля России (Прага), 1926, № 5. С. 52—57; **Гл. 4. «Канавное прозябание»** — Впервые: Про любовь. Из романа

---

[1] Если название главы, части и общее название произведения совпадает с окончательным текстом (в книге), оно не указывается.

«Ров львиный». Гл. 4, 5 (частично), (главы без названия) / Воля России (Прага), 1926, № 5, С. 57—70; **Гл. 5 «Абраксас»** — Впервые: Ров львиный (Из ненапечатанного романа) <отрывок>// Литер. Россия. Сборник современной русской прозы. Под ред. В. Лидина. М., 1924. Т. 1. С. 36—39; Др. изд.: Про любовь. Из романа «Ров львиный». Гл. 5 (частично, без названия) / Воля России (Прага), 1926, № 5. С. 70—74; Плачужная канава. 1. Звезда сердца. 2. Нюшка. 3. Некуда. 4. Канавное прозябание / Новый журнал (Нью-Йорк), 1957. Кн. 51. С. 19—26, 26—34, 34—39, 39—50; Плачужная канава. Часть «Плетеница» 3. Абраксас / Новый журнал (Нью-Йорк), 1959, Кн. 56. С. 49—54.

Рукописные источники:

1) Беловой автограф с правкой (на обороте листов с текстом более ранней редакции), «1. IV. 1917», под загл. «Ров львиный», «Плачужная канава» — РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 93. 133 л; 2) Беловой автограф с правкой, дата на тит. листе: «1914—1917», дата под текстом: «Берлин-Берестовец 1914, 1917 // Киев 1918», под загл. «Ров львиный. Повесть» [«Плачужная канава»] — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 8. 181 л.; 4) Беловой автограф третьей части и эпилога, под загл. «Ров львиный», даты: «Берлин-Берестовец 1914—1917» (в конце части 3 «Со креста»), «Grunewald VII 1914 // Берестовец VI 1917 // Кислово VII 1918 // Charlottenburg V 1922». — ЦРК АК. Кор. 15. Папка 9. 107 л.; 3) Авториз. печ. тексты — 1) конволют первых публикаций всех глав романа с авт. правкой, загл.-автограф: «Ров львиный», Б. д. — ЦРК АК; 2) машинописные копии частей «Корьё. Истины», «Корьё. Нога в пуховом чулке», «Плетеница», «Со креста», «Все про любовь» с корректорской правкой, Б. д. — Собр. Резниковых; 3) конволют первых публикаций всех глав романа, название и дата — автографы: «Алексей Ремизов. Плачужная канава. La Fossé des fleurs / La Fossé aux fleurs» «1914—1918 Петербург» — Собр. Резниковых; 4) наборная рукопись (конволют первых публикаций всех глав романа с авт. правкой), под загл. «Плачужная канава», дата — автограф: «1914—1918» — Собр. Резниковых.

В настоящем издании «Плачужная канава» публикуется по наборной рукописи из Собр. Ремизовых.

Литературная история романа «Плачужная канава» еще не изучена. На данном этапе научного исследования текста можно лишь обозначить основные этапы истории создания и перечислить попытки издания полного текста романа.

Сохранившиеся автографы (РГАЛИ, ИРЛИ, ЦРК АК) показывают, что замысел романа относится к 1914 г., когда Ремизов взял дневники брата Сергея, ставшие одним из основных источников произведения. В начале 1917 г. первоначальная редакция, озаглавленная «Ров львиный», была закончена (см. оборотные листы БА РГАЛИ) и сразу же подверглась переработке. Направленность правки заключалась в удалении в подтекст или зашифровке сюжетных мотивов, имевших явно выраженный автобиографический характер или напрямую восходящих к дневниковым или эпистолярным материалам С. М. Ремизова. Это подтверждается сравнением текста на лицевых и оборотных листах БА РГАЛИ. Первоначальная редакция завершалась символическим осмыслением начала Первой мировой войны и февральской революции 1917 г. Во Второй, завершенной в 1918 г. (БА ИРЛИ), финал был дополнен таким же осмыслением октябрьского вооруженного переворота, завершившегося диктатурой пролетариата. Обе редакции имели жанровый подзаголовок «повесть» и название «Ров львиный», позднее исправленное в обоих автографах на «Плачужная канава». К 1918 г.

Ремизов вел переговоры об издании произведения в издательстве З. И. Гржебина. Публикация затягивалась, и писатель искал другие варианты, в частности, возможность издания рукописи в Москве. Это было предметом обсуждения в его переписке с В. Л. Львовым-Рогачевским. 1 сентября 1919 г. критик писал Ремизову: «В ответ на Ваше письмо относительно «Рва львиного» мы писали Вам, Алексей Михайлович, но ответа никакого не получили до сих пор. Между тем книга Ваша «Ров львиный» включена в список книг, назначенных к печатанию в первую очередь и редакция ждет ее получения с большим нетерпением» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 126. Л. 9). 7 декабря 1919 г. Ремизов отвечал ему: «„Ров львиный" лежит у Гржебина, на него сделан контракт, но я еще не подписал только по хвори моей, а то давно бы все было кончено. Чтобы взять у Гржебина „Р. Л.", надо ему 15.000 заплатить. (Об этом буду с ним разговаривать). 15.000 я получил от Гржебина, но этой суммой не оценивается Р. Л. В нем 8 листов. Напишите, сколько я могу получить за „Р. Л.", сколько оценивается лист вообще, какие условия. Может, можно было бы сначала через Альманах провести?» (РГАЛИ. Ф. 1100. Оп. 1. Ед. хр. 45. Л. 1). Вопрос с публикацией не был решен до отъезда Ремизова за границу в августе 1921 г., когда писатель был вынужден оставить в России все творческие рукописи, и, в том числе, редакции «Рва львиного», имевшего к тому времени второе название («Плачужная канава»). Необходимые Ремизову рукописи и материалы взялся вывезти из страны А. Орг, у которого они были реквизированы на границе. Сохранился составленный Ремизовым список отобранного, в который включены четыре части «Рва львиного», общий объем рукописи романа — 162 л. (ЦРК АК). В итоге рукописи оказались у Л. Б. Каменева и при помощи А. И. Рыкова были возвращены Ремизову. О чем свидетельствует письмо А. И. Рыкова Ремизову от 27 марта 1922 г.: «Многоуважаемый Алексей Михайлович! Ко мне обратились в Берлине от Вашего имени с просьбой найти отобранные у какого-то жулика на границе с РСФСР и принадлежащие Вам рукописи и литературный материал. Настоящим препровождаю их Вам и надеюсь, что при обратном возвращении в Россию Вы не будете прибегать к содействию сомнительных лиц. А. И. Рыков» (ЦРК АК. Кор. 1, папка 9). В 1922 г. Ремизов вновь переработал роман и послал его в Россию для публикации в издательстве «Круг». 22 марта 1923 г. М. М. Шкапская писала Ремизову: «„Ров львиный" Аросев берет для *Круга*, об условиях он сам напишет, и я просила его сразу выслать Вам 50 долларов, что он обещал исполнить» (ЦРК АК). О дальнейшей судьбе романа см. ее письмо от 16 мая 1923 г.: «Тороплюсь сообщить Вам, что цензурные условия не позволили „Кругу" принять „Ров львиный" к напечатанию и рукопись мне возвращена; но посланные Вам 50 долларов Вы возвращать не должны. Сейчас я передала рукопись Вашу Лидину и вероятно, он устроит ее в новом издательстве „Земля и Фабрика" на тех же условиях, т. к. м. б. здесь цензура окажется снисходительнее, тогда деньги в долларах Вам переведут незамедлительно (я опять поставила условием 75 р. золотом за лист). <...> Лежнев берет из „Рва львиного" главу в *Россию* и посылает Вам на этих днях деньги за нее» (ЦРК АК). Полная публикация романа в России так и не состоялась.

Она предполагалась в парижском журнале «Русская мысль», о чем свидетельствует письмо Г. П. Струве Ремизову от 7 февраля 1923 г.: «Как же Вы решаете окончательно относительно Вашего романа? Отец мой просил передать

Вам, что он не может обязаться печатать роман, не разделяя частей, и согласен пустить в первой книге лишь три листа. Последняя книжка 1922-го года выходит в эту субботу, а вторую книгу 23-го года я надеюсь выпустить между 15 марта и 1 апреля. Весь роман можно будет напечатать в четырех книжках. В течение будущей недели желательно было бы иметь Ваш ответ» (ЦРК АК). В 1923 г в «Русской мысли», под упрощенным по воле редакции названием «Канава» были опубликованы три части романа. Издание было прервано в связи с прекращением выхода журнала. Четвертая часть, под общим названием «Ров львиный» была опубликована в 1926 г. в ж. «Воля России» (Прага) при содействии М. Слонима. По мнению Ремизова, при такой публикации, его роман, как целостное произведение, оставался не изданным. Он предпринял попытку опубликовать его в 1929 г. в Белграде при помощи Издательской комиссии при русской публичной библиотеке, выслав туда одновременно две рукописи — «Рва львиного» и «По карнизам». Сотрудник Комиссии В. Д. Брианский сообщал Ремизову 5 февраля 1930 г.: «„Ров львиный“ начинаем печатать в ближайшее время» (ЦРК АК). Издание книги «По карнизам» (Белград. 1929) оказалось убыточным, и это заставило Комиссию отказаться от первоначальных планов и вернуть второй текст автору, о чем Брианский сообщал Ремизову в сопроводительном письме от 24 марта 1931 г.: «Многоуважаемый Алексей Михайлович, рукопись Вашей книги — Ров Львиный, при сем посылается» (ЦРК АК). Последняя возможность опубликовать книгу целиком представилась Ремизову в начале 1950-х гг., когда издательство имени Чехова предложило ему издать свои произведения. Писатель предоставил две, с его точки зрения, неопубликованные книги — «Ров львиный» и «В розовом блеске» (роман, основанный на биографии С. П. Ремизовой-Довгелло). Издательство дало автору право самому выбрать для издания какую-нибудь *одну* из книг, и судьба «Рва львиного» была предрешена. Книга Кодрянской «Алексей Ремизов» зафиксировала факт окончательного варианта названия романа — «Плачужная канава» и твердую убежденность автора в его неопубликованности. Драматическая история произведения изложена в дневниковой записи Ремизова от 22 декабря 1956 г.: «„Плачужная канава“ роман в 4 частях. „Плачужная канава“ написана с 1914 по 1918 год. Переписывалась не раз, негде было напечатать. При переезде за границу, в августе 1921 года, рукопись пропала: один добрый человек взялся перевозить рукопись со своим драгоценным добром. На границе при обыске забрали у него драгоценности и заодно мою рукопись. Много было хлопот освободить — немалый срок прошел, и только в Париже 1923 г. вернулась ко мне „жемчужная“ рукопись. „Плачужную канаву“ принял П. Б. Струве и под названием „Канава“ начал печатать в Русской мысли. С прекращением Русской мысли не могли окончить печатания рукописи. „Плачужная канава“ написана 42 года тому назад. После <...> будет „Взвихренная Русь“ В „Плачужной канаве“ я умничаю, в „Взвихренной Руси“ запись моего чувства» (Кодрянская. Алексей Ремизов. С. 303—304). В парижском архиве Ремизова сохранилось два экземпляра полного текста в виде комплекта первых публикаций, сброшюрованных в виде книги. Один из них имеет авторскую правку и является наборной рукописью для настоящего издания. Ряд журналов откликнулись на смерть Ремизова публикацией частей «Плачужной канавы» как отрывков из *неопубликованного* произведения.

С. 279. *Плачужная канава.* — Название романа восходит к апокрифу «Хождение Богородицы по мукам», к изображению последнего самого тяжкого адского мучения, увиденного Богородицей: «И рече къ ней архистратигъ: „поди, пресвятая, да ти покажу езеро огнено, да видиши, гдѣ мучатся родъ христьянскіи". И видѣ, и услыша плачъ и вопль отъ нихъ, (а) онѣхъ не бѣ видѣти, — и рече: „которіи си суть, что (ли) согрѣшеніе ихъ есть?" — И рече къ ней Михаилъ: „сіи суть, иже крестишася и крестъ словомъ нарицаху, а діяволя дѣла творяще; и погубиша время покаянію, и того ради мучатся здѣ" (Хождение Богородицы по мукам. С. 122). *Плачу́жная канава* — ров плача.

С. 281. *Бурю внутрь имѣя.* — Цитата из «Акафиста ко Пресвятой Богородице» (кондак 4): «Бурю внутрь имѣя помышленій сумнительныхъ, цѣломудренный Іосифъ смятеся, къ Тебѣ зря небрачнѣй, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная: увѣдѣвъ же Твое зачатіе отъ Духа Свята, рече: Аллилуіа».

С. 283. *Корьё* — сушеная кора ивы, используемая при дублении.

*Термы Каракаллы* — памятник древнеримской архитектуры в г. Риме — бани Марка Аврелия Севера Антонина, прозванного Каракаллой (прозвище получено им от названия гальской одежды) (186—217 г. н. э., римский император с 211 г.).

*...сосед и кум наш Алексей Иванович Баланцев...* — Образ Баланцева имеет полигенетическую основу. Основной прототип героя — Сергей Михайлович Ремизов (1875—1921), родной брат писателя. Он учился в университете и в филармоническом училище по классу пения, обладал хорошим голосом и актерскими данными, но ничего не закончил. Женился на Варваре Федоровне Тарховой (1882—1951) — актрисе Пензенской Народной Драмы, затем ряда провинциальных театров, потом ГОСТИМа. Имел дочь Елену (1902—1976). После женитьбы зарабатывал деньги, работая конторским служащим. В 1913 г. развелся с женой по ее желанию. Его дневники были одним из фактографических источников романа. В 1917 г., ввиду возможных «непредвиденных обстоятельств» революционного времени Ремизов возвратил их автору. См. об этом в письмах С. М. Ремизова брату: от 5 мая 1917 г.: «Мотивы желания твоего послать мне мои дневники понятны, но во мне еще живет какая-то надежда, <...> что совершится чудо и не будет того, что втайне сейчас каждый считает почти неизбежным» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 59); от 13 мая 1917 г.: «Великая благодарность тебе, Алексей, за мои рукописания и главное за их сохранение и более чем внимательное отношение (стихи). Бандероли получил вчера и вечером так увлекся просмотром дневника, что не успел написать письма. Странное ощущение испытал я, проходя по строчкам прошлого, что-то дорогое, горячее и вместе с тем, страшное, как пристальный взгляд в лицо покойника. Убрал рукописи подальше, чувствую, что рано мне их читать» (Там же. Л. 37). Дочь С. М. Ремизова Елена в письме к А. М. от 17 ноября 1925 г. сообщила о смерти отца, умершего от тифа в Мелитополе 7 февраля 1921 г., и о судьбе его имущества: «Ничего не осталось от его вещей — все пропало у каких-то знакомых. И свято берегу его бумажник с каками-то служебными записками» (ЦРК АК.). Другой прототип Баланцева — писатель Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954), неоднократно называемый в прозе Ремизова «сосед и кум наш». Наконец, Баланцев наделен рядом автобиографических черт самого Ремизова.

*...какое есть римское небо — я видел!* — Ремизов посетил Италию в мае 1914 г. См., например, его письмо П. Е. Щеголеву от 31/18 мая 1914 г.: «...нынче

в Риме живем. Пречудные и дивные вещи видим тут в первом Риме и вечном. Forum Romanum и св. Петр и св. Павел и Иоанн Предтеча (мать церквей) и катакомбы и опять sacra via и Колизей и дом Алексея — человека Божьего. Тут глядеть, — не наглядишься, смотреть, — не насмотреться» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479—1610. Л. 204).

С. 283. *...Петербург с проспектами и трактами ~ с белой ночью и любимым, душу томящим, желтым осенним туманом.* — Неточная цитата из описания Петербурга в романе Д. С. Мережковского «Антихрист (Петр и Алексей)» (1904). Ср.: «Петербург ~ поразил Тихона ~ : бесконечные каналы, першпективы ~ Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон» (Мережковский Д. С. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М., 1990. С. 378—379). Данная цитата, в свою очередь, — неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Подросток» (Достоевский 13. С. 113).

С. 284. *Премудрая Мать ~ обойдя весь круг ~ Хочу мучиться с грешными!* — Изложение ремизовского варианта апокрифа «Хождение Богородицы по мукам». См. его текст в т. 6 наст. изд. См. также коммент. к «Пятой язве». С. 524 наст. изд.

*Малая Монетная* — улица, проходит в Петроградском районе от Большой Посадской улицы до улицы Большой Монетной.

*Филипповские баранки* — т. е. баранки, купленные в одной из славившихся качеством выпечки булочных, принадлежавших фирме купца Д. И. Филиппова.

С. 285. *...на месте уж, на Товарной станции...* — См. письмо С. М. Ремизова брату от 4 октября 1913 г.: «С 25-го сент<ября> я поступил на службу на Московско-Казанскую ж<елезную> д<орогу> в товарную контору. Служба адская: 24 ч<аса> подряд работать и следующие 24 ч<аса> отдых, но это только так говорится на самом же деле я вот завтра в 7 ч<асов> у<тра> встану и вернусь домой послезавтра в 11 ч<асов>, да при этом контора находится за Крестовской заставой — жалованье 30 р<ублей>. Устаю ужасно, но утешаюсь только тем, что это переходная ступень, долго же выдержать нельзя. Состав служащих ниже среднего, самое большое окончившие городское училище, а то и того нет. Грязь, непрестанная ругань и суесловие» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 3—3 об.). О развитии карьеры С. М. см. его письмо брату от 4 мая 1915 г.: «Ну теперь, Алексей, благослови меня на новую службу. Завтра я иду уже не в Контору Отделения, а в Товарный Отдел Управления Моск<овско>-Каз<анской> ж<елезной> д<ороги> — это совсем иной, «управленский», это не фунт изюма и т. д. Добился этого я собственной спиной без всякой протекции и очень радуюсь, что обошелся без помощи Н<иколая> М<ихайловича> [имеется в виду старший брат — Н. М. Ремизов — *А. Г.*]» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167. Л. 39).

*Золотоножская улица* — отходит от Невского проспекта к Миргородской улице. См. также коммент. к с. 284.

С. 286. *...если не изменится что-то в душе человеческой ~ ничего не поправит...* — Неточная цитата из Дневника Ремизова, запись от 26 июня 1917 г. (Дневник. С. 448).

*И некуда идти ~ пойдет он, бывало, в пивную — там и место ему найдется...* — Мотив «униженных и оскорбленных» Достоевского. Ср. в «Пре-

ступлении и наказании» слова Мармеладова, сказанные Раскольникову при встрече в распивочной: «Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти?» (Достоевский 6. С. 16).

С. 287. ...*в глухой час в Комаровке своей тараканьей...* — В 1910-е гг. недалеко от Александро-Невской лавры, в доме арендатора Комарова жил друг Ремизова Иван Александрович Рязановский. См. в датированной 1915 г. рецензии Ремизова на подготовленный Рязановским «Альбом Костромских деревянных досок»: «... снялся Иван Александрович с родимого гнезда. И уж не ищите его нынче на Царевской, не спрашивайте, — тут он с нами на углу Золотоношской и Тележной у Комарова в доме: на котором доме шпиль, на шпиле серебряное яблоко и слышно, как куры поют. И не как некое ископаемое в шубе лисичьей появился он на берегах Невы-реки, а как „чудо-богатырь"» (Крашеные рылá. С. 129). Подробнее о Рязановском см. коммент. к «Пятой язве» (С. 511—513 наст. изд.). См. также описание дома Комарова в рассказе Ремизова «Рождество» (1919).

*У Баланцева голос был ~ бросил он университет, в консерваторию поступил. ~ Потом женился...* — См. коммент. к С. 283.

*Будылин Антон Петрович.* — Образ имеет полигенетическую основу. Одним из главных реальных прототипов героя (использованы отдельные черты внешности, характера, биографии, типа научных интересов) является И. А. Рязановский. Для создания образа Будылина Ремизов также использовал ряд фактов своей биографии (место рождения, описание начала своего участия в революционном движении, характер научных интересов). Основной литературный прототип героя — главный персонаж «Записок из подполья» (1864) Ф. М. Достоевского.

С. 289. *Каинова змеиная печать.* — Речь идет о символе раннехристианской гностической секты каинитов. Эта секта была одной из ответвлений офитизма, последователи которого почитали мистического Змея (Офиса — от греч. «ophis» — змея), чтимого как образ, принятый верховной Премудростью, чтобы сообщить первым людям истинное знание (греч. — «gnosis»). Сохранились печати с изображением Змея-Офиса, относящиеся к эллинистическому периоду.

С. 289—290. *И сама земля вопияла к Богу ~ И само солнце вопияло к Богу...* — Текст Ремизова — переложение так называемой «жалобы природы» из апокрифического «Видения апостола Павла» (Шепелевич. Апокрифическое «Видение Св. Павла». С. 120—121).

С. 293. *Содом и Гоморра.* — По библейскому сказанию, древние города, волей Господа обращенные в пепел и камни за грехи их жителей (Быт. 20; 24, 25).

*... нет, не мир несла эта твердыня человеку, а еще глубже — ров!* — Ср. слова Иисуса Христа: «не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10; 34).

С. *294. Виня себя в мелочах перед женой, в одном он ~ оправдывал себя ~ место, ради которого он бросил консерваторию, ведь это жертва его любви к ней...* — См. письмо С. М. Ремизова брату от 19 мая 1913 г., касающееся обстоятельств его развода: «Кончено ли мое дело? Шутить изволите. 18-го сентября прошлого года показания дали свидетели, а записку Консистории прислали мне для подписи 7 мая сего года, все ждали „дара", теперь в Синод пойдет, ну, это не долго, думаю, что к осени покончат всё. А жизнь моя ни

за что не хочет складываться ни так, ни этак. Другой на моем месте пять раз удавился бы, да столько же раз утопился, а я так и скисаю-то изредка. Но всё же временами предпочел бы просидеть в одиночке определенное время, лишь бы знать, что этим искупается вина моя» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 167 Л. 1 об.). В 1915 г. В. Ф. Ремизова вышла замуж за А. П. Васильева (1876—1944).

С. 294. ... *она ~ и дочь взяла с собой...* — После родительского развода дочь С. М. Ремизова осталась с матерью. Отец сильно переживал разлуку с ней и умер, поехав жить к ней в Мелитополь.

С. 295. *Человек человеку не бревно — чего там бревно! Человек человеку — подлец.* — Дальнейшее развитие афоризма героя «Крестовых сестер» Маракулина: «Человек человеку бревно» (гл. 1). Ремизовский афоризм основан на контаминации семантики и лексической конструкции двух известных изречений. Во-первых, цитаты из Евангелия — составной части Нагорной проповеди Иисуса Христа: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: „дай, я выну сучок из глаза твоего"; а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7; 3—5). Во-вторых, крылатого выражения из «Ослиной комедии» древнеримского писателя Плавта (ок. 254—184 гг. до. н. э.): «Homo homini lupus est» (Человек человеку — волк).

С. 297. *Моховая* — улица, расположенная между Сергиевской и Семионовской улицами.

*Настоящие-то по Лубянке бродят...* — Имеется в виду московская Лубянская площадь.

*Шопенгауэр (Шопенгауер)* Артур (1788—1860) — немецкий философ. Согласно его концепции единственным выходом из несоизмеримых человеческих страданий является уничтожение воли к жизни и переход в небытие (нирвану).

С. 298. *...а медведя он и не заметил?* — Ср. в басне И. А. Крылова «Любопытный» (1814): «Слона-то я и не приметил».

С. 298—299. *...рыбаковские модные жилеты с соловьевскими сигами, ~ с булавскими, здобновскими и жуковскими фотографическими карточками ~ с сумаковским творогом, ждановские процентные бумаги ~ шары староневской аптеки с линденовскими серебряными часами...* — Перечислены названные по именам владельцев торговые фирмы и фотографии, расположенные на Невском и Староневском проспектах.

С. 299. *...одна муть, как Фонтанка...* — Имеется в виду река Фонтанка, проток в дельте Невы, пересекающая центральную часть Петербурга.

С. 300. *Святки* — церковные праздничные дни, отмечаемые между Рождеством и Богоявлением (с 25 декабря по 6 января), когда были сняты все ограничения в пище, в веселье, устраивались гуляния, колядование, гадания.

С. 302. *Десятисловие.* — Имеются в виду библейские десять заповедей (Исх. 20; 12—17), в числе которых: «Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради» (Исх. 20; 13—15).

С. 303. *Биржевка.* — Имеется в виду ежедневная газета «Биржевые Ведомости» (СПб., 1891—1918), имевшая утренний и вечерний выпуски.

*Сделать что-нибудь для Петербурга, ~ закрепить память единственную петровскую, стало еще с юности ~ в Москве ~ им самим предназначенное*

*дело.* — Отражение одного из направлений писательской работы коренного москвича Ремизова, который в середине 1910-х гг. собирал и перерабатывал документы XVIII в., связанные с историей строительства Петербурга, для книги «Россия в письменах». Работа осталась незавершенной из-за революции 1917 г. Часть материала вошла в издание «Россия в письменах. Том 1» (Берлин, 1922), а также в книгу «Взвихренная Русь» (Париж, 1927), в которой одна из подглавок главы «Петербург» озаглавлена «Петрова память». См. также коммент. к «Взвихренной Руси» (том 5 наст. изд.).

С. 306. *Тяжелая* — здесь: беременная.

*...не фарфоровая собачонка, ~ а ~ браунинг...* — реализация метафоры. В профессиональном сленге «собачкой» называют взводяще-отпускающую часть ударно-спускового механизма стрелкового оружия.

С. 307. *А зародился Антон Петрович ~ из ~ Москвы.* — Ремизов родился в Москве.

*Труба* — т. е. Трубная площадь, названная так по отверстию в стене Белого города, через которое протекала река Неглинная в XVI—XVIII вв. Там находился Трубный рынок, где, в частности, продавали птиц.

*Покровский мужской монастырь* — построен в 1655 г. по указу царя Ивана Алексеевича близ Покровской заставы, находился на Таганской улице, 58. Место, где был основан монастырь, ранее было занято общим кладбищем для бедных, странников и умерших насильственной смертью. После постройки монастыря при нем существовало кладбище, на котором, в частности, были похоронены ближайшие родственники Ремизова, в том числе его мать и бабушка. Закрыт в 1926 г. На месте кладбища создан парк культуры и отдыха.

*Свинчатка* — «бабка» — надкопытная кость коровы, свиньи, барана и т. д., налитая свинцом, которая используется в игре в «бабки».

С. 308. *...в университете и году не проучился, погнали. ~ Чтение книжек ~ загнало все его мысли к одной огненной мысли.* — В истории революционной деятельности Будылина в преображенном виде отражены факты биографии Ремизова (см. коммент. к книге «Иверень», т. 8 наст. изд.).

*...не убий...* — библейская заповедь (Исх. 20; 13).

С. 309. *...убий' ~ воля народная.* — Игра слов, с помощью которой Ремизов вводит в повествование тему революционного террора, четко выраженную в политической программе партии «Народная воля», вершиной деятельности которой стало цареубийство Александра II, совершенное 1 марта 1881 г. Цареубийцы были повешены.

*... завет самосожигающейся «последней Руси»...* — Речь идет о самосожжениях раскольников, начавшихся в конце XVII в. и продолжавшихся на протяжении всего XVIII в.

*«Хождение в народ» ~ вольная виселица...* — «Хождение в народ» — продолжавшееся с 1873 до 1879 г. движение революционеров-народников с целью подготовки крестьянской революции при помощи мирной пропаганды. В 1879 г. произошел раскол народнической организации «Земля и воля» на две, одна из которых («Народная воля») обратилась к методам революционного насилия.

*Деятель* — термин, получивший значение «революционер» в 1860-е гг., после появления романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (См. коммент. к «Пятой язве». С. 517 наст. изд.).

С. 313. *...о произвольности всякой морали ~ он перемешал добро и зло...* — Отсылки к философской концепции Ф. Ницше. Ср. названия его трудов «Генеалогия морали» (1887), «По ту сторону добра и зла» (1886).

С. 314. *...отнесли Аксинью Матвеевну ~ в Покровский монастырь.* — См. коммент. к с. 307.

*Стефан Вонифатьевич* (Вонифатьев) (ум. 1656) — с 1645 или 1646 г. протопоп московского Благовещенского собора; духовник царя Алексея Михайловича, прозванного «Тишайшим»; глава кружка «ревнителей благочестия», куда входил и будущий лидер старообрядчества протопоп Аввакум; влиятельнейшее лицо в церковных делах середины XVII в.

С. 315. *Сан-Мишель.* — Имеется в виду бульвар Saint-Michel, находящийся в Латинском квартале Парижа.

С. 316. *...человека — «венца творения Божия» ...* — Цитата — слова Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (действие II, сцена 2).

*...увидел великую могилу.* — Имеется в виду могила французского императора Наполеона I (1769—1821), чей прах в 1840 г. был похоронен в церкви Дома Инвалидов — дома для старых солдат-ветеранов, основанного королем Людовиком XIV в 1670 г.

С. 319. *Бубновый туз* — знак осужденного в ссылку на каторжные работы (название происходит от красного четырехугольника, нашивавшегося на спине арестантского халата).

С. 320. *Таганка* — местность в юго-восточной части центра Москвы, между р. Яузой и Москвой-рекой.

*Красные ворота* — триумфальные ворота, построенные в 1753—1757 гг. в г. Москве арх. Д. В. Ухтомским. В 1928 г. снесены.

С. 321. *...наливал себе крепкого чаю ~ брандмауер...* — Ремизовские аллюзии, вводящие сопоставление философствований Будылина с размышлениями героя «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского (ср. слова-символы: «чай», «стена»).

С. 322. *...дом его — Таврическая верхотура...* — с сентября 1910 до июня 1915 г. Ремизов жил на Таврической ул. д. 3 в, кв. 29 («Дом Хренова»).

*А если бы нашел верные указания, что человек ~ попадет в другое царство ~ райское, ~ он потерял бы вкус к — — чаю.* — Отсылка к ключевому афоризму героя «Записок из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю всегда пить. Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Достоевский 5. С. 174).

С. 323. *...о ~ позорящей «гордого человека» гадости...* — Полемика с концепцией М. Горького, выраженной в известном афоризме — словах героя пьесы «На дне» (1902) Сатина: «Чело-век! ~ Это звучит ... гордо!»

*...сказание о апостоле Петре и Симоне волхве ~ волхв-то тут совсем ни при чем, а спорил апостол Петр с Павлом! ~ был или не был апостол Петр в Риме ~ и заведет о Римской церкви...* — здесь и далее следует пересказ научных концепций, изложенных в книге Юрия Николаева [Ю. Н. Данзас] «В поисках за Божеством. Очерки из истории гностицизма» (СПб., 1913. — Далее: В поисках за Божеством.). Сведения о *Симоне Маге* (волхве) (I в. н. э.) — проповеднике из Самарии, экстрасенсе, создателе одного из ранних гностических учений, легендарном противнике апостола Петра взяты Ремизовым из гл. «Апокрифические Деяния Петра» (В поисках за Божеством. С. 94—97).

С. 324. *Минин* (Сухорук) Кузьма (ум. в сер. 1616) — нижегородский посадский человек. 1 сентября 1611 г. был избран земским старостой, возглавил сбор средств и был одним из организаторов и руководителей второго ополчения в период польской и шведской интервенции начала XVII в.

*Пожарский* Дмитрий Михайлович (1578—1642) — государственный и военный деятель, князь. С конца 1611 г. один из руководителей второго ополчения (см. пред. коммент.). В конце 1612—начале 1613 г. вместе с Д. Т. Трубецким стоял во главе временного правительства.

*Иоанн* (Иван) *Неронов* (1591—1670) — с 1646 или 1647 г. протопоп московского Казанского собора, затем инок с именем Григорий, влиятельный член кружка «ревнителей благочестия».

С. 327. *Глас, вопиющий в пустыне.* — Неточная цитата из Евангелия (Мф. 3; 3).

С. 328. *Antonio Deo Sancto* (лат.) — Антонию святому богу. Ремизовская надпись восходит к основанным на недоразумении сведениям ересеолога Св. Иустина философа о римском периоде жизни Симона Мага: «будто самарийскому магу воздавались в Риме божеские почести населением и властями, пораженными его чудесами, и что по Кесареву повелению была даже воздвигнута статуя с надписью Simoni Deo Sancto (Симону святому богу)» (В поисках за Божеством. С. 182).

С. 328—329. *... он вычитал о человечестве, о планете, и безродное человечество и родина-планета загасили ~ искру любви к своей ~ колыбельной родине...* — Ср. в «Слове о погибели Русской земли» Ремизова: «Русский народ, что ты сделал? <...> Землю ты свою забыл колыбельную» (Ремизов А. М. Сочинения. Т. 5. Взвихрённая Русь. М., 2000. С. 409).

С. 329. *Избранный народ Божий ~ обескрылил Петрово христианство...* — отражение изложенной в книге Юрия Николаева концепции о победе ветхозаветной традиции над гностическими новозаветными идеями при формировании официальной христианской доктрины (В поисках за Божеством. С. 157—165).

С. 330—331. *...безродная человечина — гуманизм — был для него так же ненавистен ~ связь середняя — через похоть и будет главной в планетном всечеловеке, а от духа ничего не останется.* — Ремизов соединяет представление о гуманизме с его интерпретацией в идеологии революционных партий, в частности, в идеологии российской социал-демократии. Подобное толкование гуманизма пропагандировали «сочувствующие» партии литераторы, и в первую очередь М. Горький. Для Ремизова практической реализацией подобных идей явился большевистский эксперимент по созданию в России «нового мира» и «нового человека». См. статью Ремизова 1923 г.: «В эти годы в России возникало много больших мировых (планетарных) задач — ведь никогда так ярко не горела мечта человека о свободном человеческом царстве на земле, как в России в эти годы. А мечты были подлинно головокружительные до электрофикации — // до электрофикации *ада*! // Электрофицировать преисподнюю, тьму кромешную, вы понимате?» (Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин. 1921—1923. Paris. 1983. С. 183.).

С. 331. *Я русский, сын русского...* — См. коммент. к «Пятой язве». С. 521—522.

*...в борьбе обретают свое право...* — Ср. лозунг партии эсеров: «В борьбе обретешь ты право свое!»

С. 332. *...от Зарозвездника Заратустры...* — Ремизовская словесная игра. Греческая форма имени пророка и реформатора древнеиранской религии Заратустры (между 10 и сер. 6 в. до н. э.) — Зороастр (Zōroastrēs). «Astrum» (греч.) — звезда.

*...до древнерусского словаря Срезневского.* — Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

С. 333. *Сытный рынок* — старейший петербургский рынок (Сытнинская площадь, 3/5). В 1912—1913 гг. было построено новое монументальное торговое здание рынка (арх. М. С. Лялевич).

*...документ «Швецкая война»...* — Речь идет о тетради документов петровского времени, приобретенной Ремизовым в Костроме в 1912 г., когда он останавливался у И. А. Рязановского. См. в гл. «Нарва» кн. «Россия в письменах»: «...тетрадь порядочная <...> с подробным описанием событий и деяний петровых „война шветцкая“» (С. 60—64)). Дальнейшее перечисление исторических документов отражает состав дореволюционной коллекции Ремизова. Ее основная часть была продана самим писателем в годы революции 1917 г.; остаток был вывезен им за границу, и впоследствии использован как декоративный элемент в ряде авторских ремизовских альбомов, которые в 1930-е гг. распространялись его друзьями и приобретались коллекционерами.

С. 334. *Казанский собор* — построен в 1801—1811 гг. архитектором А. Н. Воронихиным, расположен на Невском проспекте.

С. 336. *Аверченко* Аркадий Тимофеевич (1881—1925), *Тэффи* Надежда Александровна (урожд. Лохвицкая, в замужестве Бучинская, 1872—1952) — популярные писатели-юмористы начала XX в.

*Если бы ~ слышал Андрея Белого или Степуна.* — Андрей Белый (наст. имя Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934) — прозаик, критик, поэт, теоретик символизма. Степун (Степпун) Федор Августович (1890—1965) — философ, социолог, прозаик, общественный деятель. Славились своим красноречием.

С. 339. *...представлял себе мир не как подобие сна, а как подлинный сон своей души.* — Отражение философских идей Ф. Ницше о сне, как отражении «аполлонического мира красоты»: «Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзии мира грез, не нарушая их, обращается к себе с увещанием: „Ведь это сон; что ж, буду грезить дальше“; <...> если мы <...> для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания должны забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковать себе эти явления <...> Из двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам без всякого сравнения более предпочтительной, важной, <...> даже единственной жизненной» (Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Ницше Ф. Сочинения в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 68—69).

С. 343. *Плетеница* — плетеная вещь, «сказки, басни; сказка новая, нынешнего складу, <...> бредни или враки, сплетни, ложные слухи» (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля. СПб.; М., 1882. Т. III. С. 125).

С. 351. *...запели «Верую»...* — молитва «Символ веры», поется на литургии.

*... сорок сороков...* — идиоматическое выражение, обозначающее совокупность московских церквей.

С. 355. *Сахарная голова* — сахар, отлитый в форме конуса, который при употреблении кололи на меньшие куски.

С. 356. *Антон Горемыка* — главный герой одноименной повести Д. В. Григоровича (1847).

*Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894) — композитор, пианист, дирижер.

С. 357. *Луна-парк* (1912—1918) — увеселительное заведение по типу лондонского Луна-парка с техническими увеселениями для любителей сильных ощущений («американские горы»; катание в лодках, падающих сверху вниз; вертящаяся подъемная машина и др.), а также со сценической площадкой, где чаще всего давались оперетты. Располагался по адресу: Офицерская ул., д. 39.

*Скэтинг* — закрытый каток для катания на роликовых коньках.

С. 357—359. *...давайте рисовать — ошарашил Антон Петрович. ~ Антон Петрович никак не умел, а Баланцев рисовал, как дети. ~ старательно выводили что-то — ~ Возмутила грубость, которая послышалась Будылину в Баланцевских подписях.* — Эпизод создания эротических изображений детально совпадает с эпизодом рисования фаллосов Ремизовым и В. В. Розановым в главе «Завитушка» книги «Кукха» (Кукха. С. 89—90).

С. 359. *Секунд* (II в. н. э.) — философ-гностик, ближайший ученик Валентина. «Секунд признавал валентинианское учение о падении последней эманации Божества и материализации ее недостаточным для разрешения проблемы мирового зла; он вносил начало дуализма в самую Сущность Божества» (В поисках за Божеством С. 333).

*Самодержавие, православие, народность!* — Формула-девиз теории «официальной народности», выдвинутой графом С. С. Уваровым (1786—1855) в бытность его министром народного просвещения (1833—1849).

С. 362. *«Выхожу один я на дорогу...»* — романс на стихи М. Ю. Лермонтова (1841), неоднократно перекладывавшиеся на музыку. Наибольшую популярность романс приобрел с музыкой Е. С. Шашиной (1805—1903), написанной в 1861 г. В первоначальной редакции вместо этого был текст модного шлягера: «Макароны, макароиы // Что потолще да подлиннее // То для сердца веселее // Макароны, макароны» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 93. Л. 66 об.).

С. 364. ... *воспоминанием о приятеле — роковом человеке...* — Прототип неназванного революционера — известный эсэр-террорист Борис Викторович Савииков (1879—1925), близкий знакомый Ремизова со времен Вологодской ссылки. См. ремизовский некролог Савинкова: «Чувство рока было очень глубокое. <...> Тот самый рок, который так глубоко он чувствовал в себе, вел его к <...> развязке» (Иверень. С. 264—265).

С. 369. *Почему у вас все какие-то ископаемые бывают?* — См. коммент. к с. 287.

С. 372. *Ратник ополчения второго разряда* — такая воинская категория была присвоена Ремизову для определения очередности призыва на воинскую службу.

*Невская Лавра.* — Имеется в виду Александро-Невская лавра (пл. Александра Невского, 1), основанная Петром I в 1710 г. как мужской монастырь Живоначальные Троицы и Святого Благоверного великого князя Александра Невского, преобразован в лавру в 1797 г. При монастыре находятся кладбища: Лазаревское, Тихвинское, Никольское.

С. 374. *Пески* — район Петербурга на левом берегу Невы, по обе стороны

Суворовского проспекта. В этом районе Ремизов жил с сентября 1905 по июнь 1906 г. (5-я Рождественская ул., д. 38, кв. 2).

С. 376—377. *... я ~ Antonio Deo Sancto ~ Я вызван на состязание ~ Я всех покорю ~ отдам ~ все мои таланты видимые и невидимые...* — Сравнение безнадежного соперничества Будылина с доктором Задорским с мифологической параллелью — с состязанием Симона Волхва и св. Петра, в ходе которого противник апостола, взлетевший в воздух с помощью чар, упал и разбился насмерть. См.: В поисках за Божеством. С. 180—182.

С. 388. *За Гостиным...* — Имеется в виду комплекс лавок и складов — Гостиный двор на Невском проспекте.

С. 389. *...мимо Аничковых коней, мимо Екатерины...* — перечисляются: четыре скульптурных группы «Укрощение коня» на Аничковом мосту (арх. П. К. Клодт, установлены в 1849—1850 гг.); памятник Екатерине II перед Александринским театром (скульп. М. А. Чижов, А. М. Опекушин, худ. М. О. Микешин, арх. Д. И. Гримм, В. А. Шрётер, пьедестал — Г. А. Балушкин и Н. П. Осетров, открыт в 1873 г.). Последовательность упоминания памятников указывает направление движения Баланцева: от середины Невского проспекта к его началу.

С. 395. *...старинный апокриф о смерти Авраама...* — Далее Ремизов пересказывает текст апокрифа «Смерть Авраама» (См.: Апокрифические сказания. Труд ордин. акад. Н. С. Тихонравова. СПб., 1894. С. 9—14). Имеется отдельный ремизовский пересказ этого литературного памятника — «Авраам» (1915). Его текст см. в 6 т. наст. изд.

С. 401. *...человеческое искание града грядущего...* — т. е. царства Божия, «небесного Иерусалима».

С. 404. *...в сказании о льве и старце...* — Далее пересказ сказания «Жизнь аввы Герасима» из «Лимонаря» Иоанна Мосха (глава 107). Имеется отдельный ремизовский рассказ, основанный на этом сюжете — «Страх смертный» (1913).

*Тимофеев поехал за границу ~ в Швейцарию...* — Описание соприкосновения героя с революционной средой основано на автобиографическом факте — воспоминаниях Ремизова о своей заграничной поездке летом 1896 г. в Швейцарию, откуда он возвратился с сундуком с двойным дном, наполненным нелегальной литературой. См.: Иверень (т. 8 наст. изд.).

С. 412—413. *Тьма застилала глаза ~ Пусть падет на меня вся мука...* Образность текста основана на образах апокрифа «Хождение Богородицы по мукам».

С. 420. *«purus amor»* (лат.) — чистая любовь.

С. 422. *«Повесть забавная о двух турках в бытность их во Франции».* — Эта книга (СПб., 1793) упомянута в дневниковой записи Ремизова от 31/18 июля 1918 г. (Дневник. С. 479).

С. 425. *...костромской археолог ~ возвратясь из Швеции, где искал документов Смутного времени...* — И. А. Рязановский находился в научной командировке в Швеции. Собранные им материалы частично хранятся в ГЛМ.

*...в ~ костромском древлехранилище на Царевской...* — Указан точный костромской адрес Рязановского, проживавшего на Царевской ул.

С. 426. *Шрейбер* Яков Самойлович — инженер, петербургский знакомый Ремизова. См. о нем в кн. «Взвихренная Русь» (Т. 5 наст. изд.).

С. 427. *«Песочный человек»* (1816) — рассказ Э. Т. А. Гофмана из 1-й части сборника «Ночные рассказы» (1817).

*...из Бальзака. ~ рассказ из итальянской жизни, про актеров: еще главная-то актриса оказалась мужчиной?* — Имеется в виду рассказ О. де Бальзака «Сарразин» (1830).

*...из «Дочери шотландского лекаря», про царицу Савскую...* — Речь идет о романе Вальтера Скотта «Surgeon's Dauhter» (1827).

С. 428. *...Антон Петрович ~ решил жениться ~ на Нюшке ~ хотелось ему простой тихой жизни.* — Возможно, отражение реального факта — женитьбы в 1903 г. писателя М. М. Пришвина на крестьянке Ефросинии Павловне Смогалевой (1883—1953). Ср. дневниковую запись Пришвина от 1907 г.: «Все образованные развитые женщины мне почему-то неприятны... Чем выше духовный мир женщины, тем сильнее это отталкивание во мне. Лучше Фроси я никого не знаю. <...> на первых порах думал так просто: я займусь хозяйством, я люблю дело в деревне... <...> мое личное перейдет в общее. А ведь в этом и смысл всякой жизни, чтобы личное перешло в общее...» (Пришвин М. М. Дневники. М., 1990. С. 29—28). В Первоначальной редакции: «Антон Петрович женился на Нюшке и жил себе в законе на Таврической» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 93. Л. 133).

*...по Жан Жаку.* — Имеется в виду Жан-Жак Руссо (1712—1778) — французский писатель и философ, утверждавший приоритет нравственного (природного) начала над разрушающих его культурой и цивилизацией, проповедовавший лозунг «Назад к природе!»

С. 429. *Василид* (II в. н. э.) — философ-гностик, родом сириец. Признавал источником своей системы тайное учение апостола Петра и «мудрость варваров». По Василиду, бытие имеет три вида: идеальный, материальный и духовный. «„Тонкое" идеальное бытие „поднимается кверху" и соединяется непосредственно с абсолютным сверхсущим божеством, а „грубое" материальное „оседает книзу" и образует видимый мир. Но под оболочкой вещественных форм сохраняется семя духовной жизни, „нуждающейся в очищении". Первый владыка и глава мира — „Архонт" и второй — „Димиург", которым повинуются 365 астральных ангелов, управляющих таким же числом звездных сфер — ничего не знали об этой высшей духовной потенции, пока она не проявилась в воплощении Христа, <...> соединяющего низший мир с высшим». (Соловьев В. Василид / Энциклопедический словарь Брокгауз и Эфрон. Т. V-а. СПб., 1892. С. 576—577).

*...«о бесстрастном отдыхе от муки существования с его вечным гнётом хотения и воли»...* — Неточная цитата из главы «Василид» кн. «В поисках за Божеством». Ср.: «Все сущее страждет и чает избавления. Но в этом ~ Василид видел ~ лишь бесстрастный отдых от муки существования ~ когда все сознание очистится от гнета *хотения* и воли ~ тогда наступит конец мировой драмы» (В поисках за Божеством. С. 261, 268).

*Красная горка* — воскресенье Фоминой недели (второй по Пасхе), традиционное время свадеб.

*Анна Семеновна Пугавкина* — «барышня Пугавка» упомянута в кн. «Взвихренная Русь» (Взвихренная Русь. С. 59—60).

С. 430. *...прожил Тимофеев той самой собачонкой, которую, помните, ребятишки, играя в дикую игру, тащат топить...* — Образ «собачонки» как

символ безвинного страдания, восходит к роману «Братья Карамазовы» — истории замученной мальчишками Жучки (Достоевский 14. С. 478—483).

С. 432. *...висит деревянная лисица ~ «У лисы бал»...* — Имеется в виду рисунок народной деревянной богородской игрушки, выполненный М. В. Добужинским, подаренный автором Ремизову и находившийся в его домашней коллекции — «музее игрушек». См.: Грачева А. М. Алексей Ремизов и Пушкинский Дом (статья 1. Судьба ремизовского «музея игрушек») // Рус. лит. 1997. № 1. С. 185—215. Образ народной игрушки лег в основу сказки Ремизова «У лисы бал» из кн. «Посолонь». Добужинский вспоминал: «У меня собралась большая коллекция всевозможных народных игрушек, и Ремизов, бывая у меня, вдохновился одной и написал забавные стишки, мне посвященные, „У Лисы бал"» (Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 277). Рисунок Добужинского с подписью — цитатой из одноименной сказки Ремизова опубл.: Золотое руно. 1907. № 11/12. С. 71—72.

С. 436. *Новая Деревня* — местность в северо-западной части Петербурга, на правом берегу Большой Невки, напротив Каменного острова.

*«Аквариум»* (1886—1923) — одно из крупнейших увеселительных заведений Петербурга, сад развлечений, включавший в себя летний и зимний театры, аттракционы, оркестры, кафешантан, кинематограф, аквариум, каток. Находился на Каменноостровском пр., д. 10—12.

С. 437. *...какое это было лицо ~ на огромном коротконогом туловище ~ оно все тянется, переваливаясь...* — Фантасмагорический образ человека-чудовища восходит к представлению гностической секты офитов о первочеловеке: «шесть архонтов создали человека огромных размеров, но это создание их ползало по земле, лишенное возможности подняться (т. е. было лишено духовной сущности)» (В поисках за Божеством. С. 198).

*Троицкий мост* (1897—1903) — мост через Большую Неву, соединяет Каменноостровский проспект с Суворовской площадью, соприкасающейся с Марсовым полем. На площади с 1818 г. установлен памятник полководцу А. В. Суворову (1801, скульп. М. И. Козловский), изображенному в виде римского бога войны Марса.

С. 438. *Царь жестоковыйный!* — Пример травестии устойчивого библейского мотива. Обращение ремизовского *героя к Богу* основано на библейском определении «жестоковыйный». В тексте Библии оно неоднократно использовано *в обращении Бога, его пророков и апостолов к народу,* забывшему Господа или к нарушавшим Его заповеди (Исх. 32; 9, 33; 3, Втор. 9; 6, 9; 13, Деян. 5; 51 и др.).

*Три отрока кинуты были в печь...* — Библейский сюжет (Дан. 3; 12—27).

С. 439. *...око Твое недремно...* — Ранний христианский символ Бога-отца — «Всевидящее око».

С. 441. *Вестники* — ангелы (греч.).

*Талан* — здесь: счастье, удача.

*Цветущий сад* — символ рая.

С. 446. *...«святый Боже, святый крепкий!»* — Слова из текста утренней начинательной молитвы: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас».

С. 447. *...человек человеку — не стена, не бревно! человек человеку — не подлец! человек человеку — дух утешитель.* — Трансформация ремизовского

афоризма в афоризм-антитезу, возможно, связана с известной оппозицией двух крылатых латинских выражений. Наряду с выражением «Homo homini lupus est» (человек человеку — волк) существует восходящее к несохранившейся пьесе римского комедиографа Цецилия Стация выражение «Homo homini deus est» (человек человеку — бог). О их бинарной оппозиции см. у М. Монтеня: «...известное изречение: homo homini или deus или lupus» (Монтень М. Опыты. В 3 кн. М., 1960. Кн. 3. С. 90).

С. 447. *...в канун кровавой расплаты...* — Имеется в виду канун первой мировой войны, начавшейся в августе 1914 г.

*...смотрели — и не видели, ~ порывались — и не чуяли.* — Неточная цитата из библейской Книги пророка Исайи (Ис. 6; 9—10).

*Крупповские трубы...* — «Крупп» — один из крупнейших металлургических и машиностроительных немецких концернов. Крупповские заводы активно участвовали в поставке вооружений для германской армии во время Первой мировой войны 1914—1918 гг.

*Демиург скликал демиургов: «Приидите! сотворим человека по образу нашему и подобию!» И медленно змей из его уст проникал в уста безобразной ~ человечины.* — Изложение космогонической доктрины гностической секты офитов, доктрины, получившей развитие в учении Василида. Текст Ремизова основан на книге «В поисках за Божеством» с включением точной цитаты из источника. Ср.: «Все мировые начала были поражены этим раздавшимся свыше гласом <...> Тогда молвил к ним Иалдаваоф: „Приидите, сотворим человека по образу и подобию нашему“. (Быт. I, 26). (Т. е. он, Иалдаваоф, желает завершить мировую эволюцию созданием высшего ее типа <...>). Иалдаваоф оживил человека, дав ему частицу змееобразного Ума и вдохнув в него „дыхание жизни“ (Быт. II, 7), — т. е. частицу Духа» (В поисках за Божеством. С. 198).

*...вскрылил ~ карающий ангел ~ и кинул на землю.* — Изложение учения Василида о дальнейшей истории первочеловека и о изгнании Адама и Евы с небес в низшие сферы (В поисках за Божеством. С. 199). В тексте Ремизова использована образность ветхозаветного сюжета изгнания из рая (Быт. 3; 24).

С. 448. *Абраксас.* — Ремизовское осмысление этого понятия основано на его толковании в главе «Василид» кн. «В поисках за Божеством»: «...у Василида ~ число 365 космических сил, или сфер (или „небес“ ~) обозначается таинственным словом 'Αβρασάξ. Это слово ~ обозначает совокупность Творческих сил, проявляющихся во вселенной, и разгадка его смысла в том, что по цифровому значению букв греческого алфавита сумма букв слова 'Αβρασάξ равнялась цифре 365. <...> число 365 относилось не только к числу дней в году, но и к иным, неизвестным нам вычислениям в области высших сфер космоса. Все мистические учения рассматривали низший мир как отражение высшего <...> На основании этого закона, число суточных оборотов в году, т. е. цифра, определяющая отношение земли к солнцу, должна была соответствовать какому-то численному проявлению высших сил, недоступных разумению непосвященных. Это число — 365 — имело мистическое значение во многих древних культах, <...> как например в орфических таинствах и в митраизме. <...> У Василидиан же мистическое значение слова 'Αβρασάξ заключалось в обозначении *проявлений Творческих сил Божества в мире,* полноты Зиждительной Силы, творящей реальный мир и одухотворяющей эволюцию сознания из низшей материи в высшую область Духа. Это — мировая *воля,* направляющая эволюцию

мирового сознания, и соприкасающаяся с Непознаваемой Сущностью Божества. <...> слово ʽΑβρασάξ употреблялось в магических заклинаниях вне круга последователей Василида: в археологии известны многие древние амулеты и талисманы, на которых выгравировано это слово. Можно предположить, что слово ʽΑβρασάξ <...> было вообще известно (как символ власти над элементарными силами природы) в древней народной магии, и было оттуда заимствовано Василидом» (В поисках за Божеством. С. 264—266).

С. 448. *Майские нарядные катанья в Париже ~ в соборе у Сан-Стефана перед образом Богородицы...* — Текст основан на дневниковой записи от 10 июня 1917 г. (Дневник. С. 437).

*«Воры»* (др.-рус.) — политические преступники.

С. 449. *Бакст ~ не забыл петербургские вечера в Казачьем переулке ~ «обезьяньих старейшин»...* — Бакст (наст. фам. Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924) — живописец, график, член художественного объединения «Мир искусства», прославился как художник по костюмам для парижских постановок «Русских сезонов», организованных театральным и художественным деятелем Сергеем Павловичем Дягилевым (1872—1929). Неоднократно был гостем Ремизова, когда тот жил в Малом Казачьем переулке, д. 9, кв. 34 (сентябрь 1907 — сентябрь 1910). С 1909 г. Бакст постоянно жил в Париже, ежегодно приезжая в Петербург. *«Обезьяньи старейшины»* — в «Конституции» Обезьяньей Великой и Вольной палаты, истоки которой восходят к 1908 г., упомянуты «семь старейших кавалеров-вельмож».(Взвихренная Русь. С. 273). Их имена частично названы Ремизовым в кн. «Кукха» (гл. «Обезвелволпал»). Бакст был одним из старейшин Обезвелволпала.

## АВТОБИОГРАФИИ

Впервые опубликовано: Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб., 1993. С. 437—447 (публикация А. М. Грачевой).

Рукописные источники: I: 1) Беловой автограф, «1912» — РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1. Л. 1, 2, 7—12; II: 1) Беловой автограф, «1913» — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 2; 2) Беловой автограф, «1913» — РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 1. Л. 3—6.

Тексты публикуются по автографам РНБ.

Публикуемые автобиографии А. М. Ремизова были предназначены для фундаментальных историко-литературных трудов, создававшихся под руководством проф. С. А. Венгерова.

Автобиография, датированная 1912 г., написана для посвященного Ремизову, но так и не опубликованного раздела коллективной монографии «Русская литература XX века» (М., изд-во «Мир»), лишь три тома которой были изданы в 1914—1918 г. Она должна была дополнять статью Г. И. Чулкова «Алексей Ремизов» (опубл. под загл. «Сны в подполье» в кн. Г. Чулкова «Наши спутники» (М., 1992. С. 7—37). Машинописный текст статьи, датируемый 1912 г., сохранился в архиве Венгерова в ИРЛИ. 7 марта 1912 г. Чулков писал Венгерову о завершении своей работы: «Я передал в контору «Мир» рукопись моей статьи о Ремизове и получил сто рублей, как мы с Вами условились. Я буду Вам очень признателен, Семен Афанасьевич, если Вы распорядитесь, чтобы мне прислали корректуру: может быть, я сделаю некоторые изменения (незначи-

тельные). Статья вышла немного больше листа. Возможно сократить некоторые ее части. Если Вы найдете нужным это сделать, пожалуйста, будьте так добры, уведомьте меня, что именно Вы желаете выпустить» (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 7. Ед. хр. 3059). Тогда же была написана и ремизовская автобиография, о чем Ремизов сообщал Венгерову в письме от 10 февраля 1912 г.: «Посылаю Вам заказ[ной] бандеролью автобиографию: как я писать стал» (ИРЛИ. Ф. 377. Собр. автобиографий. Ед. хр. 3046. Л. 1). В ответном письме от 13 февраля Венгеров высказал Ремизову ряд замечаний: «Большое, большое спасибо Вам, многоуважаемый Алексей Михайлович, за присланное житие. Очень оно и любопытно, и поучительно. Одно только место меня удивило и огорчило: где Вы сообщаете, что записались в «постоянные любительные читатели» Розанова. Неужели и теперь его любите? Ведь это же гадина, форменная гадина, отвратительно-продажная, подло-предательская, фарисейски-лицемерная. Всегда он такой был, но прежде, в моменты подсознательного творчества, писал почти гениально. А теперь ничего кроме вонючих испражнений из него не исходит. И рядом с Розановым Вы ставите благородного искателя истины Льва Шестова! Гореть Вам за это на том свете в огне неугасимом. С искренним приветом С. Венгеров» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 73. Л. 1). Ремизов согласился с пожеланиями редактора, об этом свидетельствует его письмо от 14 февраля: «Глубокоуважаемый Семен Афанасьевич! *Оставьте в этой фразе одного Льва Шестова* [В своем примечании к письму Ремизов дал исправленный вариант текста: «Тут же я узнал Льва Шестова и записался в его постоянные любительские читатели»]. Так будет лучше и правдивее. Книги Розанова меня всегда интересовали и занимали, но к статьям его теперешним у меня душа не лежит. Об этом и говорить тяжко. Какое уж тут любительское читательство!» (ИРЛИ. Ф. 377. Собр. автобиографий. Ед. хр. 3046. Л. 2). Окончательный исправленный текст автобиографии в архиве Венгерова не сохранился. Настоящая публикация осуществлена по экземпляру текста 1912 г. — авторской копии, находящейся в той части архива Ремизова, которая была передана им на хранение в Публичную библиотеку (РНБ). Текст написан черными чернилами на крупноформатной бумаге размером в пол-листа. Значимые имена и названия выделены красными чернилами и под этими же словами автором произведена карандашная разметка для набора курсивом или в разрядку.

Вторая публикуемая автобиография, датируемая в рукописи 1913 г., была отослана Ремизовым Венгерову одновременно с биобиблиографическими сведениями для готовившегося критико-биографического Словаря русских писателей. Об этом сообщалось в письме Ремизова Венгерову от 21[марта]/4 апреля 1913: «Для Критико-Библиографического словаря посылаю Вам краткие сведения о себе [текст находится — ИРЛИ. Ф. 377. Собр. автобиографий. Ед. хр. 3046. Л. 8. — *А. Г.*], перечень моих книг [текст находится — там же. Л. 9—18. — *А. Г.*] и карточку фотографическую. Есть у меня автобиографическое «заветы родительские», написано для Анастасии Николаевны Чеботаревской, для какого-то сборника. Посылаю рукопись, может быть, пригодится. Посылаю Вам последнюю мою книгу «Подорожие», оттиск портрета моего, рис[унок] М. В. Сабашниковой и указатели к 8-и томному собранию сочинений. Хотел бы попросить Вас, Семен Афанасьевич, когда с чулковской статьей и моя автобиография печататься будет, мне бы корректуру прислали» (Там же. Л. 4).

Указание на А. Н. Чеботаревскую дало новый поворот в деле установления

времени, когда была создана автобиография своеобразного типа — повествование об истоках самосознания писателя. В 1907 г. Чеботаревская собирала автобиографии писателей для подготовки сборника «Краткие биографические данные русских писателей за последнее 25-летие русской литературы». Но в подготовленной рукописи этого труда, сохранившейся в архиве Чеботаревской в ИРЛИ, биография Ремизова отсутствует. Нет этого текста и в подготовительных материалах к сборнику. Все объясняет шуточное письмо писателя к Чеботаревской, датируемое по штемпелю 23 мая 1907 г.: «Многоуважаемая Анастасия Николаевна! По обещанию написал Вам краткое жизнеописание, но не посылаю. Ведь, это же не то все будет. О влияниях чего бы то ни было не могу сказать, потому же не то все будет. О влияниях чего бы то ни было не могу сказать, потому что, Бог его знает, что другой раз на тебя повлияет и на веки вечные вгвоздится. // Год рождения моего: 1877. // День: Купальская ночь (с 23 на 24 июня). // А именины мои 5 октября в день празднования московских митрополитов: Петра, Алексея, Ионы и Филиппа. // Сидел дважды и высылался дважды. Один раз за мордобой в Пензенскую губ[ернию] на 2 года, а другой раз за ничего в Вологодскую на 3-и. // Особенного — выдающегося в жизни моей не случалось: на войне не сражался и ранен не был. // Хотел быть кавалергардом, разбойником и учителем чистописания. // Начал печататься в 1902 г. в «Курьере» (такая московская газета была), потом в «Северном Крае» (Ярославль), в «Юге» (Херсон), в «Северных цветах» и «Весах» (Москва), в «Грифе» (Москва), в «Новом Пути» (СПб.), в «Вопр[осах] Жизни» (СПб.) и т. д. // Вот и все. // Всего Вам хорошего, Анастасия Николаевна. // А. Ремизов» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 230. Л. 1—2). Таким образом, можно предположить, что в 1907 г. Ремизов написал «краткое жизнеописание» под заглавием «Заветы родительские», но не послал его Чеботаревской. В 1913 г. он заново переписал текст для отправки Венгерову. Палеографический анализ этого текста, и листов из персоналии «Ремизов» в собрании автобиографий Венгерова, содержащих библиографические сведения (Л. 7—8), показал, что они совпадают по типу бумаги, характеру письма, использованию чернил двух цветов. Возможно, что при объединении всех материалов, касающихся Ремизова, в единый фонд, его автобиография была отделена от библиографического «конвоя», оставшегося в фонде Венгерова. Этот экземпляр автографии (ИРЛИ) является точной копией рукописи РНБ.

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

### Архивохранилища

Бахметевский архив — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова.
(Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»).

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва).

ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

СПбГТБ РО — Санкт-петербургская государственная театральная библиотека. Рукописный отдел.

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж).

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»).

### Печатные источники

Автобиография 1912 — А. Ремизов. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.-СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 437—442.

Автобиография 1913 — А. Ремизов. Автобиография 1913 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.-СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 442—445.

Алексей Ремизов. Исследования — Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994.

БВ — «Биржевые ведомости» (Санкт-Петербург).
В розовом блеске — Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк.: Изд. имени Чехова, 1952.
ВЕ — «Вестник Европы» (Санкт-Петербург).
Встречи — Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.
Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.
Дневник — Ремизов А. Дневник 1917—1921. Подгот. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1994. С. 407—549.
Достоевский 1—30 — Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972—1990.
Каталог — Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб., Хронограф, 1992.
Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].
Кодрянская. Письма — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.
Крашеные рылá — Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин: Грани, 1922.
Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.
Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.
На вечерней заре 1—3 — На вечерней заре: Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подгот. текста и коммент. А. д' Амелия // Europa Orientalis / 1985. № 4. С. 143—190; 1987. № 6. С. 237—310; 1990. № 9. С. 443—498.
НРС — «Новое русское слово» (Нью-Йорк).
НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).
Огонь вещей — Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.
Пляшущий демон — Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: склад издания «Дом книги», 1949.
ПН — «Последние новости» (Париж).
По карнизам — Ремизов А. По карнизам. Белград: Русская библиотека, 1929.
Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж: изд. YMCA-PRESS, 1951.
Резникова — Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.
Революционер Алексей Ремизов — Грачева А. М. Революци-

онер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 419—437.

РМ — «Русская мысль» (София — Прага — Берлин).

Рус. лит. — «Русская литература» (Санкт-Петербург).

РН — «Русские новости» (Париж).

Сирин 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Сирин, 1910—1912.

Топоров 1 — Топоров В. Н. О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда. (Статья первая) // Библиография и творчество в русской культуре начала XX века: Блоковский сборник IX. Памяти Д. Е. Максимова. Тарту: 1989. С. 138—158. (Учен. зап. ТГУ. Вып. 857).

Топоров 2 — Топоров В. Н. О «Крестовых сестрах» А. М. Ремизова: поэзия и правда. 1. Топографическое и автобиографическое. Статья 2 // Функционирование русской литературы в разные исторические периоды: Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Тарту: 1988. С. 121—138. (Учен. зап. ТГУ. Вып. 822).

Учитель музыки — Ремизов А. Учитель музыки. Подготовка к печати, вступ. статья и примеч. Антонеллы д' Амелия. Paris: LA PRESSE LIBRE, [1983].

Учен. Зап. ТГУ — Ученые записки Тартусского государственного университета.

Шиповник 1—8 — Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910—1912].

БА — беловой автограф.

Кор. — коробка.

ЛН — Литературное наследство.

НР — наборная рукопись.

Печ. текст — печатный текст.

# СОДЕРЖАНИЕ

## ЧАСЫ. Роман



## КРЕСТОВЫЕ СЕСТРЫ. Повесть

## ПЯТАЯ ЯЗВА



## ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА. Роман

**АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ**

Собрание сочинений

**Том 4**

**ПЛАЧУЖНАЯ КАНАВА**

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Е. В. Поляков**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Р. А. Трушкина**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 17.04.2001. Подписано в печать 17.07.01. Формат 84 × 108/32. Бумага офсетная. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 29,51 (в т. ч. вкл. 0,11.). Уч.-изд. л. 31,52 (в т. ч. вкл. 0,04.). Тираж 4500 экз. С-18. Зак. № 1212. Изд. инд. ЛХ-219

Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.
Набрано и отпечатано на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32